ЮЛИАН СЕМЕНОВ
ЮЛИАН СЕМЕНОВ
11

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае бреж-
невская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В
...ажни
...едоум
2. Бы
..., дел
...ское С
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к
...ну и его банде создать камеры
...нки, Катыни, а его ученикам - п
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ернуть "журнальный вариант"!

...откуда курсив?

...Ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
...S. v. Henrici

...дивенчества:
...в квартиру, накор...
...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-
...ния пропагандистской ше-
... Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...б"ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это
...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...
...нивающей") стра-

Антон Семенов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Thomas

Семенов

ТОМ ОДИННАДЦАТЫЙ

ЭКСПАНСИЯ-I

Москва
ЭГСИ
1995

Художники
М. ШЕСТОПАЛ
В. ПОМОЧИЛИН, В. БЕЛЯКОВ

© Ю. Семенов, 1984

© Составление, подготовка текста–Фирма ЭГСИ, 1995

ЭКСПАНСИЯ-1

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (19 июня 1945 года)

Сталин осторожно, как-то замедленно, отодвинул от себя папку со страницей машинописного текста, медленно поднялся из-за стола, прошелся по кабинету, постоял возле окна, наблюдая за тем, как по кремлевской площади медленно и валко расхаживали голуби, цветом похожие на брусчатку; если долго и неотрывно смотреть на них, возникало ощущение, что сама брусчатка движется; мистика какая-то; нечто похожее рассказывал на занятиях в семинарии отец Дионисий: вещие птицы, чистилище, райские кущи.

Обернувшись, Сталин посмотрел на начальника разведки, несколько раз пыхнул трубкой, чтобы раскурить ее, и, вернувшись за стол, спросил, кивнув на бумагу:

— Ну, и как вы мне это объясните?

— Я обязан проверить и перепроверить это сообщение. Оно носит чрезвычайный характер, поэтому его надежность я должен подстраховать с разных сторон.

— А что за человек передал вам это сообщение? Надёжен?

— Вполне. Но смысл любой игры в разведке заключается в том, чтобы именно надежному человеку отдать ложную информацию.

— Спасибо за разъяснение. Вы очень популярно объяснили мне суть разведывательной работы. Тронут.

Он подвинул к себе текст телеграммы, пробежал ее еще раз:

«В течение трех дней, начиная с середины июня, в Пентагоне проходили секретные совещания руководства военной разведки США и чинов ОСС[1] с начальником управления «Армии Востока» генерал-лейтенантом вермахта Геленом. В ходе этой встречи было достигнуто соглашение о том, что Гелен возвращается в Германию и разворачивает свою работу. Гелен согласился передать свою агентуру американской разведке, включая руководителей «русского освободительного движения» генерала Власова, активистов «украинской повстанческой армии» Мельника и боевиков Бандеры; достигнуто соглашение о том, что отныне американцы будут контролировать работу Гелена с агентурой, внедренной им в ряды польского правительства в Лондоне, со словацкими, хорватскими, венгерскими, болгарскими, чешскими и румынскими антикоммунистическими группировками, эмигрировавшими на Запад.

Однако в итоговом коммюнике было отмечено, что после того, как в Германии к власти будет приведено немецкое правительство, Гелен намерен начать работу лишь на новый немецкий режим. Пентагон заверил его в том, что ему будет оказано содействие в этом вопросе. Было подчеркнуто, что Вашингтон найдет возможность оказать давление на новое немецкое правительство в том смысле,

1 ОСС — Организация (Отдел, Управление) секретных служб (разведка США, созданная по указанию Рузвельта для борьбы против гитлеризма). — Здесь и далее примечания автора.

чтобы организация генерала Гелена была преобразована в разведывательную службу режима демократической Германии, интегрированной в систему западного мира. Он получил заверения, что останется шефом разведки. Было подчеркнуто, что сейчас в Германии рискованно создавать единый центр разведки; необходимо определенное время для того, чтобы западные демократии смогли по-настоящему укрепиться в своих зонах оккупации, сделав их недоступными для коммунистического проникновения. Поэтому генералу Гелену было предложено продумать вопрос о создании нескольких конспиративных центров, в первую очередь в Испании; санкционированы его контакты с соответствующими службами генералиссимуса Франко.

После того как совещание в Пентагоне завершило свою работу, генерал Гелен провел трехчасовую беседу с Алленом Даллесом, который, как здесь считают, привез сюда генерала и заставил Пентагон сесть с ним за стол переговоров. Итоги этих бесед неизвестны, однако предполагают, что речь шла о практических шагах в направлении развертывания антикоммунистической активности в странах Восточной Европы. Не отвергается также возможность проработки конкретных мер для оказания немедленной помощи группировкам украинских антикоммунистических отрядов, сражающихся против Кремля в районах Львова».

Сталин долго ходил по кабинету в молчании, потом остановился перед начальником разведки, изучающе посмотрел ему в лицо, словно бы обняв своими рысьими желтоватыми глазами, и спросил:

— А теперь скажите, как мне после этого, — он кивнул на стол, — сидеть рядом с Трумэном и обсуждать проблемы послевоенной Европы? Что молчите? Не знаете, как ответить? Или не решаетесь?

— Скорее — второе, товарищ Сталин.

— Почему? Вы же не навязываете мне свою точку зрения, а лишь отвечаете на вопрос. Большая разница. Так что?

— Я исхожу из того, что на Западе нам противостоят две силы: здравомыслящие политики — а их, мне сдается, все-таки немало — открыто выступают за продолжение дружеского диалога с нами. Противники, что ж, они и останутся противниками, ничего не поделаешь. Но чем круче мы прореагируем на такого рода информацию, тем труднее будет здравомыслящим, то есть тем, кто хочет с нами дружить.

— Но вы-то верите, что эта информация не сфабрикована для того, чтобы мы заняли жесткую позицию? И — таким образом — поставили наших симпатиков в трудное положение?

— Надо проверять. Времени на это не было.

— А возможности?

— Есть.

— Как вы думаете, близкое окружение покойного Рузвельта понудит Трумэна отмежеваться от его слов, сказанных в начале войны по поводу того, что помогать надо тому, кто будет выигрывать

битву: одолеют немцы — немцам, возьмут верх — русские — русским?

— Думаю, он готов сделать все, чтобы эти его слова были преданы забвению.

— А если ему помочь в этом? Если я сделаю все, чтобы помочь ему в этом? Как полагаете, будет он стоять за диалог?

— Не знаю.

— Хорошо, что ответили честно. Спросим Громыко. Скажите вот что: вы бы, лично вы, решились на переговоры с высшим гитлеровским военачальником, не поставив об этом в известность меня?

— Нет.

Сталин усмехнулся:

— А может быть, Трумэн добрее? Как-никак демократия, свободные выборы, полная гласность?

— Именно поэтому я бы на месте руководителей американской разведки подстраховался санкцией президента.

— «Именно поэтому», — хмыкнул Сталин. — Хорошо ответили. Не нравится наша демократия, а? Ладно, будем думать, как поступать. Не пришлось бы брать уроки у режиссеров Художественного театра: пусть научат, как вести себя за столом переговоров о будущем мира с тем, кто спокойно живет в том же городе, где его военные дружески принимают гитлеровского генерала... Документ мне оставьте... И продумайте, как можно получить более развернутую информацию... Видимо, из Испании? Впрочем, не мне вас учить профессии, поступайте как знаете.

ШТИРЛИЦ (Мадрид, октябрь сорок шестого)

Американец, подошедший к Штирлицу на мадридской авениде Хенералиссимо с предложением пообедать и поговорить о том, что может представить обоюдный интерес, был вполне доброжелателен; следов того волнения, которое обычно сопутствует операции похищения или ареста, не было заметно на его лице.

— Обещаю отменное меню, — добавил он. — Как отнесетесь к такого рода перспективе?

Листья платанов на широкой авениде начали уже желтеть, становясь металлическими, цвета чилийской меди; осени, однако, не чувствовалось; тепло; Штирлиц подставил лицо мягким лучам солнца и, как-то странно пожав плечами, тихо ответил:

— А почему бы и не пообедать?

— Мне почему-то казалось, что вы откажетесь.

Штирлиц снова посмотрел на американца: очень крепкий человек, подумал он, сбитень прямо-таки; они вообще-то очень здоровые; понятно: войн не знали, живут далеко от тех мест, где разыгрывается трагедийное действо, да и молоды, два века истории, это не возраст, младенчество.

Он отчетливо и как-то до страшного явственно помнил тот дождливый день, когда в здешних газетах напечатали речь Черчилля, произнесенную «великим старцем» в Фултоне: бывшего премьера Британии слушателям Вестминстерского колледжа представил не

кто-нибудь, а сам президент Трумэн, что придало этой речи характер чрезвычайный; протокол и есть протокол, в одной строке подчас заключена целая программа, которая готовилась целым штабом политиков, экономистов, военных, ученых, разведчиков и философов в течение месяцев, а то и лет.

Прочитав речь Черчилля дважды, Штирлиц отложил газету, тяжело поднялся со скрипучего стула (три стула стояли в его конурке, называемой «номером», все три скрипели на разные «голоса») и вышел на улицу; моросил мартовский дождь, хотя небо было безоблачным; люди шлепали по лужам, спрятавшись под парашютными куполами зонтов; лишь истинные кабальерос вышагивали без шляп, в легких пальто, — вода не пули, это нестрашно, прежде всего следует думать о своем облике, непристойно прятаться от чего бы то ни было, от дождя — тем более.

Он брел по городу бездумно, не в силах сосредоточиться после прочитанного, и поэтому совершенно неожиданно осознал самого себя в центре, напротив американского посольства; в большой дом то и дело заходили люди, было девять часов, начало рабочего дня; он остановился возле газетного киоска, начал пролистывать газеты и журналы, вздрагивая каждый раз, когда старенький продавец в огромном берете, по-пиратски надвинутом на глаза, один из которых был с бельмом, выкрикивал истошным голосом:

— Читайте историческую речь Черчилля, он объявил войну Сталину!

Штирлиц смотрел на американцев, которые входили в ворота посольства; были они высокие, крепкие, одеты словно в униформу: тупорылые ботинки с дырочками на носках, очень узенькие брюки, узенькие, в ноготок, узелки галстуков, и короткие, а оттого казавшиеся кургузыми плащи, как правило, бежевого или серых цветов.

Они шли, весело переговариваясь друг с другом; Штирлиц старался понять, о чем они сейчас говорили, и ему казалось — судя по выражениям их лиц, — что беседовали они о каких-то пустяках: кто рассказывал, как провел уик-энд на Ирати, охотясь за форелью (в Испании не говорят «ловил форель», ее здесь «охотят»); кто делился впечатлением о поездке в замок Фины Кальдерон под Толедо (совершенно поразительная женщина, бездна обаяния); кто просто-напросто говорил, что левый ботинок жмет, надо занести Пепе, который работает на углу улицы, хороший мастер и берет недорого.

И никто из этих людей — а ведь они были не простыми людьми, которые ходят по улицам, сидят в кафе, сеют хлеб, поют в театре или лечат в клинике, — а особыми, приобщенными к касте политиков, — не был озабочен, нахмурен, подавлен, никто — судя по их лицам — словно бы и не понимал того, что случилось вчера в Фултоне.

Это клерки, подумал тогда Штирлиц, не видят дальше того, что написано в документе, лишены дара исторической перспективы, я не вправе судить по их лицам обо всех американцах, хотя более всего меня сейчас занимают те, от которых зависят решения. Как наивны наскоки присных пропагандистов, подумал он тогда, как беспомощны их восторги по поводу единственной демократии, существующей

на земле, – американской... Но ведь и там все определяет человек, которого привели в Белый дом; повезло стране – появился Рузвельт, решил наказать ее бог – убрал его, заменив Трумэном, который никогда не сможет понять и почувствовать того, что смог Рузвельт...

Штирлиц зажмурился даже, потому что возникло – на какой-то миг – страшное видение: вместо живых, гладко выбритых лиц ему привиделись черепа, а сквозь серые плащи проступили скелеты; возможность массовой гибели человечества увязана с представлениями опять-таки одного человека, обрекающего эти свои представления в Слово, которое оказывается поворотной вехой в естественном течении Истории...

Что же так обескуражило Штирлица в речи Черчилля, произнесенной им вчера, далеко за океаном, в красивом и тихом, староанглийского типа, здании колледжа?

Видимо, понял он, меня ошеломили его слова о том, что необходимо – в качестве противодействия России – создание «братской ассоциации народов, говорящих на английском языке». А такая ассоциация предполагала совершенно особые отношения между Соединенными Штатами и Британской империей. Братская ассоциация, *чеканил* Черчилль, требует не только растущей дружбы между родственными системами общества, но и сохранения близких отношений между военными советниками, совместного использования всех военно-морских и воздушных баз, что удвоит мощь Соединенных Штатов и увеличит мощь имперских вооруженных сил.

Штирлица прежде всего стегануло то, что Черчилль дважды употребил слово «империя», показав этим, что с прежним, то есть с антиимперской политикой Рузвельта, покончено раз и навсегда. Трумэн мог бы высказать особое мнение, он мог бы сепарировать американскую демократию от британских имперских амбиций, но ведь он не сделал этого, он, вместе со всеми, аплодировал неистовому Уинни, показывая, что согласен с каждым словом, им произнесенным.

Будучи политиком прирожденным, *глубинным*, Штирлиц сразу же просчитал, что пассаж Черчилля о создании «англоязычного военного блока, противостоящего России», есть не только угроза Кремлю, но и жесткое предупреждение Франции и Италии: и Рим и Париж были поставлены перед фактом создания качественно нового блока. А в следующем абзаце Черчилль ударил уж совершенно открыто: «не только в Италии, но и в большинстве стран, отстоящих далеко от русских границ, действуют – по всему миру – коммунистические партии, которые есть угроза для христианских цивилизаций».

То есть, понял Штирлиц, этой своей фразой Черчилль недвусмысленно требовал от правительств Италии и Франции немедленного исключения Тольятти и Тореза из числа членов кабинета и безусловного размежевания с теми, кто внес самый большой вклад в дело борьбы против гитлеризма. Такого рода диктата по отношению к суверенным странам Европы не позволял себе никто – после девятого мая сорок пятого года; раньше такое бывало, но ведь это делал главный враг Черчилля, неужели так коротка память человеческая?!

Штирлиц понял, что с прежним покончено, когда дважды, очень медленно, по словам, прочитал ту часть речи, в которой Чер-

чилль провозгласил: «Мы не можем полагаться на незначительный перевес в силах. Судя по моим встречам с русскими, я уверен, что более всего они восторгаются силой. Взаимопонимание с Россией должно поддерживаться всей силой стран, говорящих на английском языке, и всеми их связями».

Он понимал, что Москва не сможет промолчать; ответ, видимо, будет столь же резким; Черчилль знает, что делает, характер Сталина изучен им достаточно точно; начиная свое действие, он, видимо, совершенно точно просчитал возможное противодействие того, кто наравне с ним, всего год назад, был членом Большой Тройки, сидел за одним столом в Ялте, но тогда в Крыму рядом с ними был еще один человек – Рузвельт.

Именно в тот мартовский день сорок шестого года, когда Штирлиц только-только начал передвигаться без костылей и трости, он понял, что возвращение на Родину стало теперь проблемой такой сложности, которой он не мог себе раньше и представить.

Именно тогда, в тот промозглый весенний день сорок шестого года, он испытал страшное чувство какой-то давящей безысходности: он мог предположить, что против той идеи, которой он служил всю сознательную жизнь, выступят силы, традиционно нападавшие на Советский Союз с крайне правых позиций, он понимал, что лидер английских фашистов Мосли, выпущенный из-под домашнего ареста, не смирится со своим поражением и снова начнет собирать митинги в Хайд-парке, он понимал, что могут высунуться люди Форда, открыто преклонявшиеся перед Гитлером, но чтобы с такой яростной программой неприятия России выступил тот, кто расценивался Гитлером как ненавистный враг рейха, кто внес свой вклад в победу над нацизмом, – это было для Штирлица так обидно и горько, что он отсчитал из тех крох, которые накопил, десяток песет, зашел в кафе, неподалеку от американского посольства, заказал себе бутылку вина, выпил ее в один присест, стакан за стаканом, опьянел и с трудом добрался до того пансиона, где его поселили восемь месяцев назад люди ОДЕССы[1], чувствуя, как внутри у него что-то захолодело, сделавшись неподвижно-постоянным, словно вернулась та боль, которая пронзила его первого мая в Ванзее, когда пули разорвали грудь и живот.

– Так пошли? – предложил американец.

– Конечно.

– Я не очень быстро шагаю? – спросил американец. – Могу и потише.

– Да уж, – ответил Штирлиц, – лучше бы помедленнее...

МЮЛЛЕР (Мадрид, октябрь сорок шестого)

Острые лучи солнца, разбившись о теплые деревянные жалюзи, резали темную комнату желто-голубыми линиями, которые казались холодными из-за того, что напоминали чем-то сокровенную субстанцию зеркала; мертвое отражение истинного всегда холодно.

Мюллер долго наблюдал за тем, как медленно, еле заметно, но

[1] ОДЕССа – тайная организация членов СС.

тем не менее неуклонно лучи двигались по комнате, перемещаясь от громадного краснодеревого стола к камину, сложенному из серого мрамора, и к стеллажам, заставленным книгами.

Он не спешил подняться с большой низкой тахты; расслабленно наслаждался тишиной и покоем; улыбался, когда кукушка выскакивала из баварских ходиков (подарил местный ортсляйтер, вывез из Германии еще в тридцать седьмом году, когда был отправлен иностранным отделом НСДАП на внедрение сюда, в Аргентину) и весело отсчитывала безвозвратное исчезновение времени.

Сначала, в первые месяцы, когда Мюллер прибыл в Латинскую Америку, на пустынный берег, и, обменявшись молчаливым рукопожатием со своими спутниками, сел в ожидавшую его машину, которая увезла его в эстансию Энрике Тростхаймера «Вилла Нуэва», он не мог спать; забывался на два-три часа, да и то лишь после того, как выпивал стакан крепчайшего корна[1]; запасы были громадны — весь подвал большого трехэтажного особняка на берегу океана был заставлен бутылками.

Чувствовал он себя в постоянном напряжении, потому что в двух километрах от дома проходило шоссе; ограды и охраны, к какой он привык в рейхе, не было; полное ощущение незащищенности, постоянное ожидание того момента, когда придут люди в штатском и спросят: «Где здесь скрывается военный преступник Мюллер?» Несмотря на то, что паспорт у него был на имя гражданина Швейцарии Рикардо Блюма, несмотря на то, что Тростхаймер убеждал его, что никакой опасности здесь нет, Перон вполне дружествен, хотя рузвельтовские евреи и понудили его страну объявить войну рейху в марте сорок пятого, — Мюллер не находил себе места; ложась спать, прятал под подушку парабеллум и гранату, а уснуть все равно не мог, прислушиваясь к шуму проезжавших вдали машин.

— Энрике, — сказал он, наконец, — вы слишком долго тянете с переправкой меня в глубь территории. Я понимаю, люди готовят операцию с возможно надежной тщательностью, но как бы вы не привезли меня туда, где не ездят машины, совершенным психом, не способным более ни к чему.

— Ах, Рикардо, — улыбнулся Тростхаймер, — отдыхайте спокойно. — (Ни разу Тростхаймер не назвал Мюллера прежним именем или фамилией, не говоря уже о звании, к чему тот привык за последние годы; обращения «группенфюрер» недоставало; порою казалось даже, что отсутствует какая-то часть туалета, то ли галстука нет, то ли носки не натянул.) — Мы слишком дорожим вами, — продолжил Тростхаймер, — чтобы идти на необдуманный риск. Сейчас происходит необходимая в данной ситуации рекогносцировка, мы распределяем наиболее важных гостей по регионам таким образом, чтобы была неукоснительно соблюдена пропорция в размещении руководителей, среднего звена и рядовых сотрудников... И потом, мы сочли необходимым дать вам время на карантин: там, куда вы поедете, нет еще хорошей медицины, вдруг возникнет необходимость в рентгене, серьезных анализах, консилиуме лучших медиков? Нагруз-

[1] Корн — пшеничная водка (нем.).

ки последних месяцев сказываются не сразу, возможен сердечный криз, я допускаю, что у вас начнет скакать давление... Все это лучше локализовать здесь, неподалеку от центров... Осваивайтесь со своим новым именем, учите испанский. Я не зря представил вам двух моих молодых друзей, они в вашем полном распоряжении. Спите, купайтесь, гуляйте... Я бы не взял на себя смелость говорить так, не будь убежден в вашей абсолютнейшей безопасности...

Привыкший за последние годы к тому, что все его команды выполнялись неукоснительно, научившись видеть в глазах окружавших алчное желание исполнить любую его прихоть, утвердившийся в мысли, что лишь он знает, как надо поступать в той или иной ситуации, Мюллер болезненно переживал свое новое положение, когда ему следовало ждать указания неведомо от кого, выходить к завтраку, обеду и ужину строго по времени, когда гулко ударял медный гонг, укрепленный под пальмой в маленьком внутреннем патио, и поддерживать разговор за столом с хозяином и двумя «учителями», исполнявшими также функцию охраны; собранны, услужливы, молчаливы, но без того, столь любезного сердцу Мюллера рабства (к этому привыкают быстро, только отвыкать долго приходится), которое отличало тех, кто обеспечивал в рейхе его безопасность, готовил еду, убирал в особняке и возил на машине.

«Что значит иной континент, — тяжело думал Мюллер, приглядываясь к этим двум молчаливым крепышам, — что значит прерванность связи с почвой! Да, немцы, конечно, немцы, но аргентинские немцы! Здешняя среда уже наложила на них свой отпечаток, они позволяют себе начать разговор, не дослушав меня, выходят к ужину в рубашках с короткими рукавами, в этих отвратительных американских джинсах, словно какие-то свинопасы; гогочут, плавая наперегонки в бассейне, не понимая, что все это может отвлекать меня от мыслей, а то и просто раздражать. Нет, дома такое невозможно, все-таки родная почва дисциплинирует, чужая — разбалтывает; дети, которые воспитывались в доме богатых родственников, да еще за границей, теряют безусловное следование традициям, это печально».

Впрочем, как-то подумал он, такого рода мнение противоречит нашей расовой теории; по фюреру — любой немец остается немцем, где бы он ни жил, в каком бы окружении ни воспитывался; кровь не позволяет ему потерять себя. Почва, повторил Мюллер, здесь другая почва, хоть кровь немецкая. А что такое почва? Мистика, вздор. Песчаник или глина. Здесь другие передачи радио; сплошь танцевальная музыка; даже мне хочется двигаться в такт ее ритму; здесь другая еда, такого мяса я не ел в рейхе; на стол ставят несколько бутылок вина и пьют его, как воду, — постоянное ощущение искусственной аффектации сказывается на отношениях людей, это не пиво с его пятью градусами, совсем другое дело. Они читают американские, французские и мексиканские газеты; живут рядом с англичанами, славянами и евреями, здороваются с ними, покупают в их магазинах товары, обмениваются новостями, постоянная диффузия, она незаметна на первый взгляд, но разлагающее влияние такого рода контактов очевидно.

Он успокоился тогда лишь, когда маленький «дорнье» приземлился на зеленом поле рядом с особняком; молчаливый летчик приветствовал его резким кивком — шея будто бы потеряла на мгновение свою устойчивую мускулистость, не могла более удерживать голову; Мюллеру понравилось это; видимо, летчик не так давно из рейха. Тростхаймер помог ему сесть в маленькую кабину, справа от пилота.

— Счастливого полета, Рикардо! Я убежден, что в том месте, куда вы летите, вам понравится по-настоящему.

Когда самолет, пробежав по полю какие-то сто метров, легко оторвался от земли и резко пошел в набор высоты, Мюллер спросил:

— Куда летим?

— В горы. За Кордову. Вилла Хенераль Бельграно. Это наше поселение, практически одни немцы, прекрасный аэродром, дороги нет, приходится добираться лошадьми, каждый грузовик там — событие, так что ситуация абсолютно контролируема.

— Прекрасно. Сколько туда километров?

— Много, больше тысячи.

— Сколько же времени нам придется висеть в воздухе?

— Мы сядем в Асуле. Там наши братья, заправимся, отдохнем и двинемся дальше. Возле Хенераль-Пико пообедаем, затем возьмем курс на Рио-Куарто, неподалеку оттуда заночуем: горы, тишина, прелесть. А завтра, минуя Кордову, пойдем дальше; можно было бы допилить и за один день, но руководитель просил меня не мучить вас, все-таки висеть в небе десять часов без привычки — нелегкая штука.

— Сколько вам лет?

— Двадцать семь.

— Жили в рейхе?

— Да. Я родился в Лисеме...

— Где это?

— Деревушка под Бад-Годесбергом.

— Давно здесь?

— Два года.

— Выучили язык?

— Моя мать испанка... Я воспитывался у дяди... Отец здесь живет с двадцать третьего.

— После мюнхенской революции?

— Да. Он служил в одной эскадрилье с рейхсмаршалом. После того как фюрера бросили в застенок, именно рейхсмаршал порекомендовал папе уехать сюда, в немецкую колонию.

— Отец жив?

— Он еще работает в авиапорту...

— Сколько ж ему?

— Шестьдесят. Он очень крепок. Он налаживал первые полеты через океан, из Африки в Байрес...

— Куда?

— Буэнос-Айрес... Американцы любят сокращения, экономят время, они называют столицу «Байрес». Приживается...

Мюллер усмехнулся:

— Отучим.

Пилот ничего не ответил, глянул на группенфюрера лишь через минуту, с каким-то, как показалось Мюллеру, сострадательным недоумением.

– Вы член партии?

– Да. Все летчики должны были вступить в партию после двадцатого июля.

– «Должны»? Вы это сделали по принуждению?

– Я не люблю показуху, все эти истерики на собраниях, лизоблюдские речи... Я Германию люблю, сеньор Рикардо... С фюрером, без фюрера, неважно...

– Как вас зовут?

– Фриц Циле.

– Почему не взяли испанское имя?

– Потому что я немец. Им и умру. Я был солдатом, мне нечего скрывать, за каждый свой бомбовый удар по русским готов отвечать перед любым трибуналом.

– А по американцам?

– Америка далеко, не дотянулись... Болтали о мощи, а как дело коснулось до удара, так сели в лужу...

– Отец состоял в партии?

– Конечно. Он старый борец, ветеран движения.

– Дружите с ним?

– А как же иначе? – Пилот улыбнулся. – Он замечательный человек... Я преклоняюсь перед ним. Знаете, он готовил самолеты французам, которые шли из Байреса на Дакар... Очень любил одного пилота, Антуана Экзюпери, нежен, говорит, как женщина, и смел, как юный воин... Отец работал с ним по заданию, надо было понять, не военные ли открывают эту трассу под видом пассажирских самолетов, рейхсмаршала это очень интересовало, вот отец и получил указание с ним подружиться... Отец говорит, он книжки какие-то писал, этот Экзюпери, не читали?

– Даже не слышал.

– Очень много рассказывал, доверчив, отец говорит, как ребенок, ничего не стоило расшевелить... Пьяница, конечно, как все французы... Бабник... Отец пытался найти его в концлагерях, думал, сидит после поражения Франции... Так вот он рассказывал папе, что высшее наслаждение лететь через океан одному, ты, небо и гладь воды... Я его понимаю, в этом что-то вагнеровское, надмирное... Странно, что это мог почувствовать француз...

– А Гюго? – усмехнулся Мюллер. – Бальзак? Мопассан? Золя? Они что, не умели чувствовать?

– Я не люблю их. Они пишут как-то облегченно. А я предпочитаю думать, когда читаю. Я люблю, чтобы было трудно... Когда мне все видно и ясно, делается неинтересно, словно обманули. Писатель особый человек, я должен трепетать перед его мыслью...

– Он должен быть вроде командира эскадрильи, – вздохнул Мюллер.

Фриц обрадовался:

– Именно так! Необходима дистанция, во всем необходима дистанция! Иначе начинается хаос...

«Откуда в нем эта дикость, – подумал Мюллер. – Не вступал в НСДАП, оттого что не нравилась истерика на собраниях, значит, что-то чувствовал, самостоятелен. Почему же такая тупость и чинопочитательство, когда заговорил о писателе? Тебе это не по нутру? – спросил он себя. Не лги, тебе это очень нравится, а особенно то, что мы летим над безлюдьем, ни одного дома, какое же это счастье – одиночество...»

– Знаете, а было бы славно, долети мы с вами до этой самой Виллы Хенераль Бельграно без ночевки на промежуточных пунктах...

– Не устанете?

– Нет, я хорошо переношу полет.

– Зато я устану. Нам запрещено лететь на этих малютках больше восьмисот километров. Тем более ночью...

– А что такое Асуль?

– Не знаю. Мы сядем на аэродроме нашего друга, он руководит химическими предприятиями, живет в Байресе, здесь у него дом, земля, аэродром и радиостанция... Дом очень хороший, я ночевал там, прекрасная музыка, бассейн, лошади...

– Кого-нибудь везли?

– Даже если бы это было и так, я бы не ответил вам, сеньор Рикардо. Я дал клятву молчания. Простите, пожалуйста.

– Нет, нет, молодчина Фриц... Просто мне не терпится оказаться на месте, понимаете?

– Понимаю. Попробуем. Если я почувствую, что могу лететь, – полечу. Только надо запросить центр, позволят ли мне продолжать путешествие без отдыха.

– Да, конечно, все надо делать как положено. Не думайте, что я толкаю вас на нарушение инструкции.

– Это не инструкция. Это приказ.

– Тем более. А как зовут хозяина аэродрома в Асуле?

– Под Асулем. Километров пятнадцать, не долетая до города. Я не знаю, как его зовут. Лишнее знание обременяет. Хочу жить спокойно. Пережду трудные времена, скоплю денег и вернусь в Германию.

– Как скоро?

– Думаю, года через два всех солдат будут просить вернуться.

– Да? Экий вы оптимист. Прямо-таки зависть берет. Молодец. Буду рад, если вы не ошибетесь в расчетах.

Фриц снова улыбнулся своей мягкой улыбкой, столь странной на его лице:

– Так ведь не зря я здесь летаю...

...Человеком, который встретил Мюллера на зеленом поле аэродрома, возле маленького домика радиостанции, построенного чисто по-баварски, с мореными бревнами, которые держали каркас, был СС штандартенфюрер профессор Вилли Курт Танк, шеф конструкторского бюро «Фокке-Вульф»; они были знакомы с лета сорок третьего, когда Мюллер приехал на озеро Констанц, где располагалась штаб-квартира фирмы, чтобы обсудить с Танком возможность использования на работе ряда французских и чешских инженеров, аре-

стованных гестапо за участие в Сопротивлении и находившихся в концентрационных лагерях рейха.

Договорились, что инженеры будут использованы по назначению, на определенный срок, не больше года, потом их следует ликвидировать, дабы не произошла утечка информации.

— Танк тогда заметил: «Мне сразу будет ясно, кто на что способен; те, которые не имеют идей, могут быть ликвидированы сразу же; месяц, от силы два совершенно достаточный срок, чтобы разобраться в их потенциале. А к наиболее талантливым надо относиться по-хозяйски; давайте подумаем, как можно их обратить в нашу веру».

...Танк вскинул руку в нацистском приветствии; Мюллер, испытав в себе поющую радость, обнял его; они постояли недвижно, замерев; Танк вытер глаза ладонью, кивнул на домик радиостанции:

— Там накрыт стол, Рикардо...

— Спасибо... Как мне называть вас?

— Доктор Матиес. Я главный инженер завода военной авиации в Кордове, вполне легален, прилетел, чтобы засвидетельствовать вам мое уважение и рассказать кое о чем.

Стол в особнячке был накрыт на две персоны: колбасы, немецкое пиво, жареное мясо, ветчина холодного копчения, много зелени, фрукты.

Пилота, объяснил Танк, покормят в доме; он принадлежит Людовиго Фрёйде, видимо, вам знакомо это имя, его десантировали сюда в тридцать пятом, теперь он аргентинский гражданин, возглавляет партийную организацию центра территории.

За обедом Танк рассказал, что вокруг него уже объединен штаб теоретиков:

— Авиастроители, физики, расчетчики — все они живут в Кордове, работают на нашем заводе; охрана аргентинская, иностранцев не подпускают, американский посол Браден просил Перона устроить экскурсию на наше предприятие, полковник отказал. Конечно, скандал, шум, но ведь это — конец света, сюда не дотянешься... В особом конструкторском бюро я собрал Пауля Клайнеса, Эрика Вернера, Йорга Нёумана, Реймара Хортена, Отто Беренса, Эрнста Шлоттера... Вы встречали их и у меня, на «Фокке-Вульфе», и в Пенемюнде, у Вернера фон Брауна. Часть людей, которые работали с заключенными, вынуждены взять здешние имена — Альваро Унеццо, Энрике Веласко, красиво звучит, а? Так что дело теперь за вами, политиками...

Мюллер медленно опустил вилку, не донес до рта; нахмурился; впервые в жизни его назвали «политиком»; он не сразу понял, что слово это было обращено к нему, отныне он, Мюллер, не кто-нибудь, а политик!

— А чего-нибудь покрепче пива у вас нет? — спросил он.

— О, конечно, просто я думал, что в полете может болтать, не предложил...

Танк поднялся, открыл деревянный шкафчик, какие обычно стоят в альпийских деревнях, принес корн, налил Мюллеру маленькую рюмку, чуть плеснул и себе: он не пьет, кажется, поражена пе-

чень, вспомнил Мюллер, он и в Германии не пил, я заметил, как он тогда вместо айнциана[1] тянул минеральную воду, причем делал это очень ловко; то, что Танк пил воду, заставило тогда Мюллера поставить ему на квартиру аппаратуру прослушивания и подвести особо доверенную агентуру; истинный наци не может не пить, это неестественно избегать алкоголя; однако через две недели пришло сообщение о том, что профессор действительно болен и лично Гиммлер дважды отправлял его — по просьбе Геринга — в Швейцарию, в желудочную клинику доктора Райнбауэра.

— Налейте-ка мне побольше, — попросил Мюллер. — Я хочу выпить за вас. Спасибо, профессор. А сами — не пейте, не надо, я же помню, что вы страдаете печенью...

— Точнее сказать — страдал, группенфюрер...

При слове «группенфюрер» Мюллер невольно оглянулся; сразу же почувствовал, что Танк понял — боится; ничего себе, политик; впрочем, и проигрыш надо доводить до абсолюта; только не врать; страх — естественное состояние изгнанника, а вот ложь — конец любому предприятию.

— Заметили, каким я здесь стал трусом? — усмехнулся он. — Боюсь собственной тени, стыд и позор.

— Это происходит со всеми, — ответил Танк, и Мюллер понял, что он повел себя верно, любая иная реакция с его стороны могла бы оказаться проигрышной. — Когда к нам прибыл полковник Рудель — а вы знаете, какого мужества этот человек, — то и он через каждые десять минут подходил к окну, чтобы удостовериться в безопасности. Это пройдет. У меня это прошло за месяц.

— Когда вы прибыли сюда?

— В конце марта... Нет, нет, я получил санкцию рейхсмаршала на выезд с наиболее ценными архивами. Я увез с собою часть материалов по ФАУ, чертежи нового бомбардировщика, ряд идей, связанных со средствами наведения... ИТТ гарантировала мой переезд в Швейцарию, а там уже все было заранее устроено.

— Вы и здесь контактируете с ИТТ?

— Нет. Пока что воздерживаюсь. Все-таки Перон надежнее, как-никак он здесь лидер, его лозунги во многом близки нашим. Конечно, несколько странно выглядит его терпимость в еврейском и славянском вопросах, здесь же масса сербов, хорватов, украинцев, русских, евреев...

— И за эти месяцы, — улыбнулся Мюллер, — вы поправили печень?

— Представьте себе — да. Видимо, раньше все мы жили на нервах... Все болезни проистекают от нервов... А здесь у меня штат надежных коллег, мы живем душа в душу...

Мюллер снова усмехнулся:

— Нет гестапо, не вызывают в партийную канцелярию, не надо писать отчеты в штаб люфтваффе, нет нужды проводить еженедельные читки «Фелькишер беобахтер» с сотрудниками... А?

— Ах, вечно вы шутите, — ответил Танк, и Мюллер понял, что

[1] Айнциан (или энциан) — водка, настоянная на горном растении горечавке.

взял реванш: теперь профессор испугался, лицо его на мгновение сделалось растерянным, каким-то бесформенным, словно у боксера, который поплыл после хорошего удара.

– За вас, профессор. За то, что вы храните в сердце идеи нашего братства. Спасибо!

Мюллер пил сладко и долго; закусывать не стал; блаженно ощущая, как по телу разлилось тепло, поинтересовался:

– А где Рудель?

– Он главный военный консультант нашего предприятия. Перон сохранил ему звание полковника, часто бывает в Буэнос-Айресе, вполне открыто... Он это заслужил – солдат...

В сорок третьем году капитан Рудель был ранен во время налета на русские колонны пулеметной очередью, прицельно пущенной с «Петлякова», ему перебило обе ноги. Ампутировали. Сделав две операции, заказали в Швейцарии особые протезы, отправили на отдых в Аскону, маленький швейцарский городок на границе с Италией; там он научился ходить, вернулся в свою эскадрилью; после первого вылета об этом рассказали Герингу; фюрер лично вручил Руделю рыцарский крест с дубовыми листьями, полковничьи погоны и золотой знак НСДАП. Геббельсу было поручено подготовить материалы о том, что Рудель – уже после ранения – сделал двадцать боевых вылетов, сбил пять русских самолетов и разбомбил семь эшелонов; с тех пор ему не разрешали летать, возили по соединениям, где он выступал перед личным составом, призывая нанести сокрушительный удар по русским варварам и американским евреям; затем его «одолжил» Риббентроп, полковнику устроили вояж в страны-сателлиты – Венгрию, Словакию, Румынию, Хорватию, на север Италии; во время этих путешествий он выполнял ряд деликатных поручений службы Шелленберга; в гестапо знали об этом, ибо готовили его документы на выезд, проверяя родных, друзей и знакомых, нет ли среди них скрытых коммунистов, социал-демократов, евреев, славян или членов незарегистрированных религиозных общин; Мюллер прочитал два рапорта Руделя о его контактах с авиаторами Швейцарии и Румынии; до того, как Антонеску пришел к власти, Бухарест имел довольно надежные связи с американскими и французскими самолетостроителями; швицы и во время войны принимали у себя как американских бизнесменов, так и немецких инженеров, сменявших – на время командировки в Берн – форму люфтваффе на цивильные костюмы. Рапорты Руделя не понравились Мюллеру: гнал липу, переписывая данные из швейцарских журналов, – никакой цензуры, печатай что хочешь, хорошо быть нейтралом, ничего не скажешь! Несмотря на то, что рапорты были жиденькие (более всего полковник старался создать видимость опасности, которая подстерегала его во время выполнения заданий), Мюллер проникся доверием к этому человеку: далеко не все военные, да особенно так вознесенные фюрером, шли на сотрудничество с секретной службой – мешал кодекс офицерской чести: военный аристократизм, кастовость солдат и все такое прочее...

– Да, – согласился Мюллер, наблюдая за тем, как профессор

Танк наливал ему корн, – вы совершенно правы, он – солдат, он заслужил памятник при жизни... К вам из наших пока еше никто не обращался?

– У меня был человек, которого я, признаться, не знаю. Он передал мне, чтобы сейчас все свои силы мы обратили на вживание. И без устали работали для армии Перона. О том,что предстоит делать в будущем, сказал этот человек, мне сообщат позже.

– Кто именно должен об этом сообщить?

– Он не сказал.

– Вы не допускаете мысли, что это был какой-нибудь провокатор?

– Нет. Что вы... Провокатор должен провоцировать, выспрашивать.

Мюллер вздохнул:

– О, наивная, святая простота! Провокатор обязан сделаться вашим знакомым, потом – хорошим знакомым, после – приятелем, затем – другом, а уж после этого вы сами расскажете ему все то, в чем он заинтересован, и выполните его просьбу или совет, который и спровоцирует вашего противника на то действие, которое я задумал... А этот человек стал вашим знакомым... Так-то вот... Опишите мне его, пожалуйста.

– Невысокий, с очень достойным лицом, в сером костюме...

Мюллер рассмеялся:

– Профессор, я бы не поймал ни одного врага, если бы имел такие словесные портреты... Цвет глаз, форма носа и рта, особые приметы, рост, манера жестикулировать, произношение... Баварец, мекленбуржец, берлинец, саксонец...

– Саксонец, – сразу же ответил Танк. – Глаза серые, очень глубоко посаженные, нос прямой, чувственные ноздри, какие-то даже хрящеватые, рот большой, четко напоминает букву «м», несколько размытую. Когда говорит, не жестикулирует...

– Нет, не знаю, кто бы это мог быть, – ответил Мюллер.

Он сказал неправду; он знал почти всех тех функционеров НСДАП и абсолютно всех своих сотрудников, отправленных в марте – апреле сорок пятого в Южную Америку и Испанию по тайным трассам ОДЕССы. По словесному портрету, данному Танком, он понял, что был у него не провокатор, а работник отдела прессы НСДАП штандартенфюрер Роллер.

Он-то и встретил – к немалому изумлению Мюллера – его самолет, приземлившийся на громадном поле аэродрома Виллы Хенераль Бельграно.

Когда Мюллер заговорил с ним на своем исковерканном испанском, Роллер рассмеялся:

– Группенфюрер, здесь у нас только тридцать аргентинцев, все остальные – нас пятьсот человек – немцы, товарищи по партии, говорите на родном языке. Хайль Гитлер, группенфюрер, я счастлив приветствовать вас!

Он-то и привез Мюллера на стареньком разболтанном грузовичке в особняк, построенный неподалеку от аэродрома, на склоне холма; тот же баварский стиль, много мореного дерева, камин из серо-

го мрамора, низкие кушетки, прекрасные ковры, книги, отправленные Мюллером в Швейцарию еще семнадцатого марта, – справочники по странам мира, документы по банковским операциям в Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке, досье на мало-мальски заметных политических деятелей мира, ученых, писателей, актеров как правой, так и левой ориентации; литература по философии, истории и экономике XX века, папки с документами, подготовленными в специальных подразделениях политической разведки, отчеты военных, тексты речей Гитлера на партайтагах, компрометирующие материалы на немецких и западноевропейских руководителей (очень удобно торговать в обмен на необходимую информацию с теми, кто еще только рвется к власти), книги по религии, – всего семь тысяч триста двадцать единиц хранения.

Остальные документы надежно спрятаны в сейфах цюрихских и женевских банков, код известен только ему, Мюллеру, никто не вправе получить их в свое пользование; люди, которые осуществили операцию по закладке этих архивов, ликвидированы, он один владеет высшими тайнами рейха, запасной код запрессован в атлас экономической географии мира; Мюллер сразу же нашел взглядом эту книгу; он достанет кодовую табличку к сейфам позже, когда Роллер уйдет; он верит Роллеру, но конспирация еще больше укрепляет веру, иначе нельзя, политика предполагает тотальное недоверие ко всем окружающим во имя того, чтобы они, окружающие, по прошествии времени, в нужный день и час верили лишь одному человеку на свете, ему, Генриху Мюллеру.

Роллер показал гостю его дом, сказал, что в маленьком флигеле живут слуги группенфюрера, их привезли из Парагвая, индейцы, стоят гроши, десять долларов за штуку; девчонке тринадцать лет, но ее вполне можно класть в постель, чтобы согревала ноги, у этих животных так принято; в течение ближайшего полугода ветераны подыщут ему немку аргентинского гражданства, брак с нею – конечно же, формальный – позволит получить здешний паспорт; по радио будет передано – тому, кого это, разумеется, касается, – что партайгеноссе Мюллер благополучно прибыл к месту временной дислокации; принято решение пока что к активной работе не приступать; есть основания полагать, что в течение ближайшего года ситуация в мире изменится; такого рода данные переданы Геленом по цепи; он человек надежный, хотя, конечно, не до конца наш, слишком много эгоцентризма и военной кастовости; тем не менее время работает на нас; выдержка и еще раз выдержка; рыбалка и охота помогут скоротать время вынужденного безделья...

...И вот по прошествии месяцев Рикардо Блюм, гражданин республики Аргентина (в прошлом – немецкий банкир, пострадавший от нацистов, поскольку мать была на восьмую часть еврейкой), лежит на низкой тахте, наблюдает за тем, как солнечные лучи, порезанные тонкими жалюзи, медленно поднимаются по беленым стенам, и думает о том, что, видимо, его время вот-вот наступит.

У него есть основания так думать, он никогда не выдает желаемое за действительное, именно поэтому он теперь живет здесь, а не гниет в камерах нюрнбергской тюрьмы.

ШТИРЛИЦ (Мадрид, октябрь сорок шестого)

– Прямо, пожалуйста, – сказал американец, – тут недалеко.

– Насколько я слышал, неплохо кормят в «Эмператрис», – заметил Штирлиц. – Это здесь рядом, направо.

– Я верю только в ту кухню, которую знаю... Пошли, пошли, не бойтесь.

– Погодите, – сказал Штирлиц. – Красный свет. Оштрафуют.

Пешеходов не было, машин тоже, время трафико[1] кончилось, однако светофор уперся в улицу своим тупым и разъяренным красным глазом, не моргая, стой, и все тут.

– Наверное, сломался, – сказал американец.

– Надо ждать.

– Ну их к черту, пошли.

– Оштрафуют, – повторил Штирлиц. – Я их знаю...

– Нас не оштрафуют, – ответил американец и пошел через дорогу.

Сразу же раздался свисток полицейского; он был не молод уже, этот капрал, учтив и немногословен; штраф на месте взять отказался, потребовал документы, забрал шоферские права американца и ватиканское удостоверение Штирлица, сказал адрес участка, куда надо прийти для разбирательства факта нарушения правил движения, и, отойдя к тротуару, сел в машину без опознавательных знаков полиции, – ясное дело, таился, караулил нарушителей.

– Сволочи, – сказал американец, – маскируется. Не беспокойтесь, я уплачу за вас штраф.

– Ну-ну, – усмехнулся Штирлиц. – Валяйте.

– Поскорее идти никак не можете?

– Очень спешите?

– Не то чтобы очень, но...

«Но почему они подкрались ко мне именно сегодня? – подумал Штирлиц. – Чего они так долго ждали? Смысл? Отчего это приурочено к тем дням, когда кончается Нюрнбергский процесс? Мир ждет приговора; но ведь здесь, в Испании, убеждены, что многих подсудимых оправдают, только кому-нибудь для острастки дадут тюрьму... Я-то в это не верю, в Нюрнберге некого оправдывать, там судят самых страшных преступников, самые ужасные организации, которые когда-либо существовали в мире... Естественно, фалангисты Франко не могут не мечтать об оправдательном вердикте, в конечном счете там, в Нюрнберге, судят их тоже... Но ведь дыма без огня не бывает? Нельзя же выдавать желаемое за действительное? Можно, увы, можно, – возразил себе Штирлиц. – Но я не верю в то, что хоть кто-либо из сотрудников Гитлера избежит смерти... Там судят банду... Здесь кричат, что обвиняемый Ялмар Шахт был президентом рейхсбанка и не подписывал приказы на расстрелы... А кто давал деньги Гиммлеру на создание гестапо? Он! Кто давал золото Герингу на создание армии и люфтваффе? Шахт, кто же еще! «Франц фон Папен был послом!» Да?! А кем он был до того, как стал послом Гитлера?

[1] Трафико – дорожные пробки *(исп.)*.

Канцлером! И передал власть ефрейтору. Папен знал, ч т о такое фюрер, он был прекрасно знаком с его программой, он понимал, что делал, когда короновал Гитлера «национальным лидером», создателем «Великой Римской империи германской нации»... Я не верю, я просто не имею права верить в то, что гитлеровцев — хотя бы одного — оправдают в Нюрнберге. Если это случится, значит, я — обречен, я — заложник здесь, никогда мне отсюда не выбраться».

Штирлиц похлопал себя по карманам; сигарет не было.

— Хотите курить? — поинтересовался американец. — Зря, на улице это рискованно, прямая дорога к раку, никотин въедается в легкие вместе с кислородом, это — навечно, подумайте о своем здоровье...

— Спасибо за совет.

— Не верите?

— Как же я могу не верить, если вы повторили мои слова?

Ты не имеешь права, сказал себе Штирлиц, д у м а т ь: «мне отсюда не выбраться»... Человек, допускающий в самом начале д е л а возможность неудачи, обречен на проигрыш... А у меня не дело, а ж и з н ь... Если я не смогу вырваться отсюда, я кончусь, нервов не хватит, сорвусь... Это я вправе себе сказать и обязан услышать, потому что это правда... Я на пределе, я это знаю, и закрывать на это глаза и уши — значит, обманывать себя, а такого рода намеренный обман чреват катастрофой... Я обязан отсюда вырваться, я вырвусь отсюда, иного просто быть не может... Не имеет права быть, поправил он себя, я по-прежнему в схватке, и я не вправе ее проиграть, это будет слишком уж несправедливо... А сожжение Джордано Бруно было справедливым? — спросил он себя и снова пожалел, что в карманах нет сигарет; это очень плохо, когда тебе приходится идти в неизвестность, не понимая, что тебя ждет (хорошее, во всяком случае, не грозит), и не иметь с собою пачку крепких «Дукадос»...

Протокол допроса бывшего СС бригаденфюрера Вальтера Шелленберга (осень сорок пятого)

В о п р о с. — Расскажите о ваших заграничных командировках, начиная с тысяча девятьсот тридцать седьмого года. Кто сопровождал вас? Имена, фамилии, звания сотрудников? Задачи, которые вы им вменяли?

О т в е т. — Задачи им вменял Гейдрих. Я тогда еще не был шефом шестого управления, я сам был вынужден выполнять те приказы Гейдриха, которые не противоречили моему пониманию чести и достоинства немца.

В о п р о с. — Вы когда-либо отказывались повиноваться Гейдриху?

О т в е т. — По вполне понятным причинам я не мог этого сделать. Я, однако, предпринимал свои шаги, чтобы свести на нет его задания... Я помню, в тридцать девятом году...

В о п р о с. — Вы отклоняетесь от заданного вам вопроса.

О т в е т. — Одиннадцатого марта тридцать восьмого года, в день аншлюса, я получил приказ Гиммлера вылететь вместе с ним в Остмарк...

Вопрос. – Куда?

Ответ. – Остмарк. Так после аншлюса называлась Австрия. Мы летели в большом транспортном самолете. Гиммлер сидел, прислонившись к двери, говорил о будущем этой страны, потом перешел на его любимую тему о скандинавских рунах; я обратил внимание на какой-то посторонний назойливый шум и заметил, что блокиратор, запирающий дверь, открылся. В любую минуту Гиммлер мог вывалиться... Я схватил его за лацканы, рванул на себя, он гневно закричал что-то, и я увидел на его лице испуг... Я объяснил ему, в чем дело... С тех пор он был всегда очень добр ко мне... Именно этим объясняется то, что он доверял мне, хотя я позволял себе ему возражать. Он не терпел этого ни от кого, только от меня...

Вопрос. – Вы когда-нибудь возражали ему письменно?

Ответ. – В тех условиях это было невозможно. Возражение руководителю было исключено в системе рейха.

Вопрос. – Чем вы занимались в Австрии?

Ответ. – Я захватил архивы австрийской секретной службы. Поскольку ее шеф полковник Ронге изъявил желание работать на нас, операция прошла быстро и организованно. Сколько-нибудь интересных документов я у него не нашел, кроме разве материалов, связанных с дешифрованием кодов ряда иностранных посольств. Затем Гиммлер поручил мне организовать меры безопасности в связи с приездом в Вену Гитлера. Должен сказать со всей честностью, что я никогда не видал такого энтузиазма толпы, приветствовавшей фюрера.

Вопрос. – Скольких людей вы посадили перед этим в тюрьмы?

Ответ. – Этим занимались Кальтенбруннер и Мюллер. Я был всегда связан с внешнеполитическими вопросами.

Вопрос. – Но в момент проезда Гитлера по городу за его безопасность отвечали вы, а не Кальтенбруннер или Мюллер. По вашему приказу были арестованы три человека – на мосту через Дунай, к которому подъезжал кортеж Гитлера.

Ответ. – У вас неверная информация. Я никогда не давал приказов на чей-либо арест. Я находился в центральном бюро полиции, где по карте отмечалось – метр за метром – следование кортежа... Информацию мы получали ежеминутно от постов слежения, расположенных по улицам, выбранным для проезда Гитлера. За двадцать минут перед тем, как фюрер должен был оказаться на мосту, я получил сообщение, что австрийские СС арестовали три подозрительные личности, которые, как предполагалось, должны были взорвать мост, заминированный этой ночью... Так что их арест был осуществлен не по моему приказу... Я знал, что фюрер не любит, когда меняются маршруты его проездов, это бы поставило меня в крайне невыгодное положение, поэтому я отправился на мост, успел просмотреть, нет ли где бикфордова шнура, убедился, что опоры не минированы, но на всякий случай проехал в десяти метрах перед машиной Гитлера. После этого я вернулся в центральное полицейское бюро...

Вопрос. – Какова судьба трех арестованных австрийцев?

Ответ. – Той же ночью прилетел Мюллер. Он занимался подобного рода делами. Он, не я.

Вопрос. – К тем людям были применены пытки?

Ответ. – Повторяю, я никогда не вникал в суть работы Мюллера.

Вопрос. – Но вы допускаете возможность применения пыток?

Ответ. – Мюллер – садист... Он мог применять пытки, хотя они были запрещены уставом министерства внутренних дел.

Вопрос. – А уставом гестапо?

Ответ. – Тоже.

Вопрос. – Как долго вы работали в Вене?

Ответ. – В мае я был отправлен в Италию, поскольку туда вылетал Гитлер, чтобы нанести визит Муссолини и, таким образом, положить конец измышлениям западной прессы о разногласиях, возникших между дуче и фюрером в связи с аншлюсом Австрии.

Вопрос. – Вас отправили в Рим одного?

Ответ. – Нет... С Мюллером.

Вопрос. – Чем занимался Мюллер?

Ответ. – Он занимался всей текущей работой, проверкой маршрутов, выявлением неблагонадежных лиц, проживавших на тех улицах, где должен был проезжать Гитлер. Я же налаживал политические контакты с секретной службой Муссолини.

Вопрос. – Кто был с вами еще во время этой командировки?

Ответ. – Штурмбанфюрер Шторх и майор Гаузнер.

Вопрос. – Во время этого визита итальянская полиция провела более шести тысяч превентивных арестов... В тюрьмы были брошены жены и дети людей левых убеждений. Кто был инициатором этой бесчеловечной акции?

Ответ. – Мюллер. Я привез с собою восемьдесят наиболее талантливых сотрудников политической разведки, которые осуществляли контакт с итальянской пограничной и паспортной службами. Я также отправил в Рим пятьсот лучших лингвистов, занимавшихся романской филологией, в качестве туристов. Они были организованы в тройки, каждому была вменена в обязанность совершенно конкретная задача: налаживание знакомств с офицерами секретной полиции дуче, завязывание контактов с женщинами света, имеющими по своему положению доступ к информации, а также постоянное наблюдение за всем тем подозрительным в домах и на улицах, что может затруднить проведение дружеского визита фюрера. Главная цель Муссолини в то время сводилась к тому, чтобы продемонстрировать Гитлеру единство нации, преданной идеалам фашизма. Ему это удалось в полной мере, ибо Гитлер прежде всего обращал внимание на то, как ведут себя толпы на улицах, он был человеком чувства, считал себя обладающим даром провидения. Единственный инцидент произошел не по нашей вине, и это стоило отставки моему доверенному информатору, офицеру протокола штаба фюрера фон Бюлов-Швандте; дело в том, что Гитлер переоделся в вечерний костюм, ибо сразу же после приема почетного парада в Неаполе он вместе с королем должен был отправиться в оперу. Однако король был в военной форме. Гитлер уволил фон Бюлов-Швандте сразу же после этого парада, отправив послом в Бельгию, что было для меня большой потерей.

Вопрос. – Что значит «доверенный информатор»? Вы имели право вербовать агентуру в ближайшем окружении Гитлера?

Ответ. – Речь идет не о той агентуре, которая подразумевается в обычном смысле этого слова. Конечно, это было бы безумием вербовать человека из окружения фюрера, это бы стоило мне головы. Но фон Бюлов-Швандте был человеком из хорошей семьи, с прекрасным образованием, значит, ему было чего бояться...

Вопрос. – Я не понял вас... Поясните, что вы имеете в виду?

Ответ. – Дело в том, что он был широко образованным человеком, его отец придерживался старых традиций, истинный аристократ... Следовательно, в семейном кругу нет-нет да возникали разговоры о том ужасном, что нес с собою Гитлер. Наутро после таких разговоров людей начинал прямо-таки разъедать страх. Слухи о гестапо, как всезнающей организации, распространявшиеся в первую очередь Гейдрихом, делали свое дело. Многие из такого рода аристократов предпринимали все, чтобы заручиться дружбой с людьми моей профессии... Этим они как бы получали индульгенцию на искупление тайных грехов. Лишь так я могу объяснить то, что фон Бюлов-Швандте делился со мною многим из того, что происходило за закрытыми дверьми имперской канцелярии. Между нами был заключен молчаливый договор: он снабжает меня информацией, которая поможет мне ориентироваться в том, что происходит в кабинете Гитлера, а я обеспечиваю покровительство семье фон Бюлова в моем ведомстве. Впрочем, об этом даже не надо было договариваться, условия сделки разумелись сами по себе. В условиях того времени многое решал не Гитлер и не Гиммлер, а их окружение... Именно оно могло вывести человека из-под удара, а могло и подвести под сокрушительный удар... Фюрер был довольно отходчивым человеком... По прошествии нескольких недель после вспышки гнева Гиммлер – если я успевал его подготовить к разговору – легко добивался у фюрера того, что было выгодно мне и моему делу... Так, кстати, случилось впоследствии и с фон Бюловом... Гиммлер попросил у Гитлера разрешение использовать опыт фон Бюлова по вопросам протокола в нашем представительстве в Лондоне... Гитлер только посмеялся: «Он заставит нашего посла явиться на прием к королю в спортивном костюме»...

Вопрос. – Значит ли это, что фон Бюлов выполнял в Лондоне шпионские задания?

Ответ. – Я бы так не ставил вопрос. Что значит «шпионские» задания? Конечно, он передавал мне наиболее интересную информацию, связанную с расстановкой сил в вашем кабинете, особенно накануне прихода сэра Уинстона. Фон Бюлов имел обширный круг знакомств в Лондоне, его информация была такой, которая соответствовала действительности, не выдавала желаемое за факт, не следовала программе фюрера, высказанной им накануне. Ужас тоталитаризма в том и заключался, что дипломаты и наша служба должны были порою идти против очевидного только потому, что это было угодно доктрине, сформулированной Гитлером. Однако именно мое подразделение отвоевало себе право сообщать Гиммлеру правду, невзирая на точку зрения фюрера.

Вопрос. – С кем из англичан более всего общался фон Бюлов – в плане получения конфиденциальной информации?

Ответ. – Мне трудно ответить на этот вопрос. Я должен познакомиться с документами, которые я отправлял Гиммлеру. Естественно, фон Бюлов ничего не писал мне, я не смел унижать человека его уровня работой рядового осведомителя. Однако если вы дадите возможность посмотреть мои доклады той поры, я смогу припомнить те имена, которые порою приходилось скрывать псевдонимом. Например, Фредди Краус, которого мы подвели к семье сэра Уинстона через Жаклин де Брогли, работал под псевдонимом «Племянник», а саму Жаклин мы называли «Красотка»...

Вопрос. – Об этом узле мы будем говорить в другой раз. Пока что продолжайте показания о вашей заграничной работе, о контактах, связных, резидентах.

Ответ. – Наиболее сложной была операция в Венло...

Вопрос. – Расскажите об этой операции подробнее.

Ответ. – Гейдрих вызвал меня к себе и сказал, что наши люди наладили в Голландии – уже после того, как между Германией и Англией формально шла война, – контакт с британской секретной службой. Он передал мне папку с совершенно секретными документами и предложил изучить ее в такой степени, чтобы наутро я внес предложения по развитию операции на ближайшее будущее. Суть дела сводилась к тому, что наш агент Ф-479...

Вопрос. – Его фамилия?

Ответ. – Я знал его только по номеру.

Вопрос. – Насколько серьезен был уровень этого агента?

Ответ. – Самый высокий уровень... Он был политическим эмигрантом, жил в Голландии с момента прихода к власти Гитлера, а потом начал сотрудничать с нами... Именно он установил контакт с британской секретной службой...

Вопрос. – По чьему указанию?

Ответ. – Думаю, это была его инициатива. В отличие от Гиммлера и Гейдриха я всегда поощрял инициативу секретных агентов, полагая, что моим сотрудникам более целесообразно включаться в операцию уже после того, как проведена вся подготовительная работа... Он дал понять английской секретной службе, что в Германии существует генеральская оппозиция в вермахте. Это заинтриговало Лондон, ваши люди стали интересоваться, нет ли среди оппозиции людей, способных организовать путч против Гитлера... Как раз после того, как агенту был задан такой вопрос, Гейдрих и предложил мне возглавить руководство операцией.

Вопрос. – Вы не допускаете мысли, что идею о генеральской оппозиции придумал сам Гейдрих?

Ответ. – У меня нет таких фактов.

Вопрос. – Какова дальнейшая судьба агента Ф-479?

Ответ. – Не знаю.

Вопрос. – Кто его вербовал?

Ответ. – Не знаю.

Вопрос. – Продолжайте.

Ответ. – Я сказал Гейдриху, что намерен сам встретиться с

английской секретной службой в Голландии. Он одобрил мой план. Я получил документы на имя капитана транспортного управления генерального штаба Шэмэла. Для этого настоящий капитан Шэмэл был отправлен в инспекционную поездку в Польшу, а я приступил к изучению всех материалов, собранных на него. День я потратил на то, чтобы научиться носить монокль, которым постоянно пользовался капитан. Это оказалось не очень трудным делом, поскольку у меня было плохо со зрением, особенно в правом глазу. В Дюссельдорфе, на нашей конспиративной квартире, я вживался в образ Шэмэла, а также сочинял легенду оппозиционной генеральской группы. Двадцатого октября тридцать девятого года я получил шифротелеграмму от нашего агента, что встреча должна состояться завтра, в пограничном Цутфене, в Голландии. Ночью позвонил Гейдрих: «Я даю вам полную свободу рук во время переговоров с англичанами». Меня сопровождал один из моих сотрудников, державший на связи Ф-479, вполне квалифицированный специалист, но весьма рассеянный, что едва не стоило нам жизни. Мы выехали двадцать пер...

Вопрос. — Фамилия вашего сотрудника?

Ответ. — Кажется, Краузе.

Вопрос. — Не помните точно?

Ответ. — У меня были тысячи сотрудников... По-моему, Краузе... Итак, мы прибыли в Цутфен, там меня ждал большой черный «бьюик», в котором сидел человек, представившийся капитаном Бестом из английской разведки. Он пригласил меня в свою машину, мой сотрудник поехал следом; Бест оказался прекрасным, располагающим к себе собеседником, тем более он был скрипачом, я музицировал с детства, поэтому у нас очень скоро наладился вполне дружеский контакт. О деле он не говорил до тех пор, пока мы не встретились с майором Стевенсом и лейтенантом Коппенсом. Я сообщил им, что действительно представляю оппозиционную группу, которую возглавляет видный генерал, имя которого по понятным причинам я не могу открыть. Наша цель — смещение Гитлера. Моя задача — узнать позицию Британии: станет ли Лондон поддерживать контакт с новым правительством, контролируемым генеральным штабом вермахта? Если да, то готов сразу же сесть за стол переговоров, которые необходимы, чтобы выработать условия мирного договора между Германией и Британией после того, как фюрер будет устранен. Бест и Стевенс ответили, что правительство его величества приветствует желание группы военных устранить Гитлера и что мы можем рассчитывать на помощь со стороны Лондона в нашей работе. Однако детали соглашения между Берлином и Лондоном, которое последует после свержения Гитлера, было бы целесообразно обговорить в присутствии одного из руководителей оппозиции. «Можете ли вы организовать переход границы одному из ваших лидеров?» Я ответил, что приложу все усилия, чтобы сделать это. Тогда англичане предложили провести следующую встречу в их штаб-квартире, в Гааге, тридцатого октября, пообещав ознакомить нас с развернутыми предложениями не только министерства иностранных дел

Англии и Даунинг-стрит...[1] Я вернулся в Берлин, и Гейдрих повторил, что он дает мне полную свободу действий как в легендировании операции, так и в подборе кандидатов на «участие» в «заговоре генералов». Я поселился в особняке моего друга профессора де Крини, директора отделения психиатрии госпиталя Шаритэ; это были прекрасные дни тишины и отдыха; однажды, во время прогулки с профессором, и подумал, что он вполне может сыграть роль одного из «генералов-оппозиционеров», ибо он был полковником медицинской службы, родился в Австрии, в Граце, что придавало достоверность его неприязни к Гитлеру, оккупировавшему его страну. Де Крини согласился с моим предложением, я посвятил его в подробности плана, и мы отправились в Дюссельдорф, на мою конспиративную квартиру, чтобы подготовиться к встрече с британской разведкой и прорепетировать возможные аспекты предстоящих переговоров. Мы пробыли в Дюссельдорфе два дня и выехали в Голландию. Прибыв на место встречи со Стевенсом и Бестом, мы были задержаны голландской полицией, привезены в участок, подвергнуты самому тщательному обыску, чуть было не провалились, но чудом избежали этого благодаря случаю...

Вопрос. — Почему вы должны были провалиться?

Ответ. — Потому что при подготовке операции я уделял максимум внимания профессору де Крини, считая своего сотрудника вполне квалифицированным разведчиком, но, когда начался обыск и нас заставили открыть портфели, я, к своему ужасу, увидал у моего человека упаковку аспирина со штампом «главного санитарного управления СС». Счастье, что мой саквояж был уже досмотрен, я улучил момент, пока обыскивали де Крини, и съел эту упаковку.

Вопрос. — Сильно потели?

Ответ (смех допрашиваемого).

Вопрос. — Что было дальше?

Ответ. — По прошествии часа пришли Стевенс и Бест, сказали, что спутали дорогу. Прямо из полиции они забрали нас в дом Беста, где его очаровательная жена, прекрасная художница, дочь генерала Рееса, устроила ужин. Разговор был дружеским, стол прекрасным (я никогда и нигде не пробовал таких изумительных устриц), атмосфера — располагающая к откровенности. Правда, наш агент Ф-479, также приглашенный на ужин, очень нервничал, и мне казалось, это было заметно всем, сидевшим за столом. Де Крини вел себя прекрасно, он приковал к себе всеобщее внимание, сказался его австрийский лоск и шарм, хозяйка была в восторге от «старого господина». Тем не менее я чувствовал на себе постоянный изучающий взгляд Беста; когда я вышел в туалет, он неслышно прошел за мною и спросил: «Вы всегда носите монокль или временами?» Назавтра мы были приглашены на конспиративную квартиру британской секретной службы, которая работала в Голландии под прикрытием фирмы «Ханделс Диинст Феер континент» на Ниуве Уитлег, пятнадцать. Там мы обсудили все основные позиции.

Вопрос. — Какие именно?

[1] Даунинг-стрит — резиденция английского премьер-министра.

Ответ. – После того как генералы «свергают» Гитлера, мы объявляем о мире с западными державами, даем независимость Польше, Австрии и Чехословакии, возвращаемся к системе золотого стандарта в экономике, но, со своей стороны, просим рассмотреть в положительном плане вопрос о передаче Германии ее колоний, отторгнутых в результате Версальского мира. «Это необходимо потому, – подчеркнули мы, – что немцы остро дискутируют вопрос о жизненном пространстве и вместо аннексий Гитлера было бы целесообразно поддержать наш режим, вернув немцам утраченные заморские земли». Бест и Стевенс согласились с нашей точкой зрения, предложив рассмотреть возможность провозглашения «мандатных территорий». Майор Стевенс связался по телефону с Лондоном и сообщил нам, что окончательно этот вопрос будет решен во время наших переговоров с лордом Галифаксом из министерства иностранных дел империи... Мы получили код на радиостанцию британской секретной службы и специальный номер «О-Н-4» в Гааге. Была достигнута договоренность, что я вместе с руководителем оппозиции приеду в Голландию на следующей неделе и полечу в Лондон для встречи с лордом Галифаксом и другими членами кабинета. Вернувшись в рейх, я постоянно поддерживал контакт с англичанами, их радио работало безукоризненно, однако, несмотря на мои постоянные запросы о продолжении работы, Гейдрих молчал, ни разу не соединившись со мною по телефону. Шестого ноября я – на свой страх и риск – снова отправился в Голландию на встречу с англичанами, сказав им, что среди руководства оппозиции продолжаются дискуссии по поводу условий для мирных переговоров с Лондоном. Англичане, чтобы «подтолкнуть» наших «оппозиционеров», заметили, что в случае, если война продолжится и возникнет реальная угроза немецкого вторжения, в Берлине не должно быть иллюзий: «Даже если Остров будет оккупирован, мы переберемся в Канаду и станем продолжать войну против нацистов до конца».

Вопрос. – Кто именно сказал вам эту фразу?

Ответ. – Я сейчас не могу вспомнить, кто именно произнес эти слова.

Вопрос. – Вы намеренно избегаете давать точные ответы?

Ответ. – Я как раз стараюсь быть предельно точным в своих показаниях.

Вопрос. – При каких обстоятельствах эта игра с Лондоном, задуманная, по вашим словам, Гейдрихом, претерпела изменение?

Ответ. – Я как раз и иду к этому. Я очень нервничал, поскольку Гейдрих прервал со мной контакты, то и дело звонил ему в бюро, опасаясь потерять связь с английской секретной службой. В разведке всякая затяжка подозрительна, комбинацию надо работать стремительно...

Вопрос. – Это ваша точка зрения? Или же таков был метод работы СД?

Ответ. – Это моя точка зрения и мой метод. К сожалению, в СД мой метод не встречал должного понимания. Даже Гейдрих опасался принимать самостоятельные решения, он всегда старался заручиться поддержкой Гиммлера, а тот, в свою очередь, ничего не пред-

принимал, не обсудив дело с фюрером, который очень увлекался работой разведки. Поэтому мы теряли драгоценное время и упускали инициативу. Фюрер далеко не так часто принимал Гиммлера, как это кажется, он тогда много времени уделял изучению архитектурных проектов Шпеера, следил за тем, что происходило в кино, внимательно наблюдал за литературой и живописью, тщательно готовил конспекты своих выступлений перед нацией... Поэтому решение вопроса с игрой против Стевенса и Беста затягивалось, окончательного одобрения фюрера все еще не было, но я – на свой страх и риск – нашел крупного фабриканта, который согласился поехать со мной в Голландию в качестве главы «оппозиции», и начал с ним репетиции...

Вопрос. – Как фамилия этого человека?

Ответ. – Это вполне уважаемый господин, который не был членом партии и не состоял в СД...

Вопрос. – Он был вашим агентом?

Ответ. – Такого уровня людей мы не привлекали в агентуру. Он был моим добровольным помощником.

Вопрос. – Значит, он поддерживал режим Гитлера?

Ответ. – Тогда все поддерживали режим Гитлера.

Вопрос. – Как фамилия этого промышленника?

Ответ. – Доктор Вестрик.

Вопрос. – Это тот доктор Вестрик, который посетил в США в качестве европейского представителя ИТТ?

Ответ. – Нет. Его родственник.

Вопрос. – Вестрик из ИТТ был вашим агентом?

Ответ. – В том смысле, как вы ставите вопрос, не был. Он выполнял личные поручения Гиммлера и Риббентропа.

Вопрос. – Чьи поручения он выполнял чаще?

Ответ. – Чаще он работал на Риббентропа.

Вопрос. – Продолжайте.

Ответ. – Девятого ноября я принял снотворное – из-за нервного напряжения, вызванного странным молчанием Гейдриха, разыгралась бессонница – и уснул очень рано, в десять часов. В полночь меня разбудил телефонный звонок. Я не понял, кто звонит в такое время, и сердито спросил, какого черта меня будят и кто посмел это сделать. Вежливый голос сухо ответил, что посмел это сделать «рейхсфюрер Гиммлер... Я звоню вам из поезда Гитлера, только что мы узнали о покушении на фюрера в пивном подвале «Бюргерброй», множество ветеранов движения убиты и ранены. Ясно, что это работа британской секретной службы. Вы должны прекратить свою игру с Бестом и Стевенсом, а вместо этого обязаны выкрасть их обоих. Ясно?» – «Ясно, но...» – «Никаких «но»! – отрезал Гиммлер. – Это приказ фюрера, который не подлежит обсуждению». Через два дня было организовано похищение Беста и Стевенса в Венло, возле границы, где я уговорился ждать их в кафе; наши машины сбили пограничный шлагбаум, а люди Мюллера вытащили из «бьюика» Стевенса и Беста; лейтенант Коппенс, оказавшийся работником голландского генерального штаба, был убит во время перестрелки...

Вопрос. – Кто планировал похищение?

Ответ. – Я выполнял приказ Гиммлера.

Вопрос. – Считаете ли вы, что покушение на Гитлера в «Бюргерброе» было специально подстроено Гейдрихом или кем-то иным из СД?

Ответ. – Этот вопрос занимал меня многие месяцы... Однако до сих пор я не могу дать определенного ответа...

Вопрос. – Вы участвовали в расследовании покушения?

Ответ. – Да.

Вопрос. – Изложите.

Ответ. – Через три дня после захвата Беста и Стевенса я прибыл в Берлин и доложил Гиммлеру обстоятельства, связанные с переговорами, которые я вел с британской секретной службой в Голландии...

Вопрос. – Гиммлер спрашивал вас о том, предлагали ли Бест и Стевенс убить Гитлера?

Ответ. – Точно я не помню... Во всяком случае, в моем рапорте на его имя я не касался этого вопроса.

Вопрос. – Но вы допускаете возможность такого рода интереса Гиммлера?

Ответ. – Допускаю. Однако я должен со всей определенностью утверждать: я и тогда настаивал на том, что Бест и Стевенс не связаны с покушением на жизнь фюрера.

Вопрос. – Вы допускали возможность того, что покушение готовили другие сотрудники «Интеллидженс сервис»?

Ответ. – Лично я такого мнения никогда не высказывал.

Вопрос. – Ни в разговорах, ни в письменных отчетах?

Ответ. – В разговорах я, быть может, и говорил нечто подобное, но для того лишь, чтобы спасти Беста и Стевенса, поскольку Гитлер прямо заявил Гиммлеру, что именно англичане готовили покушение, а непосредственными организаторами его были Бест и Стевенс.

Вопрос. – Гитлер сказал об этом после того, как вы похитили Беста и Стевенса?

Ответ. – Их похищала ударная бригада СС. Меня нельзя назвать автором операции, я не принимал в ней непосредственного участия, приказ пришел от Гиммлера.

Вопрос. – Речь идет не о степени вашей вины, Шелленберг. Напрасно вы так осторожничаете. Я облегчу ваше положение: нас интересует главное – был ли Гитлер инициатором всей этой авантюры, задумал ли он ее заранее, подвел ли Гейдрих, по его указанию, агента Ф-479 к нашим людям в Голландии, чтобы организовать после этого спектакль с «покушением» на его жизнь?

Ответ. – Я не исключаю такой возможности, потому что, когда Гиммлер привез меня в рейхсканцелярию и Гитлер вручил участникам операции Железные кресты первого класса, он прямо сказал, что необходимо сделать открытый процесс, пригласив прессу всего мира, на котором Бест и Стевенс расскажут о том, как они готовили покушение на его жизнь, выполняя указание сэра Уинстона Черчилля. Мне кажется, это позволило бы Гитлеру организовать пропаганду на Остров таким образом, чтобы англичане поняли: как только Черчилля уберут из правительства, как только на его место придет «честный политик,

отвергающий террор и диктат», он, Гитлер, готов сесть с Лондоном за стол мирных переговоров. При этом Гитлер постоянно говорил, что Отто Штрассер, брат его бывшего друга, одного из создателей НСДАП Грегора, расстрелянного по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу врагов нации (что, конечно, было чушью, совершенно понятная борьба за власть, ревность к Штрассеру, который пользовался влиянием среди «старых борцов»), был именно тем человеком, который, сумев сбежать из рейха, работал рука об руку с секретной службой англичан... Когда по прошествии нескольких дней был задержан некий Эслер, пытавшийся перейти границу в районе Базеля, Гитлер позвонил Гиммлеру и сказал, что именно этот человек и готовил по заданию англичан взрыв в «Бюргерброе», цепь очевидна: из Лондона – через Гаагу – в Мюнхен; штаб террора в доме Беста и Стевенса, наводчик – Отто Штрассер, исполнитель – Эслер. Гитлер приказал применить к Эслеру высшую степень устрашения и добиться «правдивых показаний». Гитлер постоянно торопил Гиммлера и Гейдриха, а те перевалили ответственность за расследование на меня, причем Гейдрих порекомендовал мне зайти к шефу гестапо Мюллеру и постараться выработать с ним общую линию. Я пришел в кабинет группенфюрера, он выглядел очень усталым, видно было, что не спал всю ночь. «Допросы идут беспрерывно, – сказал он, – Бест и Стевенс отрицают свое участие в покушении, Эслер несет какую-то ахинею, он из породы фанатиков, говорит, что уже год мечтал разорвать фюрера в клочки». Я заметил, что считаю ошибочной попытку организовать спектакль, в котором будет разыграна версия «английского заговора» против Гитлера, во главе которого стояли Бест и Стевенс. «Эти люди, – сказал я, – сколько я мог их понять во время наших встреч, не станут статистами в трагикомедии суда, они не будут говорить то, что им напишут наши «драматурги». Мюллер ответил в том смысле, что они станут говорить все, что будет для них написано, «я это сумею сделать, допросы с устрашением, наркотики, врачи-психиатры, гипноз, все это у меня в руках, но Эслер относится к числу фанатиков, он псих, его может понести на процессе, из четырех лучших гипнотизеров только один смог его успокоить, да и то лишь на полчаса. Если бы процесс был закрытый, можно было б почаще объявлять перерывы, мы бы с ним работали в это время, но ведь фюрер хочет открытого спектакля. Это рискованно». Я сказал, что намерен говорить об этом с Гитлером. Мюллер только усмехнулся: «У Гиммлера и Гейдриха этого не вышло, попробуйте, я только скажу вам спасибо, сейчас именно тот случай, когда наши интересы смыкаются».

В тот же день я был принят Гитлером и доложил ему свои соображения. Он был разгневан, но сдержался, а когда пригласил всех на обед, сказал Гиммлеру: «Ваш Шелленберг не верит в то, что именно его Бест и Стевенс руководили Эслером». Гиммлер ответил, что он знает об этом, что пока еще не удалось получить доказательств прямой связи Беста и Стевенса с Эслером, видимо, англичане поддерживали с ним связь через «Черный фронт» Отто Штрассера, поскольку Эслер все-таки признался в том, что контактировал с двумя неизвестными, которые передали ему взрывчатку... «Мы сможем, – заключил Гиммлер, – доказать лишь то, что бомба была изготовле-

на для Эслера за рубежом». Гитлер долго молчал, а потом обратился к Гейдриху: «Я требую, чтобы все они заговорили. Применяйте все, что угодно, но они должны сказать то, что я хочу услышать, то есть правду». Однако по прошествии трех месяцев он переключился на другую идею, и я вздохнул с облегчением...

Вопрос. – Что это была за идея?

Ответ. – Точнее говоря, их было две. Первая – похищение герцога Виндзорского, а вторая – убийство или похищение Отто Штрассера.

Вопрос. – Мы вернемся к этим вопросам во время следующего допроса. Пока что у меня есть ряд уточняющих замечаний. Вы знакомы с той речью, которую фюрер произнес в пивном зале в Мюнхене за полчаса перед покушением?

Ответ. – Если мне не изменяет память, он говорил в этой краткой речи о том, что рейх стоит на пороге долгой кровавой войны, войны не на жизнь, а на смерть, и новый четырехлетний план, который он поручил разработать Герингу, сделает Германию военным лагерем.

Вопрос. – Вас не удивил тон этой речи?

Ответ. – Удивил.

Вопрос. – Объясните почему?

Ответ. – Потому что два месяца, прошедших после окончания войны против Польши, были отмечены пропагандистской кампанией, которую проводил в прессе и на радио рейхсминистр Геббельс... Смысл сводился к тому, что фюрер подготовил мирные предложения Западу, вот-вот будет подписан договор с Лондоном, который подведет черту под войной и настанет эра процветания Германии. Речь фюрера в Мюнхене прозвучала как неожиданный диссонанс всему тому, что печаталось в наших газетах.

Вопрос. – Как вы считаете, эта речь была неожиданностью для Гиммлера и Геббельса?

Ответ. – О Геббельсе я ничего не могу сказать, но Гиммлер – все то время, пока шло расследование обстоятельств покушения, – был в подавленном состоянии... Иногда мне даже казалось, что он чем-то испуган.

Вопрос. – Чем именно?

Ответ. – Я затрудняюсь ответить.

Вопрос. – Хорошо, тогда я сформулирую этот же вопрос иначе. Кто утверждал кандидатов, приглашаемых на традиционную встречу ветеранов с фюрером в мюнхенском «Бюргерброе»?

Ответ. – Я незнаком с этим вопросом, но мне кажется, что приглашения утверждала канцелярия Гитлера, а уж затем списки передавались начальнику управления охраны фюрера.

Вопрос. – Как его фамилия?

Ответ. – Выскочила из памяти... Я скажу вам позже...

Вопрос. – Он подчинялся Гиммлеру?

Ответ. – Формально – да.

Вопрос. – А фактически?

Ответ. – Фактически – Гитлеру. И в определенной мере Гессу и Борману.

Вопрос. – Кто распределял места в «Бюргерброе»?

Ответ. – Начальник охраны фюрера.

Вопрос. – Как вы объясните тот факт, что в первые ряды были посажены люди, очень близкие – в прошлом – к Рему и Штрассеру? Как объяснить тот факт, что от взрыва погибли именно те ветераны, которые находились под наблюдением специальной службы Мюллера, который прослушивал их телефонные разговоры и перлюстрировал корреспонденцию? Как вы объясните, наконец, и то, что на этот раз фюрер произнес столь короткую речь и не остался, как обычно, в подвале, а сразу же сел в поезд и уехал из Мюнхена? Мы провели исследование: это была беспрецедентно короткая речь, ни до, ни после он никогда не произносил такой краткой речи...

Ответ. – Вы полагаете, что покушение было организовано самим Гитлером?

Вопрос. – Нас интересует ваше мнение по этому вопросу.

Ответ. – Гиммлер рассказал мне, что, когда фюрер узнал о взрыве бомбы, которая подняла к потолку ту трибуну, на которой он стоял, убила девять и изуродовала сорок ветеранов движения, он чуть не заплакал, сказав: «Как всегда, провидение спасает меня, ибо я нужен нации!» Зачем фюреру нужно было организовывать такого рода спектакль? Чтобы наработать себе популярность? Но он и так был в ту пору чрезвычайно популярен в народе. Зачем еще?

Вопрос. – Затем, чтобы положить конец мечтам о мире. Такое вы допускаете? Вы же помните, что пресса той поры обещала немцам мир... Может быть, Гитлер хотел доказать, что англичане, которые готовят на него покушение, должны быть уничтожены и для этого надо идти на любые жертвы? Может быть, вы и ваша работа по Бесту и Стевенсу, начавшаяся незадолго перед покушением, были звеньями его плана?

Ответ. – Мне трудно в это поверить.

Вопрос. – А в то, что истинным организатором покушения – если вы считаете, что не Гитлер был инициатором этого «второго рейхстага», – был Гиммлер?

Ответ. – Нет. Он тогда не мог пойти на это. Я помню, как он колебался в апреле сорок пятого, когда я умолял его сместить фюрера, я знаю его нерешительный характер, нет, я не думаю, что он тогда мог пойти на это...

ШТИРЛИЦ (Мадрид, октябрь сорок шестого)

– Вы очень напряжены, – сказал американец, – напрасно... Не бойтесь.

– Я боюсь только дурного глаза, – ответил Штирлиц.

Американец рассмеялся:

– Неужели верите в дурной сглаз? Не поддавайтесь мистике.

– Так все же в какой ресторан вы намерены меня пригласить?

– В тот, где хорошо кормят. Сытно. И разнообразно... Вы очень напряжены, я вижу. Да? Вам ничего не грозит, поверьте.

Штирлиц усмехнулся:

– Поверить? А это по правилам?

– Вообще-то – нет, но мы – исключение.

– Как я стану теперь жить без документов? – спросил Штирлиц, поняв, что тот полицейский не зря ждал их в машине; кому-то был очень нужен его документ, единственный, удостоверяющий личность доктора Брунна и его право на проживавие в Испании сроком на шесть месяцев.

– Жить трудно, – согласился американец, – но существовать можно вполне.

«Я проиграл время, – сказал себе Штирлиц, – а это единственно невосполнимый проигрыш. Я проиграл его, пока лежал без движения, потому что именно в те месяцы Белый дом повернул направо, русские снова стали «угрозой для человечества», коммунистов в Америке посмели назвать «агентами иностранной державы», а их деятельность объявили враждебной».

ГЕЛЕН (осень сорок пятого)

Вернувшись в Германию на американском военном самолете, Гелен поселился в Мюнхене; его контакт от Си-Ай-Си[1], с которым Даллес свел его еще за ужином в Вашингтоне, предложил службе генерала виллу в непосредственной близости от штаб-квартиры американских оккупационных сил, изъятую у семьи арестованного СС обергруппенфюрера Поля.

– Да что вы! – мягко улыбнулся Гелен. – Разве можно афишировать нашу дружбу... Зона полна коммунистическими элементами, все левые подняли голову... Нам следует поселиться вдали, подальше от злых глаз... Если русские узнают, что мы работаем вместе, – ждите большого скандала, они не преминут заявить, что генерал Гитлера учит Америку нацистскому антикоммунизму...

Тем же вечером, вернувшись с конспиративной квартиры, где проходила встреча с контактом, Гелен сказал своему помощнику Курту Мерку – в свое время тот возглавлял подразделение абвера на юге Франции:

– Пошли побродим, засиделся, тела не чувствую...

Они вышли на маленькую улицу, где теперь жил Гелен, отправились к Английскому парку по дорожке, устланной ржавыми дубовыми листьями; осень была теплой, дети купались и в октябре, воистину «мир сошел к человецем».

– У меня дома американцы натыкали аппаратуру, – пояснил Гелен. – Сделали это довольно красиво, но мой Генрих – все-таки он специалист высшего класса – выявил все точки; они пролезли даже в ванную комнату, понимая, что там – самое удобное место для тайных разговоров. Так что беседовать будем во время прогулок, давайте замотивируем это советом доктора – отложения солей, необходим двухчасовой моцион, пусть он запишет это в историю болезни, документ...

– Трудно работать, ощущая к себе постоянное недоверие, – заметил Мерк.

[1] Си-Ай-Си – специальная служба военной разведки США *(англ. сокр.)*.

Гелен глянул на него удивленно:

— А как бы вы поступили на месте американцев? Так же. Если еще не круче. Я, например, — допусти нашу победу над ними — посадил бы их в охраняемую виллу, не выпускал бы никуда, использовал как аналитиков и расчетчиков операций, не более того. Благодарите бога, что мы живем так, как живем, это оптимальный вариант, американцы — большие наивные дети, которые, увы, скоро повзрослеют...

Мерк улыбнулся:

— Благодарить надо не бога, а вашего друга Аллена Даллеса.

Гелен покачал головой:

— Нет, бога, потому что он свел меня с ним...

— Ладно, поблагодарим, хотя я в бога не верю.

— Только не говорите об этом американцам. Они даже на монетах чеканят: «В бога мы верим». Как-то, правда, не очень корреспондируется с постулатом Библии о том, что надо изгнать торговцев из храма, но они победители, а их, увы, не судят. Судят нас. Именно в этой связи, дорогой Мерк, необходимо наладить очень аккуратный контакт с Нюрнбергом... Конкретно — с теми адвокатами, которые приняли на себя тяжкое бремя защиты нашей армии и правительства рейха... А также — как это ни покажется странным — гестапо... Мы должны помочь нашим адвокатам в построении стратегии их защитительных речей...

— Вы намерены помогать защите гестапо? — Мерк удивился. — Думаете, это возможно?

— Невозможно. Однако это облегчит участь армии и правительства, работа на контрастах. А мы с вами к тому же обязаны думать впрок. Немцам вскорости понадобится секретная полиция по наблюдению за левыми. Именно эту мысль мы и должны аккуратно заложить в речи адвокатов. Очень тактично, сдержанно, при явном осуждении гестаповского злодейства и бесчеловечности...

— В таком случае, почему вы не просите меня наладить контакт с тем, кто защищает партию? — усмехнулся Мерк.

— Нам не нужна нацистская партия. Ее цели — я имею в виду антикоммунистическую и антирусскую устремленность — нужно и можно достичь совершенно иным способом... Об этом, однако, позже. Итак, первая позиция — адвокаты Нюрнберга. Вторая позиция: в Марбурге, на Барфюссерштрассе, живет доктор Мертес... Это ваш старый сослуживец и добрый знакомый... Его подлинное имя Клаус Барбье. Я хочу, чтобы вы встретились с ним... И назначили ему место и время, где мы увидимся. Он и я. Вы обеспечите охрану. Продумайте, что нужно сделать, — Гелен внимательно посмотрел на Мерка, — чтобы ни один американец никогда и ни при каких обстоятельствах не узнал о факте этой встречи.

...Встреча состоялась в субботу, в Альпах, на самой границе со Швейцарией; Гелен — по предписанию докторов — начал совершать не только ежедневные двухчасовые моционы, но и воскресные поездки в горы; максимум нагрузок, ночевка под открытым небом, в

спальном мешке, горный воздух целит все болезни.

Мерк, знавший Барбье в ту еще пору, когда тот возглавлял лионское гестапо (помогал ему в выявлении английских разведчиков, евреев и русских пленных, сбежавших из концлагерей; коммунистами занимался сам Барбье, никого к ним не допускал, докладывал об акциях лично Гейдриху, а потом Кальтенбруннеру), случайно встретил его на вокзале в Меммингене, задел рукой, извинился и, подняв шляпу, шепнул:

– Зайдите в туалет.

Там, возле писсуаров, Мерк беззвучно, одними губами, сказал:

– Соблюдая полнейшую конспирацию, тщательно проверившись, явись в отель «Цур пост» во Фрайбурге десятого числа; приедешь базельским поездом; сядешь в Бонне в третий вагон с конца, нам так будет удобнее посмотреть, нет ли за тобой хвоста. Если мы увидим чужих, рядом с тобою устроится женщина в синем берете. Это сигнал тревоги, в отель не ходи.

По худому лицу Барбье пробежала улыбка:

– Начинаем, слава богу... Я так ждал этого, Мерк...

Наблюдение, пущенное людьми Гелена за Барбье, в тот раз ничего тревожного не установило, «объект чист»; в «Цур пост» его ждал Мерк, получив информацию, что и за ним самим сегодня никого нет, сумел оторваться от американцев еще на выезде из Мюнхена, обычно его пасли весьма тщательно.

Из Фрайбурга выбрались вечером, один из друзей Отто Габсбурга, отпрыска австро-венгерских монархов, подвез на своем «майбахе» до той деревеньки, откуда начиналось восхождение; в горы отправились ночью; на рассвете добрались до хижины, возле которой Гелен уже разбил свой лагерь.

– Спасибо, Мерк, – сказал Гелен, гревшийся у костра. – Ложитесь спать, вы совершенно вымотанный, даже глаза запали. Можете взять у меня в рюкзаке шоколад, американцы пичкают им меня, а я его ненавижу.

Гелен поднялся; по-прежнему, не глядя на Барбье, пошел по лугу к подъему; ночные холода делали высокие травы особенно пахучими, явственно ощущался аромат желтого жидкого меда, панацея от всех хворей, альпийское разнотравье, что может быть прекрасней и живительнее?!

На краю обрыва, возле серых валунов, он резко остановился и заговорил, не оборачиваясь, зная, что Барбье идет следом:

– Послушайте, Мертес, вы глупите на каждом шагу. Не считайте американцев наивными детьми, пусть в это верит на том свете ваш Геббельс...

– Наш Геббельс, – поправил его Барбье.

Гелена это удивило, он медленно обернулся:

– Вы считаете возможным возражать мне?

– Бесспорно, – ответил тот. – Мы же теперь намерены строить новую, демократическую Германию, а демократия предполагает всеобщее равенство и право каждого на защиту своей точки зрения.

— Ну и наглец, — протянул Гелен. — Да вы просто-напросто наглец, Мертес!

— Вы прекрасно знаете мою фамилию, господин Гелен. Ваш помощник работал со мною в Лионе, зачем вы так... Вы продолжайте, я вас слушаю самым внимательным образом.

— Да нет, таким, пожалуй, вы мне не нужны, я раздумал говорить с вами.

— А я нет. Вам придется говорить со мной, генерал, потому что оружия вы с собой не носите, Мерка я о щ у п а л, следовательно, убрать меня не сможете. Я спущусь вниз и — если меня возьмут американцы, которые, как сказал Мерк, за мною следят, — скажу им, что вы пригласили меня на конспиративную встречу. Тайком от них. С соблюдением всех мер предосторожности. Они двойной игры не любят. Как и мы.

— Это вы мне угрожаете, да? — осведомился Гелен, снова отвернувшись от Барбье. — Вот, значит, какой у вас метод. Хватко, но не результативно. Вы норовите взять свое нахрапом, наглостью. Но это вы могли делать с девками, которых подкладывали под тех, кто имел связи с партизанами в Лионе. Со мною такие фокусы не проходят. Перед тем как было решено пригласить вас на эту встречу, я положил в служебный сейф план операции по вашей вербовке, поскольку вы представляли интерес для американцев. Однако вы отказались от сотрудничества. Следовательно, я передаю все материалы на вас американцам и помогаю им в создании стройной системы доказательств вашей вины и обосновываю необходимость вашей выдачи Франции, где вами займутся люди Тореза. Это все. Идите вон.

Барбье долго молчал, потом, хрустнув пальцами, тихо сказал:

— Простите, генерал. Вы должны меня простить... Сейчас во всем винят только нас, «ваш Гитлер, ваш Геббельс», а все остальные, оказывается, только тем и занимались, что организовывали против них заговоры. А ведь это не так. Что мог без вас Гитлер и этот несчастный Геббельс? Да ничего... Нервы не выдерживают, появляется злость отчаянья... Простите, пожалуйста...

Гелен долго молчал; именно такие мне нужны, думал он; хваток и бесстрашен; законченный наглец; фанатично предан прошлому; не предаст, значит; гестаповские фокусы я из него выбью, научится светскости, это, в конце концов, не самое трудное.

— Где Зикс?

— В лагере.

Это был СС оберштурмбанфюрер, давний друг Барбье; именно он первым провел экспериментальное опробование душегубок; в Минск приехал Вальтер Рауф, и они задушили две тысячи советских детей, — сначала решили посмотреть, как это будет действовать на детские организмы; испытание прошло блестяще; Зикс написал рапорт в Берлин, всячески возносил изобретение Рауфа: никаких криков, никаких айнзацкоманд, расстрелов; от гетто до кладбища пять километров, за это время все задохнутся в кузовах, все тихо и конспиративно.

Когда из Берлина пришло поздравление, друзья устроили дружескую пирушку и отправили телеграмму Барбье: «Принимаем позд-

равления, желаем тебе счастья, твои братья». (После победы Зикс был арестован американцами и передан в руки правосудия; Гелен – после первой встречи с Барбье – обратился к американцам с просьбой выпустить Зикса для организации «оперативной работы по сопротивлению большевизму». Однако военные юристы восстали; из четырнадцати обвиняемых эсэсовцев десять были повешены; Зикса с трудом удалось избавить от петли; его освободили три года спустя – за «хорошее поведение»; на следующий день после возвращения в Мюнхен он был зачислен в штат «организации» Гелена как специалист по борьбе с «красным террором».)

– Где Манке?

– В лагере.

(Этого удалось вытащить через год; работал руководителем резидентуры в Западном Берлине, контактировал с литовскими и украинскими националистами.)

– Аугсбург?

– Эмиль?

– А что, есть еще какой-то?

– Нет, нет, я не знаю никого, кроме Эмиля.

– Ну так и отвечайте.

– Он на свободе.

– Это мне известно. Он принимает участие в вашей авантюре?

– В какой именно?

И тут Гелен обернулся.

– В той самой, – гневно сказал он. – В любительской. Два паршивых фанатика ездят по стране, пользуясь наивностью американцев, и, видите ли, собирают «старых борцов» из гестапо Мюллера и разведки Шелленберга, чтобы начать подпольную борьбу за великую Германию. На кого поднимаете руку, Мертес?! С сегодняшнего дня будете получать указания человека, который придет к вам от Мерка. Ни одного шага без его санкции не сметь предпринимать. Ясно?

– Да.

– Это что такое?! – Гелен снова обернулся; лицо, словно маска гнева. – Как вы отвечаете мне, борец за демократию! Я спрашиваю, вам ясно?

– Так точно, генерал!

На этом встреча закончилась; путь вниз, в долину, был для Барбье самым унизительным; он ощущал себя маленьким и жалким; понимая всю безнадежность положения, достал из бумажника десять долларов, купил бутылку вонючей водки, видимо, яблочная, плохой очистки, выпил ее, не закусывая, хотя взял из дома плоский пластмассовый пакетик с хлебом, намазанным маргарином; пошел на вокзал и, забившись в угол, заставил себя расслабиться, досчитал до трехсот и уснул.

Он не понял, сколько времени спал; вздрогнул, почувствовав, что рядом с ним сел кто-то. Глаз не открывал; ощущая тяжесть в висках и противную сухость во рту, подумал, что отдыхал он совсем недолго, обмен веществ с рождения был отменный, двух часов сна хватало на то, чтобы вывести из организма хмель, никаких последствий, ни головной боли, ни покалывания в печени; он ощущал на

себе взгляд того, кто сел рядом; человек казался ему очень большим; почему-то был убежден, что у него маленькие голубые глаза.

Глаза, однако, у его соседа — человека среднего роста — были черные, лицо — знакомое, где-то видел уже, только не мог вспомнить, где и когда.

— Так вот, по поводу инструкций, — сказал человек. — Тот, кто привел вас в горы, просил поместить в «Гамбургер нахрихтен» и в кёльнском «Курире» следующее объявление... Запоминайте, ни одно слово не может быть произвольно изменено: «По вполне доступной цене продается пленка для малогабаритных фотоаппаратов, типа «Лейка», «Засс» и «Квик». Обращаться по адресу: Кассель, Бисмаркштрассе, семь и Гамбург, Ауф дем Кёленхоф, два». Запомнили?

— Повторите, пожалуйста, еще раз.

Человек повторил.

— Теперь запомнил.

— Вы поняли смысл этого объявления?

Еще бы, подумал Барбье, только придурок не поймет; малогабаритные фотоаппараты марки «Засс» были на вооружении гестапо и региональных подразделений СД; никому в рейхе, кроме них, не позволялось держать эти фотоаппараты; ослушание каралось заключением в концентрационный лагерь. Понятно, по этим двум адресам, которые назвал ему человек Мерка, надо ждать гостей; люди гестапо и СД умеют читать между строк; сразу поймут: адреса в Касселе и Гамбурге — маяки. Ай да Мерк, ай да Гелен, лихо!

— Кто будет принимать наших товарищей по этим адресам?

— Это не ваша забота. Вам сообщат, если в этом потребуется необходимость. Дальше... Поставьте перед Эмилем Аугсбургом следующую задачу: поскольку у него есть контакты с мастерскими по изготовлению документов... Не возражайте, мы знаем все ваши адреса... Так вот, поскольку у него есть эти контакты, запросите у него подробный отчет о том, имеют ли его люди в своем распоряжении пишущие машинки с русским шрифтом?

— Имеют. Две, — ответил Барбье. — Не надо проверять меня на мелочах. Поскольку вы меня водите, судя по всему, не первый день, вам прекрасно известно, что этими русскими машинками Аугсбурга снабдил именно я.

— Одна из них русская, номер тридцать две тысячи сорок восемь?

— Не помню. Но, кажется, номер пятизначный.

— Эту машинку уничтожьте, вам ее подсунули. Когда сядете в поезд, вам передадут хорошую русскую машинку. Там же в чемодане будут деньги. Отчетность будете вести так, как вели в гестапо, учить, полагаю, не надо.

— Правильно полагаете.

— К вам поступает кое-какая информация из Берлина... Попробуйте сделать две-три дезинформации о том, как русские готовят свои войска для удара по «союзникам» с выходом на Ла-Манш. Аугсбург знает толк в русских делах, пусть сделает болванку, передадите мне, мы внесем свои коррективы. Сколько времени вам нужно для выполнения этого задания?

— За неделю попробуем управиться.

— Меня это устраивает. Мое имя Эрих Ульстер. Связь у нас пока что будет односторонняя, я стану звонить вам или же встречать вас каждую пятницу в булочной Пауля... В девять утра. Если я буду знать, что за одним из нас смотрят американцы, в контакт с вами не войду, ждите звонка или письма из редакции, вас попросят зайти для переговоров по поводу вашего объявления. Это значит, я жду вас на вокзале Фульды, возле касс, каждый четверг, в семь вечера.

Через неделю Гелен позвонил своему американскому контакту и попросил внеочередную встречу, срочно, сейчас же.

— У меня есть две чрезвычайные новости, — сказал Гелен, когда они увиделись. — Одна — горестная, начну с нее, потому что вторая, как понимаете, радостная...

— Я-то вообще предпочитаю начинать с радостного...

— Я — тоже, но дело заключается в том, что вы, возможно, захотите прервать нашу беседу и отправить мои горестные материалы в свой штаб, они того, увы, стоят.

И он передал американцу фальшивку Эмиля Аугсбурга — две машинописные странички русского текста; печать и подписи были сработаны на славу, товар «на сливочном масле».

— Я не понимаю, что здесь написано, — сказал контакт.

— Могу перевести. Но это будет весьма приблизительный перевод. Я решил отдать эту информацию вам, лично вам, чтобы именно вы могли ею оперировать. Это страницы из инструкции политотдела механизированного корпуса, расквартированного под Ростоком; замполитам даются рекомендации о работе среди личного состава в период броска к Ла-Маншу.

— От кого пришла информация? — спросил американец, поднимаясь. — Надежные источники?

— Мои источники надежны, — ответил Гелен, — я шваль не подбираю.

Американец позвонил в штаб, попросил срочно прислать двух автоматчиков, найти толкового переводчика с русского, срочно обработать документ и показать криминалистам на предмет исключения возможности подделки.

— Спасибо, генерал, — сказал американец. — Кто, кроме вас, знает об этом документе?

— Вы.

— Значит, это наша совместная работа?

— Нет, это ваша работа, — ответил Гелен.

— Генерал, милый, вы же прекрасно знаете, что и у вас, и у нас, да и вообще во всех разведках мира, одна система проверки: что я отвечу Вашингтону, если меня спросят, как ко мне попал этот сверхсекретный документ русских? Вы понимаете, что этот документ позволяет нам крепко прижать вашингтонских миротворцев, поэтому я должен назвать человека, который передал мне это.

— А вы назовете. Вы скажете, что ваши люди — замотивируйте это сегодня же — завербовали некоего Мертеса, не зная, что все дан-

ные на него находятся в одном из моих подразделений... Я, кстати, и сам этого не знал до сегодняшнего утра... Скажете, что для пользы дела и ввиду срочности информации вы не стали требовать у меня развернутой справки по этому самому Мертесу... Я ее подготовлю на днях, люди уже занимаются этим...

Около двери особняка заскрипели тормоза, и по тому, как яростно и шипуче они заскрипели, оба поняли, что приехали американцы.

Контакт передал своим автоматчикам л и п у (Гелен поразился тому, что он даже не заклеил конверт, какая безответственность, провалят агента в два счета, надо это запомнить, пригодится, пора подводить к ним своих людей в технический персонал, вполне можно работать), сказал, что приедет в штаб через два часа, и вернулся к столу, сервированному одними лишь фруктами и минеральной водой из Виши.

— Хорошая новость также связана с этим таинственным Мертесом, — продолжал Гелен. — Мои люди, правда, только сегодня показали мне проект операции, и я утвердил его, потому что он того стоит. Дело в том, что Мертес сумел объединить вокруг себя более восьмидесяти головорезов из службы Мюллера и Шелленберга. Эти люди готовы начать борьбу за возрождение рейха. Поскольку это не русская проблематика, я передаю вам все данные. Кстати, эта операция может вывести вас на тех, кем вы интересуетесь: на людей, которые платят деньги тем, кто смог бежать из рейха. Очень интересное дело. Так что можете ставить наблюдение за двумя квартирами: Кассель, Бисмаркштрассе, семь и Гамбург, Ауф дем Кёленхоф, два. Только просил бы вас об одолжении: не предпринимайте мер по ликвидации двух этих осиных гнезд фанатичных нацистов, не посоветовавшись со мною: кое-кого из тех, кто прилетит на огонек Мертеса, особенно из разведки Шелленберга, вполне можно использовать. Вам это делать неудобно, а я могу работать с ними, с меня взятки гладки...

Так Гелен з а л о ж и л секретной службе США своих конкурентов из СС и гестапо, избежавших ареста, получив при этом в свое пользование тех людей из службы Шелленберга, которые обладали богатым опытом разведработы против России, Польши и Чехословакии.

Конечно, он не был намерен отдавать американцам тех людей в Испании, Португалии и Латинской Америке, которые платили деньги «главному резерву будущего», всем тем, кто затаился, ожидая своего часа. Эти люди нужны ему, Гелену, его Германии. Он отдаст американцам только тех, в ком не заинтересован, слишком замаранных, пусть янки тоже испачкаются; высоких профессионалов разведки, осевших вне рейха, он берег для себя, наблюдая за каждым их контактом.

«В большом надо уметь жертвовать малым», — он часто повторял эти слова своим сотрудникам.

Пусть посидят в тюрьмах янки люди Мюллера; это, в конце концов, не Моабит и не Дахау, даже мясо дают и позволяют носить галстук. Все равно вытащит их оттуда он, Гелен. Ему они и будут бла-

годарны до конца дней своих. Только так: разделяй и властвуй, помни при этом, что в любом большом надо уметь жертвовать малым.

А уж после этого он засел – с карандашом в руке – за речь адвоката Меркеля, которую тот написал в защиту гестапо.

На первой странице речи Гелен после фразы «дело гестапо приобретает значение в связи с мнением обвинения, смысл которого заключается в том, что гестапо якобы было важнейшим орудием власти при гитлеровском режиме», предложил Мерку обсудить с адвокатом возможность включения такого рода пассажа: «Защищая гестапо, я знаю, каким ужасным позором покрыто это учреждение, я знаю, какой ужас и страх наводит это слово, знаю, какую ненависть вызывает оно».

На второй странице Гелен попросил убедить адвоката в необходимости включения в речь еще одного – крайне, с его точки зрения, важного – положения.

– Вопрос о коллективной вине, – пояснил Гелен своему помощнику, – это вопрос вопросов ближайшего будущего. Армию воссоздавать нам, больше некому. Кто пойдет в нее служить, в нашу новую армию, если в головы людей вобьют концепцию «коллективной вины»? Так что необходимо добавить: «Ошибочно утверждать, что человек может считаться виновным и привлекаться к ответственности уже потому, что он принадлежит к определенному объединению, не утруждая себя тем, чтобы расследовать каждый отдельный случай, чтобы выяснить, навлекло ли данное лицо лично на себя вину своими действиями или своим бездействием».

Мерк усмехнулся:

– Про «бездействие» многие поймут очень правильно, логичное оправдание собственной позиции в прошлом.

– Знаете, я не очень-то нуждаюсь в апостолах, – поморщился Гелен. – Поняли – и слава богу, зачем конферировать? Повторяю, мы закладываем фундамент будущего, а он должен быть прочным. Надо сделать все, чтобы уроком Нюрнберга стало не обвинение, но защита.

На четвертой странице Гелен предложил включить еще одну концептуальную фразу:

– Полицейские органы, в том числе и политическая полиция, ведут деятельность в области внутренних дел государства. Признанный международный правовой принцип запрещает вмешательство какого-либо государства во внутренние дела другой страны. Таким образом, и в этом направлении существуют сомнения относительно допустимости обвинения против гестапо.

Полистав экземпляр проекта речи Меркеля еще раз, генерал потер глаза, заметив, что с такого рода «слепым» документом работать трудно, губит зрение. Прежде чем продиктовать еще одну вставку, долго, тяжело, испытующе разглядывал лицо Мерка, словно бы впервые его встретил; так бывало у него; какая-то маска неподвижности ложилась на лоб, губы, подбородок; потом неожиданно, словно по команде, оживали глаза, становились прежними, все замечающими, цепкими буравчиками, а уже после появлялась тень улыбки, – значит, что-то решил, крайне для него важное.

– Не будете возражать, если попробуем протащить еще один пассаж? Он будет звучать так: гестапо было одним из государственных органов, а о сотрудниках какого-либо государственного органа нельзя говорить как о членах какой-либо частной организации. Поэтому сотрудники гестапо не являлись членами его, тем более добровольными, они занимали обыкновенные чиновничьи должности.

На вопрос, являлись ли цели и задачи гестапо преступными, следует ответить отрицательно. Целью гестапо, как и каждой политической полиции, являлась охрана народа и государства от покушения врагов на устои государства и его свободное развитие. В соответствии с этим задачи гестапо определены в параграфе I закона от 10 февраля 1936 года следующим образом: «Задачей гестапо является выявление всех антигосударственных действий и борьба с ними, сбор и использование результатов расследований, осведомление о них правительства, информация всех других органов о важных для них событиях и оказание им помощи».

А затем Гелен продиктовал вставку, которую он определил, как совершенно необходимую:

– При решении вопроса о том, следует ли считать гестапо ответственным за все действительно совершенные преступления, не должен остаться без внимания также тот факт, что члены этого учреждения действовали не по собственному побуждению, а по приказу. Лица, на которых падает обвинение, утверждают и могут это доказать свидетельскими показаниями, что при отказе выполнить полученный приказ им угрожало не только дисциплинарное наказание или потеря прав чиновника, но и концентрационный лагерь, а в случае службы в армии – военно-полевой суд и казнь. Разве это не причина для установления факта отсутствия вины?

Походив по кабинету, Гелен закончил:

– Выступление любого защитника – а на процессе такого рода тем более – оценивается в основном по началу и концу. У Меркеля размыто начало и совершенно аморфный конец. Порою целесообразно самим ударить своих же; жертвуй малым в большом: мы объективны, не боимся критики, потому что верим в будущее...

Пусть он заключит следующим... Да не пишите же, Мерк! Где ваша память?! Всего несколько фраз, запомните. «Я не ставил своей задачей оправдывать преступления тех отдельных личностей, которые пренебрегли законами человечности, однако невиновных я хочу спасти. Я хочу проложить путь такому приговору, который восстановит в мире моральный порядок».

– Стоит ли даже стараться вытаскивать гестапо, генерал? – снова спросил Мерк. – Это – битая карта. Гестапо надо топить.

– Верно, – согласился Гелен. – Чем доказательнее мы будем защищать чудовищ из гестапо, тем легче их будет привлекать к работе, во-первых, и тем надежнее наши шансы при защите армии и правительства рейха, во-вторых.

...Тем же вечером Гелен встретился с Латернзером, защитником группы генерального штаба. Беседовали с глазу на глаз, во время прогулки.

Гелен говорил медленно, словно бы вбивая в голову собеседника то, что ему представлялось основополагающим:

– Предав суду военного командира, послушно выполнявшего свой воинский долг по приказу своего правительства, за то, что действия этого правительства объявляются незаконными, а этот командир рассматривается как соучастник в деяниях правительства, обвинение тем самым возлагает на него обязанность контролировать законность политики своего государства, то есть в конечном счете делает такого военного командира судьей над политикой государства....Так как Гитлер умер, обвинение оставляет в тени его личность и ищет других людей, несущих ответственность. Но никто не может отрицать, что Гитлер сконцентрировал всю власть в империи в своих руках и тем самым принял на себя одного всю полноту ответственности. Сущность любой диктатуры в конце концов заключается в том, что воля одного человека является всемогущей и что все решения зависят исключительно от воли этого человека.

Сказанное не должно истолковываться как попытка избавить кого-либо от ответственности. Каждый немецкий генерал обладает достаточным мужеством для того, чтобы ответить за свои действия. Но если должна быть установлена правда, то нужно оценивать события так, как они действительно разворачивались, и положить их в основу для установления судебной истины. Лучшим доказательством того, что генералы не участвовали в планах Гитлера, является высказывание самого Гитлера: «Я не требую, чтобы генералы понимали мои приказы; я требую, чтобы они выполняли их».

Гелен посмотрел на адвоката:

– Я не очень быстро говорю?

– Отнюдь.

– Германские генералы, – продолжал Гелен, – меньше всего желали войны на Западе. Когда Англия и Франция объявили войну, это явилось фактом, к которому германские военные руководители отнюдь не стремились.

Если в первый период войны с Россией размещение и обращение с русскими военнопленными не соответствовали положениям Женевской конвенции, то это объясняется исключительно тем, что известные трудности неизбежны. На всех фронтах командующие издавали приказы, направленные против возможных злоупотреблений в обращении с военнопленными, и при нарушениях привлекали виновных к ответственности. Жестокое обращение или же убийства военнопленных не имели места на основании их приказов или с их ведома.

Гелен еще раз посмотрел на адвоката; тот шел сосредоточенно, молча.

– Какую возможность имели вообще подсудимые генералы для пассивного или активного действия вопреки приказу и закону? – продолжил Гелен. – Каковы были бы перспективы успеха? Простое отклонение противозаконных планов или приказов путем возражений, предостережения, выражения опасения было хотя и возможно, но на деле безуспешно. Частично эти возможности не использовались только потому, что генералы просто не знали о многом. Обви-

няемые военные начальники узнавали о чем-либо только в том случае, если они, как солдаты, должны были по-военному выполнить готовое решение. Демократический политический деятель скажет, что они могли уйти в отставку. Это может сделать парламентский министр в демократической стране. Германский офицер не мог этого сделать.

Воинское неповиновение было и будет нарушением долга, а на войне преступлением, достойным смерти; долга к неповиновению не существует ни для одного солдата в мире, пока существуют государства, наделенные суверенными правами; при диктатуре Гитлера открытое неповиновение могло привести лишь к уничтожению подчиненных, а не к отмене данного приказа; ни одно сословие не понесло таких жертв за свои убеждения, противоположные методам Гитлера, как круг обвиняемых ныне офицеров... У немецких военных руководителей оставался только один долг — до последнего бороться с врагом. Они должны были сделать трагический выбор между личным правом и воинским долгом; они выбрали и, руководствуясь им, действовали так, как подсказывала им мораль воина.

Я считаю, что военные руководители, которых хотят обвинить, ни в коем случае не были организацией или группой и тем более не объединялись единой волей, направленной на совершение преступных действий. Эти люди не представляли собой преступного сообщества; произведенное обвинением соединение этих офицеров под искусственным общим понятием «генеральный штаб и ОКВ» в действительности является совершенно произвольным объединением различных должностных лиц, занимавших те или иные посты в различные периоды и, кроме того, принадлежавших к различным частям вооруженных сил. Такой подход, не обоснованный ни внутренне, ни с точки зрения правовой необходимости, может иметь своей целью лишь дискредитацию такого института, как генеральный штаб...

Латернзер не перебил Гелена ни разу; когда тот закончил, молча пожал плечами, словно бы недоумевая.

При расставании протянул Гелену вялую руку:

— Я подумаю над вашими словами.

— Спасибо... Пусть обвинят гестапо, так им и надо, пусть растопчут партию, но необходимо спасти от позора имперское правительство и генеральный штаб. Это — вопрос будущего. Как себя чувствует генерал Йодль?

— Плохо.

— Но он будет вести себя достойно?

— Не сомневаюсь.

— А Кейтель?

— Он не очень-то умен... И слишком сентиментален. Вы думаете о том, какую он оставит о себе память? Не обольщайтесь. Но Йодль, Редер, гроссадмирал Денниц настроены непреклонно и убеждены в своей правоте.

— Вот и помогите им... Вы же немец...

Латернзер вздохнул и, обернувшись к Гелену, горестно спросил:

— Да? Вы в этом совершенно уверены?

...Поздно вечером, вернувшись в свой кабинет, Гелен открыл сейф и принялся за самую любимую работу, которая позволяла ему чувствовать себя всемогущим, как прежде, когда весь Восток Европы был в его руках, когда Салаши и болгарский царь Борис, Власов и Павелич, Мельник и Антонеску, Бандера и Тиссо не смели предпринять ни одного шага, не получив на то его согласия — письменного или устного.

Он достал из сейфа шифрованные телеграммы от Бандеры и людей Павелича, скрывшегося в Испании, от польской агентуры, делал пометки на полях, но самое большое наслаждение испытывал, получая сообщения из Мадрида, Буэнос-Айреса и Сантьяго-де-Чили; оттуда связи должны пойти по всему миру; он, Гелен, станет сердцем новой разведывательной организации Германии, сориентированной не на один лишь Восток, как того хочет Даллес, а на все континенты планеты.

Именно поэтому он тщательно анализировал всю информацию, поступавшую из Мадрида, именно поэтому он с таким вниманием изучал телеграммы из Буэнос-Айреса от Руделя, Танка, Ультера, Лауриха; именно поэтому для него не существовало мелочей. Всякая новая фамилия, переданная его агентурой, начавшей, в отличие от людей НСДАП и СС, работу не на свой страх и риск, но с его ведома и при молчаливом согласии американцев, представляла для него огромную ценность: потянутся нити, возникнут новые имена, будь это совершенно пока еще неведомый Риктер из Буэнос-Айреса и Брунн из Мадрида, Заурен из Каира или Ригельт из Лиссабона; нет мелочей, есть начало работы, которая принесет победу его делу.

ШТИРЛИЦ (Мадрид, октябрь сорок шестого)

— Если хотите, можем поехать в немецкий ресторан. Вы там бывали, кажется, доктор Брунн? На калье генерал Моло...

— Да. Один раз я там пил кофе.

— Нет, вы там обедали. Могу назвать меню.

— Давно следите за мною?

— С тех пор, как это было признано целесообразным. Доктор Брунн ваша новая фамилия?

— Видимо, вы знаете мою настоящую фамилию, если задаете такой вопрос. Как мне называть вас? Мистер Икс?

— Нет, можете называть меня Джонсон.

— Очень приятно, мистер Джонсон. Я бы с радостью отказался от немецкой кухни.

— Да? Поражения лишают немцев кухонного патриотизма? Давайте поедем к евреям. Они предложат кошерную курицу. Как вам такая перспектива?

— Я бы предпочел испанский ресторан. Очень люблю кочинильяс[1].

Джонсон усмехнулся:

— Ну-ка, покажите нижнюю губу. Ого, она у вас не дура. Ваша настоящая фамилия Бользен?

[1] Кочинильяс — жаренные в духовке поросята *(исп.)*

– Я сжился с обеими.

– Достойный ответ, – Джонсон чуть тронул Штирлица за локоть. – Направо, пожалуйста, там моя машина.

Они свернули с авениды Хенералиссимо Франко в тихий переулок, в большом «шевроле» с мадридским номером сидело три человека; двое впереди, один – сзади.

– Садитесь, мистер Бользен, – предложил Джонсон. – Залезайте первым.

Штирлиц вспомнил, как Вилли и Ойген везли его из Линца в Берлин, в апреле сорок пятого, в тот именно день, когда войска Жукова начали штурм Берлина; он тогда тоже был зажат между ними; никогда раньше он не испытывал такого унизительного ощущения несвободы; он еще не был арестован, на нем была такая же, как и на них, черная форма, но случилось что-то неизвестное ему, но хорошо известное им, молчаливым и хмурым, позволявшее гестаповцам следить за каждым его жестом и, так же как сейчас, чуть наваливаться на него с двух сторон, делая невозможным движение; сиди, как запеленатый, и думай, что тебя ждет.

– Любите быструю езду? – спросил Джонсон.

– Не очень.

– А мы, американцы, обожаем скорости. В горах поедим кочинильяс, там значительно больше порции и в два раза дешевле, чем в городе.

– Прекрасно, – сказал Штирлиц. – Тогда можно и поднажать, время обеда, у меня желудочный сок уже выделяется, порядок прежде всего...

– Как здоровье? Не чувствуете более последствий ранения?

«На этот вопрос нельзя отвечать однозначно, – подумал Штирлиц, – надо ответить очень точно; этот разговор может оказаться первым шагом на пути домой. А почему ты думаешь, что будет разговор? Почему не предположить, что это никакой не Джонсон, а друзья мюллеровских Ойгена, Вилли и Курта? Их тысяча в Мадриде, и многие из них прекрасно говорят по-английски, отчего бы им не доделать того, что не успел Мюллер? Ну, хорошо, это, конечно, допустимо, но лучше не думать об этом; после сорока пяти каждый год есть ступенька в преисподню; надвижение старости стремительно, я очень сильно чувствую последствия ранения, он не зря об этом спросил; больных к сотрудничеству не приглашают, а если этот Джонсон настоящий, а не фальшивый, то именно для этого он вывозит меня из города. Они никого не выкрали из Испании, не хотят ссориться с Франко, а тут живут нацистские тузы куда как поболее меня рангом, живут открыто, без охраны; генерал СС фон Любич вообще купил апартамент в двух домах от американского посольства, вдоль их ограды своих собачек прогуливает».

– Чувствую, когда меняется погода, мистер Джонсон. Кости болят.

– Может быть, это отложения солей? Почему вы связываете боли в костях с ранением?

– Потому что я пролежал недвижным восемь месяцев. А раньше играл в теннис. Три раза в неделю. Такой резкий слом в жизнен-

ной стратегии сказывается на костяке; так мне, во всяком случае, кажется. Мышцы не так трудно наработать, а вот восстановить костяк, заново натренировать все сочленения — дело не пяти месяцев, а года, по крайней мере.

— Сколько вам платят в неделю, мистер Бользен?

— А вам?

Все рассмеялись; Штирлиц понял, что к каждому его слову напряженно прислушиваются; Джонсон заметил:

— Вы не только хорошо говорите по-английски, но и думаете так, как мы, нашими категориями. Не приходилось работать против нас?

— Против — нет. На вас — да.

— Мы не обладаем такого рода информацией, странно.

— В политике, как и в бизнесе, престиж — штука немаловажная. Я думал о вашем престиже, мистер Джонсон, когда вы вели сепаратные переговоры с друзьями Гиммлера. История не прощает позорных альянсов.

Человек, сидевший за рулем, обернулся; лицо его было сильным, открытым; совсем молод; на лбу был заметен шрам, видимо, осколок.

— Мистер Бользен, а как вы думаете, история простит нам то, что вся Восточная Европа отошла к русским?

Джонсон улыбнулся.

— Харви, не трогай вопросы теории, еще не время. Мистер Бользен, скажите, пожалуйста, когда вы в последний раз видели мистера Вальтера Шелленберга и Клауса Барбье?

— Кого? — Штирлиц задал этот вопрос для того, чтобы выгадать время; сейчас они начнут перекрестный допрос, понял он; каждый мой ответ должен быть с р е з е р в о м; постоянно нарабатывать возможность маневра, они что-то готовят, они п р о б у ю т меня с разных сторон, ясное дело.

— Шелленберга, — повторил Джонсон.

— В апреле сорок пятого.

— А Клауса Барбье? Он работал у Мюллера, потом был откомандирован во Францию, возглавлял службу гестапо в Лионе.

— Кажется, я видел его пару раз, не больше, — ответил Штирлиц. — Я же был в политической разведке, совершенно другое ведомство.

— Но вы согласны с тем, что Барбье — зверь и костолом? — не оборачиваясь, сказал тот, со шрамом, что сидел за рулем.

— Вы завладели архивами гестапо? — спросил Штирлиц. — Вам и карты в руки, кого считать костоломом и зверем, а кого солдатом, выполнявшим свой долг.

Они выехали из города; дорога шла на Алькобендас, Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, а дальше Кабанильяс-де-ла-Сиерра, горы, малообжитой район, там нет ресторанчиков, где жарят этих самых молочных кочинильяс; чудо что за еда, пальчики оближешь; только, видимо, не будет никаких кочинильяс; у этих людей другие задачи.

— В каком году вы встречали Барбье последний раз? — повторил свой вопрос Джонсон.

— Думаю, году в сорок третьем.

— Видимо, на Принц Альбрехтштрассе, в главном управлении имперской безопасности.

— Ему кто-либо покровительствовал в том здании?

— Не знаю. Вряд ли.

— Почему «вряд ли»? — по-прежнему, не оборачиваясь, спросил тот, кто вел «шевроле».

— Так мне кажется.

— Это не ответ, — заметил Джонсон. — Мне сдается, вы относитесь к породе логиков, слово «кажется» к ним не подходит.

— Я — чувственный логик, — ответил Штирлиц. — Я, например, чувствую, что моя идея с кочинильяс пришлась вам не по вкусу. Мне так, во всяком случае, кажется. Чувство я перепроверяю логикой: дальше, вплоть до Сиерры, нет ни одной харчевни, где бы давали кочинильяс, но до Сиерры мы вряд ли поедем, потому что у вас всего четверть бака бензина.

— В багажнике три канистры, — откликнулся тот, что вел машину. — Слава богу, здесь продают бензин, не нормируя, как в вашей паршивой Германии.

— Зря вы эдак-то о государстве, с которым вам придется налаживать отношения.

— Как сказать, — откликнулся Джонсон. — Все зависит не от нас, а от того, как вы, немцы, станете себя вести.

Штирлиц усмехнулся:

— «Ведут» себя дети в начальных классах школы. К народу такое слово не приложимо.

— К побежденным — приложимо, — сказал Джонсон. — К побежденным приложимо все. Сейчас мы высадим вас, и когда вас подберет голубой «форд» — это случится минуты через четыре, — пожалуйста, помните, что к побежденным приложимо все. Это в ваших же интересах, мистер Бользен.

Машина резко свернула на щебенчатый проселок, отъехала метров сто и остановилась. Джонсон вышел, достал из кармана пачку сигарет, закурил, пыхнул белым дымом и, вздохнув отчего-то, предложил:

— Вылезайте, Бользен.

— Спасибо, Джонсон.

Он вылез медленно, чувствуя боль в пояснице; потянулся, захрустело; страха не было; досада; словно он был виноват в случившемся; а что, собственно, случилось, спросил себя Штирлиц; если бы они хотели убрать меня, вполне могли сделать это в машине; но зачем тогда все эти фокусы с вызовом сюда? Боятся Пуэрта-дель-Соль?[1] А что? Могут.

Джонсон прыгающе упал на заднее сиденье, крутой парень со шрамом взял с места так резко, что «шевроле» даже присел на задок, и, скрипуче развернувшись, понесся на шоссе.

...Прошло десять минут; странное дело, подумал Штирлиц, автобус здесь ходит раз в день по обещанью; в конце концов кто-нибудь подбросит до города; но зачем все это? Смысл?

1 Пуэрта-дель-Соль — площадь в Мадриде, на которой находился штаб тайной полиции Франко *(исп.)*.

Плохо, если у меня от этих нервных перегрузок снова станет ломить поясницу, как раньше; поди попробуй, пролезь с такой болью через Пиренеи; не выйдет. А через Пиренеи лезть придется, иного выхода нет. Сволочь все-таки этот Зоммер, дает деньги всего на неделю; даже на автобус до Лериды придется копить еще месяца три. Снова ты думаешь, как русский — «месяца три». А как же мне иначе думать, возразил он себе, как-никак русский, помешанный с украинцем; немец бы точно знал,что копить ему придется два месяца и двадцать девять дней. А еще точнее: девяносто дней, только мы позволяем себе это безответственное «месяца три»; вольница, анархия — мать порядка... Нет, копить придется дольше. От французской границы идет поезд; если меня не арестуют как человека без документов — не ватиканскую же липу им показывать, да и ту отобрали, — нужно, по меньшей мере, еще тридцать долларов, иначе я не доберусь до Парижа; любой другой город меня не устраивает, только в Париже есть наше посольство; почему их интересовал Барбье? Я действительно видел его всего несколько раз; палач второго эшелона, лишенный каких-либо сантиментов, — «Я ненавижу коммунистов и евреев не потому, что этому учит нас фюрер, а просто потому, что я их ненавижу»; да, именно так он сказал Холтоффу, а тот передал Штирлицу, пока еще Мюллер не начал подозревать его; кажется, это был ноябрь сорок четвертого, да, именно так.

Штирлиц вышел на шоссе; ни души; не нравится мне все это, подумал он; странная игра; проверяли на слом, что ли? Документы они могли отобрать иначе, зачем нужен был такой пышный спектакль?

Мимо Штирлица пронесся старый «паккард», разукрашенный клаксонами, с какими-то наклейками и чересчур длинной антенной; наверняка за рулем испанец, только они так украшают свои машины, американцы относятся к транспорту как хороший всадник к коню: заливают самый лучший бензин, часто меняют масла и отдают раз в месяц на шприцевание; моют машины редко, важнее всего скорость и надежность, а не красота; это для женщины важно быть красивой; испанец о моторах имеет отдаленное представление, им бы только поговорить, это — хлебом не корми; а еще обожают строить предположения и делиться догадками; впрочем, это не их вина, а беда; жертвы общества, лишенного информации, зацензурированы сверх меры, шелохнуться нельзя, сплошные запреты.

Вторая машина была набита пассажирами. Штирлиц даже не стал поднимать руку.

Третья машина, с большими буквами на дверцах ИТТ, притормозила; водитель спросил на довольно плохом испанском:

— Вам куда?

— В Мадрид, — ответил Штирлиц.

— Садитесь, подвезу.

И по тому, как он сказал это, Штирлиц понял, что водитель — немец.

— Вы родом из Берлина? — поинтересовался Штирлиц на своем

чеканном хох-дейч.

– Черт возьми, да! – водитель засмеялся. – Но я оттуда уехал еще в тридцать девятом... Нет, нет, я не эмигрировал, просто ИТТ перевела меня в свой здешний филиал. Вы тоже немец?

Штирлиц усмехнулся:

– Еще какой!

– Давно в Испании?

– Да как вам сказать...

– Можете не говорить, если не хотите.

– Я здесь бывал довольно часто, еще с тридцатых годов.

– Кто вы по профессии?

– Трудно ответить однозначно... Учился разному... Считайте меня филологом.

– Это как? Переводчик?

– Можно сказать и так. А что, ИТТ нужны переводчики?

– И они тоже. Но прежде всего нам нужны немцы. Хорошие немцы.

– А что вы подразумеваете под выражением «хорошие немцы»? – спросил Штирлиц. – По-моему, все немцы – хорошие, нет?

– Достойный ответ.

– Это не ответ. Скорее уточняющий вопрос.

– Еще не настало время отвечать на вопросы, тем более уточняющие. Кстати, меня зовут Франц Кемп, я инженер, возглавляю сектор в отделе организации новых линий на Иберийском полуострове.

– А я Брунн, дипломированный филолог.

– Очень приятно, господин Брунн.

– Очень приятно, господин Кемп.

– Где вы живете?

– В центре. А вы?

– На калье Леон.

– По направлению к Аточе? Возле Санта-Мария-и-Каньизарес?

– Именно.

– Почему вы поселились в том районе? Он слишком испанский. Шумно, масса народа.

– Люди ИТТ должны жить в гуще того народа, среди которого они работают.

Штирлиц усмехнулся:

– Это директива?

– В общем-то да. Неписаная. Хотите чашку кофе? Угощаю.

– Спасибо. С удовольствием.

– Здесь есть съезд на проселок, там прекрасная кофейня дона Фелипе. Не были?

– Даже не слыхал.

– Простой крестьянин, но с головой американского бизнесмена. Он знает, что все испанцы более всего любят тайну, да и от своих жен в городе не очень-то скроешься. Франко разогнал все бордели, так он вложил деньги в старый сарай – купил за бесценок, принимает гостей при свечах, имеет пару комнат для свиданий, гребет огромные деньги, финансовый надзор пока еще до него не добрался, помяните слово, станет миллионером...

ШТИРЛИЦ (Мадрид, октябрь сорок шестого)

Кемп свернул на проселок.

Отчего такая одинаковая пыль повсюду в Испании, подумал Штирлиц. Будь то север, юг, восток или запад. Странно-красноватая, и солнце в ней кажется феерическим, словно на картине ужаса; последний день цивилизации; видимо, старая земля, утес Европы; только в России есть тихие песчаные дороги в сосновых лесах без единой пылинки, да еще в Эстонии, больше нигде такого нет.

– Вон его сарай, на взгорке, – сказал Кемп. – Сейчас уляжется пыль, увидите.

– По контурам он похож на средневековый замок.

– Это силосная башня. Земля дорогая, так он силосную башню приспособил, я ж говорю, чисто американская хватка.

В отличие от американцев Кемп затормозил плавно; умеет беречь вещи; он здесь живет недавно, понял Штирлиц, если бы он не знал войны, тормозил бы так, как тормозят испанцы и как тот водитель «шевроле» со шрамом; лишь немец, переживший войну, умеет относиться к машине так, как этот Кемп; в вермахте сурово карали тех, кто резко тормозил, – бстрая нехватка каучука, быстрый снос покрышек; «удар в спину», так, кажется, говорил фюрер «трудового фронта» Лей о нерадивых шоферах.

Из замка-сарая вышел худой старик в крестьянской одежде, которая сидела на нем фасонисто, чисто по-испански.

Никто не умеет так красиво одеваться, как испанцы, подумал Штирлиц, это у них врожденное; когда утеряно государственное могущество, одни народы уходят в долбежку знания, другие тихо прозябают, третьи ищут наслаждений; испанцы, после того как империя рухнула, кинулись рассуждать – по поводу и без повода; заниматься делом власть не позволяла, контролировала каждый шаг подданных, боялась, что не сможет удержать инициативных; ничего бедным испанцам не оставалось, кроме как рассуждать и одеваться; тот не настоящий кабальеро, кто не меняет костюм хотя бы два раза в неделю; крестьянская одежда дона Фелипе сшита на заказ, слишком уж проработана строчка, пригнаны все линии и продумана шлица.

– Добрый день, сеньор Кемп, рад вас видеть, – радушно приветствовал дон Фелипе гостя. – Кофе ждет вас, именно такой, какой вы любите.

– Спасибо. Это мой соотечественник, сеньор Брунн.

Старик протянул Штирлицу длинную, тонкую, совсем не крестьянскую ладонь; рукопожатие его было вялым, он словно бы берег силы.

В старинном сарае было прохладно и сумрачно; пахло деревом; помещение было сложено из громадных темных бревен; возле камина стояло старинное колесо от экипажа и рыцарские латы; никто, кроме испанцев, не умеет так быстро наладить быт на пустом месте, подумал Штирлиц; у них врожденный эстетический вкус, этого не отнимешь. А вообще-то они похожи на нас; ни в одной другой стране мира гостю не отдают для ночлега хозяйскую кровать – только у нас и в Испании.

В простенках висели фотографии матадоров и актрис с надписями. Как и в маленьких ресторанчиках в центре, надписи были аффектированные: «Сеньору дону Фелипе де ля Бока с трепетной любовью и на добрую память от маленького Пипито, который очень боится быков, но старается делать вид, что он хозяин «Пласа де торос». Всегда ваш Франсиско Бельяр»; или: «Дорогой Фелипе, голова – это, конечно, мужчина, но шея – женщина; куда она повернется, туда и голова посмотрит. Где ты скрываешь свою донью? Твоя Лолита».

– Может быть, хотите перекусить, Брунн? – спросил Кемп. – Здесь есть довольно хорошие худиас, очень вкусный сыр...

– У вас жена, случаем, не испанка?

– Немка.

Его ко мне подвели американцы, подумал Штирлиц; он выполняет чужую работу, немец не предлагает еду незнакомому и не потому, что он плохой человек, просто такое не принято; традиции, будь они неладны; впрочем, немца могут раздражать наши горцы, которые угощают незнакомого путника, зашедшего в дом, самым лучшим из того, что у них есть; немец будет думать, чем он может отплатить, сколько это стоит, чем такое вызвано? Господи, какой маленький мир, но как он разностен, разгорожен, взаимоневедом...

– Но я не смогу ответить вам тем же, – заметил Штирлиц. – Я весьма ограничен в средствах.

– ИТТ хорошо платит своим людям. Какие языки вы знаете?

– Английский и испанский.

– В совершенстве?

– А оно существует? По-моему, совершенство возможно лишь тогда, когда бог сойдет на землю.

– Не знаю... Во всяком случае, я, не дожидаясь пришествия, в совершенстве освоил мое дело.

– Позволяете себе вольнодумствовать в католической стране? Это не против инструкций ИТТ?

– Вы набожны?

– Черт его знает... Суеверен, во всяком случае.

– Все суеверны... Так что намерены отпробовать? Сыр или худиас?

– А еще что здесь дают?

– Жареное мясо, – Кемп кивнул на камин. – Фелипе сказочно готовит мясо на ивовых прутьях. Чертовски дорого, но зато очень вкусно... Можно попросить зажарить на углях тручу[1], совершенно сказочная еда...

– Тогда угостите меня соленым сыром, совершенно сказочной тручей и тинто[2].

Ну, валяй, реагируй, Кемп, подумал Штирлиц. Труча – это царская еда, и платят за нее по-царски. Давай, инженер, закажи тручу себе и мне, тогда я до конца поверю в то, что ты не случайно появился на дороге.

[1] Труча – форель *(исп.)*.

[2] Тинто – красное вино *(исп.)*.

– Дон Фелипе, – крикнул Кемп, и Штирлиц сразу же понял, что этот человек служил в армии. – Сыр и тручу для сеньора, бутылку тинто, а потом два кофе, из тех зеленых зерен, что вы показывали мне в прошлую пятницу.

– Да, сеньор Кемп. Какое тинто хотите попробовать? Есть вино из Каталонии, очень терпкое; есть из Малаги, то, что вы как-то пили, густое, с черным отливом.

– А что вы порекомендуете моему гостю?

– Тинто из Каталонии интересней, мне его привозят не так уж часто.

– Рискнем? – спросил Кемп.

– Тот не выигрывает, кто не рискует, – согласился Штирлиц. – Я здорово голоден, опьянею, в горах делают крепкое вино.

– Ну и что? Пьянейте на здоровье, я отвезу вас домой.

– Спасибо.

– Вы никогда не пробовали работать с техническими текстами, Брунн?

– Нет.

– А потянете?

– Можно попробовать.

– Это у нас, немцев, можно пробовать. Американцы другие люди, они сразу же задают вопрос: «Можете или нет?» Отвечать следует определенно, с ними надо идти в открытую.

– Во всем?

– Что вы имеете в виду?

– Да ничего особенного... Просто вы с ними работаете, вы, видимо, знаете, можно ли с ними идти в открытую во всех вопросах или что-то надо придерживать.

– Черт его знает. Скорее всего, надо идти в открытую во всем. Они ведь как дети, очень доверчивы и поддаются уговору. Им надо объяснить все, от начала и до конца, как в школе. Если они поймут и поверят, то лучших компаньонов и быть не может.

– Да, они славные люди, я с вами согласен... Но ведь они испытывают на себе влияние тех, против кого мы, немцы, так активно выступали в минувшей войне...

– Мои боссы этого рода влияниям не подвержены, – отрезал Кемп. – Цветных и славян компания не держит, в этом смысле можете не тревожиться.

Штирлиц усмехнулся:

– А я и не тревожусь. Я лишен предрассудков, тем более сейчас за это больше некому карать, все рассыпалось.

Дон Фелипе принес сыр, зелень, вино в темной высокой бутылке, расставил все это на белой бумажной скатерти и спросил:

– Тручу прожаривать или вы любите ее сыроватой?

– Почти сырой, – сказал Штирлиц. – Только одной я не удовлетворюсь. Голоден. Мой друг сеньор Кемп, думаю, угостит меня тремя, а то и четырьмя тручами. Это сколько порций?

– Четыре, – ответил дон Фелипе. – Рыбы очень большие, сегодня утром еще плескались в водопаде, мясо прекрасное, очень нежное.

– Выдержите четыре порции? – спросил Штирлиц, не глядя на Кемпа, понимая, что на лице у того сейчас должно быть смятение. – Или я разорю вас?

– Да хоть пять, – ответил Кемп, и Штирлиц до конца убедился в том, что это человек есть продолжение того, что началось два часа назад на авениде Хенералиссимо, когда к нему подошел Джонсон.

– Тогда пять, – сказал Штирлиц. – Я осилю.

– Вот и прекрасно, – улыбнулся Кемп. – Труча вам наверняка понравится, припеченная корочка совершенно поразительна, у дона Фелипе свой рецепт.

– Вы можете пить? Или за рулем боитесь? – спросил Штирлиц.

– Боюсь, но буду. И потом, гвардиа сивиль[1] на этой дороге не свирепствует, они психуют по тем трассам, где Франко ездит на охоту.

Кемп разлил тягучее длинное вино по грубым стаканам и чокнулся со стаканом Штирлица:

– За несчастных немцев.

– За них стоит, – согласился Штирлиц. – Чтоб не были такими доверчивыми.

– Как вас понять?

Штирлиц выпил, смакуя, очень медленно, вбирающе; пожал плечами:

– Понять просто. Несчастные немцы не могут жить без фанатичной веры. То они верили в Бисмарка, то в кайзера, то в Гитлера. Им нужен фюрер, трибун, сотрясатель, которого надо бояться. Если бояться некого, они начинают строить баррикады и объявлять забастовки, опять-таки в надежде, что появится сильная рука, вроде тех, которые были уже, и наведет порядок.

– Вы против сильной руки?

– А вы – «за»?

– Дорогой Брунн, я заметил, что вы не ответили ни на один мой вопрос, принуждая меня отвечать на все ваши.

– Принуждал? – Штирлиц пожал плечами и подвинул свой стакан Кемпу. – Плесните еще, а? Как же я вас принуждал, интересно? Пытал в камере? Арестовывал вашу жену? Отправлял детей в концлагерь? Я ни к чему вас не принуждал, – он жадно выпил еще один стакан, отщипнул кусок сыра, накрыл его зеленью, проглотил, не жуя, и заметил: – Одной бутылкой я не удовлетворюсь, закажите еще.

– Конечно, конечно. Хотите, попросим андалусское тинто?

– С большим удовольствием я бы выпил нашего баварского айнциана.

– Погодите, скоро выньем.

Да, подумал Штирлиц, это начало; надо играть и дальше, он клюет; наверняка он знает, сколько мне дают «товарищи по партии»; ровно столько, чтобы хватило на хлеб, сыр и пару кусков мяса в пятидневку; когда же я пил настоящий кофе последний раз! Пожалуй, месяца два назад, когда Герберт Зоммер пригласил меня в «Хихон»... Герберт... Он такой же Герберт, как я Брунн. И поселили меня в тот пансион,

[1] Гвардиа сивиль – полиция *(исп.)*

где старик из «Голубой дивизии» дает ключи и внимательно следит, когда и кто выходит и возвращается. Но какого же черта они тогда вывозили меня из Берлина? Судя по всему, они вытащили меня оттуда во время последнего танкового прорыва, вряд ли кто еще смог уйти из того месива. Зачем нужно было лечить меня в Риме? Переправлять по ватиканской фальшивке сюда, в Мадрид? Зачем я им нужен? На тебе была их форма, возразил себе Штирлиц, и никаких документов. В горячке, пока еще был их порядок, они, видимо, тогда были обязаны вытащить штандартенфюрера. А здесь очухались: отчего без документов? Почему оказался в том районе Берлина, куда уже прорвались русские? Отчего один? В форме? Мюллер мертв, Герберт даже сказал, на каком кладбище его похоронили. Первого мая. Никто, кроме него, не может иметь материалов против меня, Мюллер ни с кем не делился своей информацией, не в его привычках. Вилли, Ойген и Курт погибли на моих глазах, это отпадает. Айсман? Даже если он жив, у него нет против меня улик, я вернулся в марте сорок пятого из Швейцарии в Берлин. Это свидетельствует о моей верности режиму фюрера; человек, связанный с русскими, просто-напросто не мог вернуться в рейх. Это же верная смерть... Холтофф? Он предложил мне сговор и за это поплатился разбитым черепом, все по правилам. О сыне, о встрече с ним в ночном Кракове Штирлиц запрещал себе вспоминать, рвало сердце, а оно ему еще нужно, чтобы вернуться на Родину. Оставалось лишь одно уязвимое звено — СС штурмбанфюрер Хёттль. Именно ему Штирлиц дал в Линце явку русской разведки в Швейцарии, когда искал связь со своими. Если об этом узнал Даллес — а он мог об этом узнать, потому что Хёттль контактировал именно с ним, — тогда дело меняется. И никого нельзя спросить о судьбе Хёттля. И писать никуда нельзя. Надо затаившись ждать, откладывая из еженедельной субсидии несколько песет; иного выхода нет; поскольку он назвал в Ватикане себя доктором Бользеном, возможно, они еще не вышли на Штирлица; они могут выйти, если им в руки попали все архивы, но, судя по тому, как в апреле жгли ящики с документами во внутреннем дворе Принц Альбрехтштрассе, Мюллер имел указание Кальтенбруннера уничтожить ключевые документы; если те, кто уцелел, решатся воссоздать «Черный Интернационал», они получат необходимые документы в сейфах швейцарских банков, куда положили самые важные архивы еще в конце сорок четвертого. Да, но жив главный свидетель, Шелленберг, возразил себе Штирлиц, он сидит у англичан, он наверняка пошел с ними на сотрудничество. Но он слишком умен, чтобы отдавать все карты; на что тогда жить дальше? О том, как я стал «доктором Бользеном», знает только он, это была его идея, он дал мне этот паспорт из своего сейфа. И потом, не в обычаях англичан делиться своей информацией с кем бы то ни было, даже с «младшим братом». Да, но тогда бы ко мне подкатили англичане, а не американцы. Если бы год назад я мог ходить и говорить, меня бы американцы вернули домой, скажи я им, кто я; время упущено, теперь, видимо, не отдадут, признаваться Джонсону в том, кто я есть на самом деле, наивно, не по правилам. Не надо себя сейчас мучить вопросами, сказал себе Штирлиц, это неразумно. Все равно ты не сможешь просчитать ходы тех, кто обладает информацией и свободой передвижения; следует положиться на судь-

бу,тщательно анализировать каждый взгляд и движение тех, кто взял меня в кольцо; жизнь приучила рассчитывать фразы контрагентов, ухватывать то слово, которое открывает их; ни один из них не отдал борьбе столько лет, сколько я, за мной опыт, треклятый, изнуряющий, делающий стариком в сорок шесть лет; мой опыт может противостоять их информированности, не очень долго, понятно, но какое-то время вполне может: а сейчас надо пить и точно играть состояние голодного опьянения; примитивно, конечно, но они клюют именно на примитивное; у людей этой психологии извращенные чувствования, они похожи на сластолюбцев — те никогда не тянутся к красивым и достойным женщинам, их влечет к потаскухам, никаких условностей, все просто и ясно с самого начала, они будут тащить меня вниз, к себе; я поддамся, иного выхода нет, единственный путь прикоснуться к информации... И будь я проклят, если он сейчас не спросит меня о «фарсе суда в Нюрнберге»...

— Убеждены? — задумчиво спросил Штирлиц. — Вашими бы устами да мед пить. Почему вы думаете, что мы вернемся домой? Я не очень-то в это верю.

— Дон Фелипе! — крикнул Кемп. — Еще одну бутылку. Только давайте андалусского... И где наша труча?

— Разве вы не чувствуете запах дыма? — откликнулся дон Фелипе. — Через три минуты труча будет на столе...

— А что это вы сказали «наша труча»? — спросил Штирлиц. — Это моя труча, моя, а не наша.

— Почему не едите сыр?

— Потому что я его ненавижу. Я сижу на нем почти год, понимаете?

— А зачем же заказали?

— От жадности, — подумав, ответил Штирлиц. — Жадность и зависть — главные побудители действия.

— Да? А мне казалось, гнев и любовь.

— Любите Вагнера, — заметил Штирлиц.

— Очень, — согласился Кемп. — И он того заслуживает.

Он наполнил стакан Штирлица; ему не хватило; русский бы не удивился, отлей я половину, подумал Штирлиц, но если я это сделаю сейчас, здесь, меня станут считать подозрительным, потому что так тут не принято; всякое отклонение от нормы дискомфортно и оттого вызывает отталкивание, ощущают чужака, только в условиях традиционной демократии общество не страшится того, что чужак обосабливается; строй, созданный Гитлером, авторитарный по своей сути, не терпел ничего того, что фюрер считал неорганичным и внетрадиционным; человеческая самость каралась лагерем или расстрелом; сначала рейх и нация, а потом человек; какой же ужас выпал на долю несчастных немцев, бог ты мой...

— Как вы относитесь к Гитлеру? — спросил Штирлиц, плавающе подняв свой стакан.

— А вы? Видите, я стал говорить, как вы, — вопросом на вопрос.

— Хороший ученик, быстро взяли методу, очень, кстати, надежная штука, резерв времени на раздумье.

— Вы не ответили на мой вопрос.

Штирлиц выпил вино, поставил стакан, приблизился к Кемпу:

— А как мне лучше ответить? От моего ответа, видимо, зависит получение работы в вашей фирме. Что мне надо ответить? Я повторю, только скажите.

Подошел дон Фелипе с большим деревянным подносом, на котором лежали пять сказочных рыбин, чуть прижаренных; сине-красные крапинки по бокам были, однако, явственно видны, очень хорошая форель, высокогорная, прекрасно сделана, видно, что ешь.

— Красиво, а? — сказал дон Фелипе. — Сам любуюсь; готовлю и любуюсь.

— Сказочно, — согласился Штирлиц. — Даже как-то неудобно отправлять таких красавцев в желудок.

— Ничего, — улыбнулся Кемп, — отправляйте. Для того их и ловят. Если бы их не ловили, вид бы вымер. А попробуйте не отстреливать зайцев? Эпизоотия, мор, гибель. Пусть выживут сильнейшие, закон развития. Я пробовал форель в долине; совершенно безвкусное мясо, волглое, дряблое; потому что там рыба живет без борьбы, вырождается...

Штирлиц управился с первой тручей, выпил андалусского тинто, блаженно зажмурил глаза, откинулся на спинку грубо сколоченного деревянного кресла и заметил:

— Если спроецировать вашу концепцию на людскую общность, тогда мир ждет славянско-еврейская оккупации. Им больше всего доставалось, наша с вами родина прямо-таки охотилась на представителей этих племен — без лицензий, в любое время года, вне зависимости от пола и возраста.

Кемп разлил вино по стаканам, Штирлицу — полный, себе — половинку, усмехнулси:

— Ничего, постараемся самосохраниться. Силы для этого существуют.

— Не выдавайте желаемое за действительное.

— Я инженер, а не политик, мне это противопоказано.

— Инженеры не умеют противостоять оккупации, Кемп, это как раз удел политиков. Или военных. Какое ваше воинское звание?

— А ваше? Труча остынет, она особенно хороша горячей.

— Верно, — согласился Штирлиц. — Я совсем забыл. Вы меня втягиваете в спор, я же спорщик, забываю об угощении.

Он принялся за вторую рыбу; обсосал даже глаза; дон Фелипе, сидевший возле своего громадного камина, заметил, что кабальеро ест рыбу как человек, знающий толк в труче, браво, была бы шляпа — снял.

— Вы заметили, — сказал Штирлиц, — что испанцев в первую голову заботит, *как* сказано или сделано; *что* — у них всегда на втором месте; трагедия народов, задавленных абсолютизмом, лишенных права на самовыражение в деле...

— Абсолютизм рейха не мешал нам построить за пять лет лучшие в Европе автострады и крупнейшую промышленность, — откликнулся Кемп. — Это не пропаганда, это признают даже враги.

— А еще они признают, что в рейхе была карточная система. И за каждое слово сомнения человека сажали в концентрационный лагерь...

— Ну, знаете, сейчас в этом легче всего обвинять фюрера. Всегда обвиняют тех, кто не может защититься. Вы же знаете, что происходит в Нюрнберге... Месть победителей. Мы сами писали друг на друга доносы, никто нас к этому не понуждал. Такая уж мы нация, ничего не поделаешь.

Принявшись за третью рыбу, Штирлиц пожал плечами:

— Да, странная нация... При паршивых социал-демократах доносов не писали, имели возможность говорить открыто, а пришел фюрер, и нация переменилась, — шестьдесят миллионов доносчиков...

— Вот теперь я понял, как вы относитесь к Гитлеру.

— И правильно сделали, — ответил Штирлиц. — Если бы он не задирал Лондон и Вашингтон, у нас были бы развязаны руки на Востоке. Никто еще за всю историю человечества не выигрывал войну на два фронта.

— Разве? — Кемп снова налил Штирлицу тинто. — А Россия? В восемнадцатом году у нее было не два фронта, а несколько больше.

— Это несравнимые категории. Русские провозгласили интернационал обездоленных, вне зависимости от национальной принадлежности, за ними стояли пролетарии всего мира. Наше движение было национальным, только немцы, никого, кроме немцев.

— Вот в этом и была определенная ошибка Гитлера.

— Да? — удивился Штирлиц. — Вы уже смогли выжать из себя страх? Прекрасно, завидую; я до сих пор боюсь позволять себе думать о каких-то вещах: инерция государственного рабства, ничего не попишешь... А зачем я вообще говорю вам об этом, Кемп? Вы напоили меня, и я развязал язык. Ах, черт с ним, налейте-ка еще, а? Смотрите, я могу запеть. Я пою, когда пьяный. Я, правда, редко бываю пьяным, тут ни разу не был, нет денег, а сейчас я отвожу душу, спасибо вам. А почему вы не заказали себе тручу?

— Я люблю мясо.

— Так вы же говорили, что здесь прекрасное мясо!

— Если бы я хотел есть, — ответил Кемп, скрывая раздражение, — поверьте, я бы заказал себе.

— Налейте мне еще, а?

— С удовольствием, — Кемп снова улыбнулся. — Сказочное вино, правда?

— Правда, — ответил Штирлиц, допив вино и принимаясь за четвертую рыбу. — А теперь переходите к делу. Вы слишком долго финтили, Кемп. Только не говорите о случайности встречи, не надо. Я слишком долго работал в разведке, чтобы поверить в это. Я бы очень рад поверить, я счастлив возможности получить работу в ИТТ, но не могу поверить вам, понимаете? Просто-напросто не могу и, пожалуйста, не браните меня за это. И потом, пьяный я становлюсь обидчивым, а потому агрессивным.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ — ИТТ (1927-1940)

Судьбы людей зависят от крутых поворотов исторического развития в такой же мере, как нравственные категории, определяющие

моральный облик человека, выдвинутого — силою закономерностей и случайностей — к лидерству в том или ином регионе мира; это же распространяется на деятелей науки, бизнеса, культуры, ибо политика невозможна вне и без этих ипостасей общественной и деловой жизни планеты.

Быть бы Сосенсу Бену блестящим филологом, не начнись первая мировая война. Действительно, сын датчанина и француженки, он с детства владел языками родителей; поскольку отец его был почетным консулом Франции на Виргинских островах, юноша легко выучил немецкий и английский, ибо острова были перевалочной базой судов — не только, понятно, рыболовецких. Отец отправил Сосенса на Корсику, мальчик должен знать диалект, на котором говорил великий император; лишь после этого он разрешил ему переехать в Париж; там молодой Бен присматривал себе тему для защиты звания магистра, но в это именно время Белый дом уплатил Дании тридцать миллионов долларов, Виргинские острова сделались собственностью Соединенных Штатов, а Сосенс — их гражданином. Именно это дало ему возможность отправиться в Пуэрто-Рико, начать там торговлю сахаром, присматриваясь к тому, что происходит на его новой родине; а происходил тогда бум в средствах связи; горазды на просчет выгоды северные американцы быстрее всех поняли, сколь важен телефон в системе дела, объединяющего страну не словом, но общенациональным узлом бизнеса.

Сразу же после войны Бен организовал маленькую компанию с претенциозным названием: «Интернэйшнл телефон энд телеграф» со штаб-квартирой в Пуэрто-Рико и на Кубе. Там, научившись в совершенстве испанскому, он обкатался, и в двадцать третьем году, после путча испанского диктатора Примо де Риверы, пригласившего иностранные монополии принять участие в реконструкции страны («наша революция, — говорил Примо де Ривера, — стала возможной лишь потому, что братья в Италии во главе с дуче фашизма Муссолини доказали свою жизнестойкость»), оказался в Мадриде.

Если ты не готов к Испании, не рассчитывай на успех; страна, изгнавшая — в эпоху инквизиции — арабов и евреев, давших ей ученых, купцов и врачевателей, отброшенная в своем развитии из-за этого назад не на одно столетие, словно бы несла на себе печать проклятия: былое величие ушло в небытие; некогда великая держава обрушилась в состояние задворочности, сделалась пугалом Европы, ее больным ребенком; претензии, однако, оставались былыми, имперскими.

Бен смог — в отличие от десятков других своих конкурентов — так поставить себя в Мадриде, так пустить пыль в глаза испанцам, падким на имя и роскошь, что смог организовать филиал ИТТ, назвав его «Компания телефоника де Эспанья», президентом которой стал не кто-нибудь, а граф Оргас, имя которого сделалось хрестоматийным не из-за заслуг его рода, но потому лишь, что образ одного из них запечатлел Эль Греко, великий испанец — духом, пришлый грек — по крови.

Во время подписания контракта Бен заявил:

— Я намерен и впредь помогать любому режиму в мире, который

готов сотрудничать со мною и в первооснове которого я вижу динамику и открытую национальную устремленность.

Контракт с диктаторским режимом был столь выгоден, что уже через четыре года Бен, получив кредит у Морганов, купил некогда могучую фирму «Интернэйшнл Вестерн электрик», уплатив прежним владельцам тридцать миллионов долларов; следующим шагом на пути к созданию империи был брак; он женился на Маргарет Данлап, которая была членом семьи угольных королей.

Вскоре после этого он организовал «Стандарт электрицитетс гезельшафт» в Германии, сблокировавшись с могучим АЭГ, затем купил компанию «Лоренц», входившую в империю «Филипса»; после этого подкрался к шведскому «Эриксону».

И спустя десять лет после того, как начал подторговывать углем в Пуэрто-Рико, Бен, ставший к тому времени полковником (обожал свое воинское звание, всячески подчеркивал это, особенно в разговорах с теми журналистами, которым верил; не мог понять, отчего они относятся к этому с юмором), сделался одним из самых сильных бизнесменов мира, занятых в индустрии связи.

Именно поэтому 4 августа 1933 года одной из первых внешнеполитических акций канцлера Германии Адольфа Гитлера была встреча в Берхтесгадене с полковником Сосенсом Беном и его специальным представителем в Берлине Генрихом Манном.

В результате этой встречи ИТТ получила такие права в рейхе, которые Гитлер не давал ни одной иностранной фирме.

После того как Бен обменялся прощальным рукопожатием с «великим фюрером германской нации», до автомобиля его проводил личный советник Гитлера по экономическим вопросам Вильгельм Кепплер.

— Я бы рекомендовал вам, полковник, — сказал он, — поддерживать контакт с вашим коллегой, бизнесменом и банкиром Куртом фон Шредером. Вы знаете, что наша национальная революция весьма критически настроена по отношению к финансовому капиталу; исключение составляют люди, понимающие нашу национальную устремленность; Шредер понимает ее, поэтому фюрер ему доверяет. Если у вас возникнут какие-то проблемы в будущем — держите связь со Шредером, я узнаю обо всем через пять минут. По телефону, — улыбнулся Кепплер. — Если тем более это будет ваш телефон, то конспиративность, столь угодная нам, политикам, и вам, бизнесменам, будет соблюдена абсолютно.

Он, естественно, не сказал Бену, что Курт фон Шредер возглавлял «кружок друзей Гиммлера» и финансировал создание гестапо; не сказал он ему и того, что Шредер был ветераном нацистской партии; впрочем, Бен прекраснейшим образом знал об этом через свои нью-йоркские контакты; братья Даллесы поддерживали устойчивую связь со Шредером, характеризуя его, как вполне надежного партнера, патриота антикоммунистической борьбы, сторонника сильной власти в Германии, измученной либерализмом социал-демократии, близкой к идеям Маркса.

На следующий день Бен и Шредер встретились. Стол был накрыт в самом дорогом ресторане Берлина; именно там и было заключено соглашение о том, что Курт фон Шредер, «старый борец

национал-социализма», будет членом наблюдательного совета компании СЭГ, дочерней фирмы ИТТ.

Вечером того же дня Бен дал ужин в честь человека, названного ему Шредером (вопрос был заранее согласован с Герингом и Гиммлером, оба поддержали банкира). Звали этого человека Герхард Алойз Вестрик; хозяин крупнейшей адвокатской конторы рейха; «старый борец»; консультировал службу Гиммлера, выполнял его задания во время многочисленных поездок за рубеж.

Бен и Вестрик расстались не только друзьями, но и компаньонами; Вестрик сделался членом наблюдательного совета ИТТ, отныне он мог ездить в Штаты не как гость, но как член руководства империи связи, представитель интересов ИТТ в рейхе.

А уже после этого Бену была организована деловая встреча с Германом Герингом; был обсужден вопрос о том, как будет участвовать ИТТ в перевооружении германской армии; о результатах переговоров не знал никто, кроме Гитлера и Кепплера; Бен дал согласие на участие ИТТ в создании вермахта — чисто враждебный акт против Белого дома, куда пришел Рузвельт, против Парижа и Лондона, подписавших Версальский мирный договор, по которому Германия была лишена права иметь свою армию.

Естественно поэтому, когда началась репетиция второй мировой войны в Испании, Бен оказался в Мадриде: естественно и то, что Франко — после своей кровавой победы — заново заключил договор с Беном, по которому вся телефонная сеть страны, телеграф и радио переходили под контроль полковника: делил он эту власть лишь с двумя фалангистами, личными представителями каудильо: речь шла не о финансах, но лишь о престиже нового режима.

Вскоре после вторжения Гитлера в Польшу компании ИТТ в рейхе — в отличие от всех иностранных, которые были ариезированы и перешли в собственность министерства экономики, — стали германскими. Прибыли ежеквартально перечислялись на счета Бена в Швейцарию, империя росла невиданными темпами, ибо Вестрик заботился о том, чтобы во всех оккупированных странах заводы, связанные с производством радиоаппаратуры и средств связи, отчуждались в собственность ИТТ.

И после того как вся Европа была повержена Гитлером, директор европейского ИТТ и член наблюдательного совета штаб-квартиры в Нью-Йорке доктор Вестрик прибыл в Нью-Йорк как личный гость полковника Бена.

Эмиссару Гиммлера были заказаны роскошные апартаменты в отеле «Плаза» — пятикомнатный президентский номер; двухкомнатные номера сыновьям и роскошный трехкомнатный номер личному секретарю, баронессе Ингрид фон Фагенхайм; все счета оплачивались Беном.

На первый ужин Бен пригласил Эдселя Форда, сына автомобильного короля Штатов:

— Дорогой Эдсель, я думаю, вам будет полезно подружиться с моим близким другом доктором Вестриком, — сказал Бен, знакомя гостей. — Никто, как он, не понимает всю выгоду укрепления американо-немецких отношений.

— Очень приятно, доктор Вестрик, — Форд резко тряхнул руку немца, — я с симпатией отношусь к эксперименту вашего канцлера.

— Очень приятно, мистер Форд, — ответил Вестрик. — Фюрер поручил мне выразить вам свое восхищение деятельностью вашего концерна.

— Спасибо. Тронут.

Вестрик кашлянул, закурил, поинтересовался:

— Я могу говорить за этим столом со всей откровенностью, господа?

— Бесспорно, — ответил Бен. — Только так, Герхард.

— Берлин уполномочил меня обсудить с вами возможность повлиять на большой бизнес Соединенных Штатов лишь в одном смысле: помощь Британии бессмысленна. Лондон обречен на поражение, если только Черчилль не примет условия, которые мы намерены ему продиктовать. Какой смысл помогать покойнику, политическому трупу? Я имею точные выкладки, с цифрами и прогнозами, — чего мы можем ждать от развития нашей торговли; это гарантирует вам великолепную прибыль.

— Что ж, — откликнулся Форд, — интересное предложение. Как вы считаете, Сосенс?

Тот пожал плечами:

— Придерживайся я противоположной точки зрения, вряд ли мне пришло на ум организовать этот ужин.

— Я думаю, — заметил Форд, — стоило бы собраться в более широком кругу и обсудить интересующие нас вопросы предметно.

Спустя три дня Бен — через президента нефтяного гиганта «Тексас компани» Рибера — организовал обед, на который был приглашен шеф зарубежных операций «Дженерал моторс» Джеймс Муни; миллионер Страсбургер, владевший крупнейшими издательствами страны, Форд и руководители концернов «Ундервуд» и «Кодак».

(Бен не зря включил в комбинацию Рибера: шеф его разведывательной службы Герберт Грюн сообщил ему после ужина с Фордом, что встречей весьма интересовалась контора Гувера; люди Грюна зафиксировали трех агентов ФБР в зале ресторана «Плаза»; блестящий конспиратор, Бен выставил Рибера, в каждой комбинации важна фигура прикрытия, это развязываст руки на будущее.)

Разговор был конструктивным; люди американского бизнеса заверили доктора Вестрика, что начнут кампанию за прекращение военных поставок Англии; дело это, однако, весьма тонкое и сложное; Рузвельт начал свое президентство с того, что признал Москву; видимо, он связан незримыми узами и с Лондоном, так что надеяться на скорый сдвиг не приходится; тем не менее позиции тех, кто видит будущее мира в альянсе Вашингтон — Берлин, достаточно сильны в этой стране; посмотрим, кто сильнее.

Удар по Бену и его друзьям нанес не Гувер; тот хранил информацию в своих бронированных сейфах, ожидая, кто возьмет верх в схватке интересов — ИТТ, «Форд», «Дженерал моторс», «Кодак», «Ундервуд», «Салливэн энд Кромвэлл» братьев Даллесов или же администрация Рузвельта и те англосориентированные корпорации, которые поддерживали демократов.

Удар нанесла британская разведка – неожиданный и точный; резидент лондонской секретной службы в Нью-Йорке Вильям Стефенсон смог опубликовать в июле сорокового года в «Нью-Йорк геральд трибюн» статью о том, что доктор Вестрик на самом деле является видным национал-социалистом; несмотря на то, что он прибыл в Штаты по легенде «гостя» Рибера, на самом деле визит был спланирован во время поездки в рейх Бена; странно и то, что доктор Вестрик прибыл по дипломатическому паспорту Риббентропа; в Лондоне имеют все основания утверждать, что каждое слово, произнесенное нацистским бонзой, было заранее обговорено в ставке Гитлера и получило полнейшее одобрение фюрера.

Вестрику больше было нечего делать в Штатах; вернувшись в рейх, он тем не менее показал группенфюреру Курту фон Шредеру контракт, подписанный им с Беном накануне отъезда из Нью-Йорка: ему, Вестрику, поручалось руководство предприятиями ИТТ во всей Европе, за что Совет директоров фирмы обязался выплачивать ему сто тысяч золотых рейхсмарок ежегодно.

Перед отъездом Вестрик весьма тактично обговорил с Беном конспиративные формы связи (причем предложил поддерживать контакты не с ним, президентом предприятия, но с руководителем службы разведки и безопасности ИТТ Грюном, так удобнее и надежней). Вскоре Грюн положил на стол Бена расшифрованную телеграмму из Берлина: «Рейхсмаршал Геринг приглашает вас, уважаемый полковник Бен, быть его гостем для обсуждения проблем, представляющих взаимный интерес».

Геринг принял Бена в Каринхалле; встретил у входа, дружески обнял; одет был в скромную охотничью куртку, гольфы и тяжелые башмаки, казавшиеся несоразмерно его фигуре большими, оттого что были обуты на толстые шерстяные носки домашней, баварской вязки, белое с синим и розовым, очень колоритно; сначала показал американскому гостю коллекцию ружей, их было девяносто четыре; двенадцать «голанд-голанд» с золотой инкрустацией; двадцать два «пёрде», восемь «перле», два «Ивана Алешкина», семнадцать «Мацка», остальные – ружья из Зуля; потом пригласил в залы, где экспонировалась живопись; два Тициана, Рубенс, Тинторетто, Вермейер, Гойя, Веласкес, наброски Эль Греко; импрессионистов не держал: фюрер называет их живопись «бредом сумасшедших маляров», а кто, как не он, понимает искусство?!

Бен замер перед Эль Греко:

– Какая разительная сочность цветов, рейхсмаршал! Какое точное единение невозможностей – красного, синего и густо-зеленого! Как трагична бледность лица графа Оргаса в контрасте с этим буйством красок, как явственно видится печать близкой смерти!

– Пошли дальше, – улыбнулся Геринг, – там есть более интересный Эль Греко.

– Нет. Позвольте мне полюбоваться этим.

– Будете любоваться им дома, он – ваш, это мой подарок, полковник Бен, я рад, что в вашем доме будет память об этом визите дружбы в рейх.

– Рейхсмаршал, я не могу принять такой дорогой подарок, что вы.

– Можете. Даже обязаны. Да и вы можете сделать мне подарок, чтобы не чувствовать себя обязанным. И этим подарком может быть ваш полет в Лондон, встреча с Чемберленом и Черчиллем, обсуждение с ними наших мирных предложений... Если же они отвергнут мое предложение и рейх не получит столь ожидаемого нами подарка, мира, то и тогда есть выход: оформление в Швейцарии – с вашей помощью, естественно, – поставок на те стратегические товары, в которых нуждается рейх и которые запрещены Лондоном к продаже... Вашингтоном – не столь резко, конечно же, – тоже.

– Считайте, что вы получили подарок, связанный с оформлением стратегических сделок в Швейцарии, это не проблема. Что же касается переговоров в Лондоне... Не убежден в успехе, но попытаться можно, попробую...

– Спасибо, полковник Бен, – Геринг улыбнулся своей чарующей улыбкой, похлопал его по плечу и добавил: – Но чтобы мы были квиты, пожалуйста, отправляйтесь в Бухарест, к фюреру «железной гвардии» Иону Антонеску... Он встретится с вами, естественно, сугубо конспиративно... Обсудите с ним вопросы, связанные с будущим статусом ИТТ в Румынии...

– Возможны какие-то проблемы?

– Да. Там будут брать под контроль государства все иностранные фирмы. Мои люди помогут вам получить компенсацию, думаю, детали вы сумеете проговорить с Антонеску за столом дружбы, он – думающий человек, благородный и смелый.

(Единственным американцем, получившим от Антонеску компенсацию, был Бен; Румыния выплатила ему тринадцать миллионов долларов: нацисты умели благодарить за службу.)

После роскошного обеда, с русской икрой, фазанами и испанскими ангула[1], которых привозили военные самолеты из Сантьяго-де-Компостела прямо к столу рейхсмаршала, Геринг, провожая Бена к машине, сказал:

– И – последний подарок, полковник. У нас есть возможность помочь вам не только расширить ваше предприятие в Испании, ибо Франко наш друг, но и закрепиться в Аргентине. Раскручивайте там дело. Оттуда можно перебросить в Чили, Колумбию и на Кубу. В Боливию, думаю, тоже. Мы готовы быть рядом с вами в том регионе. И присмотритесь к майору Хуану Перону, но так, чтобы об этом знали только три человека: я, вы и ваш Грюн. Договорились?

ШТИРЛИЦ (Мадрид, октябрь сорок шестого)

– Почему вы решили, что я должен перейти к делу, дорогой Брунн? – удивился Кемп. – К какому? Подвез человека – это здесь принято; угостил соотечественника...

– Что не принято...

– Мой отец – ганзеец, мы особые немцы, у нас в Гамбурге это в порядке вещей.

– Да? Ну, как хотите. Я хотел облегчить вам задачу.

[1] Ангула – угорь (исп.).

– Какую?! О чем вы?!

Штирлиц принялся за следующую рыбу, подвинул свой стакан Кемпу, посмотрев при этом на бутылку; вина оставалось на донышке; цвет его был действительно черно-красным, траурным.

– Хотите еще? – спросил Кемп.

– Хочу.

– У вас хорошая печень.

– Видимо, поскольку я вообще не знаю, что это такое.

– А я раньше ежегодно ездил в Карлсбад. Все-таки это самый великий курорт в мире. Нет, нет, во мне не говорит тупое национальное чванство – раз немецкий курорт, значит, самый хороший... Я фиксирую данность. В детстве я переболел желтухой, врачи пугали родителей, что останусь полуинвалидом, всю жизнь диета, ничего жареного, одни овощи, в лучшем случае вареная курица, а после Карлсбада я ем, что хочу, даже сало.

Штирлиц кивнул на последнюю рыбину:

– Хотите?

Кемп рассмеялся:

– Знаете, боюсь, что да! Вы так прекрасно едите, так вкусно это делаете, что я, пожалуй, не удержусь. А вы сыты?

– Черт его знает... Если угостите еще одной бутылкой, пожалуй, не отказался бы от мяса, вы говорили, здесь мясо тоже отменное, нет?

– Неужели сможете одолеть и мясо?

– Только с вином.

– Плохо не будет?

– Хуже, чем есть, не бывает.

– Хотите завтра утром прийти к нам на фирму?

– Обязательно приду. Спасибо.

– Не обольщайтесь по поводу заработка. Более чем на две тысячи поначалу не рассчитывайте.

– Сколько?! Две тысячи?! Так это же целое состояние! Я имею пятьсот песет и то пока еще не умер с голода. Две тысячи... Если вы поможете мне получить такую работу, буду вашим рабом до конца дней моих.

– Думаю, смогу. Вы сказали, что работали в разведке... У кого именно?

– А вы?

– Я же говорил вам, – поморщился Кемп. – Я понимаю, вы вправе быть подозрительным, но мы с вами в Испании, слава богу, здесь с пониманием относятся к тем, кто выполнял свой долг перед рейхом... Я должен представить вас шефам... Директор фирмы Эрл Джекобс, славный человек, совсем еще молодой, любит немцев за умение работать, ненавидит тех, кто был с Гитлером... Я должен придумать для вас какую-то историю... Только поэтому я вас и расспрашиваю... Помогите же мне...

– Во-первых, каждый, кто выполнял свой долг перед рейхом, был с Гитлером. Во-вторых, я не очень-то люблю врать. Да, я служил в разведке, да, я, доктор Брунн, выполнял свой долг, какую тут придумаешь историю?

– Очень простую. Я могу сказать Эрлу, что вы поддерживали Штауфенберга и всех тех, кто хотел уничтожить Гитлера летом сорок четвертого. Да, скажу я ему, доктор Брунн действительно был сотрудником военной разведки, но он никогда не состоял в нацистской партии...

– Он вам поверит?

– А ему ничего не остается делать. Ему нужны люди, хорошо образованные люди, а таких в Испании нет, понимаете? Испанцы не любят учиться, они предпочитают фантазировать и болтать...

– Они не учатся потому, что курс в университете стоит десять тысяч песет.

– Если человек хочет учиться, он находит любые возможности, – ожесточившись, ответил Кемп. – Есть народы, которые прилежны знанию и работе, а есть лентяи; испанцы – лентяи.

– А французы?

– Не надо проверять меня, – Кемп снова засмеялся, лицо его сделалось мягким, расслабленным, и Штирлиц почувствовал, сколько усилий потребовалось этому человеку, чтобы так резко сломать себя; наверняка у него на языке вертелся ответ, подумал Штирлиц, и мне знаком этот ответ, смысл которого сводится к тому, что французы тоже недочеловеки: бабники и пьяницы; конечно, они не такие животные, как славяне или евреи с цыганами, но все равно они неполноценные, стоит посмотреть на ту грязь, которая царит на их рынках, на обшарпанные стены их домов, на их баб, бесстыдно-размалеванных, в коротких юбочках; все, как одна, потаскухи...

– Я не очень-то умею врать, Кемп, вот в чем вся штука. Любой человек, если он не полный придурок, сразу поймет, что я вру. Нука, проговорите мне то, что вы намерены сказать этому самому американскому воротиле...

– Ну что ж, попробую... Только не перебивайте, я ведь импровизирую... Дорогой мистер Джекобс, я встретил моего давнего знакомца, доктора Брунна, великолепный лингвист, английский и испанский, кое-что понимает и по-немецки, – улыбнулся Кемп. – Дипломированный филолог, честный немец, бежал на Запад от русских полчищ... Во время войны выполнял свой долг на передовых участках битвы... Сейчас живет здесь, пока что не принял ни одно из тех предложений, с которыми к нему обращались испанские и британские фирмы...

– Давайте разделим проблему, – усмехнулся Штирлиц. – Первое: ваша импровизация... Я не знаю американцев, но я довольно тщательно изучал Секста Эмпирика. Он говорил мудрые вещи, вроде такой, что при отсутствии ясного критерия становится неочевидным и истинное, а расхождение во мнениях об истине приводит к воздержанию от суждения. Если бы вы рассказали мне, Джекобсу, историю доктора Брунна, я бы воздержался от суждения, то есть я бы не стал брать его, Брунна, на работу. Да, да, именно так, Кемп... Слушайте, а вы ведь мне обещали еще одну бутылку... Мысли бегают... Но это ничего, мы их возьмем в кулак... Умеете брать свои мысли в кулак? – спросил Штирлиц и навалился грудью на стол. – Умеете. По глазам вижу. Я, конечно, пьян, но все равно могу ана-

лизировать ваши слова... Так на чем я остановился?

— На том, что я обещал вам еще одну бутылку.

— Это будет очень любезно с вашей стороны. Только я бы предпочел каталонское... Если, конечно, можно.

— Можно, все можно, Брунн. Дон Фелипе! Вина моему другу!

— Я не ваш друг, — Штирлиц резко отодвинулся и, раскачиваясь, уставился на Кемпа. — Все мои друзья погибли. Я один. У меня нет друзей, ясно? Не считайте, что я ничего не соображаю. Я помню, с чего начал. С моей истории, которую вы импровизировали. Все это чепуха... Да, именно так, чепуха. Я бы не поверил ни одному вашему слову на месте вашего Джонсона...

— Джекобса.

— Ну и ладно... Джекобса... Не считайте его идиотом, только потому что он представитель самой молодой нации мира. Молодость — это достоинство, а старость — горе. Мы представители старой нации, потому-то и прокакали войну. Мы привыкли к дисциплине сверху донизу... Как оловянные солдатики... А они, американцы, эмпирики. Теперь о втором... Что, мол, я не принял предложения от каких-то там фирм... Глупо... У него что, нет телефона, у этого Дэвиса?

— Джекобса...

— Тем более... Что он, не может позвонить на те фирмы, которые вы будете обязаны ему назвать? И спросить, кто, когда и где предлагал мне работу? Сейчас я должен вас покинуть. — Штирлиц, качаясь, поднялся и пошел в туалет; там он пустил воду, сунул голову под холодную струю, растер лицо хрустящим, туго накрахмаленным полотенцем; мы здесь первые посетители, подумал он, к полотенцам еще никто не притрагивался; Кемп не может не клюнуть; по-моему, я подставляюсь ему достаточно точно, и шел я сюда прямо, не раскачиваясь, только чуть поплыл, когда поднялся; я играл спиною п о п ы т к у собраться, я это умею. Не хвастай, сказал он себе, все не просто, ты до сих пор не понимаешь, что происходит, и не можешь даже представить, что тебя ждет, а тебя ждет что-то, причем ждет сегодня же, это точно... А почему ты не допускаешь вероятия его версии? — спросил себя Штирлиц. Ты напрочь отвергаешь возможность того, что он действительно пригласил тебя сюда сам по себе? Немец — немца? Да, я отвергаю это вероятие; если бы он пригласил меня сюда как соплеменника, он бы рассказывал о себе; иначе — открыто и заинтересованно — спрашивал бы про мою историю, он бы по-другому вел себя, в нем сейчас ощущается напряженная скованность. Он к чему-то готовится. Это несомненно. Я предложил ему размен фигур, он отказался. Почему?

Штирлиц услыхал шум подъезжающей машины, резкий скрип тормозов, х л о п к и дверей, похожие на далекие выстрелы из малокалиберной винтовки.

Вот оно, сказал он себе; это наверняка приехал тот голубой «форд», который должен был появиться «через четыре минуты». Ничего себе четыре минуты! Хороша американская точность. Но почему тот, который назвал себя Джонсоном, так интересовался каким-то Барбье? Тоже не по правилам. Черт его знает. Может быть, разработали комбинацию, которой хотят запутать меня. Смысл? Я не

знаю, ответил он себе, я не могу понять их логики... Когда они говорили с Карлом Вольфом или Шелленбергом, они преследовали стратегические интересы, но они всегда подчеркнуто брезговали контактами с нацистами такого уровня, каким считают меня. Зачем им падаль? Что им могут дать штандартенфюреры? За каждым из них тянется шлейф преступлений, который обязывает американцев отправлять их в Нюрнберг, на скамью подсудимых. Отсюда нельзя вывезти человека в Нюрнберг, франкисты не допустят, братья фюрера, союзники рейха.

Он посмотрел на свое отражение в зеркале; господи, как постарел, сколько седины и морщин, мумия, а не человек; высох, кожа да кости, костюм мятый, болтается, как на вешалке, стыд.

Штирлиц вернулся в темный сарай; за столиком возле двери устраивались два человека; на Штирлица они даже не взглянули; увлечены разговором.

— А вина все нет? — громко спросил Штирлиц; Кемп приложил палец к губам, сделал это профессионально, едва заметным, скользящим жестом.

Штирлиц сыграл испуг, приблизился к Кемпу, перешел на шепот:

— В чем дело?

— Вы не знаете того, кто сел к вам спиной? — Он кивнул на столик у двери.

— Откуда же мне его знать, если я только начал ходить по городу?

— Давайте-ка расплатимся и поедем ко мне. У меня есть и вино и мясо...

— А кто тот человек, которого вы испугались?

— Я не испугался его. Отчего я должен его пугаться? Просто я очень не люблю красных. Этот человек был здесь с республиканцами, Хорст Нипс, отсидел свое в лагере у Франко, а сейчас работает с французами, представляет банк «Крэди лионез». Пошли отсюда, пошли, Брунн.

Вот на кого они мени вывели, понял Штирлиц, на республиканца. Не надо было ему называть банк, зачем уж так разжевывать?! Надо было назвать имя и потом смотреть за тем, как я стану искать к нему подходы. Да, видимо, меня привезли сюда именно для того, чтобы назвать фамилию Хорста Нипса. Но почему он приехал сюда, словно по заказу? А что, если Нипс оказался здесь случайно? Что, если действительно был с республиканцами, а потом сидел в лагере Франко? Будь все трижды неладно; не мир, а огромная мышеловка, где нельзя верить никому и ни в чем. Ведь если Нипс республиканец и работает с французами, это самый надежный канал связи с домом. Что ему, трудно переслать мое письмо в наше посольство в Париже? Нет, а ведь я вроде бы малость опьянел. Или растерялся.

...Машина Нипса, старый «рено» с французским номером, стояла возле автомобиля Кемпа; сейчас я должен сыграть сон, понял Штирлиц; будет время подумать, мне сейчас есть о чем думать, потому что я обязан вынудить Кемпа на поступок. Я прав, весь этот обед у дона Фелипе срежиссирован от начала до конца, они пере-

брали с «республиканцем», подставу надо уметь готовить, закон биржи не для разведки, стремительность необходима лишь в экстремальных ситуациях.

Кемп достал из ящичка, вмонтированного в щиток машины, жевательную резинку:

— Отбивает запах, гвардиа сивиль, если они нас задержат, унюхает мяту, а не вино. Я ведь тоже несколько опьянел...

— Вы решили, что я пьян, если говорите о себе «тоже»? Я не пьян, Кемп. Я мучительно трезв. Я просто-напросто не умею пьянеть, такой уж у меня организм. Куда едем?

— Я же сказал — ко мне. Если, конечно, хотите.

— Хочу. Вы женаты?

— Вообще-то женат... Семья живет в Лиссабоне... Я тут один. Нет, не один, конечно, за мной смотрит прекрасная старуха...

— А девки есть?

— Хотите девку?

— Конечно.

— Испанок нет, вы же знаете их кодекс, сплошные Дульсинеи. Но какую-нибудь француженку можно найти. Есть парочка англичанок в нашей фирме, очень падки на любовь, на Острове все мужики грешат гомосексуализмом, у них климат дурной, солнца нет, а девки страдают, готовы прыгнуть на первого встречного мужчину.

— Пусть прыгают, — согласился Штирлиц. — Чтобы не упасть, когда начнут прыгать, я сейчас посижу с закрытыми глазами и расслаблюсь.

— Отдохните, конечно, отдохните. У вас добрых тридцать минут.

— Вы так медленно ездите? — удивился Штирлиц, оседая в кресле. — Ладно, езжайте как хотите... Но вы не уснете за рулем?

— Постараюсь.

— Некоторых надо развлекать разговорами... Вас надо?

— Расслабьтесь и отдохните. Меня не надо развлекать разговорами.

— Хорошо. Вы меня успокоили, — откликнулся Штирлиц.

А почему бы мне действительно не соснуть полчасика, подумал он. Так, как сегодня, я не пил и не ел добрых полтора года. Меня сытно кормил лишь Герберт; наверное, это был их первый подход ко мне, он был ловчей и Джонсона, и этого самого Кемпа, настоящий ас, вопросы ставил «по касательной», срисовывал меня аккуратно, не темнил, — «я из братства, дорогой Брунн, сейчас надо лежать на грунте, как подводная лодка, когда море утюжат дредноуты с глубинными минами на борту. Увеличить пособие мы пока не можем, однако полагаю, скоро ситуация изменится. Согласны со мною? Ощущаете новые веяния в мире? Нет? А я ощущаю. Я никогда не выдавал желаемого за действительное, наоборот, меня обычно упрекали в излишнем пессимизме. Кто? Товарищи по партии и СС. Я кончил войну в вашем звании. Кстати, Бользен ваша настоящая фамилия?» Штирлиц тогда ответил, что разговаривать о профессии он может только с тем, кого знает по РСХА. «Моим шефом, как, впрочем, и вашим, был Кальтенбруннер, но он в тюрьме Нюрнберга. Однако я убежден, что мы достаточно хорошо подготовились к

условиям борьбы в подполье, так что я жду того, кто предъявит свои полномочия на руководство моей деятельностью в будущем. Тому человеку я и перейду в безраздельное подчинение». – «Позиция, – согласился Герберт. – Спорить с этим невозможно. Кого вы готовы считать своим руководителем? Если не Эрнст Кальтенбруннер, то кто?» – «Шелленберг, – ответил Штирлиц, зная, что тот сидит в тюрьме англичан, сидеть будет долго, пока те не получат от него всю информацию, есть резерв времени. – Вальтер Шелленберг«. – «Очень хорошо, я доложу о вашем условии. Со своей стороны я поддержу вашу позицию, можете мне верить. Какие-то просьбы или пожелания имеете?» – «Нет, благодарю». – «Может быть, хотите установить связь с кем-либо из родных, близких, друзей?» – «Где Мюллер?» – «Он погиб». – «Когда?» – «Первого мая, похоронен в Берлине».

Ты неблагодарный человек, сказал себе Штирлиц. Высшая форма неблагодарности – это беспамятство, даже невольное; как же ты мог помнить постный обед этого самого Герберта и забыть Педро де ля Круса, матадора из Малаги?! Ведь он накормил тебя сказочными кочинильяс, не такими, конечно, как в Бургосе у Клаудии, лучше, чем она, их никто не готовит, хотя нет, готовят, в Памплоне, во время Сан-Фермина, фиесты, но он пригласил тебя после корриды и сказочно накормил; не тебя одного, конечно, матадоры обычно приглашают человек двенадцать, это у них принято, – после того особенно, когда закончил бой с трофэо, получив с убитого им быка два уха, – одна из высших наград Испании.

Штирлиц долго разрабатывал эту комбинацию – бессильную, продиктованную отчаяньем человека, поменявщего коричневый ад на голубой; чем лучше синие фалангисты Франко коричневых штурмовиков Гитлера?! Такой же произвол, цензура, тотальная слежка каждого за каждым, такая же закрытость границ, такая же ненависть к красным.

Ему нужна была связь, он привык верить в то, что дома постоянно думают о нем, готовы прийти на выручку в любой ситуации, тем более критической; наладь он связь – Штирлиц был убежден в этом, – дай он знать Центру, где находится, и его вытащат отсюда, его выведут домой. Связь, что может быть важнее связи для человека, работающего разведку?

Побудителем действия было громадное объявление у входа на Пласа де торос: «Последние выступления великого матадора Педро де ля Круса перед его отъездом в Мексику; быки Миуры; квадрилья выдающегося мастера Франсиско Руиса».

В Мексике нет почтовой цензуры, подумал Штирлиц, если я смогу поверить де ля Крусу, он возьмет с собою в Мексику мое письмо пастору Шлагу и бросит его в ящик в том отеле, где остановится; я попрошу Шлага поехать в советскую зону Берлина, позвонить в военную комендатуру и сказать дежурному, что Юстас находится в Мадриде, проживает по калье Пиамонте, неподалеку от старого храма, в пансионате дона Рамона Родригеса, дом три, второй этаж.

Штирлиц даже не допускал мысли, что дежурный может не знать немецкого, а если и знает, то такого рода звонок покажется

ему подозрительным, а если он его и запишет в книгу, то никто там не поймет, что речь идет о нем, Максиме Максимовиче Исаеве; какой Юстас? Почему в Испании? И зачем об этом знать комендатуре Берлина? Сознавая свою общность с Родиной, человек полагает правомочным и прямо-таки необходимым постоянную обратную связь; особенно часто такого рода абберация представлений случается с теми, кто долго живет вдали от дома, черпая силу жить и выполнять обязанности именно в этом обостренном ощущении своей общности со своими, в постоянном внимании к нему — каждодневном и ежеминутном.

Что-то мешало Штирлицу в этом плане, он понимал всю его призрачность, однако ощущение покинутости было таким, что он упрямо отводил от себя вопросы, а их было множество; сначала надо подойти к матадору де ля Крусу, говорил он себе, а уж потом, если он окажется таким человеком, которому можно верить, я продумаю детали и сделаю эту работу так, как единственно и возможно ее сделать.

Он отправился в редакцию «Пуэбло», газету франкистских «профсоюзов», и рассказал свою историю: доктор филологии, покинул родину; кроме Испании, не может жить ни в одной другой стране; участвовал в битве генералиссимуса против республиканцев, имеет награду; хотел бы попробовать себя в роли спортивного репортера; естественно, речь не идет о штатной работе в отделе, только гонорар; живу на пенсию, в деньгах не нуждаюсь, более всего преклоняюсь перед корридой; какое достоинство, побеждает сильнейший, логичность эмоции; это нигде невозможно, кроме как на Пласа де торос; удостоверение на бланке вашей влиятельной газеты откроет путь к постижению тайны схватки человека с быком, зритель одно, а репортер, имеющий право быть рядом с квадрильей, — совершенно другое дело; у вас такого, кажется, еще не было — иностранец пишет о бое быков; да, конечно, Хемингуэй, но ведь он красный, да к тому же его не пускают в Испанию, и писал он романы, а не репортажи.

...С удостоверением «Пуэбло» Штирлиц отправился на «Пласа де торос Виста Аллегре», не очень большую, но вполне престижную, прошел сквозь три заградительных кордона полиции, спустился на арену, туда, где за деревянной загородкой квадрилья и матадор организовывали бой, представился Педро де ля Крусу; тот попросил пикадора Анхела прочитать бумажку, сам-то из деревни, неграмотен; попросил писать правду; «я не боюсь критики, но терпеть не могу отсутствия профессионализма; я получаю деньги за работу, а она кровавая, так что, если чего не поймете, спросите моих коллег, они знают толк в деле и помогут вам разобраться в тонкостях».

Штирлиц несколько раз бывал на корриде в тридцать седьмом, когда работал в Бургосе при штабе Франко; обычно он покупал билеты на трибуну «Сомбра»[1], где собирались те, кто мог платить; чаще всего он садился рядом с шефом политической разведки генералом Гонсалесом — сам по себе личность незаурядная и корриду лю-

[1] Сомбра — тень *(исп.)*.

бил совершенно истово; хотя истинного ощущения боя Штирлиц все-таки не научился чувствовать, ему, однако, стала понятна геометрия схватки; высший смысл корриды в том, чтобы довести риск до абсолюта. Чем ближе от бедра матадора проходит рог быка, острый, как шило, чем небрежнее он взмахивает своей бордовой мулетой перед разъяренной мордой окровавленного животного, тем выше класс борьбы; испанцы чтут безрассудство риска, небрежение к смертельной опасности, а это нельзя сыграть, фальшь скрываема в слове, но она сразу же заметна в движении крохотной фигурки матадора на громадной арене, один на один с пятисоткилограммовым быком, приготовившимся к последнему удару: или ты пронзишь ему сердце, или он поднимет тебя на рога, третьего исхода не существует.

Поначалу бой складывался не лучшим образом, хотя бык был прекрасен; торс его чем-то напоминал Штирлицу торпеду, такая же тупая одержимая устремленность; когда он занимался делом атомщика Рунге, ему пришлось обращаться за экспертизой не только в ведомство Геринга (тот какое-то время поддерживал атомный проект), но и к людям Вернера фон Брауна, отца ФАУ. Штирлиц тогда с ужасом смотрел на эти ракеты; такие же, как этот бык, могучие в «торсе» и такие же узкозадые, они зримо таили в себе направленную, бессмысленную угрозу.

Педро де ля Крус применил неверную тактику боя; с самого начала он повел себя слишком уж бесстрашно; публика не любит этого в начале, не надо тешить сжеминутным вероятием летального исхода; конечно, если люди заметят, что он боится быка, матадора освищут, и, как бы прекрасно он ни провел корриду, первое впечатление будет решающим, а ведь еще древние драматурги знали, как играть героя, не зря вводили в ткань представления хоры, которые рассказывали, как силен и опасен враг; герою оставалось только победить или погибнуть, категория интереса соблюдена абсолютно; так же, подумал тогда Штирлиц, и Педро надо было играть своего быка; надо было загодя срежиссировать с пикадором его падение с лошади, когда бык бросится на всадника: надо было договориться с бандерильерос[1], чтобы они разбежались по арене, а еще лучше скрылись за деревянный барьер, когда бык начнет метаться за людьми, и лишь после этого, оставшись с животным «мано-о-мано»[2], следовало показать бесстрашие, оно было бы подготовлено; контраст есть прием искусства, а что, как не искусство, настоящий бой против пятисоткилограммового быка с пастбищ Миуры?!

Настроение людей, пришедших на зрелище, переломить трудно; Штирлицу показалось даже, что Педро проиграл бой; освищут; однако воистину не было бы счастья, да несчастье помогло: бык поднял на рога молоденького бандерильерос, настигнув его возле самой загородки, куда спешил парень, чтобы укрыться от рассвирепевшего животного.

Он мог погибнуть, если бы Педро не бросился к быку с мулетой в руке, отманивая его на себя; отманил; начал игру; бык проносил-

[1] Бандерильерос – участники боя *(исп.)*.

[2] Мано-о-мано – лицом к лицу: дословно рука к руке *(исп.)*.

ся мимо него в сантиметре, не больше; на трибунах стали кричать «оле!»[1]. А это значит, что работу Педро оценили; мертвая тишина трибун, разрываемая жарким выдохом «оле!», свидетельствует о том, что матадор ведет бой достойно, как истинный кабальеро, бесшабашное мужество и абсолютная грация движений, никакой суеты; достоинство, прежде всего достоинство.

На почетных местах для наиболее уважаемых гостей Штирлиц заметил генерала Гонсалеса; тот сидел в белом чесучовом костюме, в белой шляпе, со стеком в холеных руках; после увольнения в отставку никогда не носил форму, хотя имел на это право.

«Вот кто мне нужен, — подумал тогда Штирлиц. — Только я не интересен ему — в моем нынешнем положении. Если бы я был силен, он бы пошел на любой блок со мной; тот, кто уволен от дел, алчет связей с сильными, особенно иностранцами... А я — нищ и слаб, пустое место, ему нет никакого резона восстанавливать знакомство, которое было таким тесным в тридцать седьмом...»

После окончанин боя, когда Педро обошел арену, подняв над головой трофэо — ухо быка, врученное ему президентом корриды, — он пригласил Штирлица в свой громадный «паккард», вмещавший восемь человек, всю его квадрилью, включая «шпажного парня» Антонио, и они покатили в маленький бар «Алемания» на тихой улице Санта Анна, здесь традиционно собирались после боев все матадоры, угощение было по-испански щедрым и безалаберным, тарелки ставили и тут же забирали; Штирлиц не успевал доесть, как у него выхватывали мясо и ставили тарелку с новыми яствами; ну и темперамент!

Чем дальше, тем больше матадор нравился Штирлицу; он любил в людях надежность и уважительность к тем, кто от него зависел; Педро смотрел на своих бандерильеров и пикадора влюбленными сияющими глазами; «без вас я ничто, кабальеро, спасибо вам, вы были истинными бойцами, я восхищался вами». Люди за соседними столами щелкали языками: «как сказано! как прекрасно сказано!» Никто так не ценит слово в застолье, как испанцы и грузины. «Сначала было слово» — как же иначе?

Такой парень не подведет, подумал тогда Штирлиц, ему можно доверить письмо, он не станет вскрывать его и не отдаст тому, кто попросит об этом; испанцы ценят доверие; чем больше и открытее доверяешь ему, тем более он верен дружеству, — ведь доверие возможно только между друзьями; я спрошу его, где он остановился в Мадриде, и приду к нему завтра; я запутаю тех, кто может следить за мной, хотя вряд ли, вроде бы я чист, кому я здесь нужен?

Штирлиц присматривался к матадору; он умел смотреть так, что человек не замечал этого; не зря он занимался живописью; взгляд, как удар бандерильей, стремителен, рассеян, и вот уже срисована манера человека слушать (а ведь это так важно, как люди слушают других, за этим сразу встает характер); взгляд — и в памяти навсегда останется манера говорить; взгляд — и ты навсегда запомнишь, как человек ест и пьет, в этом тоже его характер; нет, он положительно нравился Штирлицу, этот матадор.

[1] Оле! — давай! (*исп.*)

Педро пил очень мало, ел еще меньше, на вопросы отвечал сдержанно, но очень красиво; в конце обеда подвинулся к Штирлицу:

— Я уважаю вас, немцев. Мой брат сражался вместе с вами в «Голубой дивизии» против красных. Его там убили.

Нет, сказал себе Штирлиц, я не зря ощущал все это время запеленатость; я чувствую опасность кожей; это чувствование стало моим «альтер эго», ничего не попишешь; не оно, конечно же, превалирует во мне, все-таки, во-первых, я логик, и поэтому мне довольно трудно жить, ибо каждый порыв автоматически, как само собой разумеющееся, перепроверяется холодным расчетом, анализом фактов и явлений, иначе нельзя, если бы я жил не так, меня бы давным-давно ждал провал. Стоики утверждали, что из трех элементов — обозначаемое (мысль), обозначающее (слово) и предмет, находящийся вне всего, — главным является обозначающее. Эпикурейцы упростили эту позицию, исключив понятие «обозначающее», вознесли того, кто видит и судит о предмете, выражая ложь или правду словом; эпикурейцы облегчали себе жизнь, они отказывались принимать идею, мысль как явление, существующее вне нас; «я — хозяин мира, я создаю его в своем воображении так, как мне угодно, истина или ложь определяется лишь моим словом»; бедные эпикурейцы, моя работа им бы не подошла, сгорели бы за месяц, а то и быстрее. Впрочем, и стоики долго бы не продержались, примат слова никого до добра не доводил; не слово определяет факты бытия, но именно оно, бытие, формулирует словом правду и ложь; как только слово становится самодовлеющим, как только сознание делается тираном бытия, так начинается шабаш лжи. Я всегда шел за правдой факта, наверное, поэтому и слова находил правильные; я не пытался подогнать жизнь под себя, это невозможно, хотя так заманчиво; жизнь обстругивает нас и заставляет — рано или поздно — следовать в ее русле, как же иначе?! Ладно, будет тебе хвалить себя, подумал Штирлиц, жив еще — и слава богу, думай, что тебя ждет, и похрапывай, чтобы Кемп верил в твою игру: голодное опьянение, развезло, рано или поздно язык развяжется, обмякнешь. Вот и готовься к тому, чтобы размякнуть достоверно. А для этого заставь себя отключиться, ты же умел спать и по пять минут, зато какой свежей делалась голова, какой чистой и собранной, давай отключайся, у тебя еще есть минут десять.

...Кемп положил ему руку на плечо через пятнадцать минут, когда притормозил около старинного красивого дома:

— Мы приехали, Брунн. Как поспали?

— Я не спал ни минуты, — ответил Штирлиц. — Я думал. И у меня чертовски трещит голова. Самое хреновое дело, если не допил. У вас есть что выпить?

— Я же говорил: все, что душе угодно. Дома и я с вами отведу душу, вы-то пили, а я лишь поддерживал компанию, знаете как обидно...

— Знаю. Я тоже поддерживал компанию, когда мне приходилось выполнять свою работу.

– Опять вы за свое... – вздохнул Кемп, пропуская Штирлица в маленький лифт, всего на двух человек, хотя сделана кабина была из красного дерева, зеркало венецианское, а ручки на дверцах латунные, ручной работы, – оскаленные пасти тигров, очень страшно.

Квартира Кемпа поразила Штирлица: в старый испанский дом, с его таинственными темными закоулками, длинными коридорами и громадными окнами, закрытыми деревянными ставнями, была словно бы вставлена немецкая квартира – много светлого дерева, (скорее всего, липа), бело-голубая керамика, баварские ходики-кукушка, хирургически чистая кухня-столовая, большой холл с камином; на стенах пейзажи Альп и Гамбурга, его маленьких улочек возле озера.

– Хотите виски? – спросил Кемп. – Или будете продолжать вино? Я жахну виски.

– Сколько у вас вина?

– Хватит. Дюжина. Осилите?

– Нет, мочевой пузырь лопнет, некрасиво. А пару бутылок высосу.

– Есть хамон[1]. Настоящий, из Астурии, очень сухой. Любите?

– Обожаю. А сыр есть?

– И сыр есть. Располагайтесь. Включить музыку? Я привез много наших пластинок. «Лили Марлен» поставить?

– Какое у вас воинское звание?

– Капитан. Я кончил службу капитаном. Останься в армии, был бы полковником.

– В каком году кончили служить?

– Давно.

– Просто так и сказали: «больше не хочу служить рейху и фюреру»?

– Нет, – ответил Кемп, расставляя на столе большие тяжелые бокалы, тарелки, на которых были изображены охотничьи сцены, бутылки, блюдо с хамоном и сыром. – Вы же прекрасно знаете, что так я сказать не мог. Меня перевели в министерство почт и телеграфа... Мы занимались атомным проектом. Штурмбанфюрер Риктер возглавлял административную группу, я курировал координационную службу, громадный объем информации, нужно было следить за всем тем, что выходило в печать на английском языке, на французском... Да и потом, постоянные драки между теоретиками... Они вроде писателей или актеров... Грызутся день и ночь, толкаются, словно дети, только в отличие от малышей дерутся не кулаками, а остро отточенными шилами. Попробуйте вино. Каково?

Штирлиц сделал глоток:

– Это получше того, чем нас поил дон Фелипе.

– Да? Очень рад. Мне присылают вино из Севильи, там у нас бюро, мы купили хорошие виноградники. Эрл знает толк в коммерции... Еще?

– С удовольствием.

– А я добавлю себе виски... Хорошее виски, крестьянский напиток... Зря отказываетесь.

[1] Хамон – вяленое мясо *(исп.)*.

– Я не откажусь, когда вы устроите меня к себе. Напьюсь до одури. Обещаю.

– До одури – не позволю. На чужбине соплеменники должны оберегать друг друга. Неровен час...

– Когда вы уехали сюда?

– В сорок четвертом... Фюрер закрыл атомный проект как нерентабельный. А потом гестапо арестовало ведущего теоретика Рунге, они выяснили, что у него то ли мать, то ли бабка были еврейками, вы же знаете, не чистых к секретной работе не допускали... Ну, меня и отправили сюда, на Пиренеи...

– Кто? Армия?

Кемп впервые за весь разговор тяжело, без улыбки посмотрел в глаза Штирлица и ответил:

– Да.

– Разведка? Абвер?

– Нет. Вы же прекрасно знаете, что Гиммлер разогнал абвер после покушения на Гитлера, но ведь министерство почт и телеграфа имело свои позиции в армии...

– С какого года вы в ИТТ?

– С сорок пятого.

– Гражданин рейха работает в американской фирме?

– Почему? Это испанская фирма... И потом, мне устроили фиктивный брак с испанкой, я получил здешнее гражданство, все легально. Как, кстати, у вас с паспортом?

– У меня хороший паспорт.

– Можно посмотреть?

– А зачем? Я же сказал – вполне хороший паспорт.

– Вы испанский гражданин?

– Нет, у меня вид на жительство.

– Что ж, на первое время – терпимо. Выпьем за успех нашей задумки, доктор Брунн. Выпьем за то, чтобы вы стали человеком ИТТ...

– Я за успех не пью... Суеверный. А за знакомство выпью. Спасибо, что вы подобрáли меня на дороге.

– Не стоит благодарности. Как вы, кстати, там очутились?

– Ума не приложу.

Кемп плеснул виски в свой тяжелый стакан и, выпив, заметил:

– Сколько же лет вам надо было проработать в разведке, чтобы стать таким подозрительным?

– Жизнь, – ответил Штирлиц. – Где, кстати, сейчас этот парень из гестапо?..

– Какой именно?

– Рунге? Нет, Риктер...

– Не знаю. Да и не очень интересуюсь этим.

– Не думаете о том, что эти люди могут нам понадобиться в будущем?

– «Нам»? Кого вы имеете в виду?

– Немцам.

Кемп поднялся, походил по холлу, потом остановился около окна, прижался лбом к стеклу и негромко ответил:

— Чтобы ответить на этот вопрос, доктор, я должен получить от вас исчерпывающие данные о том, кто вы, как сюда попали, с кем поддерживаете контакт и отчего оказались на той дороге, где автобусы ходят всего лишь два раза в день... Впрочем, если вы откажетесь это сделать, на работу я вас так или иначе устрою. Как любой немец, я сентиментален, ничего не попишешь.

...Расстались в три утра; Кемп вызвал такси, спустился на улицу, уплатил шоферу деньги, повторил, что ждет Штирлица завтра, в двенадцать, в своем кабинете на Аточе, вернулся в квартиру, выключил аппаратуру звукозаписи, достал из скрытой в стене фотокамеры кассету, тщательно завернул ее в светонепроницаемую бумагу, затем снял отпечатки пальцев Штирлица со стакана и бумажной скатерти, обработанной специальным составом, все это запер в сейф. Завтра материалы уйдут в Мюнхен, в «организацию» генерала Гелена.

(О том, что «доктор Брунн» будет идти по дороге на Сиерру с двенадцати до двенадцати двадцати и что именно в это времн его надо посадить в машину, ему, подполковнику абвера Рихарду Виккерсу, живущему в Испании по паспорту инженера Кемпа, пришло указание из «организации», причем он был предупрежден, что «объект» может представлять серьезный интерес в будущем, если только подтвердится, что он является именно тем человеком, которым заинтересовался генерал Гелен.)

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
(братья Даллесы, осень сорок пятого)

1

Они встретились в клубе во время ленча; сидели, как всегда, за столиком возле окна — там было их постоянное место; когда официант начал готовить стол к десерту, Аллен вздохнул:

— Тяга к парадоксам есть первый симптом старения.

— Вот как?

— Определенно так; мы избежим главного вопроса: сколько еще осталось? Оттачиваем мозг рассуждениями о том, как бы невозможное сделать достижимым.

— Такого рода парадокс меня интересует куда в большей степени, чем тебя, потому что я значительно старше.

— Но он, как всегда, опосредован, — Аллен пыхнул своей прямой английской трубкой. — Чем лучше твое настроение, тем больше шансов на долголетие, а чем дольше ты живешь, тем реальнее изобретение эликсира вечности.

— Но это аксиома, а не парадокс.

— Верно, я еще только подкрадываюсь к парадоксу... Ответь мне, какие этапы русской истории ты можешь определить как пиковые, наиболее значительные?

— Хм... Видимо, крещение, затем победа над татаро-монголами, после того разгром Наполеона, а затем — нынешняя победа над Гитлером.

Аллен покачал головой:

— Не совсем так, хотя первые две позиции я принимаю. Двумя махинами, определившими гигантские скачки России, были Петр Великий и Ленин. Первый сделал Россию европейской державой, великой европейской державой, уточнил бы я, а второй превратил ее в мировое государство: если до семнадцатого года в Мехико, Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айресе не очень-то и знали о России, то после революции Ленина самая идея его государственности сделалась фактом присутствия на юге нашего континента, в Африке, Индии и Австралии. Ты согласен?

— К сожалению, ты вынуждаешь меня согласиться с этим.

— Я? — усмехнулся Даллес. — Или Ленин?

— Опять-таки, к сожалению, не ты, — в тон ему ответил Джон Фостер. — С тобою бы я как-нибудь договорился.

— Теперь ответь на следующий вопрос: кто из русских лидеров прожил на Западе столько, сколько Петр и Ленин? Отвечаю: никто больше. Следовательно, прикосновение мятежной русской мысли к европейскому техническому и культурному прогрессу дважды оказывалось для Запада чревато появлением нового качества государственной силы. А когда Россия оказывалась на задворках Европы? Когда она терпела унизительные поражения? В момент, когда русский двор стоял на позициях изоляционизма, когда все контакты с Западом были прерваны, когда они варились в собственном котле: первый раз это проявилось во время Крымской войны, когда десант англо-французов разгромил армию Николая Первого. К сожалению, да, да, именно так, к сожалению, вскоре после этого поражения в России освободили крестьян. Затем начал налаживаться контакт с Западом, что — если бы продолжался — могло ввести Россию в число пяти ведущих промышленных держав Европы. К счастью, после воцарения Александра Третьего то окно, которое прорубил Петр, снова захлопнулось, — древние традиционалисты, стоявшие в оппозиции к новациям Петра Великого, живучи при дворе императоров, — все контакты прекратились, и была выработана стратегия на превращение империи в евроазиатскую державу. Но разгром Николая Второго махонькой Японией снова вызвал в стране бурю негодования, а негодовать там было кому, как-никак Толстой, Чайковский, Достоевский и Менделеев по национальности русские, а отнюдь не англичане, нация мыслителей куда не крути! И после всех пертурбаций пришел Ленин, который состоялся как политический и государственный деятель России на трех китах: немецкой философии, Французской революции и английской политэкономии. И Россия, став Республикой Советов, перешагнула границы Европы, Азии и Америки вооруженной не экспансией, но притягательностью своей доктрины. Не спорь, Джон, это мне неприятно, как и тебе, но нельзя восставать против фактов. Что же происходит сейчас? Наша сегодняшняя политика должна быть определена как самая глупая изо всех, какую мы проводили за последнее время. Мы насильно тащим Россию за стол переговоров, мы навязываем ей рецепты европейского парламентаризма, мы охаем и ахаем по поводу того, что они не понимают нас... Так ведь и слава богу, если не понимают, Джон! За-

дача Запада в том и состоит, чтобы, затолкав джинна в бутылку, оттеснить к его границам, пусть они преют в своем соку! Это им нужен обмен, Джон! Он нам не нужен! Мы должны сделать все, чтобы там снова восторжествовала идеология традиционалистов, мы обязаны содействовать разрыву всех тех контактов, которые установились во время войны! Только это даст нам свободу маневра в Европе, Джон, только это гарантирует нашу спокойную работу на юге Америки, что в конечном-то счете главное для нашего поколения. Восток Европы – болевая точка Кремля, для нас это – тактика ближнего боя, тогда как защита Западного полушария – стратегия, спланированная на многие десятилетия вперед.

Джон Фостер хрустко откусил яблоко, покачал головой и спросил:

– Загадать загадку?

– Конечно.

(Это у них было с детства: они разговаривали на особом языке, непонятном взрослым; отец посмеивался: «Пусть, это тяга к автономии, независимость человека рождается именно в младенчестве, научатся стоять за себя, без этого сомнут».)

– В таком случае ответь мне: кому выгоден роспуск ОСС? Кому будет на руку, если твоя организация перестанет существовать? Только отвечай парадоксально, иначе тебе меня не увлечь, – улыбнулся Джон Фостер Даллес.

– Не знаю, – ответил Аллен. – Теряюсь в догадках.

...Когда Трумэн вернулся из Потсдама, о роспуске ОСС никто еще и не помышлял, хотя в воздухе витало нечто; постоянно, день за днем, не очень-то заметно для обывателя шел процесс формирования нового штаба; людям Рузвельта, как и их покойному кумиру, выказывалось прилюдное уважение, протокол соблюдался неукоснительно, однако тем, кто умел мыслить, было ясно, что грядут новые времена, зреет иная концепция политики.

Понятно, что первую атаку на ОСС организовал директор ФБР Гувер, конкурент, однако и он это сделал не впрямую, но через своих друзей, работавших в Объединенном комитете начальников штабов: «Ныне Отдел стратегических служб является не чем иным, как мыльным пузырем; война кончилась, и мы обязаны сказать это со всей определенностью, уже не опасно, поскольку реальная угроза делу появляется лишь в том случае, когда лошадей перепрягают на ходу. Давайте открыто признаем, что ОСС проморгал Пёрл Харбор; давайте не будем закрывать глаза на то, что Донован имел сведения о ситуации в Югославии, Польше, Болгарии,Чехословакии, но ничего не смог предпринять для того, чтобы привести там к власти режимы, оппозиционные Сталину; давайте, наконец, согласимся с тем, что ОСС зависел от англичан, от их опыта и традиций, куда в большей мере, чем от таланта американских разведчиков».

Слово сказанное есть предтеча действия. В прессе начались толки; люди Рузвельта справедливо увидели в нападках на ОСС требование создать новый разведывательный орган, подчиненный

непосредственно президенту. Это был поворот к построению общества, в котором был бы признан примат разведки и утверждена позволительность знать все обо всех. Те из штаба Рузвельта, которые еще могли как-то влиять на события, заняли резко отрицательную позицию по отношению к тем, кто покатил на ОСС.

«Дикий Билл», умный, но не сдержанный Уильям Донован, крестный отец ОСС, разразился филиппикой против тех, кто перемывал кости ОСС: «Вы поднимаете голос на святое, на то, что создалось во время войны и выдержало испытание войною».

Именно тогда, во время очередной встречи с президентом, Джон Фостер Даллес и задал вопрос:

— Хорошо, допустим, время ОСС кончилось. Кто станет правопреемником?

Трумэн тогда ответил в обычной своей манере: «Надо посоветоваться, подумаем».

...Джон Ф. Даллес не знал еще, что именно его младший брат стоял за спиной Гувера, начавшего атаку против ОСС.

Он не знал, даже не мог представить себе, что именно Аллен задумал и просчитал всю комбинацию с роспуском ОСС. К этому решению Аллен Даллес пришел не сразу и далеко не просто, после мучительных раздумий о выработке концепции будущего. Как и всякая идея, тем более носящая характер стратегический, то есть глобальный, эта его комбинация рождалась на ощупь, постепенно, подминая под себя факты и мнения, правду и ложь, желаемое и действительное. Постепенно, поначалу зыбко, появлялись некие контуры замысла, однако в отличие от тех задумок, которые рождались ранее, — в обкатке с друзьями, в проверке и перепроверке аналитиками, — эта его идея обязана была жить в тайне и принадлежать одному лишь человеку на свете: ему, Аллену Даллесу, и никому больше, даже брат не имел права ничего о ней знать.

Он исходил из того, что, во-первых, война кончена, нацизм сломлен и вся концепция прошлой деятельности ОСС, таким образом, изжила себя, более того, делалась обузой той политике, которая подспудно оформлялась Трумэном — открытое сдерживание коммунизма, закрепление американских позиций в мире и постепенное оттирание русских к границам тридцать девятого года. Во-вторых, новая стратегия базировалась не на союзнических постулатах, а на реальном положении дел в мире, а оно было таким, что Англия перестала быть империей, потеряла свои ключевые позиции как в Азии, так и на юге Американского континента, не говоря уже о Европе и Ближнем Востоке; Франция лишь на словах называется союзником, но на самом деле таковым не является; таким образом, единственным реальным союзником, объединенным со Штатами общностью антикоммунизма, могла и обязана стать Германия. Однако тот коллектив людей, который составлял мозговой центр ОСС, не сразу и не легко согласится с такой моделью будущего, а она представлялась Даллесу единственно целесообразной, ибо Германия есть — хотим мы того или нет — бастион Запада, выдвинутый к русским границам. В-третьих, зловещим шуткам президента Рузвельта — об имперских амбициях Черчилля, который дрожал за британские колонии, пришел

конец; теперь Америке надо было защищать завоеванные в мире позиции, как бы эта борьба ни называлась – имперской, гегемонистской, агрессивной – неважно; все то, что принадлежало раньше Англии и Франции, должно контролироваться Соединенными Штатами, ибо лишь их мощь сможет удержать эти территории в орбите Запада. И наконец, в-четвертых, он понимал, что создавшийся в период битвы против Гитлера военно-промышленный комплекс нуждается в том мобильном инструменте, который сможет не только давать продуманные рекомендации по оптимальному вложению капиталов в мире, но и защищать эти вложения так, как это не мог делать Отдел стратегических служб, каждое действие которого (в той или иной мере, естественно) контролировалось, обсуждалось и санкционировалось тремя равноправными штабами – сухопутным, морским и военно-воздушным, а ведь за каждым из этих штабов стояли совершенно определенные корпорации, и что было угодно «Тексасу», ставившему на флот, то совершенно не устраивало «Диллона», который традиционно поддерживал сухопутные (особенно десантные) войска.

– А все-таки, как ты предполагаешь поступить, если ОСС действительно перестанет существовать? – спросил Даллес-старший.

– Знаешь историю про то, как осел попал на необитаемый остров? – пыхнув трубкой, спросил Аллен.

– Нет.

– Не обидишься?

– Мы же уговорились никогда друг на друга не обижаться; сердиться – да, но обижаться – нет; обидчивость – родимое пятно тугодумной малоподвижности...

– Хорошо... Итак, осел оказался на необитаемом острове, где нет ни пресной воды, ни тени, ни еды. Проходит день, второй, ситуация совершенно безнадежная, осел обошел весь остров, бил копытом песок в поисках воды или кореньев – ничего, пусто. И ни паруса на водной глади, ни геликоптера в небе. Что надо было предпринять ослу, чтобы спастись?

Джон пожал плечами:

– Может, рядом был какой-нибудь островок с водой и травами?

– Был. В ста метрах. Но ведь осел не умел плавать. Как быть?

– Не знаю, – ответил Джон Фостер. – Право, не знаю.

– Вот видишь, – Аллен вздохнул. – И осел не знал.

Джон отвалился на спинку стула, рассмеялся, пообещал:

– Я попробую рассказать эту историю президенту. Хотя ему нельзя, он обидится...

– Да уж, ему этого рассказывать не следует. Мыслительный аппарат нашего избранника весьма заторможен. Должен признаться, что именно я в значительной степени способствовал появлению идеи о роспуске ОСС, мой мудрый и добрый брат.

– Опасаешься, что помощнику никогда не стать шефом предприятия?

– И это тоже... Но – лишь в какой-то степени... Я бы даже сказал, что в незначительной. Все проще: «Дикий Билл» рекрутировал кадры ОСС не только из числа наших с тобою друзей и единомыш-

ленников. Он взял в кадры множество людей вполне левых, я бы даже сказал, марксистских концепций. Если это было целесообразно в дни войны против Гитлера, то сейчас это не допустимо.

– Такого рода пассажа я еще не встречал в прессе.

– Пока – рано. Как, по-твому, когда Трумэн решится на то, чтобы официально разогнать мой родной ОСС?

– Скоро.

– А что придет взамен?

– Он не знает.

– Было бы идеально, передай он функцию ОСС государственному департаменту, Джон.

– Это значит погубить все дело на корню.

– И очень хорошо. В будущем я отвожу тебе, – жестко сказал Аллен, снова пыхнув трубкой, – пост государственного секретаря. Я так задумал, видишь ли ты...

– И поэтому подкладываешь мне свинью?

– Не тебе. А нынешнему государственному секретарю Бирнсу. Пусть он сломает на этом деле зубы. Последовательность и еще раз последовательность, Джон. Всякое истинное восхождение есть восхождение по лестнице, а оно – постепенно. Если ты сможешь помочь реализации этой моей идеи, я обещаю тебе спектакль.

– Какой?

– Сенсационный. Который пойдет на пользу делу. Который приведет тебя в государственный департамент, а меня – в разведку, подчиненную не своре честолюбцев, но президенту Соединенных Штатов.

– Конструкция любопытна, – заметил Джон Фостер, – но ты до конца не сформулировал причинные последовательности. Думая о сдерживании коммунизма в Европе и, видимо, в Азии, ты пока ни слова не сказал о Латинской Америке, а это – главная опасность, Аллен, реальная опасность, поскольку именно там тлеет фитиль, заправленный в бочку с порохом. Там русских нет и не было, там не оправдаешь наше действие угрозой рывка красных армий к Ла-Маншу.

– Я с тобою совершенно согласен. Я уже начал работать.

– Каким образом?

– Я пытаюсь создать архив, Джон. С этого начинается любая разведывательная акция. А если мы уговорились, что новая организация разведки будет качественно новой, то есть действенной, то сбор архива на тех и на то, что меня интересует, даст нам повод к действию. И потом: именно там, на юге, я намерен опробовать еще одну свою задумку...

– Поделись.

– Дай слово, что поймешь меня верно?

– Я постараюсь понять тебя так, как нужно.

– Я намерен провести эксперимент... Я хочу сделать так, чтобы черновую работу на юге нашего континента провели наши с тобою бывшие враги. Когда американцы открыто выступали против Панчо Вильи и Сандино, нас корили этим и справа и слева. Мы не будем впредь так выступать, почву взрыхлят немцы. На них обрушатся все удары – в случае неудачи, но с нас нечего спрашивать, мы были в

стороне, мы не вмешивались...

– Заманчиво, но – рискованно.

Аллен снова пыхнул трубкой, испытующе посмотрел на брата:

– Ты против?

– Я против того, чтобы это стало достоянием гласности.

– Нет, это не станет достоянием гласности.

– Станет.

– Нет.

– Гарантии?

– Я создаю группы верных людей, которые будут искать и найдут нацистов, скрывшихся от возмездия. И эти люди сделают все, что им прикажут. Всякий поиск – это архив, тот самый архив, без которого нельзя начать серьезное дело. Но вот если о том, что ты считаешь юг континента самой горячей точкой мира – и ты считаешь верно, – узнают наши противники на Уолл-стрите, вся идея с созданием централизованного органа разведки будет торпедирована на корню. Ведь они же понимают, что у тебя есть брат, не претендующий на лидерство, любящий свои трубки и предпочитающий речам – дело. Они не допустят того, чтобы наш с тобой альянс сделался фактом жизни! Прецедента такого рода – внешняя политика и новая организация разведки в руках одной семьи – не было еще в истории Штатов. Всякий прецедент опасен именно тем, что он – прецедент, то есть реальность.

...После того как в октябре сорок пятого президент Трумэн упразднил ОСС, после того как Даллес-младший организовал довольно изящную дезинформацию на Кремль, суть которой сводилась к тому, что этот жест президента Соединенных Штатов не может не вызвать ответный шаг генералиссимуса Сталина, ибо война кончена, надобность в разведывательной работе отпала, мир гарантирован единством союзников и ролью Организации Объединенных Наций, после того как Сталин ничего не ответил на этот пассаж, – правая пресса США начала кампанию за немедленное создание «мобильного и вполне дееспособного разведывательного органа».

А уж потом конгрессмен Мундт жахнул заявление, смысл которого сводился к тому, что люди ОСС, переданные государственному департаменту, сплошь заражены бациллами коммунизма, запятнаны контактами с русскими и подлежат тотальной проверке.

ФБР получило право начать негласное расследование против трех тысяч сотрудников Отдела стратегических служб.

После этого Аллен Даллес тайно встретился с сенатором Маккарти и вручил ему документы, свидетельствовавшие о «связях» ведущих работников ОСС с коммунистами; Маккарти начал раскручивать колесо комиссии по расследованию антиамериканской деятельности; главное внимание было обращено – с подачи Аллена Даллеса – на антифашистов, причем не американского происхождения.

В прессе стали появляться документы о тотальном шпионаже; потребность в создании могущественного и совершенно самостоятельного разведывательного сообщества, таким образом, делалась необходимой.

Но никто в Соединенных Штатах: ни Донован, уволенный со своего поста и отправленный в почетную отставку в Европу, заместителем американского обвинителя в Нюрнбергском трибунале, ни даже Гувер, – не мог предположить, что за кулисами этой комбинации стоял Аллен Даллес, не мог, и все тут, слишком уж тонко; они привыкли к более простым решениям, подобных комбинаций планировать не умели, это ж талант, а с ним родятся... И никто не знал, что самой глубокой, истинной, а оттого потаенной причиной, которая подвигла Аллена Даллеса форсировать разгон ОСС, было абсолютно точное видение им будущего разведывательного организма Соединенных Штатов.

Именно сейчас, в период безвременья, когда он отойдет от дел, его люди, – через цепь других людей, за поступки которых он не отвечает и никогда не сможет отвечать, – наберут такую команду, которая будет готова на все. Ни один руководитель, отвечающий за конституционно созданное правительственное учреждение, никогда бы не разрешил привлекать тех, кого привлекут сейчас; он – в стороне; он ничего не знает, он отошел от дел, его работа по борьбе с нацизмом кончилась победой, он не подписывает ни одного документа, не дает ни одной санкции на действие. Но, когда его призовут к делу, он будет обладать укомплектованной командой, которой еще никогда не было в Западном полушарии; филиалы его «ударных отрядов» будут разбросаны по всему миру; новая команда приказов не обсуждает, построена по принципу пятерок, никто никого не знает, а потому каждый готов на все. Тем более что и здесь, в Штатах, он будет в тени, всю оперативную работу возьмет на себя Роберт Макайр, а он умеет молчать, как утопленник, для этого есть весьма серьезные основания.

Личность и история... Вопрос этот весьма не прост. Попробуй, ответь на него, особенно если представишь, что могло быть с миром, не уйди столь внезапно Рузвельт, не займи его место Трумэн.

Когда личность выдвигается к лидерству, как выявление вполне закономерной тенденции, тогда история развивается так, как ей и надлежит развиваться; в том же случае, когда у руля правления оказывается человек, который поднялся вверх в результате сцепленности случайностей, тогда развитие мстит человечеству, словно бы наказывая его за пассивность, трусость и приспособленчество.

Личность и история... Ответ на этот вопрос – в достаточной степени актуальный – не дан еще наукой; успеть бы послушать ответ ученых, ибо появление случайных личностей на арене истории чревато катастрофой, и чем дальше, тем эта угроза делалась явственнее, потому что если раньше право на владычество решалось на полях битв, когда лицом к лицу сходились армии, то ныне все определяет скорость, с которой пальцы, – по приказу лидера, – опустятся на безликие кнопки, приводящие в действие те силы, которые раздирают атомы, выхлестывая их силу, сжигающим все окрест пыльным грибом смерти.

2

«Дорогой мистер Макайр!

После пятимесячного путешествия по Латиноамериканскому континенту я собрал достаточное количество документов (из первых рук), которые позволяют сделать вывод, что Гитлер добился совершенно феноменального успеха в своей попытке проникнуть на юг Западного полушария. В Чили, например, в тридцать пятом году существовали три экономические силы – Соединенные Штаты, Великобритания и Германия. Если на долю нашей страны тогда падало двадцать семь процентов экспорта и двадцать три процента импорта, то на долю Германии соответственно – двадцать и семь. Однако спустя год рейх поднял свой экспорт до двадцати восьми процентов, а импорт до девяти, понудив нас сдать свои позиции, поскольку наш экспорт упал до двадцати пяти процентов, а импорт до девятнадцати. Великобритании был нанесен еще больший удар. Такая же (или почти такая же) ситуация сложилась в Сальвадоре, Гватемале, Перу, Эквадоре, Колумбии. Казалось бы, после крушения нацизма положение должно было коренным образом измениться, однако, поскольку Аргентина, начиная с тридцать восьмого года, занимала на юге континента первое место по торговле с Германией, поскольку там существует более тысячи фирм, созданных на капиталы НСДАП и СС, позиции Германии – как только эта страна будет воссоздана – вновь окажутся весьма сильными.

Именно поэтому я и хочу поставить перед Вами кардинальный вопрос: в какой мере Вы санкционируете работу с немецкими колониями в Аргентине, Бразилии, Чили и Парагвае, да и санкционируете ли вы такую работу вообще?

Я долго занимался историческим срезом проблемы и пришел к довольно любопытным выводам. Дело в том, что мы, единственная страна, не имевшая разведки вплоть до сорокового года, совершенно лишены архивов, то есть р е з е р в а для привлечения к сотрудничеству возможных друзей нашей системы. Это п о к а еще – подчеркиваю, п о к а еще – восстановимо, если вы сочтете возможным поручить аналитикам исследовать документацию, хранящуюся в Пентагоне и ВМС, связанную с акциями на юге континента, начиная с 1890 года, когда наш корабль «Таллапуза» пришвартовался в Буэнос-Айресе в связи с революционными волнениями и внес свой весомый вклад в стабилизацию положения в стране.

Никак не исследованы документы адмирала Бенхайма, который возглавил нашу эскадру, принимавшую в 1894 году участие в боях против повстанцев; никто не изучал материалы о десанте в Никарагуа с крейсеров «Марлбхэд» и «Коламбиа» в 1898 году; ни в ВМС, ни в Пентагоне (как мне сказали) нет информации (то есть наверняка она существу-

ет неразобранной, в архивах, валяющихся в сырых помещениях) об отряде наших гардемаринов, высаженных в 1905 году в Гондурасе с эсминца «Мариэтта». В ВМС кое-что есть о нашем десанте в Панаму, когда мы удерживали эту территорию в 1903 – 1904 годах; не исследованы контакты наших военных моряков с коренным населением Доминиканской республики во время десанта морской пехоты с эсминцев «Детройт», «Янки», «Ньюарк» и «Хатфорт». Поскольку мы довольно прочно обосновались тогда в Санто-Доминго, необходимо поднять все корабельные книги о том, где дислоцировались наши люди в городе, в каких домах; фамилии хозяев, род занятий, родственники, дети. Я не убежден, что мы достаточно серьезно исследовали наши контакты на Кубе, а их было множество в период с 1906 по 1912-й, когда мы завершили операцию по высадке наших войск на остров договором о предоставлении нам военной базы Гуантанамо. А контакты на Гаити, столь необходимые ныне? А Доминиканская республика? Всего тридцать два года назад, в 1914-м, мы нашли в себе мужество вмешаться в конфликт и бросить эсминец «Мачиас» на подавление революционного бунта. Кто об этом помнит? Борьба против левых в Никарагуа, когда мы были хозяевами положения в течение семи лет, с двадцать шестого по тридцать третий год? Я не убежден, что Самоса до конца искренен с нами, все-таки его нацистские симпатии так сильны, что верить в его сориентированность только на нас весьма рискованно. Его удар по немецким колонистам в стране после начала второй мировой войны был продиктован отнюдь не его верностью нашим антигитлеровским принципам, но лишь желанием забрать себе плантации, принадлежавшие немцам. Немецкие колонисты были интернированы, многие уехали в Парагвай и Аргентину, но резидентура СД и абвера работала в Никарагуа беспрепятственно, документацию по этому вопросу я подбираю, перешлю Вам со следующей почтой.

И наконец, последнее.

Исполняющий обязанности резидента в Испании Пол Роумэн, собравший серьезную информацию по Латиноамериканскому континенту и по Пиренейскому полуострову, рекрутирован в ОСС из профсоюзов, причем, как мне сказали, был весьма тесно связан с левыми элементами. Я ни в коей мере не намерен дезавуировать его мужественную работу во время войны в Германии, но ситуация в мире меняется, а он по-прежнему остается схоластическим идеалистом. Когда я запросил у него данные на тех немцев, с которыми у нас есть контакты в Испании, он ответил мне в том смысле, что ни с одним из нацистов служба не намерена поддерживать связи, дабы не компрометировать те демократические идеалы, на которых состоялись Соединенные Штаты. Естественно, после этого я не считал возможным делиться с ним моими соображениями о необходимости ра-

боты среди немцев, которые поселились на юге континента. Видимо, было бы целесообразнее переместить Роумэна куда-либо в другое место, туда, где его идеализм не будет препятствовать делу. Промедление — смерти подобно; каждый упущенный день работает против нас, ибо Лондон не сидит сложа руки, да и немцы рассчитывают на то, что в ближайшие годы ситуация в Европе изменится таким образом, что демократиям придется пойти на альянс с консервативными элементами Германии. Следовательно, Латинская Америка делается сейчас опытным полем возможного сотрудничества. Вдали от европейской шумихи, на здешних бескрайних просторах такого рода эксперимент можно проводить обстоятельно и спокойно — в расчете на далекое будущее.

Жду ответа; как всегда, Ваши рекомендации являются бесконечно ценными, определяющими настрой дальнейшей работы.

Искренне Ваш Джон Джекобс».

3

«Дорогой Аллен!

Я хотел бы показать Вам для ознакомления любопытное письмо Джона Джекобса, брата Эрла, руководителя ИТТ в Испании.

Ваш Макайр».

4

«Дорогой Макайр!

Вы ознакомите меня со всеми любопытными письмами, когда я стану Вашим начальником. Пока же я скромный адвокат из «Салливэн энд Кромвэлл». Дерзайте!

Ваш Аллен Даллес».

5

«Дорогой Макайр!

Я долго раздумывал, прежде чем сесть за это письмо. Вы знаете, я всегда старался быть подальше от начальства и поближе к практике нашей борьбы против коричневого ужаса; при всех моих недостатках именно это качество я причислял к тем немногим достоинствам, которыми меня наградил бог. Многое из того, что происходит сейчас, я считаю неверным, и это мое право, согласитесь. Я выполняю свой долг, руководствуясь основополагающими принципами нашей демократии, но если мое понимание справедливости вступит в противоречие с теми понятиями, ко-

торые начинают брать верх, сочту своим долгом начать борьбу против нечестности. Однако, прежде чем начать драку, я бы хотел выслушать Ваше мнение.

Дело в том, что Джон Джекобс, который сейчас живет в Буэнос-Айресе (его брат Эрл возглавляет «наше» мадридское ИТТ), вылетая оттуда в другие регионы континента, подчеркнуто заявляет себя Вашим личным представителем. Но это бы полбеды. Ужас заключается в том, что он пытается привлечь к работе в Аргентине немцев, которых я по-прежнему полагаю нашими главными врагами. Речь идет не о тех, которые эмигрировали туда, спасаясь от Гитлера, нет, совсем наоборот, ибо именно тех немцев он считает подозрительными, «красными». Он ищет устойчивых контактов с теми, кто был откомандирован сюда гитлеровцами еще до войны, а также с теми, кто ныне скрывается здесь от возмездии. Я разворачиваю нашу работу в Испании (надеюсь, и во всем испаноговорящем мире) так, чтобы выявить всех нацистов, подготовить условия для их выдачи правосудию, а Джекобс, наоборот, предпринимает все возможное, чтобы привлечь их *доверительному* сотрудничеству. (Я, кстати, намерен проверить, не ведет ли аналогичную работу в Испании его брат Эрл.)

Отсюда мой вопрос: это его личная инициатива или же он развивает свою активность, исходя из Ваших рекомендаций?

Искренне Ваш Пол Роумэн».

6

«Полу Роумэну.

Дорогой Пол!

Я был очень рад получить Ваше честное письмо, исполненное гражданского мужества и столь обычной для Вас открытости.

Конечно же, активность Джона Джекобса, который отнюдь не является *моим* личным представителем (да и как он может меня представлять, если я ныне, после ликвидации ОСС, стал чиновником государственного департамента), является его личной инициативой.

Думаю, Вам известно мое отношение к нацистам.

Тем не менее обещаю потребовать у Джона Джекобса самого подробного отчета о том, что он на самом деле делает в Аргентине. Вы же знаете, сколь обычны *фантазии* отдельных чиновников, особенно тех, которые больше думают о личном успехе, чем о торжестве нашего дела, а оно очень просто, но поэтому чрезвычайно трудно: защита демократии от угрозы тоталитаризма, откуда бы она ни исходила. В этом смысле мы обязаны использовать все возмож-

ности в нашей борьбе, но отнюдь не такие, которые могут нанести урон престижу страны и дела.

Советовал бы Вам пока что никак не вмешиваться в работу Джекобса – во всяком случае до тех пор, пока я не получу его объяснений.

Искренне Ваш Макайр».

7

«Джону Джекобсу.

Мой дорогой мистер Джекобс!

Ваше письмо показалось мне чрезвычайно интересным. Вы хорошо и перспективно мыслите, Ваш поиск представляется мне весьма и весьма обнадеживающим. Дерзайте! Однако постоянно думайте о престиже нашей страны, внесшей главный вклад в победу над коричневым ужасом гитлеризма.

Дружеский совет: работайте автономно, прервите контакты с посольством. Зря Вы сердитесь на Пола Роумэна; прекрасный человек и мужественный солдат, он – и это вполне допустимо – может быть в плену умирающих концепций; я не сбрасываю со счетов и самую обычную человеческую ревность. Тем не менее я питаю к этому ветерану уважение и симпатию. Вы примкнули к нашей деятельности, когда битва с нацизмом и японским агрессором была закончена, не Ваша вина, что Вы не знаете всех заслуг Роумэна; рано или поздно страна воздаст ему благодарственную память. Его былая близость к левым не может ставиться ему в вину, ибо она бездоказательна, а мы живем в условиях такой демократии, которая всегда отвергала и будет отвергать оговор как метод борьбы с политическим оппонентом. И еще: поскольку Вас рекомендовала на службу банковская группа Дигона, всячески избегайте того, чтобы Вас могли упрекнуть в работе не на того хозяина. Это козырь в руки тем, кто является противником того дела, которому мы с Вами служим.

Жду Вашего подробного и развернутого доклада. Посылать его через посольство не следует. Найдите возможность еще раз встретиться с руководителем ИТТ в Аргентине мистером Арнолдом, он знает о Вашем визите, и обговорите с ним формы сотрудничества. Думаю, ИТТ и впредь будет вполне надежным партнером в нашей дальнейшей работе.

Искренне Ваш Роберт Макайр».

8

«Джозефу Маккарти. Сенат США

Мой дорогой Джозеф!

Хочу поздравить Вас с тем, что теперь именно Вы ку-

рируете комиссию по борьбе с антиамериканской деятельностью. Никто другой не смог бы наладить эту благородную работу — столь сейчас нужную, — кроме Вас. Это не комплимент, а констатация реальностей.

Поскольку, как я знаю, Ваши связи с Эдгаром[1] носят дружеский характер, просил бы Вас попросить у него всю информацию на Пола Роумэна, работающего ныне в нашем посольстве в Испании. Дело в том, что наш с Вами любимец Билл[2] привлек его к сотрудничеству еще до начала войны, из числа тех, кого они рекрутировали в левом лагере. То, что было совершенно необходимо в сороковом году, сейчас подлежит переосмыслению.

Я просил бы Вас выполнить мою просьбу тактично, в высшей мере аккуратно, потому что Роумэн по праву считается одним из наиболее талантливых и мужественных разведчиков, а такие люди — поверьте, я говорю это вполне профессионально — обладают особой чувствительностью и ранимостью.

Если у Эдгара есть какие-то тревожные материалы, мы могли бы встретиться и обсудить ряд возможных шагов.

Ваш ответ я бы предпочел получить при личной встрече, в такого рода деле документ порою оборачивается против дела.

Сердечно Ваш Аллен Даллес».

9

«Тому, кого это касается!
Весьма конфиденциально!

Эдгару Гуверу
Директору Федерального
бюро расследований

Дорогой Эдгар!

Вы обладаете уникальным даром формулировать задачу так коротко и емко, что я не перестаю восторгаться Вами.

Совершенно согласен, что мы никогда не наведем порядок дома, если не стукнем по носу левых во главе с коммунистами — как нашими, американскими, так и теми, кто приехал сюда во время войны, вроде всех этих Брехтов и Эйслеров. То, что они пишут, печатают и снимают в Голливуде, есть открытый вызов нашим традициям, гимн чуждой нашему народу доктрине коммунизма. И происходит это при равнодушном попустительстве администрации. Хватит!

Я сформулирую задачу круче и бесстрашней: необходим общенациональный процесс над врагами, который докажет доверчивым американцам, что в стране зреет за-

[1] Эдгар — Эдгар Гувер, директор ФБР
[2] Билл — Уильям Донован, бывший директор ОСС.

говор, который обязаны пресечь истинные патриоты Америки.

Совершенно согласен с Вами, что пора готовиться к смертельной схватке. Я буду глубоко признателен, если Вы позволите мне и моим наиболее близким друзьям из Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности познакомиться с Вашими досье, в которых собраны изобличающие левых материалы.

После этого я намерен снестись с Алленом Даллесом и обсудить с ним то, что меня более всего интересует, а именно: каким образом европейские центры большевизма организовывают свои боевые пропагандистские группы для проникновения на наш континент? Аллен недавно заметил, что целый ряд сотрудников ОСС, оставшихся на государственной службе, по-прежнему поддерживает тесные контакты с левыми в Европе, которые они наладили с ними, когда те были в подполье. Они поэтому великолепно знают, как работать против государственной идеи, они, наконец, увенчаны лаврами «антифашистских борцов» и, что самое устрашающее, организованы в легионы, Эдгар! Я испытываю страх перед их постоянным, скрытым, шуршащим присутствием!

Поэтому, если наше содружество оформится в некий необъявленный блок: Гувер – Даллес – Маккарти, убежден, мы сможем вылечить нашу прекрасную родину от той болезни, которой она насильственно заражена людьми чужой крови, чужой идеи, чужой традиции.

Сердечно Ваш Джозеф Маккарти, сенатор США».

10

«Совершенно конфиденциально! Аллену Даллесу
«Салливэн энд Кромвэлл»,
Уолл-стрит, Нью-Йорк, США

Дорогой Аллен!

Со свойственной ему эффективностью Джозеф Маккарти поддержал все то, о чем мы с Вами говорили.

Как я понял, Джозеф намерен начать с чужих. Я передам ему материалы по Брехту и Эйслеру, они впечатляют. Однако эти люди имели кое-какие связи с Вашими коллегами по ОСС, с Полом Роумэном, которым Вы интересовались, в том числе.

Был бы глубоко признателен, если бы Вы нашли время для того, чтобы мы вместе позавтракали. Какие-то вещи стоит обсудить с глазу на глаз, они того стоят. Никто, кроме Вас, не умел организовать такие комбинации, которые будут занесены в хрестоматии политической борьбы

XX века. Пришло время думать о новых комбинациях. Вне и без Вас они невозможны.

Искренне Ваш Эдгар Гувер, директор ФБР».

11

«Совершенно секретно! Генералу Гелену.
В одном экз. Мюнхен, Рихардштрассе, 8

Уважаемый господин генерал!

Отправляю данные по Аллену Даллесу за прошлую неделю, полученные оперативным путем.

1. Последние шаги, тайно предпринятые м-ром Даллесом против бывших работников ОСС, скорее всего, продиктованы его желанием провести «черновую работу» по перевербовке видных офицеров политической разведки РСХА и тех, кто с ними тесно сотрудничал в борьбе против большевизма, именно в то время, пока он отошел от работы в ОСС, став частным лицом. Пока левые, работавшие в ОСС, не будут ошельмованы и удалены из секретных служб США, такого рода деятельность может стать достоянием гласности, что нанесет трудно поправимый ущерб престижу семьи Даллесов.

2. Следует предполагать, что м-р Даллес намерен «копить» резерв «ударной агентуры», который он предполагает ввести в активную работу накануне того часа, когда вернется к активной государственной деятельности.

3. Видимо, этим же следует объяснить и то, что м-р Даллес предпринял ряд шагов в Нюрнберге, целью которых является нажим на тех, от кого зависит судьба обвиняемых президента рейхсбанка Ялмара Шахта, вице-канцлера фон Папена и заместителя рейхсминистра пропаганды, главного эксперта по коммунизму Науманна.

4. Главным «контактом» м-ра Даллеса следует считать Роберта Макайра, исполняющего обязанность начальника разведки государственного департамента. Установить причины, по которым м-р Макайр столь фанатично предан м-ру Даллесу, пока что не представилось возможным.

СВ-722».

МАКАЙР

...Лето сорок второго года в Мадриде выдалось знойное и безветренное; ни единого дождя за три месяца; листья были серые, пыльные; в июле они казались ноябрьскими, жалкими, вот-вот облетят.

И люди были подобны листьям, такие же пыльные, скрученные, серолицые. А уж на тех, кто выстаивал очередь к воротам американского консульства, прикрыв голову газетой, и вовсе смотреть было тягостно; стояли, однако, по нескольку часов на солнцепеке,

тихо стояли, стараясь не вступать в разговоры друг с другом, хотя надежда была у всех одна: получить заветную американскую визу и уехать к чертовой матери из этой сошедшей с ума Европы, где все катилось в пропасть и каждый новый день сулил горе и ужас.

Очередь порою казалась каким-то живым саморегулирующимся существом: стоило одному войти в здание консульства, как люди делали два, а то и три шага, подталкивая друг друга, только бы поскорее приблизиться к заветным воротам; казалось бы, логика должна была подсказать людям, что нецелесообразно потно жаться друг к другу, вошел лишь один человек, нет смысла делать два, а то и три шага, но если и один-то человек довольно слабо поддается посылам разума (а потому большую часть поступков в жизни делает благодаря эмоциональным, порою совершенно слепым, импульсам), то людская толпа живет чувством, логика противна ей, вступает в действие неуправляемый, стадный инстинкт, особенно когда ситуация экстремальна, но нет лидера и никто не выкрикивает сдерживающие слова команд.

Поэтому когда к воротам подошел такой же пыльный человек, как и те, что стояли в очереди, и взялся за ручку двери, толпа змееподобно подалась вперед, инстинктивно отсекая чужаку путь в то заветное, чего ждали все. Если бы он подъехал на машине, был одет в костюм с галстуком, никто бы и не шелохнулся: прошел представитель другого мира, какой-то инопланетянин; разве им можно стоять в очереди? Она, эта молчаливая змея, нами создана, нами управляема, нам одним и служит.

Однако человек сказал тем, кто потно отжимал его от дверной ручки, фразу на английском, из которой явствовало, что он — американец, идет сюда по делу и к их ожиданию никакого отношения не имеет.

Английскому языку и напору, с каким была произнесена фраза, подчинились, не стали даже кричать, чтобы человек показал паспорт; доверие или, наоборот, ярость толпы рождается в первую секунду общения с чужаком, с тем, кто хочет быть сам по себе, независимым от неписаных законов общности обездоленных. Если толпа поверила — все в порядке; нет — разговоры бесполезны, не переубедишь, тут только пулеметы могут навести порядок, слово — бессильно.

Человеку поверили, он открыл дверь и сказал солдату, стоявшему у входа:

— Вице-консул ждет меня.

Но вице-консул его не ждал, да и не был он американцем, и пришел сюда с тем же, с чем стояли люди в очереди: с просьбой о въездной визе. Однако в отличие от тех, кто вошел в здание консульства, он не стал заполнять множество страниц обязательных анкет, чьи вопросы казались устрашающе-многозначительными, а обратился к белозубой секретарше с вопросом, где он может найти второго вице-консула мистера Роберта Макайра.

— Но он не занимается выездными делами, — ответила девушка, — у него совершенно иные вопросы.

— Я знаю, — ответил посетитель, — именно поэтому его и ищу.

Он действительно знал, что Макайр представляет в консульстве организацию генерала Донована, ОСС. Он обязан был знать это, потому что именно от этого человека зависела его дальнейшая жизнь, ибо информация — мать успеха.

— Здравствуйте, — сказал он, войдя в маленький, без окон, кабинет, где главными предметами, сразу же бросавшимися в глаза, были громадный старинный сейф, мощный радиоприемник и кондиционер, врезанный во внутреннюю дверь, которая вела в другие комнаты. — Позвольте представиться... Я — Вальтер Кохлер, сотрудник абвера. Мне предписано получить американскую визу, обосноваться в Соединенных Штатах и организовать передачу военно-стратегической информации на гамбургский центр организации моего шефа адмирала Канариса.

— А почему вы решили, что меня интересуют работники абвера? — спросил Макайр, включая приемник. — Я занимаюсь вопросами культурного сотрудничества между Штатами и Мадридом, вы, видимо, ошиблись дверью...

— Мистер Макайр, вашу фамилию я услышал в абвере, только поэтому и решил обратитьсн к вам.

— Ну, знаете ли, — усмехнулся Макайр и, поднявшись из-за стола, начал прохаживаться по комнате, не предложив Кохлеру садиться, — к нам приходят десятки агентов абвера, сулят открыть секреты рейха, но мы их выставляем за дверь, потому что они никакие не агенты, а самые обычные эмигранты, стремящиеся любыми путями, как можно скорее попасть в Нью-Йорк.

— Но я пришел не с пустыми руками, — сказал Кохлер. — Я пришел с доказательствами.

По-прежнему прохаживаясь по кабинету (Макайр таким образом силился унять охватившее его волнение: ни разу, ни один человек пока еще не приходил в консульство с такого рода признанием, он сказал неправду, но он сказал ее умышленно, намереваясь затянуть посетителя в беседу, навязав ему свой ритм и стиль разговора; это же такое дело — если, конечно, Кохлер говорит правду, — о котором через час узнают в Вашингтоне, это такая операция, которая сразу же сделает его имя известным администрации, путь наверх, к известности и карьере), вице-консул сказал:

— Ну что ж, давайте посмотрим ваши доказательства.

Они, эти доказательства, оказались абсолютными: Кохлер выложил на стол микропленки с инструкцией по сбору передатчика, написанные симпатическими чернилами позывные рации и время работы, а также рецепт для производства такого же рода чернил на месте.

— Ну, хорошо, — сказал Макайр, отодвигая микропленку, — все это, конечно, интересно, но какие деньги вам дали в абвере? Вы ведь не рассчитываете зарабатывать в Штатах своим трудом на шпионскую деятельность?

— Во-первых, она невозможна, потому что я — убежденный антифашист, — ответил Кохлер. — Моя семья подвергалась преследованиям со стороны нацистов за то, что я возглавлял церковную общину в Утрехте, и лишь поэтому я сделал вид, что соглашаюсь на их

предложение... Во-вторых, они снабдили меня деньгами, — и он положил на стол шесть тысяч долларов.

Это был первый эмигрант, который предъявлял американцам такие деньги; это и убедило Макайра окончательно в том, что ему в руки свалилась удача, о которой он не смел никогда и мечтать.

— Покажите ваш паспорт, — сказал он.

— Пожалуйста, — ответил Кохлер.

Макайр пролистал фанеру, бросил ее в письменный стол, открыв его ловко, как кассир — конторку, куда сгребает серебряную мелочь, снова походил по кабинету, а потом сказал:

— Сейчас мы начнем собеседование... Думаю, лучше, если мы сразу же станем записывать ответы на вопросы... А в конце мы продумаем, как вам сделать свое заявление... более убедительным, что ли...

— А в чем оно сейчас кажется вам неубедительным, мистер Макайр?

— Его неубедительность видится мне в его неподготовленности.

— То есть, — помог ему Кохлер, — вы хотите, чтобы ваши вопросы подвели меня к признанию?

Макайр внимательно посмотрел на Кохлера, ничего не ответил, кивнул на стул; тот аккуратно присел, сложив маленькие, пухлые руки на округлых коленях.

— Вы предлагаете мне делать липу, — сказал Макайр наконец. — Зачем?

— Какую липу? — Кохлер вскинул руки. — О чем вы?! Я занимался коммерцией, у меня в Утрехте был маленький ювелирный магазинчик, я пытался иметь бизнес с американцами, я знаю, что вы всегда думаете о том, чтобы выгоду получали обе стороны, что в этом плохого?! Вот я и предложил...

— Давно приняли католичество?

— Я всегда был католиком.

— А отец?

— Тоже.

— Он принял крещение?

Кохлер мелко засмеялся:

— Вы думаете, я еврей? Нет, я не еврей, просто я неплохой коммерсант, мистер Макайр...

...Через два дня Макайр отправил в Вашингтон шифротелеграмму о том, что он перевербовал агента абвера, который пришел именно к нему, поскольку в гамбургском центре Канариса ему удалось получить информацию о том, что наиболее сильным контрразведчиком в аппарате Донована, работающим на Пиренеях, там считают именно Макайра.

Вскоре после этого Макайр вернулся в Штаты, был отмечен наградой и, помимо других дел, которые ему поручил Донован, начал готовить дезинформацию для Кохлера. Для этого он был командирован в Швейцарию, к Аллену Даллесу, рассказал ему о перевербовке, тот был совершенно покорен логикой, силой и жесткостью молодого коллеги, всячески его — в дальнейшем — отмечал, ставя в пример молодым сотрудникам ОСС. Поддерживал он Макайра также и потому, что тот стал любимцем директора ФБР Эдгара Гувера; старик пору-

чил своим паренькам, работавшим с Кохлером, консультировать каждый свой шаг с Макайром, потому что «этот человек по справедливости может считаться восходящей звездой нашей разведки».

Кохлер тем временем получил хороший номер в нью-йоркской гостинице, и агенты ФБР начали – от его имени – гнать информацию на Гамбург. Оттуда приходили радиограммы, полные благодарности, подчеркивалось, чтобы агент соблюдал максимум осторожности, поскольку его работа вносит огромный вклад в дело борьбы против американского финансового капитала, Уолл-стрита и большевистского интернационала Москвы.

Однако Кохлер обратился к своим шефам из ФБР и попросил их выполнить то, о чем он уговорился с Макайром в Мадриде:

– Ни я, ни вы не знаете, – сказал он, – есть ли здесь другие агенты абвера и СД. Я думаю – есть. А поскольку все они подобны скорпионам в банке, я не чувствую себя в безопасности ни единого часа. Необходимо прикрытие. Это гарантирует меня от выстрела в затылок. А потом такого рода прикрытие поможет нам в оперативной работе: кто знает, может, кто из агентов рейха клюнет на меня...

– Какого рода прикрытие вы имеете в виду? – спросили его люди ФБР.

– Радиомастерскую в Нью-Йорке. Это совершенно логично с точки зрения Канариса: агент, который гонит информацию из вражеского логова, пустил корни и подстраховался легальной работой.

Люди ФБР обратились за консультацией к Макайру, потому что мнения в окружении Гувера разошлись, часть сотрудников выступала против такого рода комбинации, рискованно; однако Макайр поддержал Кохлера. Ему купили радиомастерскую в Бронксе, бизнес пошел на лад, Кохлер совершенно не интересовался тем, что гонят от его имени на абвер, веселился, куролесил, но несколько раз так ловко оторвался от наблюдения, что в штаб-квартире ФБР объявили тревогу; сняли ее лишь через восемнадцать часов – после того, как голландец вернулся в отель, совершенно измученный, с синяками под глазами; решили, что дох у проституток, так, видимо, и было. На самом-то деле был он не у проституток, а на связи с агентом абвера, который был внедрен немцами на химическое предприятие, входившее в состав концерна «Дженерал электрик».

Три раза он отрывался от наблюдения ФБР за два года его работы – вплоть до апреля сорок пятого – и три раза получал информацию, носившую чрезвычайный характер, связанную с атомным проектом.

Когда передовые части американской армии захватили архив абвера, люди Даллеса сразу же начали исследование всех донесений немецкой агентуры, которые были переданы из Соединенных Штатов и Канады на Гамбург.

Наиболее интересную информацию сразу же докладывали Даллесу – это было в порядке вещей и не вызывало чрезмерной ревности Пентагона, потому что к этому времени Аллен по справедливости считался самым знающим человеком изо всех, кто был занят во время войны делами рейха.

Именно он и натолкнулся на странное несоответствие в радиограммах от Кохлера: большая часть была зашифрована теми цифра-

ми, которые голландец передал Макайру (они были записаны симпатическими чернилами между строк в молитвеннике, напечатанном на голландском языке); эти сообщения, отправленные людьми ФБР, научившимися копировать почерк перевербованного агента, рассказывали о том, какие части готовятся к отправке на континент, о новых соединениях флота США, комплектующихся на Западном побережье, и о том, кто из высших офицеров будет возглавлять те или иные дивизии. Информация была вполне корректной, она не могла вызвать подозрений в абвере. Однако те радиограммы, которые хранились в личном деле Кохлера с грифом «О. В.», то есть «очень важно», были зашифрованы совершенно иначе, и та информация, которая была отправлена из Нью-Йорка, представляла высший секрет Соединенных Штатов, поскольку она была посвящена не чему-нибудь, но именно «Манхэттэнскому проекту», то есть атомной бомбе.

Даллес похолодел, когда получил эти материалы, запер их в свой сейф, попросив сотрудников изъять из общих описей, и затребовал у своего помощника Геверница подробную информацию о том, как обстояло дело у Гитлера с проблемой «оружия возмездия», но не на основании данных американской агентуры, а из первоисточника, благо почти все архивы рейха попали в его, Даллеса, руки.

Люди Геверница провели довольно скрупулезную работу, выяснили, что проблему атомной бомбы в Германии поначалу курировал Геринг, но вермахт относился к информации о работе над проектом в Штатах весьма скептически. Агент А-2232 сообщал еще в сороковом году, что химические заводы в Амарилло, на юге Штатов, начали особо интенсивно производить гелий и что власти страны делают все для организации максимальной секретности, связанной с выпуском именно этой продукции.

Генеральный штаб вермахта ответил Канарису, что эта информация не представляет никакого интереса, совершенно преждевременно делать выводы о том, что между производством этого газа и выработкой тяжелого урана может быть хоть какая-то связь и что информация агентуры представляет определенный интерес лишь в том смысле, насколько вообще интенсифицируется работа промышленных комплексов США.

Однако Канарис продолжал бомбардировать Кейтеля телефонными звонками, считая, что информация его агентуры представляет исключительный интерес и, как он считает, вышла к ключевому вопросу, имеющему политическое, а не только военно-промышленное значение.

Тем не менее штаб вермахта и в сорок первом году ответил Канарису, что «увеличение выработки гелия не имеет никакого отношения к развитию ядерной техники, а объяснить увеличение выпуска этого газа следует увеличением флота дирижаблей, принадлежащих ВМС США».

Только в сорок втором году, когда начальник разведуправления люфтваффе генерал Шмит после разговора с Герингом сообщил одному из шефов абвера Карлосу, что, по его мнению, подтвержденному справкой СС штурмбанфюрера Вильгельма Риктера, отвечающего за «гелиевый узел атомного проекта рейха», работы в области ядерной техники в США не стоят на месте, а по мнению «исследо-

вателя Гунге, имеющего допуск к американской научной литературе, продвинулись далеко вперед». Поэтому было признано необходимым внедрить в США агентуру, целью которой было бы проникновение в тайну ядерных исследований США, если таковые действительно имеют место быть.

Именно тогда – явствовало из документов Канариса и Шелленберга – Вальтер Кохлер и был внедрен в США, причем его легенда, которую так преступно-легкомыслено принял Макайр, была сработана в абвере и дала возможность гитлеровскому агенту беспрепятственно заниматься сбором особо секретной информации, тогда как люди ФБР и Макайр, главный любимец Донована, гнали в Гамбург сущую ерунду – в надежде на то, что Берлин вышлет на связь с Кохлером целую армию своих агентов.

Даллес понимал, что, сообщи он в Вашингтон эти подробности, на карьере Макайра можно ставить крест; если он и открутился бы от военного суда, то ни о какой работе в правительственных организациях не могло быть и речи. После первой встречи с Макайром, тогда еще, в конце сорок второго, Даллес знал, что этот человек вышел из простой семьи, особым образованием не блещет, имеет крепкие челюсти, завидную напористость и мечтает о хорошей карьере. Получив информацию о том, как он, Макайр, – вольно или невольно – способствовал засылке в Штаты немецкого агента, занимавшегося шпионажем по атомной бомбе, Даллес затребовал от своих друзей в Вашингтоне доверительные данные о том, что же такое на самом деле Макайр, чем он сейчас занимается, кто его поддерживает и что его может ждать в ближайшем будущем.

Ответ он получил весьма интересный: «В настоящее время «М» переведен «Диким Биллом» в государственный департамент, где он занимается подбором, оформлением на службу и контактом с теми кадрами разведчиков, которые переведены из ОСС в дипломатическое ведомство и отправлены на работу в посольства. Можно считать, что в ближайшем будущем «М» получит внеочередное повышение; вполне возможно, что именно он возглавит весь отдел, занимающийся кадровой политикой. Новая администрация будет его активно выдвигать, поскольку он пользуется поддержкой директора ФБР Гувера, и притом отменно зарекомендовал себя на работе в нашем консульстве в Мадриде, когда именно он завербовал наиболее серьезного немецкого агента «К», игра с которым позволила дезинформировать сначала Канариса, а затем и Шелленберга в период подготовки операции вторжения во Францию».

...Даллес уже тогда имел в голове свой план: разгон ОСС, расфасовка кадров Донована по отделам государственного департамента, министерства юстиции, Пентагона, штабов ВМС и ВВС – с тем, чтобы в последующем не только создать свою, личную разведку, но и ударить по Доновану под предлогом того, что он привел в ОСС огромное количество красных, работавших не столько на Рузвельта, сколько на Сталина.

Даллес уже тогда понимал, что дипломаты, да и политики, не смогут сделать того, что задумал сделать он: не только в Западной Европе, но и на юге Американского контитента, а также и в странах,

попавших в зону советского влияния. Не было, считал он, таких людей в Вашингтоне, которые бы обладали отчаянным мужеством для того, чтобы вернуть Америке утраченные позиции: и не только в Чили и Аргентине, но и в Венгрии, Югославии и Чехословакии.

Да, конечно, эта работа не вписывается в нормы общепризнанных статей международного права, но именно поэтому ему и были нужны люди, которые бы выполняли его приказы куда более рьяно, чем предписания своего непосредственного начальства. Будучи высоким профессионалом, Даллес, размышляя о категориях отправных, глобальных, никогда не чурался черновой работы; проблему оформления деловых отношений как со своими, так и с противником, который шел на контакт, полагал делом основополагающим; если ты вынужден постоянно думать о том, в какой мере контрагент верен тебе, не ведет ли двойную игру, не отдает ли тебя другим, серьезная комбинация просто-напросто невозможна, ибо она, по идее, должна быть подобна заговору влюбленных, абсолютное доверие друг другу, никаких сомнений в честности партнера...

Поэтому, прилетев с Геленом в Штаты, Даллес пригласил Макайра на ленч, был предельно любезен, вспоминал рисковый полет молодого коллеги в Женеву; люблю отважных людей, дождался, пока Макайр сам тронул Кохлера, и тут-то нанес свой сокрушительный удар, достав из кармана справку о том, кто такой Кохлер, чем занимался в Штатах на самом деле и какой урон мог бы нанести «Манхэттэнскому проекту», не будь Гитлер истерическим кретином, а его «паладины» – трусливыми марионетками, боявшимися сказать хоть слово, которое бы шло вразрез с чувствованиями «великого фюрера».

Макайр побледнел до синевы; Даллес заметил, что собеседник, видимо, бреется чуть ли не от самых век – так щетинист; борода бы закрыла все лицо, не скоблись он столь тщательно (видимо, два раза в день).

– Что будем делать? – спросил Даллес, не назвав его ни «мистером Макайром» – если бы понял, что имеет дело с дурнем, ни «Бобом» – как называл его всего пять минут назад.

Макайр хрустнул пальцами, что было противоестественно всему его физическому и духовному строю: тяжелый, сильный, самовлюбленный, уверенный в будущем, он сломался, пальцы крутил, словно девушка на первом приеме у гинеколога, и смотрел на Даллеса испуганными глазами, ставшими похожими на рачьи – так они были выпучены и круглы, безо всякого выражения, один лишь нервический блеск...

– Я не знаю, Аллен... Это такой ужас... Вы должны помочь мне.

– Как? – поинтересовался Даллес. – Каким образом?

– Я не знаю... Не мне вам подсказывать... Я готов на все, я...

– А на что вы можете быть готовы? На то, чтобы мы забросили вас в Японию и вы принесли сведения, что Шелленберг не переслал японцам вашу информацию? Или успокоили Трумэна, что копия ваших шифровок не попала в Кремль?

– Моих шифровок?!

– А что, Кохлера я привез в Штаты? Или Геверниц?

– Но я даже не мог себе представить...

– Ладно, Боб, – сказал Даллес, понявший за эти мгновения то, что ему хотелось понять, – пишите на мое имя письмо... Абсолютно честное, со всеми подробностями, не стараясь выгородить себя... Изложите дело так, как вы бы его рассказывали богу. Завтра вечером ваша исповедь должна быть у меня. Я попробую погасить пожар. Я на вас ставил, Боб, и мне очень горько, что вы невольно сработали на руку Гитлеру... А сейчас – выше вашу красивую голову с ранней сединой! Храните улыбку и думайте о том, что у вас есть друзья, – это помогает жить.

– Но мне, право, не в чем исповедоваться, Аллен! Не думаете же вы, что за этим стояла какая-то корысть?

– Боб, только не делайте ошибки. Вы на грани того, чтобы сделать непоправимую ошибку: то есть сказать мне половину правды. Я знаю, как делают суперагентов. Я наблюдал за работами, подобными вашей с Кохлером, и смотрел на это сквозь пальцы, потому что с самого начала догадывался о случившемся и страховал моих мальчиков. Я понимаю, как страстно вам хотелось выскочить, Боб, я все это прекраснейшим образом понимаю... Но как все случилось? На чем вас обошел Кохлер? Почему вы решили безусловно на него поставить – напишите мне об этом... В конце концов, я должен убедиться в мере вашей искренности... Вы же, надеюсь, не предполагаете, что я пойду на укрывательство врага, даже если он мне и симпатичен... Я могу простить ошибку, но не предательство.

– Зачем писать? – тихо спросил Макайр. – Вы и так все поняли... Верно поняли... Это была ставка моей жизни... Неужели вы не верите мне?

– Верю, – ответил Даллес, упершись своими мудрыми добрыми глазами в его расширившиеся зрачки. – Но мне нужна гарантия, Боб. Жизнь приучила меня страховать рискованные предприятия.

Через три дня после того, как «исповедь» была получена, Даллес встретил Макайра в государственном департаменте, встретил «совершенно случайно», обменялся рукопожатием и, не выпуская изо рта свою прямую английскую трубку, сказал так, что это было слышно только им двоим:

– Все хорошо, Боб, живите спокойно, мои друзья в курсе происшедшего... На днях свидимся, я объясню вам то, что надо будет сделать...

Он объяснил ему, что надо было делать: Макайр стал некоего рода тайным курьером между Гувером, министерством юстиции и Даллесом, причем если формально он должен был координировать акции отдела разведки государственного департамента в плане его кадровой политики с пожеланиями, которые ему высказывались Пентагоном (подбор и расстановка военных атташе); ФБР (изучение личных дел дипломатов и разведчиков) и министерством юстиции (надзор за соблюдением законности), – то отныне он фактически работал на Даллеса, не предпринимая ни одного шага без того, чтобы не проговорить заранее все препозиции со своим спасителем.

Именно Макайр и оказался той фигурой, в которой Даллес так нуждался, замышляя свой удар по ОСС еще летом сорок пятого; как

всякий талантливый разведчик он понимал, что черновую работу, связанную с риском разоблачения и публичного скандала, должен вести такой человек, который готов на все и никогда не заложит босса.

Возможность разоблачения (люди ОСС – зубасты, за себя драться умеют, особенно те, которые пришли сюда в начале войны из левого лагеря, во всем и всегда ориентировались на Рузвельта) и связанного с этим лишения заработка в государственном департаменте была соответствующим образом подстрахована: брат Макайра, вполне надежный человек, никак, ни во что, понятно, не посвященный, был приглашен на работу в ИТТ и готовился к тому, чтобы занять место директора филиала концерна в Монтевидео; помимо заработной платы, ему выделили определенное количество акций, которые он положил в банк на свое имя, хотя был уведомлен о том, что распоряжаться этими средствами должен Роберт – «в целях национальных интересов страны». Когда Макайр узнал, сколько стоят эти акции, ему стало понятно, что за всю свою деятельность в государственном департаменте, да и в любом другом правительственном учреждении, – даже если предположить, что жить он будет до ста лет и столько же лет сидеть в своем кресле, – он не сможет заработать и третьей части того, что оказалось принадлежащим ему в результате благодетельства Аллена Даллеса и тех сил, которые за ним стояли.

ШТИРЛИЦ (Мадрид, октябрь сорок шестого)

Штирлиц вылез из такси, вызванного ему Кемпом, поднялся в свой номер, удивившись тому, что старика, сидевшего на этаже, не было на месте; обычно он чутко дремал в кресле, укрыв ноги, раздутые водянкой, тяжелым баскским пледом.

Штирлиц включил свет – тусклый, уныло-пыльный, устало снял мятый пиджак, обернулся и сразу же натолкнулся взглядом на человека, который спал на его узенькой кровати, не сняв ботинок; ботинки были тупорылые, американского фасона, как и на Джонсоне. Человек действительно спал; даже хороший профессионал не мог бы так точно сыграть ровного похрапывания, неловкой позы, да и розовые помятости на лице говорили за то, что необычный гость лежит на его кровати не менее часа, а то и двух; сморило, видимо, бедолагу, пока ждал.

Штирлиц мгновение стоял возле двери, продумывая, как ему следует поступить: то ли разбудить незнакомца, то ли уйти из номера, то ли лечь спать на маленький жесткий диванчик, стоявший в закутке, возле умывальника, – туалета в номере не было, приходилось ходить в самый конец коридора: душевая была на первом этаже, каждое посещение стоило семь песет; вода шла то холодная, то горячая; ничего не попишешь, пансионат с одной звездочкой; раньше в таких жили проститутки, студенты и бедные иностранцы, приехавшие в Мадрид, чтобы изучить язык.

Он выключил свет, аккуратно повесил пиджак на спинку стула и устроился на диванчике, досчитай до ста, сказал он себе, и ты уснешь; ну их всех к черту; ты не понял, чего от тебя хотят, все слишком запутанно, никакой логики; нет, конечно же, логика есть, их логика, непонятная тебе; значит, надо ждать; ничто так не помогает

превозмочь ноющую тягость ожидания, как сон; спи.

И он уснул, словно провалился в темноту.

...На грани пробуждения Штирлиц вдруг увидел громадный луг, совершенно белый из-за того, что весь был усыпан полевыми ромашками, и по этому бело-желтому лугу шли Сашенька и Санька; она совсем еще молодая, он никогда не видел ее иной, а Санька был в немецкой форме без погон, но отчего-то босой, ступни совершенно восковые, с синими прожилками холодных, безжизненных вен; если Сашенька казалась веселой, близкой, живой, то сын — из-за этих страшных восковых ног — был весь пепельный, как бы нереальный, и вокруг его головы вился рой красной мошкары.

Он вскинулся с диванчика; было еще темно, значит, спал не больше часа; человек на его кровати сжался в комочек, положил ладонь под щеку, чмокал, словно младенец. Это сладкое чмоканье отчего-то разъярило Штирлица; он достал сигарету, закурил, тяжело затянулся и сказал:

— Слушайте, пора и честь знать, у меня ноги затекли.

Чмоканье прекратилось, человек на кровати затаил дыхание и — Штирлиц почувствовал это — спружинился.

— Вы ведь говорите по-английски, — сказал наконец человек, откашлявшись, — я плохо понимаю немецкий.

— Ложитесь на диван, я хочу поспать на своей кровати, — сказал Штирлиц. — Ноги свело.

— Я ждал вас с двенадцати, извините за вторжение... Я менял скат, именно я должен был подобрать вас на дороге, вам ведь говорили мои коллеги про голубой «форд».

— Говорили... Что ж так долго меняли скат? Я шел минут двадцать по шоссе, все ждал, когда пульнут в спину.

— Я всегда стрелял в лоб, мы ж не гестапо, — человек поднялся с кровати, потянулся так, что Штирлиц услышал, как хрустнули его суставы, включил свет и, улыбнувшись, сел на стул к колченогому маленькому столику. Ранняя седина делала его лицо благородным, глаза были круглые, иссиня-черные, умные, со смешинкой. — Это ведь я должен был накормить вас сказочным обедом. Придется дождаться утра, пойдем сказочно завтракать.

— Вы, наверно, недавно в Испании, — заметил Штирлиц, не поднимаясь с диванчика. — Здесь отсутствует институт сказочных завтраков; в «Ритце» дают кофе и джем с булочкой, скучно; надо ждать десяти утра, когда откроются испанские таверны, только там можно полакомиться осьминогом, колбасками и тортильей...

— А сейчас только семь, — сказал человек, посмотрев на часы. — Сдохнешь с голода. Может, пока что обговорим ряд вопросов, представляющих взаимный интерес? Не против?

— Давайте, чего ж не обговорить. Вас как зовут?

— Это неважно. Мало ли как могут звать человека. Шарль. Или Магомет. Иван. Важно, что я пришел к вам с предложением. Я представляю американскую разведку и заинтересован в том, чтобы познакомиться с вами поближе. Я только что получил кое-какие данные из Вашингтона, связанные с вами и вашим прошлым. Присматривался я к вам довольно долго, пришлось поработать в немецких

архивах, полнейший хаос; видимо, все-таки много документов погибло, но по фотографиям я пришел к выводу, что доктор Брунн и господин Бользен – одно и то же лицо.

– Слушайте, Магомет, – хмуро усмехнулся Штирлиц, но продолжить не смог, потому что человек вдруг переломился от смеха; смеялся он громко, заливисто, как-то по-детски; такое тоже трудно сыграть, подумал Штирлиц; у него глаза птичьи, а такие бывают у детей; глядя на то, как хохочет незнакомец, Штирлиц тоже улыбнулся, повторив: – Слушайте, Магомет, если вы все про меня знаете, то мне неудобно говорить, ничего не зная про вас. Мне за вчерашний день и сегодняшнюю ночь надоели игры. Хочу ясности.

– Будет ясность. Только сначала ответьте, куда вы исчезли с дороги?

– Сначала я выслушаю вас и в зависимости от этого приму решение: сказать вам правду или утаить ее.

– Нет, мистер Бользен-Брунн, у вас нет альтернативы, и права выбора вы лишены. Решать буду я, а не вы. – Гость достал из кармана конверт, подошел к дивану, протянул Штирлицу. – Поглядите.

Там были отпечатки пальцев, его пальцев; Штирлиц был убежден, что именно эти «пальцы» ему показывал Мюллер, когда привел в подвал гестапо и потребовал ответить на один-единственный вопрос: как эти – «пальчики» могли оказаться на чемодане русской радистки; Штирлиц, однако, ошибался; отпечатки пальцев – как это явствовало из надписи на обороте – были копией из дела «Интерпола», заведенного двадцать третьего марта сорок пятого года в Швеции по делу об «убийстве доктором Бользеном гражданки Германии Дагмар Фрайтаг«.

«Но это же фальшивка, – подумал Штирлиц. – Дагмар присылала мне телеграммы из Швеции».

Он достал из конверта еще одну фотографию: Дагмар в морге, с номерком на ноге; вспышки магния холодно отражаются в белом кафеле; бесстрастные лица полицейских; рядом с ними два человека в строгих черных костюмах.

– А это кто? – спросил Штирлиц, ткнув в черных пальцем.

– Толстый – германский консул фон Рибау. Второго не знаю... Рибау полагает, что этот человек из резидентуры вашего посольства, то, что немец, не сомневается. Мы его ищем. Найдем, это точно.

– Рибау подтвердил свои слова под присягой?

– По поводу чего?

– По поводу смерти фрау Фрайтаг.

– Посмотрите внимательно все документы, там есть заключение шведов. Мы были уверены, что вы захотите получить этот документ.

– Почему?

– Потому что я собрал на вас кое-какую информацию.

– Где она?

– В нашем досье. Хотите посмотреть?

– Естественно.

– Ладно, кое-что покажем. Ну, я жду ответа.

Штирлиц поднялся с дивана, подошел к умывальнику, ополос-

нул лицо, чувствуя омерзительный запах хлорки (водопровод ни к черту, трубы старые, а испанцы боятся инфекций, – память о чуме живуча, нет ничего страшнее массового мора или голода, потому что толпа становится неуправляемой), травят микробов, а потом глаза; растер лицо полотенцем, аккуратно повесил его на крючок, вернулся к дивану, сел, забросив ногу на ногу, и сказал:

– Меня подобрал на дороге работник вашего ИТТ мистер Кемп.

– Американец?

– Он представился немцем. Может, натурализовавшийся немец, не знаю. Вам проверить легче, чем мне.

– Мы проверим. Что он от вас хотел?

– Того же, чего и вы. Честности и моей дружбы.

– Я вашей дружбы не хочу. Я ею брезгую, простите за откровенность. Я очень не люблю нацистов, но мне поручили встретиться с вами, накормить вас обедом и поговорить обо всех ваших прежних знакомых.

– Зачем вы показали мне эти фальшивки? – спросил Штирлиц, кивнув на фотографии и заявление консула; посмотрев, он неловко бросил их на стол, они рассыпались, лежали веером, как новенькие игральные карты.

– Чтоб вы знали, как вас ищут. Я-то бы вас выдал трибуналу, честное слово, но мои шефы считают возможным использовать вас в качестве рассказчика... Они хотят услышать ваши рассказы о былом, понимаете?

– Понимаю.

– Если вы не согласитесь, пенять придется на себя.

– Выдадите трибуналу?

– После нашего разговора, – если он будет носить вербовочый характер – это уже невозможно.

– Что же тогда делать? Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой?

– Что, что?

– Есть такая сказочка про бедного зайца, ее хорошо перевели на немецкий, а я постарался дословно пересказать на вашем языке...

– Дословно – не получится. В дословном переводе отсутствует личное начало, а без личности любое дело обречено на гибель.

– Верно.

– Что вам предлагал Кемп?

– Предлагал работу в ИТТ.

– В качестве кого?

– Переводчика.

– Хм... странно... Кто он такой?

Если у Кемпа воткнута аппаратура прослушивания, подумал Штирлиц, они будут иметь расшифрованный разговор к девяти утра, ребята умеют ценить время. Если же у него дома чисто, тогда мне невыгодно говорить все; две силы – не одна, есть возможность маневра, если только он не продолжает игру, заранее проговоренную с тем же Кемпом.

– Немец. Как я. Вроде бы инженер...

– Давно он здесь?

– Спросите в ИТТ, возможно, он мне все врал.

– В ИТТ мы спросим, конечно же, только вот что странно: работу переводчика на этой фирме должен был предложить вам я, а никакой не Кемп. Где тут у вас телефон? У деда?

– Да.

– Я должен позвонить.

– Не будите своего шефа, еще рано... Рассердится...

– Шеф я. Будить намерен помощника. Портье понимает по-английски?

– А вы его сами спросите.

Человек снова переломился от смеха – он как-то внезапно переламывался, словно натыкался на невидимый шнур; продолжая беззвучно смеяться, вышел из номера, положив на стол еще один конверт.

Штирлиц раскрыл его: там лежал паспорт гражданина Никарагуа на имя Максимо Брунна с видом на жительство в Испании; триста долларов; визитная карточка, на которой было имя Эрла Джекобса, Мадрид, ИТТ, генеральный директор. Ватиканской липы, которую вчера отобрал полицейский на улице, в конверте не было; странно.

«Что им от меня надо? – устало подумал Штирлиц. – Являются ли Кемп, этот хохотун и вчерашний Джонсон звеньями одной цепи? Да, бесспорно. А зачем уловки? Условия игры? Так, считают они, полагается? Надо меня запутать? Но ведь я понимаю, что они меня путают. Верно, я понимаю, только они могут не понимать этого. Они же не знают меня. Они получили какие-то архивы, но разве можно до конца понять человека на основании одних только архивных данных? Нет, конечно. Хорошо, но ведь им мог рассказать про меня Шелленберг. Мог, но англичане никому не отдадут свою информацию, даже самым близким союзникам, да в общем-то и правильно поступят; что знают двое, то знает и свинья. Не пытайся облегчить жизнь, сказал себе Штирлиц, к американцам могли попасть Айсман, Холтофф, Хёттль, эти работали со мной, у них нет против меня улик, но они имеют представление о моей манере думать, говорить и делать; три разных характера, вполне достаточно для того, чтобы набросать мой психологический портрет... Хотя почему только три? А люди, которые работали с Кэт на конспиративной квартире? А Троль, который знал ее и меня? А Шлаг, с которым мы расстались друзьями и который знает, кто я есть на самом деле. А может быть, все же рискнуть? И сказать прямо и открыто: «Хватит, ребята, в конце концов, мы союзники, сообщите вашему послу в Москву для передачи Кремлю, что полковник Максим Максимович Исаев жив и ждет возвращения домой». Нет, это можно было сделать в прошлом году, летом еще, когда я был недвижим, а сейчас, особенно после того, как они затеяли штуку с Фрайтаг, такое невозможно... Соглашайся, со всем соглашайся, но за одну лишь плату: требуй расследования обстоятельств убийства Фрайтаг. Докажи, что это работа Мюллера, чья же еще, ему надо было обезопасить себя на случай моего бегства к нейтралам, ясно, зачем он это сделал. Он мог не верить Фрайтаг, мог бояться, что я сделал ее своей, но главное, что его пу-

гало, – это мой уход из рейха. Он страховался. Они умели страховаться кровью невинных людей, возлагая вину за это на того, кто им нужен. Если этот американец откажется выполнить это условие, тогда надо слать все к черту; здесь, в пансионате, они меня вряд ли станут убирать, слишком шумно; есть час-два на поступок. Идти в метро, отрываться от слежки, любым путем оторваться от слежки и бежать к французской границе. Как угодно, только туда. Где подбросит попутная машина, где автобус. Идти проселками, подальше от шоссе. Главное – идти, движение есть то единственное, что может спасти от ощущения безнадежности. Во всяком случае, это выход. Грязным даваться нельзя, они тогда могут сунуть меня в любую гадость, не отмоешься. И не успокаивай себя Лойолой, его словами, что цель оправдывает средства... Да, но как ты, именно ты докажешь свою непричастность к убийству Фрайтаг? В архивах не может быть рапорта исполнителя. Такое вряд ли фиксируется. Но в архиве могут быть отчеты шофера Ганса, которого потом убили люди Мюллера, чтобы замазать меня кровью несчастного парня... В архиве должен быть его рапорт о том, что мы с ним отправили Фрайтаг в Швецию и она стояла на борту парома и махала мне рукою, долго, как-то беззащитно, очень нежно; все-таки в людях, осужденных на гибель, заранее прочитывается обреченность... Да, это один путь. Второй путь для доказательства моего алиби – экипаж парома; судно шведское, те, кто работал там полтора года назад, должны по-прежнему плавать из Германии к себе домой. Пусть американцы опросят тех, кто видел, как я ходил по пирсу, там еще стояла моя машина, как я прощался с женщиной, которая плакала, стоя на борту. Я тогда был один на пирсе, шел дождь, машина стояла вдалеке, но с парома ее видели; тогда из рейха практически никто не уезжал в Швецию, границы были перекрыты, весь народ сделался заложником, чтобы фюреру было не так страшно погибать одному... Наверняка меня запомнили. Я назову точную дату. Я заставлю себя вспомнить лица тех членов экипажа, мимо которых я проходил из каюты первого класса к сходням... Я должен настроиться на тот день, собраться, посмотреть это кино в моей памяти и описать тех, кто там был тогда».

Американец вернулся, в задумчивости сел к столу, внимательно посмотрел на Штирлица, хмыкнул и, повертев головой, чтобы размять шею, спросил:

– Ну как?

– Прекрасно, – ответил Штирлиц. – А у вас как? Помощник не сердился?

– Сердился. Костил меня последними словами. Ничего, он отходчивый. Ну, что надумали? Как мое предложение?

– Оно интересно. Но я не приму его, если вы не поможете мне доказать, что это, – Штирлиц тронул мизинцем фотографии мертвой Дагмар, – грязная фальшивка, сработанная против меня шефом гестапо Мюллером.

– Вы же с ним хлебали из одного корыта. Какой ему смысл было вас марать?

– Прямой. Я расскажу об этом после того, как вы примете мое условие. Я не стану рассказывать вам мою историю, как мелкий уго-

ловник, оказавшийся в камере рецидивистов. Только мелюзга ублажит старых бандитов. А это против моих правил.

— Зато это по моим правилам.

— Ну, тогда и играйте с самим собой по вашим правилам. Только сначала заберите весь этот мусор, — Штирлиц подвинул на краешек стола паспорт, фотографии, отпечатки пальцев, деньги и визитную карточку Эрла Джекобса, — и закройте дверь комнаты с другой стороны.

— Не надо зарываться, — глаза у человека сузились, ничего птичьего не было в них, крохотные щелочки. — Постарайтесь никогда не забывать, что вы — грязный нацистский бандит.

— К которому вы, чистый демократ и борец за свободу, пришли с предложением сотрудничества.

— Не надо дразнить меня. Я сверну вам челюсть, я это умею делать, потому что работал в профессиональном боксе.

— Это очень демократично, когда профессионал бьет больного человека. С таким демократизмом вас бы с радостью взял в свою личную гвардию рейхсфюрер Гиммлер, он ценил профессионалов.

— Не зарывайся, скотина.

— Вон отсюда, — негромко, очень спокойно сказал Штирлиц. — Вон! Или я разбужу весь этот клоповник. Мои соседи торгуют краденым, они не любят легавых, какой бы национальности они ни были. Уходите, иначе будет шум. Вам этого не надо. А я уже ничего не боюсь.

— Вы все боитесь за свою вонючую нацистскую шкуру...

— В каждом правиле бывают исключения, — заметил Штирлиц, поняв, что у них нет ничего, кроме этих его «пальцев»; ни Айсмана нет, ни Хёттля, ни Рольфа, ни Холтоффа, ни Шлага; если бы они были у них, этот парень говорил бы иначе, не держат же они у себя кретинов, умная нация, сильное государство, ценят ум.

— Что вы этим хотите сказать? Пытаетесь заправить информацию, будто поддерживали героев покушения на Гитлера? Спасали евреев? Передавали секреты бесноватого Белому дому или Кремлю?

— Заправляют рубашку в брюки. Информацией обмениваются.

Глаза снова стали круглыми; засмеялся, но не сломно, как раньше; похохатывал, внимательно глядя на Штирлица.

— Значит, если я попробую разобраться в деле с убийством Фрайтаг, вы готовы на меня работать? Так надо вас понимать?

— Меня надо понимать так, что я приму ваше предложение после того, как вы покажете мне абсолютно все материалы, связанные с делом Фрайтаг, а я объясню вам, что надо сделать для доказательства моего алиби. Имейте в виду, вам это выгодно больше, чем мне. Одно дело, когда вы сотрудничаете с офицером политической разведки Шелленберга, который занимался анализом внешнеполитических вероятий, а другое — с костоломом и убийцей. Не вы делаете агента, Мухамед, а именно агент делает вас, гарантируя ваш рост и продвижение вверх по служебной лестнице.

— Слушайте, а на рынке здесь можно поесть? — задумчиво спросил американец.

— Можно, только там нет горячего.

– Едем на рынок?

– Едем.

– Но прежде чем мы поедем, ответьте: пока я буду выполнять вашу просьбу, готовить телеграммы в Швецию и в нашу зону Берлина, вы согласны повстречаться с вашими коллегами? Бывшими коллегами?

– Я знаю только одного. Вы его тоже наверняка знаете, он мне приносит деньги по субботам.

– Герберт, он же Зоммер? Он не ваш коллега. Он из вашей вонючей партии, он никогда не работал в разведке. Мы знаем о нем все, он нас не очень-то интересует.

– Да? Значит, вам известно, где он берет деньги?

– Это мое дело, а не ваше... Я дам вам имена нескольких людей... Встретитесь с ними?

– Что за люди?

– Один возглавлял резидентуру в Лиссабоне, в сорок пятом, другой был в разведке Риббентропа.

– У Риббентропа не было своей разведки.

– У него был отдел исследований, это одно и то же.

– Хорошо. Цель встречи? Чего следует добиться? Психологические портреты моих собеседников? Семейное положение? Друзья? Привычки? Интересы? Образование?

– Ишь, – улыбнулся незнакомец. – Бритва. Кстати, меня зовут Пол. Мистер Пол Роумэн.

– Хорошо. А меня – господин доктор Брунн.

– Ну, ты и сукин сын...

– Да и ты большая скотина.

– Ненавидишь нас?

– Честно говорить?

– А я пойму, если будешь врать.

– Очень люблю американцев.

– Вроде не врешь. Странно.

– Именно поэтому я сделал все, что мог, только бы сорвать переговоры о сепаратном мире между генералом СС Вольфом и твоим боссом, Даллесом. Вам, американцам, было бы очень стыдно, если СС обергруппенфюрер пожал руку Даллесу при вспышках фотоаппаратов мировой прессы. Лучше уж до конца стоять на своем, чем становиться Иудой. Тираны вызывают обостренный интерес, страх, ненависть, восхищение, зависть, недоумение, но не презрение. Иуда – вызывает.

– Бользен твой псевдоним?

– Это мое дело. У тебя в руках архивы – ищи.

– Едем на базар?

– Едем.

– Только пить ничего не будем... В двенадцать тебе надо быть у Эрла Джекобса, в ИТТ.

– С Кемпом?

– Нет, к Кемпу ты придешь в одиннадцать. Он сидит на втором этаже, семнадцатая комната, секретаря у него нет. Пока. Кстати, он один из тех двух, кто меня интересует. С декабря сорок четвертого

он был в вашей поганой резидентуре в Лиссабоне. Ты подружись с ним, Бользен. Или Брунн, как тебе удобнее... Он очень большая паскуда, этот Кемп, который на самом деле Рихард Виккерс, то ли майор, то ли подполковник, с женой живет сепаратно, она спит с двумя неграми в Лиссабоне, очень сексуальна, видимо, маньячка, ее сестра работала с доктором Вестриком, есть такой сукин сын, который лизал задницу Гиммлеру, был членом СС, а теперь выставляет себя нашим человеком, представляет интересы ИТТ в Германии и борется за демократию. Меня интересует, чем занимался этот самый Виккерс-Кемп до января сорок пятого. Друзей у него нет. Он никому не верит, ни одному человеку на свете. Из аристократической семьи, родился под Гамбургом, про родственников мы не очень-то знаем. Чаще всего видится с Эрлом Джекобсом. Тоже скотина, наша скотина, но не лучше ваших скотов. В сорок первом был против того, чтобы мы ударили по Гитлеру. В сорок пятом кричал «ура» и надел военную форму, грабил вместе со своим братом Германию. Правильно делал, только надо было трофеи передавать стране, а не набивать свои карманы. Будь с ним осторожен. Держи ухо востро.

Пол Роумэн открыл дверь, вышел первым, грохоча тяжелыми ботинками; по-мальчишески резво спустился вниз, быстро пошел по улице, не оборачиваясь на Штирлица, свернул за угол, там стоял голубой «форд».

В машине уже Роумэн сказал:

– Хорст Нипс... Такое имя что-нибудь говорит?

– Республиканец? Работает во французском банке?

– Он такой же республиканец, как я нацист. До апреля сорок пятого он был помощником начальника отдела исследований у Риббентропа, занимался Латинской Америкой. Это номер два. Семья живет в Аргентине, жена и трое детей. Здесь легализован. Имеет громадные связи в Мадриде. Залегендирован вполне надежно. Имеет аргентинское гражданство. Из рабочих, был штурмовиком, его послали учиться в Гейдельберг, потом отправили в МИД, когда там началось гонение на кадровых дипломатов, которые не вступали в твою вонючую нацистскую партию... Мне надо получить их связи. Задача ясна?

– А тебе? – спросил Штирлиц и усмехнулся. – Ты свою задачу понял?

ГАРАНТИРОВАННАЯ ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ

1

«Полу Роумэну,
посольство США, Мадрид, Испания,

Дорогой Пол!

Только сегодня я, наконец, спокойно выпил, спокойно посмотрел в глаза Элизабет, спокойно поиграл с Майклом и Джозефом в сыщиков и гангстеров, спокойно прошел по дому, как бы заново его оглядывая, и спокойно лег в кро-

вать. Правда, уснуть не мог, но это было уже не от обиды и ощущения полнейшей безысходности, но оттого, что слишком переволновался за последние два месяца. Поэтому не сердись, что я не отвечал тебе, просто не мог сесть за стол.

Завтра я вылетаю в Голливуд, оттуда напишу тебе, расскажу, как я там устроился, потому что я распрощался с Вашингтоном, как видно, навсегда.

Но давай по порядку, ты же оторван от дома, живешь, согреваемый мавританскими ветрами и услаждаемый пением хитан, а потому даже не можешь представить, что здесь происходит с твоими друзьями.

В начале сентября меня вызвал Роберт Макайр и начал расспрашивать о житье-бытье, о том, интересно ли мне работается в условиях мира, не скучно ли и не тянет ли меня поездить по миру.

Конечно, я ответил, что дурак откажется. Он спросил, куда бы мне хотелось поехать. Я, конечно, поинтересовался, что будет с Элизабет и мальчиками, может, наконец, настало время, когда семья вправе путешествовать вместе с нами. Макайр ответил, что речь как раз и идет о том, чтобы я поехал на работу за океан, ясное дело, с семьей. «ОСС кончилось, — ошарашил он меня, — все мы переходим на работу в государственный департамент, там создается управление разведки; дипломат, само собой разумеется, один не путешествует, обязательно с семьей, иначе подсунут в кровать девку, и ты выдашь ей все секреты, которыми набита твоя голова».

Мы посмеялись; я сказал, что решение о передаче кадров ОСС в государственный департамент совершенно вздорная идея, мы не уживемся под одной крышей с дипломатами, по-разному воспитаны, привыкли к разным методам мышления. Макайр согласился со мной, но заметил, что я неверно определил причинные связи: «Мы-то с ними уживемся, нас научили уживаться и с дьяволом, — сказал он мне, — они не захотят ужиться с нами, вот в чем штука; каста; политики; с их точки зрения, мы принадлежим к клубу ассенизаторов истории».

Интересно, как ты с ними, с политиками, уживаешься под одной крышей в Мадриде? Бедненький...

Словом, он предложил мне на выбор: Португалию, Испанию или Марокко.

Испанию я отверг сразу же, потому что посчитал желание поехать в Мадрид недружественным актом по отношению к тебе, достаточно одного питомца «Дикого Билла» на Андалусию, Страну басков и Галисию, вместе взятые. Марокко, конечно, заманчиво, но с одним испанским там не проживешь, нужен арабский, и не такой, каким изъясняюсь я, но настоящий, лоуренсовский. Остановились на моей любимой Португалии; Элизабет была страшно этому рада, «мальчики выучат язык Камоэнса и Васко да Гамы».

Я пришел, как и сотни наших парней, в государственный департамент, меня принял вполне милый человек, – алюминиевая седина, пробор, правленный бритвой, красивые усики, темно-серый пиджак, сине-белая бабочка, – усадил в мягкое кресло, сел напротив, попросил хорошенькую секретаршу сделать кофе, угостил крекером и начал разговор про то, какая область дипломатической работы меня бы могла заинтересовать в первую очередь. Я оказался в довольно сложном положении, потому что не мог, естественно, сказать ему, что Макайр уже назвал ту страну, где я буду действовать. Поэтому я стал плести ахинею, говорить, что готов выполнить свой долг в любой точке земного шара, только б была польза дяде Сэму, мы ребята служивые, привыкли подчиняться приказу, и все в этом роде.

Расскажите мне о вашей работе у Донована», – сказал алюминиевый дядя.

Я ответил, что лишен возможности доложить ему о моей работе в разведке, поскольку у нас существует свой кодекс чести, и без разрешения моего руководителя я не имею права раскрывать подробности.

«А вы без подробностей, в общих чертах», – предложил алюминиевый.

В общих чертах я рассказал ему, что пришел в ОСС из газеты «Мэйл», испанский и португальский учил в Новой Англии; в сороковом году работал в Нидерландах, там кое-как освоил немецкий, затем пришлось посидеть в Африке, начал изучать арабский.

Он спросил, есть ли у меня награды, я ответил, что две. Он поинтересовался, за что. Я сказал, что за работу. Тогда он спросил меня, что я еще изучал в Новой Англии. Я ответил, что с детства интересовался историей Французской революции, моя мама француженка, ее язык какое-то время был моим первым, особенно пока отец работал в Канаде.

Тогда алюминиевый, впервые за весь разговор закурив, спросил, от кого я получил задание установить контакт с коммунистическим подпольем во Франции.

Я ответил, что если он знает об этом факте, то ему должно быть известно, кто поручал мне эту работу.

«В вашем деле, мистер Спарк, написано, что это была ваша инициатива», – ответил он.

Моя так моя, подумал я, хотя прекрасно помнил, как Олсоп передал мне указание Макайра; помню даже, что он сказал мне об этом в кафе лондонского отели «Черчилль», что-то в начале апреля сорок четвертого, когда мы готовили вторжение в Нормандию.

Тогда алюминиевый спросил меня, с кем именно из французских коммунистов я поддерживал контакты. Я ответил, что, поскольку меня забросили в мае, когда нацисты правили несчастной Францией, все мои контакты с коммунистами носили конспиративный характер, я для

них был «Пьером», они для меня «Жозефом» и «Мадлен».

«Но ведь вы встречали их после того, как мы освободили Францию?»

«Нет».

«Это очень странно. Почему?»

«Потому что через девять дней после того, как мы вошли в восставший Париж, меня вновь перебросили в Португалию».

«А разве в Париже было восстание?»

«Да, мы писали об этом в газетах».

«Мне казалось, что это игра, желание польстить де Голлю».

«Не знаю, как по поводу лести, но я там дрался».

«Вместе с коммунистами?»

«Не только. Хотя они были главной пружиной восстания».

«И даже во время этого... восстания вы не узнали никого по имени? Только «Жозеф» и «Мадлен»?»

«Нет, я был связным со штабом полковника Ролль-Танги. Одно из его имен настоящее, второе псевдоним, только я не помню, какое настоящее».

«Вы общались непосредственно с ним?»

«Не только».

«С кем еще?»

«С майором Лянреси».

«Это подлинное имя?»

«Мне было неудобно спрашивать его об этом. Да и некогда. Надо было воевать. Знаю только, что он воевал в Испании против Франко, знал наших ребят из батальона Линкольна».

«Ах, вот как... Он говорил по-английски?»

«Да. Вполне свободно. Хотя с французским акцентом».

И я, дурила, начал распространяться про то, как занятен у французов наш акцент, причем особенно у тех, кто родился в Провансе, вообще у всех южан какой-то особенный акцент, он делает их беззащитными, похожими на детей.

«Скажите, – перебил меня алюминиевый, – а вы не говорили с Лянреси об Испании?»

«Мы с ним говорили о том, как разминировать те дома, которым грозило уничтожение, и еще о том, как пройдут связные к нашим передовым частям».

«Но после того, как мы вошли в Париж, вы, видимо, встречались с ним?»

«После того как мы вошли в Париж, я беспробудно пил неделю. С нашими».

«С кем именно?»

«С Полом Роумэном, Джозефом Олсопом и Эрнестом Хемингуэем».

«Роумэн сейчас работает в Испании?»

«Его перевели к вам в конце войны».

«Да, да, я его помню, я с ним беседовал в этом же кабинете. Он марксист?»

«Он такой же марксист, как я балерина».

«Вы просто не в курсе, он же ученик профессора Кана, а тот никогда не скрывал своего восторга перед доктриной еврейского дедушки».

Так что ты у нас марксист, ясно?

Потом алюминиевый спросил, тот ли это Хемингуэй, который писал репортажи про Испанию, я ответил, что он писал не только репортажи, но и книги. Алюминиевый сказал, что он читал что-то, но не помнит что, ему не нравится манера Эрни, слишком много грубостей, ужасная фраза, какой-ту рыночный язык, и потом он слишком романтизирует профессию диверсантов, рисует над их головами нимб, это происходит от незнания жизни. «Я сам ходил в разведку во Франции в семнадцатом, — заметил он, — ползал на животе под проволокой немцев, чтобы выведать их расположения, я помню, как это было». Я заметил, что он, видимо, не читал «По ком звонит колокол», а только слышал мнения тех, кто не любит Эрни, а его многие не любят за то, что слишком популярен, как мне кажется, он ни в чем Джордана не идеализирует, наоборот даже.

«Ну, бог с ним, с этим Хемингуэем, давайте вернемся к нашим делам, — сказал алюминиевый. — Что бы вас интересовало: консульская работа, политический анализ или изучение экономических структур тех стран, где вам, возможно, доведется работать?»

Я ответил, что самое выгодное было бы использовать меня по той специальности, которой нас научили Донован и Даллес во время драки с нацистами.

«Хорошо, — сказал алюминиевый, — я передам ваше пожелание руководству, позвоните в европейский отдел, скажем, в понедельник».

Разговор был в четверг, мы уехали с Элизабет в Нью-Йорк, забросив мальчишек ее маме, прекрасно провели уик-энд, навестили Роберта и Жаки, вспомнили былое, потом посмотрели спектакль о том, как радикулит оказывается главным стимулом для человека, мечтающего о карьере танцовщика, было очень смешно; у Дика встретили Бертольда Брехта и Ганса Эйслера, они затевают в Голливуде грандиозное кино, Эйслер просил передать тебе привет, а Брехт сказал, что он был совершенно очарован тобой, когда ты приезжал к нему в сорок втором, консультироваться о наци, перед тем как тебя решили забросить к ним в тыл. Брехт хотел написать тебе, но он был совершенно замотан и, как всегда, рассеян, твой адрес сначала сунул в карман брюк, потом переложил в портфель, а затем спрятал в пиджак, наверняка потерял. В субботу мы славно пообедали в Чайна-тауне, посмотрели — еще раз и с не меньшим восторгом — чаплинского «Диктатора» и верну-

лись домой, совершенно счастливые. В понедельник я позвонил по тому телефону, который дал алюминиевый, там меня выслушали и попросили перезвонить в среду. Мне не очень-то это понравилось, но что поделаешь, ни одно государственное учреждение с традициями не может обойтись без бюрократии; действительно, каста, черт их подери. Позвонил в среду; назначили пятницу, снова бесполезно. Тогда я поехал к нашим, но мне сказали, что и Макайр уже в Европе, срочная командировка; полный кавардак, словно в фирме, потерпевшей банкротство. В понедельник алюминиевый сказал, что меня не могут взять на работу в государственный департамент. Я был совершенно ошарашен: «Почему?» — «Мы не комментируем». Тогда я позвонил Аллену Даллесу и попросил его найти для меня пару минут. Он ответил немедленным согласием, выслушал меня, сказал, что надо бороться, и пообещал помощь. В четверг я еще раз позвонил ему, он ответил, что департамент уперся, их, видите ли, смущают мои контакты с коммунистами. «Надо переждать, Грегори, — сказал он, — погодите, как говорил Сталин, будет и на нашей улице праздник».

Как понимаешь, война не позволяла нам думать о накоплениях, и, когда подошел срок взноса денег за дом, мне стало не по себе. Я снова двинул к нашим, пытался поговорить с Донованом, но он был командирован в Нюрнберг, заместителем нашего обвинителя, будет потрошить нацистских свиней. Стименс, который меня принял — ты его помнишь, он занимался контрразведкой, искал предателей дома, — сказал, что попробует помочь, но с государственным департаментом говорить трудно, чинуши, боятся собственной тени.

Прошло еще пять дней, и я маленько запсиховал, потому что зашел в банк, посмотрел свой счет, посидел с карандашом в руках и понял, что через две недели мне придется просить у кого-то в долг, подходит срок внесения платежа за страховку.

Это придало мне необходимую скорость, я связался с газетами, повстречался со Шлессинджером и Маркузе, звонил в Детройт, в «Пост», оттуда меня переправили в Нью-Орлеан, там предложили место в газете, что выходит в Сан-Диего, но Элизабет сказала, что нельзя бросать маму, а туда, на солнцепек, брать ее довольно опасно, старушка перенесла два сердечных криза.

Наконец, позвонил Стименс, дал мне телефон, но это было в пятницу вечером, в Голливуде никого уже не было, а он предложил связаться с «Твенти сэнчури фокс», им нужен консультант, который кое-что понимает в политике, войне и разведке, платят двести долларов в неделю, не бог весть какие деньги, но это что-то, а не ужас безработицы, вот уж не думал, что когда-нибудь на практике столкнусь с этим понятием.

Позвонил Брехту, он был очень обрадован моим возможным переездом в Голливуд, сказал, что работа консультанта-редактора крайне интересна, это близко творчеству; никакого чиновничества, «заговор единомышленников, сладкие игры взрослых детей, чем раскованнее фантазируешь, чем ближе приближаешься к менталитету ребенка, тем больше тебя ценят».

Ты себе не представляешь, что со мною было в тот чертов уик-энд, я смотрел на себя со стороны и поражался той перемене, которая произошла со мной за те недели, что я сидел без работы. Черт меня дернул избрать профессию историка! Я понимаю, ты экономист и юрист, тебе ничего не страшно, турнули алюминиевые, пошел в любую контору и предложил свои услуги, человек, умеющий карабкаться сквозь хитрости параграфов наших кодексов, нужен везде и всюду, — до тех пор, конечно, пока цела наша демократия. Или экономист! Как я завидую тебе, надежная специальность, «германское проникновение в Европу», на этом можно стать трижды доктором, если алюминиевые начнут копать и против тебя. Кстати, мне не понравилось, что тот бес с бабочкой, помянув твое имя, больше ни разу о тебе не заговорил, он ждал, что я скажу что-нибудь, и хотя он ползал на пузе под проволокой, чтобы срисовать расположение немцев под Марной, в разведке он явный профан, вел себя, как частный детектив из дешевого радиоспектакля, сплошное любительство, настоянное на многозначительности, а ведь истинный разведчик — это тот, кто умеет найти общий язык с четырьмя людьми, собравшимися за одним столом: с банкиром, безработным, проституткой и монахиней.

Словом, в понедельник я держал себя за руку, чтобы не начать крутить телефонный диск ровно в девять, у нас у всех от чрезмерного ощущения собственной престижности пар из ноздрей валит. Позвонил в девять тридцать, едва дотерпел. «Да, вы нам нужны, можете приезжать для подписания контракта». — «Оплата билета на самолет за мой счет?» — «Естественно, вы не Хамфри Богарт». — «Но где гарантия, что я подойду вам?» — «За вас просили весьма серьезные люди из столицы, а вчера про вас много рассказывал Брехт. Его поддержал Эйслер, с великими драматургами и музыкантами грех не считаться».

Я вылетел туда, в Лос-Анджелесе было настоящее пекло, меня не оставляло ощущение, что пахнет жареными каштанами, как в Париже, в середине сентября в Картье Латан. Голливуд меня снова ошеломил — тишина, надежность, красота, высоченные пальмы, живая история нашего кино, ни у кого нет такого кино, как у нас, пусть говорят что угодно, бранят и критикуют, но надо быть совсем уж нечестным человеком, чтобы поднять голос против Голливуда.

И вот я кончил паковать чемоданы, сдал здешнюю квартиру в аренду (это сулит мне дополнительно двести долларов в месяц, совсем неплохо), прошел по комнатам, не испытывая того растерянного ужаса, который начал захватывать меня последние недели, выпил, лег в кровать, но не смог уснуть и, дождавшись, пока Элизабет начала сладко посапывать, — она стала еще более хорошенькой, даже не могу себе представить, что мы с ней женаты уже девять лет, я испытываю к ней нежность, словно в первые дни нашего знакомства, — отправился в кабинет, сел к столу и написал тебе это длиннющее письмо.

Ответь мне на отель «Амбассадор», я снял двухкомнатный апартамент, будем жить там, пока Элизабет не подберет дом.

Конечно, если ты прилетишь в отпуск сюда, мы ждем тебя в гости. Масса хорошеньких молодых девушек с умными холодными глазами ходят по студии. Такие не умеют предавать. Если ты заключаешь с ними договор на любовь, они никогда не нарушают условий контракта. Это им невыгодно. Что ж, пусть так, это честнее подлости, рожденной чувствами. Выбрось, наконец, из сердца Лайзу. Выбрось. Я видел ее в Нью-Йорке, поэтому прошу тебя еще раз — выбрось. А вообще что-то муторно у меня на душе. Так бывает всегда, когда чего-то до конца недопонимаешь. Я гоню от себя мысли, но ведь их назойливость значительно страшнее, чем атака октябрьских мух, которые, кажется, ошалели от приближения холодов и поэтому жалят все, что только можно, а особенно ноги, исчешешься.

Я запрещаю себе признаваться в тех чувствах, которые меня порою обуревают, я помню, как Донован учил нас бояться чувств, не рожденных логикой. Я все это понимаю умом, но разве так просто справляться с тем, что живет в тебе? Нет ничего горше незаслуженной обиды, ты согласен? А впрочем, шел бы к черту этот государственный департамент! Прав Даллес, надо погодить. Все образуется.

Пиши. Твой Грегори Спарк».

2

«Грегори Б. Спарку,
Отель «Амбассадор», Голливуд, США

Дорогой Грегори!

Твое письмо повергло меня в некоторое уныние, и есть отчего. Экономика немыслима вне истории, так что не очень-то завидуй моей, как ты писал, «спокойной» профессии. Дважды прочитав твое послание, я просмотрел речи Цицерона и пришел к грустному выводу, суть которого сводится к тому, что окончание любой эпохи, связанной с великим человеком, внесшим свою лепту в историю, неми-

нуемо сопутствует приходу новой команды, предлагающей свою, качественно новую модель будущего. А поскольку выдающиеся люди есть пики истории, поскольку человечество не очень-то избаловано личностями, типа Цезаря, Спартака, Македонского, Клеопатры, Галилея, Лютера, Кромвеля, Петра, Наполеона, Вашингтона, поскольку каждый взлет мысли сменялся веками ожидания новых идей, нам с тобою остается лишь сладкое воспоминание о той поре, когда мы удостоились счастья входить в большую команду очень большого человека, каким был Рузвельт.

Я не очень-то представляю себе, когда придет политик с новой программой; повторение Рузвельта невозможно (любое повторение чревато фарсом или катастрофой, в этом я совершенно согласен с Марксом), а вот что выдвинут вместо его курса, я пока не очень понимаю. Надеяться, что те, кто окружает Трумэна, смогут создать идею, притягательную для страны и мира, довольно рискованно, поскольку он серый человек и совершенно не подготовлен к руководству страной. Я думаю, Трумэн будет освобождаться от людей Рузвельта; по-человечески, кстати, я понимаю его. Кому приятно, когда тычат в глаза предшественником, махиной, имя которого и без того у всех на устах. Поэтому сделать надо так, чтобы люди забыли Рузвельта, но сделать это предстоит умно и тактично — в этом, видимо, Трумэн и те, кого он с собою привел, видят свою главную задачу. Как это можно сделать? Во-первых, необходимо определить того врага, угроза которого понятна каждому американцу. Во-вторых, следует найти рецепт, каким образом этого врага можно победить. В-третьих, надо доказать народу, какие блага получит каждый в результате этой победы. Нацизм уничтожен. Японские агрессоры разгромлены. Что же грозит Америке? Экономический спад? Допускаю. Кризис духовных ценностей? Вполне возможно, ибо на смену доктрине войны идея мира приходит отнюдь не просто. Ты знаешь, как победить экономический спад? Я — нет. У нас считают, что экономика — это очень просто, знай вкладывай деньги, но ведь это точка зрения малокомпетентных людей. Как преодолеть духовный кризис? Ты знаешь? Я — нет. Видимо, нужно время, нужно нарабатывать новый общественный климат в стране. И это трудно. А без ясного всем и каждому врага, угрожающего Америке, будь то Пьер, Чжао, Иван, Фриц или призрак безработицы, или ужас новой «Черной пятницы», политик, лишенный глубокой общественной идеи, не утвердит себя. А ведь хочецца! Мне кажется поэтому, что Трумэн не станет искать компромисса с дядей Джо, а пойдет на то, чтобы форсировать разрыв. Сталин — вполне достойный враг, причем не сам по себе — все-таки он герой войны, но как приверженец большевистской доктрины порабощения человечества. Именно поэтому алюминиевый господин с бритвенным пробором так

тщательно выспрашивал тебя о твоих контактах с французскими коммунистами. Команда, которая выбрала курс, должна быть укомплектована теми, кто готов к гуттаперчевым решениям и не отягощен служением прошлому. Так что оценивай случившееся как нечто совершенно логическое, следовательно, неизбежное. Давай научимся принимать жизнь такой, какая она есть. (Если бы меня спросили, я бы предложил обозначить врагом на ближайшее время тех нацистов, которые легли на грунт; они готовятся к тому, чтобы подняться; поверь, я не фантазирую, я занимаюсь здесь этой проблемой, но, думаю, люди Трумэна отвергли бы мое предложение, и не потому, что они не согласны со мною, но в силу того, что разгром гитлеризма связан с именем именно Рузвельта; повторение уже завершенного не дает «политического навара», пресно.)

Не поторопился ли ты с Голливудом? Напиши ты мне, я бы немедленно пригласил тебя с Элизабет и мальчиками в Мадрид, здешний филиал ИТТ (хотя все они проходимцы и лизали задницу Гитлеру) алчет серьезных работников, и платили бы они в два раза больше, чем твои боссы в «Твенти сэнчури фокс». Ну, игра сделана, ничего не попишешь.

Я очень рад тому, что ты снова встретился с Брехтом и Эйслером. Пришли-ка мне их адреса, я напишу им, очень люблю этих художников. Я никак не могу понять, отчего Голливуд до сих пор не поставил Брехта по-настоящему. Я видел его спектакль в Вене, накануне аншлюса, и он до сих пор живет во мне; именно Брехт помогал мне вынести ужас допросов с пристрастием, холод в камере, обреченность в бараке.

Где ты видел Лайзу? Нет, не думай, я уже выздоровел, я переболел тем, что случилось, но разве вычеркнешь пять лет жизни из памяти? Точнее — из сердца, из памяти както можно. Ведь если человечество научилось легко забывать тех, кто был кумиром, то отчего я должен быть исключением из правила? Я вижу твою скептическую улыбку, мол, говори, говори. Нет, правда, Грегори! Верь мне. В подтверждение — просьба: подбери мне кого-нибудь из тех холодноглазых и мудрых голливудских девушек, которые свято выполняют подписанный контракт на дружбу и совместное просыпание в одной кровати. Девушка должна быть курносой, зеленоглазой, с веснушками (даже осенью), настоящей американкой (я все-таки чуть-чуть расист, тем более мой дедушка возглавлял ку-клукс-клан в Алабаме) и обязательно образованной в том колледже, который мы с тобою знаем; все, что угодно, только не дура. Пусть даже хроменькая, только б интеллектуалка. Серьезно, меня это возбуждает, я столько их перебрал после того, как Лайза показала мне, что значит «верность солдату», что меня не интересует секс; послушать умную девушку в постели — высшее наслаждение.

Теперь о деле. Не было ли у тебя каких-то разговоров с твоими французами (особенно с теми, которые возглавляли подразделения маки в районе Лиона) о СС гауптштурмфюрере Клаусе Барбье? Эд написал мне из Кёльна, что вроде бы этот сукин сын шастает на свободе, хотя за ним охотится вся наша военная разведка. Пару раз я слышал о Барбье и здесь, от тех, кто сумел избежать суда — пока что; я аккуратно хожу вокруг этих наци, разминаю их; тянутся довольно интересные нити в Латинскую Америку, в наши оккупационные зоны; в деле поиска каждое свидетельство может оказаться разгадкой, толчком к истине, незаменимым подспорьем в работе. Слава богу, я пока могу этим заниматься, Даллес знал об этой работе и всячески ее поддерживал, хотя вполне возможно, что с его уходом интерес к моему поиску притупится, тем более что хватает дел текущих, а они затягивают, как бензин в воронку. (Потому-то я так пожалел, что ты принял приглашение Голливуда; здесь у меня есть надежные ребята, но они исполнители, полетом фантазии не блещут. И еще. Поскольку ты бывал в Лиссабоне и знаешь тамошнюю ситуацию, повороши память, расскажи мне все, что ты помнишь о нацистах, работавших в военном атташате рейха при Салазаре. Все, самая поганая мелочь, может представлять неоценимый интерес.)

Пожалуйста, передай Элизабет мой самый нежный привет. Я очень завидую, что ты относишься к ней с такой же нежностью, как и в тот день, когда впервые ее увидел. Это так замечательно и, увы, редко.

Сердечно твой Пол Роумэн».

3

«Резидентурам Отдела разведки государственного департамента Соединенных Штатов Америки в Испании, Португалии, Аргентине, Бразилии, Чили, Парагвае и Боливии

Совершенно секретно

12 марта 1946 года

Представляется возможным считать, что в стране Вашего пребывания скрываются такие нацистские военные преступники, как Борман, Мюллер, Эйхман, Менгеле и Барбье.

Необходимость их выявления, захвата и выдачи в руки правосудия предполагает возможность подхода ко всем тем нацистам, которые смогли легализоваться, получить здесь право политического убежища или же временный вид на жительство.

С самого начала Вашей работы в этом направлении следует указать подчиненным со всей прямотой, что в настоящее время работа по выявлению подступа к нацистским преступникам, внесенным в лист поиска в Нюрнберге, ни в коем случае не означает санкции на привлечение

немцев-эмигрантов с нацистским прошлым в ряды агентуры. Они могут быть использованы лишь в качестве источников информации, которая позволит выйти на тех, кто обязан быть арестован согласно санкции, выданной Международным трибуналом.

Однако не следует исключать возможность получения через эти источники текущей оперативной информации, связанной с теми вопросами, которые могут представлять интерес дли безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

Конкретные вопросы должны решаться с учетом обстановки.

Роберт Макайр».

Пол Роумэн тщательно изучил текст, несколько недоуменно выписал на отдельные листочки бумаги ряд фраз, прочитал их, – в отрыве от всех остальных, – еще раз и отправил в Вашингтон шифротелеграмму следующего содержания:

4

«Государственный департамент,
Роберту Макайру

Строго секретно

1. Следует ли вести работу по изучению немецких эмигрантов с нацистским прошлым в том смысле, не являются ли и они военными преступниками, подлежащими суду?

2. В случае, если выяснится, что тот или иной эмигрант, не внесенный до настоящего времени в список главных преступников, на самом деле им является, укрывшись от возмездия под чужой фамилией, следует ли немедленно ставить об этом в известность Международный трибунал, или же сначала необходимо сообщить вновь открывшиеся обстоятельства Отделу разведки государственного департамента?

3. Как следует понимать фразу: «не следует исключать возможность получения через эти источники оперативной текущей информации»? В Испании вполне легально живут и работают нацисты, стоящие весьма близко к Франко, стоит лишь упомянуть группенфюрера Дегреля, являвшегося во время войны «вождем» валлонского подразделения СС, здесь совершенно свободно вращается «в свете» фюрер Хорватии Анте Павелич; всем известно, что Франко по-прежнему благоволит к князю Багратиони Мухаранскому, утвержденному Гитлером на пост нового «царя великого Грузинского княжества», не говоря уже о целом ряде военных, банкиров и дипломатов третьего рейха, информацию на которых я отправил в телеграммах 2102-45 и 479-46. Понятно, их оперативная информация будет тенденциозной, направленной против тех основополагающих принципов, которые были зафик-

сированы в документах, принятых конференциями в Ялте и Потсдаме.

4. Как следует понимать термин «союзники Соединенных Штатов»? Относятся ли по-прежнему к числу «союзников» Франция и Италия – в свете выступления сэра Уинстона? Можно ли и поныне считать нашими союзниками правительства России, Польши, Югославии и Албании?

Прошу прислать соответствующие разъяснения, которые позволят совершенно определенно и недвусмысленно сориентировать моих сотрудников.

Исполняющий должность резидента Пол Роумэн».

Прочитав телеграмму, Макайр снова вспомнил Пола, его горькую историю, отнесся к его позиции со снисходительным пониманием; в конечном счете жизнь будет неполной, если исключить из нее идеалистов, преданных той идее, которая ярко осветила их жизнь в прошлом; во всяком случае, их информация всегда отличается добросовестностью, а тот перекос в прошлое, который, совершенно очевидно, будет в ней присутствовать, вполне поддается корректировке на основании изучения документов, которые так или иначе стекаются ото всех других служб сюда, в Вашингтон, и расшифровываются в том отделе, который составлен из людей, подобранных ныне со всей тщательностью, – абсолютные единомышленники, качественно новая команда.

Однако, взявшись за ответ Роумэну, он понял, что составить его далеко не просто, ибо вопросы исполняющего должность резидента предполагали полнейшую ясность; Роумэн из тех, кто не удовлетворится зыбкими формулировками; понятно, он предан идеям Рузвельта, но убирать его из Мадрида на основании одного лишь этого факта нецелесообразно потому, что он занимал весьма незначительный пост и был лишен права на самостоятельные решения, а его героическое прошлое было надежной гарантией уважительного к нему отношения со стороны тех, кто так или иначе принимал участие в битве против коричневого чудовища.

Чем дольше Макайр размышлял о создавшейся ситуации, тем сложнее она вырисовывалась; более всего он опасался связей своих сотрудников с людьми прессы; в случае увольнения есть возможность начать скандал, да и не всем в мире журналистов нравился новый курс Трумэна.

Да, конечно, продолжал размышлять Макайр, этот самый Роумэн незначительная фигура в системе департамента, однако в силу своего положения он допущен к материалам совершенно секретного характера, анализируя которые можно составить совершенно явную картину постепенной корректировки внешнеполитического курса правительства. Поэтому, прежде чем отвечать Мадриду, Макайр обратился к своим друзьям с просьбой проверить связи «великолепного парня, весьма содержательного человека, серьезного разведчика, героя борьбы против нацизма» в единственном смысле, – нет ли у него дружества с теми, у кого длинный язык, который, в до-

вершение ко всему, не крепко держится за зубами.

Ответ, который пришел через две недели, насторожил Макайра потому, что из него следовало, что Пол Роумэн не только поддерживал дружеские связи с миром прессы (с братьями Олсопами, Липпманом, Солсбери, Стивенсом, Уитни), не только и поныне дружит с бывшим сотрудником ОСС Грегори Спарком, уволенным из системы в связи с подозрением в левых настроениях, но и действительно был учеником марксистского профессора.

Когда Макайр во время очередного ланча встретился с Даллесом (он специально вступил в клуб братьев для того, чтобы встречи были оправданны и не вызывали вопросов у завистников и открытых противников могущественной семьи) и рассказал ему о случившемся, Аллен ответил не сразу, довольно долго попыхивал своей трубкой, изредка взбрасывал на собеседника цепко изучающий взгляд («будь проклята моя обожаемая профессия, – говаривал он, – и ее закон: «если хочешь верить, никому не верь»), потом, положив трубку на стол, рядом с чашечкой крепко заваренного жасминового чая, сказал:

– Зря паникуете, Боб. Этот Роумэн, сколько я его помню, отменный парень. Попросите-ка его составить справку на всех тех нацистов, которых он вытоптал в Испании. Покажете ее мне, может, что подскажу, все-таки я держу в голове тысячи немецких имен, – а там и решим, как поступать. Ответьте ему, что развернутые рекомендации будут даны после изучения всех, кого он полагает возможным считать источником информации, и тех, общение с которыми может нанести урон, – он тронул себя пальцем в грудь, – престижу этой страны.

...Когда Роумэн прислал такого рода справку, Даллес забрал ее на ночь, сделал фотокопию и запросил – по известным одному ему каналам – генерала Гелена по поводу всех упоминавшихся Роумэном имен, предупредив, что эта работа должна быть проведена в обстановке исключительной секретности и что никто из его, Гелена, американских контактов об этом не должен знать – ни при каких обстоятельствах.

В ответе, который подготовил Гелен, были даны установочные данные на семнадцать человек, упоминавшихся Роумэном; в числе прочего сообщалось, что «доктор Брунн» на самом деле является работником разведки Шелленберга, известным под фамилией «Бользен», однако есть все основания предполагать, что это псевдоним; настоящее имя Бользена-Брунна выясняется.

Даллес поблагодарил Гелена, попросил его составить еще более расширенную справку на заинтересовавших его доктора Золлера, Кемпа и Брунна-Бользена, встретился с Макайром, порекомендовал ему, как лучше составить ответ Роумэну, и перевел разговор на последние фильмы, пришедшие в Штаты из Франции:

– Там грядет что-то качественно новое, поверьте моему чутью. Окажется ли Голливуд способным сказать свое слово в новой обстановке, вот что меня занимает...

Потом он смешно прокомментировал последний бейсбольный матч между «буйволами» и «техасцами», уверенно назвал будущего

чемпиона, посоветовал Макайру есть по утрам тертую редьку с оливковым маслом, заметив, что это делает печень бастионом здоровья, и, попрощавшись, уехал к себе в Нью-Йорк, условившись о следующей встрече через неделю на премьере «Петрушки» великого Стравинского...

5

«Полу Роумэну,
исполняющему должность резидента в Испании
Строго секретно

Поскольку Ваша телеграмма с просьбой о разъяснении моей депеши 3209-46 предполагает развернутый ответ, просил бы Вас взять в разработку упоминавшихся Вами Зоммера, Кемпа и Брунна. Советовал бы в первую очередь сосредоточить внимание именно на «Брунне-Бользене».

После того как Вы сообщите о том, как прошел контакт с Брунном-Бользеном, мы проанализируем Ваше сообщение и с готовностью выслушаем Ваши предложения на будущее.

Видимо, только такая дружеская работа, которая должна определять отношения между резидентурами и центром, позволит Вам понять то, что пока еще не понято, а нам даст возможность скорректировать наши рекомендации по отношению к специфическим условиям, существующим в Испании.

Макайр».

Такого рода телеграмма, записанная Макайром со слов Даллеса, была построена на том тотальном недоверии, которым обязана следовать новая разведывательная служба страны: Даллес знал, что делал, потому что в свое время обратился к Гелену с личной просьбой — опять-таки минуя все официальные каналы — наладить наблюдение за связями резидентов «рузвельтовской команды»; предложение Макайра начать контакт с Брунном-Бользеном предполагало действие, а ни в чем разведчик так не проявляется, как именно в действии, он весь виден на просвет, словно голенький, бери — не хочу!

Не знал Макайр и того, что Даллес уже договорился с директором ФБР Гувером о начале работы по всем тем резидентам, которые продолжали следовать «старому курсу». Однако он хорошо запомнил замечание Даллеса, *проброшенное* вскользь: «если вдруг Гувер заинтересуется Роумэном, защищайте его корректно, сдержанно, я помогу сделать так, чтобы о вашей позиции узнали в государственном департаменте: там не любят ФБР и ценят тех, кто не боится защищать своих».

...Однако, комбинируя и играя, затевая сложные интриги, подставляя Макайра Гуверу, сталкивая лбами государственный департамент и службы Мюнхена, Даллес не знал, что и Гелен вел свою партию и не собирался «изучать» Кемпа, как и многих других в разных

странах мира, поскольку тот был резидентом «организации» генерала в Испании, пользовался его абсолютным доверием и безграничной поддержкой.

Не знал Даллес и того, что Гелен, ощутив его возможный интерес к Брунну-Бользену, дал Кемпу указание наладить наблюдение за этим человеком, поскольку, как писал он, следует ожидать подход к нему представителей соответствующих служб, а это «даст нам возможность пронаблюдать на деле, как работает американская разведка в третьих странах, а особенно в тех, где живет много изгнанников, не определивших себя в общественной жизни и по сю пору никак не использованных во благо будущего Германии».

Именно это указание Гелена и заставило Кемпа еще более внимательно присмотреться к Брунну-Бользену и обратиться в Мюнхен с просьбой собрать все возможные данные об «объекте», поскольку, писал он, можно предположить совершенно неожиданные повороты дела, если, конечно же, позволить себе роскошь довериться — на этой фазе — чувству, а не объективным данным...

Гелен прочитал сообщение Кемпа, заметил Мерку, что не следует так уж доверяться чувству, но посоветовал не упускать Брунна-Бользена из поля зрения, чем черт не шутит, когда господь спит...

6

«Эдгару Джону Гуверу,
Федеральное бюро расследований

Дорогой Учитель!

Вы даже не представляете, как мне был приятен Ваш звонок!

Должен признаться, что именно у Вас (я всегда помню о счастливых часах, проведенных вместе с Вами в работе против гитлеровских шпионов) я научился доброжелательности, которая отличает Ваше отношение к людям, вне зависимости от того, на какой ступени иерархической лестницы они стоят.

Никогда не забуду, как Вы ворчливо и весьма нелицеприятно отчитывали моего нынешнего босса Нелсона Рокфеллера и в то же время смиренно выслушивали упреки уборщицы, которая гневно бранила Вас за то, что после совещаний в зале остается так много табачного пепла на коврах...

Я взял с Вас пример и весьма жестко отстаиваю свои позиции в кабинете помощника государственного секретаря, но смиренно склоняю голову, когда девушки из машинного бюро бранят меня за то, что «заваливаю» их работой. Ничто не кажется мне столь отвратительным, как бестактность, да еще по отношению к тем, кто не может ответить тебе тем же. Мы порою слишком много говорим о верности идеалам демократии, но ведем себя, подобно римским патрициям, причем без достаточного к тому основания, — ни побед на полях битв нет за нами, ни поверженных в спо-

ре философов, ни покоренных женских сердец.

Теперь по делу. Интересующий вас Пол Роумэн, судя по отзывам людей, хорошо его знающих, является давним работником разведки.

Сейчас он исполняет обязанности резидента в нашем посольстве в Мадриде, причем исполняет их корректно и со знанием дела. Определенная эмоциональная неуравновешенность Роумэна объяснима тем, что ему пришлось побывать в нацистском заключении.

Меня несколько удивила Ваша заинтересованность в этом человеке, так как ФБР зря никем не интересуется.

Я понимаю, что дружба не дает права просить о чем-то таком, что может хоть в малейшей степени нанести ущерб тому делу, которому мы с Вами служим, однако я мог бы помочь в Вашем деле значительно более компетентно, сочти Вы допустимым более точно определить сферу Вашего интереса к Роумэну. Это бы позволило мне еще и еще раз посмотреть его личное дело, а также встретиться с теми коллегами, которые работали с ним бок о бок как в ту пору, когда он состоял в собственно ОСС, так и после того, как в мае сорок пятого был переведен в Отдел государственного департамента.

С самым глубоким уважением Ваш Роберт Макайр».

7

«Роберту Макайру,
исполняющему должность начальника
Отдела разведки государственного
департамента США

Дорогой Боб!

Спасибо за Ваши добрые слова. Только правды ради должен отметить, что не такой уж я смелый, как Вы считаете, ибо я никогда не возражал ни президенту, ни министру юстиции, а — надо бы!

Что касается тех, кто стоит ниже вас, то их во сто крат больше, чем тех, кто стоит над нами, и они-то будут хранить о нас память и передавать ее потомкам. Будет обидно, если последующие поколения станут судить о нас по тем невоспитанным чиновникам, которые, увы, еще встречаются в коридорах власти. Вы правы, высшая суть демократии заключается не в том, как собачатся сенаторы перед микрофонами радиокомпаний, набирая очки к будущим выборам, а в том именно, чтобы ненавязчиво и тактично воспитывать в народе — силою личного примера — уважение к тем, кто правит страной.

Поэтому продолжайте улыбчиво сносить ворчливую брань добрых девочек из машинного бюро, но все-таки не ссорьтесь с Нелсоном Рокфеллером.

Теперь по поводу Пола Роумэна.

У меня, понятно, не может не быть тех профессиональных секретов, которыми я не имею права делиться ни с кем, даже с таким славным человеком, каким считаю Вас. Однако в данном конкретном случае хочу сказать со всей откровенностью, что мне на стол попали документы, которые свидетельствуют об очень доверительной дружбе м-ра Роумэна с некими немецкими эмигрантами Брехтом и Эйслером, которые давно и прочно связали свои жизни с большевизмом.

Поэтому на данном этапе меня интересует лишь одно: ставил ли когда-либо м-р Роумэн в известность свое руководство о его не деловых (оперативных), но дружеских контактах с этими иностранцами?

Если «да», то вопрос будет закрыт, поскольку разведка предполагает «дружбу» с самым жестоким врагом. Если солдат побеждает в открытом бою, то разведчик — в трагически-закрытом, не видном постороннему глазу, а потому особенно неблагодарном.

Если же «нет», то я просил бы Вас с пониманием отнестись к тем шагам, которые мне придется предпринять, потому что, как нам ни дорога судьба каждого американца в отдельности, все-таки судьба народа Соединенных Штатов всем нам значительно дороже.

Думаю, Вы поймете меня правильно, если я попрошу уничтожить это письмо.

Буду рад видеть Вас в конце следующего месяца, когда я кончу ту работу, которой сейчас отдаю все свое время.

Искренне Ваш Гувер».

8

«Джозефу Маккарти,
Сенат Соединенных Штатов Америки,
Коммисия по расследованию
антиамериканской деятельности

Дорогой Джо!

Как я и полагал, интересующий нас м-р Роумэн никогда никого не ставил в известность о своих дружеских отношениях ни с Брехтом, ни с Эйслером.

В связи с тем, что мои ребята наскребли еще кое-какие матириалы на этих живчиков (кстати, они евреи, а не немцы), поскольку у меня подбирается угрожающе-обильное досье на таких коммунистических симпатизантов, как Чарлз Спенсер Чаплин, Пол Робсон, Артур Миллер (это молодой драматург, из породы обличителей, левые млеют от восторга перед его писаниной), а все они так или иначе связаны друг с другом в совершенно оформленное сообщество противников существующего в нашей стране строя, я

принял решение просмотреть все контакты Роумэна, так как Кремль не может не быть заинтересован в той совершенно секретной информации, которой он располагает.

Дело усугубляется тем еще, что м-р Роумэн был в нацистских застенках, поэтому большевики имеют возможность влиять на него, используя его открыто антинацистскую позицию.

Весьма прискорбно для нас и выигрышно для противника то, что м-р Роумэн одинок, у него в настоящее время нет семьи, таким образом он лишен тех «привязок», которые помогают женатому человеку, а тем более отцу семьи весьма тщательно контролировать те решения, которые следует определить как кардинальные.

Государственный департамент предоставил мне дополнительные возможности для оперативной работы; я получил оттуда список родных, знакомых и друзей м-ра Роумэна.

Я бы очень не хотел пугать себя возможностью разветвленного большевистского заговора в нашей стране, но лучше узнать о болезни загодя и применить скальпель, чтобы отчленить заразу.

Просил бы Вас, дорогой Джо, сразу же исключить Роберта Макайра из присланного Вами списка: если мы станем видеть еретиков среди тех, кого полагаем братьями (и справедливо полагаем), выиграют только те, которые мечтают о том, чтобы нашей стране был нанесен ущерб. Я ручаюсь за Макайра. Его доброе — в прошлом — отношение к м-ру Роумэну не должно бросать на него тень.

О ходе моей работы я буду ставить Вас в известность.

Хотел бы надеяться, что это письмо будет уничтожено Вами, поскольку оно носит личный характер и раскрывает то, что не имеет права быть узнанным даже Вашим сотрудникам. Это не Ваша вина, но наша общая беда, ибо были распахнуты для красных двери не только государственных учреждений, но и святые для каждого американца ворота Капитолия.

Сердечно Ваш Гувер».

9

«Эрлу Джекобсу, ИТТ,
Мадрид, Испания

Дорогой Эрл!

Я был тронут тем, как быстро и, самое важное, конфиденциально Вы ответили на мою просьбу.

Прошу Вас иметь в виду, что тот человек, которым мы интересуемся, весьма и весьма компетентен в своей профессии. Следовательно, всякого рода кустарщина в работе с ним чревата неприятностями. Не сочтите за труд проконсульти-

ровать все это дело с моим давним другом Вутвудом и не пугайтесь того, что он живет в Мадриде как корреспондент «Чикаго стар», это прекрасное прикрытие для настоящего патриота, посвятившего себя борьбе против коммунизма.

Просил бы Вас пересылать всю корреспонденцию для меня только через него.

Думаю, нет смысла говорить, как мне дорого Ваше доброе сотрудничество во благо нашего общего дела.

Сердечно Ваш Гувер».

ШТИРЛИЦ (Мадрид, октябрь сорок шестого)

Эрл Джекобс оказался крупным, высоким человеком; стрижен бобриком, сразу видно, американец; глаза очень синие, в опушке длинных черных ресниц (такие бы женщине, подумал Штирлиц); кожа на лице гладкая, лоснящаяся даже, видимо, каждое утро получал массаж после бритья; единственно, что дисгармонировало с той мягкой женственностью, что определяло лицо Джекобса, был нос, истинно боксерский, круто переломанный в переносье и чуть свернутый влево.

— Рад вас видеть, доктор Брунн, — сказал он, легко поднявшись из-за стола. — Кемп прожужжал мне про вас уши. Хотите выпить?

— Нет, спасибо, ваши люди поят меня второй день, хватит.

— Мне приходится пить каждый день и — ничего. Неужели когда-нибудь и я произнесу такую ужасную, истинно возрастную фразу: «я пью второй день, хватит»?! Брр! Страшно подумать! А кофе?

— С удовольствием.

Джекобс отошел к камину, там у него стояла кофемолка и маленькая электроплита с медными *турочками*. Споро и красиво, как-то по-колдовски, он начал делать кофе, объясняя при этом:

— В Анкаре мне подарили рецепт, он сказочен. Вместо сахара — ложка меда, очень жидкого, желательно липового, четверть дольки чеснока, это связывает воедино *смысл* кофе и меда, и, главное, не давать кипеть. Все то, что закипело, лишено смысла. Ведь и люди, перенесшие избыточные перегрузки — физические и моральные, — теряют себя, не находите?

— Дамасскую сталь, наоборот, закаливают температурными перегрузками.

Джекобс обернулся, мгновение рассматривал Штирлица, прищурив свои голубые глаза (у наших северян такие же, подумал Штирлиц, у владимирцев и поморов), потом усмехнулся:

— Я вас возьму на работу, несмотря на то, что вы перенесли температурные перегрузки, судя по всему, немалые. Про дамасскую сталь ввернули весьма кстати. Я страдаю излишней категоричностью, не взыщите. Идите сюда, выпьем здесь, тут уютнее.

Штирлиц неловко поднялся, замер, потому что спину пронзило резкой болью, помассировал поясницу и медленно подошел к низкому столику возле камина, где чудно пахло кофе, совершенно особый запах, действительно, чеснок в турочке — любопытно, если когда-нибудь у меня снова будет свой дом, обязательно попробую.

— Ну, как? — спросил Джекобс. — Вкусно?

— Замечательно, — ответил Штирлиц. — Когда разоритесь, не умрете с голода — есть вторая профессия. А меня возьмете посудомойкой.

— Сговорились. Но пока что я беру вас на должность эксперта. Как понимаете, переводчики мне не нужны, каждый работник фирмы говорит на двух или трех языках, иных не держим...

— Мои будущие функции?

— Странный вопрос. Мало-мальски серьезный европеец начал бы с разговора не о функциях, но с того, сколько ему будут платить.

— Значит, я японец, — усмехнулся Штирлиц. — Да и потом, в моем положении сколько бы мне ни уплатили, я буду благодарен.

— Пятьдесят долларов в неделю? — смешливо спросил Джекобс. — Устроит?

— Спасибо. Устроит.

— Хм... Забавно... Значит, остальное вам будет доплачивать Грегори?

— Кто?

— Я не знаю, каким именем он вам представился... Ну, тот человек, который кормил вас сегодня утром на базаре пульпой и тортильей.

— Он назвал себя Полом.

— Да, он и есть Пол. Странно. Вообще-то он заместитель резидента в Испании, чаще называет себя Грегори.

— Такой высокий, круглоглазый? Ездит на...

Джекобс перебил:

— Да, да, на голубом «форде», это он.

— О доплате он мне не говорил...

— Проказник. Хочет получать все, не вложив ничего. Он будет зарабатывать себе лавры, а платить вам придется мне. Я не согласен.

— Что ж, логично.

— Я тоже хочу получать свои дивиденты с того человека, которому плачу. Это справедливо, согласитесь?

— Согласился.

— О чем он вас просил?

— О сотрудничестве.

— Ну, это понятно, что не о войне. Вы разгромлены, что вам остается делать, как не сотрудничать? При том, что Пол сукин сын, человек он тактичный. Вполне мог заменить слово «сотрудничество» на приказное «служить».

— Я бы отказался.

— Положим.

— Я бы отказался, — повторил Штирлиц.

— Как вы попали в Испанию? — ломая тему разговора, спросил Эрл Джекобс.

— Вас не знакомили с моим досье?

— В общих чертах. Люди разведки всегда недоговаривают. Еще кофе?

— С удовольствием... Я оказался здесь после краха рейха.

Джекобс налил Штирлицу еще одну чашку и лишь после этого

отчеканил, причем лицо его стало другим, собранным, морщинистым, никакой женственности:

— Послушайте, доктор... Вы можете интриговать с коллегами из бывшего ОСС, но у меня вы теперь служите, и всякого рода завуалированные ответы я вправе расценивать как нелояльность по отношению к фирме.

— Я уже служу? — поинтересовался Штирлиц. — Все соответствующим образом оформлено?

Лицо Джекобса вновь изменилось, помягчело, он хлопнул себя по лбу, и это был первый найгранный жест за все время разговора:

— Черт, я виноват, простите! — Джекобс поднялся, отошел к столу, вернулся с листком бумаги, протянул Штирлицу. — Это обязательство, которое дает фирме каждый вновь поступающий.

Штирлиц достал очки (зрение после ранения испортилось, дальнозоркость, две диоптрии), прочитал текст: «Я . . . . . , поступая на работу в фирму ИТТ (Испания), обязуюсь честно, искренне и правдиво выполнять возложенные на меня функции. За всякую нелояльность по отношению к ИТТ (Испания) я готов нести ответственность в тех пределах, которые определяются уставом предприятия и соответствующими статьями трудового и уголовного кодекса страны проживания».

— Это надо подписать? — спросил Штирлиц.

— Неграмотные ставят отпечаток пальца, — ответил Джекобс. — Вы — грамотный? Тогда впишите свою фамилию. Думаю, лучше поставить ту, которая теперь у вас в паспорте.

Штирлиц поставил свою фамилию там, где было многоточие, и расписался.

— Спасибо, — сказал Джекобс, забирая у него листок. — Ну, а сейчас, пожалуйста, расскажите, как вы попали в Рим? Вы ведь попали именно туда после краха рейха?

— В Берлине меня прошил автоматом русский... Это было тридцатого апреля...

— А не первого мая?

— Возможно. Мне-то казалось, что это было тридцатого апреля. Что было дальше, я не знаю, потерял сознание. В Риме мне дали ватиканские бумаги, а потом переправили сюда.

— Кто переправил?

— Я не знаю этих людей. Видимо, СС. Или партия...

— Почему вам была оказана такая честь? В той суматохе, которая тогда царила в Берлине, это выглядит странным.

— Меня спасло то, что я был в форме. Мое звание — штандартенфюрер, это достаточно высокое звание, меня обязаны были спасать, мы, немцы, люди субординации и долга. Это для вас важнее то, сколько золота у человека в банке, нежели, чем на погонах.

— Исправим.

— Попробуйте.

— О чем вас просил Пол?

— О том, чтобы я выполнял все то, что вы мне поручите.

— А еще?

— Его интересовал мистер Кемп.

– Еще?

– Все, пожалуй.

– Ну и прекрасно. Кемп умница, у меня на него большие виды. Если вы выскажете свои соображения, пойдет ему на пользу. Какими вопросами вы занимались в разведке?

– Я выполнял личные поручения Шелленберга.

– Кто это?

– Он был начальником политической службы рейха.

– Убит?

– Нет. Как я слышал, находится у англичан.

– Вы работали в региональном отделе? Чем занимались? Западная Европа, Штаты, Россия? Ближний Восток? Китай?

– Нет, определенного региона у меня не было. Шелленберг использовал мои знания английского и испанского языков, поручал исследование кое-каких материалов по Австралии, Мадриду... Один раз я готовил ему справку на генерала Сомосу, по-моему, накануне встречи с ним нашего нелегала, кажется, в сорок втором году... Речь шла о немецких кофейных плантациях, которые диктатор присвоил себе в декабре сорок первого...

– Встреча Сомосы с вашим человеком имела место?

– Не знаю. Это можно поглядеть в архивах СД, связанных с работой нелегалов на Латинскую Америку. Кодовое обозначение этих архивов, если мне не изменяет память, С-579-А.

– Как?

– С-579-А.

Джекобс сделал маленькую пометку на квадратном листке бумаги, который лежал на журнальном столике; Штирлиц заметил, что стопки такой формы лежали и на его рабочем бюро, и на длинном столе заседаний, и на подоконнике мореного дерева, столь широком, что можно сидеть на нем, наблюдая за жизнью улицы.

– Дальше...

– В Кракове мне приходилось заниматься проблемами, связанными с охраной тайны производства летающих снарядов ФАУ-2. Там я кое-как освоил азы польского языка...

– Знаете людей, работавших вместе с Вернером фон Брауном?

– Нет, не знаю. Мне вменялось в задачу найти ФАУ, который залетел не по адресу во время испытаний. Боялись, что ракета попадет к полякам или русским.

– Нашли?

– Нет.

– И вас не расстреляли? – удивился Джекобс. – Странно. Мне говорили, что Гиммлер расстреливал тех, кто не исполнял его приказы.

– Это он умел, – согласился Штирлиц. – Но ведь в рейхе, как и повсюду, существовала лестница... Шелленберг мог доложить Гиммлеру о моем неуспехе, а мог и не докладывать. Или же возложить вину на других сотрудников, в чем-то ему неугодных...

– Дальше?

– Я назвал наиболее существенные операции... Если хотите, я посижу за столом и попробую написать вам подробный отчет.

– Это будет очень любезно... Теперь вот что... Я просил бы вас с завтрашнего дня разобрать наш архив. А потом вас познакомят с высокоуважаемыми экономистами. Они помогут вам с фактографией... Меня интересует анализ работы немецких фирм – всех без исключения, – которые были завязаны на строительство железных дорог, аэродромов, радиостанций, предприятий химической промышленности, портовых сооружений в Испании, арабском мире и Латинской Америке. Мне нужны имена, история каждого человека – я имею в виду руководителей, естественно; мелюзга меня не занимает; контактные фирмы – в первую очередь латиноамериканские. Когда составите эту справку, мы перейдем к более детальному изучению планов на будущее. Какой срок вам на это потребуется?

– Какой даете? – спросил Штирлиц.

– Хороший вопрос, – кивнул Джекобс. – Я даю три недели. Достаточно?

– Мало, конечно, но что-то попробую сделать.

– Это все. Я удовлетворен встречей. В кассе вам выдадут двести долларов, купите себе пристойный костюм и снимите квартиру.

– Спасибо. Сколько же вы мне все-таки намерены платить?

Джекобс улыбнулся:

– Я боялся, что вы так и не зададите этого вопроса. Тогда мне было бы трудно вам верить, я не умею верить людям, которые работают без денег, за этим сокрыта корысть. Или фанатизм. И то и другое мне отвратительно. Я стану платить вам триста долларов в месяц. Для Америки это очень мало, нищета просто-напросто. Для Испании – соотнося с курсом песо – вполне пристойно. Но это для начала. Если ваша работа будет результативной, я подниму ваш заработок до четырехсот долларов.

– Ясно. Я свободен?

– Да.

– Когда мне надо быть в офисе?

– Завтра суббота... Займитесь устройством своего быта... А в понедельник явитесь к Кемпу. Он будет вашим руководителем. Это не мешает вам обращаться ко мне с теми предложениями, которые того заслуживают. До свиданья.

Штирлиц вышел на улицу, залитую солнцем; утром Пол дал триста долларов, сейчас в хирургически чистой, отделанной кафелем кассе он получил еще двести; с этими деньгами я доберусь до Парижа, подумал он. Это мой шанс, последний, судя по всему. Они расставили капканы так, что потом мне не выбраться. То, что я подписал у Эрла, пустяк по сравнению с тем,что предстоит подписывать на конспиративной квартире этого самого Пола; заместитель резидента, поди ж ты какой уровень. Сейчас я отправлюсь к себе, позвоню от портье в бюро по аренде квартир, запишу адреса и пойду смотреть то, что мне предложат. Бежать надо сегодня, завтра будет поздно. Впрочем, если я вернусь сейчас к себе, вполне вероятно, там меня уже ждут с адресом той квартиры, где надлежит поселиться. Нет, я не должен возвращаться в мою конуру, я сейчас пойду на Сибелес и позвоню с центрального почтамта в

бюро аренды. Я стану звонить так, чтобы люди, которые идут за мной, а они обязательно идут, увидели тот номер, который я стану набирать и слышали то, о чем я буду говорить. Я обзвоню несколько бюро, и у каждого, с кем буду говорить, спрошу о предложениях, потом запишу адрес, попрошу подробно растолковать, как их лучше найти, подъезд и этаж; вопрос об этаже я обязан замотивировать интересом к тому, есть ли в доме лифт, мне тяжело подниматься, это действительно так, здесь знают, что у меня все еще болит левая нога и нет-нет да сводит поясницу так, что я теряю сознание. Я отправлюсь в то бюро, которое расположено на первом этаже, я поеду туда на метро, чтобы люди, которые идут за мной, убедились в том, что я не предпринимаю попыток оторваться от них. Наверняка они пустили за мной испанцев; судя по разговору с Эрлом Джекобсом, мне предстоит работать не с ученым, а с человеком из Пуэрта-дель-Соль; такого рода архивы, о которых он помянул, в этой стране курирует секретная полиция, главный отличительный признак фашистской авторитарности — тотальная закрытость информации. Значит, связи у них отработаны надежно, если они устраивают мне контакты со здешней секретной службой. Что ж, очень хорошо. Пусть они убедятся,что я действительно иду в бюро аренды; первый этаж — мой шанс, испанские дома — особые, они скрытны, в них всегда заключена тайна, существует много дверей, ведущих во двор или на другую улицу. Не тешь себя надеждой заранее, подумал Штирлиц. Вполне вероятно, что дверь во двор забита, они очень похожи на нас, милые моему сердцу испанцы, обожают забивать двери или заставлять их громадными шкафами, а тебе сейчас не под силу передвигать шкафы, как это говорил слуга Николая Ивановича Ванюшина во Владивостоке? Вступит? Точнее не скажешь; когда боль пронзает поясницу, она вступает; попробуй, кстати, переведи это на другой язык.

Он спустился в метро, позвонил из телефона-автомата в несколько бюро аренды, потом подошел к большой карте, на которой были указаны станции, сверился с адресами, записанными на бумажке, и отправился в то бюро, которое размещалось именно на первом этаже.

Он по-прежнему не проверялся, хотя можно было на мгновение задержаться возле стеклянной двери, но если тебя пасут профессионалы, они заметят этот твой мимолетный взгляд, они роботы, для них не существует ничего, кроме того человека, который идет впереди на расстоянии пятидесяти метров, они подобны влюбленным, преследующим прекрасную даму, они видят и замечают все, даже этот мимолетный взгляд в стекле; честный человек никогда не интересуется тем, кто идет за ним следом; ты честный человек, Штирлиц, тебе нечего бояться, ты сотрудник ИТТ, идешь снимать себе квартиру, ничто другое тебя не интересует, пусть роботы будут спокойны.

В бюро аренды квартир сеньора Хосе-Мария Педро Рамона-де-Льоса хорошенькая секретарша в скромном синем костюмчике предложила Штирлицу последние журналы, попросила подождать пять минут, хефе сейчас освободится, будет рад оказать вам посильную помощь, наше бюро самое престижное в Мадриде, хоть и совсем молодое, но зато фламенко, матадоры и футболисты обращают-

ся именно к нам, а ведь это самые уважаемые люди страны, согласитесь.

Штирлиц легко согласился, поинтересовавшись, где можно помыть руки; вошел в туалет, глянул в окошко, что выходило во двор: у ворот стоял некто и читал газету; все ясно, не уйдешь, следят вплотную.

...Хефе, сеньор Хосе Мария, оказался человеком лет тридцати, предложил Штирлицу с десяток квартир на первом этаже («трудно подниматься по лестнице, больные ноги»), особенно расхваливал одну, на Сан-Рафаэле:

– Улица тихая, очень спокойная, транспорта мало, зеленая, прекрасный вид...

– Двор, конечно же, проходной, так что в мое отсутствие в квартиру вполне могут влезть жулики?

– Двор проходной, все верно, но давайте согласимся с тем, что при определенных недостатках, пока еще существующих у нас, скоро и с ними покончим – генералиссимус уже почти положил конец воровству. Я тоже живу на первом этаже, но даже не стал укреплять решетки на окнах, – и никаких проблем, поверьте.

...Квартира действительно была хороша, комнаты светлые, окна большие; Штирлицу пришлось сделать вид, что он внимательно разглядывает рамы, только таким образом и смог увидеть, где остановилась машина, которая шла за ними, не отставая у светофоров; шофер – высокий профессионал, ничего не скажешь. В машине трое, значит никто не вышел; действительно, время послеобеденной сиесты, устали, бедняги. Вряд ли за мной пустили вторую машину, все-таки с бензином у них туговато, хоть с арабами теперь подружились...

– Ну что ж, – сказал Штирлиц, – я подпишу контракт на эту квартиру... Можете оставить ключ?

– Ключ в вашем распоряжении, сеньор Брунн.

– Телефон, видимо, отключен?

– Конечно. Зачем зря платить деньги...

– Как скоро можно будет им пользоваться?

– Сразу же, как только вы уплатите по счету.

– А если я попрошу вас сделать это за меня? У меня, к сожалению, нет песет, только доллары...

– Это поправимо, я обменяю.

– Пожалуй, я бы внес задаток за квартиру в пятьдесят долларов, а в понедельник, когда откроются банки, я перечислю на ваш счет плату за квартал, договорились?

– Прекрасно.

– Тогда вы оставите один ключ мне, а второй возьмете с собою и привезете сюда телефониста. В случае, если я отойду, все сделаете без меня, хорошо? Вот аванс, шестьдесят долларов.

– Да́куердо[1], – сказал Хосе-Мария, – еду.

Штирлиц снял пиджак, повесил его на спинку кресла и сказал:

– Я провожу вас.

По дороге к двери он успел стянуть галстук и расстегнуть пуговицу на рубашке, человек дома, будет отдыхать, время сиесты, смот-

[1] Да́куердо – договорились *(исп.)*

рите на меня внимательно, профессионалы, видите, как я вы гляжу? Понимаете, что я никуда не собираюсь? Следите за мною внимательно, я провожу Хосе к машине, закрою дверцу его ископаемого «форда», постучу указательным пальцем по часам и скажу, – так, чтобы вы могли это прочесть по моим губам, – что буду его ждать вместе с телефонистом через полчаса. Это не может вас не успокоить. Потом я вернусь в квартиру, не надевая пиджака, выйду во двор, пройду на другую улицу, хорошо, что я попросил Хосе-Марию объехать квартал, я знаю теперь, где стоянка такси, слава богу, что здесь есть стоянка, сяду в машину и скажу шоферу, чтобы он ехал на Хосе Антонио, и тут-то я посмотрю в зеркальце, чтобы убедиться, что вы отдыхаете в своей машине, а если вы все-таки сядете мне на хвост, я выйду на Гран-Виа около универмага, поднимусь в тот отдел, где продают костюмы, куплю себе пиджак, брюки, плащ и берет, переоденусь в кабинке и, думаю, после этого все-таки оторвусь от вас...

Он написал на листочке бумаги записку: «Сеньор де Льоса, я скоро вернусь, напишите, пожалуйста, номер моего телефона, чтобы я мог продиктовать его знакомым. Сердечно Вам благодарен, Максимо Брунн».

После этого, посидев у стола пару минут, чтобы собраться, стать пружиной, сгустком чувствований и устремленности, он поднялся и вышел через черную дверь во двор.

В такси он убедился: хвоста не было.

...Переодевшись в примерочной кабинке универмага, он взял другую машину и сказал шоферу:

– Если это не очень дорого, отвезите меня, пожалуйста, в Кольменар-Вьехо.

– Это дорого, кабальеро, – откликнулся шофер. – Это очень дорого, ведь обратно мне придется ехать пустым...

– Я уплачу доллары...

– И меня посадят за это в подвал Пуэрта-дель-Соль? – спросил шофер, обернувшись. – Откуда я знаю, кто вы такой?

– Хорошо, остановитесь у какого-нибудь банка, я обменяю деньги по курсу.

– Нет уж, – усмехнулся шофер, – давайте лучше я обменяю вам по курсу. Вы ведь иностранец?

– Да.

– Песет у вас нет?

– Увы.

– Кому «увы», а кому к счастью. Хорошо, я возьму у вас доллары, едем.

– Скажите, а я смогу оттуда проехать на Гвадалахару?

– Конечно, подрядите какого-нибудь шофера на Пласа-Майор[1], они там бездельничают, рады работе... Правда, дороги на Гвадалахару ужасные, пыльно...

– Ничего, – ответил Штирлиц, – потерплю.

В Гвадалахару он и не собирался, зачем ему туда? Ему надо успеть в Бургос, туда идут автобусы из Кольменар-Вьехо, хорошо, что ты изучал расписание не только на Андорру, но по всем направле-

[1] Пласа-Майор – главная площадь в каждом испанском городе (*исп.*).

ниям; из Бургоса не так далеко до Сан-Себастьяна, а с моими долларами можно договориться с рыбаками, они возьмут меня на борт, значит, послезавтра я буду во Франции. Я должен быть во Франции, поправил себя Штирлиц; пока я все делаю правильно; я не имею права ехать; очень может быть, что я понапрасну пугаю себя, но лучше подстраховаться, да здравствуют суеверия, они пока еще никому не вредили, хорошее лекарство против самонадеянности.

– И еще, – сказал он шоферу, – давайте-ка заедем в театральный магазин, это здесь рядышком, сверните направо, я обернусь мигом...

Через пять минут он вышел с пакетом, в котором был парик и усы, ничего не попишешь, хоть век маскарадов кончился, но человечество научилось хорошо разбираться в словесных портретах разыскиваемых. Пусть ищут в пограничном Сан-Себастьяне человека с моими приметами; они не станут обращать внимания на седого мужчину с прокуренными усами; хвоста вроде бы нет, а считать и этого шофера агентом здешней охранки – значит, расписаться в том, что я болен манией преследования...

В Бургос он добрался в полночь; город жил шумной, веселой жизнью, на улицах полно народу, открыты кафе и рестораны, Плаза-Майор полна людей, и, как всегда в Испании, ему постоянно слышалась чудесная музыка, знакомая с детства.

Сняв номер в пансионате с громким названием «Эмперадор», он разделся и, повалившись на кровать, сразу же уснул; такое с ним случилось впервые за те долгие месяцы, что он здесь прожил. Во сне он видел деревенское застолье и явственно ощущал вкус квашеной капусты, хрусткой, белой, кочанной, политой темным подсолнечным маслом, только-только надавленным, а потому пахучим и безмерно вкусным. Но пугающим в этом сне было то, что он сидел за столом один, а те, с кем он разговаривал, молчали, словно набрав в рот воды.

ГЕРИНГ (осень сорок пятого)

Первые дни, проведенные в камере, казались Герингу нереальными, придуманными, какой-то дурной сон; стоит только пошевелиться, открыть глаза, сладко потянуться, и все пройдет, и снова за окном будут снежные пики Альп, пение птиц и порывы ветра, приносящие с гор запах разнотравья, самый любимый его, с детства еще, запах.

Ощущение безысходности особенно давило днем, когда американский солдат давал металлическую миску с похлебкой и два куска хлеба; самое унизительное было то, что хлеб резали нарочито грубо, толстыми, крошащимися кусками и клали на стол презрительно и властно, будто кормили наемного рабочего, приглашенного на уборочную страду.

Первое время он тяжко мучился оттого, что лишился кокаина, а он последние годы привык к этому прекрасному, легкому, веселящему наркотику: отторжение всего того, что тяготило, ощущение по-

стоянного праздника, даже аккордеон слышится, прекрасные песни рыбаков Пенемюнде, озорные, с крепкими словечками и при этом мелодичные до того, что один раз услышанная мелодия навсегда остается в памяти.

Геринг вызвал тюремного доктора и сказал, что его давно мучают боли в тех местах, где сидели — со времен еще первой мировой войны — осколки; нельзя ли попросить что-либо обезболивающее, «возможно, вы согласитесь с тем, что мне рекомендовали мои врачи, немного кокаина, это совершенно купирует боль».

Врач провел с ним около трех часов, снова расспрашивал о ранениях, обслушивал, мерил давление, потом перевел разговор на то, как заключенный видит свое будущее, заметил, что Геринг сразу же замкнулся, отдал должное воле нациста, — из его истории болезни, захваченной оперативной группой ОСС, явствовало, что рейхсмаршал был законченным наркоманом; поинтересовался, не хочет ли заключенный пройти курс лечения в психиатрической клинике, поскольку наркомания подпадает под разряд именно психических заболеваний.

Геринг ответил, что он не намерен воспользоваться добрым советом эскулапа, который, как он понимает, позволит ему избежать суда, ведь душевнобольных, насколько ему известно, не привлекают к ответственности, в чем же виноваты несчастные, нет, он совершенно здоров и готов к тому, чтобы принять единоборство с победителями.

— Это прекрасно, что вы готовы к борьбе, — заметил американский врач, — но что касается душевнобольных, то их — по закону, утвержденному, в частности, и вами, — просто-напросто душили в газовых печах, как неполноценных. Следовательно, по тем нормам права, которые вы вместе со своими коллегами, руководившими рейхом, навязали немцам, душевное заболевание никак не освобождает вас от ответственности.

Геринг усмехнулся, наблюдая при этом себя со стороны; важно, чтобы усмешка была пренебрежительной; врач — первая ласточка, он вроде доктора Брандта, который писал фюреру письменные рапорты о том, что он, Геринг, говорил во время болезни, какие лекарства принимал, чем интересовался; и здесь сегодня же все будет доложено начальнику тюрьмы, каждое его, рейхсмаршала, слово будет проанализировано, каждый жест изучен, даже усмешку занесут в картотеку наблюдения; внимание, постоянное внимание.

— Значит, в Нюрнберге меня намерены судить по законам рейха? — спросил он. — Если так — я спокоен, этот суд станет процессом против обвинителей.

...Он отказался от медицинской помощи; когда кокаиновая жажда делалась невозможной, доводящей до исступления, он начинал щипать под одеялом тело, хотя понимал, что доктора, осматривающие его еженедельно, будут задавать вопросы о причинах появления синяков; пусть, только я хозяин самому себе, я позволял себе радость наркотика, я познал блаженство прекрасных видений, я спас себя от ужаса последних месяцев, когда, в отличие от моих товарищей, спал по ночам и сохранял прекрасное настроение, будучи уверенным в чуде и в побе-

де, я сам и поломаю эту привычку. А если не смогу, если силы оставят меня, тогда я отвинчу коронку в коренном зубе (тюремщики никогда не смогут понять, что это тайник для яда) и все кончу здесь же, в камере, до начала процесса. Либо я выйду на процесс как боец, либо я должен уйти сейчас, чтобы остаться в памяти немцев как легенда.

Он смог сломать себя, сел на строжайшую диету, отказавшись от половины пайки хлеба, сильно похудел и начал — постепенно, день за днем — обретать прежнюю форму, не ту, на которую он обрек себя в последние годы, а ту именно, которая отличала его в тридцатых годах: сгусток энергии, сила, напор, воля, одержимость.

Однако возвращение в прежнюю форму, возможность думать аналитически, породило такие тягостные вопросы, что он какое-то время колебался, правильно ли поступил, отказавшись от предложения доктора полечиться.

Почему молчат немцы, в сотый и тысячный раз спрашивал он себя, почему они, приветствовавшие его на всех улицах и дорогах Германии, присылавшие ему ежедневно тысячи писем, в которых выражали свою любовь «национал-социалисту номер два», почему они не организуют штурмовую бригаду, которая нападет на эту тюрьму, охраняемую паршивыми солдатами из Америки, не умеющими воевать, если им не дают по утрам теплого пориджа[1] со сливками и здорового куска бекона, не отобьют его и не уведут в горы, где он провозгласит начало борьбы за освобождение страны от нашествия врага?! Почему такая низость и трусость? Откуда это в великой нации немцев?! Славяне, эти безумные и забитые дети Востока, поднялись на борьбу, когда их положение казалось безвыходным! Паршивые евреи начали восстание в Варшаве, зная, что мы превратим их в пыль. А немцы, его любовь, надежда и гордость, молчат и ждут, как мыши... Неужели он, Геринг, ошибся — тогда еще, в самом начале, — когда поверил Гитлеру и его словам о том, что есть лишь одна нация в мире, которая призвана этим миром управлять, и эта нация — немцы, только немцы, никто, кроме немцев?!

В своих бесконечных умопостроениях, когда голова постепенно очистилась и он обрел былую способность мыслить логически, он поначалу выдвинул спасительное: в трусливой пассивности немцев виновато международное еврейство и большевизм. Но ему пришлось возразить себе: хорошо, а почему русские, попавшие под немецкую оккупацию, не покорились?

Отчего сражались поляки и югославы? Чем руководствовались словаки, поднявшие свой бунт? Они ведь тоже могли смириться со своей судьбой, предать своих лидеров и говорить друг другу, что во всем виноваты немцы, сопротивление бессмысленно, но ведь они-то сопротивлялись!

Нет, сказал себе Геринг, я должен, я обязан, как это ни трудно, закрыть глаза на эту историческую вину немцев. Если я хочу остаться в их памяти, я обязан принять бой во имя их же будущего. В конце концов фюрер и я вывели Германию к вершине ее истории, неужели они и это забудут?! Когда еще немцы добивались такого взлета? Неужели они лишены чувства благодарности?! Не думай об этом, сказал он се-

[1] Порридж — овсяная каша *(англ.)*

бе, ты ни в чем перед ними не виноват. Память о человеке аккумулирует лишь его нация. Забудь о том, что рвет тебе сердце. Думай о вечности, а ее могут тебе дать только они; мистическая тайна общего языка, единая манера мыслить – вот что есть гаранты твоего бессмертия.

Стань легендой, продемонстрируй мужество, прими последний бой, и внуки тех, кто сейчас предает тебя, напишут в твою честь стихи и воздвигнут памятники...

По прошествии четырех недель он потребовал в камеру книги по истории права; работал методически, напористо. Зная, что в глазок за ним постоянно наблюдают стражники, заставил себя постоянно следить за лицом, манерой двигаться по камере; легенда начинается здесь, сейчас; американские ублюдки не могут не поделиться со своими друзьями, родными, знакомыми тем, что они видят каждый день. Нет, не раздавленный и потерявший себя человек сидит в камере, но уверенный в своей исторической правоте борец, спокойно смотрящий в глаза тех, кто присвоил себе право обвинять его, рейхсмаршала «Великой Римской империи германской нации».

Когда американцы вызвали его на допрос и Адриан Фишер сообщил, что он может выбрать себе адвоката, Геринг лишь пожал плечами:

– Вы думаете, что в той атмосфере истерического страха, который царствует в оккупированной Германии, кто-то решится защищать второго человека империи? Зачем делать из процесса фарс? Я полагаю, самым достойным в создавшейся ситуации – отказаться от защитника. Зачем ставить несчастного немца в безвыходное положение? Полагаю, самым достойным с моей стороны будет собственная защита. Полагаю, что лично я, Герман Геринг, в защите не нуждаюсь, речь идет о защите тех принципов, которым я следовал...

То же он заявил и британским военным юристам; присутствовавший на первом допросе чиновник министерства иностранных дел послал в Лондон шифротелеграмму, в которой сообщал, что Геринг «не похож на поверженного врага и полон решимости использовать Нюрнбергский процесс как место, где он сможет пропагандировать нацистские идеи».

И лишь после этих встреч, после того, как врачи и охранники собрали досье на каждый час, не то что день, проведенный Герингом в тюрьме, лишь после того, как это досье было изучено психиатрами, криминалистами, социологами, Уильям Донован, шеф распущенного к этому времени ОСС, новый заместитель главного обвинителя от США, вызвал Геринга на допрос – один на один.

– Меня зовут Уильям Донован, – представился он, – воинское звание генерал, я заместитель главного обвинителя от Соединенных Штатов.

– Да, я знаю об этом.

– Я намерен предложить вам кофе. Вы позволяете себе кофе?

– Да, позволяю.

– Это не реанимирует вашу пагубную страсть к кокаину? Все же кофе – какой-никакой, а наркотик.

– Вы пользуетесь необъективной информацией. Я никогда не употреблял наркотики.

— Это информация, почерпнутая мной из истории болезни, которую вели врачи, прикомандированные к вам и вашей семье. Все они были членами партии и ветеранами СС. Неужели вы не верите членам партии и ветеранам СС?

Геринг улыбнулся:

— Но ведь фюрер поверил мерзавцам из партии и СС, когда те устроили заговор против меня. Он был так доверчив... А вот я не верю тем, кто записывал в мою историю болезни гнусности, чтобы потом давать против меня показания победителям. Форма торга, вполне распространенное явление в мировой истории, лишнее свидетельство человеческого несовершенства, которое может исправить лишь сильное государство, требующее от личности максимального выявления здорового начала, а не низменного...

— Мы придерживаемся на этот счет иной точки зрения.

— История нас рассудит.

— Уже рассудила.

— О, нет! Главный суд истории впереди, поверьте моему слову.

— С вашим участием? — усмехнулся Донован.

— Нет. Мы с вами прекрасно знаем, кого я имею в виду.

— Вот поэтому я и хочу с вами поговорить откровенно.

— Не жду ничего хорошего от откровенного разговора заключенного и обвинителя.

— Не торопитесь быть столь категоричным. Вы же политик. Где ваша выдержка?

— Порою для политика значительно важнее твердость, чем выдержка, как предтеча безвольного компромисса.

— Я должен вас понять так, что вы не заинтересованы в продолжении разговора? Это не допрос, повторяю. Вы вправе отказаться от разговора, я пригласил вас именно для разговора.

— Естественно предположить, что ваши сотрудники фиксируют каждое слово, произнесенное здесь?

— Нет. Я попросил, чтобы наш разговор не записывали.

— Вы обратились с такой просьбой, как заместитель обвинителя или же как начальник американской разведки?

— У вас прекрасная осведомленность, поздравляю. Думаю, это облегчит нашу беседу.

— Хотите внести какие-то предложения?

— Я бы не советовал вам переходить границы, Геринг. Это не в ваших интересах. Вы преподали человечеству целый ряд уроков, в частности, вы довольно тщательно разработали методы закрытых процессов, когда подсудимые лишались права общения с миром, их слова были обращены в пустоту. Я несколько раз смотрел фильм, снятый вашими кинематографистами о процессе над участниками покушения на Гитлера... Мы пытались найти те пленки, в которых несчастные говорили о том, отчего они решились на такой подвиг, но, увы, все было уничтожено вами.

— У вас есть документ с моей подписью, в котором я приказывал изымать какие-то части этого фильма?

— Свидетели покажут. Опять-таки вы научили мир, как надо работать со свидетелями в нужном направлении...

— Вы говорите не как солдат, но как инквизитор.

— А кого вы себе напоминали, когда шантажировали Димитрова и Торглера, зная, кто именно поджег рейхстаг? Солдата? Или Великого инквизитора? Кого вы себе напоминали, когда приказывали сжигать в печах миллионы евреев? Когда благословляли убийство тридцати миллионов славян? Когда приказывали расстреливать наших пленных летчиков?

— Покажите мою подпись под этими приказами, — повторил Геринг, ощущая жжение в груди и тяжелую боль в висках.

— Есть и подписи, есть показания Кейтеля и Розенберга...

— Кейтель — половая тряпка. Он никогда не имел своего мнения, его справедливо называли «лакейтелем». А Розенберг, этот истерик, готов на все, лишь бы выгородить себя, он всегда был мелким честолюбцем, он выпрашивал у Гитлера министерскую должность и плакал, когда Риббентропа сделали ответственным за внешнюю политику, а не его. Хороших же вы нашли свидетелей... Я разобью их в пух и прах.

— Во-первых, — заметил Донован, набычившись, — эти наши свидетели являлись членами вашей партии, во-вторых, именно они стояли на трибунах рядом с вами и фюрером, и, в-третьих, они выполняли ваши приказы, а не вы — их. Послушали б вы, какие показания дает о вас Бальдур фон Ширах, вождь гитлерюгенда, а ведь вы всегда говорили о нем как об искрометном таланте, идейном борце и надежде рейха.

— Так ведь он был гомосексуалистом! Гиммлер, слава богу, не знал об этом, иначе бы красавцу не поздоровилось... Они очень слабы — в моральном плане — эти несчастные, он может сказать все, что угодно...

— Значит, вы возглавляли группу педерастов, лакеев и честолюбивых истериков? Если добавить сюда Гесса, то и безумцев? Кто же правил Германией?

Геринг понял, что Донован послал его в нокдаун; он ничего не мог поделать с лицом — он чувствовал, как к щекам прилила кровь; значит, набухнут жилы у висков, это ужасно выглядит. Геббельс лично цензурировал фильмы, снятые во время выступлений Геринга и вырезал те куски, когда приливала кровь и набухали жилы: неэстетично; ближайший соратник фюрера должен быть красивым, молодым и притягательным для широких масс.

— Что вы от меня хотите?

— Вот этого я и ждал, — усмехнулся Донован. — Я рад, что вы, наконец, задали тот вопрос, ради которого я вас вызвал. Собственно, дело, которое я намерен с вами обсудить, сводится к следующему: либо вы помогаете мне, то есть обвинению Соединенных Штатов, и мы с вами разрабатываем форму совместного сценария Нюрнбергского процесса, либо вы отказываетесь мне помочь, и в таком случае, я начинаю думать о своих последующих шагах...

— Как обвинителя? Или как шефа разведки, который может сообщить прессе о моей внезапной смерти перед началом процесса?

— Ну, зачем же так резко, — ответил Донован. — Это Гиммлер — с вашей санкции — пошел бы на такой шаг. Мне — трудно, я лицо

подотчетное, масса инстанций имеет право вмешаться в мою работу, назначить расследование – в Сенате или Конгрессе, при публике и представителях прессы... Впрочем, ваша идея заслуживает того, чтобы над нею подумать – в плане, конечно же, оценки тех моральных принципов, которыми ваша система руководствовалась в каждодневной жизни... Как же точно писал о ней Карл фон Осецки, не устаю поражаться его дару провидения...

– Кто это?

– Вы действительно не знаете это имя?

– Нет.

– Лауреат Нобелевской премии, он был журналистом, выступал в прессе против вашей доктрины... Его заморозили в концлагере...

– Он заболел в лагере, вы хотите сказать.

– Нет, его намеренно обливали холодной водой, предварительно раздев донага...

– Какое варварство... Никто не гарантирован от проникновения в государственные учреждения садистов...

– Нет, его замораживали вполне нормальные люди. Они выполняли приказ.

– Чей?

– Вышестоящего начальника.

– Вот он и был садистом. Явное отклонение от нормы... Наказание за противоправительственную агитацию – да, это по закону, но мучить людей никому не разрешалось.

– А убивать? Или душить газом?

– Докажите. У вас есть мои подписи?

– Да. У нас есть тексты ваших выступлений по поводу уничтожения евреев.

– Неправда! Я никогда не выступал за их уничтожение. Я настаивал на их устранении из общественной жизни, на эмиграции, но не на уничтожении. Я не был согласен с фюрером в этом вопросе.

– Вы выступили против него на партайтаге? На заседании в имперской канцелярии?

– Нет, я говорил об этом с глазу на глаз. Мы жили в авторитарном государстве, я присягнул на верность фюреру, следовательно, я не мог выступать против него, это акт неповиновения, а закон карает неповиновение верховному главнокомандующему.

– Он стал верховным главнокомандующим во время войны. Ночь «хрустальных ножей» вы провели до войны.

Геринг почувствовал себя маленьким, словно бы вжатым в металлический стул, укрепленный посреди комнаты; сказал устало:

– Излагайте ваше предложение, генерал.

– Я уже изложил его. Вы готовы сесть вместе со мной за сценарий процесса?

– В котором я помогу вам обвинить самого себя?

– Нет. Тех, кто будет сидеть рядом с вами на скамье подсудимых. Я готов оставить за вами роль идейного вождя, человека, доверившего текущие дела штабу – Кейтелю, Заукелю, Кальтенбруннеру, Розенбергу, Франку, Штрайхеру... Они обманули ваше доверие, злоупотребили властью, преступили черту закона – даже вашего, на-

цистского. А когда вы дадите показания против этих садистов – думаю, вы не станете спорить с тем, что Кальтенбруннер, Заукель и Штрайхер – типичные садисты, когда придет время для защитительных речей, я обещаю вам карт бланш... Можете выступать с программным заявлением, отделяйте злаки от плевел, проводите грань между идеей и ее воплощением в жизнь...

– Но ведь я могу заболеть чумой или хроническим нефритом в тот день, когда мне предоставят микрофон для защитительной речи, генерал.

– Я готов дать вам слово солдата, что вы выступите со своей речью, и вас не будут ограничивать во времени, и позволят вызвать в заседание всех ваших свидетелей, всех без исключения...

Геринг долго молчал, потом улыбнулся:

– Даже Бормана?

Донован ответил ему такой же улыбкой:

– Мы прилагаем все силы, чтобы найти его.

– Но вы понимаете, что я не умею быть доносчиком? Вы отдаете себе отчет в том, что я не вправе терять лицо?

– Вас никто не понуждает быть доносчиком. Если я покажу вам документы, подобранные обвинением против Франка, Штрайхера, Розенберга, Кальтенбруннера, Кейтеля, вы содрогнетесь... Вы же не знали всех подробностей, не так ли?

– Конечно, я не мог знать подробностей, – ответил Геринг, чувствуя, что он готов потянуться к Доновану, принять его, поверить ему до конца. – Погодите, – он заставил себя откинуться на спинку стула, – но ведь мои показания против тех, кто запятнал себя преступлениями, вызовут их встречные ходы. Они начнут лить на меня ушаты грязи...

– «Грязь» надо собрать в архивах. Они лишены такой возможности в камерах. Они будут говорить по памяти, апеллировать к чувству, а это гибельно на суде. Вес имеет только документ, подпись, свидетельство бесстрастного очевидца.

– Я должен подумать, – сказал Геринг. – Я обдумаю ваше предложение.

В тот же день Донован встретился с главным обвинителем США Джексоном:

– Все-таки я глубоко верю в то, что если единственный оставшийся в живых главарь банды признается в преступлениях, творимых остальными гангстерами, это откроет глаза немцам. Больше всего я боюсь всеобщей и тихой покорности нации...

– Думаете, он так просто признает себя виновным?

– Нет, «так просто» он не признается в своей вине, отнюдь... Но если мы добьемся того, что он ощутит себя фюрером хотя бы на скамье подсудимых, если он, наконец, получит то, о чем мечтал, оставаясь наци номер два, если мы именно так проведем его первый допрос в суде, тогда с ним можно договориться о линии поведения по отношению к другим обвиняемым. Он поможет нам доказать вину Розенберга, Штрайхера, Кальтенбруннера.

Джексон медленно поднял глаза на Донована, осмотрел его с изумлением, потом спросил:

– Вы что же, предлагаете заключить сделку с Герингом?

– Я бы не называл таким словом это предложение. Мы получаем возможность для широкого маневра, а нам придется маневрировать, незачем закрывать на это глаза. Это будет серьезное дело, если он пойдет на такого рода договоренность.

– Он – может быть. Но я не пойду, Билл. А если пойдете вы, то я сделаю все, чтобы такого рода сделку нарушить.

– Это недальновидно.

– По крайней мере, это честно. Здесь не спектакль, Билл, а трибунал, которого ждет человечество. Игра невозможна, сделка – чудовищна по отношению к памяти тех, кого погубил этот жирный мерзавец.

Донован пожал плечами:

– Он похудел...

– Погодите, вы что, уже вели с ним такого рода разговор?

– Я допрашивал его. Очередной допрос. И обсудил возможность общей линии...

– Вы что, с ума сошли?! Общей линии?! С кем?! Билл, я запрещаю вам впредь общаться с этим чудовищем!

– Вы не имеете права запрещать мне что-либо, – ответил Донован. – Я не ребенок, а вы не бабушка. У меня есть свой взгляд на вещи, у вас – свой. Давайте посмотрим, чей взгляд победит.

...Победил, однако, Джексон. Гневу его не было предела; он намекнул, что обратится к прессе, будет скандал; Донована отозвали в Америку; перед отъездом он тем не менее встретился с Герингом еще раз.

Да, думал Геринг в короткие минуты перед сном, не занятые работой над документами, единственно правильная линия моей защиты – это защита чистой идеи и обвинение тех, кто отклонялся от нее. Да, конечно, Донован прав: Ганс Франк и Эрнст Кальтенбруннер больные люди, психика их разболтана, они жили грезами, они были до такой степени наивны, что даже не позволяли себе думать о возможной катастрофе, совершенно лишены охранительного инстинкта, никак не думали о будущем, когда придется отвечать за каждый документ, вышедший из твоей канцелярии. Я был ближе к фюреру, я никогда не забуду, как он, на третий день после прихода в имперскую канцелярию, с удивлением посмотрел на толстенные папки, которые ему принесли чиновники – для прочтения и подписи. Я помню, как он сказал: «Если я буду читать и подписывать ваши бумаги, я не смогу думать и выступать перед нацией. Я назначил министров, с ними и решайте все текущие дела, я не подпишу ни одного документа, кроме поздравительных или соболезнующих телеграмм лидерам моего уровня». И уехал ужинать в свой любимый мюнхенский ресторан, пригласив, как всегда, Шпеера и двух ветеранов, работавших в Гей-

дельбергском университете. А несчастный Штрайхер каждый день писал по статье в свою газету с требованием покончить с евреями! Наивный идеалист, он подписывал каждую свою строку, ему и в голову не приходило, что все же фюрер представлял трагический исход всего нашего предприятия, поэтому придумал себе защиту заранее, в далеком тридцать третьем... Что ж, ему, Герингу, придется защищаться таким же образом здесь, в Нюрнберге, спустя двенадцать лет после тех событий, боже мой, всего двенадцать лет, а ведь кажется — жизнь прошла, долгая, счастливая и прекрасная жизнь...

Да, думал он, я признáю свое лидерство, я настаивал на целесообразности наших постулатов, да, мы хотели спасти Европу от марксизма, сделать это могла лишь сильная Германия, а не Веймарская республика, да, были издержки, да, я клеймю позором ненужные жестокости, о которых я ничего не знал, но все, что я делал, было подчинено лишь одному — спасению немецкого народа, европейской культуры и противоборству с большевизмом.

ШТИРЛИЦ (Бургос, октябрь сорок шестого)

Он не знал, сколько времени продолжалось расслабленное забытье, в которое он провалился, едва только голова прикоснулась к подушке.

Он проснулся, потому что ему показалось, будто кто-то тронул его за плечо. В номере, однако, никого не было: тишина, привычное одиночество; только здесь просторно, не как в мадридском пансионате; два окна, альков, большая ванна; человек быстрее привыкает к маленьким пространствам; здесь, в огромном номере, Штирлиц чувствовал себя неуверенно.

Спи, сказал он себе. Ты вырвался. Завтра ты будешь на границе, поэтому надо как следует отдохнуть; все позади, ты вернешься на Родину, только наберись сейчас сил, нужно быть собранным и крепким, завтра будет трудный день, но ты сделаешь все, что задумал, только уверенное желание приносит победу, ты победишь. Повернись на правый бок, как учил папа, начни считать до ста и сразу уснешь. Нет, возразил он себе, я не усну, и это очень плохо, действительно плохо, потому что буду совершенно разбитым, а когда задумано главное дело, нужно ощущать свое тело собранным, а мозг отдохнувшим, готовым на стремительные, но выверенные решения.

Он посмотрел на часы — половина третьего; а я хотел встать в семь, не получилось. А может, высплюсь в автобусе? Нет, в автобусе не поспишь, нигде нет таких шумных и веселых людей, как в Испании, да и ехать предстоит через те места, где я был девять лет назад; возвращение в молодость — если тридцать семь лет допустимо считать молодостью, — бьет по нервам, я не смогу не думать о Яне Пальма, о Васеньке, который был Базилем; о прекрасной Клаудии, я не смогу не вспоминать, как мне устроили переход за линию фронта к нашим, к Владимиру Антонову-Овсеенко и Михаилу Кольцову.

Штирлиц поднялся с кровати, света включать не стал, поймав себя на мысли, что по-прежнему боялся слежки, хотя полагал, что наблюдения сейчас не должно быть, найти его практически невозможно, тем более субботний день, в полиции ведь тоже работают

люди, имеют же они право на отдых; пожалуйста, отдыхайте как следует, милые жандармы, пейте, гуляйте с подругами; спите, только не сидите в своих кабинетах на Пуэрта-дель-Соль возле телефонных аппаратов, не надо, сядете послезавтра, когда меня не будет уже в вашей стране...

Он подошел к столу, на котором высился большой приемник; Штирлиц не слышал иностранного радио с тех пор, как оказался в Испании, потому что в его пансионате старик портье держал репродуктор, который передавал сообщения одной лишь мадридской станции, а знакомых у него не было — он не имел права их заводить без санкции связника из ОДЕССы, иначе лишат дотации, на что тогда жить, — так что информацией, кроме той, которую организовывали франкисты, он не располагал, о реальном положении в мире скорее догадывался, чем знал, а он относился к числу таких людей, которые верили только факту, а никак не домыслу, какой в нем прок, расслабляющая мозг маниловщина, безысходность...

Наверное, не работает эта древняя бандура, подумал Штирлиц, включая приемник; он, однако, ошибся, бандура работала, причем отменно. Он долго пытался поймать Москву; безрезультатно. Германия — как восточная зона, так и западная — передавала фокстроты; Париж вальсировал; повезло с Англией — он нашел станцию, которая транслировала передачу из Нюрнберга; обозреватель комментировал речи правозаступников; более подробно остановился на выступлении адвоката, защищавшего Альфреда Розенберга, цитировал отрывки из речи:

— «В июле 1942 года Борман писал Розенбергу. Смысл письма Бормана, которое в оригинале не существует, сводился к следующему: славяне должны на нас работать, а те, кого мы не можем использовать, пусть умирают. Заботиться о состоянии их здоровья излишне. Плодовитость славян нежелательна. Образование опасно. Достаточно будет, если они смогут считать до ста. Каждый образованный русский — наш враг в будущем. Религию мы оставим им как средство отвлечься. Что касается их снабжения, то обеспечить надо только самым необходимым. Мы — господа и должны получать все в первую очередь.

На это письмо ближайшего сотрудника Гитлера Розенберг мог дать только один ответ: выразить внешнее согласие и сделать кажущуюся уступку. Такая удивительная внешняя перемена в установках начальника вызвала озабоченность в восточном министерстве.

Розенберг, давая показания, сказал, что он согласился с этим только для того, чтобы успокоить Бормана и Гитлера...

Двенадцатого октября сорок четвертого года Розенберг через Ламмерса передал фюреру прошение об отставке...

Не получив ответа на свое прошение об отставке, Розенберг неоднократно пытался поговорить лично с Гитлером, но безуспешно».

Господи, как коротка людская память, подумал Штирлиц. Розенберг, видите ли, подал прошение об отставке! Но ведь в октябре сорок четвертого наши войска стояли под Варшавой; вся Родина была освобождена от немцев еще в августе, что ж было делать министру «восточных территорий»?! Без министерства и без территорий?!

На что надеется адвокат, говоря об «отставке» в том зале, где сидят представители победивших армий?! Если побежденные норовят забыть все, что только можно забыть, то ведь помнят победители! Они просто не вправе забывать, это страшно, когда люди забывают историю! В этом сокрыта какая-то устрашающая неблагодарность, а ничто не карается так жестоко, как неблагодарность, — не только в человеческом, но и в государственном смысле! Сколько примеров сохранила история, когда державы, предавшие основополагающую идею, — как это было, например, с республиканским Римом, — оказывались погребенными под обломками того и з н а ч а л и я, на котором и состоялось их величие...

Адвокат продолжал:

— ...В качестве примера особой жестокости подсудимого обвинение неоднократно указывало на так называемую акцию «Сено». Здесь речь идет о плане командования центрального фронта эвакуировать из зоны операций пятьдесят тысяч детей, поскольку они являлись большим бременем в зоне операций, причем большинство из них не имело родительского ухода... Розенберг как имперский министр по делам восточных оккупированных областей был вначале против этого, так как, с одной стороны, он боялся, что указанное мероприятие может быть рассмотрено как угон детей, и, с другой стороны, потому, что эти дети не могут представлять собой значительного укрепления военной силы. Начальник оперативно-политического штаба связался с Розенбергом и изложил ему, что центральный фронт придает решающее значение тому, чтобы дети попали в империю не через генерального уполномоченного имперского министра по вопросам оккупированных восточных областей... В обоснование своего ходатайства перед министром было также добавлено, что подростки не представляют собой существенного укрепления военной силы, но что важным является уменьшение биологической силы славянства на длительное время; такого мнения придерживается не только рейхсфюрер СС, но даже и сам фюрер. В конце концов Розенберг дал согласие на проведение данного мероприятия. В этой связи следует сказать: здесь речь шла о таком круге вопросов, который по административной линии не входил в подчинение Розенбергу. Он не хотел уничтожить чужой народ, даже несмотря на то, что в качестве обоснования была приведена необходимость биологического ослабления русских.

Ах, какой же мерзавец этот адвокат, подумал Штирлиц. Как только люди в зале суда терпят его слова?! Как судьи позволяют произносить то кощунственное, что он облекает в форму юридического доказательства?! Погоди, возразил он себе, так ты скатишься черт знает куда. Нельзя добиться добра жестокостью. Мы не вправе повторять гитлеровцев, которые не позволяли своим противникам говорить то, что те думали. Демократия предполагает право на высказывание. Даже если это фашизм? — спросил себя Штирлиц. Тогда это не демократия, если она позволяет свободно проповедовать идею Гитлера. Тогда это пародия на демократию. Или же предательство демократии. Как можно защищать изувера, выдвигая довод о том, что «необходимость биологического ослабления противника» не предполагала «уничтожение русского народа». А что же тогда она предполагала?! Усиление его, что ли?!

— ...В противовес утверждению обвинения, — монотонно продолжал защитник, — Розенберг ни в коем случае не был вдохновителем преследований евреев, как и вообще не был руководителем и создателем политики, проводимой партией и Германской империей.

Розенберг был, конечно, убежденным антисемитом, который отразил свои убеждения и принципы в сочинениях и речах. Но антисемитизм не находится на переднем плане его деятельности... Обвинение цитировало следующее высказывание Розенберга как программное: «Еврейский вопрос после устранения евреев со всех общественных постов найдет свое окончательное разрешение в создании гетто...» Но Розенберг не участвовал в бойкоте евреев в 1933 году, не был привлечен к разработке антиеврейских законов: лишение гражданства, запрещение вступать в брак, лишение избирательных прав, удаление со всех значительных постов и из учреждений. Он также не участвовал в мероприятиях против евреев в тридцать восьмом году, в разрушении синагог и в антисемитских демонстрациях. Он не был закулисным руководителем, который подстрекал людей на такие действия или приказывал им совершить их...

Ну, да, конечно, бедный рейхсминистр не знал, что все евреи были выселены из городов, согнаны в гетто и оттуда начали свой исход в печи Освенцима, подумал Штирлиц. Он требовал их уничтожения, как идейной «силы», но он не хотел их сжигать, «добрый доктор» Розенберг. Да, конечно, он был убежденным антисемитом, но это ж позиция, каждый человек имеет право на позицию, иначе это нарушение права человека на свободу изъявления собственного «я», не надо смешивать идею антисемитизма с практикой геноцида, которую «тайком» от него проводил Гитлер и Гейдрих, такие безобразники, обманывали своих ближайших товарищей по партии.

— ...Я перехожу к оперативному штабу Розенберга. Не менее трех обвинителей выступали на данном процессе с обвинением Розенберга в систематическом разграблении предметов искусства и науки на Западе и Востоке. Сначала я должен рассмотреть явно преувеличенные и несправедливые обвинения в том, что деятельность особого штаба на Западе распространялась без какого-либо различия на общественную и частную собственность, что Германия присвоила себе предметы искусства, которые превышают по ценности сокровища музея Метрополитен в Нью-Йорке, Британского музея в Лондоне, Парижского Лувра, Третьяковской галереи, вместе взятых. Я должен также признать неправильным утверждение о том, что «программа разграбления» Розенберга имела целью лишение оккупированных областей всех сокровищ искусства и науки, накопленных в течение столетий... Он действовал не по своей инициативе, а в порядке проведения в жизнь государственного приказа...

Геринг поддерживал работу оперативного штаба и, как он показывает, «отделил» кое-что с согласия фюрера для своих собственных целей... Розенберг ничего не мог предпринять против Геринга, но он поручил своему уполномоченному Роберту Шольцу, по меньшей мере, точно регистрировать все, что переходит к Герингу...

Ишь, подумал Штирлиц, он поручал «регистрировать»! Конечно, русские недочеловеки не умели создавать музеи, да и вообще,

чем им гордиться?! Все эти Толстые, Пушкины, Глинки, Достоевские, Чайковские... Их усадьбы были вполне хороши для казарм, стены толстые, печи теплые, а Петродворец вообще построен Растрелли, какой он русский, наверняка немец, русские не умеют быть зодчими, гунны!.. Боже ты мой, двадцатый век, все это происходило в двадцатом веке, когда люди поднялись в небо, опустились под воду и расщепили атом... Откуда такой вандализм в стране, которая дала миру поразительных мыслителей, поэтов и музыкантов?! Почему маньяк Розенберг оказался сильнее Гегеля и Баха?! Защита национал-социализма – это программа для будущих нацистов. Этот адвокат дает им советы, как избежать «досадных частностей», как править в соответствии с нормами международного права, как подстраховать бесчинство параграфом конвенции... А вот скажи самому себе, спросил себя Штирлиц, ты бы смог набросить на шею Розенберга петлю, посмотреть ему в глаза, а потом ударить ногой по табуретке, зная, что в тот же миг его тело начнет извиваться и беспомощно дергаться? Да, ответил он себе сразу же, я бы сделал это. Я бы сделал это с чистой совестью, потому что не считаю Розенберга человеком. Он гадина. Самая настоящая гадина, существование которой опасно для жизни на земле. Я бы так же спокойно повесил насильника, который надругался над беззащитной девушкой, вандала, задушившего младенца, животное, которое замучило старика. Это совершенно созвучно той морали, которой следуют миллионы на земле. Кто-то должен принять на себя ужасное бремя кровавого мщения – иначе мир погибнет и начнется царство ужаса и тьмы.

...Передача из Лондона закончилась; начали гнать музыку; Штирлиц поискал по шкале приемника другие страны, но – тщетно, мир устал, глубокая ночь, канун рассвета.

Ложись спать, сказал он себе. Ты хорошо зарядился, послушав речь этого сукиного сына в Нюрнберге. Он зарядил тебя ненавистью. Это неплохой заряд, особенно когда тебе предстоит рвануть через границу, которую охраняют здешние фашисты. Ты должен быть солдатом, который прилежен науке ненависти. Иначе не будет победы.

Штирлиц лег на кровать, повернулся на правый бок, как его приучил отец, и начал считать до ста, но сон не шел. Тогда он заставил себя услышать голос папы, когда тот пел ему нежную колыбельную: «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, мышка за печкою спит»... Он улыбнулся, подумав, что только в устах мамы или отца мерзкая мышь может превратиться в доброго и веселого Микки-Мауса. А подумав так, он вспомнил лицо отца, его седую шевелюру, выпуклый лоб, крючковатый, как у светлейшего князя Меншикова, нос и закрыл глаза, чтобы подольше удержать в себе это видение, которое все реже и реже посещало его, и ощутил блаженное расслабление, ибо человек, у которого жив отец или мама, – особый человек, он силен, как никто, и счастлив, потому что в любую минуту может припасть к старческой руке, и ощутить такое спокойствие и уверенность в себе, какая неведома никому другому...

С этим он и уснул...

ГАРАНТИРОВАННАЯ ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ

«Дорогой Пол!

Прости, что долго не отвечал тебе, очень уж завертелся на новом месте. Поначалу надо было разобраться, что к чему, спасибо «Дикому Биллу» за его мудрые уроки: «Прежде пойми, кто храпит в соседнем доме, а уж потом думай, стоит ли бить стекла в его спальне».

Ну и страна, этот Голливуд, доложу я тебе! О том, что здесь происходит, еще напишут книги и снимут поразительные фильмы, уверяю тебя.

Итак, по порядку: сначала я должен был познакомиться со всеми теми, кого мне надо будет консультировать, а для этого прочитать, по крайней мере, сорок сценариев о войне, разведке, любви, дипломатии, аферах, подвигах и предательствах. Или я ничего не понимаю, или все, что я прочитал – абсолютная мура. Сюжеты поверхностны, сработаны по тем рецептам, которые были изобретены еще в тридцатых годах, характеры штампованы, как часы, которые выпускают для детей, – ни одного камня, сплошной цилиндр, работают три месяца, потом можно выбрасывать на помойку, ремонту не поддаются.

Я сказал об этом директору сценарной студии Сленсеру; он внимательно меня выслушал и ответил: «Спарк, я вас понимаю, но поймите и вы нас. Мы работаем на аудиторию, которая исчисляется десятками миллионов. Люди смотрят кино после работы. Они устали. Они намахались руками у своих станков и стоек баров, они набегались по канцеляриям и перенервничали, ожидая вечерних выпусков газет, не зная, что стало с их долларом, летит он вниз или ползет вверх. Поэтому в кино они приходят не думать о новом, а успокоенно раствориться в привычном. Мы потеряем аудиторию, если покажем ей свое интеллектуальное превосходство. Как известно, никто не любит тех, кто умнее тебя, самостоятельнее в мышлении, а потому – талантливее. В кино хотят видеть таких людей, каким может стать каждый зритель. Ясно? Вы – честный и храбрый человек, но не стремитесь ломать себе голову раньше времени. Это вам не ОСС, в мире кино перекусывают вены зубами, если только чувствуют в человеке неприятеля».

Как ты понимаешь, вены мне дороги, я боюсь, когда их перекусывают, поэтому я затаился и начал оглядываться, прислушиваясь к тому, что говорят те, кто меня окружает.

И вот тогда-то у меня начали вставать волосы дыбом. Я никогда не думал, что в нашей Америке, да не где-нибудь, а в столице Талантов, ворочается и набирает силу такое черное и дремучее сообщество мракобесов.

Да здравствуют заветы Даллеса: «Растворяйтесь, подыгрывайте, слушайте, говорите, многозначительно улыбайтесь, запоминайте не только слова, но и паузы, не только

реплики, но и реакцию на них, сталкивайте разные мнения, провоцируйте спор — только это даст вам возможность составить картину происходящего, приближенную к истине».

Я начал растворяться и провоцировать споры. Лучше бы я этого не делал, честное слово!

Выяснилось, что здесь, как, увы, и везде, происходит одно и то же, типическое: талантливый человек сидит в своем доме и пишет честный сценарий, который покупают, но не ставят; талантливый режиссер снимает фильм, но ему не делают нужного проката, зато бездарные горлохваты, пользуясь общественной пассивностью талантливых, лезут по административной лестнице вверх. Ведь не Чаплин, не Богарт, не Треси, не Трэйси стали президентом актерской Гильдии, а никому не известный Рейган, который хорошо прыгает в седло и умеет плакать скупой слезой настоящего американца над телом друга, убитого в перестрелке с индейцами. Не Хемингуэй, Синклер, Брехт или Ремарк определяют лицо драматургии, а легион бездарей, которые лепят сценарии, как пиццу. Брехту и Ремарку вообще здесь тяжко: в актерской Гильдии здесь прямо говорят, что эти чужие не имеют права писать для американского зрителя, они не понимают нашего характера, пусть сочиняют для еврейских театров или, на худой конец, для немцев; американцы имеют свои традиции, в которые нельзя пускать иностранцев, это разъедает национальную культуру, как ржавчина.

Я не сдержался, возразил: «Сервантес, Гете и Данте не работали в Голливуде! Толстой и Достоевский с Чеховым родились не в штате Огайо! Золя, Мопассан и Франс не торговали соками в Бронксе!» Мне ответили, что я передергиваю факты. Речь не идет о классике, спасибо ей, мы на ней учимся, но сейчас настала пора возрождать наши традиции, а это могут сделать американцы, только американцы и никто, кроме американцев. Я тогда спросил, кого надо считать истинным «американцем»? Можно ли причислить к американцам Армстронга, Фицджеральд или Робсона? Мне ответили, что я жульничаю, потому что разговор идет не о джазе, но о кино и литературе. Тогда я спросил, как быть с Ренуаром и Эйзенштейном, Станиславским и Рейнгардтом? Спор прекратился, я торжествовал победу, все-таки темную некомпетентность можно давить знанием, еще не все потеряно. А через два дня я узнал, что те, с кем я спорил, начали наводить справки, русский ли я, еврей или пуэрториканец, не было ли в моих генеалогических таблицах украинской или немецкой крови, и вообще, не являюсь ли я членом коммунистического кружка. Вот так-то. Воистину, если бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Но ведь речь идет не об одном человеке, но об американцах!

Я предложил Коэллу — это восходящая звезда, пришел в кино из журналистики, хотя и не воевал в Европе, но

гитлеризм ненавидит, – сделать ленту о том, как национал-социализм причесал немцев, как он рубанком снял лучший слой, расстреляв и посадив в лагеря самых талантливых, некие дрожжи нации, людей, способных к самостоятельному, оценочному мышлению.

«Кто это будет здесь смотреть? – спросил Коэлл. – Мы исходим из того, что фильм должен понравиться тем, кто кончил семь классов. Значит, надо показывать историю, как простушка, дочь неграмотного сапожника, делается звездой эстрады. Это посмотрят двадцать миллионов, успех и прибыль гарантированы! Или, как нашего парня забрасывают в тыл к наци или к япошкам, а он берет в плен дивизию. При этом он должен притащить в рюкзаке десяток килограммов платины, похищенной им у Евы Браун, после того, как она отдалась ему на альпийской вершине с криком: «Адольф, прости меня, я этого не хотела, он взял меня силой!» Кто будет смотреть фильм о том, как страна проиграла самое себя, отдавшись в руки банде? Тем более нам, американцам, такое не грозит, пока еще, слава богу, каждый американец говорит, что думает». Я хотел было заметить, что и в Германии люди говорили, что хотели, но только шепотом, зато писать и снимать им не разрешали; мысль завоевывает массу сверху, а не наоборот, – в том случае, конечно, если мыслящие одиночки чувствуют ее, то есть массы, настроение.

Я пришел с этой идеей к Брехту; он только пожал плечами: «Знаешь, – сказал он мне, – я научился чувствовать, всю жизнь меня этому учили в Европе, будь проклята эта наука. Так вот я чувствую, что и здесь что-то грядет. Не годы, а месяцы прошли после того, как кончился Гитлер, но послушай, о чем здесь говорят? Посчитай, сколько раз в здешних салонах традиционалистов за один вечер произносят слово «чужой» (об Эйслере, Чаплине и обо мне), то же самое – о талантливейшем Дмитруке, а какой же он чужой. Дед – да, но ведь он сам не знает ни одного слова по-украински, пишет свои вещи на классическом английском... А какую интонацию стали вкладывать в слово «красный»? Уже начинают забывать, что сделали «красные» для победы над Гитлером, забывают, Грегори, не спорь, или делают все, чтобы люди поскорее это забыли. А когда нацию принуждают забыть правду, тогда ее ждут трудные времена, и в первую очередь эти трудности обрушатся на нас, на тех, кто не есть чистый американец. Путь к фашизму – это истеричные разговоры о традициях настоящих арийцев – с этого начался Гитлер».

Сейчас я консультирую (то есть переписываю диалоги и ситуации) картину о наших разведчиках, которых забрасывают на маленький остров возле Окинавы. Я сразу вспомнил алюминиевого дьявола из государственного департамента, ему бы работать на этом фильме, а не мне, он

бы выбросил всю «романтизацию» разведки, он бы объяснил им, как надо снимать правду про войну, куда уж нам с тобой, политикам, сидите и не высовывайтесь!

Одно утешение: мои мальчишки гоняют на океан, пляж неподалеку от дома, совершенно изумительный. И ночи здесь такие прекрасные, Пол, такие удивительные! Мы садимся с Элизабет во дворике того дома, где нам удалось снять три маленькие комнаты (здесь жилье дороже, чем в столице), пьем кофе и слушаем, как над нами летают какие-то странные птицы и перекрикиваются друг с другом, спрятавшись в стрельчатых коронах гигантских пальм, которые — видимо, из-за их роста — кажутся мне такими же надменными, как верблюды.

Да, кстати, приезжал Макайр, нашел меня, притащил виски, фрукты и печенье, просидели полночи за разговорами, он в порядке, работает в государственном департаменте, передавал тебе приветы, хотел написать, написал ли? Он, кстати, спросил, не давал ли тебе Брехт пьесу «Мероприятие» перед тем, как ты полетел в рейх в сорок втором. Я ответил, что не знаю этого. Он дьявольски увлечен драматургией Брехта, я их познакомил, Макайр был в восторге, ты же знаешь, какой он увлекающийся. Правда, раньше он увлекался бейсболом, но, видимо, к старости всех начинает тянуть к вечному, а что есть более вечное под солнцем, чем мысль?!

Я очень много думал над твоим письмом. Я еще не готов к спору. А может, не к спору, а, наоборот, к согласию. Сначала мне показалось, что ты просто-напросто раздражен и в подоплеке этой раздраженности твое горе с Лайзой. Повторяю, забудь о ней. Чем скорее ты это сделаешь, тем будет лучше. Я знаю, что говорю. Но чем больше я вчитывался в твои строки, тем больше понимал, что дело тут не в твоей раздраженности, а в том, что у тебя иной угол видения, ты по-прежнему в деле, в отличие от меня.

Подумай и напиши мне про то, о чем я тебе рассказал. Как бы ты вел себя на моем месте?

Твой Грегори Спарк.

P. S. О твоей просьбе по поводу нацистов. В Лиссабоне самым занятным бесом был некий Гамп из военного атташата, но вроде бы это его псевдоним, настоящая фамилия то ли Веккерс, то ли Виккерс. У него были очень сильные связи с портовиками и владельцами пароходных компаний, ходивших на Латинскую Америку.

Славился он еще и тем, что имел целый штат роскошных девок, которыми снабжал дипломатов. У него были не только европейские женщины, но и прекрасно подготовленные азиатки, в основном японки и таиландки, приехавшие сюда из Парижа после начала войны.

Что с ним случилось потом, я не знаю. Если вспомню еще что – напишу.

Твой Г. С.»

ШТИРЛИЦ (Бургос, октябрь сорок шестого)

Штирлиц открыл глаза, чувствуя себя помолодевшим на десять лет, поднялся с высокой деревянной кровати, страшась ощутить ту боль в пояснице и левой ноге, которая постоянно мучила его все те месяцы, что он пролежал, не в силах двигаться, в Италии, да и здесь она давала себя знать, особенно первое время, когда он заставил себя отказаться от трости, слишком уж заметно, он не любил выделяться из общей массы, привычка – вторая натура, ничего не поделаешь, как-никак с начала двадцатых годов он жил за границей, по чужому паспорту; двадцать четыре года, чуть не половину жизни провел среди чужих, по легенде. Он не очень-то понимал, отчего ему и сейчас, здесь, в Мадриде, по-прежнему надо быть незаметным, таким же, как и все, но он чувствовал, что именно так он должен вести себя, ожидая того момента, когда настанет время шанса, а в том, что это время рано или поздно наступит, он запрещал себе сомневаться.

Штирлиц налил воду в большой эмалированный таз; кувшин был не баскский (у них сумасшедшие цвета, всяк гончарит, как бог на душу положит), скорее, андалусский, бело-голубой, – этот цвет холода необходим тамошней сорокаградусной жаре, есть хоть на чем отдохнуть глазу; вода за ночь нагрелась, хотя с гор тянуло прохладой, как-никак октябрь; он долго умывался, потом сильно растер тело полотенцем и ощутил после этого какую-то особую бодрость, – забыл уж, когда и было такое, наверное, в Швейцарии, после последней встречи с пастором, когда убедился, что работа сделана и у Даллеса ничего не выйдет с Вольфом, наши не позволят, черта с два, мы рукастые...

Он спустился вниз, в маленькое кафе; за столиками ни души, осень; раньше, во время республики, сюда приезжало много туристов, октябрьские корриды самые интересные, парад звезд, а после того, как пришел Франко, ни один иностранец в страну не ездит, какой интерес посещать фашистов, все регламентировано, сплошные запреты; лучшие фламенко ушли в эмиграцию, многие осели в Мексике, на Кубе, в Аргентине и Чили, в музеях пусто, народ неграмотен и полуголоден, не до картин и скульптур, заработать бы на хлеб насущный.

Старуха с черной повязкой на седых волосах, похожая из-за этого на пиратскую мамашу, принесла ему кофе, два хлебца, жаренных в оливковом масле, и мармелад.

– А тортилья? – спросил Штирлиц. – Очень хочется горячей тортильи, я бы хорошо уплатил.

– У нас не готовят тортилью, сеньор.

– Может, есть где поблизости?

– Разве что у дона Педро... Но он открывает свою кафетерию в восемь, а сейчас еще только половина восьмого.

– Какая жалость.

– Если хотите, я приготовлю омлет.

– Омлет? – переспросил Штирлиц. – А картошки у вас нет?

– Есть и картошка, сеньор. Как же ей не быть...

– Так отчего же не залить жареную картошку с луком яйцами? Это же и есть тортилья, сколько я понимаю.

– Вообще-то да, но ведь я сказала, что у нас не готовят тортилью. Это надо уметь. Нельзя, чтобы в каждом доме умели все. Я умею делать хороший омлет, это все знают на улице, им и могу угостить...

– А почему нельзя уметь все в каждом доме? – удивился Штирлиц.

– По-моему, это очень хорошо, если все умеют все.

– Тогда не будет обмена, сеньор. Кончится торговля. Как тогда жить людям? Надо, чтобы каждый на улице умел что-то свое, но пусть зато он делает это так хорошо, как не могут другие. На нашей улице дон Педро делает тортилью, а еще миндаль в соли. Донья Мари-Кармен готовит паэлью с курицей[1]. Дон Карлос славится тем, что делает паэлью с марискос[2]. Я угощаю омлетом, а дон Франсиско известен тем, что варит худиас и тушит потроха, которые ему привозят с Пласа де торос. Если бы каждый мог делать все это в своем доме, снова бы началась война, потому что у посетителей не будет выбора: все всё умеют, неизвестно, куда идти. Лучше уж, чтоб каждый знал свое, маленькое, но делал это так, как никто из соседей.

Штирлиц задумчиво кивнул:

– Разумно. Вы очень разумно все объяснили.

Я всё, всегда и повсюду, где бы ни был, примеряю на Россию, подумал он. Это, наверное, со всеми, кто оторван от родины. Как было бы прекрасно суметь взять в каждой стране то, что разумно, и привить это у себя дома. Ведь деревья прививают, и получаются прекрасные плоды; к старому могучему стволу подсаживают чужую веточку, которая потом становится неделимой частью дерева. Так и с обычаями: стали ведь у нас есть картошку, а сколько против нее бунтовали, как яро поднимался народ против того, чтобы брать в рот земляной грязный орех?! И ботфорт стыдились надеть, и женщину в Ассамблею пускать не хотели, чудо что за народ, эк верен тому, что привычно; воистину «мужик что бык: втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттудова не выбьешь...». Ах, какой поэт был Некрасов, какая махина, он ведь заслуживает того, чтобы ему посвятили романы и пьесы, творец общественного мнения, спаситель бунтарей, барин, игрок, друг жандарма Дубельта и сотоварищ узника Чернышевского, – только в России такое возможно...

– Где у вас телефон? – спросил Штирлиц.

– Ах, сеньор, мы его отключаем на осень и зиму. Гостей нет, зачем платить попусту?

– Так ведь весной придется платить за включение аппарата в сеть...

– Все равно это дешевле. Внук подсчитал, он окончил три класса, очень грамотный, свободно пишет и может читать книги с рисунками.

---

[1] Паэлья – рис, вроде плова *(исп.)*.

[2] Марискос – дары моря *(исп.)*

– Как замечательно, – откликнулся Штирлиц. – А может, вы знаете, когда отходит автобус на Сан-Себастьян или Сантьяго-де-Компостела?

– На Сантьяго автобус не ходит, туда можно добраться с пересадкой, только я не знаю где... Лучше вам пойти на автобусную станцию, сеньор... Там вы все узнаете, да и попутные машины останавливаются, шоферы берут в кузова много людей, надо же подзаработать в выходной день...

– Спасибо, но ведь на автостанцию можно позвонить из автомата, экономия времени... Где здесь поблизости автомат?

– О, я не знаю, сеньор... Где-то на площади, но я туда не хожу вот уже как десять лет, очень болят ноги, хотя нет, девять лет назад, когда сюда приехал наш каудильо, я ходила смотреть его и бросать под его ноги цветы, но меня тогда вел муж, и я не очень-то обращала внимания на телефоны...

– Любите каудильо?

– Так ведь он каудильо... Как можно не любить того, кто тобой правит? Конечно, я его люблю, очень люблю, и вся моя семья его очень любит, а особенно внук, который умеет читать... Только разве вы дозвонитесь в субботний день на автобусную станцию? Люди должны отдыхать в субботу, они сейчас пьют кофе, так что лучше вам пойти на площадь, там все узнаете.

...Через полчаса после того, как Штирлиц ушел, в пансионат заглянул полицейский, отвечавший за рехион[1], он попросил дать ему книгу, куда эстранхерос[2] вписывали свои имена, номера паспортов и объясняли цель приезда; увидав фамилию Брунн, именно ту, которой интересовался Мадрид, – звонили еще ночью, с самой Пуэрта-дель-Соль, во все крупные города звонили, не в один Бургос, – полицейский позволил старухе угостить себя кофе, съел омлет, закурил пуро[3] и спросил:

– Этот иностранец расплатился?

– Да, сеньор, – ответила старуха, – он расплатился.

– Значит, он не вернется.

– Да, сеньор, не вернется.

– О чем он тебя спрашивал?

– Ни о чем плохом не спрашивал. Я сказала ему, что очень люблю нашего дорогого каудильо, и он ушел.

– А про твоего сына, которого мы расстреляли, он не спрашивал?

– Зачем же ему про него спрашивать, сеньор? Раз вы расстреляли Пепе, значит, он был виноват, война, ничего не попишешь... Нет, он не спрашивал о Пепе... Зачем бы ему спрашивать про моего сына?

– Затем, что твой сын был красным, вот зачем. Все эстранхерос ищут по стране красных, чтобы снова устроить гражданскую войну и отдать нас Москве. От мужа давно не было писем?

– Полгода.

---

[1] Рехион – район *(исп.)*.

[2] Эстранхерос – иностранцы *(исп.)*.

[3] Пуро – сигара *(исп.)*

– Скоро получишь. Он еще жив. Работает хорошо, в лагере им довольны... Года через два вернется домой, если только выбросит дурь из своей анархистской башки... Сколько тебе уплатил этот иностранец?

– Как позволено по утвержденной муниципалитетом таксе.

– Ты, ведьма, не лги мне! Дал тебе на чай?

– Нет, сеньор.

– Покажи купюру, которой он расплатился.

– Я уже отдала ее, сеньор. Я ее отдала внуку, чтобы он купил масла у дона Эрнандеса.

– Ну что же, значит, придется посидеть у нас твоему внуку...

Старуха проковыляла к столику, где хранила ключи, достала из ящика три доллара и протянула их полицейскому, тот сунул деньги в карман, пригрозив:

– Еще раз будешь нарушать закон – накажу.

– Впредь я не буду нарушать закон, сеньор. У этого иностранца не было песет, и он положил мне на стол доллары, я в них не очень-то и понимаю...

– В долларах понимают все. Куда он пошел?

– Не знаю, сеньор.

– Он спрашивал тебя о чем-либо?

– Нет.

– Что, все время молчал, ни одного слова не произнес? Глухонемой?

– Нет, сеньор, здоровый... Слова произносил, что было, то было. Он просил меня сделать тортилью, я ответила, что ее готовят у дона Педро, ну, он, наверное, и пошел туда.

– Врешь, карга, – зевнул полицейский, – я уже был у Педро. Куда он едет, не сказал?

– Нет, сеньор, не сказал.

– Мы его поймаем, – сказал полицейский. – И он напишет бумагу. И в ней расскажет все. Понимаешь? И вспомнит каждое слово, которым с тобой обменялся. Тогда я приду сюда и возьму твоего внука, ходер[1]! Запомни это. Поняла, что я сказал?

– Да, сеньор.

– Ну, вспомнила?

– Вроде бы он чего-то говорил про автобус...

– Про какой автобус? Есть рейс на Мадрид, на Памплону, Виго, Сан-Себастьян...

– Нет, сеньор, этого я не помню, он вроде б обмолвился про автобус – и все.

– Когда он ушел?

– Недавно.

– Скажи точно.

– Я ж не понимаю в часах, сеньор... Не сердитесь, я правду говорю... Ну, примерно столько времени, сколько надо вскипятить кастрюлю с водой...

– А когда она вскипит, надо опустить в нее твою задницу... В чем он был одет?

– В курточку.

[1] Ходер – распространенное ругательство *(исп.)*

– Какого цвета?
– Зеленоватую.
– В берете?
– Нет, кепка, я ж говорю, он иностранец...
– Усы на нем были, борода какая?
– Нет, нет, вполне пристойный сеньор, аккуратный, брит.

Полицейский поднялся, устало вздохнул и медленно пошел к выходу. На пороге остановился и, не оборачиваясь, сказал:

– Если он вернется, не вздумай сказать, что я здесь был. И сразу же пошли кого-нибудь в полицию...

Полицейский вернулся в участок, доложил обо всем в городскую службу безопасности; два агента по надзору за иностранцами без труда установили Штирлица на станции, он стоял в очереди за билетом; утренний автобус ушел в шесть часов, надо было ждать вечернего, отправлялся в семь.

Через пять минут Пол Роумэн выехал из Мадрида на гоночном «форде», – взял у помощника военного атташе Вайнберга, его отец воевал вместе с братом Пола в бригаде Линкольна; погибли под Уэской; в Штатах их семьи дружили домами; оба люто ненавидели франкизм, на фронт в Европу ушли вместе добровольно; в апреле сорок пятого их отправили в Мадрид.

Через шесть часов Пол приехал в Бургос. Из черной машина сделалась серо-желтой, такой она была пыльной; около бара «Сеговия» на калье Хенералиссимо – в каждом городе, будь он неладен, этот Франко, понавешал табличек со своим именем – Пол встретился, как и было уговорено, с агентами безопасности; те сидели под зонтиком, на открытой террасе и пили вино; деньгами их тут не балуют, отметил Пол, вино дрянное, стоит копейки, а на миндаль или кукурузные хлопья у здешних пинкертонов денег не было.

– Я от Эронимо, – сказал Пол, – он просил передать, что намерен нанести визит в дни рождества.

Это были слова пароля от полковника Эронимо, из отдела регистрации иностранцев Пуэрта-дель-Соль; ключи к нему Пол подобрал не сразу, постепенно, но подобрал все-таки, теперь работали душа в душу.

– Хотите вина? – спросил один из агентов.

– Нет, спасибо, я не пью вино. Если только холодной минеральной воды.

Агенты переглянулись; ничего, подумал Пол, платите за холодную минеральную воду, она в два раза дороже вашего кислого вина, не надо было предлагать, тоже мне, гранды паскудные.

Один из агентов щелкнул пальцами так громко, словно он работал не в тайной полиции, а на сцене, в ансамбле фламенко; сухо попросил подбежавшего официанта принести кабальеро самой холодной воды, про минеральную, отметил Пол, не сказал, дадут из-под крана, чтоб не платить, вывернулись, голуби; предложил им сигарет; отказались: испанцы не курят «рубио»[1], только «негро»[2]; выслушал вопрос, который их начальство уполномочило задать сеньору; пожав плечами, ответил:

[1] Рубио – рыжие, то есть светлые сигареты *(исп. жаргон)*
[2] Негро – сигареты из черного табака *(исп. жаргон)*

– Нет, нет, этот американский никарагуанец ни в чем не преступил черту закона. Вашего закона. Мы не обращаемся к вам официально. Чисто дружеская помощь. Сеньор Брунн, который меня интересует, забыл внести деньги, он просто-напросто запамятовал уплатить налоги, понимаете? Нам в посольстве приходится и этим заниматься.

– Ясно, – ответил тот агент, который, видимо, был старше званием. – Значит, в наших дальнейших услугах не нуждаетесь?

– Нет, благодарю. Большое спасибо. Где сейчас сеньор Брунн?

– Интересующий вас объект в настоящее время находится в музее.

– Ясно. А как он провел день? Ничего тревожного? Он довольно много пьет, вот в чем дело... Не буянил, случаем? Вы ж знаете, мы шумные, если выпьем...

– Он вообще ничего не пил, – ответил старший и замолчал, – видимо, получил указание ждать вопросов.

– Прекрасно, сеньоры, я бесконечно вам признателен... Только вот не ушел ли он из музея, пока я тут пил с вами воду?

– Нам сообщат.

– Музей далеко?

– За углом, три квартала.

– А если он уйдет, когда я туда подъеду?

– Вас предупредят у входа.

– Спасибо, сеньоры, до встречи...

В музее Брунна, конечно же, не было уже; красивая рыжеволосая девушка окликнула Роумэна (Пол подумал поначалу, что она крашеная, но потом понял, что натуральная, видимо, из Астурии, там в горах встречаются рыжие, очень похожи на римлянок, только у тех точеные, аристократические, чуть хищные носы, а у этой был курносый, милый его сердцу крестьянский; чем-то похожа на Пат, младшую дочь их соседа по ферме).

– Куда он пошел? – спросил Пол шепотом, хотя ни одного человека не было в мертвенно-холодном холле музея, только старик кассир дремал у себя в закутке, то и дело обрушивая голову на грудь, как плохой дирижер, который хочет взять аудиторию не умением, но позой; впрочем, волосы со лба он не взбрасывал, был лысый.

– Вас просят заехать на калье Сан-Педро, двадцать три, – ответила девушка.

– Какого черта? – не удержался Пол. – Мне сказали, что вы знаете, куда пошел человек, который мне нужен.

– Там знают, куда он отправился, – ответила девушка и, повернувшись, пошла прочь; Пол сразу же понял, что говорить с нею бессмысленно, не ответит ни слова, шестерка.

Он чертыхнулся, подошел к кассиру, спросил, как найти калье Сан-Педро, выслушал двадцать пустых и ненужных слов, что все в городе знают эту улицу, как же можно не знать эту прекрасную, тенистую улицу, на которой живут самые уважаемые сеньоры, она же совсем рядом, надо поехать прямо, потом свернуть на калье Алехандро-де-ла-Пенья, затем возле ресторана «Лас пачолас» повернуть налево, пересечь

авениду де Мадрид, а там третий переулок налево, одни особняки в парках.

Пол приехал на эту улицу, но она оказалась не Сан-Педро, а Сан-Педро-Мартир.

Он подавил в себе желание вернуться в музей, выволочь старика из-за стекла и заставить бежать перед машиной через город, подталкивая его своим бампером.

Возле одного из особняков он увидел женщину, которая доставала почту из большого ящика, — по крайней мере, десять газет, килограммов пять бумаги, и все пусто, никакой информации; фашизм — это полное отсутствие информации, то есть правды; все лгут друг другу, заведомо зная, что лгут, тем не менее даже авторы этой лжи ищут среди строк этой лихо сконструированной чуши хоть какую-то толику правды; вот парадокс, а?! А — не парадокс, возразил себе Пол, фашизм — это отсутствие гарантий для кого бы то ни было; не понравится Франко, как на него посмотрел какой-то министр или генерал, вот и нету голубчика, авиакатастрофа, отставка или ссылка куда подальше.

— Простите, вы не поможете мне найти калье Сан-Педро? — аккуратно притормозив, спросил Роумэн.

— Но это совершенно в другом конце города, — откликнулась женщина. — По-моему, где-то на юге...

— По-вашему, или точно? — раздраженно спросил Пол. — Я же говорю: Сан-Педро... Что, таких улиц много в городе?

Женщина улыбнулась, и Пол заметил, что ее прелестное зеленоглазое лицо обсыпано веснушками, хотя на дворе октябрь, весна давным-давно кончилась.

— Большинство наших улиц названо в честь «сан» или «санта», — она по-прежнему улыбалась. — Ничего не попишешь, мы бóльшие католики, чем папа римский.

— Да уж, — усмехнулся Пол и подумал, что, если бы он задержался с нею, поговорил, потом пригласил ее на ужин, а потом повел бы куда-нибудь танцевать, могло случиться чудо, могло оказаться, что она именно тот человек, которого он ищет все те годы после того, как вернулся из гитлеровского плена, чудом переплыв на рыбацкой лодочке залив, и оказался в Швеции, прилетел оттуда домой, не позвонив Лайзе из аэропорта, — решил сделать сюрприз, ну и сделал — поднял с постели нежданным звонком в дверь, а на его маленькой думочке лежал мулат в желтой, тончайшего шелка, тунике.

Но я не стану говорить с ней, понял Роумэн, я подобен впрягшейся лошади, устремлен в дело, оно стало моим естеством, я боюсь от него оторваться, потому что никому теперь не верю, и себе перестаю верить, а когда в деле, голова занята им одним, очень надежно, никаких эмоций, злость и устремленность, ничего больше.

Он отъехал метров сорок, резко притормозил, решив все-таки вернуться, подумав, что встретился именно с той женщиной, какая ему нужна; посмотрел в зеркальце; на улице никого уже не было; более всего он боялся выглядеть смешным; неловко звонить в подъезд и спрашивать: «Простите, где здесь у вас живет девушка, у нее лицо в веснушках и очень хорошие зеленые глаза...»

Чертов Брунн, подумал он, грязная нацистская скотина Бользен,

я бы мог сейчас пить с Вейнбергом, а не гонять по этому несчастному застенку, именуемому Испанией; трусы, а не люди, как можно терпеть фашизм?!

Он вернулся на Пласа-Майор; полицейский, выслушав его вопрос, глубокомысленно ответил:

– Вамос абер...[1]

Потом он достал потрепанную карту города, развернул ее, долго рассматривал, из чего Пол заключил, что страж порядка не в ладах с грамотой, взялся ему помочь, нашел эту проклятую Сан-Педро, но поехал мимо того особняка – девушка с веснушками, конечно же, на улицу больше не выходила.

Каждому из нас отпущен в жизни только один шанс, сказал он себе, мы знаем это, но все равно торопимся или медлим, в конце концов получаем тот шанс, который был уготован другому, отсюда весь бедлам на нашей планете.

...Дом, который был ему нужен, оказался старым, трехэтажным, в большом тенистом парке. Мужчина, стоявший у металлических ворот, предложил запарковать машину и пройти по центральной аллее, обсаженной кипарисами, – около подъезда вас встретят.

Вышагивая по красной гальке, неведомо как сюда привезенной, Пол снова подумал: «Отчего нашей банде так нужен этот Брунн, ума не приложу? Зачем он им понадобился? Почему такой интерес? Мало ли здесь осело нацистов, живут себе по норам, затаились, сволочи, а с этим прямо-таки какая-то свистопляска. Я-то знаю, отчего он интересует меня, но почему и они в него вцепились, вот что интересно».

– Здравствуйте, мистер Роумэн, – приветствовал его на хорошем английском невысокий, плотный крепыш в голубом костюме и ярком синем галстуке; лицо хранило следы морского загара, отличимый цвет старого оливкового масла, простоявшего зиму в сухом, темном подвале.

– Здравствуйте, – ответил Роумэн. – Честно говоря, я не очень-то привык к такого рода конспиративным играм, времени у меня в обрез, да и дел хватает.

– Понятно, понятно... Но ничего не попишешь, выражение «тайны мадридского двора» придумано не в Вашингтоне, а в этой стране.

Этот из породы боссов, понял Пол, такие шутки позволяют себе здесь только крупные парни из центра. Он явно не здешний или же сидит в Бургосе эмиссаром Пуэрта-дель-Соль.

– Как вас зовут? Вы не представились, – сказал Роумэн.

– О, простите, пожалуйста. Можете называть меня Хайме... Грегорио Пабло-и-Хайме.

– Очень приятно. Я – Пол Роумэн. Где тот человек, которого я ищу?

– Он под контролем. Я помогу вам. Но я бы хотел понять, что подвигло моего давнего друга Эронимо на такую рьяную заинтере-

[1] Вамос абер – посмотрим *(исп.)*

сованность в том, чтобы вы нашли этого самого никарагуанца с внешностью скандинава?

– Дружба. Мы дружим с Эронимо.

– Давно?

– С тех пор как Франко стал заинтересован в развитии экономических отношений со Штатами. И в том, чтобы мы протащили его в Организацию Объединенных Наций...

– Не «его», а «нас». Мы не разделяем себя с каудильо.

– Это понятно. Ваше право... Раз вы не разделяете себя с каудильо, значит, и вам пора завязать со мной дружбу, поскольку, увы, я тоже вынужден не очень-то разделять себя с нашим галантерейщиком, с президентом Трумэном.

– Вы имеете санкцию на то, чтобы так отзываться о своем лидере?

– Поправка к Конституции – вот моя санкция, ясно? Вы меня извините, Хайме, я в детские игры не играю, вырос; есть вопросы – задавайте. Хотите помочь найти этого самого Брунна – помогите. Нет – ну, и черт с ним, скажу послу, что службы Испании не смогли оказать нам должного содействия. Скоро ваш национальный праздник, пусть Томас обсуждает это дело с вашим каудильо...

– Томас... Кто это?

– Посол. Вы что, не знаете, как его зовут?

– Ах, да, да, конечно, но я как-то не очень связывал вас с дипломатической службой.

– Других у нас пока нет, увы. Но, думаю, скоро появятся.

– Когда примерно?

Ему надо что-то отдать, понял Пол; пусть напишет отчет в свою паршивую Пуэрта-дель-Соль, тогда он не будет чувствовать себя униженным; иначе выходит, что он мне – Брунна, а ему – шиш. Только здесь я с ним говорить не стану, на них слишком большое влияние оказали арабы и евреи, но те хоть при их врожденной хитрости умные, а в этих одни эмоции, может напортачить, проиграет еще наш разговор не тем, кому надо...

– По дороге к тому месту, где сейчас находится мой клиент, – сказал Роумэн, – я с радостью отвечу на ваши вопросы.

– Вас отвезет туда мой помощник, Пол. У меня нет времени ездить с вами в поисках никарагуанца. Было бы славно, ответь вы мне сейчас.

– У вас обычно плохая запись, Хайме. Все будет шуршать и трещать, вы же получали аппаратуру от людей ИТТ, а они гнали вам товар из Германии, никакой гарантии, работали узники концлагерей... Хотите говорить – пошли погуляем по парку, там тень, заодно и разомнемся, я просидел за рулем шесть часов...

– Тем не менее, Пол, моя услуга зависит именно от того разговора, который я намерен провести здесь, в этой комнате.

– Ну и проводите, – Роумэн поднялся. – С самим собою. До свиданья.

Он рассчитал верно: секретная служба Франко позволяла своим сотрудникам работать самостоятельно лишь до определенной степени – особенно после того, как объект сломан и пошел на сотрудни-

чество; что же касается широкой инициативы, такой, какую Донован, например, дал Аллену Даллесу, позволив ему несанкционированность, здесь не было, да и быть не могло; все нужно согласовать и утвердить у главного хефе, все обязано быть доложено штаб-квартире каудильо, обсуждено с военными и каким-то образом увязано с дипломатической службой режима. Этот голубой пыжится, он привык к беседам с мелкими торгашами, которые не то что Штаты продадут, а родную маму, лишь бы сбыть свой тухлый товар этим грандам, не умеющим работать, только спят и болтают...

– Погодите, Пол, – остановил его Хайме у двери. – Вы напрасно нервничаете...

– Я нервничаю? – искренне удивился Роумэн. – Вот уж чего нет, того нет. Что, пошли гулять?

– Я вас догоню, – сказал Хайме, – одна минута.

Будет брать диктофон, понял Роумэн, ну и болван.

Когда Хайме догнал его в парке, Пол показал глазами на его пиджак и шепнул:

– Отключите вашу штуку. Все равно я стану говорить так тихо, что ничего не запишется, галька трещит под ногами, все заглушит.

– Что за подозрительность, – улыбнулся Хайме, – можете меня ощупать.

– Позвонили в Мадрид? Получили санкцию на разговор без записи?

– Слушайте, с таким человеком, как вы, одно удовольствие дружить. Я теперь понимаю Эронимо. Может, встретимся в Мадриде?

– А что вы мне сможете дать? Я не привык зря терять время.

– Я тоже.

– Меня интересуют люди со специальностью.

– Испанцы?

– Упаси господь! Мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела. Живите, как хотите. Если испанцам нравится Франко, пусть он ими и правит.

– Нами, Пол, нами. Не отделяйте меня от испанцев, я хочу, чтобы нами правил каудильо.

– Не говорите за всех, Хайме. Целесообразнее сказать «мною». Понимаете? «Я хочу, чтобы мною правил Франко».

– Я только тогда что-нибудь стою, когда моя служба представляет мнение нации. Один – он и есть один, пустота...

– Один – это один, Хайме. Это очень много, да еще если один – то есть каждый – есть явление. Вот когда сплошные нули, мильон нулей, а впереди, отдельно от них, единица – тогда это ненадолго, единица сковырнется, нули рассыпятся...

Хайме засмеялся:

– А мы зачем? Мы не дадим нулям рассыпаться. Мы их хорошо держим в руках... Так вот, меня тоже интересуют люди со специальностью, ясно, не нашего гражданства.

– Какого конкретно?

– Не вашего. Я понимаю вас и ценю ваш такт: вас не интересуют испанцы, меня – американцы. А все другие пусть станут объектом нашего общего интереса. Согласны?

– Предлагаете обмен информацией?

– Именно.

– Почему нет? Конечно, согласен... Вы – мне, я – вам, очень удобно.

– Оставите свой телефон?

Роумэн поморщился:

– Слушайте, не надо так. Вы же не ребенок, ей-богу... Я отлично понимаю, что мой телефон вами прослушивается. Будьте профессионалом, это надежно, таких ценят... Любителями, которые слепо повторяют план, разработанный дядями, расплачиваются. Будьте единицей, Хайме. Бойтесь быть нулем. Звоните мне в среду, в девятнадцать, вечер не занят, можем встретиться. Где Брунн?

– Эй, – Пол окликнул Штирлица, когда тот, посмотрев на часы, поднялся из-за столика маленького кафе в двух блоках от автовокзала. – Вы куда?

– А вам какое дело? – Штирлиц пожал плечами, сразу же ощутив боль в пояснице и усталость, которая давяще опустилась на плечи, словно кто-то надавил очень сильной рукой хрупкую косточку ключицы.

– То есть как это?! – Роумэн оторопел от этих слов; ждал всего чего угодно, только не такой реакции.

– Да так. Какой сегодня день? То-то и оно. Не человек для субботы, а суббота для человека. Или я должен отмечаться перед тем, как решу покинуть квартиру?

– Звонить должны.

– Почему? Не должен. Мы об этом не уговаривались.

– Ладно, Брунн. Если вы не скажете, зачем приехали сюда – я передам вас здешней полиции.

– Они любят нас. Мне ничего не будет.

– Верно, они вас любят. Но они, как и мы, не любят тех, кто похищает деньги, принадлежащие фирме. Тем более такой крепкой, как ИТТ. Эрл Джекобс повязан с испанцами, за кражу вас отправят на каторгу.

Штирлиц закурил, вздохнул, щелкнул пальцами; куда ему до испанцев, у тех это с рождения; щелчка не получилось, шепот какой-то, а не щелчок, тогда он медленно обернулся к стойке, опасаясь, что боль растечется по всему телу, и попросил:

– Два кофе, пожалуйста.

– Нет у меня времени распивать с вами кофе, – сказал Роумэн. – Или вы отвечаете на мой вопрос, или я связываюсь с полицией, там ждут моего звонка.

– Да отвечу я вам... Не злитесь. Выпейте кофе, гнали небось... Дорога дурная, надо расслабиться... Сейчас пойдем туда, куда я хотел пойти один. Я буду любить женщину, а вы посидите в соседней комнате... Только она крикливая, возбудитесь, лучше сразу кого прихватите.

– Бросьте дурака валять! – Роумэн начал яриться по-настоящему.

– Послушайте, Пол, я здесь работал... Понимаете? В тридцать седьмом. И снимал квартиру в доме женщины, к которой решил

приехать в гости... Вы же знаете, что нам при Гитлере запрещалось спать с иностранками...

– Вашему уровню не запрещалось.

– Я здесь был еще не в том уровне, которому разрешалось. Я был штурмбанфюрером, шавкой... И потом, когда нацизм прет вперед – всем все запрещают, и эти запреты все принимают добровольно, почти даже с радостью; начинают разрешать, лишь когда все сыплется...

– Пошли. Я импотент. Приятно послушать, как нацист рычит с местной фалангисткой, зоосад в Бургосе.

Штирлиц допил кофе, положил на стол доллар, официант, казалось бы не обращавший на него внимания, подлетел коршуном, смахнул зелененькую и скрылся на кухне.

А ведь другого выхода у меня нет, понял Штирлиц. Слава богу, что я вспомнил Клаудиа, неужели она все еще здесь? А куда ей деться? Испанки любят свой дом, она никуда не могла отсюда уехать. А сколько же ей сейчас лет? Она моложе меня лет на пять, значит, сорок один. Тоже не подарок; единственно, чего я совершенно не умею делать, так это разыгрывать любовь к женщине, слишком уж безбожное злодейство, они слабее нас и привязчивее, это как обманывать ребенка... Но она любила меня, мужчина чувствует отношение к себе женщины лучше, чем они сами, они живут в придуманном мире, фантазерки, нам не снились такие фантазии, какие живут в них, каждая подобна нереализовавшему себя Жюлю Верну; мальчишки никогда не играют в свою войну с такой изобретательностью, как девочки в куклы и в дочки-матери.

Он поднялся, устало думая о том, как Роумэн смог его вычислить; сделал вывод, что здешняя служба начала контактировать с американцами; еще один удар по его надежде на дружество победителей; жаль; бедный шарик, несчастные люди, живущие на нем; какая-то обреченность тяготеет над ними, рок...

– У вас машина рядом? – спросил Штирлиц.

– Да.

– Впрочем, здесь недалеко. Пойдем пешком?

– Как хотите, – ответил Роумэн. – Я-то здоровый, это вы калека.

Они шли молча, Штирлиц снова чуть прихрамывал, боль в пояснице стала рвущей, будь она проклята; все в нашей жизни определяют мгновения; я прекрасно себя чувствовал, не ощущал никакой боли, казался себе молодым до той минуты, пока этот парень не окликнул меня; один миг, и все изменилось.

...Он вошел в холодный мраморный подъезд первым и, лишь нажав медный сосок звонка, понял, какую непоправимую ошибку совершил: Клаудиа знала его как Штирлица, а никакого не Брунна или Бользена...

А эти про Штирлица, видимо, еще не знают, подумал он, и чем дольше они будут этого не знать, тем вероятнее шанс на то, чтобы вернуться домой; я должен сделать все, чтобы она не успела назвать меня так, как всегда называла – «Эстилиц». Я должен – в тот именно миг, пока она будет идти к двери, – придумать, что надо сделать, чтобы не позволить ей произнести это слово.

Выдержка из протокола допроса бывшего СС бригаденфюрера Вальтера Шелленберга (апрель сорок шестого)

Вопрос. – Объясните цель вашего визита в Мадрид и Лиссабон летом сорокового года.

Ответ. – Вы имеете в виду июль сорокового года?

Вопрос. – Да.

Ответ. – Я был вынужден выполнить приказ рейхсминистра Риббентропа...

Вопрос. – В чем он состоял?

Ответ. – Это был совершенно безумный приказ... Позвонил Риббентроп и тоном, полным издевки, – это было свойственно ему и Герингу – спросил, имею ли я время приехать к нему немедленно. Я ответил, что, конечно, имею, но спросил, каков будет предмет беседы, чтобы я успел подготовить нужные материалы. «Это не тема для телефонного разговора», – ответил Риббентроп и положил трубку. Поскольку мой непосредственный шеф Гейдрих был ревнив, словно женщина, и все мои контакты с близким окружением фюрера воспринимал как личное оскорбление, я не мог не сказать ему об этом звонке, все равно он узнал бы о нем в конце недели, когда специальная служба докладывала ему обо всех телефонных разговорах руководителей рейха; запрещалось подслушивать только фюрера, но поскольку ничего не было сказано об остальных, все равно телефонные разговоры Гитлера с Герингом, Риббентропом, Геббельсом, Розенбергом, Кейтелем ложились на стол Гейдриха, и он один определял, о чем докладывать Гиммлеру, а что – умолчать... Гейдрих выслушал мой рапорт, заметил, что «джентльмен, видимо, не хочет консультировать со мною свои проекты, что ж, это свидетельствует о том, что господин рейхсминистр сделался старым идиотом. Езжайте, Шелленберг, и выразите ему мое искреннее уважение»...

Как правило, Риббентроп не предлагал мне садиться, когда я бывал у него по поручению Гиммлера, однако на этот раз он вышел мне навстречу, пригласил устроиться возле кофейного столика, сел напротив меня и спросил, в какой мере правильны слухи о том, что у меня прекрасные связи с секретными службами в Испании и Португалии. Я ответил, что мои связи там действительно надежны... Тогда он спросил, в какой мере они надежны. Я сказал, что связи разведчиков носят особый характер, вопрос надежности отходит на второй план, главным делается проблема взаимной выгоды и общей целесообразности. Риббентроп довольно долго обдумывал мой ответ, он из породы трудно соображающих людей, потом, наконец, спросил, хорошо ли я знаком с герцогом Виндзорским. «Вас ведь представили ему на том вечере, который мы устраивали в его честь?» Я ответил, что не был приглашен на тот прием, но что, конечно, знаю это имя. Риббентроп спросил, отдаю ли я себе отчет в том, какого уровня другом рейха является этот член британской королевской семьи. Я ответил, что могу об этом догадываться.

«Какие у вас есть о нем материалы?» – спросил Риббентроп. Я ответил, что затрудняюсь ответить, потому что не имел возможнос-

ти затребовать архивы. Тогда он попросил меня высказать свое личное мнение о герцоге Виндзорском. Я сделал это, и Риббен...

Вопрос. – Изложите то, что вы говорили Риббентропу по поводу его высочества герцога Виндзорского.

Ответ. – Я сказал, что дело герцога Виндзорского свидетельствует о прекрасных традициях Англии, которая терпит разные мнения по одному и тому же вопросу, подчеркнув, что позиция правительства его величества, находящегося в состоянии войны с рейхом, не является бескомпромиссной; Даунинг-стрит по-прежнему надеется, что королевская семья сама решит свои внутренние проблемы. Риббентроп был совершенно обескуражен моим ответом. Он сказал, что я слабо разбираюсь в вопросах внешней политики. Он заметил, что я «не уяснил себе главное: герцог Виндзорский являет собою образец самого прекрасного, очень нам близкого, наиболее правого политика из всех, которые живут на Острове. Именно эта его позиция приводит в бешенство правящую Британией правительственную клику. Наша задача состоит в том, чтобы достойно и уважительно использовать этого преданного друга рейха в наших интересах».

Вопрос. – В чьих именно?

Ответ. – В интересах рейха и тех сил в Британии, которые выступают за союз и дружбу с Гитлером... А все эти вопросы «о традициях и терпимости кабинета Черчилля, – заключил Риббентроп, – носят вторичный характер и не имеют отношения к существу проблемы». Я попытался возразить в том смысле, что нельзя принимать решение, связанное со страной, не обращая внимания на ее традиции, считая их «вторичным вопросом». Риббентроп прервал меня: «Фюрер и я приняли решение по поводу герцога Виндзорского еще в тридцать шестом году. У нас есть веские основания, чтобы принять решение, которое не может быть подвергнуто обсуждению. Мне известно, что каждый шаг герцога находится под контролем британской секретной службы. Но мне известно, что герцог, принудительно назначенный наместником на Бермуды, продолжает оставаться другом рейха. Более того, у меня есть достоверная информация, что он выразил желание поселиться в нейтральной стране, чтобы оттуда предпринимать шаги, направленные на достижение мира между Берлином и Лондоном. Фюрер считает реализацию такой возможности – один из членов британской королевской семьи открыто становится на сторону рейха – крайне важной. Поэтому вам поручается, с вашей-то западной внешностью, раскованностью поведения и знанием языков, отправиться на Пиренейский полуостров и сделать все, чтобы вывезти герцога из Португалии. Пятьдесят миллионов франков уже депонированы в Цюрихе на имя его высочества. Вы должны вывезти его любым путем, пусть с применением силы. Даже если он проявит колебания, вам дается полная свобода рук. Но при этом вы отвечаете головой за безопасность герцога Виндзорского и за состояние его здоровья. Мне известно, что в ближайшее время он получит приглашение от одного из испанских аристократов приехать поохотиться. Вчера я обсуждал эту проблему с фюрером, и мы решили, что именно во время охоты вы и должны будете вывезти герцога в Швейцарию. Вы, конечно, готовы выполнить это зада-

ние?» Я несколько опешил от такой постановки вопроса, но все-таки обратился к Риббентропу с просьбой разрешить мне выяснить у него ряд необходимых для работы моментов. Он разрешил, и я спросил его: «Вы говорили о симпатии герцога к Германии... Вы имели в виду немецкую культуру, стиль жизни, вообще немецкий народ, или же вы включили сюда и симпатию герцога к нынешней форме правления в рейхе?» Риббентроп хотел было что-то ответить, но вдруг по его лицу пробежала тень испуга, — как-никак я приехал из того дома, где всем заправлял Гиммлер, — и он отрубил: «Когда мы говорим о сегодняшней Германии, мы говорим о той Германии, которую и вы, как немец, представляете в мире». — «Но от кого к вам пришла информация о симпатии герцога к рейху?» Риббентроп ответил, что данные поступили из Мадрида, от вполне надежных людей, занимающих весьма высокие посты во франкистской иерархии. «Все детали обсудите с моим послом в Мадриде. Та информация, которая известна фюреру и мне, останется нашей с ним информацией, она не для ознакомления кого бы то ни было, кроме нас». — «Нет ли тут некоего противоречия, — заметил я. — Вы говорите о симпатии к нам герцога и в то же время даете мне свободу рук для его похищения». Риббентроп поморщился: «Фюрер позволяет вам применить силу не против герцога, но против британской секретной службы, которая держит его под постоянным и неусыпным наблюдением. Когда я сказал о применении силы, речь шла о том, чтобы помочь ему преодолеть психоз страха, который тщательно организовывает секретная служба Черчилля. Вы должны помочь герцогу преодолеть барьер страха, лишь в этом смысле я говорил о свободе рук. Он будет благодарен вам, когда окажется в Швейцарии и сможет передвигаться по миру без постоянного надзора полицейских ищеек. Это все, Шелленберг».

Мне ничего не оставалось делать, как подняться, поблагодарить этого маразматика «за доверие» и уйти. Но Риббентроп остановил меня, показал глазами на наушники, прикрепленные к одному из телефонов; я надел их; он набрал номер Гитлера и сказал: «Мой фюрер, Шелленберг выполнит приказ». Гитлер заметил: «Пусть он установит контакт с герцогиней Виндзорской, она более всего влияет на мужа. Скажите Шелленбергу, что у него будут удостоверения от моего имени на проведение любых акций во имя успешного выполнения этого задания».

Когда я доложил Гейдриху о разговоре, тот заметил, что весь план ему не нравится, что этот подонок Риббентроп пытается использовать его людей именно в таких идиотских операциях, и что я не имею права отправляться в Мадрид в одиночестве, он прикрепит ко мне двух сотрудников, наиболее компетентных в испанских и португальских вопросах. Мне ничего не оставалось, как поблагодарить его за заботу и...

Вопрос. — Кто именно был отправлен с вами?

Ответ. — Штурмбанфюрер Кройзершанц, он погиб на Восточном фронте, и штурмбанфюрер Штирлиц...

Вопрос. — Какова судьба Штирлица?

Ответ. — Последний раз я видел его в апреле сорок пятого...

Вопрос. — На чьем самолете вы летели в Мадрид?

Ответ. — На одном из самолетов Геринга. Это был специальный рейс. В Мадриде я взял такси, отдельно от сопровождавших меня офицеров, заехал в отель, где жили германские дипломаты. Затем, сменив машину, отправился в тот отель, где был намерен поселиться, а уж после этого, на третьей машине, прибыл в посольство и был принят послом фон Шторером. Он сообщил мне, что его информаторы — представители высшей аристократии Испании и Португалии — ска...

Вопрос. — Кто именно? Назовите фамилии.

Ответ. — С точки зрения этики взаимоотношений между разведчиками и дипломатами я был не вправе интересоваться именами его контактов.

Вопрос. — И вы не предприняли никаких шагов, чтобы выяснить, что это были за люди?

Ответ. — Я не помню. Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос определенно...

Вопрос. — Вы не поручили никому из ваших подчиненных в посольстве выяснить столь важный для всей операции вопрос?

Ответ. — Вам бы целесообразней посмотреть рапорты моих сопровождающих. Если они сохранились, то наверняка там есть указание на то, давал ли я такого рода задание...

Вопрос. — У нас складывается впечатление, что вы говорите только о том, что выставляет вас в выгодном для вас свете. А нас интересует оперативная обстановка. Ведь описываемые вами события происходили всего пять-шесть лет назад...

Ответ. — Я не хочу пускать вас по ложным следам, только поэтому я так осторожен в тех ответах, где требуется абсолютная определенность.

Вопрос. — Могли бы вы поручить выяснить имена информаторов посла штурмбанфюреру Кройзершанцу?

Ответ. — Мог.

Вопрос. — А Штирлицу?

Ответ. — Мог. Видимо, ему я и должен был поручить это задание, если и поручал, поскольку в тридцать седьмом году он работал при штабе Франко и, сколько я помню, имел довольно тесный контакт с полковником Гонсалесом...

Вопрос. — Альфредо Хосефа-и-Раулем Гонсалесом?

Ответ. — Я не помню его имени...

Вопрос. — Он был заместителем начальника политической разведки у Франко.

Ответ. — Да, если он был заместителем начальника политической разведки, то это именно тот Гонсалес... Что с ним сейчас? Я слышал, он был снят со своего поста.

Вопрос. — Вам сообщили имена информаторов посла?

Ответ. — Что-то говорили. Но я не мог входить в контакт с теми испанцами, поэтому, видимо, приказал отправить данные на информаторов посла Шторера в наш архив...

Вопрос. — Продолжайте.

Ответ. — Фон Шторер оказался весьма достойным человеком,

без чванства и ревности, свойственной дипломатам по отношению к людям моей профессии. Он пообещал организовать несколько приемов, на которых я встречу людей, имеющих информацию о герцоге Виндзорском из первых рук. Он добавил, что точная дата охоты, которую организуют для герцога, пока неизвестна, и что герцог сейчас в весьма подавленном состоянии, поскольку назначение губернатором Бермуд он считает формой почетной ссылки. Герцог знает, что британская секретная служба весьма подозрительно относится к приглашению на охоту, и делает все, чтобы отменить намеченное мероприятие. «Однако, – заметил фон Шторер, – охоту можно организовать где-то в пограничном районе и устроить там «случайный» переход границы. Здесь, – добавил он, – вы его возьмете под свою опеку»...

Вопрос. – Судя по этому замечанию, фон Шторер вел себя не как дипломат, но как ваш коллега.

Ответ. – Мадрид был центром нашей диверсионно-разведывательной службы по Пиренеям, Северной Африке, морским перевозкам союзников... Понятно, фон Шторер не мог быть в стороне от этой работы.

Вопрос. – Он был агентом СД?

Ответ. – Он мог быть личным осведомителем Гиммлера. Вербовка на таком уровне не фиксировалась.

Вопрос. – Но из того, как он себя вел с вами, вы могли допустить мысль, что он относится к числу информаторов Гиммлера?

Ответ. – В Германии той поры было нетрудно понудить человека к сотрудничеству с секретной полицией...

Вопрос. – Я хочу услышать определенный ответ: «да, мог быть человеком Гиммлера» или «нет, не мог».

Ответ. – Да. Мог.

Вопрос. – Продолжайте.

Ответ. – Затем Шторер остановился на тех проблемах, которые особенно беспокоили его как посла. Он выразил сожаление, что информация, которая идет из Мадрида в Берлин, порою противоречит друг другу, потому что его доклады Риббентропу – с одной стороны, рапорты представителя НСДАП, отправляемые рейхсляйтеру Боле, – с другой и телеграммы нашего резидента Гейдриху – с третьей составляются секретно друг от друга, «каждый хочет подставить ножку другому», – заключил фон Шторер. Затем он остановился на главной проблеме, которая его занимала. Он сказал, что тот нажим, который проводит Риббентроп на Франко, чтобы незамедлительно вовлечь генералиссимуса в войну на стороне рейха, осуществляется без должного такта, который крайне необходим в Мадриде. Без учета «испанского гонора, – сказал Шторер, – без того, чтобы не повторять постоянно выспренние фразы о величии Испании, здесь нечего делать. Старый галисиец[1] – прожженная бестия, и хотя он наш друг, ему нельзя не считаться с ужасающим экономическим положением страны. Он тратит почти все деньги на армию, тайную полицию и пропаганду, поэтому промышленность и сельское хозяйство находятся в бедственном положении. Если мы сможем взять на се-

[1] Имеется в виду Франко.

бя снабжение Испании продуктами питания, машинами, самолетами, танками, тогда Франко примкнет к нам. Если он поверит, что вступление в войну даст стране экономические выгоды, тогда он пойдет на это. Но господин рейхсминистр нажимает только на то, что вступление Испании в войну необходимо для окончательной победы рейха, а этого здесь недостаточно, ничто так не въедается в сознание нации, как ее былое величие, но мы закрываем глаза на это, что непростительно. Было бы хорошо, доведи вы эту точку зрения до сведения господина рейхсминистра».

Вопрос. – А сам Шторер не мог этого сделать?

Ответ. – Уровень достоверности информации в рейхе определялся не критериями истины, но тем лишь, кто стоял ближе к тому или иному руководителю. Поскольку я был вхож к Риббентропу, фон Шторер полагал, что тот прислушается к моим словам в большей мере, чем к его.

Вопрос. – Посол фон Шторер был чрезвычайным и полномочным министром рейха. А вы – всего лишь штандартенфюрером... Полковник и вроде бы маршал. Разве это логично?

Ответ. – Если бы рейх был построен на основе логических посылов, думаю, что я бы сейчас допрашивал вас, а не вы меня.

Вопрос. – Не отвлекайтесь на частности, нас интересует ваша операция против его высочества герцога Виндзорского.

Ответ. – После того как я встретился с моими испанскими знакомыми и обсудил контакты в Лиссабоне, я выле...

Вопрос. – С кем вы встретились в Мадриде?

Ответ. – Наш атташе по связям с испанской секретной службой пригласил к себе на ужин четырех высших офицеров из разведки Франко.

Вопрос. – Имена?

Ответ. – Я не убежден, что эти господа выступали под своими подлинными именами, скорее всего, они пользовались псевдонимами, испанцы очень интригабельны и недоверчивы. Впрочем, до той лишь поры, пока ты не докажешь им свой вес, возможности и свою готовность помочь им в их деловых операциях... Сколько я помню, там был генерал Серхио Оцуп, подполковник Эронимо и полковник Гонсалес, этот не скрывал своего подлинного имени, потому что был нам известен еще в пору подготовки восстания Франко, и генерал... Нет, я не помню четвертого имени... Мы обсудили проблему...

Вопрос. – Вы прямо сказали им, что направляетесь в Лиссабон с целью похищения члена королевской фамилии Великобритании?

Ответ. – Я прямо говорил об этом, беседуя с каждым в отдельности, после того как общество разделилось на группы... Да, я каждому говорил об этом совершенно открыто.

Вопрос. – Никто из ваших собеседников не выразил сомнения в отношении допустимости такого рода акции?

Ответ. – Мы профессионалы, мы же делали свою работу...

Вопрос. – Значит, профессионализм позволяет предавать забвению нормы международного права?

Ответ. – С точки зрения международного права вы не можете подвергать меня допросам, потому что я являюсь военнопленным.

Вопрос. – Вы считаете себя военнопленным? Это еще надо доказать. И доказать это можем лишь мы. От нас зависит, считать ли вас пленным или арестованным нацистским преступником. Продолжайте.

Ответ. – Получив ряд новых контактов в Лиссабоне, я выехал туда, арендовав мощную американскую машину. Мои люди в посольстве сняли для меня апартамент в доме богатого эмигранта из Голландии, еврея по национальности, человека антинацистских убеждений...

Вопрос. – Как его зовут?

Ответ. – Не помню.

Вопрос. – Вы помните. Вы не хотите называть его имя, не так ли?

Ответ – Я не помню.

Вопрос. – Гиммлер знал, что вы остановились в доме еврея?

Ответ. – Нет. Я не имел права контактировать в работе с евреями.

Вопрос. – А если бы он узнал об этом?

Ответ. – Я бы сказал, что мне это было невдомек.

Вопрос. – Ваш хозяин знал, что вы из РСХА?

Ответ. – Конечно, нет. Меня представили ему как швейцарского коммерсанта.

Вопрос. – Почему вы решили остановиться у голландского еврея, а не в другом доме?

Ответ. – Потому что люди, симпатизировавшие в Португалии англичанам, прекрасно знали, что человек из СС никогда не остановится в доме еврея. Таким образом, моя квартира была в полной безопасности, я был гарантирован, что британская секретная служба не заинтересуется мною. А у меня были основания опасаться такого рода интереса, потому что я был убежден, что у вас были мои фотографии, тайно сделанные Бестом и Стевенсом, когда я вел с ними переговоры в вашей штаб-квартире в Гааге.

Вопрос. – Почему вы идентифицируете меня и моего коллегу с британской секретной службой? Мы представляем органы следствия и не имеем никакого отношения к секретной службе его величества.

Ответ. – Да, конечно, пусть будет так. Можно продолжать? Спасибо. Итак, я наладил контакт с сотрудником японской разведки, работавшим в Лиссабоне под крышей владельца судоходной фирмы, и на...

Вопрос. – Его фамилия?

Ответ. – Ошима.

Вопрос. – Имя?

Ответ. – Обычно я называл его «господин Ошима» или же «дорогой друг». Я попросил его достать мне информацию, связанную с герцогом Виндзорским, который жил в замке Эсторил. Затем я нанес визит нашему послу фон Гуэну, и он оказал мне любезную помощь в уточнении деталей порученной мне операции.

Вопрос. – Был ли фон Гуэн информатором Гиммлера?

Ответ. – Думаю, что да.

Вопрос. – Вы не отвечали столь уверенно по поводу фон Шторера.

Ответ. – Дело в том, что фон Гуэн был хорошо информирован о моей роли в Венло, во время похищения Беста и Стевенса... Такого рода информацию получали наиболее доверенные люди СС... Он, кстати, спросил, продумываю ли я меры предосторожности с тем, чтобы моя акция не нанесла ущерб германо-португальским отношениям. В ту пору Салазар еще более усилил мощь тайной полиции, и мои люди – практически до начала сорок пятого года – делали все, чтобы прибрать к рукам высшие чины этой службы. Как я знаю, именно такую же работу проводила секретная служба Великобритании...

Вопрос. – Вы отвлекаетесь от основной темы. Что еще вам сказал фон Гуэн?

Ответ. – Он сказал, что им получена информации, носящая исключительный характер. Несмотря на события в Венло, секретная служба Великобритании по-прежнему убеждена, что среди немецких военных существует влиятельная оппозиция фюреру, генералы намерены устранить его и подписать мирный договор с Лондоном, чтобы создать единый фронт против большевиков.

Вопрос. – А может быть, эта убежденность создалась не вопреки инциденту в Венло, а именно благодаря ему?

Ответ. – Вы хотите сказать, что британская секретная служба намеренно пошла на то, чтобы отдать нам Беста и Стевенса? Вы хотите сказать, что операция планировалась не только в Берлине, но и в Лондоне?

Вопрос. – Меня интересует ваша точка зрения.

Ответ. – Я не готов к тому, чтобы высказать мое мнение по такого рода допуску. Я должен подумать...

Вопрос. – Продолжайте ваши показания по делу о попытке похищения его высочества.

Ответ. – Назавтра я получил от Ошимы исчерпывающую информацию о замке Эсторил, о залах и апартаментах, занимаемых герцогом и его женой, слугами и охраной. Я организовал наблюдение за замком и получил информацию, что секретная служба Англии не спускает с него глаз. Затем поступили данные, что герцогу Виндзорскому было открыто не рекомендовано принимать приглашение на охоту, переданное ему моими испанскими знакомыми...

Вопрос. – Вы же сказали, что не помните имен тех испанских аристократов, которые устраивали охоту в честь герцога...

Ответ. – Кажется, среди них был потомок графа Оргаса... И еще отпрыск маркиза де ля Энсенада... Словом, я получил информацию, что герцогу не рекомендована охота, но что он по-прежнему не хочет ехать на Бермуды и с радостью остался бы в Европе. Однако герцог якобы сказал, что он не намерен навсегда поселяться ни во вражеской, ни в нейтральной стране... Его позиция показалась мне странной. Он хотел жить в Европе, но в Европе той поры было только две нейтральных страны – Швеция и Швейцария, поскольку и Испания и Португалия были значительно ближе Гитлеру, чем Черчиллю... Я обсудил создавшуюся ситуацию с моим португальским контактом...

Вопрос. – Его имя?

Ответ. – Антонио ду Сантуш, как мне кажется... Полковник ду Сантуш, из секретной полиции... Мы выработали план... Я попросил его сообщить герцогу Виндзорскому, что за ним усилено наблюдение со стороны английской секретной службы, а возможно, и немецкой, что он, ду Сантуш, поэтому должен усилить его охрану своими людьми, чинами португальской секретной полиции... Чтобы придать словам ду Сантуша больший вес, мои люди организовали инцидент в Эсториле и разбили ряд окон камнями... Это дало возможность людям ду Сантуша провести тщательный обыск в Эсториле под предлогом того, что под камни могли быть задекорированы бомбы или подслушивающие устройства. Это дало мне дополнительную порцию информации о герцоге Виндзорском, а также о том, что ситуация с его будущим отнюдь не проста. Я устроил еще один спектакль с битьем стекол. Я предпринял также очень простой, но действующий на нервы маневр: герцогу были привезены огромные букеты роз с запиской: «От ваших португальских друзей, которые делают все, чтобы спасти вас от британской секретной службы».

Вопрос. – Но если португальская секретная служба, по вашим словам, оттеснила британскую охрану, отчего вы не осуществили похищение? Вы же имели право на «любой поступок»?

Ответ. – Дело в том, что мои наблюдатели сообщили: после того как португальцы провели нужную работу, сразу же активизировалась британская секретная служба; из Лондона прибыло более двадцати человек из специального подразделения, они блокировали входы и выходы из Эсторила[1]. Я встретился с моим японским другом. Он выслушал меня и задал один лишь вопрос: «Что может спасти вас от наказания, если вы не выполните приказ фюрера?» Я ответил, что мне трудно представить себе, что со мной случится, если я не вывезу герцога Виндзорского. Японский друг сказал, что он может помочь мне в организации «спектакля со стрельбой» и устроить утечку информации об этом в бразильскую прессу. «У вас будет оправдание в глазах фюрера, вы сделали все, что могли, и не ваша вина, если похищение сорвалось». В тот же вечер я встретил ду Сантуша и, желая проверить самого себя, сказал, что завтрашней ночью вместе с моими людьми, несмотря на опасность перестрелки, буду похищать герцога. При этом я спросил, чем он может мне помочь и сколько это будет стоить. Ду Сантуш ответил, что ситуация такова, что он не берется оказать мне помощь, потому что много людей могут быть убиты и этого Салазар ему не простит. И еще он сказал, что если обо всем этом узнают, то престижу рейха будет нанесен непо-

[1] Полковник Исаев (М. фон Штирлиц) сумел сообщить Москве об операции, намеченной Шелленбергом. Москва, в устной форме, проинформировала человека, близкого к Черчиллю, о готовящемся похищении, которое могло создать серьезные трудности для Великобритании; живой Квислинг из королевской фамилии мог перейти на сторону Гитлера, что в условиях сорокового года, когда Англия переживала пору серьезных трудностей, как военного, так и экономического характера, когда посол США Кеннеди убеждал Рузвельта в нецелесообразности помощи «обреченному на поражение Острову», могло оказать шоковое влинние на британскую общественность, тем более что такие могущественные аристократы, как леди Астор и лорд Рокуэлл, активно стремились к сепаратному миру с Гитлером, испытывая давнюю симпатию к антикоммунистической идеологии национал-социализма. *(Ю. С.)*

правимый удар. «Это, конечно, лишит вас поддержки в моем учреждении, у нас не любят тех, кто слишком громко и рискованно работает. Я могу обещать вам только одну форму помощи: из моих источников Берлин узнает, что похищение практически невозможно»... А через несколько дней герцог был вывезен на корабле к месту его почетной ссылки на Бермуды... Когда я вернулся в Берлин, Гейдрих, выслушав мой рапорт, заметил: «Никогда больше не позволяйте Риббентропу втягивать себя в авантюры, подобные этой». Именно эта его позиция спасла меня от наказания...

Вопрос. – Гейдрих мог пойти на то, чтобы по своим каналам проинформировать секретную службу Британии о готовящейся операции с тем, чтобы скомпрометировать Риббентропа как инициатора этого дела?

Ответ. – Не знаю.

ГЕЛЕН (апрель сорок шестого)

Когда Гелену передали копию стенограммы допросов Шелленберга, он поинтересовался, кто еще имел к ним доступ, удовлетворенно кивнул, когда ответили, что никто, кроме того человека, которому их удалось сфотографировать, попросил помощника не соединять его ни с кем, отменил встречу со Степаном Бандерой, назначенную на конспиративной квартире в доме на Луизенштрассе, и занялся скрупулезным изучением полученного материала.

Стенограммы были документом бесценным, ибо позволяли понять, что известно победителям о самых сокровенных тайнах разведки рейха, а что осталось неизвестным. В свое время именно он дал устное указание по своему отделу «иностранные армии Востока», начавшему готовиться к поражению рейха, сразу же после покушения на Гитлера, далеко не все документы заносить в регистрационные книги. Именно летом сорок четвертого Гелен приказал своим помощникам поднять архивы, начиная с кампании в Польше, и представить ему все без исключения документы, на которых были его подписи или резолюции. Именно тогда он уничтожил около сорока своих приказов и инструкций, в которых речь шла о принципах обращения с пленными, о методах допросов колеблющихся, об отношении к диверсантам и командос (расстрел на месте, без суда), а также два письма Гиммлеру, носившие характер неприкрытого (но, увы, столь типичного для тоталитаризма) подобострастия. Вместо этих документов, под теми же номерами, он заложил в архив совершенно другие тексты, отличавшиеся сдержанностью, достоинством и содержавшие ряд возражений рейхсфюреру по тем именно вопросам, о которых Рузвельт, Сталин и Черчилль впоследствии заявили в своей Декларации как о военных преступлениях, подлежащих суду Международного трибунала. Это неважно, что в архиве Гиммлера останутся подлинники настоящих документов; во-первых, можно надеяться, что их уничтожат; а если нет, то он отныне получил возможность шельмовать их подлинность, доказывая, что это есть не что иное, как работа гестапо, которое хотело скомпрометировать – накануне краха рейха – всех тех патриотов Германии, сторонников

истинно европейской идеи, борцов против всех форм тоталитаризма, которые решили стать на путь скрытого неповиновения безумному фюреру; два документа – не один; пусть победители решат, какой им выгоднее посчитать подлинным...

Гелен знал, что Шелленбергу было значительно труднее уничтожить компрометирующие его документы, – попробуй решись на такое, когда сидишь в одном здании с Кальтенбруннером и Мюллером; Гелена поэтому мучительно интересовало, как ведет себя Шелленберг в заключении; ведь он знал о нем все, он знал ту правду, которая не имела права попасть в руки англо-американцев; это бы дало право Даллесу относиться к нему, Гелену, не как к соратнику по борьбе с Гитлером, не как к тому рыцарю, который возглавляет тайный форпост борьбы против большевистского проникновения на Запад, но как к своему агенту, сломанному на уликах, который, следовательно, обязан работать по приказу, а не так, как он работает сейчас, набирая день ото дня все больший вес в глазах коллег из Вашингтона.

Он страшился показаний Шелленберга потому еще, что в Лондоне к власти пришло рабочее правительство Эттли; да, конечно, лейбористам приходится следовать в фарватере американского курса, им просто-напросто некуда деться, но ведь какая-то часть показаний Шелленберга может просочиться в прессу, начнется скандал, который есть крах предприятия.

Гелен понимал, сколько ума, такта и напора проявил Даллес, чтобы спасти его от Нюрнбергского процесса; пока его имя даже и не упоминалось там ни разу, тогда как даже генерал Хойзингер был вызван на допросы; лишь вмешательство того же Даллеса, представившего хорошо сработанные документы о том, что Хойзингер примыкал к оппозиции, вывели коллегу Гитлера и Кейтеля из-под ареста и отдачи под трибунал.

Поэтому-то он, Гелен, и должен был загодя знать, что происходило в Лондоне.

Он узнал, что он теперь обладает материалом, тайный смысл которого американцы не смогут оценить; даже помощник Даллеса, немец Гуго Геверниц, не в состоянии понять Шелленберга, потому что воспитывался в той стране, где можно говорить, что думаешь (в том случае, конечно, если это не помешает делу), а не там, где надо было повторять то, что вещал ефрейтор, пусть даже ты сам прекрасно понимал, что он несет околесицу. Он, Гелен, понимает несчастного Шелленберга; ему ясны те места, где он утаивает главное, строит комбинацию на будущее, откровенно хитрит, вопиет о помощи, выстраивает линию защиты, понятную этим паршивым демократам; Гелен читал протоколы допросов Шелленберга так, словно, говорил со своим отражением в зеркале; боже, спасибо тебе за то, что эта страшная чаша минула меня.

Следующий день он посвятил оперативному исследованию показаний Шелленберга, выписав те имена его сотрудников, которые неоднократно упоминаются им, но особенно те, которыми интересовались англичане.

Тринадцать фамилий офицеров СД показались Гелену перспективными с точки зрения их дальнейшей разработки.

Среди этих тринадцати был СС штандартенфюрер Макс фон Штирлиц.

Когда по прошествии времени Гелену доложили, что Штирлиц, привлеченный Шелленбергом к комбинации Карла Вольфа во время его переговоров в Швейцарии с Даллесом, затем использованный Мюллером (подробности пока еще неизвестны, но можно предполагать, что группенфюрер изучал возможность тайной связи Штирлица с секретной службой русских, работа по выяснению такого рода вероятия ведется), живет в Мадриде в паршивеньком пансионате под фамилией Максимо Брунна и влачит полуголодное существование, Гелен почувствовал жареное.

Он не сразу понял, отчего он ощутил особый интерес к Штирлицу; в подоплеке разведки обязана быть женственность, то есть примат чувственного; лишь потом в дело входит холодная, безжалостно-скальпельная логика; именно своим острым чутьем разведчика он ощутил в деле неведомого ему Штирлица нечто такое, что можно обратить на пользу его, Гелена, дела.

Он никогда не торопил себя; Бальдур фон Ширах, вождь гитлерюгенда, томящийся ныне в камере Нюрнберга, как-то рассказывал ему про сладкую муку творчества; Ширах сочинял дрянные стихи, которые распевали юноши и девушки: «Вперед, дети Германии, уничтожим всех красных, построим мир справедливости, мир Германии, мир нашего фюрера, лучшего друга человечества!»

— Вы себе не представляете, генерал, что я испытываю, когда во мне рождается новое стихотворение, — говорил тогда Ширах. — Я стал понимать женщину, которая носит под сердцем ребенка. Переторопить процесс — значит родить недоноска. А это преступление перед нацией, потому что недоношенный ребенок страдает физической или душевной ущербностью, это балласт государства. Надо уметь ждать. Это сладкая, отвратительная, но, увы, необходимая мука — ждать. Наработав в себе это умение, вы ощутите счастье, когда, проснувшись однажды среди ночи, броситесь к столу, и строки отольются сами по себе, без единой помарки. Все эти разговоры о необходимости работать каждый день есть выдумка славянских тугодумов и евреев, которые чужды категории духа. Ждите, генерал! Умейте ждать, и вас неминуемо отметит таинственная веха счастья.

Гелен, слушая тогда Шираха, с ужасом думал о том, кто правит молодежью Германии. Напыщенный дурак, лишенный образования, сочиняющий свои ужасные стихи, от которых нельзя не содрогаться, вправе отдавать приказы мальчикам и девочкам, отправлять их под русские танки и обрекать на бессмысленную гибель в борьбе против англо-американцев...

Тем не менее с доводом рейхсюгендфюрера об умении ждать он не мог не согласиться; всякий форсаж мысли мстил недодуманностью позиций; ожидание, однако, должно быть не пассивным, как предлагал Ширах, но активным, подчиненным идее.

Именно поэтому, дав задание еще раз посмотреть все, что успели собрать его люди по Мюллеру, генералу Полю, Шелленбергу, Кальтенбруннеру, Эйхману, генерал отправился в Альпы на ежене-

дельную прогулку, как всегда пригласив с собой Мерка; тот сделался незаменимым компаньоном во время этих путешествий; он прекрасно, думающе слушал, позволял себе возражать, что Гелен ценил более всего, делал это, однако, в высшей мере тактично, соблюдая субординацию; именно во время этой воскресной прогулки Гелен и понял, отчего его так заинтересовал неведомый штандартенфюрер Штирлиц (сколько их было в СД!).

– Как вы думаете, Мерк, что скажут американцы, если мы, именно мы, наша организация, сможем обнаружить Мюллера и его цепь, разбросанную по миру?

– Они скажут спасибо, – ответил Мерк. – Только я думаю, что Мюллер погиб.

– Очень жаль, если он погиб. Когда честные немцы, то есть мы, отдаем в руки правосудия немца-изувера, то есть Мюллера, это не может не поднять наш авторитет. Поэтому Мюллера должны найти мы. Это укрепит наши позиции по отношению к Аденауэру, который строит свои отношения с американцами значительно более независимо и жестко, чем мы. Он, конечно, умный человек, но я не хочу, чтобы он стал единственным законодателем политической моды на немецком горизонте. Я хочу, чтобы моду диктовали те люди, которых мы выведем на политическую арену, мы, но не Аденауэр.

– Мне кажется, вы всегда были полны респекта по отношению к старому господину, – заметил Мерк.

– Я действительно полон к нему респекта. Но он сугубо гражданский человек, следовательно, он может, при определенных обстоятельствах, пойти на второе Рапалло и установить контакт с Москвой. Ни один военный стратег на это более не пойдет и правильно сделает.

– Вы отвергаете любую форму компромисса с русскими?

– Я... Мы сделаем все, чтобы исключить возможность такого рода компромисса. Немцы единственная нация в Европе, которая может гарантировать тот мир, условия которого мы с вами будем формулировать. Мы, и никто другой. Для того чтобы гроссадмирал Редер и гроссадмирал Денниц сделались героями для будущего поколения немцев, а они будут ими, мы, именно мы, должны отдать миру чудовищного Мюллера. Я иду дальше, Мерк... В документах промелькнуло нечто о том, что Мюллер предполагал контакт этого самого Шти... Как его?

– Штирлица.

– Спасибо. Так вот, он предполагал контакт Штирлица с секретной службой русских и тем не менее не бросил его в подвал, как должен был сделать, не повесил на рояльной струне, но, наоборот, держал подле себя. Зачем? Не знаю. Да и не хочу знать. Но если мы докажем миру, что гестапо Мюллер был связан – через этого самого Штирлица – с большевиками, тогда мы добьемся того, чего еще не удавалось никому. Понимаете меня?

– Не просто понимаю, но восторгаюсь.

– Восторгаются голландской живописью, – усмехнулся Гелен. – Не надо мною восторгаться, надо спорить со мной, чтобы концепция была абсолютно выверенной. Смотрите, что можно сделать...

Мы знакомим Кемпа с теми материалами, которые имеются в нашем распоряжении по поводу Штирлица...

– Мы не обладаем материалами оперативного значения, генерал. Надо сформулировать идею, а Кемпу поручить сделать грубую работу. Но ее не сделаешь, не имей он на руках парочки бомб, которые загонят Штирлица в угол.

– Не загонит, – согласился Гелен. – А мне надо добиться того, чтобы этот самый Штирлиц выполнял все то, что мы ему запишем в нашем сценарии. Роль будет завидная, ее надо работать вдохновенно, но под нашим постоянным контролем. Запросите всех наших друзей: может быть, у них есть какие-то материалы на Штирлица... Надежды, конечно, мало, но кто не ищет, тот не находит, ищущий да обрящет... Смысл моего предложения сводится к тому, чтобы передислоцировать Штирлица в Латинскую Америку. Там самая сильная колония национал-социалистов, там сокрыты наиболее интересные связи, оттуда можно подобраться к Мюллеру, если он жив, и когда к нему подберется Штирлиц, мы прихлопнем их двоих. Но перед этим мы постараемся дать возможность Штирлицу наладить контакт с русскими. Это будет такой залп, от которого Кремлю не оправиться: альянс с гестапо-Мюллером это такая компрометация, которую им не простит история... Каково?

– Грандиозно, – ответил Мерк. – Только очень страшно, генерал. Русские вправе стать на дыбы. Может быть, медведя стоит дразнить до определенной степени?

– Его не надо дразнить вообще. Его надо отстреливать, Мерк.

Через три недели Мерк положил на стол Гелена документы шведской полиции, связанные с розыском доктора Бользена, обвиняющегося в преднамеренном убийстве фрау Дагмар Фрайтаг, обнаруженной мертвой на пароме, следовавшем в Швецию из Германии в марте сорок пятого года; последним человеком, с кем она входила в контакт, был доктор Бользен, он же Штирлиц, он же Максимо Брунн.

А еще через восемь дней Мерк сообщил Гелену адрес фрау Рубенау в Женеве. Она якобы когда-то делала заявление полицейским властям Швейцарии, что в гибели ее мужа Вальтера Рубенау виноват именно СС штандартенфюрер Штирлиц.

– Пошлите к ней Барбье, – сказал Гелен. – Пусть он как следует прощупает ее и привезет официальное заявление этой несчастной, адресованное не швейцарским властям, а нашей частной организации по расследованию нацистских злодеяний.

– Это невозможно.

– Почему?

– Фрау Рубенау жена еврея. Барбье просто-напросто не сможет с ней говорить, он патологический антисемит.

– А вы передайте ему приказ, Мерк. И напомните, что невыполнение приказа чревато. Я тоже не сгораю от любви к евреям, но это не мешает мне поддерживать дружеские отношения с директором банка, который переводит мне деньги, а он по национальности отнюдь не испанец.

БАРБЬЕ (сорок шестой)

Фрау Еву Рубенау ему удалось найти в Монтрё, как и предполагал Мерк, поскольку именно там была самая сильная еврейская община, оформившаяся после того, как Гитлер развязал антисемитскую кампанию, лишив евреев права заниматься научной и общественной деятельностью; бойкоту подверглись парикмахерские, рестораны, швейные и обувные мастерские; евреи, работавшие на заводах и фабриках, были арестованы сразу же после прихода нацистов к власти, ибо подавляющее большинство состояло в рядах коммунистической или социал-демократической партий; многие из тех, кто успел уехать из рейха, осели именно там, в Монтрё.

Во время конспиративной встречи человек, пришедший от Мерка, вручил Барбье шведский паспорт со швейцарской визой на имя Олафа Бринберга, триста швейцарских франков и билет до Берна; «дальше поедете на автобусе, вполне пасторальные виды, отдохнете; через три дня вы должны вернуться, я буду ждать вас на вокзале в Базеле; если мы заметим что-либо подозрительное, я в ваше купе не сяду. Езжайте домой, я найду возможность с вами связаться».

Назавтра Барбье приехал в Берн; первое, что он сделал — зашел в ресторан и заказал роскошный обед; как жаль, что Регина и дети, Клаус и Ута, лишены этого; я привезу им ящик с едой; как же хорошо быть нейтральной страной, черт возьми; сначала он съел татар-азу, три порции желтого масла, бульон с гренками, шницель по-венски, заказал к кофе сыры и заключил пиршество двойной порцией сливочного мороженого.

В Женеве, перед тем как сесть на автобус, следовавший на Лозанну и далее, в Монтрё, он снова зашел в маленький ресторанчик, что помещался наискосок от вокзала, спросил, есть ли айсбайн, выслушал несколько удивленный ответ официанта, что, конечно же, есть, попросил сделать очень большой кусок, затем, смущаясь самого себя, заказал масла (необходимо для зрения, витамин «А» в чистом виде) и ветчину — «хочу подзаправиться перед горячим, пропустил обед, был в дороге, а впереди неблизкий путь в горы».

Приехав в Монтрё, он остановился в пансионе мадам Фроле; та была поражена произношением шведского гостя — «у вас истинно южный акцент, никогда не жили в Лионе?! Вы явный лионец, я сама родом оттуда, я бежала, когда пришли боши и начали свой кровавый шабаш!».

Барбье похолодел от ужаса; надо положить эту старую стерву в постель, они все забывают — и про бошей и про шабаш, когда берешь их за сиську и делаешь больно; пусть она помнит о любовнике, а не о шведе с прекрасным лионским произношением; он попросил мадам купить хорошего вина, на ее вкус; пили до двух часов, потом он остался у старухи; ушел из пансиона рано утром, когда мадам еще спала; пусть вспоминает эту ночь, а не мой лионский, и так ей достался подарок на старости лет, этой французской стерве.

Перед тем как идти по тому адресу, где жила фрау Ева Рубенау, он зашел в ресторан трехзвездочного отеля, попросил приготовить себе яичницу с ветчиной, заказал колбасы и сыра; потом только по-

нял, что это не могут не отметить официанты, какой дурак заказывает такой чудовищный завтрак; чуть мармелада, рогалик и кофе, так завтракают нормальные люди; он, однако, ничего не мог с собою поделать; после того как он перестал быть человеком СС, после того как крах рейха лишил его привычных благ и роскошной еды, упакованной в аккуратные картонные ящики, Барбье испытывал постоянное чувство голода, совершенно незнакомое ему ранее.

Даже после того, как люди Гелена начали подкармливать его, передавая два раза в месяц доллары, он запрещал Регине покупать продукты на черном рынке — «мы» не имеем права выделяться хоть в малости, сразу же донесут соседи, эти мыши полны зависти и страха, они мстят по-мышиному, исподтишка».

Быстро позавтракав, спросил официанта, где в городе останавливаются англичане; мы, знаете ли, привыкли к плотному завтраку, без овсяных хлопьев поутру день кажется сломанным; выслушал ответ — официант легко перешел на английский, вот сволочь, ничего не понятно, — поблагодарил и отправился к Рубенау.

Дом он нашел легко, это, к счастью, был большой дом, на той улице, по которой шла автомобильная дорога в горы, на Глион, шумно, много народа; спустись вниз — казино, поставить бы на тридцать один и снять весь банк, вот тебе и дорога в Испанию; не смей думать об этом, сказал себе Барбье, ты что, сошел с ума?! Думай о Регине, Уте и Клаусе, они остались заложниками, их держат под прицелом мерзавцы Гелена — безнравственные, маленькие люди; какие они немцы, продажные твари! Ведут себя так, как могут вести себя только евреи. Или русские животные, у которых нет сердца. Немец не способен на такую жестокость — оставлять семью в заложниках. Но ведь ты брал в заложники детей, ты расстреливал их, услышал он свой голос и сразу же оглянулся, испугавшись. Но ведь они были французами, ответил он себе. Или коммунистами. А это не люди. Это враги. А я говорю о немцах. Если бы французы не начали своего паршивого Сопротивления, мне бы не было нужды брать заложников. Они сами вынуждали меня к этому, действие рождает противодействие... Никто не знает, как я пил по ночам после того, как пришлось расстрелять первую партию заложников, как у меня разрывалось сердце от боли, но я дал присягу на верность, а что может быть недостойнее отступничества?! Война есть война, у нее свои законы.

...Фрау Ева Рубенау жила на третьем этаже; дом был без лифта, лестница деревянная, старая, скрипучая, с каким-то особым запахом — надежности, что ли, именно надежности и спокойствия; соседи знают друг друга, раскланиваются при встрече и обмениваются новостями; очень будет не здорово, если эта еврейская сучка решит обменяться новостями со своими паршивыми соседями, наверняка здесь одни евреи, жаль, что Гитлер не успел всех их сжечь в печи, как было бы прекрасно жить на земле, тогда бы не русские стояли в Берлине, а мы в Москве, этот Сталин перетянул евреев на свою сторону, когда позволил им чувствовать себя равными, вот они и продемонстрировали, что могут, вот они и наладили свой проклятый союз с американцами и англичанами, ну, ничего, американцы еще по-

плачут, они еще вспомнят нашу правоту, они еще построят свои Освенцимы для этого проклятого племени, они еще вспомнят фюрера, дайте только время...

– Здравствуйте, фрау Рубенау, – сказал Барбье, когда женщина открыла дверь, – позвольте представиться. Я Олаф Бринберг, из Стокгольма, из «Общества жертв нацизма». Вы позволите мне войти?

– Да, но я вас не ждала... Почему вы не позвонили?

– Я не знал вашего телефона...

– Он в справочной книге... В любом кафе, где есть телефон, вы могли навести справку...

– Прошу покорно меня извинить... Если вы заняты, я готов подождать... Речь идет о судьбе вашего покойного мужа, господина Вальтера Рубенау... Или, быть может, вы однофамилица?

– Кто дал вам мой адрес?

– У нас в обществе собраны адреса всех жертв нацизма.

– Вы еврей?

– Я швед иудейского вероисповедания, фрау Рубенау. Но мы занимаемся не только теми жертвами нацизма, кто был евреем. Мы собираем документы на всех тех, кто попал под топор гитлеровских вандалов... Итак, если вы заняты, я готов зайти позже... Или же пригласить вас на обед в ресторан...

– Проходите, пожалуйста... У меня мало времени, господин Бринберг, я печатаю срочные заказы, это единственный источник существования... Полчаса вас устроит?

– Да, я постараюсь уложиться... А где ваши крошки?

– В школе.

– Вам приходится и печатать, и готовить, и учить с малышами уроки?

– Это удел всех матерей. Счастливый удел, господин Бринберг, если ты не боишься, что тебя посадят в тюрьму, а твоих детей отправят в газовую камеру...

– Как долго вы пробыли в тюрьме?

– Недолго... Три месяца... Но потом я все время была в гетто...

– Вы чистая еврейка?

– Я чистая немка.

– Как?!

– Да, это правда. В этой стране, слава богу, можно не скрывать свою национальность. Пока еще здесь меру ценности человека определяют по работе или таланту, а не по национальному признаку.

– Можете поехать в Советскую Россию, – улыбнулся Барбье. – Там гарантировано равенство и негров, не то что евреев...

– Мне и здесь хорошо, господин Бринберг. Мне было очень плохо на моей родине, я ненавижу ее, я ненавижу немцев, мне стыдно, что я рождена немецкими родителями...

– Я понимаю вас, фрау Рубенау, я так вас понимаю...

– Но ведь вы не могли пострадать от гитлеровцев, вы же швед...

– У меня погибла двоюродная сестра, Дагмар Фрайтаг...

– Кто?

– Это была очень талантливая женщина, филолог, умница... Ее

погубил тот же человек, который, как мы полагаем, был убийцей и вашего мужа...

– Как его фамилия?

– Вам она неизвестна?

– Нет, мне-то она известна, я уже сообщала о нем здешней полиции, его ищут, этого садиста... Но я хочу, чтобы вы мне назвали это имя, господин Бринберг... Нацисты приучили меня никому не верить. Я даже себе порою перестаю верить, я не всегда верю детям, мне кажется, что и они лгут мне, особенно когда задерживаются после школы...

– Мы смогли получить информацию, что человеком, виновным в гибели вашего мужа, был некто Борзен, доктор Борзен из гестапо..

– Это неверно. Бользен, вот как будет правильно. Но у него есть и вторая фамилия. Штандартенфюрер Штирлиц.

– Вы когда-нибудь видели его?

– Да, – ответила женщина.

– Можете опознать?

– Я узнаю его из тысяч. Я узнаю его, даже если он сделал пластическую операцию. Дети получат образование, станут зарабатывать деньги, мы накопим на то, чтобы начать свой поиск, и мы найдем этого Штирлица. Мы его найдем. Я узнаю его и убью. Сама. Без чьей-либо помощи. Его ищут вот уже несколько месяцев. Но я не очень-то верю, что его найдут.

– Почему?

– Так... У меня есть основания думать именно так, господин Бринберг.

– К сожалению, я должен с вами согласиться, фрау Рубенау. У мира короткая память. Все хотят поскорее забыть ужас. Все алчут получить от жизни то, чего не успели получить раньше, в этом сказывается несовершенство человеческой натуры. Но мы не намерены забывать. Мы не забудем. Мы тоже намерены карать сами. Не дожидаясь того времени, когда начнут действовать власти. Мы уже нашли двух мерзавцев... – Барбье достал из кармана фотографии, переданные ему Мерком. – Этот, длинный, был надсмотрщиком в концлагере Треблинка. Мы схватили его и отдали в руки властей. Второй, гестаповец Куль, сейчас транспортируется нами в Германию из Эквадора...

– Ну и что же с ними будет? – женщина вздохнула. – Им дадут возможность оправдываться, как это позволяют Герингу и Штрайхеру? Выделят адвокатов? Будут помещать их фотографии в газетах? Брать у них интервью?

– И снова я согласен с вами, фрау Рубенау. Но ведь сидеть в тюрьме, ожидая приговора... Это казнь более страшная, чем расстрел на месте...

– Не сравнивайте тюрьмы союзников с нацистскими. Вы не знали, что это такое, а я знала...

– Скажите, фрау Рубенау, вы бы не согласились отдать вашего мальчика в нашу школу для особо одаренных детей? Он ведь по-прежнему сочиняет музыку, ваш восьмилетний Моцарт?

Он знал, как работать с матерями, этот Барбье, он знал, как

работать с женщинами, сколько раз он выходил через них на их детей и отцов, он умел вести свою линию — неторопливо, вдумчиво, сострадающе...

— Я не смогу жить без него, господин Бринберг. Я тронута вашей заботой о Пауле, но мы больше никогда не будем разлучаться...

— Тогда мы готовы предоставить вам субсидию, чтобы вы могли оплачивать его учителя музыки...

— Что я должна для этого сделать?

— Ничего. Согласиться ее принять, всего лишь, — скорбно улыбнулся Барбье. — Открыть счет в банке, если хотите, мы это сделаем сейчас же, и — все. Мы станем переводить на этот счет деньги. Не бог весть какие, мы живем на частные пожертвования, но все-таки это будет вам хоть каким-то подспорьем.

— Спасибо, — ответила женщина. — Большое спасибо, это очень нам поможет.

— Ах, не стоит благодарности, о чем вы...

— Что-нибудь еще?

— Нет, нет, это все, что я вам хотел сказать. Пойдемте откроем счет, и я откланяюсь...

— Но у меня нет свободных денег...

— Они есть у меня. Они не свободны, впрочем, — Барбье вздохнул, — поскольку принадлежат вам. Кстати, вы вправе подать в суд на этого самого Бользена-Штирлица, пусть в Нюрнберге подумают, как им быть с рядовыми головорезами. Потребуйте, чтобы вам положили пенсию за ущерб, нанесенный СС. Это ведь СС лишило вас кормильца...

— Думаете, такой иск станут рассматривать?

— Смотря как написать, фрау Рубенау. У вас есть хороший адвокат?

— Консультация у хорошего адвоката стоит сто франков. У меня нет таких денег.

— Этот хороший адвокат, — Барбье тронул себя пальцем в грудь, — не берет со своих. Мы вернемся, и я составлю иск...

Они спустились вниз; Барбье чувствовал напряженность, которую испытывала женщина; это хорошо, подумал он, это именно та натура, которую побеждают поэтапностью, она скажет мне все, что я должен от нее получить.

В банке он открыл на ее имя счет, положив пятьдесят франков, потом пригласил ее в магазин и купил детям шоколада, фруктов и жевательных резинок; вовремя себя остановил, потому что сначала был намерен взять чего подешевле — колбасы, масла и сыра; ты же швед, остановил он себя, только немцы сейчас испытывают голод, эта баба сразу же все поймет, она из породы умных, хоть и доверчива; впрочем, недоверчивость — удел бездарных людей, не пойми я этого в Лионе, моя работа не была бы столь результативной.

— Что вы знаете об этом мерзавце? — спросил он, поговорив предварительно о растущей дороговизне и о необходимости отправлять детей на отдых в горы, это же совсем рядом, крестьянское молоко совершенно необходимо, закладываются основы на всю жизнь...

– Ничего, – ответила женщина. – У меня есть его фото и отпечатки пальцев. Подлинники я отдала в полицию, копию храню у себя. Это все, что у меня есть.

– Уже немало. Вы себе не представляете, насколько это важно для криминалистов. Как вы получили его фото и отпечатки пальцев?

– Мне передал его начальник. Он был странным человеком. Наверное, понял, что война проиграна, и делал все, чтобы самому как-то выкрутиться... Он и открыл мне, что Вальтера убил Штирлиц.

– А как звали того человека?

– Он сказал, чтобы я никогда не вздумала называть его имени.

– Но вы знаете его имя?

– Да.

– А если я угадаю? Если вы ответите на мои вопросы и я угадаю, это не будет нарушением вашего слова. Вы согласны?

– Да, – ответила женщина после долгой паузы.

– Где состоялся ваш разговор?

– В его кабинете.

– В Берлине?

– Да.

– В учреждении?

– Да.

– В гестапо?

– Да.

– Где оно помещалось?

– Вы не знаете, где помещалось гестапо?!

– Это не удивительно. Я швед, я никогда не был в Берлине...

– На Принц Альбрехтштрассе...

– Там помещалось не только гестапо, фрау Рубенау. Там была штаб-квартира всего РСХА, – отчеканил Барбье и, только закончив фразу, понял, что допустил промах.

– Откуда вам это известно? Как вы знаете об этом, если никогда не были в Берлине? – сразу же спросила женщина, но он уже был готов к этому вопросу, поняв, что своей осведомленностью отбросил ее к первоначальной настороженности.

– Этот адрес теперь известен всем, фрау Рубенау. Читайте материалы Нюрнбергского трибунала, ведь они печатают массу документов, и мы их весьма тщательно изучаем...

– Ах, ну да, конечно...

– На каком это было этаже?

– Не помню... Нас очень быстро провели по лестнице, мы были окружены со всех сторон эсэсовцами...

– С вами были дети?

– Со мной была Ева. Пауля этот господин разрешил отправить в швейцарское посольство...

– Опишите этого господина, пожалуйста.

– Это трудно... У него была очень изменчивая внешность...

– Он был в форме?

– Да.

– Сколько у него было квадратов в петлице?

– Я не помню... Нет, нет, я совершенно этого не помню...

– Хорошо... О чем шла речь в его кабинете?

– Он давал поручение мужу... Он хотел, чтобы Вальтер поехал сюда, в Швейцарию, и поговорил с кем-то о возможностях мирных переговоров.

– Это все, что вы помните?

– Да.

– А сколько времени продолжался разговор?

– Минут семь.

– Но он не мог за семь минут сказать только две фразы, фрау Рубенау...

– Сначала он сказал, что и девочку бы спас, он ведь отправил моего Пауля в швейцарское посольство... Он сказал, что он бы и нас спас до отъезда Вальтера, он говорил, что в Лозанне живет какой-то Розенцвейг, которого он выручил в тридцать восьмом, когда евреев начали убивать на улицах... Потом он сказал, что лишь выполнял приказы рейхсфюрера и жил с разорванным сердцем и поэтому в свои-то годы стал седым, как старик...

– В «свои-то годы» он сказал вам?

– Да, он так сказал...

– А в связи с чем он просил вас не называть его имя?

– В тот же день, только ночью, он сказал, что Вальтера убил Бользен... Этот самый Штирлиц... Он передал мне его фото и отпечатки пальцев... И сказал, что Штирлиц может скрываться... В Швейцарии тоже. Он дал мне паспорт и билеты на поезд, который шел в Базель, и сказал, чтобы я молчала, пока Пауль прячется здесь, в посольстве, но как только он окажется рядом со мною, в Швейцарии, я должна пойти в полицию и все рассказать о Штирлице... Знаете, у этого Штирлица были совершенно особые глаза, в них словно бы стояли слезы, когда он вез меня к Мю... к этому человеку, он был добр со мною, а Пауля посадил себе на колени, когда мы отправляли маленького, в посольство... Потом, когда прошел шок, я подумала, что он психически болен, садист... Не может человек с такими глазами хладнокровно убить моего Вальтера. А теперь я посмотрела фотографии Геринга в тюрьме, какое благообразное и доброе лицо, как он искренне говорит, что никому не хотел зла и только выполнял приказы фюрера...

– Мерзавец, – сказал Барбье. – Все они мерзавцы. Они были созданы фюрером и предали его, пока петух не прокричал даже в первый раз...

– Разве к понятию Гитлер приложимо слово «предательство»? – спросила женщина.

– Он был личностью, а не понятием, – ответил Барбье. – Как бы не хотелось нам признавать это, но, увы, это так... Человека, который дал вам фотографию Штирлица и отпечатки его пальцев, звали Мюллер, фрау Рубенау... Не отвечайте. Посмотрите мне в глаза, вот так... Спасибо... Как он сказал вам об этом? Какие слова он произнес?

– Тот человек, – упрямо повторила женщина, по-прежнему не называя имени, – сказал, чтобы я забыла его имя. Он сказал, что если я посмею помнить, он мне не позавидует.

Барбье вздохнул:

– Забудьте его имя, – сказал он. – Я могу лишь повторить его слова, потому что сам боюсь нацистов, фрау Рубенау, хотя они разгромлены. Сейчас вы напишете заявление, я вам его продиктую, но не упоминайте там имя Мюллера, я боюсь за жизнь ваших детей, они же будут мстить не нам, а детям...

Женщина покачала головой:

– Нет, господин Бринберг... Я ничего не стану писать. Я все сказала в полиции... Мертвого не вернешь, и я тоже боюсь за детей... Спасибо вам за заботу, но я ничего не стану писать.

– Вы можете показать мне фото этого самого Штирлица и его отпечатки пальцев?

– Да, это я могу сделать.

– Вы позволите мне сфотографировать эти документы?

Женщина ответила не сразу; Барбье не торопил ее, ждал.

– Хорошо... Я позволю... Но я ничего не стану писать...

Он сделал фото крупноформатным объективом, так, что в кадр попала и женщина.

Взяв с нее слово, что она будет осторожной, пообещав приехать еще раз через год, чтобы узнать, что нужно для мальчика, он оставил свой телефон в Швеции (Мерк дал ему номер в Стокгольме) и откланялся.

В Базеле на перроне он увидел связного; тот тоже заметил его, но не двинулся с места.

Когда поезд тронулся, в купе вошли два человека; Барбье почувствовал, как сердце ухнуло куда-то вниз, забилось пульсирующе, трудно.

– Здравствуйте, Барбье, – сказал высокий, крепкого кроя американец. – Ваш знакомый едет в соседнем вагоне. Он, видимо, придет к вам в другой день, так что у нас есть время поговорить. Согласны?

– Вы путаете меня с кем-то, – холодно ответил Барбье. – Вы меня с кем-то путаете...

– Бросьте. Ни с кем мы вас не путаем. Я не хочу утомлять себя лишними телодвижениями, доставать из кармана вашу фотографию той поры, когда вы возглавляли гестапо в Лионе, подписи на ликвидации и письма родственников арестованных вами людей. Или показать? Тогда заодно я покажу фотографии ваших встреч с Мерком. И копию объявления в газетах про обслуживание владельцев минифотоаппаратов... Могу показать ваши фальшивые паспорта на имя Мертеса и Беккера. Могу дать выписку из домовой книги, Марбург, Барфюссерштрассе. Хватит? Или продолжить? Могу зачитать выдержку из нюрнбергских документов: разыскивается нацист Барбье, включен в список главных преступников под номером сорок восемь. Ну, продолжить?

– Не надо.

– Итак, фамилия?

– Барбье, Клаус Барбье, – ответил он потухшим голосом, таким тихим, что американец, склонившись к нему, попросил говорить громче.

– Клаус Барбье.
– Звание?
– СС гауптштурмфюрер.
– Прекрасно, все верно, мне нравится, что вы не пытаетесь лгать. Покажите мне документ, с которым вы ездили в Швейцарию?
Барбье достал шведский паспорт, американец полистал его, удивленно покачал головой, вернул, поинтересовавшись:
– Вручил Мерк?
– Его контакт.
– Маленький, в кожанке?
– Да.
– Как его зовут?
– Не знаю.
– Если понадобится – знайте, Генрих. Порою необходимо ставить связника на место, они иногда берут на себя не те функции. С каким заданием вас отправляли в Швейцарию?
– Вы, видимо, следили за мной... Вы же знаете...
– Говорите громче.
– Вы же знаете.
– А если – нет?
– Мне надо было найти в Монтрё фрау Рубенау.
– Что везете от нее? – спросил американец, и по этому вопросу Барбье понял, что американцы знают абсолютно все о его визите в Монтрё.
– Ничего.
– А пленка?
– Да, я везу пленку.
– Что на ней?
– Я могу отдать ее вам.
– А что вы отдадите Мерку?
– Изымете у него.
– Ну, зачем же? Это неразумно... Вы скажите нам, что на пленке, больше нам ничего не надо.
– Фото Штирлица-Бользена, сотрудника политической разведки Шелленберга. Отпечатки его пальцев...
– Зачем это потребовалось Мерку?
– Не знаю.
– Они вас плохо используют. Жаль. Мы намерены это делать более квалифицированно. Вот он, – американец кивнул на крепыша, стоявшего у двери купе, – работает у нас, в военной контрразведке. Его зовут Дик Лавуа. На следующей неделе он вас арестует. После встречи с Мерком. Но вы выскочите из машины. Он будет стрелять в вас. Из автомата. Пули холостые, но шум будет хороший. Об этом узнает Мерк, следовательно, генерал Гелен будет проинформирован сразу же. Так?
– Да. Видимо.
– А что вы такой опущенный? Что, собственно, случилось? По-моему, вы должны радоваться... Конец неопределенности, начало спокойной работы.
– Что я должен буду делать?

– Выполнять указания Дика. Он скажет вам, что надо делать. Работы много. Воссоздавайте сеть своих соратников по СС. Работайте бесстрашно. Мы изолируем большинство из них, все-таки вы установили связи с монстрами, их имена у всех на памяти...

– А мое?

– Вы не тот уровень.

– Когда я сделаю то, что вам надо, меня тоже арестуют?

– Нет.

– Почему я должен вам верить?

– Потому что у вас нет выбора.

Американец поднялся:

– По поводу задания, которое вы получили от Мерка, напишете мне подробный рапорт. Не на машинке, а собственноручно. Подпишите псевдоним. Меня вполне устроит «Мертес». Есть вопросы?

– Есть.

– Пожалуйста.

– Назовите ваше имя. Вы ж сами сказали, что порою надо зна...

Американец перебил:

– Надо знать имя контакта. А не мое. Имя моего контакта вы знаете. Дик Лавуа. И все. Достаточно, Барбье. Деньги нужны? Или хватает тех, что платит Мерк?

– Нет, не хватит.

– Хорошо, Лавуа будет вам платить. Еще вопросы?

– Мерк работает и на вас?

– Вы работаете на меня и на него. Думайте, как это совмещать. Внесете свои предложения. Мы рассмотрим их благожелательно, это я вам обещаю. Продумайте план работы, мы ценим инициативу. Конкретнее – мы платим за инициативу. А платим мы хорошо, ибо ценим хватку. До свиданья.

ДАЛЛЕС (август сорок шестого)

Даллес, незримо стоявший за спиной всех комбинаций, задумывавшихся не только в Вашингтоне, но и в Германии, поначалу не обратил внимание на фамилию «Штирлиц», дважды промелькнувшую в сообщениях Гелена, переправленных ему в приватном порядке.

Как правило, взгляд его, цепкий и холодный, прежде всего фиксировал имена, имевшие шанс сыграть какую-то роль в комбинациях, которые можно было спланировать в верхах; частности, второстепенные персонажи, подробности, столь угодные нижним этажам разведки, не интересовали его, мешали думать о главном, о том, кого, где и как провести в кресло премьера, военного министра или руководителя внешнеполитической службы той или иной страны.

Его адвокатская фирма «Салливэн энд Кромвэлл» была средоточием интересов крупнейших корпораций Уолл-стрита, так что он был подстрахован в своей деятельности не только незримым финансированием со стороны ИТТ, которая все более и более превращалась в подразделение политической разведки Соединенных Штатов, неким государством в государстве, но и другими сильнейшими фи-

нансовыми и промышленными империями страны; их поддержка определяла его стратегию; речь тогда еще не шла об орехах[1]; такая форма достижения искомого в ту пору еще не была в таком ходу, как ныне; нищая, обескровленная Европа позволяла передвигать фигуры на шахматном поле политики с помощью иных рычагов; затраты на создание лидеров были куда как дешевы; архивы гитлеровских спецслужб позволяли применять другие формы влияния; человек, замазанный коллаборантством с нацистами, готов был на все, только чтобы тайное не сделалось явным, — не было тогда большего позора, чем обнародование факта сотрудничества с гитлеровцами.

Однако же после изучения архивов НСДАП Даллес обратил внимание на то, что женщины, которые были влюблены в Гитлера, когда он еще не был фюрером, помогали ему не деньгами, все ж таки обидно, но (первой это сделала фрау Бехштейн, жена фабриканта роялей) ценными подарками.

— Вы можете поручить вашим друзьям, — сказала фрау Бехштейн фюреру, — продать пару картин, они не вписываются в мой салон, не считайте, что это нанесет мне хоть какой-то материальный урон. Деньги вы вправе обратить на нужды вашего чистого и мужественного движения.

Поэтому еще в июне сорок пятого Даллес дал указание своим сотрудникам в Германии сохранять (в соответствующих замках нацистских бонз, реквизированных оккупационными войсками) картины, скульптуры, золотую и серебряную посуду, музейный фарфор, коллекции марок и монет, чтобы в нужное время обратить их на подарки тем, на кого он и его команда решат ставить.

Больше всего времени уходило на создание контрсил независимой политике де Голля; Франция обязана быть надежно интегрирована в сообщество антирусской устремленности Запада, традиции франко-русского сотрудничества не имеют права быть возобновленными.

Постоянное внимание Даллеса привлекала Италия; наличие коммунистов в правительстве, мощь их партии казалась ему угрожающей, надо было готовить новый кабинет, который вышвырнет Тольятти; работа шла по масонам (будучи членом ложи, курировал лично) в армии и среди руководства карабинеров.

Поэтому какой-то Штирлиц не интересовал, да, понятно, и не мог интересовать Даллеса; будущее Германии следовало решать по-настоящему лишь после того, как стабилизируется положение во Франции и Италии и когда «организация» Гелена в достаточной мере подготовит поле деятельности на Востоке, рекрутировав на антибольшевистскую борьбу серьезные силы в Праге, Будапеште, Варшаве, Бухаресте, Тиране, Софии, Белграде, да и в том же Восточном Берлине.

Однако когда фамилия «Штирлиц» промелькнула в третий раз — причем на этот раз информация пришла не от Гелена, но от агентуры, внедренной в его организацию, — Даллес вспомнил, что когда-то слыхал это имя, и попросил приготовить справку на этого человека.

[1] Орехи — взятки *(ам. жаргон.)*

Из справки явствовало, что СС штандартенфюрер Макс фон Штирлиц был близким сотрудником Шелленберга, выполнял его поручения в Швейцарии – видимо, в деле освещения переговоров с Вольфом, – затем был привлечен Мюллером, несмотря на то что группенфюрер подозревал его в связи с красными в какой-то загадочной комбинации, в ходе которой ему пришлось нейтрализовать ряд лиц (Д. Фрайтаг – на пароме, шедшем из рейха в Швецию, и В. Рубенау – ехавшего из Берлина в Швейцарию), после этого его следы терялись, до той поры, пока он не был обнаружен в Мадриде как Роумэном, так и службой Гелена. Никаких подходов к Аденауэру или Шумахеру у Штирлица не было; в Швеции и Швейцарии он также не был зафиксирован как человек, наладивший доверительные отношения на правительственном уровне. Пастор Шлаг, один из лидеров европейского пацифизма, который был назван в числе контактов Штирлица, был на излечении в Швейцарии после того, как у него открылось тяжелое легочно-сердечное заболевание, и, таким образом, он не мог быть до сих пор соответствующим образом использован в качестве канала информации о Штирлице, хотя сам Шлаг представлял определенный интерес ввиду его дружеских связей с бывшими канцлерами Виртом и Брюннингом.

Тем не менее Даллес эту справку не стал возвращать вниз, а спрятал в свой сейф; неторопыга, он долго обдумывал свои решения; главное – уметь ждать, Артуро Тосканини много раз говорил ему, как важно научиться умению ожидания того мига, когда родится точное понимание духа и смысла музыки.

Через неделю, ощутив кожей необходимость комбинации, допуская возможность того, что Гелен может вести свою линию, он посоветовал Макайру поручить Роумэну работу по Штирлицу-Брунну, чтобы «составить более подробный портрет этого человека, дать ему крышу в одной из тех компаний, которые имеют серьезный вес в Испании, что позволит держать его в постоянном поле зрения».

Даллес считал необходимым поручить эту работу именно Роумэну потому, что к тому времени куратор комиссии по расследованию антиамериканской деятельности сенатор Джозеф Маккарти уже получил достаточно много материалов из ФБР и министерства юстиции о левом прошлом (прошлом ли?) заместителя резидента в Испании и его дружеских контактах с антифашистами Бертольдом Брехтом и Эйслером, которых разрабатывала американская контрразведка.

...К тому же времени свою комбинацию со Штирлицем Гелен обдумал значительно более тщательно, ибо он обладал большей информацией, чем та, которую его люди отдали американцам.

Смысл его комбинации базировался на ряде пунктов, которые сложились в весьма примечательную схему.

Первое. Подготовить Вильгельма Хёттля, СС оберштурмбанфюрера, помощника Кальтенбруннера, завербованного службой Даллеса в конце сорок четвертого года, не только к тому, как надо давать свидетельские показания против Кальтенбруннера в Нюрнберге, но и к тому также, чтобы имя «Штирлиц», как, впрочем, и имя «Гелен»

никогда, нигде и никаким образом им не упоминалось. Не было Штирлица, не было его шифровки Даллесу в Берн с просьбой наладить ему, Штирлицу, контакт с опорной базой антигитлеровской разведки. Когда понадобится, он, Хёттль, получит указание вспомнить этот факт, а пока — не было его, и все тут.

Второе. Тщательно разработать версию возможной связи Штирлица с Мюллером.

Третье. Создать ситуацию (план операции скорректировать на месте, поручив исследование всех деталей Кемпу), при которой Штирлицу будет выгоден, а еще лучше необходим контакт с русской секретной службой, если он действительно был привлечен Москвой к сотрудничеству.

Четвертое. Поскольку заместитель резидента США в Мадриде Пол Роумэн не скрывает свои симпатии по отношению к тем коммунистам-подпольщикам в рейхе, на связь к которым был в свое время отправлен А. Даллесом, признано целесообразным не мешать, а, наоборот, способствовать его контакту со Штирлицем, который, как стало ясно из данных наблюдений, а также от источника, внедренного в американское посольство в Испании, санкционирован Вашингтоном.

Пятое. Способствовать оформлению четырехугольника Штирлиц — Мюллер — Роумэн — Москва.

Шестое. В случае, если комбинация позволит строить дальнейшие ходы в этом направлении, приложить максимум усилий для того, чтобы придать замыслу вполне реальную форму, проверив все контакты Роумэна в США и Германии, а Штирлица — в Испании.

Седьмое. Организовать подвод к Роумэну квалифицированной агентуры для получения ежедневной доверительной информации.

Восьмое. Кемпу необходимо так вести свою линию поведения со Штирлицем, чтобы у того создалось впечатление, что помимо американского интереса к нему проявляют интерес соотечественники, однако ту сферу, в которой Штирлицу будет предложено проявить себя в будущем, называть не следует до тех пор, пока в этом не возникнет оперативная необходимость.

Этот план, расписанный затем в деталях Мерком, и был отправлен Кемпу десятого сентября сорок шестого года, за тридцать два дня перед тем, как Роумэн наметил свой контакт со Штирлицем.

...Перехватить Штирлица на дороге не составило большого труда для Кемпа: пока Роумэн пил кофе в придорожном ресторанчике, дожидаясь сигнала от Джонсона, возглавлявшего «группу контакта», незаметный, пыльный человек проткнул левый задний баллон его машины.

Когда раздался телефонный звонок, и бармен пригласил Роумэна к телефону, и тот выслушал сообщение Джонсона, что Брунн готов к разговору и ждет его на шоссе, Роумэн бросился к машине, отъехал сто метров, чертыхнулся, поняв, что спустило колесо, ярясь, менял его в течение долгих пятнадцати минут (был неис-

правен домкрат), и когда прибыл на место, Штирлица, понятно, не увидел – все было разыграно по нотам, одно слово – старая школа!

ШТИРЛИЦ (октябрь сорок шестого)

Пересечения человеческих судеб непознаваемы в такой же мере, как и те загадочные, в чем-то даже мистические моменты, когда случай становится предтечей закономерности, или же, наоборот, закономерное течение событий прерывается волею случая.

Действительно, как следует объяснять такие повороты истории, как, например, смерть Александра Македонского, явившаяся предтечей гибели Эллады? Была ли эта смерть закономерна? Или же виною всему случай? Но отчего же тогда этот частный случай – смерть человека, рожденного по образу и подобию миллионов других людей, – породил столь кардинальную ломку политической и, если хотите, этической карты мира?

Поддается ли логическому просчету та ситуация, в которой именно Византия – умирающая, раздираемая противоречиями, сходящая с исторической сцены из-за интриг, экономической косности и пренебрежения к рождающемуся новому, – передала религию пышно-торжественного православия молодым, динамически развивающимся славянам Киевской Руси? Почему не Ватикан, с его суховатой, в глубине своей прагматической доктриной, одержал верх, но именно Византия? Запоздали папские послы? А почему они запоздали? Коням корма не хватило – по дурости тех, кто держал ямские дворы на многоверстных, опасных для путешественников прогонах из Ватикана в Киев? Или же в этом был сокрыт какой-то иной смысл?

Можно ли просчитать на ЭВМ причинный момент гибели Петра Великого? С его смертью история России пошла вспять, началась смута, реанимация прошлого, которое всегда смердяще, несмотря на обильное припудривание древних реалий; откатывание империи с тех рубежей, к которым ее вывел гений Петра и его сподвижников. Что это – случай? Или закономерность?

Отчего такой мудрый политик, каким был Франклин Делано Рузвельт, выбрал на пост вице-президента Гарри Трумэна? Понятно, что искусство государственного управления предполагает обладание лидером чувства баланса; полярность идей гарантирует устойчивость курса, делая невозможными кардинальные отклонения, поскольку в кабинете существует тщательно скалькулированная разность мнений. Однако же почему из нескольких сотен политиков, столь угодных правому большинству Америки, которое страшилось нового и полагалось на привычное, он выбрал именно Гарри Трумэна?!

Видимо, в данном конкретном случае штаб Рузвельта совершил непростительную (но, увы, весьма среди политиков распространенную) ошибку, поставив на того, кто по своим параметрам никак не годился ему в соперники – весьма скромно образован, застенчив и совершенно неизвестен широким массам народа, какой же это конкурент?!

Подбиравшие людей по своим меркам, окружая президента талантливыми людьми, в штабе, видимо, забыли, что в истории человечества бывали и такие ситуации, когда капитал выбирал себе серого лидера, который был значительно более удобен, чем искрометная личность, потому что управляем, вполне пассивен. Пусть он будет рупором тех идей, которые определяют консервативную тенденцию, пусть не мешает, пусть берет себе все лавры национальной славы, тенденция не подвержена суетности, ее прежде всего волнуют корыстные интересы той общности людей, которую она, эта тенденция, выражает.

Так что же это — случайность или закономерность — когда на смену Рузвельту, готовому принимать решения, будоражившие страну, пришел не либеральный Генри Уоллес, стоявший за продолжение дружеского диалога с Кремлем, но осторожный консерватор Трумэн, отбросивший Соединенные Штаты к поре тридцать третьего года, когда в стране царствовал изоляционизм, представители левых концепций причислялись к врагам, все европейское почиталось зыбким, в чем-то даже заразным, а Советский Союз вовсе не признавался и был отнесен к категории «географической данности»?!

Отчего изо всех зоологических антикоммунистов, рожденных триумфом революции Ленина, лишь австрийский фанатик Гитлер смог прийти в рейхсканцелярию Германии и сделаться кровавым, всевластным, антиинтеллектуальным фюрером того народа, который дал человечеству Баха, Дюрера, Лютера, Маркса?

Закономерен ли был этот чудовищный алогизм или случаен?

Видимо, однозначно ответить на этот вопрос невозможно, ибо, не существуй в Германии той поры Круппа и Гуго Стинненса, не сложись правительственная бюрократия, коррумпированная с магнатами, не выражай ее интересы фон Папен, человек с гуттаперчевой совестью, не царствуй в западном мире малоинтеллигентная, совершенно лишенная компетентности точка зрения на сущность социалистической революции, случившейся в России, не восторжествуй эмоции над логикой, — не смог бы Гитлер так легко, словно нож в масло, войти во дворец канцлера. Да, конечно, немцы были унижены условиями Версальского договора, который был ни чем иным, как пиром победителей, думавших о гарантиях развития своего национального капитала, но не о будущем мира; да, бесспорно, немцы оказались неподготовленными — после столетий палочной дисциплины, царившей при кайзерах, — к тому демократическому взрыву, который последовал за крахом монархии, столь угодной безмозглому обывателю, привыкшему полагаться на приказ сверху, а не на собственные размышления об истине и лжи, выгоде и проигрыше, враге истинном и мнимом.

Но как можно было поверить в то — и эта вера стала национальной, повсеместной, — что лишь большевики, славяне и евреи повинны в горестях, обрушившихся на страну? Как можно было не видеть, что именно собственные воротилы оказались неспособными вывести страну из кризиса? Ведь именно в их руках была власть, то есть деньги, пресса, железные дороги, заводы, полиция, внешняя политика, армия! Как можно было не понимать, что науськивание на других — в чем-то не похожих на тебя формою ли носа, цветом волос

или же способом распределения национального продукта – есть финт власть предержащих, понявших собственное банкротство?! Нет ничего страшнее, когда к власти приходит серость. В ее-то недрах и зарождается фашизм, идеология люмпена и лавочника, царство тупой устремленности в одну лишь национальную общность, которая была возможна в прошлом, но в век нынешний, в век сверхскоростей, в пору, когда мир сделался малым и единым, зарождение такого рода доктрины чревато одним лишь – гибелью человечества.

Видимо, такого рода постановка вопроса, когда рассуждения строятся по принципу «от общего к частному», заставляет пристально рассматривать судьбу не только лидера – в незримой сцепленности случайности и закономерности, – но и самого обыкновенного человека, ибо в какой-то момент именно он, обыкновенный человек, ничем, казалось бы, не примечательный, оказывается в средоточии такого рода загадочных перекрещиваний, которые делают его сопричастным к событиям глобальным, мировой важности.

Так – в какой-то, понятно, мере – случилось и с Робертом Харрисом, который приехал в Бургос в тот же день, что и Штирлиц, правда, приехал он сюда совершенно случайно, движимый желанием посмотреть тот город, где, начиная с тридцать шестого года и по начало тридцать восьмого, он был корреспондентом лондонской «Мэйл» при штабе генерала Франко.

Вообще-то цель его поездки в Испанию была совершенно иной. Он должен был встретиться с теми, кто был связан с империей ИТТ, поскольку семья Харриса имела прямые интересы в «Бэлл корпорэйшн», а она, эта британская фирма, вела давний и трудный бой с полковником Беном, начиная с той еще поры, когда тот вступил в альянс с нацистами, оттеснив, таким образом, островитян с традиционно принадлежавших им регионов Европейского континента.

В Бургос же, используя воскресный день отдыха, Харрис поехал на встречу с молодостью, ибо каждого человека тянет к тем местам, где протекли его лучшие годы; одни, более мужественные, отправляются туда, не страшась понять, что все самое прекрасное минуло уже, осталось позади; другие пытаются играть в жмурки с самим собою, придумывая будущее, тешат себя надеждой на встречу со счастьем, третьи запивают по-черному и начинают существовать, ожидая приближения неизбежного конца.

Харрис пришел в дом Клаудии за полчаса перед тем, как туда отправились Штирлиц и Пол. Как же ему было не прийти сюда, если именно в квартире этой женщины он поселился – после того, как освободились комнаты, которые снимал Штирлиц, а именно Клаудиа стала его первым – и таким прекрасным! – учителем испанского языка...

Служанка усадила Харриса в гостиной и принесла подборку журналов – сплошные фото, минимум текста, в стране сорок процентов неграмотных, чем меньше люди читают, тем надежнее спит генералиссимус; впрочем, понятие «спит» в данном случае неверно, спать человек может и в тюремной камере; чем меньше читали испанцы, чем страшнее свирепствовала цензура, тем большими становились охотничьи угодья Франко, тем невероятнее делалась его коллекция

охотничьих ружей, тем большие вклады вносились его полумонаршей супругой на счета швейцарских банков, тем активнее налаживались ее связи с деловым миром, который был заинтересован в ней как в человеке, влиявшем на дедушку. Перед выездом из Лондона Харрис получил доверительную информацию о том, что сеньора Франко готовится к тому, чтобы, через подставных лиц, приобрести контрольный пакет акций крупнейшей торговой фирмы Испании «Галереас Пресиадос», магазины разбросаны по всей стране; туфли, рубашки, кухонная утварь, пальто, народные ремесла, радиоаппаратура, рояли, проигрыватели, духи, мыло, носки, пледы, посуда – все отрасли испанской, да и не только испанской, промышленности были завязаны в «Галереас», да здравствует коррупция, основа основ тоталитарного государства! Не проблемы национальной экономики, не попытка превращения страны из сельскохозяйственного придатка Европы в индустриально развитую державу, не вопросы, связанные с необходимостью повышения стандарта жизни, но лишь расхожее, не зафиксированное в официальной прессе выражение «я – тебе, ты – мне» определяло суть происходившего во франкистской Испании.

Ты вносишь на счет сеньоры миллион песет, а она делает так, что ты получаешь самый выгодный заказ от правительства на разработку новых пластмасс для нужд армии, но при этом половина этой «военной» продукции уходит именно на сугубо мирные прилавки ее магазинов.

Ты даришь дочке сеньоры бриллиантовое кольцо в восемь каратов, а она устраивает так, что ту ссуду, которую ты столь тщетно добивался пять лет, легко и просто дает правительство, используя свои, опять-таки коррумпированные, связи с банками.

Она назначает тебя – приказом дедушки – заместителем министра промышленности, а ты, в свою очередь, помогаешь той фирме, которую тебе назовут, заключить сделку с бразильской корпорацией; деньги должны быть переведены в швейцарский банк; проценты, которые нарастут за полгода (что-то около шести, все зависит от величины суммы), делятся между сеньорой, тобою, заместителем министра и хозяевами заинтересованной фирмы.

Интересы народа? А что такое народ? Бессловесное быдло! Все решает элита, она и движет страну вперед, не эти же темные и безграмотные Педро, Мигели и Бласко! Что они вообще могут?! Пусть слепо повторяют слова дикторов радио и цитаты из статей в «Пуэбло» и «Ой», пусть цепляются за то нищенское благополучие, которое им дал дедушка: действительно, голодных, которые бы умирали на улицах, больше нет, каждый может заработать не только на хлеб, вино и хамон, но даже на красивое платьице дочери, чего им еще надо?! Равенство – это миф, утопия, зловредный вымысел русских марксистов, чем скорее люди забудут об этом, чем скорее предадут анафеме, тем лучше; непокорных можно перевоспитать в тюрьмах, этому научились за десять лет диктатуры, тем более было у кого учиться, – Гитлер вполне надежный наставник.

Одна из целей поездки Харриса в Испанию и заключалась в том,

чтобы проникнуть в тайну механики «мадридского двора» – с одной стороны (это для пользы дела, «Бэлл» должна знать, как следует поступить, главное – понять скрытые пружины и тайные лабиринты ходов к Франко), с другой – написать в «Мэйл» обо всем этом чудовищном, алогичном, временном, но пока еще могущественном, что царило за Пиренеями, и, наконец, выполнить доверительную просьбу генерала Гринборо, из разведки.

Но, прилетев в Мадрид, Харрис несколько растерялся от того обилия информации, которое он получил в первую же неделю; надо было отдышаться, привыкнуть к испанским темпам, темперамент совершенно африканский, сто слов в минуту.

Вот он и решил отправиться в Бургос, тем более что образ Клаудии – он это понял по-настоящему, лишь вернувшись в Испанию, – постоянно жил в нем все эти годы.

...Служанка внимательно оглядела Штирлица и Пола, выразила сожаление, что сеньоры не позвонили, она бы предупредила их, что сеньора вернется лишь через полчаса – «у нас уже есть один гость, если вы намерены подождать, пожалуйста, пройдите в гостиную».

– Меня зовут Бользен, – сказал Штирлиц служанке. – Макс Бользен, запишите, пожалуйста. Если сеньора позвонит, скажите, что я не мог не припасть к ее ногам после стольких лет разлуки. А что, сеньора уехала с сеньором?

– Сеньора живет одна, – ответила служанка, – проходите, пожалуйста.

Они вошли в гостиную; Харрис поднялся, молча кивнул, еще раз посмотрел на Штирлица, нахмурился, силясь вспомнить что-то, поинтересовался:

– Мы не могли с вами где-то встречаться ранее?

Штирлиц пожал плечами:

– Мы встречались последний раз здесь, у Клаудии, накануне моего отъезда...

– Вы – немец?

– Увы.

– Это вы снимали у нее квартиру?

– Именно.

– Вас зовут...

Штирлиц не мог вспомнить, под каким именем его знал Харрис – то ли Эстилиц, как его называли испанцы, то ли Макс, поэтому поторопился напомнить:

– Макс Бользен. Забыли?

– Здравствуйте, Макс! Я – Харрис, помните меня? Рад вас видеть.

– Действительно рады? – спросил Штирлиц. – Значит, ваша позиция изменилась с тех пор? Вы так часто говорили о необходимости истребления всех фашистов в Европе...

Харрис улыбнулся:

– Фашизм и интеллигентность не сопрягаются, а вы, несмотря на то что были немцем из Берлина, казались мне интеллигентом. Давно здесь?

Пол не дал ответить Штирлицу:

– Давно, – сказал он. – Мистер Бользен давно живет в Испании. Я – Пол Роумэн из Нью-Йорка.

– А я – Роберт Спенсер Харрис из Лондона, очень приятно познакомиться, мистер Роумэн. Вы – бизнесмен?

– Значительно хуже. Государственный служащий. А вы?

– Еще хуже. Я – журналист.

– Семья Харрис из «Бэлл» не имеет к вам никакого отношения? – спросил Пол.

– Весьма отдаленное, – заметил Штирлиц, потому что знал – из картотеки, которую вело здешнее подразделение Шелленберга на всех иностранцев, аккредитованных при штабе Франко, – что Роберт Харрис был прямым наследником капиталов концерна «Бэлл».

Харрис мельком глянул на Штирлица, тень улыбки промелькнула на его бледном, с желтизною, лице; закурив, он ответил Полу:

– Если бы я имел отношение к концерну «Бэлл», то, видимо, сидел бы в сумасшедшем Сити, а не здесь, в расслабляюще-тихом доме очаровательной Клаудии. Вы давно не видели ее, Макс?

– С тридцать восьмого.

– А я с тридцать девятого.

– Переписывались?

– До начала войны – да, а потом все закружилось, завертелось, не до писем... Надо было воевать против вас, воевать, чтобы поставить вас на колени... Как ваш бизнес?

Штирлиц снимал у Клаудии квартиру по легенде, он «представлял» интересы Круппа, контакты с резидентурой СД пытался скрывать, но Испания совершенно особая страна, здесь можно очень многое, но вот скрыть что-либо – совершенно нельзя.

– Моего бизнеса нет в помине, Роберт. Вот мои новые боссы, – Штирлиц кивнул на Пола.

Роумэн достал из кармана визитную карточку, протянул Харрису; тот внимательно прочитал ее, кивнул, многозначительно подняв брови, и вручил Штирлицу и Полу свои карточки, записав предварительно на каждой телефон в мадридском отеле «Филипе кватро».

– Смешно, – заметил Харрис, снова усевшись в свое кресло. – Влюбленные встречаются в доме прекрасной испанки и не чувствуют в себе острой потребности схватиться на шпагах.

– Откуда вы знаете, что я был влюблен в Клаудиа? – спросил Штирлиц. – Это была моя тайна.

– Но не Клаудии, – Харрис усмехнулся. – Ее комната завешана вашими картинами. Ничего, кроме картин Макса, – пояснил он Роумэну. – Хорошенькая тайна, а? Да еще ваши фотографии... Вы здорово изменились... Что-то, помнится, у вас тогда была другая фамилия... Вы сказали «Бользен»... Разве вы Бользен?

– В Максе вы не сомневаетесь?

– В Максе совершенно не сомневаюсь.

– А то, что я теперь сотрудник ИТТ, который нежно любит британскую «Бэлл», вам подтвердит мой друг, – воткнул Штирлиц, точно просчитывавший каждый поворот разговора, особенно после того, как Харриса зациклило на его фамилии. – Верно, Пол?

– Верно.

– Дайте перо, Роберт, я запишу вам мой телефон и домашний адрес, приходите в гости, вспомним былое, – сказал Штирлиц, понимая, что такой финт угоден американцу, наладит прослушивание их разговора в квартире; это даст люфт во времени, а он крайне нужен Штирлицу этот временной люфт, нет ничего важнее тайм-аута, когда силы на исходе и стратегия твоей игры разгадана.

Пол закурил, хрустко потянулся, что вызвало известное недоумение Харриса, – он славился утонченностью манер; в свое время СД довольно долго присматривалось к нему именно в этом плане, не гомосексуалист ли; у Шелленберга был довольно крепкий сектор, занимавшийся ими, – до той поры, правда, пока Гиммлер не санкционировал расстрел своего племянника, уличенного в этом грехе; сектор потихоньку раскассировали, да и выходы на границу резко сократились, тотальная война, не до жиру, быть бы живу.

– Слушайте, джентльмены, не знаю, как вы, а я просидел за рулем шесть часов, голова разваливается, – сказал Роумэн. – Как бы насчет кофе?

– Тут за углом есть прекрасное место, – откликнулся Штирлиц. – Хозяина, кажется, звали Дионисио.

– Его посадили, – сказал Харрис. – Он рассказал смешной анекдот про каудильо, и его отправили в концентрационный лагерь. Я был там полчаса назад.

– А его сын?

– Мне было неудобно расспрашивать, вы же знаете, теперь здесь все доносят друг на друга, страшная подозрительность, испанцев трудно узнать...

Пол хмыкнул:

– Трудно им будет, беднягам, когда кто-нибудь шлепнет их Гитлера.

– Его не шлепнут, – возразил Штирлиц. – Великого каудильо, отца нации, охраняют как зеницу ока. Эту охрану ему наладил СС бригаденфюрер Ратенхубер, а он знал свою работу, лично отвечал за безопасность Гитлера, а это не шутки.

– Какова его судьба? – поинтересовался Харрис. – Ему воздали должное?

Пол усмехнулся:

– Как понимать ваш вопрос? Вас интересует, чем его наградили? Нашей медалью «За заслуги»? Или сделали кавалером вашего ордена Бани?

– Я бы не отзывался так пренебрежительно об ордене Бани, – певуче заметил Харрис. – Я не встречал людей, которых бы им награждали без достаточных к тому оснований.

Пол вопрошающе посмотрел на Штирлица; тот улыбнулся.

– Это Роберт шутит, Пол. Он славился тем, что шутил так, как герои Джером К. Джерома.

– Пошли к Дионисио, джентльмены, – сказал Харрис, – я приглашаю. Выпьем кофе.

Но они не успели выпить кофе, потому что вернулась Клаудиа.

Она вошла в гостиную стремительно, замерла возле двери; мужчины поднялись; боже мой, подумал Штирлиц, а ведь она совсем не изменилась, чудо какое-то; да здравствуют прекрасные женщины, они — наше спасение, у Пола несколько отвисла челюсть, моя поездка в Бургос вполне оправдана, к такой женщине нельзя не стремиться, я — выскочил!

— Макс, — сказала женщина очень тихо; она словно бы не видела ни Харриса, ни тем более Пола; ее зеленые глаза наполнились слезами; она подошла к Штирлицу, провела рукою по его щекам, тихо повторила: — Макс, как странно...

Только после этого она обернулась к Харрису, улыбнулась ему, протянув руку; в лице ее не было растерянности, одна жалость и сострадание.

— Как хорошо, что вы ко мне заглянули, Роберт, — сказала она, — я не чаяла, что вы когда-нибудь вернетесь в этот дом.

— Это мой друг, — сказал Штирлиц, — его зовут Пол, он американец.

— Здравствуйте, — так же отрешенно сказала женщина и снова посмотрела на Штирлица. — Я думала, что те... вас больше нет.

— Почему? — улыбнулся Штирлиц. — Я живучий.

— Мне гадали на вас. В Толедо живет старуха, ее зовут Эсперанса, она гадает по картам и на кофейной гуще. На вас все время выпадала огненная лошадь, это к смерти... Пойдемте пить кофе, сеньоры, я сама заварю кофе в честь таких прекрасных гостей.

В столовой, окна в которой были, по испанскому обычаю, закрыты жалюзи и шторами, было темно; «в лесу клубился кафедральный мрак» — Штирлиц невольно вспомнил стихи Пастернака; он купил эту подборку его стихов в Париже, на набережной, именно в тот раз, когда возвращался из Бургоса в треклятый рейх, возвращался, как его заверило московское командование, ровно на полгода, а уж десять лет прошло с той поры, нет, восемь, ах, какая разница, десять или восемь, так и эдак четвертая часть сознательной жизни...

Клаудиа распахнула шторы, открыла деревянные жалюзи; осеннее солнце было ослепительным и жарким, но если всмотреться в спектр, можно было заметить приближение холода; более других чувствовался зеркальный голубой цвет, некое ощущение первого льда на ручьях.

Пол оглядел комнату; все стены были завешаны яркой, но в то же время какой-то нутряной, сокрытой, сине-зелено-красной живописью.

— Похоже на Эль Греко, — заметил Пол. — Кто художник, сеньора?

— Отгадайте, — сказала Клаудиа. — Подумайте и отгадайте.

— Да я не очень-то силен в живописи. Знаю только тех, кого включили в хрестоматию.

Харрис усмехнулся:

— Это пристало говорить Максу. Только в его стране в хрестоматию не включали Матисса, Дега и Ренуара, не говоря уж о Пикассо и Дали. Фюрер считал всех их малярами и недоносками, а их жи-

вопись приказал называть низкопробной халтурой, призванной одурачивать мир по наущению проклятых евреев...

– Бедный Макс, – хмыкнул Пол. – Так кто же этот мастер, сеньора? Я бы купил один холст, если только вы не потребуете миллион.

– Песет? – спросила Клаудиа. – Или долларов?

– Миллион долларов мне не грозит. Увы. Неужели этот мастер так высоко ценится?

– Выше не бывает, – ответила Клаудиа. – Это картины Макса. Они нравятся вам по-прежнему, Роберт?

– Да, – ответил Харрис. – По-прежнему.

Пол изумленно посмотрел на Штирлица.

– Слушайте, какого черта вы вообще сунулись в... Почему вы не занимались живописью и только живописью?!

– А кто бы меня кормил? Покупал краски? Снимал ателье? – спросил Штирлиц. – Становитесь поскорее миллионером, я брошу службу на ИТТ и предамся любимому занятию.

– Буду стараться, – пообещал Пол и отошел к картине, которая выделялась изо всех остальных: цвета на ней были более сдержанные, красный соседствовал с розовыми тонами, небо было легкое, прозрачное, в нем ощущалась осень, но не здешняя, испанская, очень конкретная, как и все в этой стране, а какая-то совершенно особая, умиротворенная, что ли.

Вот так можно провалиться, понял Штирлиц, наблюдая за тем, с каким интересом рассматривал Пол именно эту его картину; этот парень играет роль свинопаса, но он отнюдь не так прост, как кажется; никто из немцев, приходивших сюда, не втыкался в эту работу так, как он; впрочем, тогда она висела не здесь, сюда ее перенесла Клаудиа после того, как я уехал, раздав перед этим краски и кисти соседским ребятишкам; можно быть дилетантом в политике, такое случается довольно часто, нельзя быть дилетантом в искусстве. Проявление гениальности можно ждать в человеке, который равно распределен между эмоциями и логикой, это редкостное сочетание; один характер на десяток миллионов; при этом ни одна из двух ипостасей не имеет права на то, чтобы превалировать в человеке; эмоция порождает мысль, логика контролирует содеянное, постоянная саморегуляция, куда уж мне было до этого.

– Похоже на Север, – сказал Пол, обернувшись к Штирлицу. – Но это не Германия. Это совершенно не те цвета, которые характерны для Германии. Скорее Швеция, Эстония, север России... Где вы это писали?

– Здесь.

– Да, – подтвердила Клаудиа, – я сидела в кресле, а Макс писал. Я еще спросила, где такое раздолье и такие холодные небеса, а он ответил: «Там, где нас с тобою нет». Правда, Макс?

– Думаешь, я помню?

– Я помню все, что связано с ва... с тобою, – она теперь говорила, казалось, с ним одним, и Штирлиц подумал о Харрисе: «Бедный человек, не хотел бы я оказаться на его месте; вообще-то ситуация невероятная, если вдуматься; в доме женщины, которая была

нужна мне как прикрытие – и тогда и сейчас, – увидать соперника, необходимого мне сегодня как воздух, как спасение, как надежда, ибо он действительно из клана «Бэлл», а этот клан очень не любит ИТТ, и если я поспрошаю самого себя на досуге про те данные, которые проходили через меня в ту, десятилетней давности, пору, я могу построить точный макет беседы с ним в Мадриде, а побеседовав, я получу тот канал связи с миром, который мне так сейчас нужен».

Клаудиа поставила на стол маленькие чашки; кофейник у нее был здесь же, в столовой, старинный, но подключен к электричеству.

– Ты плохо выглядишь, – сказала Клаудиа, положив свою сухую ладонь на руку Штирлица.

– Роберт смотрится лучше? – спросил Штирлиц.

Клаудиа словно бы не слышала его, даже не взглянула на Харриса; тот старательно изображал наслаждение, которое испытывал от кофе, заваренного женщиной.

– Ты, видимо, болел? – продолжала Клаудиа. – Ты потом все мне расскажешь, у меня есть старуха в Севилье, которая лечит болезни. Травами. Ее зовут Пепита, и ей девяносто три года. Мне кажется, она хитана[1]. Если каждое утро пить набор трав – зверобой, тысячелистник, календулу и алоэ, – человек обретает вторую молодость. Я пью этот сбор семь лет.

– Продайте патент, – сказал Пол, отодвигая чашку. – Я разбогатею на этом пойле. Спасибо, Клаудиа, мне было чертовски приятно познакомиться с вами.

Он поднялся; вместе с ним поднялся Харрис. Он достал из кармана маленькую коробочку и протянул ее Клаудии:

– Это вам.

– Спасибо, – ответила женщина, с трудом оторвав свои прекрасные зеленые глаза от лица Штирлица. – Спасибо, Роберт, это так любезно.

Она не стала раскрывать коробочку; поднялась, протянула руку Роберту; он, низко склонившись, поцеловал ее.

– Могу я на один миг похитить у вас Макса? – спросил Пол. – Мне надо сказать ему два слова.

– Да, да, конечно, – ответила женщина. – Я пока сварю еще кофе, да, Макс?

– Спасибо, – ответил он и вышел следом за Полом в гостиную.

Тот закурил и, сев на подоконник, сказал:

– Я, конечно, узнаю, под каким именем вы здесь жили, Бользен. Спасибо, вы облегчили мне вашу проверку. Поздравляю вас с такой подругой и с вашей ловкостью. Билет на Сан-Себастьян отдайте мне, вам его оплатит Эрл, я подтвержу, что вы ездили туда по моей просьбе. И верните мне все ваши деньги. Мне так будет спокойнее.

– Вы ведете себя глупо, – заметил Штирлиц, протягивая американцу бумажник. – Во-первых, я могу уехать с Клаудиа. Во-вторых, если бы я решил бежать, я бы сделал это с товаром. Кому я нужен

[1] Хитана – цыганка *(исп.)*.

с пустыми руками? А вы по дороге поговорите с Робертом, он славный парень, только в отличие от вас не сотрудничает с бывшими нацистами. Он пригодится в вашем деле, потому что, судя по всему, знает то, что вам и не снилось. Вы, видимо, интересуетесь нашими, я имею в виду СД, связями. Они шли через ИТТ. Но британцы умеют работать с теми, кто стоит им поперек дороги, лучше, чем вы.

– Он что, из службы?

– Думаю, нет. Во всяком случае, до войны никак связан не был, им интересовались.

Пол шлепнул плоским бумажником по ладони, раскрыл его, просчитал деньги, пожал плечами и протянул его Штирлицу:

– Держите. Вы правы, я не подумал. Скажите мне, зачем вы взяли билет к баскам?

– Чтобы уйти от вас, – просто ответил Штирлиц.

– Куда?

– Куда глаза глядят.

– Почему?

– Потому что я испугался.

– Чего?

– Того, что снова окажусь в том ужасе, в котором был с тридцать третьего года.

– Вы в СД с тридцать третьего?

– Да.

– Давно считаете эту организацию «ужасом»?

– Да.

– С какого времени?

– Это мое дело.

– Почему вы решили, что здесь – после того, как мы вас нашли, – вас ждет такой же ужас?

– Потому что Эрл дал понять, что он не любит вас и не верит вам. Так что моя работа, какая, не знаю, будет, видимо, направлена против вас. А я больше не выдержу того, чтобы быть в заговоре. Он возможен только один раз, причем заговорщики должны победить или же быть уничтоженными. Заговор ломает людям хребет, постоянное ожидание, страх, который получает выход только ночью, накануне той минуты, когда ты проваливаешься в дрему после того, как наглотался намбутала. Понимаете?

– С трудом. Я никогда не участвовал в заговорах. Вы расскажете мне завтра, о чем говорил Эрл?

– Нет. Я сказал вам то, что мог. Если хотите, чтобы у нас состоялся диалог, объясните, отчего он посмел так говорить о вас? Дурак? Нет. Умный. Ваша комбинация? Тогда я не много на вас поставлю – топорная работа. С другим, может, пройдет, со мною нет. Я профессионал, поэтому играю партию на раскрытых картах, страсть как не люблю темнить.

Пол затушил сигарету, поднялся с подоконника, крашенного скользкой краской цвета слоновой кости, пошел к двери.

– Только не удирайте, ладно? – попросил он. – Во-первых, не получится, а во-вторых, мне понравилась ваша живопись. Честное слово.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (сорок шестой)

«Господин Краузе![1]

По полученным мною данным, возможны встречи[2] между Базилио[3] и Бласом.[4]

Это сообщение вызвало серьезную озабоченность в доме Билла[5], здесь думают о том, как можно этому помешать.

В то же время Дон Диего[6] совершенно иначе прореагировал на эту новость, заметив, что любые шаги в настоящий момент преждевременны, поскольку, видимо, Анхел[7] задумал какую-то акцию, смысл которой пока что никому неизвестен.

Дон Диего высказался в том смысле, что разговор[8] не только с Анхелом, но и со всеми его коллегами по Универмагу[9] надо будет провести позже, когда подоспеет время, и разговор этот следует подготовить таким образом, чтобы пребывание Базилио в Универмаге[10] стало вообще невозможным.

Сердечно Ваш Джозеф Ф. Синелман»[11].

РИКТЕР (сорок шестой)

Вильгельм Риктер верил единственному житейскому правилу: быть с теми, кто одержал верх.

...Он поступил на теологический факультет, решив посвятить себя делу служения слову божьему, однако, когда в Германии стало понятно, что Гитлер и его штурмовые отряды прямо-таки рвутся к власти, а церковь сдает позиции по всему фронту, он переориентировался и вступил в СС; громить приходилось не только синагоги, но и те приходы, которые возглавляли священники, стоявшие в оппозиции к национал-социализму.

Поначалу партия использовала его как оратора на диспутах с теми верующими, которые выступали против жестокостей нацистов, несколько раз он писал для «Штюрмера», был принят Юлиусом Штрайхером, который высоко оценил его работу, затем пришел приказ поступить в университет на физико-математический факультет: именно в это время Гитлер заявил, что партии, которая идет к власти, нужны люди с дипломами.

---

[1] Господин Краузе – Гелен.

[2] Встреча – установление дипломатических отношений.

[3] Базилио – Москва.

[4] Блас – Буэнос-Айрес.

[5] Дом Билла – Государственный департамент США.

[6] Дон Диего – Аллен Даллес.

[7] Анхел – президент Аргентины Перон.

[8] Разговор – комбинация, удар.

[9] Коллеги по Универмагу – руководители стран Южной Америки.

[10] Пребывание Базилио в Универмаге – необходимость организовать разрыв дипломатических отношений между СССР и всеми государствами Южной Америки.

[11] Джозеф Синелман – агент «Организации» Гелена V-185.

После того как он сдал экзамены экстерном (членам СС была дана такая привилегия), его рекрутировали в то подразделение, которое занималось наблюдением за учеными, работавшими в секретных научно-исследовательских институтах. Так, по прошествии лет он оказался в группе, которая курировала атомный проект. Он понимал, что физик Рунге и те, кто его поддерживал, стоят на правильном пути; он отдавал себе отчет в том, что именно идея Рунге может привести рейх к обладанию атомным оружием, но большинство ученых, имевших прямые выходы на Геринга, ненавидели этого человека, одержимого своим делом, ничего не желающего видеть вокруг себя; зашоренный, испуганный, не очень развитой, он был истинным гением лишь в своей специальности, а давно известно, что гениальность, не подстрахованная пробойностью, обречена.

Риктер понимал, что арест Рунге был преступлением против рейха, он отдавал себе отчет в том, что устранение физика отбросит Германию назад, но поскольку он исповедовал свой принцип «быть с теми, кто побеждает», а в рейхе давно уже победила одержимая антисемитская тенденция, освященная авторитетом фюрера, он ничего не предпринял для того, чтобы – в угоду Германии, именно ей – победила истина.

Его мысль жила как бы отдельно от плоти; где-то глубоко внутри самого себя Риктер понимал, что война проиграна; он понял это после того, как русские вышли к границам Польши, а англо-американцы начали бои в Голландии, однако он запрещал другому Вильгельму Риктеру не то что думать об этом, он даже боялся слышать этого второго Риктера. И лишь когда союзники разбомбили его коттедж, в котором погибли жена и дети, лишь когда он пришел к руководителю отдела, комплектовавшего группы для эвакуации в Альпийский редут, и тот сказал, что он, Риктер, эвакуации не подлежит, поскольку «проглядел» Рунге, оказавшегося полукровкой, – «паршивый еврей творил у вас под носом свои темные дела, направленные на подрыв оборонной мощи рейха», – только тогда он разрешил себе услышать того Риктера, который родился в нем, и он, этот неведомый ему самому Риктер, сказал, наконец, те слова, которые он запрещал себе раньше слышать: «На какое-то время верх могут одержать идиоты, запуганные главным идиотом, в руках которого власть, но ведь ты же не идиот, ты умеешь понимать смысл формул, их жестокую логику. Почему же ты до сих пор ничего не предпринял, чтобы хоть как-то обеспечить свое будущее?! Ведь то, чему поклонялись все идиоты в этом рейхе, настолько бесчеловечно и преступно, что просто так, безнаказанно, кончиться не может. Грядет расплата, и отвечать будет не только главный маньяк, но и все те, кто служил ему. Чем честнее каждый будет думать о личном благе, тем сильнее государство; только в этом гарантия успеха, а не в слепом следовании тому, что пришло в голову Гитлеру. Но эта истина уже не приложима к рейху, он кончился, вопрос его краха – вопрос месяцев. И ты хочешь погибнуть вместе с идиотами? Почему? Ты понимал Рунге, ведь именно ты первым читал его формулы и восторгался ими! Если бы ты имел власть, ты бы позволил ему закончить его дело, и его осуществленная на практике идея сделала бы тебя победителем,

ты бы получил лавры, ты бы стал отцом атомного оружия, ты бы диктовал свою волю идиотам, ты, и никто другой. Единственная возможность твоего спасения кроется в том, чтобы спасти то, что сделал Рунге; его идеи могут не только гарантировать тебе жизнь, но и дадут возможность отыграться за те унизительные годы безвременья, когда ты был не Риктером, а многими гуттаперчевыми Риктерами, приспосабливавшимися к истерикам и тупицам, не прочитавшим в жизни ни одной сколько-нибудь серьезной научной книги. Ну, действуй! Не будь стадным идиотом! Сейчас или никогда! Борись за будущее, если ты, наконец, смог сказать себе, а главное, услышать правду об ужасе происходящего!»

И он похитил из сейфа – во время суматохи, связанной с эвакуацией, – те документы, которые принадлежали Рунге и его коллегам, сделал копию с них и надежно укрыл в погребе на даче. Но тогда, в сорок пятом, наутро после содеянного, он бы все же не смог до конца точно объяснить – спроси его кто об этом, – почему он поступил именно так.

Риктер понял, отчего он поступил именно так, когда начал свой тяжкий путь в эмиграцию. Он ничего не взял с собою, только два бриллианта, изъятые у жены Рунге во время обыска, и эти расчеты. С ними-то он и приехал в Аргентину, чудом приехал, помог случай, странные стечения счастливых обстоятельств.

Но главное, что спасло его (он это понял значительно позже), была врожденная осторожность: на диспутах против верующих он выступал без истерического надрыва, какой был принят в рейхе, он пытался увещевать, а не звал к немедленной расправе; статью в погромную штюмеровскую газету подписал псевдонимом; выполняя все приказы СС, он тем не менее пытался «микшировать» удары там, где это было возможно, а не взывал к крови.

Поступал он так потому, что осмотрительность, заложенная в его гены, подсказывала: чем тише и незаметнее ты будешь, тем легче сложится твоя жизнь – и в случае неожиданного взлета и при горестном для тебя развитии ситуации. Быть в середине – надежнее, чем рваться в ту или иную сторону; если провидению угодно тебя поднять, оно найдет тебя; если же предстоит удар, он не будет таким сокрушительным, как против тех, кто у всех на виду. Середина, слава середине, в конечном счете именно она есть та зона, где до поры до времени отсиживаются и счастливчики и неудачники.

Сначала Риктер нанялся на работу грузчиком в порту Буэнос-Айреса, платили сносно, снял отдельную комнату, хоть и без удобств, но в тихом районе; по прошествии трех месяцев он начал осматриваться, выехал в центр города, зашел в книжный магазин «АВС», – продажа литературы на немецком языке; познакомился с директором, адрес свой, конечно же, не оставил; купил справочники о персоналиях, партиях и газетах Аргентины, вернулся к себе и засел за конспект; помог опыт университета, как-никак там давали навыки систематического мышления.

Риктер не мог еще толком понять, зачем понадобились эти дорогие книги, но что-то подсказывало ему поступать именно так.

По прошествии трех недель он составил справку, выписав раз-

ными чернилами наиболее серьезные силы, определявшие политическую жизнь страны.

На первое место он поставил Перона; провел под его именем две жирные черты и затем, в порядке последовательности, записал Гражданский радикальный союз, правивший Аргентиной четырнадцать лет, вплоть до тридцатого года, когда власть захватили военные диктаторы и эта партия перешла в оппозицию. Чернилами голубого цвета — чтобы точнее отложилось в памяти — Риктер каллиграфически вывел: «Костяк партии — интеллигенция: ГРС являет собою нечто среднее между консерваторами и либералами Британии, пользуется поддержкой национальной буржуазии, сориентированной на Север континента; имеет влияние среди студенчества, технической интеллигенции, части землевладельцев. Схватку с Пероном проиграет».

Следующей силой он обозначил коммунистов; перечеркнул название партии красными чернилами, затем вывел первые буквы, определявшие название Национально-Демократической партии, организованной временным президентом Аргентины генералом Урибуру, пришедшим к власти в тридцатом году в результате военного переворота.

Поскольку партия опиралась на землевладельцев, бедных крестьян северных провинций, находившихся под опекой духовенства, на чиновничество, погрязшее в коррупции, и на верхушку армии, поскольку именно эта партия не могла, в силу своей структуры, понять, что в двадцатом веке нельзя делать главную ставку на темное крестьянство, отрицать промышленный прогресс и уповать на возвращение к давно ушедшим временам патриархальности и прямой подчиненности массы хозяину, — он перечеркнул и эту партию, ибо именно ее-то и сверг Перон во время переворота сорок третьего года, который он осуществил, опираясь на лозунг «национальной революции, которая построит общество справедливости, имеющее силы противостоять как американскому империализму, так и международному большевизму, общество вертикальных профсоюзов, подчиненных национальному, а не классовому принципу».

Зелеными чернилами Риктер перечеркнул и Социалистическую партию; в ту пору это был даже и не враг; в силу отсутствия четкой программы партия развалилась.

После того как Риктер изучил расстановку партий, персоналии и наиболее серьезные газеты страны (выписал «Кларин», «Пренсу» и «Насьон»), приобрел учебник испанского, пустил в комнату (бесплатно) студента, изучавшего немецкий язык (Мануэль, двадцати трех лет, яростный поклонник Ницше, при этом убежденный антифашист, антиамериканист, антикоммунист, сторонник «эксперимента генералиссимо Франко», человек, равно преклонявшийся перед силой и убеждением, — абсолютный сумбур в голове), и начал посещать собрания, на которых выступали политические лидеры, — естественно, с разрешения перонистских властей, «свобода слова» была контролируема; главное ведь — провозгласить то, чего алчет народ, получить — на этом — его поддержку, а потом можно легко провести такие поправки к законам о «свободах», что все вернется на тоталитарные круги своя.

Более всего Риктер ждал того момента, когда будет выступать Перон; с помощью Мануэля он узнал об этом за неделю; на выступление пришел загодя, чтобы успеть занять место в первом ряду: здешние «латиносы» совершенно безумны, темперамент из ушей капает, надо подстраховаться; слушая речь генерала, окруженного рослыми охранниками, ощущал экзальтированную симпатию собравшихся членов перонистских профсоюзов, когда Перон говорил о «правах рабочих», «гнете империализма», «интригах коммунистов», «национальной общности», Риктер отметил, что в отличие от Гитлера генерал ни разу не требовал крови евреев, которых здесь обосновалось немало, не выступал против славян – югославы, русские и украинцы работали и в порту, правда, язык свой забыли, натурализовались, считали себя истинными аргентинцами; не призывал к «смертельной схватке с врагами нации», не звал к тотальной войне, но, наоборот, говорил о том, что Аргентине нужен мир и лишь для этого она обязана стать могущественнейшей державой, чтобы «проложить всем остальным странам Латиноамериканского континента путь к социальной гармонии и прогрессу». Риктер отметил также, что Перон не подвергал унизительным нападкам парламентаризм, как это всегда делал Гитлер; он не подверг осмеянию интеллигенцию, наоборот, отметил, что «без национальных кадров ученых самого широкого спектра торжество национальной революции не может быть осуществлено в полной мере, ибо именно талант ученых помогает нашему обществу справедливости овладевать высотами знаний, обращенных на пользу нации, проснувшейся ныне и осознающей себя как могучий колосс американского юга».

Все сходится, размышлял Риктер, вышагивая по пустынным улицам города (митинг кончился около полуночи, страсть как любят здесь поговорить), все складывается именно так, как мне мечталось.

Он помнил свои мечты в подробностях, ему теперь показывали их, он был в них триедино действующим; один Риктер сладко мечтал, другой скептически одергивал первого, а третий жил независимо от этих двух, оценивая доводы первого и второго. Он начал жить мечтою еще в рейхе – когда ложился в широкую кровать рядом с Мари-Лизе, запрокидывал руки за голову и, закрыв глаза, дожидался появления сладостных видений. Иногда он видел себя в рейхсканцелярии: навстречу ему идет фюрер, обменивается с ним быстрым рукопожатием, приглашает к столу и говорит о том, как мужественно поступил штурмбанфюрер, пренебрегший угрозами бюрократической махины, изолирующей его, фюрера, от нации, – «Вы совершенно правильно сделали, что обратились ко мне с вашим предложением, я поддержал его, теперь лично вы возглавите исследовательское бюро. Я даю вам звание генерала, через год вы доложите мне о том, что все, задуманное вами, выполнено». Риктер слушал в себе первого, запрещая второму возразить, что такое никогда не может произойти, он прекрасно знал, что такое никогда не случится, но если жизнь такова, что все заранее разложено по полочкам, ничего неожиданного (радостного, понятно) быть не может, жди только неприятностей (идиоты сделали ставку на зависть как на средство охранительного разобщения общества, «сам не могу и тебе

не позволю»), то единственно, что оставалось человеку, не лишенному мыслей, так только мечтать; всякая возможность деятельности была исключена, разрешалось лишь слепое и беспрекословное исполнение приказа, пришедшего сверху.

Потом, когда Мари-Лизе не стало, когда Мюллер кричал на него как на последнего проходимца, когда сгустились тучи и ему грозил Восточный фронт из-за того, что он не просто «просмотрел» еврея, но способствовал ему в «работе», он стал мечтать о другом; чаще всего он видел, как навстречу ему идет Черчилль, берет его руку в свою толстую, оладьистую, стариковски-добрую ладонь и говорит, что союзники приносят ему огромную благодарность за то, что он, Риктер, так долго спасал от ареста выдающегося ученого; он явственно видел, как его, Риктера, награждают каким-то орденом Британской империи, слышал, как протяжно ноют шотландские волынки и офицеры в юбочках берут под козырек, когда он обходит строй почетного караула.

Но и эта мечта исчезла, когда он услышал по лондонскому радио передачу о том, что все офицеры СС отнесены к разряду нацистских преступников и подлежат суду трибунала.

Вот тогда-то и взял верх третий Риктер, задавленный все эти годы Риктером первым и вторым, боявшийся своего первого и второго «я», восхищавшийся ими и одновременно остро их ненавидевший...

Живи реальностями мира, услышал он третьего Риктера; прикидывай все происходящее в мире на себя, на свой интерес, на свою истинную мечту, а ведь она похожа на мечты всех людей, рожденных под этим солнцем; все они мечтают о том, чтобы стать первыми, получить блага этой жизни, оседлать ее, подчинить себе и насладиться ею. Тебе всего тридцать девять, у тебя еще все впереди, ты слишком долго ждал, умертвляя себя, подчинял свою мысль чужому бреду, заставлял находить лазейки для совести, чтобы этот очевидный бред представить себе самому суровой и оправданной необходимостью, которой должно следовать из соображений национальной необходимости, хотя ты прекрасно понимал, что дело не в необходимости, а в трусости, проистекающей из невозможности противостоять идиотам, каждый из которых — и в этом была главная сила режима — в глубине души думал так же, как ты позволяешь себе думать сейчас.

Он не сразу понял, что Перон — его главная надежда, причем не мифическая, эфемерная, вроде Гитлера или Черчилля, но абсолютно реальная; он шел к осознанию этого в потемках, по-прежнему разъедаемый страхом; лишь после того, как он послушал Перона, изучил ситуацию в стране, лишь когда он вступил в профсоюз портовых рабочих и получил вполне легальные документы, он начал действовать. По его просьбе Мануэль пошел в ювелирный магазин на кальe (здесь в отличие от настоящего испанского говорят «каже») Флорида; один из бриллиантов, тот, что поменьше, оценили в астрономическую сумму; студент вышел из стеклянных дверей с вытаращенными глазами; Риктер стремительно пересчитал песо на доллары, выходило что-то около семи тысяч, целое состояние; сказал про-

дать за шесть, но без занесения в книгу регистраций номера паспорта; после этого арендовал двухкомнатную квартиру на тихой Суйпаче, возле кафедрала, купил несколько костюмов (аргентинцы крайне внимательны к тому, как человек одет) и приобрел лицензию на открытие «Фирмы по проблемам современной физики, консультации и проекты», сделав директором-распорядителем того же Мануэля. После этого он напечатал роскошные визитные карточки, зашел в бюро путешествий на авениде Девятого июля и приобрел тур по гористому юго-востоку страны. В маленьком курортном городке Сан-Карлос-де-Баррилоче он задержался на семь дней; дело того стоило; лучшего места для создания атомного проекта не придумаешь: вдали от чужих глаз, роскошное озеро Науэль-Уапи (крайне важно при постройке реактора), совершенно пустынные места (в направлении границы с Чили), где можно спокойно провести испытание «штуки», и к тому же гигантские запасы энергоресурсов – водопады в горах.

Вернувшись в Буэнос-Айрес, он заперся в квартире, работал месяц, потом пригласил Мануэля, и тот сделал перевод его обращения к Перону.

Оно звучало так: «Ваше превосходительство! В течение трех лет я возглавлял в рейхе отдел, занимавшийся созданием атомной бомбы, вся документация которой находится ныне у меня, застрахована и является моей собственностью.

Я слыхал, что в районе Кордовы начались работы по созданию мощной аргентинской авиации и артиллерии; имена моих коллег, приехавших в Вашу замечательную страну, мне известны давно и отнюдь не понаслышке. Однако мой проект даст Аргентине не просто превосходство в самолетах, необходимых для торжества идей Вашей национальной революции, но именно атомное оружие, которое выведет Аргентину на второе место в мире, и этот факт сам по себе докажет всем и вся, как многого может добиться нация, вставшая на путь справедливости и борьбы за высокие идеалы национальной гармонии.

Естественно, этот проект обязан быть высшей тайной государства, ибо как Северная Америка, так и большевики не потерпят появления атомного оружия в руках национальной силы, стоящей на совершенно отличных – как от Вашингтона, так и Москвы – позициях.

Если Вас заинтересует мое предложение, я готов встретиться с Вами, лично с Вами и ни с кем иным, чтобы рассмотреть мой проект. Затем все наши контакты будут прерваны, и я начну практическую работу, которая принесет триумф Вашему делу и сделает Ваше движение главенствующим не только на юге Американского континента.

По вполне понятным причинам – как-никак я выходец из Германии – я не считаю возможным давать мой адрес и телефон. В случае, если это письмо попадет Вам в руки, я буду ждать каждый вторник, начиная со дня отправления документа, Вашего посланца на пересечении авениды Хусто и авениды Сан-Мартин; он обязан быть в том «паккарде», который всегда сопровождает Вас во время Ваших

поразительных выступлений на встречах с профсоюзными активистами; кстати, я являюсь членом одного из ваших профсоюзов. Ваш посланец должен держать в руках книгу Ницше, изданную на немецком языке. Я отдам себя в руки лишь этому человеку.

Я желаю Вам счастья и успехов в том великом деле, которому Вы служите как истинный каудильо нации».

Мануэль взялся передать письмо; заверил Риктера, что его друзья имеют большой вес в Движении; Риктер знал, что все слова пылкого «директора-распорядителя» надо «делить на десять», но иного выхода не было; затаился, приготовился к ожиданию; чтобы время не тянулось столь мучительно, ежедневно посещал «АВС», просматривал книги, пил кофе с директором; отметил для себя, что профессор Танк все чаще бывает здесь во время приездов в столицу; вопрос о том, где сейчас жил Танк, не задавал, понимая, что это может напугать хозяина; зная, что тот обосновался где-то в окрестностях Кордовы, завел знакомство со старухой Фишер, работавшей в отделе комплектации заказов; именно там, в ее комнате, расположенной на втором этаже магазина, сумел полистать книгу постоянных заказчиков; выписал адреса Танка и Руделя, подивившись тому, как просто у него все получилось; просто-напросто это Аргентина, сказал он себе, в рейхе я бы не смог вести себя так раскованно.

Если бы мне удалось достать адрес Штирлица, подумал он тогда впервые; этот человек знал о Рунге все; то, чего физик не говорил никому, он открывал штандартенфюреру, у них были совершенно особые отношения после ареста... Те узлы, которые Рунге не успел записать в документах, остались у него в голове, и он делился своими идеями со Штирлицем, я помню, как они понимающе переглядывались во время очных ставок с теми учеными, которые были противниками идей Рунге. Ничего, главное — начать, недостающие узлы приложатся, в конце концов можно будет подлезть к американцам; на то, что я найду Штирлица, надежды мало, легче искать иголку в стоге сена; такая война; всех разметало черт те куда... Только б состоялось свидание, лишь бы заинтересовались идеей, остальное приложится, я слишком долго ждал, пора когда-то и начинать, а кто в этом мире начинал, имея на руках все козыри?!

На встречу пошел на плохо работавших ногах, тряслись колени, сердце молотило где-то в горле; третий Риктер пытался говорить что-то успокаивающее, разумное, но Риктер первый не внимал ему, повторяя то и дело: «Это конец, сейчас меня возьмут, бросят в подвал, и начнется ужас». Каким будет этот ужас, Риктер представлял себе в мельчайших подробностях: после ареста Рунге ему приказали провести допросы с пристрастием всех, кто был даже в малости причастен к этому делу; работать приходилось вместе со штурмбанфюрером Холтоффом. Тот внимательно смотрел за тем, как Риктер истязал арестованных — круговая порука кровью самая надежная, от нее никуда не денешься, это — до последнего вздоха; крещение ужасом, такое незабываемо.

Впрочем, спасительный второй Риктер успокаивал первого и третьего: «Холтофф погиб, никто, кроме него, о тебе ничего не знает, не думай о плохом, страстно жди хорошего».

...Добравшись до условленного места, Риктер остановился, обливаясь потом; ждал, не в силах пошевелиться.

ШТИРЛИЦ (октябрь сорок шестого)

Отъехав от Бургоса сорок километров, Пол лающе зевнул, лениво посмотрев на Харриса, который с трудом скрыл недоуменное раздражение, – нельзя же так навязчиво демонстрировать плохое воспитание; если это манера поведения, тщательно продуманный эпатаж, некий наработанный стиль, то надо знать, где и когда им пользоваться. Хотя, возразил он себе, мы знакомы всего полтора часа, да и обстоятельства нашей встречи были в чем-то унизительны: Клаудиа просто-напросто не заметила меня, и это не было наигрышем – она до сих пор увлечена этим Максом, какая же у него тогда была фамилия, черт возьми? Ах, ну при чем здесь его фамилия?! После того как ты ощутил свою мужскую малость, как ты сможешь знакомиться с другой женщиной, приглашать ее на ужин, звать в свою квартиру, вести к постели, если тебе снова, в который уже раз, дали понять, что ты никакой не мужик, так, удобная подушка! Все они животные, подумал он вдруг с отчаянной яростью, похотливые животные, которым нужна сила, ничего, кроме силы! Этот Макс играл в теннис, я помню, он всегда возил в своем автомобиле две ракетки и дюжину мячей, каких-то особых, ярко-красного цвета, в этом тоже была бравада, желание не походить на других. (Он не знал, конечно, что красные мячи на корте были условным сигналом для связника.) А ты, продолжал горестно думать Харрис, уныло живешь по законам того клуба, в котором тебя воспитали: «джентльмена определяют манеры; сдержанность, во всем и всегда сдержанность; если кто-либо смог заметить на твоем лице гнев, радость или печаль, ты недостаточно силен, следовательно, дурно воспитан – все мое надо носить в себе». А этот Макс никогда не носил свое в себе. Он был постоянно открыт. И сейчас он открыт и уверен в себе, хотя его страна стоит на коленях и превращена в картофельное поле Европы... Ах, при чем здесь его страна?! Что это за островные амбиции – думать о мире, когда в своем доме все рушится. Мне так легко с проституткой, я фантазирую с нею, не боюсь спрашивать, как ей было с другим, это зажигает меня, я втягиваюсь в соревнование с незнакомым соперником, это дает мне сил, но стоит увлечься порядочной женщиной, стоит поддаться трепетным чарам любви, как наступает крах, я ничего не могу, мне боязно обидеть ее вопросом или взглядом, какая чушь...

– Слушайте, Боб, – сказал Роумэн, – можно я буду вас называть Боб? Это сэкономит уйму времени. Вместо шести букв только три, причем «р» произносится как две буквы, очень раскатывается, считайте семь, а не шесть.

– Тогда я стану называть вас просто Пэ. Согласны?

– Да как угодно! Можете Пэ. Или Рэ.

– Почему?

– Сокращенное от «Роумэн». За те дни, которые нам отпущены для бесед, набежит секунд сорок, это дело. Вы машину водите?

– О, да, конечно.

Пол покачал головой:

– Только не сердитесь, ладно, тогда я вам кое-что скажу.

– Я не знаю, как сердятся, дорогой Пэ. Или я дружу, или воюю, третьего не дано.

– Дано, дано! Вон как сверлили Бользена глазами, даже лицо осунулось. Нет, правда, а отчего вместо одного «да» вы ответили «о, да, конечно»?

– Оттого, что я так привык. Почему бы вам не сдерживать зевоту, например? Вы зеваете очень некрасиво, раскрываете рот, как депо, а зубы у вас отнюдь не такой кондиции, чтобы демонстрировать их посторонним.

– Именно посторонним и надо демонстрировать недостатки. Если они их примут, значит, станут друзьями. Если презрительно отвергнут – отойдут в стан недругов. Конкретика, во всем конкретика, да здравствует конкретика! Садитесь за руль, я боюсь уснуть, я засыпаю за рулем, понимаете?

– Хорошо, я охотно подменю вас.

– Любите быструю езду?

– Я предпочитаю ездить медленно, чтобы иметь возможность увидеть то, мимо чего проезжаешь. Быструю езду ненавижу.

– Уж и ненавидите, – снова хмыкнул Пол, остановив машину так резко, что занесло задок. – Выходит, я ее обожаю? Вы сторонник полярности? Третьего не дано и так далее? Но хоть по отношению к манере езды могут быть хоть какие-то оттенки? «Не очень люблю». Так ведь тоже можно сказать.

– Вы противоречите себе, Пэ. Вы себе грубо противоречите. Следуя нашей логике, слово «ненавижу» – это экономия секунд, а «не очень люблю» – расточительство. Мы же теперь во всем учимся у вас. Несчастные островитяне без колоний, какая-то медуза вместо империи, мифическое содружество, которое окончательно распадется без вашей протекции.

– Это точно, – согласился Пол, – разнесут по камню.

Он вышел из машины, помахал руками, сделал несколько приседаний, тщательно высморкался, сел на заднее сиденье, устроился поудобнее, вытянув ноги (хотел положить на спинку, но понял, что англичанин этого не переживет; если б я хоть что-то знал о нем, если б у меня был к нему серьезный оперативный интерес, надо было б позлить, очень способствует дружеству; сходятся именно те люди, которые начинали со ссоры), сунул ладонь под щеку и попросил себя уснуть.

– Вам не очень помешает, Пэ, если я включу радио? Я постоянно слушаю радио, когда приезжаю в чужую страну, – спросил Харрис.

– Валяйте. Только здесь слушать нечего, заранее известно, что скажут, могу написать загодя, а вы потом сверите с официальным текстом.

Харрис включил радио; передавали песни; последнее время Франко снял запрет на американские джазы – ждал, как прореагирует Вашингтон на столь «смелый жест». Они тут каждый пук рас-

сматривают как внешнеполитическую акцию, подумал Роумэн. Будто нам делать нечего, кроме как анализировать, кто стоит за тем, что здесь разрешили дудеть нашим трубачам! Тоже мне, событие! Дудят себе, ну и пусть дудят, кому это мешает?! Гитлеру-то мешало, возразил он себе. «Американский джаз — искусство кривляющихся черных недочеловеков, разнузданные ритмы животных, глумление над великой музыкальной мыслью Вагнера и Баха». При чем здесь Вагнер и Бах? Это как если заставить промышленность лить одну сталь, запретив выпуск трусиков. Интересно, если б в Германии разрешили наш джаз, кто бы стоял за этим? Геринг? Пожалуй. Чудовище, конечно, но все же в нем были какие-то проблески живого человека. Остальные — фанатики, больные люди, психи, которым отдали на управление восемьдесят миллионов... Между прочим, картины Штирлица тоже не подарочек для их фюрера... Могли б сорвать погоны за эдакие-то цвета, размытость форм, личностность в отношении к пейзажу и портрету. Наверное, поэтому он и оставил все это в Испании. А что, здесь легче? Нет, просто, наверное, он верит этой бабе. Хорошая баба. Чем-то похожа на ту, курносую, в веснушках, которая стояла на Сан-Педро, чудо, что за девушка. А достанется какому-нибудь ублюдку. Нет, видимо, все-таки этот Бользен ехал к ней. Я бы на его месте поехал к такой красотке. Все в нашей жизни — хотим мы того или нет — зависит от женщины. Если ты вытащил выигрышный жетон в сумасшедшей лотерее жизни — будешь счастлив; промахнул — пеняй на себя, пей виски, кури, шастай по девкам, чтобы скорее закончить пребывание на шарике, все равно радости не дождешься. Да, но отчего он все-таки купил один билет в Сан-Себастьян? Он ведь мог взять два места. Да и потом, теперь у него есть деньги, вполне можно было арендовать автомобиль. Я бы поступил именно так, будь у меня приятельница, похожая на зеленоглазую. Не мерь всех на себя, эта снобская манера никого к добру не приводила, сказал он себе, старайся примыслить человека, приблизить его к себе, но ни в коем случае не идентифицировать с собою; расчет его особенностей, привычек, выявленных черт характера и знакомств, позволит тебе составить более или менее верный психологический портрет. Значит, надо просчитывать эту самую Клаудиа, да и Харриса тоже, тем более что он из «Бэлл», а в том, что против меня плетет Эрл Джекобс с его бандой, надо тщательно разобраться, я ощущаю какой-то холод вокруг себя, я боюсь признаться себе в этом, но рано или поздно придется сесть за стол, взять перо и записать те позиции, которые меня стали беспокоить. Может быть, я слишком резко возражал против того, чтобы начинать альянс с разведкой Гитлера? Но ведь было бы глубоко непатриотично по отношению к Америке, если бы я высказывался за такого рода альянс! Мы измажемся в дерьме на глазах у всего мира, и отмыться будет не просто, скорее, даже невозможно. Все верно, меня не в чем упрекнуть. Но я снова впадаю в ошибку, возразил он себе. Я мыслю, как логик, а ведь у нас появились люди, исповедующие чувство, а не логику. И появились они не в театре, там — пускай себе, там даже надо так, но в Вашингтоне. Но я все равно никогда, ни при каких условиях не смогу согласиться с проектом использования нем-

цев в целях обороны свободного мира. Делать вакцину против холеры, чтобы заразиться чумой? Перспектива не из радостных. Нет, но отчего же меня так поразили картины этого самого Бользена? Они поразили тебя потому, сказал он себе, что он очень закрытый человек, а в живописи открылся, сделавшись уязвимым. И эта его внезапная открытость дает мне возможность использовать его для того, чтобы выявить всю сеть эсэсовцев, разбросанную не только в Испании, но и по всему миру; в Аргентине их пруд пруди, да и в Чили тысячи. Он будет моей козырной картой, именно он. Пусть тогда Эрл и его ИТТ попробуют ударить меня. Я отвечу фактами, и это будет такой удар, который положит в нокаут каждого, кто решит поставить мне подножку, это будет удар по тем истерикам, которые в своем страхе перед русскими готовы пойти на альянс с гвардией Гитлера. Бользен начнет работу с испанцами и ИТТ. Те и другие выведут его на тайные связи. Они станут моими. Если даже Бользен отдаст мне десятую часть информации, а он, видно, умеет ее дозировать, мое наблюдение дополнит то, что он решит скрыть. Он будет наводчиком, так даже удобнее, пусть, в конечном счете следует считаться с чувством человеческого достоинства, с ним иначе нельзя, он сокрыт в себе самом, он отличается ото всех тех наци, с которыми мне приходилось встречаться — и с теми, которые меня пытали в Брюкке, и с теми, которые сейчас живут здесь и читают лекции про угрозу мирового большевизма. Ладно, хватит, завтра у тебя много дел, а сегодня вечером ты должен накачать виски этого британца и разговорить его по поводу «Бэлл», ИТТ и всего остального, а потом положить его к какой-нибудь потаскушке, его только что извозили мордой об угол стола, очень обидно, я понимаю бедолагу, ещ; как понимаю. Спи, приказал он себе, вспомни маму и усни, ты легко засыпаешь, когда заставишь себя увидеть маму, услышишь ее голос и станешь затаенно ждать, когда она начнет рассказывать тебе страшную сказку с хорошим концом.

А Харрис гнал машину, выжимая акселератор до отказа, и по-прежнему думал о том, что все эти «Бэлл», ИТТ, «Мэйлы», диктатуры, демократии, генералы ничто в сравнении с тем, что произошло у Клаудии. Нам осталось жить сущую ерунду, говорил он себе, какие-то пять-десять лет; можно считать, что мне уже сорок восемь, до декабря всего ничего, отпущен хвостик, а я один, всю жизнь один, потому что ждал, каждый день ждал встречи с чудом и проходил мимо того, что казалось обыкновенным, Клаудиа виделась мне простой испанкой, которая мечтает о том, чтобы нарожать кучу детей, устраивать ежедневные уборки, наблюдая за тем, как служанка развешивает на солнце простыни, посещать церковь и раз в год выезжать к морю, чтобы потом говорить об этом всю зиму. Но ведь она не такая, я сам виноват в том, что придумал себе такой образ, я не смог ее понять, навязать ей ее же саму, мужчина — если он настоящий мужчина, а не мозгляк, вроде меня, — обязан навязать женщине тот образ, который создал в своем воображении, она бы смогла реализовать это, наверняка смогла. Все беды происходят из-за недогово-

ренностей, боимся выглядеть смешным, слишком властным, слабым или чересчур сильным, а надо всегда быть самим собою, а я всю жизнь играл в тот образ, который придумал себе в колледже, стругал себя под этот идеал и достругался. А Штирлиц... Да, да, его тогда звали Штирлиц, верно, как же я мог это забыть, никакой не Бользен, а Штирлиц, а Клаудиа звала его Эстилиц и всегда замыкалась, когда я спрашивал ее о нем, и никогда не убирала его фотографии со столика, несмотря на то, что он не писал ей и не звонил; исчез, как в воду канул, а она все равно хранила его фотографии. А я приносил ей цветы и мучил ее разговорами про живопись Сислея и открытия Резерфорда. А ей нужен был мужик, властный и сильный. И мне теперь, когда я понял это, конец. Я не смогу подняться. И не вздумай лгать себе, что сможешь. Думай о приспособлениях, тебе ничего другого не остается, сочини для себя пристойную и приемлемую ложь и следуй ей; найми какую-нибудь танцовщицу, тебе же нравятся женщины абсолютных форм, попробуй найти балеринку, которая нуждается в покровительстве, подчини ее себе и чувствуй подле нее свою силу. Или вытащи из бардака какую-нибудь проститутку, сними квартиру, она станет боготворить тебя, проститутки благодарные люди, они платят добром за добро. Ну да, возразил он себе, конечно, добром, как же иначе, только в ее животной памяти постоянно будут все кобели, а ты со своими комплексами будешь вроде как на десерт; когда человек сыт, он не откажет себе в том, чтобы съесть маленький кусочек вонючего сыра. Ты — не мясо, Роберт, ты сыр, сухой и невкусный, который подает твой дворецкий Бенджамин на серебряном блюде, приросшем к его тонкой руке в синих склеротических прожилках.

Он снова представил себе, что сейчас происходит в доме Клаудии, явственно увидел, что вытворяет этот холодноглазый Штирлиц с женщиной, как он делает ее покорным животным, зажмурился, подумав, что это гнев поднялся в нем, однако нашел в себе силу признаться в том, что никакой это не гнев, а обычная похотливая ревность, которая всегда рождается на ущербном комплексе собственной неполноценности, сокрытом в самой таинственной глубине человеческой субстанции, именуемой Робертом Спенсером Харрисом.

А Штирлиц в это время лежал на тахте и наблюдал за тем, как доктор, вызванный перепуганной Клаудией, вводил ему в вену какую-то тягучую черную жидкость, и думал, что такого еще не было с ним: и боли его мучили, и хромота донимала в те дни, когда менялась погода, но чтобы терять сознание за столом и сползать безжизненно на пол — такого пока не случалось.

Это от нервных нагрузок, сказал он себе, больше этого не будет, потому что игра вошла в заключительную стадию, никаких неясностей; Пол теперь узнает мою настоящую фамилию и предпримет такие шаги, которые выведут на меня тех, кто заинтересован в том, чтобы до конца понять, кто я есть на самом деле. Я не знаю, кто это будет — те, кто стоит за Кемпом, если за ним действительно кто-то стоит; его, Пола, боссы, обладающие правом анализа всех архивов;

кто-то третий, вообще неведомый, но теперь все убыстрится, у меня просто-напросто не будет возможности выпустить себя из-под контроля, как это случилось здесь, только что. Это объяснимо, я почувствовал здесь не просто островок безопасности, я вдруг ощутил любовь, я отвык от того, чтобы даже позволить себе думать, что тебя любят, что ты нужен кому-то в этом жестоком и пустом мире, что тебя ждут, и это не там, куда невозможно добраться из-за тех линий, которые проведены легкими пунктирами на вощеных листах географических карт, а наяву становятся надолбами и шлагбаумами, но здесь, рядом, подле тебя всего шесть часов поездом или семь на автобусе, сущая безделица.

— Придется полежать недельку дома, — сказал доктор. — Я затрудняюсь сказать, что с вами было, видимо, следствие несчастного случая, — он снова посмотрел на грудь Штирлица, разорванную белым хрустким шрамом. — А может быть, это легкий спазм сосудов головного мозга. Я пропишу вам сбор трав, здесь в горах прекрасные травы, это наладит вам давление. Только исключите алкоголь и никотин.

— Не исключу, — сказал Штирлиц. — Заранее обещаю: ни в коем случае не исключу.

— Но это неразумно.

— Именно поэтому и не исключу. Когда надобно каждую минуту включать разум, чтобы не сыграть в ящик, тогда жизнь теряет свою прелесть. Нет, лучше уж жить столько, сколько тебе отпущено богом, не думая каждую секунду, как ты поступил, помрешь или выживешь...

Доктор посмотрел на Клаудиа с изумлением:

— Сеньора, вы должны заставить мужа подчиняться моей просьбе.

— Все, что делает сеньор — правильно, — сказала Клаудиа, — благодарю вас, вы очень помогли, набор трав он пить не станет, лекарства тоже. Молю бога, чтобы он скорее смог вернуться на корт, это его спасет.

— Какой корт?! — доктор всплеснул руками: — Это — смерть! В его состоянии необходим покой! Никаких резких движений!

— Он саморегулируемый, — улыбнулась Клаудиа. — Любое предписание для него форма диктата, а он не выносит диктата... Пока еще встречаются такие мужчины, их очень мало, но за это мы их так любим... Все остальные рады подчиниться, а он не умеет приказывать, а уж тем более подчиниться.

— Вы говорите, как англичанка, сеньора.

— Я говорю, как женщина, доктор.

Клаудиа проводила старика в прихожую, положила ему в карман надушенный конверт с деньгами, выслушала шепот доктора про то, что положение сеньора весьма и весьма тревожное, попросила разрешения обратиться еще раз — в случае крайней нужды, выслушала любезное согласие и вернулась в гостиную.

— Включи радио, — попросил Штирлиц. — У тебя слишком тихо, я жил последние месяцы в таких комнатах, где окна выходили на улицу, привык к постоянному шуму.

— Какую станцию найти?

– Любую.
– Музыку? Или новости?
– Все равно. А потом сядь ко мне, зеленоглазая.
Она нашла станцию, которая передавала хорошую музыку, песни Астурии, очень мелодичные и грустные, подошла к тахте, опустилась на ковер у изголовья, так, что ее лицо было вровень с лицом Штирлица, поцеловала его лоб быстрыми, легкими поцелуями, они были очень целомудренны, наверное, так мать целует дитя, подумал Штирлиц, я никогда не ощущал этого, я не помню маму, отец не целовал меня с тех пор, как я подрос и отстранился от него; мальчики смущаются открытых проявлений отцовской ласки, а папа тогда обиделся, он после этого ждал, когда я подойду к нему и ткнусь лицом в ухо, только после этого он обнимал меня, гладил голову и быстро, как Клаудиа, прикасался к моей щеке сухими губами...
– Ты попросишь свою горничную купить мне билет на поезд?
– Нет.
– Почему?
– Потому что я очень не хочу, чтобы ты уезжал.
– Я тоже не хочу. Но я вернусь. Если хочешь, навести меня в Мадриде. У меня теперь сносная квартира.
– Конечно, хочу. Я бы навестила тебя и в подвале.
– Спасибо, – он погладил ее по щеке, она нашла губами его ладонь, поцеловала ее, замерла.
– Господи, какое это счастье, что я вижу тебя... Я так металась после того, как ты уехал, так искала кого-то, кто хоть в малости б на тебя походил... Никто не поверит, скажи я, что ты не спал в моей постели... Какие глупые мужчины, какие они все мнительные и слабые... Но я все равно положу тебя к себе, – улыбнулась она. – Сейчас ты просто так от меня не отделаешься.
– Ты думаешь, я откажусь? – улыбнулся Штирлиц. – Я не откажусь. Только боюсь тебя огорчить, я плохой любовник...
– Откуда ты знаешь, что такое хороший любовник? У женщин все это совсем по-другому, чем у вас. Вам самое главное то, а нам всего дороже, что до и после.
– Тогда я подойду, – снова улыбнулся Штирлиц. – До и после гарантирую.
– Тебе лучше?
– Конечно.
– Ты рад меня видеть?
– Да.
– На твоем месте испанец ответил бы «очень».
– Но ведь я не испанец.
– Сделать тебе кофе?
– Не надо. Побудь рядом.
Она вздохнула:
– Это у тебя называется «побудь рядом»?
– Я извращенец.
– Знаешь, почему я влюбилась в тебя?
– Вот уж нет.
– Потому что ты вроде девушки. Такой же застенчивый.

– Да?

– Конечно.

– А я почему-то казался себе мужественным, – улыбнулся он.

– Это само собой. Но ведь ты всегда старался скрывать свою силу. Ты играл все время, и со мною тоже играл, но только нельзя играть с женщиной, которая влюблена. Она все знает и чувствует. Как секретная полиция.

– Секретная полиция считает, что она знает, а на самом деле ни черта она не знает, потому что собирает сплетни у других, а каждый живет своими представлениями, а человеческие представления такие разные, так много вздорного в их подоплеке... К тебе приходила секретная полиция после того, как я уехал?

– Меня вызывали.

– Ты, я помню, дружила с итальянцами... Тебя вызывала их секретная служба? Или испанская?

– Немецкая тоже.

– Да? Черт, странно. Чего им было от тебя надо?

– Они спрашивали о тебе.

– Я понимаю, что не о Гитлере.

– Кто у тебя бывал... О чем вы говорили... Что ты любил есть. Какие песни слушал по радио.

– А что ты им отвечала?

– Я говорила им неправду. Ты любил испанские песни, а я отвечала, что ты слушал только немецкие. Ты ел тортилью и очень хвалил, как я ее готовила, а я говорила, что ты просил кормить тебя национальной кухней.

– Какой именно?

– Немецкой.

– Я понимаю, что не японской. Но ведь они спросили тебя, что я более всего любил в немецкой кухне, нет?

– Конечно. Я ответила, что ты обожал капусту и жареное мясо.

– Какое мясо? – снова улыбнулся Штирлиц.

– Ну, конечно, мясо быков.

Вот так благими намерениями стелят дорогу в ад, подумал Штирлиц. Они поняли ее ложь, когда она сказала про мясо быков, потому что истинный немец больше всего любит свинину – постную, жирную, неважно, но – свинину, только аристократы предпочитали седло косули или вырезку оленя. Вот почему Холтофф так долго расспрашивал меня, какое мясо я более всего люблю и какие песни предпочитаю слушать. Какое тотальное недоверие друг к другу! Какой страх был вбит в людские души Гитлером, как быстро смогли умертвить такие категории, как вера и дружество; каждый – с рождения – считался потенциальным изменником... Но ведь если идея Гитлера – как они вопили на каждом углу – самая истинная, отчего же изменять ей?! Каков резон? Нет, все-таки они ни во что не верили, сказал себе Штирлиц; тотальный цинизм; мало-мальски думающие все знали про бред безумного фюрера, но служили ему, понимая, что дороги к отступлению нет, отрезана; «я – замазан, значит, и остальных, тех, что ниже, надо постепенно превратить в пособников, замарать кровью, приучить к недоверию и подозрительно-

сти, только это гарантирует постоянство нашей неконтролируемой, несменяемой, сладкой власти».

– Покормить тебя, Эстилиц?

– Лучше побудь со мной, зеленая... То есть посиди рядом... Я так должен говорить, нет?

– Говори как хочешь... Это такое счастье слышать твой голос, он у тебя какой-то особенный.

Он снова погладил ее по щеке; музыка кончилась, диктор начал зачитывать последние известия; прыжок цен на доллары в Цюрихе; новая демонстрация Кремля на пути к мировой агрессии, предполагаемый приезд русской дипломатической миссии в Аргентину и негативная реакция со стороны Белого дома на этот шаг правого националиста Перона, погода в Андалусии...

Штирлиц рывком поднялся, не успев испугаться, что снова разольется боль, обмен дипломатическими миссиями между Аргентиной и Москвой. Вот оно, спасение! Не Харрис, это миф, ему опасно верить потому, что слишком раним и слаб на излом, поддается влиянию, оттого, что хочет быть суперменом, не игра в прятки с Полом, за которым сокрыта какая-то тайна, нет, именно Аргентина! Надо сделать так, чтобы Пол или ИТТ, какая разница, стали заинтересованы в моем откомандировании в Буэнос-Айрес. Надо до конца понять, что им от меня нужно, потом подставиться, а затем уж навязать свое решение – «я выполню все, что вам надо именно в Аргентине, там у меня связи, я найду связи, и сделаю то, что вы задумали»... Только не торопиться, только подвести их к такого рода мысли, только выдержка, пружинность, анализ...

– Что ты, Эстилиц?

– Ничего, – ответил он. – Очень вдруг захотелось перекусить. Ты умница, ты чувствуешь меня лучше, чем я себя. Что у тебя есть, зеленая? Чем ты можешь меня угостить?

– Ты, конечно, хочешь получить тортилью? Или вкусы изменились?

– Вкусы, как и характер, не меняются.

– А еще у меня есть прекрасный, темно-красный, очень сухой хамон, прислал дон Антонио, помнишь его?

– Главный фалангист? У него мясная лавка возле Пласа-Майор?

– Да. Милый человек, добрый, у него большое сердце.

– Сердца у всех одинаковые. Наверняка он стал присылать тебе хамон после того, как у него умерла жена...

– Откуда ты знаешь?

– Я не знал. Просто я построил логическую схему и вышло, что у него нет иного резона присылать тебе хамон, кроме как через это подкрасться к твоей спальне.

– Он из тех, кто крадется не к спальне, а к церкви. Посетив священника и вдев палец в кольцо, дверь в спальню женщины можно открывать левой ногой... Зря я не спросила доктора, можно ли тебе пить вино...

– Можно. Если он рекомендует травы, то вино тем более годится.

– А вдруг тебе снова станет плохо?

– Тогда ты устроишь прекрасные похороны. Пригласишь ор-

кестр и попросишь Роберта Харриса произнести речь около моей могилы.

– Чтоб у тебя отвалился язык!

– Мне будет очень трудно без этой части тела, – вздохнул Штирлиц. – Это для меня то же, что руки для хорошего столяра.

Он сел к столу; Клаудиа прикоснулась губами к его макушке и вышла из гостиной; по радио по-прежнему пели; следующие последние известия будут только через сорок пять минут; надо бы поискать другие станции, может быть, уже появились комментарии по поводу обмена дипломатическими миссиями между Москвой и Аргентиной; это серьезное событие в нынешнем раскладе политических сил; видимо, Перон делает очередной жест, надеясь, что это даст ему голоса рабочих и левой интеллигенции. Или втягивает нас в свою политическую борьбу? Задирает американцев? Торг? Довести северного партнера до степени каления, а потом подписать выгодный договор? Логично. В такого рода торге всегда необходимо иметь про запас противовес; чем Россия не противовес? Я не верю, что Перон пошел на установление отношений только потому, что ныне вне и без нас мировая политика невозможна. Закрывать на это глаза – удел болванов, а они не засиживаются в президентских дворцах. Злодей и палач может царствовать долго, а вот болвана столкнут те, кто рядом, стоит им до конца убедиться в том, что человек, подвинутый с их помощью к лидерству, на самом деле нерасторопен и лишен гибкости, столь необходимой в постоянно меняющемся, саморегулирующемся деле политики.

С Полом надо говорить в открытую. Только б понять его истинную позицию. В чем их расхождения с Эрлом? Кто на кого работает? Так резко этот вопрос нельзя ставить. А может, именно так? Да, вопрос сформулирован без должного изящества, да, в лоб, но чтобы понять правду, надо упростить задачу до примитива. Потом можно заняться столь угодными моему сердцу подробностями, изучение которых даст понимание самого главного, но пока необходимо свести задачу к абсолютной простоте. Воистину «нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту».

Парни Пола, которые подкатили ко мне на авениде Хенералиссимо, явно не любят наци, стоит вспомнить того, что со шрамом; в его глазах была нескрываемая ненависть ко мне; это замечательно. Надо сделать так – я еще, понятно, не знаю каким образом, – чтобы Пол свел меня с ним. Надо создать ситуацию, в которой мне потребуется их помощь; они любят играть в благотворительность, что ж, пойдем им навстречу. Надо бы посмотреть американские детективы. Спасибо Франко, что позволил владельцам кинотеатров показывать эти картины, в ближайшее время мне потребуется учебное пособие такого рода. Чтобы они поняли меня, я должен понять их. Или хотя бы приблизиться к тому, что считается пониманием.

Штирлиц полез за сигаретами; измялись; отчего-то вспомнил Кемпа; глубоко затянулся, испытывая чувство мальчишеского наслаждения; действительно, запретный плод сладок, и это соотносится не только с грехом Адама и Евы; если бы доктор не запрещал все и вся, я бы ощутил обычную горечь, представил бы свой желтый

язык и ту гадость, которая будет во рту наутро, но сейчас я действительно подобен мальчишке, который делает торопливую, неумелую затяжку и кажется самому себе героем, представляет себя со стороны израненным и седым; бедные дети, ну зачем они играют во взрослых?! Впрочем, в кого им еще играть? Казаки или разбойники, они же взрослые, а что взрослые делают? Воюют. У девочек — мамы и дочки, не сыновья же, они непослушные, их нельзя так податливо вертеть, кормить, мыть, шлепать, лечить, целовать, ставить в угол, как дочек, хотя повзрослевшие сыновья более добры к матерям, мягче относятся к старости, больше заботятся о своих мамах, дочери уходят в свою семью, первое место занимают их дети, мать отступает на второй или третий план, и, кстати, считает это само собой разумеющимся, вот они, законы, которые не поддаются корректировке, в отличие от всех других, придуманных людьми, пусть даже таким и мудрыми, как Марат или Вашингтон...

Ты думаешь об этом, сказал себе Штирлиц, чтобы не позволить услышать ту мысль, которая родилась и от которой тебе будет очень трудно избавиться. Ты логик, ты подчиняешь себя схеме, и эта схема увиделась тебе — впервые за последние месяцы — более или менее предметно, и в этой схеме существенный узел ты отводишь Клаудии; не обманывай себя, это так, и хотя ты понимаешь, что это жестоко и нечестно по отношению к женщине, все равно ты не можешь понудить себя вывести ее из задуманной схемы, потому что без нее все построение может рухнуть.

Да, ответил он себе, это верно, она вошла в мою схему, вошла сразу же, как только меня нашел Пол, вошла — тогда еще импульсивно, не осмысленно, — как единственный шанс на спасение; после того как мы пришли сюда, и я увидел ее прекрасные зеленые глаза и прочитал в них то, что она ни от кого и не думала скрывать, в моей голове возник план спасения, шанс на возвращение домой, и в этой схеме я невольно сделал ее узлом номер один, потому что именно она может запросить визу во Францию и передать там мое письмо в посольство и привезти мне ответ от своих... А почему, собственно, ей должны вручить ответ? Почему ей должны поверить? Я бы долго думал, прежде чем поверить и вручить в третьи руки жизнь товарища, оказавшегося в жутком положении... И не только в таком варианте ты рассчитывал на нее, сказал себе Штирлиц; ты сразу понял, что ей могут не поверить, и думал, что, женившись на ней, ты приобретешь гражданство и естественное право передвижения, но ведь это бесчестно использовать любовь женщины, даже если в подоплеке корысти святое. Ты не вправе пойти на это, потому что потом, если все кончится благополучно и ты вернешься на Родину, ты не сможешь без содрогания смотреть на себя в зеркало. Нельзя свое благополучие строить на горе других; человек, преступивший нормы морали даже во имя святого, все равно сползает во вседозволенность, которая и есть фашизм.

...Клаудиа принесла маленькую красивую сковородку с тортильей, помнила, что Штирлиц не любил, когда это крестьянское, шипящее, в оливковом масле чертовски вкусное блюдо перекладывали на тарелку, терялось нечто такое, что собирало картофель, яйца, кусочки хамона и зелень в единое, совершенно новое качество.

– Какое вино ты будешь пить, Эстилиц?

– Белое.

– Я не держу белого... У меня только тинто. И бутылка «росадо», прошлогоднее, из Памплоны, с Сан-Фермина...

– Ты была в прошлом году на фиесте?

– Я каждый год бываю на фиесте. И бегу по калье Эстафета, чтобы не почувствовать себя старухой.

– Я бы выпил «росадо» за зеленую, которая никогда не будет старухой.

– А я выпью за то, что ты вернулся...

– Я еще не вернулся, зеленая. Я просто навестил тебя. А потом уеду.

– Но ты ведь пригласил меня к себе?

– В гости, – сказал Штирлиц. – Я покажу тебе Мадрид так, как его никто не покажет.

– Я ведь ни на что не претендую, Эстилиц. Я просто счастлива, что смогу видеть тебя... Иногда... Когда буду приезжать к тебе в гости... Оставь мне это право.

– Не сердись.

– Я радуюсь. Я все время радуюсь, почему я должна сердиться?

– Не обманывай меня.

– Тогда будет очень плохо. Женщина должна постоянно обманывать мужчину, она должна быть такой, какой он хочет ее видеть, она должна прятать себя самое, только тогда они будут счастливы и никогда не станут в тягость друг другу.

– Я не думал, что ты такая мудрая.

– Я совсем даже не мудрая. Просто я могу быть с тобою такой, какая есть. Раньше я не могла быть такой. Надо было, чтобы прошли годы и чтобы я поняла, кто ты и что ты значил в моей жизни, чтобы я была самой собою, когда говорю. Раньше я была дурой, не решалась говорить то, что думала. Я все время норовила говорить то, что надо, а не то, о чем думала. Будь неладна школа, которая делала все, чтобы научить нас быть как все, обстругать, словно бревно... А как можно любить гладкое, безликое бревно? Поэты воспевают деревца и цветы, а не бревна. Только вот беда, ты начинаешь понимать, что надо быть собою, настоящей, а не такой, какую хотят видеть окружающие, когда уже поздно, жизнь прошла, все кончено...

Штирлиц поднял свой бокал с легким розовым вином, потянулся к Клаудии, чокнулся с ее носом, выпил, снова достал сигарету.

– У меня есть пуро, – сказала Клаудиа. – Я дам тебе пуро после кофе.

– Я их терпеть не могу, честно говоря. Угощай ими тех, кто любит крепкий табак.

– Зачем ты меня обидел?

– Я? Нет, я и не думал обижать тебя. Я тоже очень хочу быть таким, какой есть. Поэтому сказал, как подумал, а не то, что должен был ответить привычно воспитанный кабальеро.

– Ты будешь приезжать ко мне?

– Да.

– Часто?

– Не знаю.

– Ты и раньше никогда не отвечал определенно, Эстилиц.

– Это плохо?

– Тогда – очень. Мне ведь тогда было тридцать, и поэтому я считала себя молодой, а в молодости все хотят определенности, чтоб обязательно в церковь, а потом дети в доме, много детей, а потом, а потом, а потом... То-то и оно... Высшая определенность как раз и заключена в неопределенности, постоянная надежда на то, что вот-вот случится чудо.

– Удобно. Когда ты пришла к этому?

– После того, как получила массу предложений на определенность... Да и вот этот Роберт Харрис... Такая определенность хуже одиночества, ведь если вдвоем, но тебе с ним плохо, тогда даже и мечтать ни о чем нельзя... Отчаянье, крушение надежд, раннее старение, да еще в стране, где развод запрещен по закону...

– Разрешат.

– Никогда. Где угодно, только не в Испании.

– Разрешат, – повторил Штирлиц. – Так что если возникнет пристойное предложение – соглашайся.

Женщина допила свое вино, очень аккуратно поставила бокал, словно боясь разбить его, и спросила:

– Я могу тебе чем-то помочь?

Штирлиц долго молчал; вопрос застал его врасплох; ответил неохотно, словно бы противясь самому себе:

– Может быть... Недели через две я вернусь. Или ты приедешь ко мне. Хорошо?

– Да.

– Надо позвонить на вокзал, узнать, когда последний поезд на Мадрид.

– Не надо звонить. Я уже отправила туда Хосефу. Она сейчас вернется. Последний поезд уходит на рассвете. Пойдем, я положу тебя, а то как бы снова не упал под стол, у тебя совсем больные глаза.

– Пойдем, – сказал Штирлиц. – Только разбуди меня, ладно? А то я не смогу уснуть. Я должен вернуться в Мадрид, понимаешь? Должен. Хотя я не хочу туда возвращаться, если бы ты знала, как я не хочу этого...

...Через неделю в Бургос придет бразильский историк ду Баластейруш. Он поселится в отеле «Принсипе пио» и заявит в полицейском участке, куда его любезно пригласят перед тем, как дать вид на жительство сроком на сорок пять дней, что тема его работы, заказанная университетом Рио-де-Жанейро, называется «История домов Бургоса, построенных до начала XIX века».

Такого рода объяснение вполне удовлетворит отдел по регистрации иностранцев; Баластейруш вдохновенно углубится в свое дело, начнет делать выписки из старинных проектов, копировать чертежи, фотографировать фасады наиболее интересных зданий, листать домовые книги, в том числе и ту, где была фамилия Клаудии.

По возвращении в Мадрид (лишь оттуда отправлялся самолет за океан) он передаст Полу Роумэну данные о том, что в период с ав-

густа 1936 года по январь 1938-го в апартаментах сеньоры Клаудиа Вилья Бьянки, работавшей в ту пору в особом отделе генерального штаба армии каудильо Франко, проживал подданный «Великой Римской империи германской нации», дипломированный инженер Макс фон Штирлиц, родившийся 8 октября 1900 года, паспорт SA-956887, выдан рейхсминистерством иностранных дел 2 мая 1936 года в Берлине, на Вильгельмштрассе, 2.

Проверка, проведенная с помощью мадридских контактов Пола, подтвердит правильность информации, полученной платным агентом военной разведки США.

На запрос, отправленный в Вашингтон по поводу того, чем занимался особый отдел генерального штаба в Бургосе в конце тридцатых годов, ответ придет определенный и недвусмысленный: контрразведывательной работой среди иностранцев, аккредитованных при генерале Франко.

РОУМЭН

Когда от парка Ретиро едешь вниз к Сибелес, надо обязательно прижиматься к фонтану, если ты намерен повернуть в направлении к Аточе, а ему надо было попасть именно туда, потому что Роберт Харрис, упившийся прошлой ночью до положения риз, просил Пола заехать за ним в отель «Филипе кватро» и пообедать вместе, — «у меня синдром похмелья, мир не мил, спасайте, Макса все еще нет в ИТТ, я умираю».

Роумэн сразу же позвонил в ИТТ: ему сказали, что доктор Брунн уже работает в архиве, от сердца отлегло — не сбежал, и он отправился к Харрису — англичанин того стоил.

Время не поджимало, Харрис точного срока не назначил, поэтому Роумэн, зная безумный нрав испанцев — только дорвется до руля, и сразу что есть мочи жмет на акселератор, камикадзе какие-то, а не водители, — чуть что не прижимался к гранитным плитам; задолго до светофора начал плавно притормаживать, лучше потерять две минуты, чем опоздать на два часа, если стукнешься с кем-либо; когда он ощутил резкий удар и машину вытолкнуло на пешеходную линию (слава богу, пешеходы еще не ринулись переходить улицу), стало невыразимо обидно: если б хоть в чем нарушил правила, и хотя «форд» застрахован, теперь надо ждать полицию, здесь ужасно дотошно оформляют протокол, совершенно не жалеют время, на это уйдет не менее часа, будь ты неладен, бешеный кабальеро!

Однако за рулем старенького «шевроле», взятого, как оказалось, напрокат, сидел не кабальеро, а девушка. Она выскочила из машины, схватилась за голову и закричала:

— Какого черта вы ездите, как старая бабка?!

— Какого черта вы носитесь, как псих? — в тон ей ответил Роумэн, открыв дверь «форда», но из машины не вылез.

Девушка была вся обсыпана веснушками, нос — вздорный, глаза голубые; длинные, черные как смоль волосы казались париком, она прямо-таки обязана быть блондинкой.

«Наверное, скандинавка, — подумал Роумэн. — Совершенно тот

тип женщины, который мне нравится, и снова веснушки, прямо как по заказу».

– Что мне делать в этом чертовом городе?! – бушевала девушка. – Я не знаю их языка, что мне делать?!

– Платить мне деньги, – ответил Роумэн, – и убираться отсюда подобру-поздорову, пока не приехала полиция. Здесь за нарушение правил сажают в участок.

– Как я поеду?! – продолжала бушевать девушка. – На чем?! Да вылезете же вы, наконец, из своей чертовой машины! Что, у вас бронированная задница?! Я радиатор разбила!

Роумэн вылез; нос «шевроле» действительно был разбит всмятку.

– Надо толкать к тротуару, – сказал Роумэн. – Платите за то, что помяли мой бампер, тогда помогу.

– Еще чего! Это вы мне платите! Вы резко затормозили, поэтому я в вас врезалась.

– А может, я это сделал нарочно? Хотел получить с вас страховку. Откуда вы знаете?

– Как вам не стыдно! Помогите же мне!

Роумэн посмотрел бампер своей машины, помят был не очень сильно, но без полицейского протокола мастерская вряд ли возьмется чинить по страховке, потребует платить наличными, хотя можно всучить пару бутылок виски хозяину; черт с ним, дам виски; девушка хороша, нельзя постоянно проходить мимо того, что кажется тебе мечтою; ты не находил себе места после Бургоса, когда потерял ту рыжую; сейчас потеряешь эту черную; умрешь бобылем со склочным характером, ничего, Харрис подождет, пусть отмокнет в ванной.

– Выворачивайте руль, – сказал Роумэн. – Как только зажжется красный свет, начнем толкать. Шоферы станут истерично сигналить, но вы не обращайте внимания, кричите им «ходер» и продолжайте толкать вашу лайбу.

– Что такое «ходер»?

– Это значит «заниматься любовью».

– Пусть бы они помогли нам, а не ехали заниматься любовью...

Они сдвинули машину с места, дальше она легко пошла под уклон, Роумэн вертел руль, кричал шоферам «уно моментико», девушка громко повторяла «ходер», улица смеялась, хоть водители продолжали сигналить.

Поставив машину возле отеля, Роумэн еще раз оглядел «шевроле», вода из радиатора по-прежнему текла тонкой струйкой.

– Что делать? – спросила девушка растерянно.

– Пошли, отгоним мой «форд».

– Идите сами, у меня в машине багаж.

– Испанцы не воруют.

– Так я вам и поверю! Мне дедушка говорил, что они все жулики.

– А он хоть раз был здесь?

– Нет, но он был очень начитанный.

Роумэн сломался пополам: смеялся он, как всегда, беззвучно;

махнул рукой и побежал к «форду». Когда дали красный свет, он в нарушение всех правил пересек улицу и запарковал свою машину возле «шевроле».

– Перетаскивайте багаж ко мне, – сказал он. – А там решим, что делать.

– Это вы перетаскивайте мой багаж! Разбили машину и тут же начинаете эксплуатировать несчастную девушку.

– Покажите-ка зубы...

– Что?! Я разбила рот?!

– Нет, просто я хочу поглядеть, какие у вас острые зубы.

Девушка улыбнулась; улыбка у нее была внезапная, лицо сразу изменилось, лоб разгладился, стало видно, какой он большой и выпуклый; исчезли ранние морщинки возле длинных голубых глаз; никакой косметики; но она не так молода, как мне показалось вначале, подумал Роумэн; ей не двадцать, как я думал, а вот-вот тридцать; тем лучше, девичье неведение предполагает в партнерстве юношескую неопытность, а мне скоро сорок...

Он помог ей перетащить баул, чемодан и большую полотняную сумку, на которой было вышито два слова: «Норвегия» и «Осло».

– Я – Пол Роумэн, а как вас зовут? – сказал он.

– Кристина Кристиансен... Криста...

– Давно из Осло?

– Откуда вы знаете, что я оттуда?

– Я пользуюсь дедуктивным методом Шерлока Холмса.

– Нет, правда...

– А сумка чья? – Он кивнул на заднее сиденье. – Там же про вас все написано.

– Так я могу быть из Канады... А сумку просто-напросто купила в Осло.

– Я канадцев различаю за милю, – сказал Роумэн. – У меня есть друг, который воспитывался в Квебеке... Что мне с вами делать? Съездим в вашу страховую компанию?

– А я и не знаю, где она...

– Покажите документы на машину.

– Они остались в ящике.

– Принесите.

И фигурка у нее прекрасная, подумал Роумэн, вот повезло, а? Я ощущаю постоянную пустоту вокруг себя; после того как облегчишься с французскими гастролершами, которые обслуживают иностранцев в «Ритце», делается еще более пусто, хоть воем вой. А с этой веснушкой мне вдруг стало спокойно, я почувствовал себя живым человеком, мне захотелось забыть Брунна, нацистов, Харриса и поехать с ней в деревню, посидеть в маленьком кафе, дождаться вечера, когда люди начнут петь свои прекрасные песни, самому запеть вместе с ними и ее научить тому, как надо помогать себе слышать ритм, выщелкивая его сухими быстрыми пальцами.

– Вот, – сказала Криста, протянув ему документы. – Я не понимаю по-испански, мы с хозяином гаража объяснялись жестами.

– Здесь это опасно, – улыбнулся Роумэн и включил двигатель. – Особенно с вашей фигурой.

– Я занималась японской борьбой.

– Ладно, продолжайте ею заниматься, – сказал Роумэн, разглядывая помятые бумаги, которые фирма по аренде машин вручила Кристине. – Едем к ним, там все урегулируем. Сколько вы им уплатили?

– За три дня...

– Я спрашиваю про деньги, а не про дни.

– Двадцать долларов.

– Они взяли у вас доллары?

– Конечно.

– Это здесь запрещено. Они обязаны брать только песеты.

– Почему?

– Чтобы укреплять престиж собственной валюты и пресекать спекуляцию на черном рынке... Вы чем занимаетесь?

– Пишу дессертацию.

– О чем?

– О ерунде. Интегральные зависимости...

– Что?!

– Не хочу я об этом говорить! Мне эта математика опротивела, как ромашковые таблетки! Я не желаю помнить о том, чем мне скоро снова придется заниматься.

– Зачем же тогда писать диссертацию?

– Затем, что этого хотела мама. И папа тоже, а он был профессором математики. А я им обещала, когда они были живы. А они приучили меня держать слово.

– Хорошие у вас были папа и мама.

– Очень. А вы чем занимаетесь?

– Бизнесом.

– Вы не англичанин.

– Нет.

– Американец, да?

– Он. Никогда раньше не были в Мадриде?

– Никогда.

– Нравится город?

– Так ведь я с аэродрома – в бюро аренды, оттуда – вам в бампер и после этого в вашу машину. Я здесь всего два часа.

– Устроили себе отпуск?

– Да. Мой друг сказал, что в октябре здесь самые интересные корриды. И билеты не очень дороги.

– Слушайте больше ваших друзей... Билеты всегда стоят одинаково, здесь нет туристов, закрытая страна, цены регулируются властью... Кто только болтает такую чушь?!

– Вы рассердились?

– Ничего я не рассердился, просто не люблю, когда люди болтают чепуху.

– Вы ревнивый?

– А вы наблюдательная.

– Математик, – усмехнулась Криста, – ничего не попишешь, мне без этого нельзя... Как в шахматах... Знаете, как называют шахматы?

– Как?

– Еврейский бокс.

Роумэн снова сломался, даже стукнулся лбом об руль; отсмеявшись, сказал:

– После того как мы все отрегулируем с вашей машиной, я отвезу вас к себе. У меня большая квартира, можете жить у меня.

– Сначала позвоните жене, она может быть против.

– Ладно. Позвоним от меня, она в Нью-Йорке, я спрошу, не будет ли она против, если у меня поживет пару недель очень красивая девушка, вся в веснушках, с длинными голубыми глазами, но при этом черная, как вороньe крыло.

– Я крашеная, – сказала Криста. – Вообще-то я совершенно белая. Вы видели хоть одну черную норвежку?

– Где вы так выучили английский?

– Родители отдали меня в английскую школу... Они были англофилами... У нас часть людей любит немцев, но большинство симпатизируют англичанам.

Они приехали в бюро проката, Роумэн зашел к шефу, который дремал за стеклянной дверью, расфранченный, в оранжевом пиджаке, невероятном галстуке, с двумя фальшивыми камнями на толстых пальцах, поросших острыми щетинистыми волосками.

– Хефе, – сказал Роумэн, – ваша клиентка чуть было не погибла в катастрофе. Вы всучили ей автомобиль без тормозов.

– Кабальеро, – ответил шеф, – все мои автомобили проходят самое тщательное обслуживание. За машинами следят лучшие иностранные специалисты. Я не доверяю мои машины испанцам, вы же знаете наш народ, тяп-ляп, никакой гарантии, все наспех, бездумно. Я дал сеньорите прекрасный «шевролете», на нем можно проехать всю Европу.

– Хефе, дрянь этот ваш «шевролете», – в тон хозяину ответил Роумэн, ох уж эти испанцы, они вроде немцев, не говорят «пежо», а «пегеоут», не «рено», а «ренаулт» и обязательно «шевролете», а не «шевроле», тяга к абсолютному порядку, а существует ли он на земле? Мир взлохмачен, безалаберен, может, в этом-то и сокрыта его высшая прелесть. – Давайте уговоримся о следующем: сеньорита не обращается в страховое общество, у нее много ушибов, она может нанести вам серьезный ущерб, «шевролете» стоит возле Сибелес, пусть ваши люди приволокут его сюда и тщательно отремонтируют, а вы предоставите сеньорите малолитражку, если она ей потребуется. Договорились?

– Кабальеро, это невозможно. Мы должны поехать на место происшествия и вызвать полицию...

– Которая выпишет вам штраф.

– Мы с ними сможем договориться по-хорошему.

– «Мы»? Я не намерен с ними договариваться ни по-хорошему, ни по-плохому. – Роумэн достал из портмоне десять долларов, положил на стол хозяина и вышел; Криста включила приемник, нашла музыку, передавали песни Астурии.

– Все в порядке, – сказал он, – мы свободны. Знаете, о чем они поют?

– О любви, – усмехнулась девушка, – о чем же еще.

– Музыка – это любовь, ее высшая стратегия, а я спрашиваю о тактике, то есть о словах.

– Наверное, про цветы что-нибудь...

– Нет, «блюмен» – это немцы, у них все песни про цветы. Испанцы воспевают действие, движение и слово: «о, как горят твои глаза, когда ты говоришь мне про свое сердце, замирающее от сладостного предчувствия»...

– Вы странно говорите... И ведете себя не по-американски...

– А как я должен вести себя по-американски?

– Напористо.

– Вам об этом говорил друг, который знает цены на здешнюю корриду?

– Да.

– Пошлите его к черту. Американцы хорошие люди, не верьте болтовне. Просто нам завидуют, от этого и не любят. Пусть бы все научились так работать, как мы, тогда б и жили хорошо... Мы, может, только слишком пыжимся, чтобы все жили так же, как мы. Пусть и нам не мешают... Плохо о нас говорят только одни завистники... Правда... Вы голодны?

– Очень.

– Город будем смотреть потом?

– Как скажете.

– А что это вы стали такой покорной?

– Почувствовала вашу силу. Мы ж как зверушки – сразу чувствуем силу.

– Уважаете силу?

– Как сказать. Если это просто сила, мышц много, тогда неинтересно... Я же занимаюсь японской борьбой... А если сила совмещается с умом, тогда женщина поддается... Только сильные люди могут быть добрыми. Сильный врач, сильный математик, сильный литератор – они добрые... А те, кто знает о себе правду, кто понимает, что он слабый и неудачливый – хоть и в эполетах, и восславлен – все равно злой...

– Бросайте математику, Криста, – посоветовал Роумэн. – Ваше место в философии... Что больше любите? Мясо или рыбу?

– Больше всего я люблю готовить. Ненавижу рестораны. Если ты не понравилась официанту, он может плюнуть в жареную картошку, ведь никто не видит...

Роумэн снова сломался, постучал лбом о руль, вырулил от Сибелес на Пассеа-дель-Прадо, свернул направо, остановился возле крытого рынка; когда Криста начала закрывать окна, повторил, что здесь не воруют, испанцы народ удивительной честности, взял ее за руку (она была теплая и мягкая, сердце у него остановилось от нежности) и повел девушку в мясной павильон.

– Продаю, – сказал он, кивнул на ряды, полные продуктов. – Выбирайте что душе угодно.

– Не разорю?

– Ну и что? Сколотим банду, начнем грабить на дорогах.

– Тут зайцы есть?

– Тут есть все. При том условии, что у вас есть деньги.
– Я умею готовить зайца. С чесноком, луком и помидорами.
– Мама научила?
Криста покачала головой:
– Тот друг, которого вы сразу невзлюбили.
– В таком случае зайца мы покупать не будем. Что вы еще умеете готовить?
– Могу сделать тушеную телятину.
– Кто учил?
– Вы хотите, чтобы я ответила «мама»?
– Да.
– Бабушка.
– Годится. Покупаем телятину. Умеете выбирать? Или помочь?
– Что надо ответить?
– В данном случае можете отвечать что хотите.
– Мой друг любит, когда я это делаю сама.
– Знаете что, давайте-ка говорите, где вы хотели остановиться, я вас отвезу в отель.
– Я и сама дойду.
– Чемодан у вас больно тяжелый.
– Ничего, я приучилась таскать чемоданы во время войны.
– Вы зачем так играете со мной, а?
– Потому что вы позволили почувствовать ваш ко мне интерес. Если б вы были равнодушны, я бы из кожи лезла, чтобы вам понравиться.
– Женщина любит, когда с нею грубы?
– Нет. Этого никто не любит... Я, конечно, не знаю, может, каким психопаткам это нравится... Но игру любит каждая женщина. Вы, мужчины, отобрали у женщин право на интригу, вы не пускаете нас в дипломатию, не разрешаете руководить шпионским подпольем, не любите, когда мы делаемся профессорами, вы очень властолюбивы по своему крою, и нам остается выявлять свои человеческие качества только в одном: в игре с вами... За вас же, не думайте...
– Вот хорошая телятина, – сказал Роумэн.
– Я на нее нацелилась. Квандо? – спросила она продавца.
Тот недоумевающе посмотрел на Роумэна, испанцы не понимают, когда на их языке говорят плохс, это же так просто, говорить по-испански.
– Сеньорита спрашивает, сколько стоит? – помог Роумэн. – Взвесьте два хороших куска. Если у вас остались почки и печень, мы тоже заберем.
– Сколько стоит? – повторила Криста. – Очень дорого?
– Нет, терпимо, – он протянул ей деньги. – Купите-ка сумку, они здесь удобны, продают в крайнем ряду.
– Зачем? – Девушка пожала плечами. – Я сбегаю в машину, у меня всегда есть с собою сумка, это еще со времен оккупации... Дайте ключ.
– Так я же не запер дверь.
– Да, верно, забыла. Я сейчас, – и она побежала к выходу, и Ро-

умэн заметил, как все продавцы, стоявшие за прилавками, проводили ее томными глазами.

А все-таки мы петухи, подумал Роумэн, настоящие петухи, те тоже очень любят пасти своих куриц и так же горделиво обсматривают соперников, и так же чванливо вышагивают по двору, не хватает мне шпор, честное слово, да еще золотистого гребешка. Самые глупые существа на земле — петухи... Вечером я поведу ее в «Лас Брухас», там поют лучшие фламенко, пусть таращат на нее глаза; это, оказывается, дьявольски приятно... Как это плохо — отвыкать от общества женщин, которым не надо платить, думаешь, как бы это сделать потактичнее, ищешь карман, а у нее нет карманов, в сумку конверт совать неприлично, мало ли что у нее там лежит, противозачаточные таблетки, фотография любимого или аспирин... Черт, неужели я встретил ту, о которой мечтал? Это ж всегда неожиданно, как снег на голову; когда планируешь что-то, обязательно все получается шиворот-навыворот... Но очень плохо то, что я испытываю к ней какую-то хрупкую нежность, я не могу представить ее рядом, близко, моей... Разочарования разбивают человека надвое, — живет мечтою, которая отрешенна, и грубым удовлетворением потребности; переспал с кем, ощутил в себе еще большую пустоту и снова весь во власти мечты, все более и более понимая, что она, как всякая настоящая мечта, неосуществима.

Криста («мне удобнее называть ее «Крис», — подумал Пол) прибежала с маленькой, но очень вместительной сумочкой; они сложили в нее хамон, овощи, деревенский сыр и желтый скрутень масла из Кастилии — там его присаливают и в коровье молоко добавляют чуть козьего и кобыльего, чудо что за масло («наверняка ей понравится»).

Продавцы снова проводили Кристу глазами; не удержались от прищелкиваний языками; мавританское, — это в них неистребимо, да и нужно ли истреблять?!

— А вино? — спросила она. — Почему вы не купили вина?

— Потому что у меня дома стоят три бочонка с прекрасным вином, — ответил Пол. — Есть виски, джин, немецкие «рислинги» довоенного разлива, коньяк из Марселя — что душе угодно.

— Ух, какая я голодная, — сказала девушка, — наши покупки чертовски вкусно пахнут. Я могу не есть весь день, но как только чувствую запах еды, во мне просыпается Гаргантюа.

— Хамон никогда не пробовали?

— Нет. А что это?

— Это необъяснимо. Деревенский сыр любите?

— Ох, не томите, пожалуйста, Пол, давайте скорее поедем, а?..

Он привез ее к себе, на Серано; в его огромной квартире было хирургически чисто; сеньора Мария убирала у него три раза в неделю; как и все испанки, была невероятно чистоплотна; то, что Лайза делала за час, она совершала как священнодействие почти весь день: пыль протирала трижды, пылесосом не пользовалась — слишком сложный агрегат; ползала на коленях под кроватью — нет ничего надежнее влажной тряпки; обязательно мыла абсолютно чистые окна и яростно колотила одеяла и пледы, выбросив их на подоконники, хотя Роумэн никогда не укрывался ничем, кроме простыни.

– У вас здесь, как в храме, – сказала Криста. – Кто следит за чистотой в вашем доме?

– Подруга, – ответил он, поставив чемодан девушки в прихожей на маленький столик возле зеркала, набрал номер Харриса и сказал, что встреча переносится на завтра, возникло срочное дело, пожалуйста, простите, Боб.

– А как относится к вашей служанке жена? – спросила Кристина.

– Они терпят друг друга.

– Вы говорите неправду. И если вы хотите, чтобы я у вас осталась, отнесите мой чемодан в ту комнату, где я буду спать.

– Выбирайте сами, – сказал он, – я ж не знаю, какая комната вам понравится.

Он показал ей большой холл с низким диваном возле стеклянной двери на громадный балкон, где был маленький бассейн и солярий, свой кабинет, столовую и спальню.

– Где нравится?

– Можно в холле?

– Конечно.

– Идеально бы, конечно, устроиться на вашем прекрасном балконе. Сказочная квартира... Вы, наверное, очень богатый, да?

– Еще какой... Что касается балкона, то не надо дразнить испанцев, они в ночи зорки, как кошки.

– Слишком что-то вы их любите.

– Они того заслуживают.

– А как зовут вашу подругу, которая здесь убирает?

– Мария.

– Сколько ей лет?

– Двадцать пять, – ответил он и позвонил в ИТТ.

– Сеньор Брунн в архиве, там нет аппарата, можем пригласить сюда, но придется подождать.

– Нет, спасибо, – ответил Роумэн. – Передайте, что звонил Пол, я свяжусь с ним вечером.

Кристина еще раз оглядела его квартиру, понюхала, чем пахнет на кухне, и спросила:

– Мария – хорошенькая?

– Да.

– Зачем же вы привезли меня сюда?

– Жаль стало...

– Знаете, вызовите-ка такси.

– Сейчас. Только сначала сделайте мне мясо.

– Что-то мне расхотелось делать вам мясо.

– Вы что, ревнуете?

Криста посмотрела на него с усмешкой.

– Как это вы делаете? – Она повторила его жест, согнувшись пополам. – Так? Это значит вам смешно, да? Ну вот и мне так же смешно. Погодите, а не берете ли вы реванш за моего друга?

Он положил ей руки на плечи, притянул к себе, поцеловал в лоб и ответил:

– А ты как думаешь?

Она обняла его за шею, заглянула в глаза и тихо сказала:
– Пожалуй, на балконе мне будет очень холодно.
– И я так думаю.

...В «Лас Брухас» они приехали в двенадцать; Криста дважды повторила:
– Уверяю тебя, там уже все кончилось...
– Кто живет в Мадриде полтора года? Ты или я?
– Я бы лучше подольше с тобой побыла. Мне никуда не хочется ехать.
– А я хочу тобой похвастаться.
– Это приятно?
– Очень.
– Но я ведь уродина.
– Не кокетничай.
– Я говорю правду. Я-то про себя все знаю... Просто тебе одному скучно, вот ты и придумал меня... Я знаю, у меня так бывало.
– Как у тебя бывало? Так, как со мной?
– Тебе надо врать?
– Ты же математик... Калькулируй.
– Тебе надо врать. Тебе надо говорить, что мне так хорошо никогда не было... Вообще-то, если говорить о том, как мы познакомились, и про рынок, и как ты меня сюда привез – не было...
– А потом?
– Это не так для меня важно... Это для вас очень важно, потому что вы все рыцари, турниры любите, кто кого победит... Не сердись... Я как-то ничего еще не поняла. Просто мне очень надежно рядом с тобою. Если тебе этого достаточно, я готова на какое-то время заменить Марию и помыть за нее стекла.
– Сколько времени ты намерена мыть здесь стекла?
– Неделю. Потом поеду в Севилью, нельзя же не съездить в Севилью, если была в Испании, потом вернусь на пару дней, а после улечу к себе.
– Мне очень больно, когда ты так говоришь.
– Не обманывай себя.
– Я так часто обманываю других, что себе обычно говорю правду.
– Ты же это не себе говорил, а мне... В эти самые «Брухас» надо одеваться в вечернее платье?
– Не обязательно.
– А у меня его вообще-то нет.
– Что хочешь, то и надевай.
– У меня с собою только три платья. Показать? Скажешь, в каком я должна пойти.
– Я ничего в этом не понимаю. В чем тебе удобно, в том и пойдем.
– Что-то мне захотелось выпить еще один глоток джина.
– Налить соды?
– Каплю.

Он капнул ей ровно одну каплю, улыбнулся:

– Еще? Я привык выполнять указания. Я аккуратист.

– Еще сорок девять капель, пожалуйста.

– Я ведь буду капать. Может, плеснуть?

– Ну уж ладно, плесни.

Он протянул ей высокий стакан, она выпила, зажмурившись, причмокнула языком и вздохнула:

– Очень вкусно. Спасибо. Сейчас я буду готова.

Через полчаса они приехали в маленький кабачок, где выступали самые лучшие фламенко Испании; в тот вечер пела Карменсита и ее новый приятель, Хосе; женщине было за сорок, в последние годы она чуть располнела, но никто в Мадриде не умел так отбивать чечетку, как она, никто не мог так работать плечами, обмахиваться веером и играть с черно-красной шалью; когда пот посеребрил ее лицо, на смену вышел Хосе; танцевал сосредоточенно, истово, до тех пор, пока его рубаха тончайшего шелка не сделалась темной от пота; в зале громко и разноголосо закричали «оле!», и это показалось Кристе странным, потому что мужчины были в строгих костюмах, настоящие гранды, а женщины в вечерних нарядах, только она была в легоньком платьице, которое делало ее похожей на девушку из университета; третий курс, не старше.

– Нравится? – тихо спросил Пол, склонившись к ней; привычного для женщин запаха духов не было, кожа пахла естеством, совершенно особый запах чистоты и свежести.

– Очень, – так же шепотом ответила Криста, – только они не поют и не танцуют, а работают.

– Это плохо?

– Странно.

– Здесь не любят работать, – улыбнулся Пол, – жарко, да и земля благодатная, брось косточку – персик вырастет. Зато здесь очень любят, когда показывают труд в песне и танце.

– Как у негров.

– Откуда ты знаешь?

– Я не знаю. Просто мне так кажется. Я видела ваш джаз... Там были негры... Они тоже работали, очень потели, бедненькие...

– Не будь такой суровой... Неужели тебе нравится, когда танцор холоден?

– Не знаю. Вообще-то танец должен быть отделен от тела... Ведь тело лишь способ выразить замысел балетмейстера...

– Слушай, я всегда боялся красивых и умных женщин... Ты слишком умная.

– А почему ты их боялся?

– Влюблялся.

– Чего же бояться? Это приятно – влюбленность.

– Ты молодая. Ты себе можешь это позволить. А у меня каждая влюбленность – последняя.

– Сколько тебе?

– В этом году будет сорок.

– Это не возраст для мужчины.

– А что для мужчины возраст?

– Ну, я не знаю... Лет шестьдесят...
– Значит, ты даешь мне двадцать лет форы?
– Тебе? Больше.
– Почему?
– Ты недолюбил...

Пол приблизил ее к себе, поцеловал в висок и в это время ощутил у себя на плече чью-то руку. Он обернулся: над ним навис огромный, крепко пьяный Франц Ауссем из швейцарского посольства:

– Советник, – сказал он, – почему вы не были у нас на приеме? И отчего не знакомите меня с самой красивой женщиной «Лас Брухас»?

– Самую красивую женщину зовут Кристина. Это Ауссем, секретарь швейцарского посольства, Криста.

Ауссем поцеловал ее руку:

– Могу я к вам сесть?

– Нет, – Роумэн покачал головой. – Не надо, Франц.

– Я не стану вам мешать. Мне просто приятно побыть возле такой прекрасной дамы.

– Мне еще больше, – сказал Роумэн. – И потом, мы обсуждаем важное дело: когда и где состоится наша свадьба. Да, Криста?

– Садитесь, мистер Ауссем, – сказала Криста. – Пол относится к тому типу мужчин, которые умирают холостяками.

– Нет, – повторил Пол, – не надо к нам садиться, Франц. Я решил умереть женатым. Очень хочу, чтобы на моей могиле плакала прекрасная женщина. Правда. Не сердитесь, Франц, ладно?

ШТИРЛИЦ (октябрь сорок шестого)

Кемп принял Штирлица ровно в десять, Штирлиц не успел даже побриться, приехал в ИТТ прямо с вокзала; Кемп поинтересовался, как чувствует себя доктор Брунн на новой квартире, заговорщически подмигнул, спросив, не слишком ли бурными были дни отдыха, больно уж явственны синяки под глазами, угостил стаканом холодного оранжада и пригласил подняться в справочно-архивный отдел корпорации.

Там три комнаты соединялись между собою белыми, с серебряными разводами старинными дверями. Кемп кивнул на стол возле окна и сказал:

– Это ваше место.

– Прекрасно, – ответил Штирлиц. – Только я не умею работать на малых пространствах.

– То есть? – не понял Кемп.

Штирлиц подошел ко второму столу, легко подвинул его к своему, организовав некое подобие русской буквы «г«, и, обернувшись к Кемпу, сказал:

– Так можно?

– Вполне.

– Ну и хорошо. Что делать?

– Работать. – Кемп улыбнулся своей обычной, широкой и располагающей, улыбкой. – Показывать класс. Вон там, – он кивнул

на дверь, – сидит наш цербер, сеньор Анхел. Пойдемте, я вас познакомлю.

Они вошли во вторую комнату; она была еще больше первой, сплошь заставлена шкафами со справочниками, подшивками газет, финансовыми отчетами корпорации, испанских министерств и подборкой журналов. В углу, за маленьким столиком орехового дерева, очень ажурным, на тоненьком, с жеребячьими ножками, стуле сидел хрупкий, похожий на девушку человек, лет пятидесяти, в фиолетовом бархатном пиджаке, вместо галстука странное жабо очень тонкого шелка; брюки кремовые, носочки белые, а туфли с золоченными пряжками.

Он легко поднялся навстречу Штирлицу, показалось, что взлетает, так худ, пожал руку экзальтированно, предложил кофе и сигару, похлопал Кемпа по плечу так, как положено в Испании, и сказал на прекрасном немецком:

– Дорогой Брунн, я счастлив, что вы станете работать вместе со мной. Будет с кем отвести душу. Я чахну в этом стеклянном бункере. Чтобы мы могли спокойно пить кофе, я сначала познакомлю вас с правилами работы в этом заведении. Собственно, особых правил нет, вы заявляете, какой материал взяли, тему, над которой работаете, декларируете, по чьему заданию проводите анализ, и указываете время, которое вам отпущено на исследование той или иной ситуации. Я фиксирую это в моем дневнике, и мы начинаем пить кофе. Все ясно?

– Предельно, – ответил Штирлиц.

– Ну и прекрасно. Да, еще одна формальность. Вам придется расписаться в обязательстве не выносить документацию из отдела. Поймите меня правильно: в Испании запрещено распространение литературы, в которой подвергается критике внутренняя политика каудильо, а наши хозяева весьма несдержанны в печатном слове, поэтому, как вам известно, далеко не все издания, выходящие в Штатах, продаются здесь, на пенинсуле[1]. Надеюсь, вы поймете меня верно, я гражданин этой страны и вынужден делать все, чтобы помешать осложнениям в отношениях между корпорацией и Пуэрта-дель-Соль.

– Чтобы воспрепятствовать осложнениям в отношениях, – заметил Штирлиц, – надо дать умным людям на Пуэрта-дель-Соль хорошую взятку. Это лучший способ завязать добрые отношения.

Анхел как-то сник, растерянно посмотрел на Кемпа; тот вальяжно посмеялся:

– Привыкайте к шуткам доктора Брунна, дорогой Анхел, ничего не попишешь, каждый человек отмечен странностями. Он так свободно говорит о взятке именно потому, что никогда и никому ее не давал. Если б давал, как это приходилось делать мне, помалкивал бы. Верно, Брунн?

– А чем вы платили? – спросил Штирлиц.

– Живописью. Здесь в ходу живопись. Как-никак родина Веласкеса, Мурильо, Эль Греко и Гойи...

[1] Пенинсула – полуостров *(исп.)*.

– Не забывайте Сурбарана, – заметил Штирлиц. – Он – эпоха, не понятая еще до конца эпоха.

– Непонятых эпох не бывает, – возразил Анхел, несколько успокоившийся после слов Кемпа.

– Бывают, – сказал Штирлиц. – Я, например, не могу себе объяснить инквизицию вообще, а испанскую – связанную с изгнанием арабов и евреев из Испании – в частности. Бить тех, кого надо было использовать на свою пользу? Это противно духу истории.

– Кабальерос, – сказал Кемп, – у вас есть время на разговор, я вам завидую, а у меня через полчаса встреча с партнерами. Живописью от них не отделаешься, надо показывать зубы. Доктор, – он обернулся к Брунну, – было бы славно, составь вы·некий реестр проблем, которые бы могли заинтересовать наш отдел конъюнктуры. Конкретно, какие фирмы в мире ждут нашего предложения о кооперации, а какие полны желания поточить зубы о наши белые кости.

– Это все? – спросил Штирлиц, подумав, отчего Кемп дает ему совершенно другое задание, совершенно не связанное с тем, о котором говорил Эрл Джекобс. – Больше ничего?

– Это очень много, доктор.

– Но это все? – повторил Штирлиц.

– Пока – да, – ответил Кемп.

– Время?

– Не понял.

– Сколько вы даете мне на это времени?

– Два дня.

– Это совершенно нереальный срок. Я подведу вас. Вам будет стыдно смотреть в глаза мистеру Джекобсу. Я прошу у вас четыре дня.

– Три.

Штирлиц покачал головой.

– Я пожертвую воскресным днем. Я отдам его работе, я хочу выглядеть в глазах наших боссов пристойно, Кемп, побойтесь бога!

Анхел усмехнулся:

– Кабальерос, вы вольны отдавать воскресный день работе на корпорацию, но я этого не намерен делать. В отличие от вас мне уже далеко за пятьдесят, и каждое воскресенье я отдаю тому, что от меня с каждой минутой все более и более отдаляется – я имею в виду любовь.

Кемп рассмеялся, а Штирлиц заметил:

– Ерунда, кабальерос. Гёте шустрил и в семьдесят четыре. А его партнерше было девятнадцать.

– Но это было платоническое, – заметил Кемп.

Штирлиц отрезал:

– У мужчин платонического не бывает. Это относится лишь к женщинам, они чувственнее нас и мечтательней.

– Хорошо, – сказал Кемп, протянув руку Анхелу, – я постараюсь отбить для вас четыре дня, доктор. Надеюсь увидеть вас сегодня вечером, загляните ко мне.

Он окликнул Штирлица из первой комнаты, задержавшись у двери:

– Доктор! Простите, пожалуйста, можно вас попросить на одну минуту...

Штирлиц подошел к нему, прикрыл дверь, которая вела к Анхелу; он понял, что главное задание (или главную проверку) он получит именно сейчас; он не ошибся.

– Вы, конечно, понимаете, – заметил Кемп, – что отдел конъюнктуры интересуют те фирмы, которые никогда не захлопывали двери перед носом у немцев? Конкретно: концерн интересуется теми предприятиями, которые имели контакты с рейхом. Концерн интересуют персоналии. Я понимаю, что в здешней справочной литературе вы не найдете тех подробностей, которые столь необходимы для атакующего бизнеса, но, если вы хотя бы обозначите объекты возможного интереса, считайте, что вы сделали свое дело. Ясно?

– Предельно, – ответил Штирлиц. – Иного я себе и не представлял. Только какой регион вас интересует в первую очередь?

– Нас интересует регион, который называется очень просто и коротко: мир.

– Значит, я волен подкрадываться к этому самому миру через любую страну?

– Абсолютно.

Штирлиц поманил к себе Кемпа; тот понимающе придвинулся.

– Скажите, – шепнул Штирлиц, – а этот самый Анхел – педик?

Кемп ответил таким же заговорщическим шепотом:

– Совсем наоборот. Мне кажется, он сексуальный маньяк. Он рассказывает такие подробности...

– Тот, кто занимается любовью по-настоящему, – заметил Штирлиц, – никогда не рассказывает подробностей. Он их изучает на практике. В свое удовольствие и нам на зависть...

...Вернувшись в зал, где сидел, фиолетовый, белоносочный, золотопряжечный кабальеро, Штирлиц отдал должное кофе, который он заварил (здесь, видимо, все, подражая боссу, держат в кабинетах кофеварки, подумал Штирлиц), рассказал пару анекдотов, спросил; где можно купить такие роскошные туфли, истинное средневековье, в наш машинный век это притягивает, пригласил сеньора Анхела пообедать, поинтересовался, не любит ли он форель, у дона Фелипе ее прекрасно готовят; как, вы не знаете дона Фелипе?! – это же на дороге в Алькобендас, совершенно изумительное место, лучшая кухня, достойное общество, мы просто-таки обязаны побывать там; потом поинтересовался, кто здесь работал до него, выслушал ответ, что доктор Брунн здесь первый постоянный клиент, все остальные бывали наскоками, и попросил сеньора Анхела открыть все шкафы, чтобы он мог составить себе представление, что здесь вообще собрано.

Анхел достал книжечку, попросил расписаться за получение ключей ко всем шкафам и пожелал доктору успешной работы.

Штирлиц начал работу со своей комнаты; ты был лишен настоящей информации все это время, сказал он себе, в здешних газетах печатают огрызки информации, американские газеты продают только в первоклассных отелях, стоят они чудовищно дорого, да и купить не всегда легко; о советских и говорить нечего, за их хранение сажают в тюрьму; ты начнешь с того, что реанимируешь историю за то

время, что был оторван от жизни, вот с чего ты начнешь. Ты выведешь для себя болевые точки минувших месяцев, помозгуешь над ними, а потом сядешь за Аргентину. Это необходимо и для тебя и для них; Испания не очень-то пускала к себе американцев в экономику, да и немцев не ахти как. Франко предпочитал держать страну в состоянии депрессии, только б обрезать все связи с внешним миром, только б законсервировать себя в качестве «гениального каудильо и хенералиссимо», — чего не сделаешь ради того, чтобы властвовать!

Он взял подшивки газет и журналов, обложился ими и ощутил — впервые за прошедшие месяцы — успокоенное ощущение своей нужности делу, не любому, не абы что-то делать, но тому именно, которому он отдал жизнь.

Пообедал он на углу, в маленьком ресторанчике; зал был разделен на две части; возле окон стояли столики, а посредине, вокруг длинной стойки бара, толпились постоянные посетители; можно было получить, не дожидаясь официанта, горячую тортилью и пульпу, хорошо готовили жареные колбаски и круглые тефтели; обед занял пятнадцать минут: сначала крохотная чашка кофе, затем стакан молока, потом тортилья и колбаска, на десерт апельсиновый сок и еще одна чашка кофе, но теперь уже из большой чашки, со сливками.

Выйдя из ресторанчика, Штирлиц поднялся на последний этаж ИТТ: Анхел дал ему второй ключ; сел к своему столу, закурил и сказал себе: это тест; они приготовили мне испытание, ясное дело; я должен сделать такой анализ, которого они еще не имели; гарантия жизни — моя нужность, я должен заставить их понять, что я умею то, чего они не умеют. А я ведь действительно могу то, чего они не могут; я выжил при Шелленберге только потому, что слыл «светлой головой», я мог дать разъяснение по тем вопросам, которые занимали бригаденфюрера; я придумывал концепцию и под нее закладывал информацию; трагедия многих аналитиков заключается в том, что они тонут в потоке информации, безвольно идут за ней; надо поступать наоборот, надо организовывать информацию в идею, подчинять ее себе, бесстрашно и раскованно фантазировать; действительно, любая настоящая идея обязана быть сумасшедшей, только тогда она интересна, преснятина теперь никого не зажжет; Джекобс азартный человек, это чувствуется по манере его разговора, по тому, как он реагирует на ответы, по стремительности движений и врожденному чувству юмора, это как деньги — если есть, то навсегда, а нет — так и не будет, сколько ни бейся... Я отдам им конкретику, я наковыряю ее, это трудно, но осуществимо, семьдесят процентов серьезной разведывательной информации почерпывается из открытых источников. Но чтобы понять, какие именно проблемы их д о л ж н ы интересовать, я обязан составить для себя точную хронологию тех событий, которые определяли лицо мира за эти месяцы, когда я был оторван от каждодневного анализа происходящего. Никто так стремительно не выбивается из ритма работы, как политики, лишенные информации.

Речь Черчилля в Фултоне — трагична; это концепция без информации, это слишком субъективно, а потому — заманчиво для непрофессионалов; истинный профессионализм есть не что иное, как

калькуляция риска и допуск возможностей; чувственность опасна в политике, она приносит сиюминутные дивиденды, но оборачивается гибельными последствиями в будущем; нельзя сжигать мосты ни в любви, ни тем более в межгосударственных отношениях. Но ведь что-то стоит за такого рода тенденцией? Что? Банки? Какие? Концерн? Чей? История персонифицирована только тогда, когда ты смог приблизиться к пониманию скрытого механизма социального интереса тех групп, которые имеют силу ставить на того или иного человека, на личность, находящуюся в фокусе общественного интереса. Непризнанным может быть художник или писатель, — слава придет к нему посмертно; ученый может оказаться отринутым современниками, — его идеи восторжествуют после того, как он уйдет в небытие, но тем больше будет его слава, подтвержденная памятью поколений; неужели политик типа Черчилля стремится к самой широкой известности только для того, чтобы люди ждали его слова, не важно, мудрого или вздорного, главное — слышимого и обсуждаемого всеми?!

...Штирлиц закончил первый день работы в одиннадцать часов вечера, когда здание корпорации опустело, сидел лишь дежурный в комнате телефонной и телеграфной связи; он и принял от Штирлица ключи, дал ему расписаться в книге прихода и ухода, пожелал доброй ночи и снова воткнулся в «Блаупункт» — передавали запись футбольного матча между «Реалом» (Мадрид) и сборной Аргентины.

Дома Штирлиц разделся и пустил воду в ванну. Давно я не лежал в такой ванной, вот ведь блаженство, а? Много ли человеку надо, черт возьми?!

Он залез в зеленую воду и, запрокинув руки за голову, расслабился.

...Штирлицу — хотя правильнее сказать Исаеву, а, быть может, еще вернее Владимирову — повезло самим фактом рождения, тем, что он воспитывался в той среде, где значимость человека, его богатство и вес определялись уровнем знания, умением мыслить и степенью верности идее демократии, братства и равенства.

Как-то отец, друг и последователь Мартова, в Цюрихе еще, до возвращения в Россию (выехали следом за «Ильичами»), спросил Всеволода (никто тогда и представить себе не мог, что в двадцать первом он назовет Дзержинскому тот псевдоним, под которым проживет до двадцать седьмого, «Максим Максимович Исаев», а уж Менжинский утвердит «Штирлица»):

— Ты когда-нибудь задумывался над феноменом слова «энциклопедия»?

— Нет.

— А зря.

— Объясни, папа.

— Греки определяли его как справочное сочинение, содержащее в сокращении — обрати на это особое внимание — все человеческие знания. В сокращении... Почему? Потому что составить развернутую справку на все идеи, которые выдвинуло человечество, — невозможно. Отчего Французскую революцию связывают с Дидро, отцом энциклопедистов? Оттого что он был первым, кто обобщил опыт про-

житых тысячелетий, сконцентрировав человеческие знания в некую библию от науки. Это был вулканический взрыв идей (спустя сорок лет после этого разговора, услыхав емкое «информационный взрыв», Штирлиц подумал, как близок был отец к этой формулировке). Двор Бурбонов не видел опасности в том, что книжные черви составляли свои карточки на философов, математиков и полководцев; они же не славили дерзость бунтовщиков и не цитировали отступников от веры?! Что может быть противоправительственного в кратком изложении концепций Аристотеля, Сократа, Эразма Роттердамского, Канта и Бэкона? Чем опасен Пифагор и Ньютон? Зачем страшиться изложения основ механики и химии? Пусть себе! Только бы не побуждали темную толпу к бунту. А они побуждали массы к знанию, что есть революция, а не бунт. Люди, прочитавшие энциклопедистов, поняли вдруг, что жизнь, которая им навязана, алогична по своей сути. Она была лишена того, что должно регулировать ее, то есть свода законов, именуемого конституцией. Она была полна традиционных, рожденных дедами еще и прадедами запретов, которые задерживали развитие, делали его тайным, уродливым, ползучим и, таким образом, – даже с точки зрения Библии – делали саму жизнь греховной. Кто хранит традиции запрета? Абсолютистская власть. Следовательно, она сдерживает развитие? Выходит, так. Но ведь это преступление или глупость – сдерживать развитие. Это противно здравому смыслу и выгодно единицам, стоящим во главе пирамиды, которые страшатся сделать даже малейший шаг к новому, переосмыслив то, что произошло в королевстве за столетия. Завтра нельзя править так, как сегодня, а сегодня правят не так, как вчера. Консервировать можно фрукты, но не форму правления. Значит, выходит, именно власть, как охранительница традиций, то есть прошлого, мешала тому, что росло, то есть новому? А разве долго можно мешать росту? Нельзя. И знание, распространенное в обществе его пророками, сиречь энциклопедистами, подняло народ на штурм Бастилии... А возьми нашу Родину... Когда Плеханов, Аксельрод, Ленин и Мартов начали создавать кружки и – на базе новейших достижений науки – доказывать рабочим, которых оболванивали традиционным, – «в ваших горестях, нищете, бесправии виноваты социалисты, жиды и «англичанка, которая гадит», – что не эти мифические враги повинны в том, что Россия топчется на месте, уступив первенство Германии и Франции, но именно самодержцы, занятые лишь удержанием райской жизни в своих дворцах, – тогда случился девятьсот пятый год... Вот что такое энциклопедия... Я заметил это потому, сын, что ты плохо читаешь учебники по естественным дисциплинам... Я вижу, ты не очень-то жалуешь математику и биологию? Думаю, это происходит оттого, что ты бездумно идешь за гимназической программой, не позволяешь себе фантазировать и думаешь о балле в дневнике, но не замахиваешься на создание собственной жизненной концепции. Я не против собственности, когда речь идет о знаниях, Всеволод. Ты позволь себе замахнуться... Попробуй читать учебники не как сборники скучных догм, но как ту справочную литературу, которая позволит тебе создавать свой мир, выдвигая новую идею людской общности. Года через два тебе надо

прочесть «Материализм и эмпириокритицизм» Ильича. Это – образец новой, методологии мышления, когда политик и экономист препарирует вулканические извержения идей в физике, биологии, химии, делая их инструментом борьбы против рутины... Научись думать, когда читаешь, не соглашаться, видеть между строк, домысливать за автора, восхищаться словом, негодовать на туманный или корявый оборот! Поднимайся к равенству со строкой. Собеседуй с книгой, сын, – лишь с этого начинается прикосновение к тому прекрасному, что обозначается словом «равенство»...

Штирлиц часто вспоминал отца, когда садился за книги, справочники, подборки газет, журналы, документы из архивов, потому что именно благодаря ему научился растворяться в безмолвном собеседнике, следить за строкой, как за устной речью, фантазировать по поводу того, что чувствовал между строк, бесстрашно выдвигать свои предположения, вызванные прочитанным, отвергать их и думать о новых.

...Назавтра, насладившись чашкой кофе, приготовленного сеньором Анхелом, Штирлиц принялся за составление своей схемы мира за те месяцы, что он был лишен сколько-нибудь серьезной информации.

История – сложная наука; ведь даже то, что произошло минуту назад – уже история; какая поразительная спрессованность слов, идей, событий, имен, пересечений интересов! Как трудно вычленить из этого навеки замолчавшего звучания те контрапункты, которые определяли пик – не то что года или дня – минуты! Ведь именно в одну и ту же секунду в разных уголках мира думали, выступали, подписывали документы, сочиняли симфонию илн завершали строй формул такие махины, как Ленин и Эдисон, Клемансо и Кюри, Ллойд-Джордж и Горький, Эйнштейн и Золя, Суриков и Гинденбург, Чаплин и Скрябин, Вильгельм II и Томас Манн, Джек Лондон и Анна Павлова, Витте и Шаляпин, Сунь Ятсен и Чижевский... А если позволить времени бездушным движением часовых стрелок вычеркнуть из самого себя новую череду дней и лет, то именами, определявшими одномоментность истории, следовало бы назвать Капицу и Нильса Бора, Рузвельта и Галину Уланову, Гитлера и Оппенгеймера, Черчилля и Рахманинова, Сталина и Фейхтвангера, Гиммлера и Эдит Пиаф, Пастернака и Пристли, Мао Цзэдуна и Сальвадора Дали, Идена и Маресьева, Пикассо и Прокофьева, Эренбурга и де Голля, Королева и Хемингуэя, Курчатова и Сомерсета Моэма...

Поэтому, когда Штирлиц начал анализ исторических данностей с первого мая сорок пятого года, с того именно дня, когда он оказался исключенным из жизни, обрушенным в темноту и безмолвие на долгие восемь месяцев, ему стало ясно, что те связующие историю нити – сплошь и рядом незримые, но лишь угадываемые, – которые определяли развитие мира, уходили в те дни и месяцы, которые задолго предшествовали событиям сегодняшнего дня.

Одним из таких событий, повлиявшим на положение не только в Вашингтоне и Латинской Америке, но и здесь, за Пиренеями, оказалась конференция, состоявшаяся в феврале сорок пятого в Чапультепеке, неподалеку от мексиканской столицы.

Штирлиц отложил документы, связанные с событиями сорок шестого года, перебросился к газетам и журналам времен войны и собрал все, что мог, из напечатанного в испанской и североамериканской прессе; особенно интересно освещал работу конференции корреспондент «Вашингтон пост» Джилбер Эллистон; с его материалов Штирлиц и начал свой анализ. Чем внимательнее он исследовал то, что произошло в Мексике в те дни, когда он мотался между Берлином и Цюрихом, делая все, чтобы сорвать возможность сепаратного сговора Гиммлера с Даллесом, – тем более горестно ему становилось, поскольку самая идея конференции в Чапультепеке смыкалась – в какой-то, конечно же, мере – с той концепцией, которую исповедовал Даллес и те, кто за ним стоял.

Что же было основным, определявшим эту конференцию, которую проводил государственный секретарь Стеттениус и его помощники Нелсон Рокфеллер и Клейтон?

Если отбросить словесную шелуху и дипломатическое припудривание, то становилось ясным, что главное, чего добивался Вашингтон от латиноамериканских республик, сводилось к следующему: признание главенствующей роли Соединенных Штатов на юге континента (необходимо для Уолл-стрита в его борьбе против воротил лондонского Сити), создание единого генерального штаба всех армий Американского континента и, наконец, подготовка такого договора, который бы гарантировал континент от агрессии.

Чьей? – сразу же спросил себя Штирлиц. Кто тогда мог ударить? Гитлер был обречен, вопрос крушения рейха решил исход битв под Сталинградом и Курском. Япония? И это невозможно. Что она могла вне «тройственного союза»? Противостоять всему миру было не по силам государствам более мощным, куда уж ей?

Следовательно, на смену Панамериканскому союзу, который мог рассматриваться как административно-правовая уния, шло создание военно-политической организации, что кричаще противоречило уставу Организации Объединенных Наций, которая должна была вот-вот собраться в Сан-Франциско.

Кто стоял за спиной такого рода плана? Каким корпорациям Уолл-стрита была выгодна идея военно-политического союза на юге Американского континента, управляемого из Вашингтона? Рокфеллеру, который прибыл в Мексику? Бесспорно. А кому еще? Был ли кто-либо против?

Штирлицу стало сейчас ясно и то, что Вашингтон тогда уже готовил блок, послушный своей воле, блок, чьи голоса в Организации Объединенных Наций создадут прецедент устойчивого большинства, которым вполне можно манипулировать в интересах тех, кто намерен в будущем определять политику в мире.

Штирлиц разобрался и с таким сложным вопросом, как тогдашнее отношение Соединенных Штатов к Аргентине, где власть неудержимо катилась в руки Перона, воспитанного на немецкой военной доктрине, поклонника Гитлера, Муссолини и Франко. Как профессионал он не мог не отдать должного той потаенной работе по «привязыванию» к себе Буэнос-Айреса, которая была проведена американскими политиками. Эксперты государственного департа-

мента точно учли амбициозность полковника, не сбрасывали со счетов потенциальную экономическую мощь громадной страны и особенность национального характера, поэтому в резолюции, принятой по отношению к Буэнос-Айресу (Аргентина была единственной страной, не приславшей своих представителей в Мексику), высказывалось мягкое пожелание, чтобы последователи Перона согласовали свою внешнюю политику с политикой других республик в вопросах ведения войны против держав оси. Формулировка была елейно-сдержанная, хотя Аргентина оказалась единственной страной на юге Америки, которая продолжала поддерживать дружественные отношения с рейхом, книги Гитлера по-прежнему распространялись в магазинах «АВС», на экранах кинотеатров демонстрировались фильмы третьего рейха, геббельсовская «Фелькишер беобахтер» продавалась в газетных киосках наравне с «Вашингтон пост», «Юманите» и «Пуэбло», а посол Риббентропа устраивал приемы, на которых появлялись высшие чины администрации.

Стеттениус объяснял тур вальса вокруг Аргентины тем, что без участия республики в союзе американских «братьев» концепция единства Западного полушария могла быть нарушена. Однако на самом деле не только это определяло единодушие, с каким такого рода резолюция была принята в Чапультепеке. Дело в том, что те же Чили, Парагвай и Монтевидео боялись безудержной экономической экспансии северного «брата», тогда как именно Аргентина была теснее всего связана с банками Великобритании; как всегда, в действие вступал закон чисел — две силы лучше, чем одна, противоречие между Вашингтоном и Лондоном (пусть и язык один, и культуры близки, но деньги печатают разные!) позволит республикам юга континента лавировать между гигантами. Притом власть предержащие в Сантьяго, Монтевидео и Асунсьоне были осведомлены, что Перон не намерен отдавать на закланье немецкие капиталы, таким образом сохранялась третья (финансовая) сила, а она еще более желательна, ибо, пока паны (мистеры, сеньоры) дерутся, холопам (кабальеро, хентес) при всем при том можно жить, есть к кому притулиться.

В конце марта сорок пятого года Буэнос-Айрес ответил Вашингтону, что Аргентина присоединяется к решениям конференции и в «целях сотрудничества для отражения актов агрессии со стороны любого государства, направленных против любого американского государства», объявляет состояние войны с Японской империей; объявляется война и Германии — но не как врагу, не как рейху, не как державе зла и ужаса, но лишь как союзнице Японии, которая была основным противником Соединенных Штатов на океанах.

Такого рода маневр позволил Вашингтону протащить Аргентину в Организацию Объединенных Наций, что было вызовом тем, кто должен был заседать в одном зале с посланцами тех, кто открыто заявлял в ту пору о своей симпатии к Оси; это помогло государственному департаменту содействовать Буэнос-Айресу и в установлении дипломатических отношений с теми, с кем он сочтет нужным эти отношения установить, учитывая, что сорок шестой год был годом выборов, объявленных в той стране, большинство населения ко-

торой открыто стояло за дружбу со всеми державами, внесшими решающий вклад в антифашистскую борьбу.

Таким образом, Штирлиц понял, что весной сорок пятого на поверхности политического моря виднелись лишь небольшие рифы, но вулканическая горная гряда, составленная из гигантских пиков, была сокрыта тишиною необозримого молчания.

Он обозначил для себя проблему Чапультепека как одну из наиболее интересных, особенно в связи с тем еще, что там не был — под нажимом Соединенных Штатов — обсужден вопрос об отношениях латиноамериканских республик с профашистской Испанией, и перешел к исследованию нового блока вопросов, который он начал с изучения стенограммы допросов главных нацистских преступников в Нюрнберге, пытаясь найти в них — понятно, между строк — то, что могло представлять для него интерес, отнюдь не сиюминутный.

Он задержался на допросе советским представителем Руденко фельдмаршала Кейтеля, особенно на той его части, где речь шла об обращении с военнопленными.

«Руденко. — В докладе адмирала Канариса от пятнадцатого сентября сорок первого года он указывал на массовые убийства советских военнопленных и говорил о необходимости решительного устранения этого произвола. Вы были согласны с теми положениями, которые Канарис выдвинул в своем докладе на ваше имя?

Кейтель. — По получении этого письма я немедленно доложил о нем фюреру, в особенности в связи с двумя нотами народного комиссара по иностранным делам от начала июля, и просил принять решение по этому вопросу... В общем-то я разделял сомнения Канариса...

Руденко. — Разделяли? Очень хорошо. Я предъявлю вам подлинник доклада Канариса, на котором есть ваша резолюция...

Кейтель. — Я знаю этот документ с пометками на полях.

Руденко. — Следите за резолюцией... Вот документ Канариса, который, как вы только что сказали, вы считали правильным... Ваша резолюция: «Эти положения соответствуют представлениям солдата о рыцарском способе ведения войны. Речь идет об уничтожении целого мировоззрения, поэтому я одобряю эти мероприятия и покрываю их. Кейтель». Ваша подпись?

Кейтель. — Да, я написал это в качестве решения после доклада фюреру.

Руденко. — Но там не написано, что это Гитлер так сказал. Там написано: «Я покрываю. Кейтель». Я спрашиваю вас, подсудимый Кейтель, именуемый фельдмаршалом, неоднократно называвший себя здесь «солдатом», вы своей кровавой резолюцией подтвердили и санкционировали убийства безоружных солдат, попавших к вам в плен? Это правильно?

Кейтель. — Я беру на себя эту ответственность...»

...Особенно страшным был допрос американским прокурором Эйменом Кальтенбруннера; Штирлиц даже зажмурился, чтобы отогнать от себя назойливое видение — длинное, несколько дегенеративное лицо начальника РСХА, «доктора юриспруденции и верного палладина Гиммлера».

«Эймен. – Подсудимый, вы слышали на этом Суде показания, связанные с «особым обращением»? Что оно означало?

Кальтенбруннер. – Следует предположить, что это означало смертный приговор, который не выносился судом, а определялся приказом Гиммлера. Лично я понимаю это таким образом».

(Штирлиц подумал, что если когда-либо какой-либо художник решит создать фрески о людских достоинствах или пороках, то «ложь» и «ужас» он вполне может писать с фотографии Кальтенбруннера.)

«Эймен. – Подсудимый Кейтель показал, что такого рода выражение было общеизвестно. Не было ли вам известно выражение «особое обращение»? Ответьте, пожалуйста, «да» или «нет».

Кальтенбруннер. – Да. Был приказ Гиммлера – могу также указать на приказ Гитлера – казнить без судебного разбирательства.

Эймен. – Обсуждали ли вы когда-либо с группенфюрером Мюллером ходатайства о применении «особого обращения» к некоторым людям? Ответьте, пожалуйста, «да» или «нет».

Кальтенбруннер. – Нет.

Эймен. – Были вы знакомы с Джозефом Шпасилем?

Кальтенбруннер. – Я его не знал.

Эймен. – Я передаю вам его показания.

Кальтенбруннер. – Так это же Йозеф Шпациль! Его я знал.

Эймен. – Может быть, вы взглянете на абзац, начинающийся со слов: «в отношении «особого обращения»... Нашли это место?

Кальтенбруннер. – Чтобы охватить содержание документа, я должен прочитать его полностью.

Эймен. – Но, подсудимый, у вашего защитника есть копия этого документа!

Кальтенбруннер. – Мне этого недостаточно.

Эймен. – Хорошо, тогда читайте с середины страницы: «во время совещаний начальников секторов группенфюрер Мюллер часто советовался с Кальтенбруннером о том, следует ли применять по тому или иному делу «особое обращение». Вот пример такого разговора: «Мюллер: Скажите, пожалуйста, по делу «А» следует применить «особое обращение»? Кальтенбруннер отвечал «да» или предлагал поставить вопрос на решение рейхсфюреру. Когда проходила подобная беседа, упоминались только инициалы, так что лица, присутствовавшие на совещаниях, не знали, о ком идет речь». Является ли это письменное показание правдой или ложью, подсудимый?

Кальтенбруннер. – Содержание этого документа нельзя назвать правильным в вашем толковании, господин обвинитель... Возможно, что Мюллер говорил со мной об этом, когда мы вместе обедали, поскольку меня это интересовало с точки зрения внешней политики и информации...

Эймен. – Вам знакомо имя Цирайса?

Кальтенбруннер. – Да.

Эймен. – Он был комендантом концентрационного лагеря в Маутхаузене?

Кальтенбруннер. – Да.

Эймен. – Я зачитаю отрывок из предсмертной исповеди зна-

комого вам Цирайса... «Ранним летом сорок третьего года лагерь посетил обергруппенфюрер СС доктор Кальтенбруннер... Ему были показаны три метода умерщвления: выстрелом в затылок, через повешение и умерщвление газом. Среди предназначенных к экзекуции были и женщины; им отрезали волосы и убили выстрелом в затылок. После казни доктор Кальтенбруннер отправился в крематорий, а позднее — в каменоломню». Это правильно?

Кальтенбруннер. — Это ложь.

Эймен. — Хорошо... Перед вами документ... Об уничтожении на месте англо-американских летчиков... Подписано: «Доктор Кальтенбруннер». Отрицаете ли вы тот факт, что имеете отношение к этому приказу?

Кальтенбруннер. — Я никогда не получал этого приказа.

Эймен. — Вы отрицаете, что здесь стоит ваша подпись?

Кальтенбруннер. — Господин обвинитель...

Эймен. — Ответьте на мой вопрос: вы отрицаете вашу подпись?

Кальтенбруннер. — Я не получал этих документов. Конечно, я частично виноват, что не обращал внимания, не даются ли от моего имени такие приказы...

Председатель трибунала. — Я ничего не понимаю! Либо вы говорите, что это не ваша подпись на документе, либо подписали его, не глядя на содержание. Что именно вы утверждаете?

Кальтенбруннер. — Господа! Я никогда не получал этого документа! Я не мог подписать его, потому что это противоречило моим убеждениям!

Председатель трибунала. — Я не спрашиваю о ваших убеждениях. Я хочу получить ответ: вы подписывали его или нет?

Кальтенбруннер. — Нет.

Председатель трибунала. — Но ведь там стоит ваша подпись!

Кальтенбруннер. — Я не убежден, что это моя подпись.

Председатель трибунала. — Полковник Смирнов, по каким пунктам вы бы хотели подвергнуть свидетеля перекрестному допросу?

Смирнов. — Подсудимый отрицал свое участие в уничтожении евреев в Варшавском гетто... Он утверждал, что полицайфюрер Польши Крюгер якобы подчинялся непосредственно Гиммлеру и никакого отношения к Кальтенбруннеру не имел...

Председатель трибунала. — Пожалуйста, задавайте вопросы.

Смирнов. — Я прошу дать подсудимому дневник Франка. Читайте и следите, правильно ли это переведено: «Нет сомнения, — говорит Крюгер, — что устранение евреев повлияло на успокоение... Однако среди рабочих-евреев имеются специалисты, которых сегодня нельзя заменить поляками без всяких последствий... Поэтому Крюгер просит доктора Кальтенбруннера доложить об этом рейхсфюреру СС...» Почему Крюгер действовал через вас?

Кальтенбруннер. — Крюгер ни одним словом не говорит, что я там был в качестве его начальника. Он знал лишь, что я в качестве шефа службы информации рейха часто приходил к Гиммлеру

со специальными сообщениями, и он просил меня доложить ему и по этому вопросу...

Председатель трибунала. – Вы говорите слишком быстро и произносите речи, не отвечая на вопросы.

Кальтенбруннер. – Крюгер подчинялся непосредственно Гиммлеру.

Смирнов. – Я прошу ответить, просил ли вас Крюгер представить его отчет Гиммлеру или нет? Это все, о чем я вас спрашиваю.

Кальтенбруннер. – На этом совещании присутствовало много народа, и каждого, кто был близок к фюреру или Гиммлеру, о чем-нибудь просили.

Смирнов. – Я прошу вас ответить «да» или «нет». Просил он вас доложить?

Кальтенбруннер. – Я этого не знаю.

Председатель трибунала. – Господин Смирнов, добейтесь от него, чтобы он ответил на вопрос.

Смирнов. – Подсудимый, просил ли Крюгер доложить Гиммлеру о невозможности немедленного уничтожения всех квалифицированных рабочих-евреев и как тот отнесся к этому?

Кальтенбруннер. – Возможно, он просил меня, но ни в коем случае не как своего начальника...»

Господи, подумал Штирлиц, кто же тогда был начальником в их вонючем рейхе? Один Гитлер? Все остальные агнцы божьи? Ничего ни о чем не знали? Плакали по ночам о судьбе тех, кого уничтожали в печах, как на конвейере?

Все, как один, повторяли: «Я даже не слышал о зверствах», «Только в Нюрнберге я узнал про тот ужас, который творили секретные айнзацкоманды СД в России», «Я просто не хотел, чтобы евреи играли какую-то роль в финансах, промышленности, науке и искусстве рейха, но я никогда не призывал к тому, чтобы их сжигали в газовых камерах, это противоречит моим убеждениям», «Я доверял фюреру и не мог предположить, что он замышлял такое»...

Единственный обвиняемый, Шахт, организатор банковско-валютной системы третьего рейха, человек, который дал Гитлеру средства на создание вермахта, усмешливо разглядывая английского обвинителя Джексона сквозь толстые стекла очков, не спорил по мелочам, признавал, что поддерживал фюрера, и единственная схватка с тем, кто его допрашивал, относилась к Чехословакии, когда Шахт заявил, что Гитлер не захватывал Прагу: «Он же не взял эту страну силой! Союзники просто подарили ее фюреру!»

Джексон замер от гнева, но своего добился; реванш был сокрушительным:

– Когда вы были министром без портфеля, – начал забивать гвозди вопросов английский обвинитель, – были развязаны агрессивные войны против Польши, Дании, Норвегии, Голландии, Бельгии; в то время, когда вы были членом имперского правительства Гитлера, случилось вторжение в Советскую Россию и была объявлена война Соединенным Штатам. Несмотря на это, вы продолжали оставаться министром фюрера? Не так ли?

– Да, – ответил Шахт, по-прежнему беззаботно разглядывая обвинителя; тень все той же снисходительной улыбки сохранялась на его лице.

– Вы не порвали с Гитлером до той поры, пока германская армия не стала отступать, не правда ли?

– Письмо, благодаря которому мне удалось добиться разрыва с Гитлером, датировано тридцатым ноября сорок второго года.

– Вы тогда считали, что корабль уже тонет? Война проиграна, не так ли?

– Именно. Об этом достаточно ясно свидетельствуют мои устные и письменные заявления.

– Скажите, после оккупации Вены вы заставили служащих австрийского банка принять присягу?

– Да.

– Вы заставили их повторить за собой следующие слова: «Я клянусь, что буду повиноваться фюреру германской империи и германского народа Адольфу Гитлеру... Будь проклят тот, кто нарушит ее. Нашему фюреру трижды: зиг хайль!» Это правильное описание произошедшего?

– Да, – ответил Шахт. – Эта присяга является предписанной для чиновников.

(Штирлицу импонировало то спокойствие, с которым Шахт признавал свою вину; ни один из обвиняемых так себя не вел; старик идет на виселицу, подумал тогда Штирлиц, с гордо поднятой головой; что ж, какая-никакая, но все-таки позиция.

Он, однако, не мог даже предположить, что финансовый гений третьего рейха, человек, без которого фюрер не смог бы создать ни армию, ни флот, ни СД, ни гестапо, будет оправдан трибуналом по всем предъявленным ему обвинениям.)

Особо тщательно он проштудировал речь адвоката Латернзера, защищавшего генеральный штаб третьего рейха. Он долго размышлял, почему Латернзер решился на открытую фальсификацию фактов, утверждая в своей речи, что последнее из предъявленных обвинений, заключающееся в том, что «военные руководители должны нести ответственность за то, что на практике они допускали осуществление преступных планов Гитлера, а не противились им, ведет снова к центральной проблеме данного процесса, относящейся к военным, а именно к проблеме долга повиновения. Неоднократно говорилось, что приказы Гитлера не только являлись военными приказами, но и имели еще законодательную силу. Стало быть, военные руководители должны были не подчиняться законам? Если не будет соблюдаться долг повиновения по отношению к приказу, предписывающему совершение общеуголовного преступления, то причиной этого явится то обстоятельство, что этот приказ потребует действия, направленного против государственной власти. А можно ли вообще говорить о преступлении, если приказ требует действия, которое не направлено против государственной власти, а, наоборот, совершается по ее указанию? И если на этот вопрос ответить положительно, то какой гражданин какого государства может распознать преступный характер своих действий?»

Как мог Латернзер игнорировать то, что было не просто доказано, но совершенно очевидно человечеству: без и вне генерального штаба Гитлер не смог бы спланировать ни одну из своих кампаний! Штирлиц помнил строки программы НСДАП, где прямо говорилось, что именно партия и вооруженные силы являются теми двумя столпами, которые выражают философию жизни рейха. Как можно настаивать на невиновности генерального штаба, руководившего агрессией, при том, что вина главнокомандующего люфтваффе Геринга не оспаривалась, главнокомандующий военно-морским флотом Денниц был назначен Гитлером своим преемником, а фельдмаршал Кейтель, непосредственный куратор генерального штаба, покрывал убийства пленных! Можно защищать, но нельзя доказывать невиновность генерального штаба, зная, что армия вкупе с айнзацкомандами расстреливала без суда и следствия женщин и детей в оккупированных ею странах?!

(Штирлиц, однако, не мог предположить, что в речь Латернзера были заложены целые «блоки» фраз генерала Гелена, он не допускал и мысли, что генеральный штаб и имперское правительство Гитлера будут оправданы, несмотря на протест советского судьи Никитченко. Кончался сорок шестой год; запад Германии надо было оформлять в государство, верное Западу, а кто это сделает, как не те, кто знал, как вести дело в управленческих канцеляриях рейха и учить молодежь азбуке военного ремесла в наскоро отремонтированных казармах Гитлера.)

...Именно этот период – с весны сорок пятого и по осень сорок шестого года – оказался той ареной истории, на которой Штирлиц должен был постараться увидеть ведущих персонажей, понять представляемые ими тенденции и, обобщив полученную информацию, прийти к решению, продиктованному не только его личными, человеческими интересами, но и той позицией, которой он следовал с того ноябрьского дня семнадцатого года, когда связал свою жизнь с революцией Ленина.

ГОНСАЛЕС

Генерал Альфредо-Хосефа-и-Рауль Гонсалес, известный в кругу друзей под кличкой «Локо»[1], на самом деле был одним из самых умных людей в испанской разведке.

Он начинал в университете Саламанки, специализируясь в докторантуре по истории Аргентины и Чили; его работы были блестящими, выводы – парадоксальны и неожиданны; внезапно он бросил науку и ушел в политику, в тридцать девять лет стал полковником, одним из шефов политического департамента в генштабе. Однако за ум (в эпоху царствования бездарей) приходится расплачиваться; вот он и был уволен в отставку в июле сорок первого – после того, как сказал, что «Голубая дивизия», отправленная в Россию, будет разбита и что ввязывание в драку против России недальновидный шаг, результаты которого трудно предсказуемы.

С тех пор он жил в своей огромной, похожей на лабиринт,

[1] Локо – дурной, сумасшедший *(исп.)*.

квартире на калье-де-Акунья; летом выезжал на море, в маленькую, всего семь домиков, рыбачью деревушку Торремолинос, что под Малагой.

Его первая жена погибла в автомобильной катастрофе; вторая простудилась во время прогулки на катере, промучилась зиму и умерла в клинике профессора Мендосы от неизвестного врачам легочного заболевания.

С тех пор Гонсалес жил один; обслуживал его капрал Хорхе — бобыль, он поселился в его доме, водил машину, делал покупки, сервировал стол к обеду (завтракал Гонсалес в постели; раньше, до отставки, не понимал, какая это прелесть, сразу же поднимался, бежал в ванную, ел наспех — счетчик времени не выключался ни на минуту, работа — это скорость, побеждает тот, кто устремлен) и тер генералу спину особой жесткой мочалкой, ибо массаж — основа долголетия.

Просыпался он в одно и то же время, ровно в десять, за мгновение перед тем, как Хорхе приносил газеты: «Йа», «Информасьонес», «Пуэбло» и «АВС», а также лиссабонскую «Диариу ду нотишиаш», (эту газету цензура Франко пропускала в страну беспрепятственно); впрочем, до разгрома рейха он получал и «Фелькишер беобахтер» (единственная европейская газета, не позволявшая себе нападок на режим Франко).

Первые месяцы после того, как он оказался не у дел, просмотр утренних газет был для него неким суррогатом работы. Он подчеркивал абзацы, казавшиеся ему наиболее важными; был глубоко уверен, что вот-вот все изменится, Франко поймет свою ошибку, позвонит ему и пригласит вернуться, объяснив, что все произошедшее было следствием интриг Серано Суньера, который давно и тяжко не любил Гонсалеса, ибо считал, что разведка портит его, министра иностранных дел, работу, вторгаясь не в свои прерогативы. Однако шли месяцы, Франко не звонил; ушел Суньер, назначили другого «Меттерниха», а он, Гонсалес, продолжал пребывать в отставке. Тогда, истомленный ожиданием дела, генерал позволил себе, в кругу близких друзей, высказать критические замечания в адрес каудильо, который забывает тех, с кем начинал предприятие; через пять дней после этого ему позвонил неизвестный и, не представившись, порекомендовал быть более тщательным в формулировках, особенно когда речь идет о людях, окруженных любовью нации; «безгрешных нет, за каждым есть нечто, позволяющее предпринять такие шаги, которые докажут людям, что и он, генерал, заслуживает не просто отставки, но заключения в тюрьму, как человек, запускавший руку в карман казны».

Генерал не успел ничего ответить: трубку аккуратно положили на рычаг; именно в тот день — впервые в жизни — он испытал унизительное ощущение собственного бессилия; что может быть горше, как невозможность ответить на оскорбление?

Вот тогда он и сказал себе то, что никогда до этого не позволял себе даже в мыслях: «Ни в одном нормальном обществе такое невозможно. Я расплачиваюсь за то, что помогал строить тюрьму. Все бесполезно. Надо затаиться и ждать. Я живу в обреченной стране, где

все построено на аллогизмах, где горе называют счастьем, а террор – свободой. Мне отмщение, и аз воздам».

С тех пор он перестал посещать клубы, из дома выходил только на прогулку, а со своим бывшим помощником Веласкесом, отвечавшим за разведывательную сеть в Англии и Соединенных Штатах, встречался лишь в лифте, когда тот приезжал из Лондона, благо жили в одном доме и понимали друг друга без слов.

Именно после того звонка он понял, что уповать на какие-то изменения, до тех пор пока жив Франко, – глупо, мальчишество, старческий маразм, безответственное мечтательство; надо затаиться и ждать; изменения произойдут, но это случится значительно позже, с развитием в стране индустрии и науки; спасение в том, чтобы сделаться незаметным, раствориться, стать частичкой массы, отказавшись от того, что определяло индивидуальность Альфредо-Хосефа-и-Рауля Гонсалеса.

Однако в Испании той поры и такую манеру поведения надо было замотивировать, чтобы чиновник Пуэрта-дель-Соль, получавший ежедневные рапорты о нем, Гонсалесе, о его встречах, прогулках, разговорах, состоянии здоровья, отправлении естественных потребностей с женщинами, покупках, телефонных звонках, не вздрогнул на чем-либо, не пошел советоваться с руководителями, что повлекло бы еще более жесткую слежку, а то и акции; Франко на это был большой дока, особенно любил такие операции по устранению противников, которые были связаны с авиакатастрофами или же с организацией террористических актов руками левых подпольных группировок.

Поэтому, перебесившись в спальне после того звонка, Гонсалес вызвал доктора Мендосу; просмотрев перед этим справочник внутренних болезней, где говорилось о симптомах инфаркта, пожаловался, что не может дышать, мучает боль в левом подреберье, постоянные позывы рвоты.

Мендоса по праву считался дорогим врачом, консультировал Гонсалеса с той еще поры, когда он был одним из шефов разведки, не прерывал с ним отношений и после отставки, ибо добился такого места под солнцем, что мог позволить себе редкую роскошь ничего и никого не бояться: на деньги, заработанные практикой, он купил огромную латифундию в Галисии, вложил средства в акции универмагов и приобрел пай в «Эреро и Фереро», – лучших мадридских магазинах изделий из кожи. В отличие от министра, генерала, начальника департамента, функционера министерства фаланги, его не могли уволить, сам себе хозяин, своя клиника, да счет в банке вполне надежен.

Выслушав Гонсалеса, подержав свои тонкие, холодные руки на его могучей волосатой груди, задав десяток неторопливых вопросов, Мендоса склонился к его голове и тихо шепнул:

– У вас нет инфаркта... Если вы хотите стенокардии, то прежде всего замотивируйте боль в солнечном сплетении...

...Полгода Гонсалес провел в кровати, хотя каждое утро делал гимнастику, чтобы мускулы не сделались тряпками; Мендоса, понимавший ситуацию как никто другой, пустил слух, что дни генерала

сочтены, сердце совершенно изношено, какая жалость, мужчина в расцвете сил, представляю, каким это будет ударом для каудильо, чудо, если Гонсалес выживет, я не могу дать гарантии, что летальный исход не наступит в любую минуту. Тирания любит убогих; слежку с Гонсалеса сняли; не опасен, живой покойник. Вот тогда он и приступил к осуществлению того плана, который разработал, пока умирал. Суть этого плана сводилась к тому, чтобы сказочно разбогатеть, ибо лишь богатство могло сделать его недоступным для врагов, время голых лозунгов о «единстве и благе нации» кончилось, все вернулось на круги своя, могущество человека, его нужность определялась отныне лишь тем, сколько денег лежало на его счету и каким количеством земель он владел.

Гонсалес понимал, что он не сможет разбогатеть, если будет лежать в спальне и читать книги, доставая фолианты из старинных шкафов ручной работы; необходимо общение, анализ новостей, причем не пустых, газетных, но живых, почерпнутых в тех кругах, где есть доступ к реальной, а не обструганной информации. Такого рода общение – с тем, чтобы оно не вызвало нового цикла работ против него со стороны секретной полиции, – так же должно быть тщательно замотивировано. Поэтому доктор Мендоса позвонил ему и сказал, что можно подниматься, особой угрозы для сердца пока нет; конечно, не надо перетруждать мышцу, но посещение корриды или футбола отнюдь не возбраняется, если, конечно, умеете контролировать эмоции, поскольку удел всех болельщиков – унизительный инфаркт на трибуне, когда никто не захочет вам помочь, и не потому, что люди плохи, просто всех в тот момент будет занимать пас Пепе левому защитнику «Реала» Карденасу, тот мастерски бьет понизу с правой, или же – если речь идет о Пласа де торос – люди ждут завершающего удара Бласа, который совершенно прекрасно держит левую ногу, выгибая ее тетивой перед броском на быка, совершенно так же, как это делал Педро-Ромеро из «Фиесты», которую написал дон Эрнесто, который воевал против каудильо с русскими. Кремль платит писателям слитками платины, покупает на корню, всем известно...

С тех пор Гонсалес начал посещать корриды, аккуратно восстановил знакомства, присматривался, прислушивался; искусству лицедейства учиться ему не приходилось, асом разведки считался вполне заслуженно, поддержал Франко потому лишь, что был убежден: Испании нужен порядок, страна еще не готова к безбрежной демократии, предложенной республиканцами; должны пройти годы, прежде чем народ сможет пользоваться ее благами бескровно; сначала надо научиться выслушивать противную точку зрения и тактично выдвигать свои доводы, а не палить из кольта в лоб оппонента. Он не мог себе представить, что победа порядка придет с террором и неуемным восславлением маленького человечка по фамилии «Франко».

Именно на Пласа де торос он вполне мотивированно встретился с Анхелом-Алькасером де Веласкесом и пропел с ним два часа на трибуне «Сомбра», перебросившись всего несколькими фразами; но и этого было достаточно, чтобы понять то, что следовало. Веласкес был его учеником и сейчас – встреча эта состоялась в сорок третье-

му году еще – занял совершенно особое положение в европейской разведке.

Судьба Веласкеса была совершенно необычной, но в то же время типической, если рассматривать его дела, слова, идеи и увлечения не оторванно от концепции испанского национального характера, а именно сквозь призму этого характера, соединяющего в себе черты как Дон Кихота, так и Санчо Пансо.

Двенадцатилетним мальчишкой Веласкес пришёл на Пласа де торос; вообще-то такое редко случается, желающих – тьма; даже десятилетние перескакивают через деревянные поручни и бегут на быка с красной тряпкой, но лишь единицам удается избежать рокового удара, большинство кончает госпиталем, распоротым боком, инвалидностью. Веласкес был везуном, он показал класс, зрители взревели: «Пусть останется, пусть убьет быка!» И он остался, убил быка и получил ухо; это было немыслимо в двенадцать лет, о нем написали в газетах: «Мальчик из народа победил лучшего быка Миуры!» Его приветствовал создатель испанской фаланги Хосе Антонио Примо де Ривера, определил малограмотного паренька в школу, потом в университет на философский факультет в Саламанку; там он внимал сказителям, адептам испанского фашизма, которые вещали о величии национального духа, о том, что Испания стала жертвой заговора международного еврейства во главе со Сталиным, что лишь дон Адольфо, фюрер Германии, противостоит на континенте дьяволам, болтающим о «людском братстве»; нет и не может быть братства между людьми, говорящими на разных языках. По поручению шефа фаланги Веласкес принимал участие в терроре, был приговорен к смерти, после мятежа Франко был отпущен на свободу; во время гражданской войны получил орден за отвагу; убийство Хосе Антонио Примо де Риверы считал комбинацией каудильо, попросившего об этой услуге левых, только бы убрать главного конкурента, а поскольку все левые – красные, которые готовы на любое злодейство, они с радостью убрали вождя испанской фаланги, брата Гитлера, светоча Испании.

Именно тогда, после убийства Хосе Антонио, имя Анхела-Алькасера де Веласкеса и попало в рапорт секретной полиции, который был доложен генералу Гонсалесу, поскольку бешеный матадор сказал об этом не кому-нибудь, а в обществе иностранцев, среди которых был и офицер СД, работавший в Бургосе при штабе Франко. Имя этого офицера было Макс, знакомые звали Максимо, но чаще, особенно те, которые были с ним дружны, называли его Эстилиц, потому что фамилия «Штирлиц» весьма трудно произносима по-испански.

Поскольку Веласкес не унимался, нес Франко «по кочкам», Гонсалес пригласил его к себе, сказал, что если ему надоела жизнь, то он может с нею покончить в этом же здании, в туалете, пистолет к его услугам, калибр вполне надежен, снимет полчерепа, никакой боли, мозги разнесет по кафелю, только жаль, смешаются с дерьмом, не эстетично.

Именно во время этого разговора он и пригласил Веласкеса в разведку, такие пригодятся в крутых делах, и, отправив его по-

учиться делу в Берлин, к адмиралу Канарису и Шелленбергу, затем устроил своего протеже в Лондон, на должность пресс-атташе.

Там Веласкес начал работать на абвер, выполнял личные задания Шелленберга, а летом сорок первого года, незадолго перед тем, как Гонсалеса вышвырнули в отставку, был привлечен к сотрудничеству разведкой Японии.

Именно он, Гонсалес, после того как полномочный министр и чрезвычайный посол Сума-сан посетил министра иностранных дел Испании Серано Суньера и договорился о формах обмена информацией с Веласкесом по дипломатическим каналам, санкционировал форму финансирования разведывательной группы. Сума-сан пообещал передавать Веласкесу не чеки или деньги, но бриллианты и жемчуга, с тем чтобы тот мог платить своим помощникам, которыми являлись корреспондент газеты «Мадрид» в Нью-Йорке Пенелла де Сильва, репортер «Йа» Франсиско Лусинтес, журналист из «АВС» Хасинто Микельарена и Аладрен из «Информасьонес». При этом Гонсалес уже тогда подозревал Аладрена, брата известного скульптора, который жил в одной квартире с Гарсией Лоркой, в том, что тот работает не столько на японцев, сколько на американцев, ибо дважды посещал американского посла в Испании Хейеса, стараясь (о, наивность любителей!) провести этот контакт тайно.

Скорее машинально, чем из интереса, Гонсалес, готовя свои дела к передаче преемнику, поинтересовался, сколько же японцы платят Веласкесу. Сумма была воистину ошеломительной.

Встретившись с Веласкесом на трибуне Пласа де торос (договорились об этом в лифте, поднимаясь в свои квартиры), сии вели себя так, чтобы ни у кого (а особенно у двух молодчиков, севших слева от них) не было никаких сомнений: обмениваются впечатлениями о бое быков, точки зрения вполне компетентны, причем если «дипломат» грешит чрезмерной эмоциональностью, то «генерал» полон сдержанности, юмористичен и, видимо, тяжело болен, потому что довольно часто принимает пилюли (ход подсказал Мендоса, «пилюлями» были катышки «сен-сен», способствующие устранению дурных запахов во рту).

Когда после окончания корриды люди ринулись к выходу, а именно в это время и миллионер и безработный делаются абсолютными испанцами, то есть яростно работают локтями и неудержимо рвутся вперед, стараясь поскорее вырваться из узкого тоннеля, ведущего к улицам, — Гонсалес и Веласкес обменялись самой важной информацией, а именно: «матадор» успел сказать генералу, что целый ряд сотрудников ОСС взяты им «на крючок», что они работают не за деньги, а из идейных соображений, стараясь нанести удар по имперским устремлениям Великобритании, что японцы отчего-то прекратили финансирование драгоценными камнями, дали ему доверенность на счет в филиале швейцарского банка, открытый в Цюрихе неким доктором Миллером, и что, по слухам, немцы сейчас срочно создают в нейтральных странах свои фирмы, вкладывая туда огромные средства. Он успел также сказать, что немцы просили его перевести триста тысяч долларов на имя Евы Дуарте, друга жены аргентинского полковника, не так давно вернувшегося в страну после

двухлетней работы в Берлине на посту военного атташе при Гитлере; профессор истории, специализировавшийся по Латиноамериканскому континенту, Гонсалес знал это имя. Канарис в свое время сказал о том, что он дружит с этим перспективным военным, светлая голова, способен на многое, вполне перспективен.

Гонсалес пообещал продумать ситуацию, со следующим контактом не торопился, зная, что Веласкес вернется в Испанию только в марте сорок пятого, когда подойдет время его очередного отпуска, и весь этот год занимался тем, что медленно, неторопливо и подспудно налаживал связи с экономистами, встречаясь с ними на коридах; телефонные звонки, таким образом, были замотивированы — обмен впечатлениями после прошедшего боя. Столь же мотивированными были и совместные завтраки со знакомыми в кафе «Рио-Фрио», никакой конспиративности, все на глазах, слушай, секретная полиция, пиши свои отчеты, если сможешь понять, о чем идет речь!

После разгрома Гитлера, после того как мир переменился, Гонсалес начал вести себя еще более раскованно; Франко дрогнул, у него появилось слишком много открытых врагов, чтобы заниматься теми, кто казался ему врагом скрытым; именно тогда те, которые называли Гонсалеса «Локо», поняли, что он вовсе не безумец, а, наоборот, куда умнее тех, которые считали себя мудрецами; оказывается, в оппозиции, если только суметь ее пересидеть, есть свои плюсы, ибо нежданно-негаданно Гонсалес сделался представителем нескольких латиноамериканских фирм, которые уполномочили его заключать торговые сделки, за что платили весьма высокие комиссионные; кто именно стоял у руководства фирм, никто не знал, да и никого это особо не интересовало, поскольку товар поступал отменный, задержек по платежам не было, а подарки заинтересованным чиновникам присылались ежемесячно, причем весьма щедрые.

Тем не менее Гонсалес не позволял себе ни одного высказывания против генералиссимуса, молчал, как набрал в рот воды, сделался лучшим знатоком и предсказателем корриды; однажды оказался на трибуне рядом с американским советником; тот бросился к нему с объятиями — оказывается, они были знакомы еще по сороковому году, когда советник был пресс-атташе и только начинал свою дипломатическую карьеру.

Через две недели пришло приглашение в американское посольство на коктейль, посвященный приезду в страну группы бизнесменов, работающих в сфере холодильных установок; в Испании много мяса, чего-чего, а этой безделицы хватает, поле для выгодных сделок, холодильники наши, мясо ваше, торговля в голодной Европе — совместная, нам — восемьдесят процентов, вам — двадцать, вполне по-джентльменски.

...Именно этот эпизод с подсадкой к американцу и заметил Штирлиц на Плаца де торос весной сорок шестого, когда подкрадывался к тем матадорам, что уезжали в Мексику, заметил и — забыл, заложив в анналы памяти.

Понадобилось через пять дней после того, как вернулся из Бургоса; именно там он познакомился с Гонсалесом десять лет назад, именно этот человек может ему сейчас помочь, все люди, отмеченные печатью знания, а тем более связей, нужны ему.

Вопрос о том, как восстановить знакомство с Гонсалесом, был делом техники...

Как и всегда, в то утро Гонсалес выпил чашку кофе, съел рогалик, обжаренный в оливковом масле, и принялся за газеты; официальные сообщения он не читал, даже не просматривал; начинал с информаций о прошедших корридах, делал выписки, составлял схемы; он теперь признанный «предсказатель» результатов поединков — живая легенда, этим надо дорожить, это — повод для любых встреч, возможность быть на виду, говорить о том, что интересует, отвечать на вопросы, что, естественно, дает возможность задавать свои, связанные отнюдь не только с боем быков.

Все мало-мальски любопытное он вырезал, раскладывал по разноцветным папочкам; поэтому, когда ему попалось описание корриды, начинавшееся с упругой фразы, принадлежащей явно не испанцу, «бык был красным и литым, словно торпеда», — генерал заинтересовался материалом, подоткнул под себя пуховое одеяло, простроченное китайской шелковой нитью с бисером, и проглотил репортаж целиком, поразившись, что это блистательное описание боя кончалось такими словами: «Я помню, как десять лет назад, когда осеннее небо было таким же высоким и перистые облака в нем постепенно растворялись в знойном желтоватом мареве, которое поднималось все выше и выше, пока не достигло зыбкого очертания месяца, появляющегося здесь в последние дни октября уже к семи часам, великий матадор Эухенио, обернувшись к полковнику Гонсалесу, сидевшему рядом с его квадрильей, усмешливо сказал: «Пусть бог распределит удачу», и пошел на середину Пласа де торос, и был уже готов убить быка и получить трофэо, как случилось непредсказуемое, и на Плясу выскочил десятилетний мальчишка, и бык бросился на него, и мальчишка был бы распорот острым, как шило, рогом, но Эухенио бросился на быка, отвел его на себя, и был ранен, и спас мальчика, и хотя он не получил трофэо, но зато он выиграл п а м я т ь. Я никогда не забуду, как Альфредо Гонсалес, которого уже тогда по праву считали лучшим аналитиком корриды, сказал: «Бог распределил удачу по-божески, он наградил Эухенио не только умом, но и сердцем».

Подпись под эссе ни о чем не говорила; странно, «Пуэбло» никогда не печатала этого «Максимо», откуда такое прекрасное перо?

Гонсалес сразу же вспомнил тот день в Бургосе, и Эухенио, и тот бой, только своих слов — ему понравились слова, которые, как утверждал «Максимо», он произнес тогда, — он не помнил; впрочем, неважно, помнят другие, память о нас хранят люди, я — пустое, миг в человечьей череде, но, если я оставил по себе память у других, тогда, значит, жизнь прожита не зря...

Сняв трубку телефона, он позвонил в «Пуэбло»; главный редак-

тор утверждался лично каудильо; ему он не стал звонить, зачем? Значительно более оправдан звонок в отдел, дающий постоянные репортажи о корридах; пусть они скажут главному о звонке генерала Гонсалеса, это престижнее, героя должна играть толпа, сам герой обязан хранить молчание, грех забывать уроки драматургии античности.

– Кто спрашивает редактора отдела? – поинтересовалась секретарь.

– Гонсалес.

– Откуда вы?

– Я? – Гонсалес вдруг усмехнулся. – От себя. Доложите вашему шефу, что его беспокоит звонком генерал в отставке Альфредо-Хосефа-и-Рауль Гонсалес.

– Одну минуту, – ответила девушка другим голосом; в трубке что-то щелкнуло, и сразу же пророкотал густой баритон шефа отдела Рохаса.

– Мне бы хотелось поблагодарить Максимо, – сказал Гонсалес, – которого вы сегодня опубликовали. Я вспомнил ту корриду в Бургосе и прекрасного матадора Эухенио, которого мало кто знает ныне... Удел погибших – беспамятство...

– Нам очень приятен ваш звонок, сеньор Гонсалес, мы полны самого глубокого уважения к вашему таланту, никто, кроме вас, не умеет так точно предсказать корриду...

– Это преувеличение, – ответил Гонсалес, – тем не менее я благодарю вас, Рохас...

– Этот Максимо не испанец... Он писал нам пару раз... Я толком и не знаю, кто он... У меня нет его телефона... Одну минуту, я спрошу Альберто, он готовил этот материал к публикации... А вам он действительно понравился?

– Да, это красиво сделано. Конечно, у него свои представления о корриде, никто, кроме испанцев, не может понять смысл тавромахии, но тем не менее он полон уважения к предмету и пытается ее постигнуть не с наскока, как все эти инглезес и алеманес.

– Вот, генерал, его адрес... Хотя, нет, он, оказывается, дал свои новые телефоны, пожалуйста, записывайте...

...Второй телефон, служебный, показался Гонсалесу знакомым; память у него была натренированная, профессионал высокого класса; он просмотрел свою папку с визитными карточками, которую стал исподволь подбирать после того, как снова начал выходить в свет; все правильно, тот же коммутатор, что и у директора ИТТ Эрла Джекобса, последний раз встречались на ужине у аргентинского посла по случаю провозглашения дня независимости республики, весьма хваткий парень.

Гонсалес позвонил в ИТТ, попросил соединить его с доктором Брунном; ответили, что аппарата у доктора нет, пригласят, надо подождать; генерал услыхал голос, показавшийся ему знакомым, поздравил с прекрасной публикацией, поблагодарил за память и пригласил на ужин, который состоится у него дома, на калье-де-Акунья; приглашен Веласкес, генерал Серхио Оцуп, брат известного петроградского фотографа, советник американского посольства Джозеф

Гэйт и руководитель торговой миссии Испании в Швейцарии дон Хайме Бетанкур.

...Он узнал Штирлица сразу же, они обнялись; Гонсалес шепнул:

– Эстилиц, боже ты мой, как я рад вас видеть!

– Я Брунн, – так же шепотом ответил Штирлиц. – Будь проклята наша память, я не Эстилиц, а Брунн!

ГАРАНТИРОВАННАЯ ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ

«Грегори Спарку,
отель «Амбассадор», Голливуд, США

Дорогой Грегори!

Во-первых, надо было бы тебе написать новый адрес. Я отправляю письмо на твой отель в надежде, что его тебе переправят. А – нет, и бог с ним, с этим письмом, напишу новое.

Во-вторых, я сейчас не могу подробно рассказать тебе о своей жизни, потому что на балконе спит девушка, которую зовут Криста, я вижу ее с того места, где пишу, любуюсь ею и думаю: «Да пошли к чертовой матери все мерзавцы этого мира, если рядом с тобою живет черноволосая (вообще-то она белая), голубоглазая, большелобая, веснушчатая, длинноногая, умная и добрая девушка!» Пусть они все идут к чертовой матери, если у тебя есть Элизабет и мальчики, а у меня есть Криста, а мальчики еще только будут, или девочки, какая разница, но обязательно веснушчатые, голубоглазые и беловолосые.

Мир вступил в полосу безвременья, Грегори, былые идеалы отходят в прошлое, новые только рождаются. А нам нужно оставаться самими собою, надо хранить в своих ячейках порядочность, верность дружбе, желание прийти на помощь тому, кого зазря обижают. Это передастся детям, от наших детей – внукам, а это – геометрическая прогрессия, только на это я надеюсь. В пику тр-р-р-радициям наших бездарей (интересно, считают ли они своей традицией и то рабство, которое было законом в Штатах еще восемьдесят лет назад?) надо хранить наши традиции братства, сложившегося в годы войны, только этим мы можем помочь человечеству.

В связи с этим скажи Врэнксу – он ведь тоже, мне сдается, работает в Голливуде, пишет какую-то муру, – чтобы старик был осмотрительнее в переписке со своими испанскими корреспондентами. Он здесь дрался в составе батальона Линкольна, я понимаю, как он ненавидит каудильо и как любит тех своих друзей, которых только-только начинают выпускать из концентрационных лагерей (не без моего, кстати говоря, нажима), но нельзя терять голову и подводить подцензурных испанцев. Я пишу об этом спокойно, оттого что оправляю письмо с дипломатической почтой, значит, фалангистская сволочь не сможет это-

го прочесть, а в Штатах, слава богу, тайна переписки пока еще гарантируется законом. Именно это, пожалуй, и есть одна из наших традиций, причем не мифическая, но реальная, столь нам дорогая, потому что позволяет чувствовать себя личностью. Ты в своих спорах, если все же решишь их продолжать (не советовал бы, бесполезно), спроси своих оппонентов, что они конкретно понимают под словом «традиция»? По пунктам и без придыханий. Убийство индейцев? Расстрелы северян, которые восстали против рабства? Торговля живыми людьми, обмен их на породистых собак, натасканных на заячью охоту? Ку-клукс-клан? Или это не считается «американской традицией»? Тогда, может быть, наша традиция — это Линкольн? Я — «за». Но пусть не забывают, против каких «традиций» он сражался.

Здесь, в нашей колонии, тоже есть радетели традиций; как правило, это выдающиеся — по малограмотности — люди. Читать они могут с трудом, по слогам, больше всего любят слушать. Вот какой-нибудь одержимый борец ума и вкладывает в их мозги ахинею, пыжась от гордости, ибо он есть представитель самого большого (по территории) и самого богатого (по количеству миллионеров) государства в мире. Когда я заметил, что самыми большими — по территории — являются Россия и Канада, на меня посмотрели с сожалеющим недоумением. Когда я, уподобившись тебе, принес справочник, мне сказали, что хозяин издательства не чистокровный американец, в глубине души нам завидует, а потому публикует фальсифицированные данные. Тогда я, потеряв на какой-то миг контроль, сказал, что традиции никогда не бывают однозначными, они нарабатывались в борьбе против зла, тупости, насилия, коррупции, нищеты, что еще и ста лет не прошло, как в нашей стране отменили рабство, которое было американской традицией. После этого я ощутил вокруг себя некий вакуум — и замолчал.

Ну их к черту, Грегори! Подыскивай для меня место консультанта по вопросам телефонно-телеграфной связи в Голливуде. Именно так, потому что я приобрел акции здешней ИТТ по весьма выгодному курсу, значит, сам бог велит менять профессию. Кстати, Криста имеет какое-то отношение к этой профессии, она талантливый математик, занимается проблемой чисел, дьявольски интересно. Сколько стоит небольшой (три-четыре комнаты) коттедж на берегу океана? Подальше от центра, конечно же, но с хорошим подъездом. И чтобы рядом не было ни бензоколонок, ни аптек. Я спрашиваю об этом вполне серьезно.

Господи, как я счастлив, Грегори! Какое блаженное ощущение тишины и надежности пришло ко мне, после того как бог подарил мне Кристу. Я ведь похоронил себя, с головой ушел в дело, лишь это давало мне возможность

засыпать, не надравшись виски. Я не видел вокруг себя никого и ничего, заставил себя стать роботом, некий панцирь от безнадежности — скорее бы прожить, скорее бы ходики на кухне отсчитали отпущенное тебе время, чтобы продолжить свой счет для других, которые идут следом. И вдруг старый «шевроле» бьет бампер моего «форда», и появляется Криста, и все меняется. За день, за один лишь день все изменилось, Грегори! Помнишь, в Библии? И было утро, и была ночь, день первый... В тот день первый открыл глаза и сразу же зажмурился, потому что испугался не ощутить ее рядом с собою; я очень испугался, что все произошедшее вчера — сон, очередной сон, сколько же я повидал таких снов за последние годы, можно было бы написать такие прекрасные книги, умей я записывать сны, и все — с прекрасным концом. Я медленно протянул левую руку и ощутил рядом с собою пустоту, и такой ужас родился во мне, такая безысходность, Грегори, что даже и не передать тебе. Я начал тихо ругаться, я никогда не думал, что умею так гнусно ругаться, я лежал и ругался, а потом увидел на столике два стакана и понял, что я зря ругаюсь, значит, Криста была, не мог же я пить из двух стаканов, конечно, я, как и все, познавшие войну, малость не в себе, но все же не полный псих, и тогда я закричал: «Крис!» — и больше всего боялся, что не услышу ее ответа, и никто не ответил, но я подумал, что если раньше мне показывали сны, в которых были безымянные, прекрасные, добрые, любящие женщины, то сейчас-то я помнил, что женщину моей мечты зовут «Криста», она не исчезала из памяти, как остальные. Я вскочил с кровати, подумав, что она ушла рано утром, все же мне сорок, а ей двадцать пять, может, я стар для нее и она решила прервать все сразу, пока не зашло слишком далеко. Я сказал себе тогда, прыгая на одной ноге, потому что не мог другой попасть в штанину, что наплюю на все и сделаю так, что мои фашистско-фалангистские друзья из полиции перекроют аэродромы и вокзалы, они это лихо умеют делать, Гиммлер учил, не кто-нибудь. А потом я услыхал, как в ванной комнате льется вода, и еще я услыхал голос Кристы, она пела веселую песенку про букет полевых цветов; она пела ее по-немецки, а потом, когда готовила нам завтрак, по-норвежски, а после, когда стояла на балконе и махала мне рукой, наблюдая, как я садился в машину, по-английски, и на левой ее щеке была ямочка, и черные волосы закрывали большой выпуклый лоб, усыпанный веснушками, и я только тогда поверил, что она рядом, и что я вернусь на ленч — я никогда раньше не приезжал домой, всегда ел в кафе, — и мы будем сидеть друг против друга, и говорить о чем угодно, все равно о чем, и это будет то, что люди называют счастьем, и что так скучно объясняется в энциклопедическом словаре английского языка.

Словом, я намерен жениться в следующем месяце. Криста одна, ее родители умерли, так что никаких сложностей с поездкой домой и разговорами с семьей не предстоит, и никто не будет спрашивать о допустимости возрастной разницы, и о том, какой я породы, и не будет ли ей грозить что-либо от моей первой жены, ты же знаешь, как европейцы осмотрительны в вопросах брака.

А весной мы приедем в Штаты и обязательно побываем у тебя в Голливуде, Криста ни разу не была в нашей сумасшедшей стране, и я хочу показать ей не туристские маршруты, а настоящую Америку, которую мы так с тобою любим. Мне очень хочется, чтобы и она ее полюбила.

Пиши. Только с обратным адресом.

Твой Пол Роумэн.

P. S. Отчего не отвечает Брехт, я отправил ему открытку и письмо?»

Выдержки из протокола допроса бывшего СС бригаденфюрера Вальтера Шелленберга (сорок шестой)

Вопрос. – Чем вызван ваш полет в Лиссабон в апреле сорок первого года?

Ответ. – В начале апреля мне позвонил Гиммлер и приказал срочно подготовиться к докладу, сказав, что вызывает фюрер. Не успел я положить трубку, как меня пригласил Гейдрих. Он сказал, что вопрос, по которому вызывает Гитлер, весьма сложен: «От наиболее доверенной агентуры поступили сообщения, что в Лиссабоне появился Отто Штрассер. Я познакомлю вас с моим человеком, который работал в организации Штрассера «Черный фронт». Он внедрился к нему, имея задание разложить «фронт» изнутри. Получите от него информацию о положении в этой эмигрантской клике. Однако, думаю, Гитлер вызывает вас не только для того, чтобы организовать развал «Черного фронта». Мне кажется – я сужу по той ненависти, которую фюрер испытывает к братьям Штрассерам, – речь пойдет о том, чтобы ликвидировать Отто. По дороге в рейхсканцелярию я расскажу вам о тех причинах, которые вызвали столь глубокую ненависть фюрера к братьям». Я заметил Гейдриху, что было бы целесообразнее поручить эту операцию тому человеку, который уже внедрен в «Черный фронт»...

Вопрос. – Фамилия этого человека?

Ответ. – Штандартенфюрер Бист.

Вопрос. – Что вы о нем можете сказать?

Ответ. – Ничего, кроме того, что он классный профессионал.

Вопрос. – Который был готов на любое преступление?

Ответ. – Если Международный трибунал запретит разведку, как таковую, я соглашусь с вашим заключением. Однако, поскольку разведка пока еще не признана преступной организацией, я оставляю за собою право ответить в том смысле, что штандартенфюрер был готов к тому, чтобы выполнить любое задание, порученное ему командованием.

Вопрос. – Бист поддерживал постоянный контакт с фюрером народной экономики Гуго Стиннесом?

Ответ. – Я об этом не знаю.

Вопрос. – Продолжайте.

Ответ. – В кабинете Гитлера нас ждал Гиммлер. Фюрер спросил Гейдриха, что есть нового по делу Штрассера. Тот ответил, что дополнительной информации, кроме той, которую он передал ему вчера, сообщить не может. Тогда фюрер, отчего-то разгневавшись, сказал: «Каждый из вас человек воинского долга и присяги. Приказ командира – истина в последней инстанции. Нарушение приказа – какой бы пост вы ни занимали – грозит каждому из вас расстрелом. Вы себе это уяснили достаточно ясно?» Мы ответили, что это нам ясно. Тогда, несколько успокоившись, Гитлер продолжил: «Никто так не опасен движению, как человек, который был поднят к руководству, знал высшие тайны НСДАП и рейха, а потом был сброшен волей нации с занимаемого поста. Никто так не опасен движению, как тот, кто присвоил себе право выдвигать собственные концепции, идущие вразрез с теми, которые выдвинул я. Это есть не что иное, как предательство интересов национал-социализма! Любое «ячество», любая претензия на собственную точку зрения, пусть это даже прикрывается высокими словами о благе нации, подлежат быть искорененными огнем и мечом. Вы согласны, Гиммлер?» Тот не ожидал вопроса, поэтому ответил растерянным и чересчур аффектированным согласием. «Поскольку старшего, Грегора Штрассера, – продолжал Гитлер, – мы успели схватить и он был казнен, к сожалению, слишком легко, расстрел – это смерть солдата, изменника надо было рвать на куски щипцами для маникюра, – остался Отто. Он не знает всего, но он был руководителем заграничной организации НСДАП, он имеет целый ряд важнейших данных, которыми интересуются секретные службы Лондона, Москвы и Вашингтона. Поэтому я приказываю вам казнить его, чего бы это ни стоило». Гейдрих ответил, что ему понятно задание; я предпочитал молчать. Фюрер продолжал: «Чтобы операция прошла успешно, я сам продумал ее поэтапный план. Я помню крах дела с герцогом Виндзорским, поэтому извольте следовать моему плану, это гарантирует удачу. Итак, во-первых, вам надлежит выяснить нынешнюю резиденцию Отто Штрассера. Во-вторых, после этого он должен быть уничтожен любым путем. В-третьих, я даю вам, Шелленберг, абсолютную свободу действий, не думайте о способах, любой способ хорош, когда речь идет о казни изменника, урок другим мерзавцам, профилактика настроений в стране, способ единения массы вокруг того, кого она, эта масса, назвала своим фюрером. Никто – повторяю, ни одна живая душа на свете – не должен знать об этом моем приказе»... Мы вернулись в кабинет Гейдриха и там продолжали обсуждение предстоящей операции. Я не мог понять, отчего я избран на эту роль. Мне даже показалось, что Гиммлер и Гейдрих проверяют меня после неудавшегося похищения герцога Виндзорского. Потом адъютант доложил Гиммлеру, что по его вызову прибыл профессор из Мюнхенского университета. Гиммлер объяснил, что этот профессор является крупнейшим бактериологом. «Он вручит вам яд, которым вы убьете Штрассера. Но имейте в виду, при

нем ничего нельзя говорить о полученном вами задании», – добавил он перед тем, как пригласили профессора.

Вопрос. – Его имя?

Ответ. – Не помню.

Вопрос. – Вы помните.

Ответ. – Я помнил, но сейчас его имя вылетело из памяти...

Вопрос. – Профессор Штойбер?

Ответ. – Может быть...

Вопрос. – Хотите послушать его показания?

Ответ. – Был бы вам признателен.

Вопрос. – Ну что ж, слушайте... «Шелленберг в присутствии Гиммлера и Гейдриха был ознакомлен мною с правилами обращения с ядом фелозиласкиназа. Я заверил Шелленберга, что одна капля яда убьет любого человека; шанс – тысяча против одного. Смерть наступает с признаками, подобными тифозному заболеванию,что весьма выгодно с точки зрения возможной врачебно-медицинской экспертизы». Правильные показания?

Ответ. – Да.

Вопрос. – Что было дальше?

Ответ. – Вы же, судя по всему, знаете.

Вопрос. – Что было дальше?

Ответ. – Профессор вручил мне две бутылки яда... Хотя нужна была одна капля... Вернувшись в кабинет, я первым делом запер эти бутылки в сейф. Затем пригласил штандартенфюрера Биста. Разговор с ним был бесполезным, он мало что знал и о «Черном фронте» и о самом Штрассере. Через два дня после того, как наши техники приготовили для меня специальный саквояж с металлическим сейфом, вмонтированным в него, чтобы хранить бутылки с ядом, я вылетел ь Лиссабон, более всего опасаясь таможенного досмотра. К счастью, меня встретили португальские друзья из секретной полиции, имен которых я не помню...

Вопрос. – Не помните имен друзей?

Ответ. – Это были люди другого уровня, их имена знать не обязательно.

Вопрос. – Но вы назвали их друзьями...

Ответ. – Не врагами же мне их называть... Словом, я благополучно прошел таможенный досмотр и поселился в доме одного из португальских контактов...

Вопрос. – Имя?

Ответ. – Полковник ду Сантуш.

Вопрос. – Вы провели у него одну ночь?

Ответ. – И день... У него-то я воочию и убедился в том, на что идут наши рейхсмарки... Мне принесли на подпись чеки из обувного магазина, купили «на нужды операции» тринадцать пар туфель. По ошибке к чеку были подколоты бумажки из магазина с размерами купленной обуви – начиная с детской и кончая женскими, из Парижа, самыми дорогими. А вообще эта поездка оказалась для меня настоящим отдыхом, потому что в течение двух недель, пока агентура португальцев рыскала по Лиссабону, я купался и загорал. А Отто Штрассер так и не появился в Лиссабоне... Две бутылки с

ядом, спрятанные в водонепроницаемом сейфе, были утоплены во время морской прогулки, я сообщил Гейдриху, что Штрассер так и не появился, видимо, информация, полученная им, была ложной. Я предложил продолжить наблюдение в Лиссабоне, но уже без меня, написал в телеграмме, что вернусь в Португалию для приведения приговора в исполнение, как только Штрассер будет установлен. По прошествии двух дней Гейдрих ответил, что он согласен с моим предложением... Я вернулся в Берлин, опасаясь гнева фюрера, но, на мое счастье, в это время Гесс улетел в Англию и вообще оставалось чуть больше месяца до начала войны против России...

Вопрос. – Вы были привлечены к разработке плана этой войны? Как вы работали накануне войны?

Ответ. – Русская секретная служба к тому времени развернула весьма серьезную активность в Германии и на оккупированных территориях. Точнее говоря, они никогда и не сворачивали своей активности. Мне было вменено в обязанность организовать не только разведывательную, но и контрразведывательную работу против России, используя для этого и нашу агентуру, и белую гвардию, и людей из окружения князя Багратиони, провозглашенного царем Грузии, и украинских повстанцев Мельника и Бандеры. Но работа эта была чрезвычайно трудная. Когда я летал в Норвегию, чтобы обсудить с протектором Тербовеном координацию работы наших людей и абвера с его сотрудниками, мне удалось перевербовать норвежку, участницу Сопротивления, которая после двух встреч призналась в том, что ей было вменено в обязанность убить меня. Она боялась мести подпольщиков, и я – в благодарность за ее признание и переход на нашу сторону – дал ей новые документы и отправил в Португалию. Кажется, затем она перебралась во Францию. Она присылала поразительную информацию, которую я иногда даже докладывал фюреру. Однако после освобождения Франции я получил сообщение от моих информаторов, работавших в Париже, в посольствах нейтральных стран, что эта очаровательная девушка получила новый паспорт и появлялась на приемах у британцев, американцев и русских.

Вопрос. – Фамилии ваших информаторов?

Ответ. – Я должен вспомнить... Я не помню, кажется, это были люди из испанского посольства.

Вопрос. – Имя и фамилия этой девушки?

Ответ. – Я знал ее как Марианну Крис.

Вопрос. – Под какой фамилией вы отправили ее в Португалию?

Ответ. – Кажется, как Кристину Ливерс.

Вопрос. – Когда это было?

Ответ. – Точно я не помню...

Вопрос. – Опишите ее.

Ответ. – Высокая блондинка, с очень большими голубыми глазами, на левой щеке маленькая родинка, размер обуви «шесть с половиной».

Вопрос. – Продолжайте.

Ответ. – Начиная с лета сорок второго года, после того как я посетил Гиммлера в его штаб-квартире в Житомире, я посвятил се-

бя делу реализации моей идеи о заключении почетного мира с западными державами.

Вопрос. – Это – другое дело. Считаете ли вы себя виновным в подготовке террористических актов, похищений и отравлений?

Ответ. – Нет. Я выполнял приказ.

Вопрос. – Считаете ли вы, что трибунал в Нюрнберге согласится с такого рода позицией?

Ответ. – Не знаю.

Вопрос. – Отдаете ли вы себе отчет в вашем положении?

Ответ. – Полностью.

Вопрос. – Согласны ли вы выступить свидетелем обвинения против Геринга, Кальтенбруннера, Риббентропа и других главных военных преступников?

Ответ. – Да.

Вопрос. – Готовы ли вы к сотрудничеству с нами?

Ответ. – Абсолютно.

Вопрос. – Готовы ли вы подписать обязательство о сотрудничестве с нашими службами?

Ответ. – Моего слова недостаточно?

Вопрос. – Готовы ли вы подписать такого рода обязательство?

Ответ. – Да.

Вопрос. – Готовы ли вы дать нам исчерпывающую информацию по всем вашим контактам в мире?

Ответ. – Да. Я же подписал обязательство.

Вопрос. – Мы сейчас перечислим вам имена людей, о которых вы будете обязаны написать подробные справки: Борман, ду Сантуш, граф Оргас, пастор Шлаг, СС штандартенфюрер Бист, СС штурмбанфюрер Рихтер, СС штандартенфюрер Штирлиц, СС гауптштурмфюрер Барбье, СС группенфюрер Мюллер, секретарь министерства иностранных дел Лютер, доктор медицины Керстен, генерал-лейтенант Гелен. Вы помните всех этих людей?

Ответ. – В большей или меньшей степени.

Вопрос. – Сколько времени вам потребуется для работы?

Ответ. – Не менее двух месяцев.

ШТИРЛИЦ (октябрь сорок шестого)

Эта папка лежала так, чтобы человек, открывший шкаф, сразу же обратил на нее внимание.

Именно поэтому Штирлиц не взял ее, а принялся за разбор других документов. Он убедился, что поступил правильно и что эту папку ему подсовывали, когда неожиданно зашел Кемп, осведомился, как идут дела, попросил сеньора Анхела заварить его волшебный кофе; «совершенноы раскалывается голова; медицина должна найти объяснение не только для психопатов, но и «климатопатов», то есть для тех, кто болезненно реагирует на приближающуюся перемену погоды, становясь абсолютно невменяемым», только после этого рассеянно взглянул на открытый шкаф, задержавшись именно на той папке с грифом «секретно», которая по-прежнему лежала на своем месте – не тронутой.

Перед началом обеденного перерыва Штирлиц зашел в зал, где за своим столом картинно восседал Анхел, одетый сегодня в ярко-желтый пиджак, темно-сиреневые брюки и голубую сорочку тонкого шелка; туфли, правда, были прежние, с золотыми пряжками и высоким каблуком.

— Вы не позволите мне еще раз почитать американские пресс-релизы с Нюрнбергского процесса? — спросил он. — Я бы ради этого отказался от обеда.

— Хм... Вообще-то я имею право давать эти материалы только гражданам Соединенных Штатов, — ответил Анхел. — Нет, нет, это указание наших властей, испанских, а не руководства концерна. Кто-то уже успел стукнуть, что вы начали работать с этими материалами, скандала, правда, не было, но все-таки... Хорошо, хорошо, — заметив, как дрогнуло лицо Штирлица, торопливо заключил он, — кое-что я дам, но, пожалуйста, если кто-либо войдет сюда, спрячьте подшивку в стол. Договорились?

— Я спрячу ее так, что не найдет даже сатана.

— Сатана найдет все, — вздохнул Анхел. — На то он и сатана...

...Из всей подобранной Анхелом документации по Нюрнбергу Штирлиц в этот день остановился на показаниях Гизевиуса. Он знал этого человека, встречался с ним в Берне, когда тот был консулом третьего рейха. Молчаливый, сторонившийся знакомств, он производил впечатление сухого службиста, недалекого и запуганного. Тем более удивили Штирлица его показания, о которых он слышал еще летом, но читать их не читал, поскольку испанские газеты печатали только те материалы из Нюрнберга, которые представляли главных нацистов идейными борцами против большевизма, ничего не знавшими о нарушениях конституционных норм в рейхе...

У Анхела хранился полный стенографический отчет показаний Гизевиуса:

Вопрос. — Правильно ли, что вы были участником событий 20 июля 1944 года?

Ответ. — Да.

Вопрос. — Как вы попали на службу в полицию?

Ответ. — В июле 1933 года я выдержал государственный экзамен по юриспруденции. Будучи потомком старой чиновничьей семьи, я заявил о своем согласии служить в прусской администрации. Я в то время был членом немецкой народной национальной партии и организации «Стальной шлем» и по тогдашним понятиям считался политически благонадежным. Таким образом, моей первой службой в качестве чиновника была служба в политической полиции. Это значило, что я вступил тогда во вновь созданную тайную государственную полицию (гестапо). Всего ужаснее и всего заметнее для новичка было то, что начала действовать система лишения свободы, самая ужасная, какую можно было только выдумать; громадных помещений новой государственной полиции не хватало для арестованных. Были созданы специальные концлагеря для арестованных гестапо. И названия их останутся навсегда позорным пятном в истории.

Это были Ораниенбург и собственная тюрьма гестапо на Бабельштрассе – Колумбиа-хауз, или, как ее еще цинично называли, «Колумбийский притон».

Конечно, по сравнению с тем, что мы пережили позднее, это было только началом, но это началось так, и я хотел бы передать в нескольких словах мое личное впечатление. Уже спустя два дня я спросил одного из моих коллег: «Скажите, что я здесь – в учреждении полиции или просто в разбойничьей пещере?» Я получил ответ: «Вы в разбойничьей пещере и будьте готовы ко всему. Вам предстоит еще очень многое пережить».

Вопрос. – То, о чем вы говорите, вы узнали на основании собственного опыта?

Ответ. – Я основываюсь здесь не только на своем собственном опыте, я очень много слышал от человека, который в то время тоже служил в государственной тайной полиции, и в моих показаниях его сведения будут играть большую роль. Итак, в то время в тайную государственную полицию был вызван виднейший специалист по уголовным делам, может быть, самый выдающийся криминалист в прусской полиции, некий оберрегирунгсрат Небе. Небе был национал-социалистом. Он находился в оппозиции к старой прусской полиции и присоединился к национал-социалистской партии. И получилось так, что на моих глазах этот человек пережил внутренний переворот, увидев, что творится в полиции. Я думаю, что здесь важно упомянуть, по какой причине Небе стал решающим оппонентом, который шел по пути оппозиции вплоть до 20 июля и затем принял смерть через повешение.

В то время в августе 1933 года Небе получил от подсудимого Геринга задание убить Грегора Штрассера, организовав автомобильную катастрофу или на охоте. Это поручение настолько потрясло Небе, что он не захотел выполнить его и потребовал от имперской канцелярии объяснения. Из имперской канцелярии ему ответили, что фюрер ничего не знает о таком задании. Небе после этого пригласили к Герингу, ему были сделаны тягчайшие упреки в связи с подачей такого запроса, и, наконец, Геринг все же предпочел дать ему повышение после всех этих упреков для того, чтобы заставить его замолчать.

Вопрос. – 30 июня 1934 года дело дошло до так называемого путча Рема. Можете ли вы вкратце описать обстановку, которая предшествовала этому путчу?

Ответ. – Я должен сказать, что никогда не было путча Рема. 30 июня был лишь путч Геринга и Гиммлера. Я в состоянии осветить эту мрачную главу, так как я обрабатывал это дело в полицейском отделе министерства внутренних дел, и те распоряжения, которые были даны Гиммлером и Герингом по радио всей имперской полиции, попали ко мне. Последняя радиограмма звучала так: «По распоряжению Геринга следует немедленно сжечь все документы, относящиеся к 30 июня». Я тогда позволил себе положить эти бумаги в мой несгораемый шкаф. Я не знаю, насколько они сохранились, это зависит от способностей подсудимого Кальтенбруннера. Я все еще надеюсь найти их. И я на основании этих документов могу заявить,

что 30 июня СА не было сделано ни одного выстрела. СА не участвовало в этом путче, но я не хочу оправдывать этим руководителей СА. 30 июня не погиб ни один руководитель СА, который не заслужил бы смерти. Но положение 30 июня было таково, что, с одной стороны, стояло СА во главе с Ремом, а с другой – Геринг и Гиммлер. Позаботились о том, чтобы руководство СА за несколько дней до 30 июня было послано на отдых. Руководители СА именно 30 июня были приглашены Гитлером на совещание в Виссзее. На вокзале они узнали о событиях, что было для них полной неожиданностью, и поехали к месту этих событий.

Так называемый мюнхенский путч развивался так, что мюнхенское СА вообще не участвовало в нем, и в часе езды от Мюнхена так называемые государственные изменники уснули вечным сном, не предполагая даже, что в Мюнхене, по рассказам Гитлера и Геринга, вечером прошлого дня якобы состоялся путч...

Когда время обеденного перерыва кончилось, Штирлиц отдал Анхелу подбор пресс-релизов, заручившись его согласием, что дочитает показания Гизевиуса завтра или на следующей неделе, и вернулся к своей работе.

Через час кто-то позвонил Анхелу, тот засуетился, сказал, что уходит на два часа, но Штирлиц и тогда не прикоснулся к папке, и лишь после того, как он разобрался с нижней полкой и перешел на вторую, лишь когда Анхел вернулся в архив, он положил эту папку на стол, потому что сейчас его неинтерес к ней мог сыграть против него же.

Открыв первую страницу, он до конца убедился в том, что папку ему подсовывали, ибо на сопровождающей бумаге было напечатано: «Документы получены при обыске аргентинского гражданина Аугусто Канилья, подозреваемого в работе на секретную службу русских. Разглашению не подлежат».

Стоп, сказал себе Штирлиц, значит, они подозревают меня в том, в чем подозревал Мюллер? Или я впадаю в транс подозрительности? Они ведь должны исследовать меня со всех сторон, это их право. Я зря паникую. Все то, чем я занимался до этого, представляло интерес для американцев, разве нет? Да, бесспорно, но американцы владеют всей этой документацией, это их собственность, чего же им паниковать? А здесь мне прямо подсказывают, кто заинтересован в этих документах. Зачем? Чтобы я сделал с них копию? И передал связнику?

Он перевернул сопроводительную страницу и углубился в чтение справки о нацистских опорных базах в Аргентине.

Материал, конечно, зубодробительный, подумал Штирлиц, но почему именно русская разведка должна быть в нем так уж заинтересована? Неужели американские службы не занимает судьба нацистов в Латинской Америке? Зачем этот материал так ненавязчиво, но явственно подсунули мне?

Он бросил папку на полку небрежно, так, чтобы это видел Анхел, и, посмотрев на часы, спросил у него разрешения уйти порань-

ше; Кемп прав, видимо, будет меняться погода, у меня тоже раскалывается затылок.

Такси он остановил возле здания концерна, следом за ним никто не тащился, хотя, судя по тому, как ему навязывали аргентинскую папку, должны были бы. Он попросил шофера отвезти его к музею Прадо; когда ему было нужно основательно подумать о чем-то, он уходил именно туда, ничто так не способствует логическому анализу, как кипение чувств, сокрытых в работах великих мастеров, — это как тепло против холода: помогает ощущать себя собранным и готовым к поступку...

...Штирлицу казалось, что он был в Прадо один — так мало посетителей; редко появится человек возле картины; тишина; звук собственных шагов кажется шлепающим, ниспадающим с высокого потолка.

Штирлиц вышел из зала Эль Греко; остановившись на пороге, обернулся; все-таки рисовать человека вниз головой, подумал он, в черно-зеленой гамме, причем ты воспринимаешь такую позу совершенно естественной, удел далеко не каждого гения, а только родоначальника философии живописи; до Эль Греко такого не было; даже в иконах не было такого; на его картинах можно учиться мыслить, то есть выстраивать схему будущего, а не только понимать ту эпоху, которая создала его как личность.

Он прошел по коридору, зная, что по дороге к выходу обязательно задержится возле Мурильо и Сурбарана; в этом темном коридоре шаги не шлепались; возникло ощущение гнетущей тишины средневекового замка; мальчиком, когда он жил с отцом в Цюрихе, постоянно мечтал перенестись во времена Ричарда Львиное Сердце. Отчего все дети (с кем ему удавалось говорить, а это было не часто) мечтали жить в прошлом? Фантазии Жюля Верна проходят, это вроде азартной игры; но все мечтают пожить в те века, когда были рыцарские турниры, конные бои, мушкетеры короля. Только вот отчего-то про инквизицию забывают маленькие люди; впрочем, они не знают о ней, в школах это проходят бегло, зачем бросать тень на Ватикан, вера — это вечное, инквизиция — частность, досадная частность, не надо ворошить былое, нельзя жить без святого в сердце, религия — выше отца и матери, чтите ее.

Он вышел в большой зал, где экспонируются Мурильо и Сурбаран; услышал колокольчик — служители напоминали последним гостям, что время осмотра кончено; Штирлиц, однако, не пошел к выходу, а сделал быстрый шаг назад и прислонился к косяку, потому что он увидел Кемпа, который стоял рядом с черноволосой высокой женщиной и что-то быстро говорил ей, но так, чтобы любому, кто мог их увидеть, не пришло в голову, что они знакомы. Женщина смотрела картину, стояла к ней лицом, а Кемп делал вид, что он любуется совершенно другим полотном, повернулся к женщине боком, движения губ никто бы и не увидал, допусти он, что за ним наблюдает кто-то стоящий у входа; впрочем, Кемп просто не мог себе представить, что за ним наблюдает Штирлиц; он был совершенно уверен, что в музее уже никого не осталось; только бы скорее он кончил ей говорить, подумал Штирлиц, это же явный обмен инфор-

мацией. Если меня погонят отсюда и он меня заметит — мои часы сочтены. Кто эта женщина? Курьер? Исполнитель? Она не может быть резидентом, слишком молода. Видимо, курьер. Одета по-европейски, не американка, не англичанка и даже больше не из Канады. Курьер. Только б он ушел поскорее. В разведке никто и никогда не прощает того, кто оказался — пусть даже невольным — свидетелем контакта.

Кончив говорить, Кемп двинулся к выходу; женщина перешла на другую сторону зала, остановилась возле Мурильо; полистала путеводитель, нашла пояснение к работам этого художника; Штирлиц дождался, пока Кемп вышел из музея, неторопливо прошел вдоль полотен, мельком глянул на путеводитель, который читала женщина, — текст был английский.

Он задержался возле киоска, купив пару открыток; надо дать Кемпу время, пусть отъедет; дождался, пока женщина спустилась по лестнице вниз, и только после этого медленно пошел к тяжелым, восемнадцатого века, дверям; кажется, толкни — не откроешь, ан нет, пневматика; масса послушна не то что руке — пальцу.

Что же ты не начинаешь со мною главный разговор, Кемп, подумал Штирлиц. Давно пора начать тебе этот разговор. Все понимаю, выдержка, умение спровоцировать ситуацию, в которой твой разговор будет выглядеть естественно, необходимость нарисовать мой психологический портрет, если он еще до конца не нарисован, ожидание инструкций, если живы те, кто может их давать, все понимаю, но что-то ты медлишь, Кемп, это не по правилам,потому что мешает мне думать о вероятиях. Как же мне помочь тебе, а?

Он еще раз посмотрел на женщину, которая шла к площади; механически двинулся следом; довел до калье Серано; дождавшись, пока она поднялась на лифте, посмотрел табличку жильцов; напротив квартиры семь фамилии не было, пустое место...

...Назавтра он выяснил, что в квартире семь живет какой-то инглез, славный человек, зовут Паоло Роумэн, работает по части торговли, щедрый, в последнее время совсем перестал пить...

В тот же день, только тремя часами позже, Эронимо, из секретной полиции, нашел Роумэна во «Флориде», на бывшей Гран-Виа; Пол теперь довольно часто назначал здесь встречи Кристе — «тут пахнет былым, — сказал он ей как-то, — я ощущаю здесь присутствие наших людей из батальона Линкольна, и Хемингуэя, и русских, которые помогали испанцам драться против Франко, и Анри Мальро. Здесь чисто, несмотря на то что тайная полиция держит постоянный пост: с того дня, как фаланга вошла в столицу, они постоянно ждут заговоров».

Как и всегда, днем здесь было пусто; посетители собирались к вечеру, часов в семь, после полуденной сиесты; Пол сидел с Кристой в глубине зала; она держала его руку в своих ладонях. «Очень вкусный сандвич, — сказал он ей, показав глазами на их руки, — только съесть нельзя».

Эронимо подошел к столу; Пол представил его Кристе; он поцеловал воздух возле ее руки (испанцы никогда не прикасаются губами к коже женщины), от виски отказался, посмотрел на часы, Пол

его понял, поднялся, отошел вместе с ним к стойке; бармен сразу же узнал кабальеро из Пуэрта-дель-Соль, предложил вина, Эронимо покачал головой, показал глазами на дверь; бармен сразу же вышел.

— Вы поручали доктору Брунну следить за вашей подругой? — спросил Эронимо.

— Я?! — Пол не смог скрыть тревожного удивления, сразу же посетовал на себя за это (в здешней тайной полиции с каждым надо держать ухо востро, даже с теми, кому платишь). — А в чем дело? Почему это вас интересует, Эронимо?

— Меня это совершенно не интересует. Просто я подумал, что вы об этом можете не знать. А мужчина должен знать все. Если он выполнял вашу просьбу, то вопроса нет.

— В каждом деле бывают накладки, — сказал Пол для того лишь, чтобы хоть что-то сказать (испанцы обожают многозначительность, это предтеча интриги). — Меня интересует лишь одно: насколько профессионально он это делал?

— Он сделал это исключительно профессионально, — ответил Эронимо, и Роумэн почувствовал, как вдруг похолодели его пальцы.

— Спасибо, Эронимо, — сказал он, — я очень признателен вам за дружбу. Может быть, пообедаем вместе? Скажем — послезавтра?

ГЕРИНГ (сорок шестой)

Геринг вошел в свою камеру, чувствуя, что рубашка, одетая под китель, сшитый из мягкой ткани, стала совершенно мокрой, хоть выжимай. Чтение приговора было столь изнуряющим, так страшно и отчетливо он видел — словно ему показывали фильм про самого себя — все те годы, что он провел в Берлине и Каринхалле: овации толпы, красочные парады, спортивные празднества, приемы в рейхсканцелярии, здравицы в его честь, разносимые по улицам громкоговорителями, что силы оставили его вконец.

Слушая приговор, он то и дело возвращался памятью к перекрестным допросам, которым подвергли не только его, но и остальных партайгеноссен, мысленно перепроверяя — в который раз уже, — насколько пристойно он и те, за кого он здесь отвечал, будут выглядеть в глазах потомков.

Он вспоминал вопросы английского обвинителя Джексона и его, Геринга, ответы с фотографической четкостью.

Он решил отвечать коротко и четко, чтобы никто и никогда не смог упрекнуть его в том, что он страшился ответственности или скрывал правду; да, битва проиграна, но уйти надо, оставив по себе такую память, которая бы противостояла морю лжи, выплеснутой на движение большевистской прессой и еврейской пропагандой Уолл-стрита.

Геринг требовательно просматривал эту ленту, длиною в четырнадцать месяцев, — кадр за кадром, метр за метром, — и начало этого фильма показалось ему вполне рыцарским.

Он видел лицо Джексона, холодное, спокойное в своей надменности, ненавистное ему лицо, и слышал его голос, монотонный и бесстрастный:

– Придя к власти, вы немедленно уничтожили парламентское правительство в Германии?

Он слышал и свои ответы, видя себя как бы со стороны, оценивая себя не как Геринг уже, Геринг скоро исчезнет, но как зритель будущего фильма, который отсняла история, а не кинематографисты:

– Оно больше нам было не нужно.

– Для того чтобы удержать власть, вы запретили все оппозиционные партии?

– Мы считали необходимым не допускать впредь существования оппозиций.

– Вы проповедовали теорию о необходимости уничтожения всех тех, кто был настроен оппозиционно к нацистской партии?

– Поскольку оппозиция в любой форме препятствовала нашей работе во благо нации, оппозиционность этих лиц не могла быть терпима.

– После пожара рейхстага вы организовали большую чистку, во время которой многие были арестованы и многие убиты?

– Мне неизвестно ни одного случая, чтобы хоть один человек был убит из-за пожара в здании рейхстага, кроме осужденного имперским судом действительного поджигателя Ван дер Люббе. Аресты, которые вы относите за счет пожара рейхстага, в действительности были направлены против коммунистических деятелей. Аресты производились совершенно независимо от этого пожара. Пожар только ускорил их арест.

– Значит, у вас уже до пожара рейхстага были готовы списки для арестов коммунистов?

– Да.

– Вы и фюрер встретились во время пожара?

– Да.

– И здесь же, на месте, вы решили арестовать всех коммунистов?

– Я подчеркиваю, что решение было принято задолго до этого. Однако распоряжение о выполнении решения о немедленном аресте последовало в ту ночь.

– Кто был Карл Эрнст?

– Я не знаю, было ли его имя Карл, но знаю, что Эрнст был руководителем СА в Берлине.

– Кто такой Хельдорф?

– Позднее он стал руководителем СА в Берлине.

– А кто такой Хейнес?

– Он был начальником СА в Силезии.

– Вам известно, что Эрнст сделал заявление, признавшись, то он и указанные выше лица втроем подожгли рейхстаг и что вы и Геббельс планировали этот поджог и предоставили им воспламеняющиеся вещества – жидкий фосфор и керосин, которые положили для них в подземный ход, ведущий из вашего дома в здание рейхстага?

– Я не знаю ни о каком заявлении руководителя СА Эрнста.

– Но из вашего дома в рейхстаг вел специальный ход?

– Имеется ход, по которому доставлялся кокс для центрального отопления.

– Вы когда-нибудь хвастались тем, что подожгли рейхстаг, – хоти бы в шутку?

– Нет.

– Значит, вы никогда не заявляли, что подожгли рейхстаг?

– Нет.

– Вы помните завтрак в день рождения Гитлера в сорок втором году?

– Нет.

– Вы не помните? Я попрошу, чтобы вам показали письменное заявление генерала Франца Гальдера: «Я слышал собственными ушами, как Геринг воскликнул: «Единственный человек, который действительно знает рейхстаг, – это я, потому что я поджег его!» Сказав это, рейхсмаршал похлопал себя по ляжке».

– Этого разговора вообще не было.

– Вы знаете, кто такой Гальдер?

– Да.

– Какой пост он занимал в армии?

– Он был начальником штаба сухопутных войск.

...Геринг поднялся с жесткой узенькой железной койки, походил по камере, легко забросив руки за спину; остановился под окном, поднял голову, чтобы увидеть звезды в низком осеннем небе; почему-то явственно представил, как режиссер, который будет сидеть на высоком стуле рядом с оператором на съемке фильма о нем, рейхсмаршале Великой Римской империи германской нации, непременно скажет актеру, чтобы тот повторил этот жест; расслабленные кисти – за спину, резкий подъем головы, сдержанная, полная достоинства улыбка узника, который смотрит на звезды. Словно бы показывая будущему исполнителю своей роли этот жест еще раз, Геринг вернулся к койке, снова забросил руки за спину и прошел к оконцу; голову, однако, поднял слишком резко, словно ощутив на себе чей-то взгляд, – получилось картинно, подумал он, а смотрит на меня охранник, он ведь все время смотрит, пора к этому привыкнуть. Если бы все было, горько подумал он, как было, Геббельс привез бы мне этот фильм, и мы бы вызвали режиссера, сделали ему замечания, попросили что-то изменить и переснять, и он бы вряд ли отказал нашей просьбе, а кто попросит убрать картинность и фальшь тогда, когда станут снимать этот фильм?! Кстати, название должно быть кратким и незатейливым. Наверняка люди пойдут на картину «Рейхсмаршал». Или даже просто «Геринг«. Мое имя предметно, в нем сокрыта прострельная конкретика, «Геринг«... Да, не «Рейхсмаршал», а именно «Геринг«, так будет значительно достойнее, все-таки я до сих пор не понял, какое мне выпало великое счастье: только тот политик по-настоящему добился чего-то, если люди знают его не по титулам и званиям, а по одному имени...

Ну, хорошо, спросил он себя, а если режиссер станет снимать ленту и будет исследовать архивы Нюрнберга и этот допрос, что он скажет себе? «Наш Геринг победил в схватке с террором союзных судей?» Или, наоборот, признает мое поражение?

Геринг походил по камере, по-прежнему чувствуя на себе взгляды, нет, не этого американца, который смотрит на него в глазок, а миллионов, тех, к кому вернется его дух, а это случится позже, когда настанет час расплаты.

В конечном счете, сказал он себе, я открыто признал, что был намерен разогнать оппозицию и арестовать коммунистов. Да, борьба есть борьба, с этим можно не соглашаться, но упрекать меня в этом нельзя. Я прямо сказал, что мне не нужен был поджог рейхстага, потому что я и так бы упрятал в тюрьмы всех тех, кто был с нами не согласен. Позиция? Да, это позиция, а ни одна позиция не бывает бесспорной. Я не юлил, как Риббентроп или Кальтенбруннер, я закрывал лицо руками, чтобы не видеть этого позора, я убеждал их во время прогулок принимать бой, доказывая вынужденность своей правоты, а не отвергать очевидное, но нет! Как же унизительна звериная тяга к жизни!

Он подошел к столу, осторожно опустился на маленький стул, ввинченный в бетонный пол камеры, и начал изучать страницы допроса, который вел русский обвинитель.

— Признаете ли вы, что целями войны против Советского Союза был захват территорий до Урала? Присоединение к империи Прибалтики, Крыма, Кавказа, Волжских районов? Подчинение Германии, Украины, Белоруссии и других областей? Вы признаете это?

Геринг явственно услышал свой голос, полный спокойного достоинства, ироничный взгляд, обращенный на русского, совершенно расслабленная поза, никакого напряжения, полная вальяжность, но не бессильная, а, наоборот, обнимающая скрытую, пружинистую энергию:

— Я не признаю этого ни в какой степени.

— Разве вы не помните, что на совещании шестнадцатого июля сорок первого года Гитлер именно так определил цели войны против СССР?

— Я хочу посмотреть документ об этом совещании.

— Пожалуйста, мы имеем протокол, передайте подсудимому Герингу. Ознакомились?

— Документ кажется мне бесконечно преувеличенным в отношении указанных в нем требований.

— Но вы признаете, что эта протокольная запись подлинная?

— Я признаю это потому, что я ее вижу.

— Вы признаете, что согласно этому документу вы были участником этого совещания?

— Я присутствовал... Именно по этой причине я сомневаюсь в правильности протокольной записи.

— Кем был записан протокол?

— Борманом.

— Какой был смысл Борману вести неправильную запись совещания?

— Он преувеличил кое-что.

— Много?

— Например, об областях Волги не было и речи. Что касается Крыма, то... фюрер хотел иметь Крым.

– Значит, на этом совещании шла речь о том, чтобы Крым сделать областью империи?

– Да.

– В отношении Прибалтики тоже говорилось на этом совещании?

– Да, но никогда не утверждалось, что Кавказ должен стать немецким. Говорилось только о том, чтобы осуществить сильное экономическое влияние со стороны Германии.

– То есть чтобы Кавказ стал немецкой концессией?

– В какой мере – это можно было определить только после победоносного заключения мира.

– Следовательно, преувеличение Бормана сводится лишь к тому, что речь не шла о Волжских колониях?

– Преувеличение заключалось в том, что тогда обсуждались такие вещи, которые практически вообще нельзя было обсуждать. В лучшем случае можно было говорить о тех областях, которые были уже заняты, а также об их управлении.

– Мы сейчас устанавливаем факт, что об этих вещах шел разговор на совещании. Вы теперь это не отрицаете?

– Частично эти проблемы обсуждались, но не так, как здесь записано.

– Я хочу сделать вывод, что это совещание подтверждало основной план захвата территорий Советского Союза?

– Это правильно. Но я должен подчеркнуть, что я, как отмечено в протоколе, не разделял эти безграничные предположенин. Заметьте, здесь сказано следующее: «В ответ на длительное обсуждение этих вопросов рейхсмаршал подчеркнул важнейшие моменты, которые в настоящий момент могли быть для нас определяющими: обеспечение народа продовольствием, обеспечение в нужной степени хозяйства, а также налаживание безопасности путей сообщения». Я хотел свести безмерную дискуссию – следствие опьянения победой – к чисто практическим вопросам.

– Опьянение победой имело место, я согласен, но из ваших объяснений не следует, что вы возражали против присоединения Крыма к империи. Это так?

– Я не имел никаких оснований для этого.

– Вы выступали на совещании рейхскомиссаров оккупированных областей шестого августа сорок второго года?

– Дайте, пожалуйста, протокол.

– Пожалуйста. Ознакомились? Итак, я спрашиваю, вам были предоставлены фюрером исключительные полномочия в вопросах экономической эксплуатации оккупированных территорий?

– Я уже признал, что несу ответственность за экономику в оккупированных странах, но лишь в связи с теми директивами, которые я давал...

– Следовательно, учитывая ваши особые полномочия, ваши требования были обязательными для участников совещания?

– Да.

– Обращаю ваше внимание на сто восемнадцатую страницу стенограммы того совещания. Нашли?

– Да.

– «Раньше все казалось проще. Тогда это называли разбоем. Это соответствовало формуле отнимать то, что завоевано. Теперь формы стали гуманнее. Несмотря на это, я собираюсь грабить и грабить эффективно... Вы должны быть как легавые собаки. Там, где имеется еще кое-что, и в чем может нуждаться немецкий народ, это должно быть молниеносно извлечено со складов и доставлено сюда». Это вы говорили?

– Могу предположить, что я это сказал.

– В мае сорок первого года ОКВ разработало директиву о безнаказанности немецкого солдата за преступления, совершенные против местного населения. Такого рода директива должна была вам докладываться?

– Этот документ непосредственно мне послан не был. В сопроводительной бумаге сказано: «Штаб оперативного руководства военно-воздушных сил, главный квартирмейстер».

– Но вы согласны с тем, что по своему положению должны были знать этот документ?

– Нет, ибо в противном случае этот документ был бы отправлен непосредственно мне, главнокомандующему, а не генерал-квартирмейстеру.

– Вам должны были доложить об этом документе?

– Если бы мне докладывали о каждом документе, которые проходили по отдельным инстанциям, и не требовали моего вмешательства, я бы потонул в море бумаг. Мне докладывали только о самых важных вещах...

– Вам докладывали только самые «важные вещи»... А об уничтожении городов, об убийстве миллионов людей вам не докладывали? Это все проходило по «служебным каналам»?

– Если какой-то город должен был быть уничтожен авиацией, такой приказ был бы отдан непосредственно мною.

– Вам известно об установке Гиммлера по поводу уничтожения тридцати миллионов славян?

– Это был не приказ, а всего лишь речь.

– Но ведь в германском тоталитарном государстве имелся лишь один руководящий центр – Гитлер, вы, его заместитель и преемник, и самое ближайшее окружение. Мог ли Гиммлер давать установки об уничтожении тридцати миллионов славян, не имея по этому вопросу указаний Гитлера или ваших?

– Гиммлер не издавал такого приказа. Он произнес речь в том смысле, что тридцать миллионов славян должны быть истреблены. Если бы Гиммлер действительно издал приказ подобного рода, то он должен был бы спросить об этом не меня, а фюрера.

– Я не сказал о приказе. Я говорю об установке. Вы допускаете, что он мог дать установку без согласования с Гитлером?

– Не существовало директивы, которая бы была дана Гитлером на уничтожение славян.

– Айнзацгруппы СД занимались массовым уничтожением советских граждан. Не являлась ли деятельность айнзацгрупп СД результатом реализации заранее разработанного плана уничтожения евреев, славян и других народов?

– Деятельность айнзацгрупп была совершенно секретной.

– Значит, миллионы немцев знали о творившихся преступлениях, а вы не знали... Ваш свидетель Бодешатц заявил здесь, в суде, что в марте сорок пятого года вы сказали ему, что много евреев убито и за это придется дорого заплатить.

– Свидетель Бодешатц так не говорил.

– Как же он говорил?

– Он повторил мои слова: «Если война будет проиграна, то это обойдется нам очень дорого».

– Почему? За убийства, которые вы совершали?

– Нет... Вообще...

– Согласны ли вы были с теорией «высшей расы» и воспитанием в ее духе немецкого народа?

– Нет, хотя различия между расами я, безусловно, признаю.

– Но с теорией не согласны?

– Я никогда не заявлял, что ставлю одну расу в качестве господ.

– Ответьте на вопрос прямо: вы согласны с этой теорией?

– Лично я не считаю ее правильной.

– Вы заявили на суде, что якобы расходились с Гитлером по вопросу захвата Чехословакии, по еврейскому вопросу, о войне против Советского Союза, в оценке теории «высшей расы» и по вопросу о расстрелах англо-американских летчиков. Чем объяснить, что при наличии столь серьезных расхождений вы считали возможным сотрудничать с Гитлером и проводить его политику?

– Я могу расходиться во мнениях с моим верховным главнокомандующим, но если он будет настаивать на своем, а я дал ему присягу – дискуссия тем самым будет окончена.

– Если вы считали для себя возможным сотрудничать с Гитлером, считаете ли вы себя, как второго человека в Германии, ответственным за организованные в массовом масштабе убийства ни в чем не повинных людей?

– Нет, так как я ничего не знал о них и не приказывал их проводить. В лучшем случае вы можете меня спросить, был ли я легкомысленным, так как не пытался что-нибудь о них узнать.

– Вам себя лучше знать... Вы тут заявили, что гитлеровское правительство привело Германию к расцвету. Вы и сейчас уверены, что это так?

– Катастрофа наступила только после проигранной войны...

...Геринг рывком поднялся из-за стола; проигрыш; этот русский выиграл схватку; он выиграл ее именно этим своим последним вопросом, столкнув его, Геринга, с нацией. Он вспомнил тот анализ этой схватки, который он провел сразу же после окончания допроса двадцать второго марта сорок шестого года вместе с адвокатом Отто Штамером. Юрисконсульт германского флота, Штамер был корректен, сдержан в оценках, избегал прогнозов и, как казалось Герингу, совершенно лишен эмоций. Именно тогда рейхсмаршал сказал ему: «По-моему, я отбился, а?! У трибунала нет ни одной моей подписи на расстрел! Слово не есть доказательство! Немцы поймут меня! В

конечном счете не может же нация, которую мы привели к невиданному взлету, быть неблагодарной?! Не может же народ лишиться памяти?!» Штамер хотел избежать прямого ответа, но Геринг потребовал, чтобы адвокат сказал ему правду. «Я же теперь не страшен, – усмехнулся он, – я не смогу отправить вас в лагерь, это русскому обвинителю кажется, что я только тем и занимался, что жег рейхстаг, душил евреев, казнил русских и сажал в камеры немцев». Штамер тогда ответил: «Господин Геринг, о поджоге рейхстага говорил англичанин, об истреблении евреев говорили все, о расстрелах русских упоминали американцы и французы... Что же касается немцев, то я должен вас огорчить: вы никогда не знали, что такое очередь в магазине за эрзац-джемом и как проходила нормированная выдача маргарина и свиных костей. Немцы знали это, господин Геринг. И не после поражения, а начиная с первых дней войны. А вам это было неведомо, потому что адъютанты об этом предусмотрительно не докладывали и никто из членов вашей семьи не посещал магазины. Вы тогда могли говорить то, что думаете, да и то, видимо, с опаской, а немцев превратили в бессловесных рабов идеи господина Гитлера. Всякое возражение – даже продиктованное болью за судьбу рейха – кончалось именно тем, что вы только что упомянули: концлагерем. В лучшем случае... Я понимаю, что вас тревожит, господин Геринг... Все мы страшимся неминуемого конца и хотим продлить свою жизнь в памяти потомков... Если ваши ответы соответствующим образом подредактировать, то можно будет избежать того, что неминуемо грядет, – именно со стороны немцев: проклятия Гитлеру за то, что было им содеяно... У вас лишь одна надежда: последнее слово, господин Геринг. Можете отстаивать свою идею, но докажите, что вы ничего не знали о правде жизни в империи... Вы уже ничем не поможете Гитлеру, а всякий, кто решит повторить его эксперимент, будет раздавлен историей, как чумная мышь... Да, да, именно так, господин Геринг... Как ни странно, ваш главный козырь – это сотрудничество с Чемберленом и Деладье. Они первыми сели с вами, национал-социалистами, за стол переговоров, благословив, таким образом, право на имперскую государственность, построенную на фундаменте доктрины Гитлера. Попробуйте обыграть это, довод убедителен. Пожалуйста, помните, что мировое господство нации, достигнутое военными средствами, было возможно в ту пору, когда на земле был один Рим, одна Эллада и один Египет. Ныне, когда обвинитель Соединенных Штатов улетает на рождественские каникулы в Нью-Йорк и добирается туда за шестнадцать часов, Колумбу на это потребовалась жизнь, – идея господства одной нации над другой есть свидетельство паранойи... Защищая немцев, вы будете защищать себя, господин Геринг, и, пожалуйста, всегда помните Лея, – его приговор страшнее того, который грядет».

...Геринг никогда не забывал фюрера «трудового фронта» Лея, который повесился в своей камере сразу же после того, как ему был вручен обвинительный акт. Его посмертное письмо было болезненным самобичеванием, какая-то попытка совместить несовместимое; он объяснялся в любви к фюреру, но при этом утверждал, что «антисемитизм разрушил основную заповедь партии... Трудно призна-

ваться в собственных ошибках, но поскольку все существование нашего народа стоит ныне под вопросом, мы, национал-социалисты, должны найти в себе силу, чтобы отречься от антисемитизма. Мы должны объявить юношеству, что это было ошибкой. Закоренелые антисемиты должны стать первыми борцами за новую идею НСДАП». Он писал так, словно заранее признавался в том, что знал о геноциде, а он не имел права этого делать! Нет документов фюрера, приказывавшего убивать евреев и славян! Это все фанатизм толпы! Мы всегда возражали против бесконтрольности! Ах, если бы знать будущее! Как было бы легко расстрелять пару-другую сотен из тех, кто непосредственно вешал русских или убивал евреев! «За нарушение норм поведения арийцев!» И — все! Больше ничего не надо! Пусть бы попробовали обвинять нас в чем бы то ни было! Не могли же они посадить на скамью подсудимых шестьдесят миллионов немцев?! Нет, Штамер хорошо мыслит, но он не государственный деятель! Он юридический червь! Но, увы, он прав — остался главный шанс, мое последнее слово. Именно в нем я заложу основы той редактуры этого процесса, которая рано или поздно грядет, — пусть это начнется не в Германии, но это начнется!

...Последнее слово он писал сам, не подпуская Штамера; хватит, и так слишком много ошибок было допущено, слишком точно он следовал его советам — не отрицать очевидного, сосредоточив свое ораторское умение на доказательстве основополагающего незнания подробностей. И ни слова о Гитлере! Хватит выгораживать его, в этом смысле Штамер прав. В конце концов я был преемником, так пусть судят о том, каким мог стать национал-социализм, если бы именно я пришел к власти. Я! Я! Я! Пусть глумятся над этим самым коротким словом, пусть! Нет ничего прекраснее и конкретней, чем «я»!

...Когда ему предоставили последнее слово, он заговорил (снова он видел себя со стороны, словно был режиссером будущего фильма, и снова был доволен собою) неторопливо, скульптурно вылепливая каждую фразу:

— В качестве доказательства того, что я должен был знать и знал обо всем, что происходило, приводят тот факт, что я был вторым человеком в государстве. Обвинение не приводит никаких документальных материалов там, где я оспариваю под присягой, что знал о чем-либо или стремился к совершению этого. Мы слышали здесь, что самые тяжкие преступления были совершены тайным образом. Должен заявить, что я самым строгим образом осуждал эти убийства, и что я до сих пор не могу постичь, при каких обстоятельствах они были совершены. Утверждение господина Додда[1], что я приказал Гейдриху умерщвлять евреев, лишено всякого доказательства. Нет также ни одного приказа, который бы я дал или который был бы подписан по моему приказанию о расстреле летчиков противника... Вероятно, из числа наших противников нет ни одного руководящего деятеля, который в течение последних двадцати пяти лет не выступал бы и не писал подобное тому, что вменяется в вину нам. Изо всего

[1] Додд — обвинитель от США.

того, что происходило в течение четверти века – совещаний, речей, законов, действий, – обвинение делает вывод об имевшейся якобы последовательности, будто с самого начала все было запланировано именно таким образом. Это лишенное всякой логики обвинение когда-либо будет исправлено историей. Господин Джексон заявил, что нельзя судить и карать государство и что ответственность за действия последнего необходимо возлагать на руководителей. Однако ни одно государство никогда – путем вручения ноты – не обращало внимания империи на то, что деятельность в этой империи в духе национал-социализма будет подвергаться судебному преследованию. Если сейчас отдельных лиц, в первую очередь нас, руководителей, привлекают к ответственности и хотят судить – пусть будет так! Но нельзя судить нацию. Немцы доверяли фюреру и при его тоталитарном образе правления не имели никакого влияния на события... Я не хотел войны и не способствовал ее развязыванию. Я отвечаю за то, что сделал. Я, однако, самым решительным образом отметаю то, что мои действия диктовались волей и стремлениями порабощать чужие народы путем войны, убийств, грабежей, зверств или преступлений...

Он был доволен собою до сегодняшнего дня, он и сейчас продолжал быть удовлетворенным своей позицией, продолжая мысленно играть самого себя в том будущем фильме, который снимет в его честь нация, но постоянно ощущал некоторую скованность в мыслях, ибо, как только позволял себе вспомнить допросы Франка, Кальтенбруннера, Кейтеля, Штрайхера, Розенберга, их путаные трусливые показания, их желание перевалить ответственность на фюрера и, таким образом, на его преемника, отчаяние охватывало Геринга, и он начинал понимать, что прекрасному слову «я» всегда и всюду, каждую минуту противостоит чудовищное, безликое, неуправляемое слово «они».

...Он проснулся ночью счастливым, ощутив на щеках слезы радости, потому что совершенно явственно увидел молодые открытые лица юношей. Голубоглазые, белокурые, рослые, истинные немцы нордического типа, они говорили о том, что послезавтра будет, наконец, осуществлено нападение на тюрьму, снята охрана и он, Герман-Вильгельм Геринг, обретет свободу, исчезнет на какое-то время, чтобы заявить себя в недалеком будущем, когда придет время восстать из пепла, словно дивная птица Феникс, и стать во главе борьбы с ордами большевиков, очистив теорию и практику национал-социализма от того, что не выдержало испытание временем...

Он явственно слышал, как старший юноша излагал план захвата тюрьмы; пятьдесят смельчаков легко перещелкают всех этих сытых и беспечных американцев, только бы не дать ворваться в камеру тем, кто дежурит на этаже; дверь стальная, пуленепробиваемая, он удержит ее; главное – продержаться; все решают самые последние минуты, секунды, доли секунды; я навалюсь всем телом на эту дверь и буду молить провидение об удаче моих мальчиков, рыцари всегда побеждают, отвага матерь успеха, ах, ну, скорее же, скорее!

Геринг лежал, открыв глаза, ощущая слезы на щеках; он не двигался, чтобы охранник, который должен смотреть за ним в глазок неотрывно, не заметил, что он проснулся.

Огромная, давящая тишина была в тюрьме, тишина, от которой веяло непереносимой, гнетущей, сырой безнадежностью.

Он прикоснулся кончиком языка к тому зубу мудрости, который доктор не позволил ему удалить, потому что именно в нем он был намерен оборудовать тайник для капсулы с крохотным кристаллом цианистого калия; смерть безболезненна, мозг вычленит изо всей той непознанной какофонии чувств и ужасающих представлений лишь острое ощущение осени, запах обжаренного в соли миндаля; никакой боли; не будет этих страшных шагов, последних шагов по земле, когда тебя поведут по коридору и ты станешь молить бога, чтобы этот коридор был длинным-длинным, нескончаемо длинным, пусть бы ты шел и шел по нему, существует ведь бесконечность, отчего же не заставить ее — всей силой своего разодранного в клочья представления — сделаться явью в тот день и час, когда свершится то, о чем сегодня сказали в суде, сказали живые люди, которые могут ходить по улицам, звонить по телефону, сидеть в ресторане, любоваться цветением подснежников, напускать воду в зеленую ванну, сидеть в сортире, не ощущая на себе глаз надсмотрщика, и, сказав это, они не содрогнулись от того, что предрешили участь подобных себе, сидевших по другую сторону скамьи, живых, братьев своих земных во плоти, как же жесток этот мир, боже, спаси меня, дай мне сил отколупнуть кончиком спички золотую пломбу, лишь я знаю, как это можно сделать, но ведь это так невыносимо-жутко! Нет, надо ждать! Набраться сил и ждать, ведь белокурые, голубоглазые мальчики заканчивают подготовку того дела, которое принесет мне свободу, и я почувствую на своем лице капли осеннего дождя и вдохну всей грудью воздух свободы! Ждать! Нет ничего страшнее ожидания, но ведь и ничего прекраснее его нету, потому-то слово ожидание сродни по-детски чистому и понятному каждому слову надежда. А если я заболею? — спросил он себя. Они ведь не станут казнить больного? Я могу болеть год и два, я скажу, что у меня отнялись ноги, не потащут же они меня на эшафот?! Это невозможно! Так не поступают мыслящие существа! Они не вправе быть столь жестокосердными, они не вправе, они не вправе, не вправе...

Он вдруг близко-близко увидел зеленоватые, чуть навыкате, глаза фюрера и услышал его голос, он не разобрал слов, но ощутил в себе давно забытый страх; он избавился от этого угнетающего чувства постоянного страха только здесь, в камере тюрьмы, он ощутил себя борцом в зале суда, он более не боялся окрика, он, рейхсмаршал, постоянно представлял себе, что Гиммлер может сделать с ним, его женой и детьми, и поэтому он всегда был таким, каким нравился фюреру, боже ты мой, неужели миром движет не разум, а страх, один лишь маленький, ужасающий, точащий тебя, словно червь, теплый и затхлый страх?!

Нет, сказал он себе, это не страх! Я никогда не был трусом! Меня обвиняли в чем угодно, но только не в трусости... Доброта, нас всех погубила доброта и мягкосердие, вот в чем корень случившегося! Мы сами провели грань между всеми нами и Гитлером, назвав его фюрером. Мы говорили себе, что порядку угодна личность, ко-

торую нужно создать. Ведь можно же, можно было создать Штрассера или Рема! А почему не меня?! А создав из Гитлера легенду, именуемую фюрером, мы не смогли переступить в себе немца: безусловное почитание того, кто стоит ступенью выше! А когда я понял, что мы катимся в пропасть, я уже не мог найти в себе силы открыть правду несчастному трясущемуся существу, я боялся, что мои слова разорвут сердце Гитлера, я жалел его, потому что он воплощал в себе наше общее начало, молодость и чистоту замыслов. Если бы я был не так добр и нашел в себе силы открыть ему глаза на происходящее, не опасаясь причинить ему боль, все могло бы пойти по-другому, все, абсолютно все!

...И это не так, устало и безнадежно возразил себе Геринг, потому что, думая о доброте, он все время оперировал словами «боялся» и «опасался», а они рождены понятием страха, чего же еще?!

...Геринг не смог сдержаться, поднялся и, обхватив голову руками, начал раскачиваться на койке, мучительно страшась того, что не сможет сдержать себя, и горько, на одной ноте завоет – так, как выл старый немец на разрушенной улице Берлина, мимо которого он проехал семнадцатого февраля сорок пятого года, возвращаясь с Восточного фронта, проходившего в ста километрах от столицы тысячелетнего рейха; увидав взгляд адъютанта, заставил себя сделать вид, что не заметил этого несчастного старика, который выл, подняв к небу истощенное лицо с вытекшим глазом, залитое бурой, старческой кровью...

ШТИРЛИЦ (ноябрь сорок шестого)

Сначала Штирлиц не поверил глазам, заставил себя перечитать первую полосу газеты еще раз; да, ошибки быть не могло; три главных нацистских преступника, – президент рейхсбанка Ялмар Шахт, вице-канцлер фон Папен и заместитель Геббельса, главный рейхспропагандист Науманн все же освобождены от тюрьмы, несмотря на особое мнение русского судьи.

Вот и оформилась тенденция, подумал Штирлиц. Она так тревожна, так демонстративна, что теперь-то мне ясно, отчего американская разведка подошла ко мне именно сейчас, я им нужен, я и подобные мне, потому что они оправдали того, кто платил деньги на создание армии рейха, того, кто передал правительственную власть сильной личности, великому фюреру Адольфу Гитлеру, который смог победить коммунизм в Германии, наконец, того, кто был главным антикоммунистическим пропагандистом рейха. Три проводника тенденции, которую нельзя обозначить иначе, как антирусскую, ибо – нравится это кому-то или нет – Россия есть центр коммунизма. Три человека, обменивавшиеся с Гитлером дружескими рукопожатиями, стоявшие рядом с ним на трибунах, когда он принимал парады армии и СС, сегодня, спустя всего лишь семнадцать месяцев после окончания войны, признаны невиновными.

Политика – наука намека, а тут и дураку понятно: финансист, пропагандист и высший правительственный чиновник, призвавший

на борьбу с большевизмом более сильного, угодны сегодняшнему дню и отнюдь не являются преступниками. Как и преемник Адольфа Гитлера, которому фюрер передал власть, – гроссадмирал Денниц; и этому сохранили жизнь.

Армия и имперское правительство так же оправданы, преступными организациями не признаны...

Какой уж тут намек? Позиция...

Штирлиц набрал номер телефона Роумэна и спросил его:

– Ну, как?

– Ликуете? – усмехнулся тот. – Приезжайте во «Флориду», будем ликовать вместе, я там буду через полчаса...

Во «Флориде» он угостил Штирлица кофе, поинтересовался, как идут дела, что Кемп, где Джекобс, ответы слушал рассеянно, поглядывая по сторонам, словно все время ждал кого-то, о приговоре не говорил, словно бы это его не интересовало, потом неожиданно спросил:

– А что такое национал-социализм, Брунн?

– Как отвечать на ваш вопрос? Серьезно? Или повеселить?

Роумэн глубоко затянулся и, не отводя от лица Штирлица тяжелого взгляда, ответил:

– А это как можется. Хотите серьезно – валяйте серьезно, а решили повеселить – веселите. Только не до того, чтобы я умер от смеха. Вы же знаете, как я умею смеяться... Сердце – пык, я – в могилку, а что вам без меня тут делать, а?!

– Это верно. Без вас мне будет худо.

– Только перед тем как вы начнете отвечать, я вам помогу. Вы тогда поймете лучше, чего я от вас хочу. Для этого я вам расскажу, как меня пытали, когда я попал в ваши руки.

– Попади вы в мои руки, я бы вас не пытал. Я вообще никого не пытал.

– Оттого, что исповедуете гуманизм?

– «Среди рабов нельзя быть свободным...», – вещал один подонок. Не в этом дело. Мое подразделение не занималось пытками. Нам было вменено в обязанность думать..

– Но ведь вы делились своими мыслями с палачами?

– Лично я старался делиться с ними далеко не всеми моими мыслями, – усмехнувшись чему-то, ответил Штирлиц.

– Молодец, – сказал Роумэн, – это хорошо. Едем отсюда, сядем в другом месте, там и поболтаем.

В машине он молчал, не сказал ни слова, только курил одну сигарету за другой.

Они зашли в «Каса де Андалусия», неподалеку от Пласа-Майор, в самом древнем районе Мадрида; стены были, как и повсюду в Испании, беленые, словно на Украине; на этих беленых стенах хорошо читались бело-голубые изразцы с типично андалусийскими выражениями: «Зубы важнее родственников», «То, что должен отдать племянникам, съешь с хлебом и запей вином!», «Вино – сила, вода – ревматизм», «Кто много пьет, тот поздно платит».

Роумэн заказал вина; оно было таким красным, что в грубых стаканах казалось совершенно черным, пахло зноем и затаенной

темнотою бодег[1]. Народа было мало, время обеда кончилось, все разошлись по домам, спать до пяти часов, проснутся, с шести до восьми посидят в своих бюро, конец работе, все равно платят ерунду, настоящие деньги можно сделать на контакте с нужными людьми, здесь или в «Каса Галисия», или в «Эль Бодегоне», где собираются немцы, в «Ритце», куда стали наведываться американские торговцы; падки до фламенко, корриды, ловли форели; тут с ними и налаживай контакт, на государство надежды плохи, только бы урвать, выгоды не дождешься.

Роумэн сделал еще один глоток, снова закурил, продирижировал спичкой перед лицом Штирлица, дождался, пока она потухла, бросил ее в большую пепельницу и сказал:

— Так вот, я вам расскажу мою историю... Первые два дня после ареста меня не трогали... Со мной вел вполне культурные беседы высокий брюнет с игривыми глазами... Он говорил, что я теперь бесследно исчез, разбился при приземлении, утонул в озере, угодил в огнедышащую трубу металлургического завода, так что не надо питать никаких надежд на конвенцию о военнопленных. Он согласился при этом, что, возможно, кто-то в тюрьме мог запомнить меня, но и в этом случае не стоит уповать на возможную помощь швейцарского Красного Креста, потому что я был выброшен с парашютом не в военной форме, а в штатском, следовательно, я — лазутчик, а лазутчики не подпадают под статус военнопленных. «Я бы, — добавил брюнет, — голосовал за то, чтобы люди нашей профессии причислялись к солдатам, вдруг мне придется прыгнуть с парашютом где-нибудь во Флориде, но, увы, с моим мнением не считаются». Следовательно, заключил он, если я не стану говорить, он ничего не сможет сделать для того, чтобы помочь мне. «Вы шли с заданием встретиться с кем-то. Нас интересует: с кем, где, когда? Можете не говорить о вашем задании. Нам нужно получить вашу связь. Это все, чего мы от вас хотим». Я ответил, что даже если бы я знал связного, я бы не стал рассказывать, и попросил его понять меня верно: «Вы бы не стали ничего рассказывать, окажись на моем месте, правда?» Брюнет ответил, что не следует сравнивать его, идейного человека, и американского лазутчика, который получает за свою работу деньги от финансовых акул Уолл-стрита. Я ответил, что я ничего не получаю от Уолл-стрита, что я солдат, преданный присяге. Тогда он дал мне время на раздумье, но предупредил, что если день встречи со связным будет невозвратно потерян, если я избрал тактику затяжки, то пенять мне придется на себя. Я повторил, что связник мне неизвестен, наплел ему, что меня должны были найти в отеле «Кайзерхоф» в Димгине, и на этом допрос прекратился. Через семь часов меня привели в другую камеру. Там брюнета не было, сидел маленький, рыжий, потный и, видимо, очень больной человек, который сказал, что связника схватили в «Кайзерхофе» и сейчас нам устроят очную ставку. Я посмеялся про себя, потому что знал, где меня ждет связник. В камеру привели девушку, гречанку, я об этом узнал, когда они начали ее мучить, она кричала на своем языке. Рыжий при-

[1] Бодега — винный погреб *(исп.)*.

гласил трех молодых пьяных парней, велел им сесть на стулья, которые были аккуратно расставлены вдоль стены, и начал допрашивать девушку, требуя, чтобы она призналась в том, кто послал ее в «Кайзерхоф» и кого она должна была там встретить. Она отвечала, что ее никто туда не посылал, ее взяли на улице, когда она проходила мимо отеля. Рыжий несколько раз монотонно повторил свой вопрос, потом сказал, что ей придется пенять на себя, если она сейчас же во всем не признается. Бедненькая заплакала и сказала, что не знает, в чем надо признаваться, тогда рыжий повернулся к пьяным парням, кивнул им, они подошли к девушке, сорвали с нее одежду и начали ее насиловать. Я никогда больше не слышал, чтобы человек так кричал, как та несчастная. Рыжий посмотрел на меня и сказал, что он сейчас же отпустит эту девушку, если я скажу ему правду. А я не мог ему сказать правду, потому что на связь ко мне должна была прийти женщина, не такая молоденькая, как эта, но женщина, которая ничего не может сделать, если ее ломают три гогочущих пьяных маньяка. Я закрыл глаза, чтобы не видеть этого ужаса, но рыжий ударил меня резиновой дубинкой по шее. Я прикусил язык от неожиданности, он вспух, стал похож на говяжий, который продают в мясных лавках. Это был апокалипсис, полтора часа, девяносто минут ужаса. Я попытался броситься на них, на этих скотов, но меня повалили и стали избивать; я был натренирован закрываться, это спасло меня в тот вечер, но на следующее утро они привязали меня к креслу, предварительно раздев донага, и начали пытать, прикасаясь проводом, через который был пропущен ток, к члену. Никогда не испытывали такого рода ощущения?

Штирлиц продирижировал перед лицом Роумэна спичкой, бросил ее в пепельницу, затянулся и ответил:

— Нечто подобное испытывал.

— Кто вас пытал? Где? Когда? За что?

— Если я тогда ничего не ответил, то почему вы думаете, что я отвечу сейчас?

— Потому что, если вы мне ответите, разговор пойдет по иному руслу.

— Это никогда не поздно — изменить русло разговора... Честно сказать, меня больше всего интересует, как вы смогли выбраться из того ада?

— Почему вас интересует это?

— Потому что оттуда было нельзя уйти... Или для вас организовывали уход... После того, как вас сломали...

— Вы не верите мне?

— Вы просили меня рассказать, что такое нацизм... Вот я и задал такой вопрос, потому что национал-социализм никому и ничему не верит, он верит лишь себе... Следовательно, позвольте мне повторить вопрос: как вы оттуда выбрались?

— Я отвечу... Только сначала я должен подчеркнуть одну немаловажную деталь... После тех пыток я стал импотентом... или около того. Говорят, что все зависит от женщины... В постели... Женщины, которые потом ложились в мою постель, предпринимали немало усилий, чтобы вернуть меня к жизни... У них это плохо получалось...

Это получилось у меня самого, когда я понял, что встретил женщину, которой готов отдать всего себя...

– Как ее зовут?

Роумэн отодвинул пепельницу, пожал плечами:

– Хочется знать ее имя?

– Очень.

– Что ж, все зависит от того, в какое русло устремится наш разговор... Что же касается того, как я спасся, то могу сказать, что меня выручили наши летчики... Они разгрохали вашу вшивую тюрьму, и меня перевели в лагерь, а он был неподалеку от залива, и я решил, что лучше пусть меня пристрелят при побеге, чем я расскажу все, чего не имел права рассказывать вашим мерзавцам. Я шел на связь к подпольной группе, в состав которой входили три женщины и один инвалид. Имя одной из этих женщин было довольно громким в вашем поганом рейхе, потому что ее муж был известным коммунистом, его гильотинировали в Маобите, и она стала мстить Гитлеру. Она это делала прекрасно, кстати говоря...

– Если фамилия этой женщины Троглер, то я сделал так, что ее сын получил право уйти в Швейцарию.

Роумэн откинулся на спинку высокого резного стула, отхлебнул из своего стакана, долго смотрел на Штирлица своим тяжелым взглядом, потом покачал головой:

– Нет, ее фамилия была совершенно другой. А вот про судьбу сына Троглера я наведу справки.

– Не наведете. Такого рода дела приходилось организовывать без бумаг и даже без слов. Надо было понимать взгляд, паузу, жест... Парень учился в школе живописи... А я неравнодушен к тем, кто умеет выразить мир суммой красок и верной пропорцией скипидара.

– Но вы его перед этим перевербовали, не так ли?

– Коммунисты практически не поддавались перевербовке... Если, конечно, они были коммунистами, а не примкнули к движению, чтобы получить от этого какую-то выгоду.

– Вы хотите сказать, что они такие же фанатики, как наци?

– Я бы не стал сравнивать эти идеологии. Многие члены НСДАП работали на вас, весьма охотно шли на вербовку, особенно начиная с сорок четвертого года...

Роумэн усмехнулся:

– И у Гитлера и у Сталина на знамени было одно и то же слово – социализм.

– Вы плохо знаете историю. У Гитлера на знамени было начертано «национал-социализм»... Давайте-ка вернемся к вашему вопросу... Я не стану вас веселить, постараюсь ответить серьезно. Одну из отличительных черт нацизма я уже отметил – неверие в человека, подчинение личности мнению того, кто вознесен над ним, фюрера или дуче, или еще кого, какая разница, важно – слепое поклонение, невозможность собственной точки зрения, тотальное недоверие к мысли. «Национальный социализм» – не что иное, как высшая форма предательства социализма... И начинать отсчет этого процесса надо не с Гитлера, а с Муссолини, который был редактором социа-

листической газеты «Аванти!», прежде чем редакция этой газеты была им разогнана, а публицисты брошены в его тюрьмы и подвергнуты пыткам по приказам, которые именно он отдал.

– Итальянский фашизм имеет довольно касательное отношение к национал-социализму Германии, – заметил Роумэн.

– Это заблуждение. Есть люди, которые намеренно говорят так оттого, что это удобно и нужно тем, кто хочет это слышать... Но вы заблуждаетесь... Если хотите, я продолжу свое размышление вслух... Или ну его к черту?

– Нет, продолжайте, мне занятно вас послушать, тем более что я сам затеял этот разговор.

– Так вот, «феномен» Муссолини вполне закономерен, если рассматривать мир с точки зрения исторической ретроспективы. Откуда он пришел в Рим? Из деревни. Он родился в семье мелкого буржуа, отец владел кузницей, мать – учительствовала. А кто более всего революционен в деревне, испытывающей давление больших китов города? Мелкий хозяин... Отец Муссолини дал ему очень любопытное имя: «Бенито Амилькаре Андреа». Почему такое странное имя? Потому что Бенито Хуарес был героем Мексики в ее борьбе против янки. Амилькаре Чиприани и Андреа Коста потрясали города Италии – два самых «бесстрашных анархиста страны».

Мальчик воспитывался в семье, где слово «социализм» было неким защитным щитом против наступления буржуев города на патриархальную деревню. Имеет ли значение в разбираемом нами вопросе характер Муссолини? Да. Имеет. Уже в школе он называл себя дуче, то есть вождь. Уже в школе он устраивал поножовщину, уже в классах мечтал о себе самом как о явлении века. Нормальному человеку это трудно представить... Вы не мечтали о себе самом, Пол? Вам не слышался рев толпы, здравицы в вашу честь? Вы мечтали о своих портретах на всех улицах, во всех домах и кабинетах? Нет?

– Вы говорите, говорите, доктор, – по-прежнему не отрывая тяжелого взгляда от лица Штирлица, заметил Роумэн. – Валяйте, я слушаю.

– Муссолини ушел в эмиграцию, бросив школу, куда мать пристроила его учителем начальных классов. Когда в стране нет возможности реализовать себя, когда социальные условия таковы, что коррупция душит на корню все живое и самостоятельное – а Муссолини был живым и самостоятельным, смешно у него это отнимать, – тогда честолюбие ищет выхода в любом деле, которое может помочь вознесению к известности. Трагедия общества, таким образом, делается той питательной средой, на которой вырастают амбиции людей, подобных Муссолини и Гитлеру... В Швейцарии, куда он эмигрировал, ему ничего не оставалось, как примкнуть к тем, кто дробил римское правительство, а дробила его только одна сила – социалисты. Именно социалисты, никак не национальные, заметьте себе, а те именно, которые сначала исповедывали Маркса, а потом – Бернштейна. Муссолини было двадцать лет, когда в девятьсот втором он начал работать в эмигрантской «Аванти!», главном органе социалистов. Он писал день и ночь... Он написал за годы эмиграции сорок томов статей, работоспособностью его природа не обделила...

И знаете, кто подтолкнул его вверх? Джачинто Серрати и Анжелика Балабанова, социалисты...

– Вот вы себе и противоречите, – заметил Роумэн. – Значит, я прав, если лидера фашизма поддержали вожди социалистов...

– Он тогда не был лидером фашистов, Пол. Он стал им через двенадцать лет, во время кризиса, вызванного войной. Тогда, в эмиграции, он не был фашистом, тогда он думал лишь о том, где и с чьей помощью он может стать Муссолини. Именно поэтому он рвется в редакторы самого левого журнала Италии «Классовая борьба», именно поэтому печатает на его страницах разоблачительные статьи против буржуазии, – чем хлеще ругаешь сильного и богатого, тем больший авторитет нарабатываешь среди слабого и бедного... А их много, бедных-то, куда больше, чем богатых, выгодное поле для рекрутирования резервов; поменьше науки, никаких доказательств, долой логику; главное – чувство, фраза, ореол ниспровергателя... Вы говорите «социализм»... Мне пришлось сопровождать Шелленберга в Рим, когда он отправился туда завязывать дружбу с секретной службой дуче, накануне визита в Италию фюрера... Перед тем как ехать туда, поработал в справочно-архивной службе СД... И нашел любопытные высказывания Муссолини: «Я прославляю индивидуума. Все остальное – не более как проекция его ума и воли». По-вашему, это утверждение имеет отношение к социализму? «Нет ничего истинного, все дозволено! Это будет девизом нового поколения!» Или: «Я ненавижу здравый смысл и ненавижу его во имя жизни и моего неистребимого вкуса к авантюрам». «Масса любит сильных людей. Масса – это женщина». «О социализме я имею варварское представление. Я воспринимаю его как самый великий акт отрицания и разрушения, который когда-либо регистрировала история!» Как? Имеет это отношение к тому социализму, который определен его создателями? «Если социализм не желает умереть, он должен набраться смелости быть варварским». Ничего, да? Надо уяснить себе истинные философские концепции, на которых состоялся Муссолини, во-первых, и понять, отчего он получил трибуну в рядах социалистической партии, во-вторых. Начну со второго. Социалисты переживали разброд. Реформизм, то есть приспособленчество к существовавшему, делали партию зыбкой, готовой к любым компромиссам, только бы удержаться на плаву политической жизни. Так почему все же трибуну захватил не кто-нибудь, а именно Муссолини? Ответ мы получим только в том случае, если проанализируем первую позицию.. Не скучно?

– Отнюдь.

– Можно продолжать?

– Не ерничайте.

– Не буду... Так вот, работая в секретном справочно-архивном подразделении СД, я познакомился с данными о том, на чем – реально, а не по слухам – состоялся Муссолини. Агентура сообщала, что Муссолини не Маркса штудировал, и не Энгельса, и не Каутского с Бернштейном, не Плеханова и не Ленина, но Штирнера и Ницше, создателей школы эгоцентрического насилия над окружающими. Затем он обратился к Бергсону, к теории интуиции, то есть к теории примата личности над законами развития общества, и теории

мессианства индивида, его власти над себе подобными. А уже после он вгрызся в учение Сореля, для которого единственной формой достижения поставленной в жизни цели было насилие. Не наука, повторял он Сореля, может завоевать массу, но мифы, которые я создам для нее. Мифы легко запомнить, они апеллируют к чувствам плебса. А уже потом рядом с Муссолини появились новые философы, вроде Папини и Прецолини, которые более всего говорили о великой тайне итальянской души, о традициях великого Рима, о необходимости борьбы за возвращение к легенде. Но как это сделать? Ответ подсказал Парето: «На смену уходящих элит должны прийти новые. Массой правят избранные, масса поклоняется силе и слову, произнесенному как откровение от новой веры. Когда правящий класс исчерпал свои силы управлять толпой, его необходимо свергнуть, чтобы занять его место; с плебсом нельзя говорить голосом разума. Он воспринимает лишь приказ и обещание». Муссолини впитывал эти концепции, но, будучи человеком ловким, прекраснейшим образом понимал, что еще не время открыто заявить себя в новом качестве. Сначала надо было стать в рядах партии социалистов, завоевать там лидирующее положение, а уже потом — в нужный момент, при благоприятных обстоятельствах — заявить себя вождем своей доктрины. И этот момент настал, когда грянула война. Именно тогда он порвал с социалистами, и первым это приветствовал вождь итальянских националистов Прецолини, заявивший: «Наконец-то возвышенная натура Муссолини избавилась от социалистической наклейки!» Сразу же после того, как Муссолини был изгнан из рядов социалистов, министерство иностранных дел Италии, чуравшееся ранее «левого революционера», наладило с ним тайный контакт. Муссолини получает гигантские субсидии от фирмы «Эдисон», частично, кстати говоря, ваш капитал, от «Фиата», именно эти фирмы оформляют для него купчую на издание газеты «Пополо'д'Италия». Тайные эмиссары французского правительства передали ему около миллиона — как же, социалист призывает к вступлению Италии в войну против Германской империи! Между прочим, и русское правительство установило с ним контакт. Он предложил свои услуги агенту царя Геденштрому, попросив за это миллион франков. Пока Петербург размышлял, Муссолини перекупили другие силы. И лишь после того, как его купили, после того, как он стал обладать кассой втрое большей, чем касса партии социалистов, он провозгласил создание «отрядов революционного действия». Знаете, как будет по-итальянски отряд, объединение?

— Нет.

— «Фаши». Отсюда и термин «фашизм». Продолжать?

— Да.

— «Пополо'д'Италия» перестала быть органом социалистической партии, но сделалась беспартийной газетой «бойцов и производителей». Все, с социализмом покончено, причем я имею в виду слово, термин, определение, а не идею, об идее мы уже говорили. Началось сближение с буржуазно-аристократической элитой. Ему это было необходимо, без поддержки клуба, в котором хранились традиции «итальянского духа», — я, однако, не знаю, был ли такой, я вообще не по-

нимаю, что такое «дух нации», – он бы не смог реализовать себя в качестве вождя. Что он мог предложить клубу традиционно сильных, то есть богатых? Только одно: «Я, Муссолини, обязуюсь навести в стране порядок, дать вам гарантию спокойной жизни, но взамен вы предоставляете мне титул вождя и коронуете «дуче национального порядка». Кто мог дать Италии порядок? Кто мог спасти от безбрежности парламентской демократии, где сшибались мнения талантливых честолюбцев? Только тот, кто поднялся на гребне народного недовольства, кто научился управлять массой и кто сможет повести ее туда, куда выгодно тем, кто живет во дворцах и очень не хочет переселяться оттуда в хижины. Правый политик не сможет повести за собой обездоленных, это понимали в клубах элиты. Военная диктатура годится на ограниченный срок. Выход один: приручить Муссолини, дать ему вкусить власти, получив заверения от бывшего социалиста, что имущественные отношения останутся прежними. И Муссолини выступил перед элитой. Повторяя слова французского философа Лебона, развившего Ницше, он грохотал: «Цивилизации создавались и оберегались маленькой горсткой интеллектуальной аристократии, никогда толпой. Силы толпы направлены лишь к разрушению. При этом толпа способна воспринимать те идеи, которые упрощены до предела. Чтобы увлечь массу, нужно обращаться не к разуму – она лишена его, – но к воображению. Толпа топчет слабых и преклоняется перед сильными. Тип героя, который прельщает плебс, напоминает Цезаря, шлем которого слепит своим блеском, власть внушает уважение, а меч заставляет толпу бояться! Для того чтобы управлять массой, должна определиться элита. Есть два рода элит: львов и лисиц. Начало двадцатого века есть упадок власти лисиц, пришло время элиты львов. Девятнадцатый век был веком разума, иначе невозможно было создать капитал. Сейчас пришло время не разума, но интуиции! Есть интеллектуальная интуиция, а есть мистическая. Я стою на почве последней! Я готов сказать свое слово против демократического вырождения и гуманитарных вывертов интеллигентов! Человек по своей природе слаб и плох, и если он способен чего-либо достигнуть, то лишь благодаря страху. Я введу наказание за леность. Забастовки и демонстрации будут беспощадно пресечены. Меня будут критиковать те, с кем я начинал. Что ж, я заставлю их замолчать, все методы хороши во имя того, чтобы в стране восторжествовал порядок! Классов нет, это выдумка марксизма! Есть нация, только нация и ничего, кроме нации!»

– Вы считаете, что Муссолини был таким же националистом, как Гитлер?

– Возможны модификации. Все-таки нельзя не учитывать многокровье Италии, но идея национального социализма или – поначалу – «окопного», первым провозгласил именно Муссолини. Он был прямо-таки необходим для военного комплекса, который получил огромные прибыли после войны, эти люди понимали, что их мало, что они нуждаются в защите того, за кем идет масса, и они на него поставили. У них не было выбора: рабочие бастовали, власть не знала, как удовлетворить их экономические требования, не обидев военных промышленников, пример России был у всех на устах, тучи сгущались, угроза социальной революции была явью. Промышлен-

ники создают «антибольшевистские организации», платят военным, которые обучают наемников, но разрозненные отряды – это ничто, капля в море. Силу можно убить только силой. Общество расслаивалось, нужен был лидер, который устроит и военных промышленников, и рабочих. Вроде бы несовместимость, не правда ли?! Однако эта несовместимость была кажущейся. Промышленников устроило то, что Муссолини повел рабочих в атаку не на банки и дворцы миллионеров, а на парламент и демократию, народ устал от нищеты и дискуссий, народ хотел определенности. Вот он ее и получил. Как всегда, в левом лагере шла перепалка по поводу принципов, на которых может состояться объединение с буржуазной демократией, как всегда, не было единства, как всегда, людей мучили прениями, а Муссолини пошел со своими фашистами на Рим и взял его без боя. Точнее говоря, он и не брал его: военные промышленники, банкиры и армия заставили короля отдать ему власть; «поход на Рим» нужен был как миф, ибо, по Муссолини, не логика правит массой, но именно легенда... Ну, а уж после того как он сел в кабинет премьера, после того как в его руках оказалась армия, полиция, флот, связь, железные дороги, не очень-то трудно было убрать идейных противников и поручить своим борзописцам создать культ «спасителя нации». Свобода слова была признана ненужной, границы закрыты, газеты подчинены цензуре, забастовки запрещены, недоверие возведено в принцип – фашизм обрел свое лицо... Согласны с такого рода версией?

– В чем вы видите разницу между национал-социализмом Гитлера и фашизмом Муссолини? – спросил Роумэн.

– Она номинальна. Гитлер был еще менее образован, он вообще вышел из люмпенпролетариата, осознал свою бездарность в живописи, это, видимо, внутренне сломало его, отсюда – жестокость, культ крови и ненависти... Как всякий некомпетентный человек, он не верил логике и презирал науку. А поскольку в ту пору, когда Гитлер вышел на старт, в Германии буйствовал культ насилия, как реакция на ужас войны; поскольку интеллектуальная элита была разобщена, поскольку экономика рушилась, выбрасывая на улицу миллионы рабочих, ставших изгоями общества; поскольку образованных людей было мало, – внимающее истеричному с л о в у большинство ринулось за тем, кто говорил привычное и понятное: «Во всем виноваты евреи! Во всем повинны большевики!»

– Сейчас вы, видимо, начнете меня убеждать, что и Гитлера привели к власти толстосумы... Что-то не вяжется: толстосумы – которых я не люблю, как всякий интеллигентный человек, – вполне мыслящие люди. Видимо, вы в первую очередь имеете в виду промышленников, зачем им было помогать тому, кто науськивает на них массу?!

– Масса была той силой, которой Гитлер торговал: «Я могу ими управлять, а вы – нет. Хотите видеть меня фюрером, хотите иметь гарантию, что я спасу Германию от большевистской революции, – принимайте меня таким, каков я есть, я обещаю вам спокойную работу и неприкосновенность ваших счетов в банках». Кстати, английский нефтяной король Детеринг передал Гитлеру накануне выборов

в рейхстаг что-то около двадцати миллионов марок. Неужели вы серьезно думаете, что без поддержки Ялмара Шахта и вице-канцлера Папена фюрер мог прийти к власти? Они отдали ему власть, как и Муссолини. Но толстосумы очень боялись опыта России. Шахт и Папен ничего так не боялись, как русского эксперимента, где лозунг «Мир – хижинам, война – дворцам» стал практикой жизни..

– Вы, случаем, не состоите в коммунистической партии?

Штирлиц пожал плечами, закурил, поинтересовался:

– А если и да – что тогда?

– Вас завербовал Кремль в конце сорок четвертого?

– А если раньше? – Штирлиц улыбнулся. – Тогда что?

– Вы сказали, что вам известно, как пытали в гестапо... Если вас пытали, то кто? Когда? За что?

– На все вопросы я не отвечу, но на вопрос «за что» готов дать ответ... Я кое-что сделал для того, чтобы помочь срыву сепаратных переговоров Аллена Даллеса с Карлом Вольфом... В Швейцарии, в сорок пятом...

– Значит, моя интуиция, – Роумэн жестко усмехнулся, – не подвела. Вас вербанули коммунисты. Кому, как не им, было выгодно сорвать эти переговоры?

– Странно... Мне казалось, что более всего в этом была заинтересована Америка... Стать страной, которая идет на сговор с Гиммлером? От этого довольно трудно отмыться... Мне кажется, я работал на вас не меньше, чем на русских... Вопрос престижа в политике – вопрос немаловажный...

– И для того чтобы вы помогли нам сохранить реноме самой честной и респектабельной державы, вы убили несчастную Фрайтаг, дорогой штандартенфюрер Штирлиц?

– Давно знаете мою фамилию?

– А вы как думаете?

– Я думаю, вам сказал и об этом совсем недавно.

– Мне сказали об этом после того, как ты, фашистский перевертыш, начал следить за моими друзьями...

– Красивый, веснушчатый агент Кемпа – ваш друг? – удивился Штирлиц и потянулся за сигаретой, но не успел ее достать из пачки, потому что Роумэн ударил его кулаком в лоб, повалив навзничь.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ТАЙНА ПЕРЕПИСКИ

«М-ру Полу Роумэну,
Посольство США в Испании

Дорогой Пол!

Элизабет и я сердечно поздравляем с Кристой. Бог тебя услышал и выполнил твой заказ: умная, голубоглазая и с веснушками, именно про такую девушку ты мне писал в одном из своих посланий. Счастья вам и добра.

По поводу дома на берегу океана. Можно подобрать. Правда, цены довольно высокие, как-никак мы живем в Голливуде, не где-нибудь. Я посмотрел три коттеджика, один с бассейном, шесть комнат, дорого, но можно взять в

рассрочку, другой – холостяцкий, всего одна спальня и холл, правда, огромная веранда, метров сорок, этот дешевле, поэтому просят все деньги сразу. Третий нужно ремонтировать, его арендовали немецкие и французские эмигранты, полное запустение, они потихоньку складывают чемоданы, с работой плохо, антинацистская продукция сейчас не требуется в той мере, как в сорок четвертом, поэтому люди решили вернуться к своим разбитым очагам в Европе.

Я заказал фотографии трех этих домов, вышлю тебе со следующей почтой.

Твой совет по поводу споров я учел и принял к неукоснительному исполнению. Ты совершенно прав: все решает ячейка счастья, в ней рождается мир и доверие, именно то, чего лишена большая часть человечества.

Кстати, по поводу Врэнкса. Он не получал ни одного письма из той страны, которую ты имел в виду. Он писал туда пять раз, но не получил ни одного ответа. Твою рекомендацию я ему передал, он был весьма удивлен этим, тем не менее поблагодарил и пообещал обо всем подумать. Назавтра он позвонил мне и спросил, не был бы я так любезен отправить его письмо вместе с моим. Я ответил, что мое письмо тебе идет так же, как все обычные письма, это только ты мне отправляешь корреспонденцию с дипломатической почтой.

У меня очень много новостей, но я понял из твоей прежней весточки, что целесообразнее говорить обо всем этом при личной встрече. Если я тебя понял верно, тогда наговоримся обо всем, когда вы с Кристой приедете сюда следующей весной. Пожалуйста, не резервируйте отель, Элизабет и я обидимся, если вы остановитесь не у нас, мальчишки орут на улице, так что они не будут вам мешать, да и комната, которую мы для вас приготовим, окнами выходит в сад, который принадлежит другу Эйслера, композитору Дмитрию Темкину, ты помнишь его, он делал музыку для фильма «Сто мужчин и одна девушка» с Леопольдом Стоковским в роли дирижера. Он живет здесь уже двадцать лет, стал знаменитостью; но говорит с ужасающим акцентом, а Эйслера приглашает в гости только вечером, чтобы никто не видел; днем и по воскресеньям у него собираются только одни американцы, все-таки пословица, что порою надо быть святее самого папы римского, только потому и стала пословицей, что выражает суть того времени (тех времен), в которое она сделалась хрестоматийной, то есть понятной каждому и почти каждому потребной.

Если у вас в посольстве будут показывать фильм «Десант», посмотри... В титрах ты найдешь и мою фамилию. Полюбуйся на игру президента актерской Лиги Рейгана, я тебе писал о нем, он изображает одного из наших диверсантов.

К сожалению, я провалялся в постели, подцепив какую-то дикую инфлуэнцу (температуры нет, но страшный кашель), когда в Штаты приезжали русские писатели Симонов и Эренбург. О них много писали, причем по-разному, отмечали, что Эренбург личный представитель Сталина, давно и прочно связанный с русскими секретными службами, возглавлял бюро Коминтерна в Париже, а Симонов, который пишет лирические стихи, был придан ему в качестве декорационного прикрытия. Впрочем, газетная сенсация газетной сенсацией, а принимали их здесь великолепно, было очень дружественно, и, как сказал мне потом Брехт, к нему звонил затворник Лион Фейхтвангер и, кажется, был намерен выбраться из своего далекого уединения. Кстати, он ведет себя именно так, как ты советуешь мне вести себя. Ему легче — он создает миры, в которых живет, ему не скучно, а я — бездарь, лишен дара сочинять или рисовать, поэтому не могу существовать без общения с себе подобными.

А месяцем позже приехали два русских беженца, один бывший полковник, другой майор. Рассказывали совершенно ужасные истории про Россию, напичканы сюжетами, которые можно сразу же крутить в кино, их лекции собирали громадную аудиторию, здорово заработали. Я с ними потом поговорил, и выяснилось, что они перешли к Гитлеру в сорок втором, сотрудничали с генералом Власовым, ты помнишь, о нем много любопытного рассказывал Аллен. Мой интерес как-то угас, потому что у меня, как и у тебя, да и у всех наших, свое отношение к перебежчикам. Я все время видел их в немецкой форме, представляю, как бы ты себя чувствовал, ведь охранники твоего концлагеря носили такую же форму.

Брехт ходит какой-то опущенный, я спросил, отчего он не отвечает на твои письма. Он был весьма удивлен и сказал, что ничего от тебя не получал. Но со свойственной ему рассеянностью он, я думаю, сунул куда-нибудь твои послания и найдет их лишь в тот день, когда решит прибрать в своем кабинете, сплошь заваленном книгами, журналами и корреспонденцией.

Мы сердечно обнимаем Кристу и тебя.

В ожидании скорой встречи, твой Грегори Спарк».

ШТИРЛИЦ (ноябрь сорок шестого)

Сидя за рулем своего «форда», Роумэн продолжал неистовствовать:

— Кто тебе, фашистская сука, дал задание следить за Кри...

Штирлиц быстро включил радио; передавали последние известия из Лондона.

— Убери это! — крикнул Роумэн. — Выключи к черту! Меня не

подслушивают. Убери, я сказал! Сейчас ты скажешь Кристе, где и когда ты ее видел с Кемпом, сука!

– Слушай, придурок, – тихо ответил Штирлиц, – перестань орать, как истеричка в пору климакса. А подслушивать здесь могут даже в сортире. Это по правилам.

– Это по вашим нацистским правилам! Это вы никому не верите, поэтому ставите аппаратуру в сортире, чтобы знать всю подноготную, и от этого перестаете верить даже самим себе! Все про человека имеет право знать бог! А вы замахнулись и на бога, паскуды! Убери звук! Мне мешает эта шлюха с ее последними известиями!

– Не уберу. Высади меня и выключай. А мне жизнь дорога.

– Никто не угрожает твоей паскудной жизни. Кто поручил тебе следить за Кристой?! Отвечай!

– Сначала ты скажешь, когда ты узнал мое имя, а потом я отвечу на твой вопрос. Это мое усло...

– Сделай громче! – вдруг крикнул Роумэн, резко нажав на тормоз. – Найди волну, чтоб не уходила станция! Громче же!

Штирлиц не сразу понял, отчего Роумэн резко затормозил и круто взял к обочине. Он дал громкость на всю мощь и только после этого понял, отчего Роумэн так жадно подался к приемнику.

– После этого выступления, – читал лондонский диктор, – два ведущих специалиста «Нью-Йорк таймс» по вопросам международного коммунизма Фридрик Вольтман и Ховард Рашмор сделали заявление для печати, что, скорее всего, речь идет о большевистском агенте Эйслере, нашедшем приют в Соединенных Штатах после того, как Гитлер начал свою антисемитскую вакханалию в рейхе. Вольтман заметил, что, рассматривая возможную коммунистическую деятельность Эйслера, необходимо особо внимательно присмотреться к некоему автору текстов Бертольду Брехту, весьма популярному менестрелю ГПУ. Из осведомленных источников, близких к Капитолию, сообщают, что главным следователем в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности выступит Роберт Стриплинг. Передают, что он уже провел предварительные допросы Адольфа Менжу, Рональда Рейгана и Роберта Тейлора, однако подробности прессе сообщены не были. Обозреватели считают, что речь, вероятнее всего, идет о разветвленном коммунистическом заговоре. Сегодня Стриплинг вызвал для допроса сестру Эйслера миссис Рут Фишер, которая в двадцатых годах была одним из руководителей Германской коммунистической партии... Оттава. Сегодня здесь во время пожара в отеле «Принс Джодж» погибло три человека, среди которых известный горнолыжник Клод Фармье. Причины возникно...

Роумэн выключил приемник, полез за сигаретой, закурил, посмотрел на Штирлица невидящим взглядом, потом открыл окно и длинно сплюнул.

– Ну, суки, – сказал он тихо, – грязные, глупые, неграмотные суки... «Автор текстов Брехт»... Что же это такое, а?

– Я не скажу, что это фашизм, – усмехнулся Штирлиц, – но какое-то сходство есть. Фашизм всегда дает первый залп против интеллектуалов.

– А ты молчи!

– Я могу выйти?

– Нет.

Роумэн сделал две глубокие затяжки, сигарета сделалась как траурное знамя: черный пепел и красная кайма, очень страшно. Он включил зажигание, развернулся и в нарушение всех правил погнал через осевую в центр, к площади Колумба; там затормозил и, не глядя на Штирлица, сказал:

– Пошли.

Штирлиц спросил:

– Может, я подожду?

– Пошли, – повторил Роумэн. – Ты мне понадобишься как эксперт по фашизму, маленький Гитлер...

– А что, – усмехнулся Штирлиц, осторожно вылезая из машины, потому что после удара Роумэна, когда упал навзничь на скользкий пол, выложенный изразцами, в пояснице снова завороча лась боль, – вполне престижно; эксперт разведки Соединенных Штатов по вопросам гитлеризма. Положи мне хорошие деньги в неделю, я готов, проконсультирую, отчего нет?

Они поднялись на третий этаж нового дома, прошли по длинному коридору, остановились возле двери, на которой была укреплена медная табличка «Юнайтед Пресс интернэйшнл». Роумэн нажал большую медную кнопку, раздался мелодичный перезвон; дверь отворил низенький человечек в мятой рубашке, выбившейся из жеваных, слишком длинных брюк.

– Здравствуй, Пол, – сказал он, – сядь и не путайся под ногами. Идет очень важная информация.

И, повернувшись, засеменил в телетайпную, где большие машины, урчаще дергаясь, выдавали новости.

Роумэн прошел следом за ним, оторвал бумажный лист с только что переданными сообщениями и углубился в чтение. Он пробежал текст стремительно, и Штирлиц отметил, что Роумэн читает как человек, привыкший работать профессионально: он сначала проглатывал новость, потом выделял части и только после этого брал сообщение вкупе, выявив для себя главное и отбросив ненужное. Однако, судя по тому, как двигались зрачки американца, Штирлиц понял, что в этом тексте ему было важно каждое слово.

Роумэн прочитал его не три, а четыре раза, молча протянул Штирлицу и, резко поднявшись, снова пошел в телетайпную.

Штирлиц пробежал сообщение, полез за сигаретами, вспомнив тот весенний день в Берне, когда он сидел с пастором Шлагом на набережной, спустившись по красивым дорожкам, устланным бурой, ржавой прошлогодней листвой, к вольерам, где содержались олени: самое пустынное место в зоопарке, только утки летают, безлюдье и тишина. Именно там он впервые подумал, что может случиться с миром, если Даллес договорится с Вольфом, диффузия идей – штука сложная, проникновение концепции нацизма в буржуазно-демократическое общество незаметно; он помнил Берлин тридцать второго года, он хорошо помнил тот год, лучше б ему не помнить ту пору, так она была страшна, так горько было ощущение собственной беспо-

мощности; видишь и понимаешь, куда катится страна, но ничего не можешь сделать, чтобы предотвратить ее сползание в ужас...

«Здесь передают, — прочитал он сообщение еще раз, — что комиссии по расследованию антиамериканской деятельности в составе председателя Перкэна Томаса, сенаторов Карла Мундта, Южная Дакота, Джона Макдоуэла, Пенсильвания, Ричарда Никсона, Калифорния, Ричарда Вайля, Иллинойс, Джона Ранкина, Миссисипи, Хардина Петерсона, Флорида, и Герберта Боннера, Северная Каролина, провели предварительную беседу с Герхардом Эйслером, братом известного композитора, работающего в Голливуде. По поручению комиссии материалы к собеседованию готовили главный следователь Роберт Стриплинг и следователь Луис Рассел. Официальное слушание назначено на начало сорок седьмого года.

Приводим текст стенографического отчета, полученный от адвокатов.

Стриплинг. — Мистер Эйслер, встаньте.

Эйслер. — Я не намерен вставать.

Стриплинг. — У вас есть адвокат?

Эйслер. — Да.

Стриплинг. — Господин председатель, я считаю, что мы можем разрешить свидетелю пригласить адвоката.

Председатель. — Мистер Эйслер, поднимите вашу правую руку.

Эйслер. — Я не подниму мою правую руку до тех пор, пока мне не будет предоставлена возможность сделать заявление.

Стриплинг. — Господин председатель, я думаю, вы должны объявить, чему посвящено слушание, прежде чем принимать решение о правах свидетеля Эйслера.

Председатель. — Мистер Эйслер, вы в Комиссии по антиамериканской деятельности. На основании шестьсот первого параграфа гражданского права нам вменено в обязанность расследовать характер и объект антиамериканской пропаганды в Соединенных Штатах, а также выяснить, какие иностранные государства стоят за этой пропагандой и является ли ее целью свержение правительства США, а также иные вопросы, возникающие в связи с исследованием главного. Поскольку Коммунистическая партия США признана подрывной организацией, все формы ее деятельности подлежат рассмотрению в нашей комиссии. Поэтому ваши ответы на вопросы должны быть прямыми и ответственными, никаких двусмысленностей. Мы не намерены дать вам возможность выступать с какими бы то ни было заявлениями до тех пор, пока вы не принесете присягу. Лишь после присяги комиссия рассмотрит ходатайство о приобщении вашего заявления к делу. Итак, поднимите вашу правую руку.

Эйслер. — Нет.

Председатель. — Мистер Эйслер, не забывайте, что вы являетесь гостем этой страны.

Эйслер. — С гостями так не обращаются, потому что я...

Председатель. — Эта комиссия...

Эйслер. — Потому что я не гость, а политический заключенный в Соединенных Штатах.

Председатель. — Одну минуту! Вы готовы присягнуть?

Эйслер. — Я не могу присягнуть, прежде чем не сделаю нескольких замечаний.

Председатель. — Нет, сейчас вы не будете делать никаких замечаний.

Эйслер. — Значит, не будет никакого слушания моего дела — во всяком случае, в моем присутствии.

Председатель. — Вы отказываетесь присягнуть? Я правильно вас понял, мистер Эйслер? Вы отказываетесь присягать?!

Эйслер. — Я готов ответить на все ваши вопросы.

Председатель. — Одну минуту... Вы отказываетесь дать присягу?

Эйслер. — Я готов ответить на все ваши вопросы.

Председатель. — Мистер Стриплинг, вызовите другого свидетеля. Комиссия будет соблюдать свой порядок. Вы ведь отказываетесь присягнуть перед лицом нашей комиссии.

Эйслер. — Я не отказывался и не отказываюсь присягать.

Стриплинг. — Господин председатель, по-моему, свидетель должен замолчать. Или же встать и присягнуть. Или же быть выведенным из зала — во всяком случае, до тех пор, пока мы не придем к единому мнению.

Сенатор Мундт. — Господин председатель, спросите его еще раз: готов ли он присягнуть?

Председатель. — Вы снова отказываетесь принести присягу, мистер Эйслер?

Эйслер. — Я никогда не отказывался дать показания под присягой. Я доставлен сюда как политический заключенный. Я прошу дать мне возможность сделать несколько замечаний по делу — всего три минуты — перед тем, как я присягну и отвечу на ваши вопросы, а потом выступлю с моим заявлением.

Председатель. — Я уже сказал, что вы получите право на слово лишь после того, как ответите на наши вопросы под присягой. Затем ваши замечания — если следствие найдет их заслуживающими внимания — будут рассмотрены комиссией. Но сначала вы должны присягнуть.

Эйслер. — Вы ошибаетесь в этом пункте. Я ничего не должен, ибо я политический заключенный. А политический заключенный ничего никому не должен.

Председатель. — Вы отказываетесь присягнуть?

Эйслер. — Я прошу дать мне три минуты для того, чтобы я мог разъяснить комиссии то, что я на...

Председатель. — Мы будем дискутировать ваш вопрос только после того, как вы присягнете.

Сенатор Мундт. — Господин председатель, я полагаю, что свидетель должен быть удален.

Сенатор Ренкин. — Согласен.

Председатель. — Уведите свидетеля.

Стриплинг. — Господин председатель, я бы хотел, чтобы знали, в какую тюрьму отправят Эйслера.

Председатель. — Кто его сюда доставил?

Стриплинг. – Два присутствующих здесь джентльмена. Назовите ваши имена.

Греннан. – Я – Стив Греннан, офицер секретной службы, министерство юстиции, отдел иммиграции.

Бросман. – Я – Бросман, офицер секретной службы, министерство юстиции, отдел иммиграции.

Председатель. – Это вы привезли сюда Эйслера?

Офицеры секретной службы подтверждают это.

Председатель. – Куда вы его берете?

Греннан. – В городскую тюрьму Вашингтона.

Затем была приглашена для дачи показаний Рут Фишер, которая является родной сестрой Ганса Эйслера, композитора, проживающего по адресу 122, Вавэрли-плэйс, Нью-Йорк, и Герхардта Эйслера, находящегося в тюрьме Вашингтона. Будучи приведенной к присяге, миссис Фишер на предварительном слушании, в частности, показала:

– Герхардт и я вступили в ряды Коммунистической партии Германии в 1920 году. Я была секретарем берлинской организации, затем членом Политбюро, а также членом президиума ИККИ Коминтерна в Москве. Мы очень дружили с Герхардтом, особенно в ту пору, когда он вернулся с фронта, где провел в окопах четыре года, однако в двадцать третьем наша дружба кончилась, потому что я встала в оппозицию к Политбюро и Коминтерну. Я потому решилась сегодня выступить с заявлением перед уважаемой комиссией, что считаю Герхардта одним из самых опасных террористов...

Председатель. – Простите, миссис Фишер, вы сводная сестра Ганса и Герхардта Эйслера?

Фишер. – Родная. Именно поэтому я прошу вас разрешить мне выступить с заявлением.

Председатель. – Конечно.

Фишер. – Я считаю Герхардта Эйслера законченным террористом, опасным для Соединенных Штатов и Германии. То, что этот человек является моим братом, заставляет меня особенно остро ощущать большевистскую угрозу Сталина. Он намерен навязать свой строй Европе и всему миру. Будучи слугой сталинского ГПУ, мой брат готов отдать на закланье детей, сестру, лучших друзей. С тех пор как я узнала, что он в Штатах, я испытывала постоянный страх за Америку. Пользуясь симпатией к нацистским жертвам, Герхардт Эйслер развернул здесь свою подрывную работу. Он приехал сюда с заданием установить в США тоталитарную систему, вождем которой будет Сталин.

Председатель. – Нам бы хотелось узнать о деятельности Герхардта Эйслера, начиная с июня сорок первого, когда он приехал в Штаты.

Фишер. – Впервые он приехал в Штаты в тридцать третьем, после того как я встретила его в квартире моего младшего брата, композитора Ганса Эйслера в Париже, по адресу четыре, Плас Вожирар, где Ганс жил после эмиграции из нацистской Германии. Герхардт ехал в Штаты, чтобы возглавить антиправительственную борьбу. Я считаю, что все эти годы он возглавлял здесь подпольную сеть русской секретной службы.

Председатель. — Будучи членом Коминтерна?

Фишер. — Да, несмотря даже на то, что с двадцать восьмого по тридцатый год он был в оппозиции к Сталину.

Сенатор Рассел. — Где еще бывал ваш брат, являясь членом Коминтерна?

Фишер. — В Испании, Австрии, Чехословакии.

Председатель. — Миссис Фишер, почему вы вышли из коммунистической партии?

Фишер. — Потому что Сталин сделал Коминтерн подразделением ГПУ.

Сенатор Мундт. — «Нью-Йорк таймс» еще десять лет назад писала, что коммунистическая партия не есть партия, а конспиративная группа, ставящая своей целью разрушение демократии и захват власти. Так ли это?

Фишер. — Да.

Председатель. — Правда ли, что ваш брат был узником концентрационного лагеря?

Фишер. — Нет.

Сенатор Мундт. — Но следователь Стриплинг представил нам документы о том, что он был жертвой нацистского террора.

Фишер. — Он был заключен в лагерь правительством Виши, генералом Петэном...

Председатель. — За антинацистскую деятельность?

Фишер. — За коммунистическую деятельность. Французская полиция знала, что он коммунист высокого уровня, и хотела изъять его из общественной жизни, поскольку Франция была оккупирована Гитлером...

Сенатор Никсон. — Вы запросили право на американское гражданство?

Фишер. — Да.

Никсон. — Могу ли я считать, что, несмотря на выход из компартии, вы по-прежнему симпатизируете марксизму, поскольку очень хорошо информированы о том, что происходит в их рядах, в частности с вашим братом.

Фишер. — Сейчас мы видим угрозу сталинской империи всему миру. Я должна быть информированной, чтобы вести борьбу против большевистского терроризма.

Председатель. — Нам надо поскорее заканчивать это дело, потому что в Сенате предстоит голосование по важному вопросу и нам необходимо быть там...

Сенатор Вайль. — Миссис Фишер, вы сказали, что у вас есть младший брат, какой-то композитор. Он по-прежнему живет в Штатах?

Фишер. — Да.

Сенатор Вайль. — Ваши братья поддерживали контакт во Франции? Здесь они тоже контактируют?

Фишер. — Да.

Сенатор Вайль. — Каковы ваши отношения с композитором... С вашим младшим братом?

Фишер. — Такие же, как со старшим.

Сенатор Вайль. – Следовательно, вы прервали отношения с Гансом Эйслером по тем же причинам, что и с Герхардтом?

Фишер. – Да.

Сенатор Вайль. – Ваш брат-композитор тоже коммунист?

Фишер. – В философском смысле – бесспорно.

Сенатор Никсон. – Он близок с Герхардтом Эйслером?

Фишер. – Да.

Сенатор Боннер. – Поскольку вам хорошо известна активность коммунистов, ответьте: как много Коминтерн направил своих людей из Москвы в Соединенные Штаты?

Фишер. – Несколько тысяч.

Штирлиц аккуратно отодвинул от себя широкий телетайпный лист, поднял голову; Роумэн сидел напротив, вытянув ноги; нижняя челюсть выпячена, словно у него случился волчий закус; волосы растрепаны, воротник рубашки расстегнут, галстук приспущен.

– А вы чего разволновались? – спросил Штирлиц. – Вы уже знали обо всем этом, когда требовали моей консультации по национал-социализму?

– Сейчас снова врежу, – пообещал Роумэн. – И это будет плохо.

– Эта Фишер несчастная баба, – заметил Штирлиц.

– Сука.

– Почему? Отрабатывает свое американское гражданство. Она же запросила гражданство... Его надо заработать... Ей написали сценарий, она его толково выучила... Дамочку в свое время не избрали в Политбюро Германской компартии, обиделась... Но сюжет действительно шекспировский: так топить братьев...

– Я очень люблю Ганса...

– Какого?

– Эйслера.

Штирлиц осторожно кашлянул, не поднимая глаз на Роумэна, спросил:

– Знаете его музыку?

– Я ни черта не понимаю в музыке. Я люблю его, как человека. Он замечательный парень. Очень добрый, мягкий... Террорист... Ну, сука, а?! И какую она перла ахинею: «Его посадили в лагерь не за антинацистскую, а за коммунистическую деятельность». Ведь это одно и то же!

– Слушайте, Пол... Только не бейте меня в лоб, ладно?..

– Ну...

– Только пообещайте не бить. А то я отвечу. Пепельницей по голове. Я это умею, честное слово. Обещаете?

– Обещаю.

– Кто еще знает о том, что вы дружили с Эйслером?

– А вам какое дело?

– Никакого... Не связана ли... Не связаны ли близкие вам люди с делом, начавшимся в Вашингтоне?

– Думай, что говоришь, нацистская гадина.

– Я думаю, что говорю, господин чиновник, выполняющий задания своих фюреров, – Штирлиц кивнул на телетайп. – Или ты считаешь, что вся эта гнусь – венец демократии?

– Повтори, что ты сказал.

– Что ты служишь своим бешенным...

– Я не об этом... Почему ты связываешь женщину, которая... Почему ты посмел назвать ее агентом Кемпа? Почему ты, тварь, которая воспитана в вонючем рейхе, где никто и никому не верил, смеешь мазать фишеровским дерьмом женщину, которую не знаешь?!

– Опусти руку! Опусти... Вот так... Теперь я тебе отвечу...

И Штирлиц рассказал ему о том, что случилось в Прадо, – в самых мельчайших подробностях.

После долгой паузы Роумэн хотел было сказать Штирлицу, что, поскольку он всего боится, повсюду ему видятся агенты секретной полиции, которые должны отловить его и выдать «Интерполу» как наймита, выполнявшего черные дела по приказу своих шефов, а может, и без приказа, по собственной инициативе, ему, видимо, просто показалось, что Кемп что-то шептал Кристе в музее, но Роумэн не сказал ему этого, и не только потому, что усомнился в правоте такого рода допуска, но потому, что явственно и зримо увидал аккуратные, чуть заваленные влево строки письма Грегори, в котором тот поздравлял его с Кристой и отмечал, что бог прямо-таки выполнил его заказ, познакомив именно с такой девушкой, про которую он, Пол, писал ему в одной из корреспонденций: «голубоглазая», «в веснушках», «с которой можно не только заниматься любовью, но и говорить перед сном о всяких разностях нашей жизни».

Ерунда, оборвал себя Пол. Если кто-то решил подвести ко мне агента, тщательно выполняя мое шутливое пожелание, высказанное в письме, это бы не могло не насторожить меня; я бы навязал противнику свою волю, а не подстраивался под него. Это я так думаю, сказал он себе, но ведь мой противник может думать по-иному. Невозможно сражаться с твоим «альтер эго», вечный шах, заведомая ничья... Хорошо, но ведь у меня есть возможность проверить все это. Не все, конечно, возразил он себе, но через Эронимо я могу узнать, в какой мере здешние дьяволы читают мою переписку. Если они установили слежку за стариком Врэнксом из интербригады Линкольна – а Грегори все-таки брякнул его имя в письме, которое шло не с дипломатической почтой, – тогда можно будет перепроверить и то, что сказал Штирлиц, тогда я смогу понять, что они затеяли с Кемпом, а они что-то должны были затеять, потому что Эрл Джекобс парень с челюстями и он знает, как я не люблю его брата, который засел в Буэнос-Айресе, чтобы коллекционировать тамошних наци. Эрл прекрасно понимает, что я не куплюсь на их паршивые акции и не стану покрывать его ставку на гитлеров за то, что ИТТ оказывает нам услуги, пусть попробует не оказать, мы ей крылья подрежем...

Погоди, сказал он себе, ты говорил Штирлицу, что он грязный наци, потому что воспитан в недоверии к каждому. Ты верно сказал, но отчего же ты стал думать о всяческих хитрых комбинациях, а не поехал к Кристе и не задал ей вопрос: «Человек, ты встречалась с Кемпом в Прадо?» Ты же убежден, что умеешь читать правду в глазах, вот бы и прочел... Да, я умею читать правду, и я очень боюсь, признался он себе, что увижу правду в ее глазах и тогда я буду лишен возможности проверить то, что обязан проверить... А нужно ли

тогда что-либо проверять? – спросил он себя. Тогда, конечно, не нужно. А если я пойму, что Штирлиц не лгал? Это будет крахом, подумал он, крахом, невосполнимым уже. Пережить ужас с Лайзой, принять решение жить в одиночестве, а это тяжелое дело, в одиночестве мог жить Эрни; художник может жить один, он окружен толпой своих героев, а ты жить один не приспособлен, тебе нужна опора... И ты отказался от этого своего решения, выпросил себе девушку, потянулся к ней, и вдруг узнаешь, что ее к тебе просто-напросто приставили... Зачем тогда что-то проверять, комбинировать, суетиться?! Тем более что дома начался шабаш, и ты, по долгу службы, обязан помогать этому шабашу, потому что работаешь, хочешь того или нет, на тех, кто заседает в Капитолии и с интересом выслушивает гадость и злобу, которую изрыгает на братьев климактерička Фишер... Надо бросать все к черту и уезжать к Грегори... Консультировать фильмы про войну... А по вечерам высасывать свою бутылку и ложиться спать, раз и навсегда запретив себе мечтать о счастье. Его у тебя не будет.. Тебе обеспечено существование. Пока еще неплохо работает желудок, сердце не колет, печень не вертит, живи, как живут все, партия сыграна, жди конца, собирайся потихоньку в дорогу... Нет, сказал он себе, все это чушь, меня потянуло в этот дерьмовый минор только после того, как прочитал телетайп. Вот почему я словно какой-то ушибленный... Я еще ничего не могу сказать себе по поводу того, что происходит, я слишком всем ошарашен, одно легло на другое, саднит, вот почему я растерялся. Слава богу, что я услыхал сообщение по радио, хорошо, что я не привез Штирлица домой и не заставил его рассказать Кристе то, что он рассказал мне. Это было бы смешно. Человек – если он любит, а его любви угрожают – не думает о том, что он смешон, то есть жалок, такова уж природа человеческая, любым путем удержать наслаждение. Даже предательством идеалов? – спросил себя Роумэн, и этот вопрос, при том, что он был жестоким, помог ему расслабиться, удобно устроиться в кресле, закурить и крикнуть в телетайпную – обычным своим хмуро-насмешливым голосом:

– Эй, Ник, свари-ка нам кофе, а!

– Вари сам. Я жду новых сообщений. Как тебе, а? Ты что-нибудь понимаешь?

– А что тут не понять, – ответил Роумэн. – Тут все ясно, как утро. Началась генеральная уборка. В доме должно быть стерильно, как в хирургической. Верно, доктор Брунн? Вы согласны?

– Как в морге, – засмеялся Ник. – Я что-то такого не помню еще в нашей истории. А ты?

– Теперь запомним, – ответил Пол и пошел в маленькую кухню, где стояла электрическая плита.

– Зато я помню, – тихо заметил Штирлиц. – Я очень хорошо помню Сакко и Ванцетти. Когда в стране нет шума, тогда лидеру нечего делать... Тем более война закончена не им, а предшественником. Включайтесь в поиск шпионов, очень поможет карьере.

– Ладно, – ответил Роумэн, – включусь.

Он поставил на конфорку кофейник, насыпал в него две пачки марокканского кофе и подумал, что Штирлиц верно чувствует

версию возможного развития событий, мы все шутим по поводу возможного, пока можно шутить, в глубине души думая, что то ужасное возможное на самом-то деле никогда не сможет стать фактом жизни. Мне стало страшно, когда я прочитал телетайп, особенно после того, как он сказал мне, что Криста слушала Кемпа, который стоял рядом с нею, обернувшись вполоборота, и приказно ей говорил, пока она рассматривала Мурильо. Или ты просто-напросто хочешь придраться к этому, чтобы все с ней порвать? — спросил он себя. Ты ведь боишься разницы в возрасте. И боишься того, что ты совсем не подарок в кровати после того, что с тобой вытворяли наци. И ты постоянно вспоминаешь Лайзу, которая лежала с тем мулатом, потная, со спутанными волосами и невидящим, плывучим взглядом. Может быть, ты получил искомое, то есть предлог, чтобы вернуться в прошлое, каким оно было неделю назад, пока Криста не вкатила тебе в бампер. А ведь она замечательно водит машину. После того как я напился от счастья в «Лас Брухас», я подивился, как резко, по-мужски, она ведет машину... Надо же было вмазать мне в задник на полупустой площади... Прямо как по заказу. И еще: она ни разу не спросила меня, чем я занимаюсь. Даже после того, как швейцарец Ауссем назвал меня «господином советником». А ключ от моего сейфа валяется в столе... Я ж помню мудрые уроки Аллена: «Если вы хотите, чтобы к вам не лазали — никогда ничего не прячьте. Оставляйте все самое конфиденциальное на видном месте, противник всегда ищет тайники, такова уж логика».

Он отчего-то вспомнил, как чикагский бизнесмен, занятый в книжной торговле, оказался на грани банкротства и жизнь заставила его придумать гениальный ход: он выпустил роман «Война и мир» умопомрачительным тиражом, предварительно сообщив в газетах, что уплатит десять тысяч премии тому, кто найдет ошибку в книге, ошибку, сделанную намеренно, чтобы проверить внимательность читателей. Книга моментально разошлась, бизнесмен не только поправил свои дела, но и положил в карман сотню тысяч баксов горячей прибыли, потому что грамотных много, а особенно тех, кто считает себя грамотным, — все нынче горазды поживиться на дармовщинку. А вот ошибку никто не нашел. Пришли тысячи гневных писем: «Акулы бизнеса дурят американцев». Тогда бизнесмен напечатал в газете: «Никто никого не дурил. На обложке книги в фамилии «Толстой» вместо «о» напечатано «а», «Талстой»; просто никто не смотрел обложку, все ринулись утюжить текст...»

— Эй, Брунн, — крикнул Пол с кухни, — помогите-ка мне! Возьмите чашки, я сварил сказочный кофе.

«Крепкий парень, — подумал Штирлиц. — Так скрутить себя за несколько минут не каждый сможет, а ведь мой удар был в поддых. От такого не каждый быстро оправится. А если он умеет так играть? Тогда я себе не позавидую, тогда я получил в нем такого врага, который на мой удар ответит своим, и это будет сокрушительный удар, что там толчок в лоб, когда летишь со стула на кафель, это ерунда, лечебная гимнастика, а не удар...»

РОУМЭН

Роумэн вошел в квартиру, тихо отперев дверь, и сразу же услышал песенку, ее, Кристы, песенку; она хлопотала на кухне; он это понял по тому, что в доме пахло ванилью, она добавляла много ванили, когда делала яблочный пай.

Он остановился возле косяка, прижался спиной к стене, посмотрел на свое отражение в большом венецианском зеркале, провел по лицу хваткими пальцами; появились красные полосы; плохо, сдали нервы, это началось после того, как посидел у наци, а еще это было, когда он вошел — так же тихо, желая сделать сюрприз Лайзе, — в свою квартиру и увидел ее с тем мулатом; самое дрянное заключается в том, подумал он, что я рассказывал Кристе про эти красные полосы на лице, никто не бывает так доверчив, как мужчина средних лет, полюбивший молодую женщину. Он относится к ней как к ребенку, никаких тайн, это же навсегда, последнее, самое лучшее, что подарил бог под старость.

Роумэн потер ладонями щеки, чтобы они перестали быть полосатыми, пусть покраснеют. Странно, когда пьешь в молодости, делаешься пунцовым, а если перевалило, бледнеешь, как известь. Лучше б и не смотреть на себя после полубутылки виски, страшновато, лицо, как маска...

— Криста! — позвал Роумэн.

— Ау!

— Это я, — он заставил себя говорить громко, весело, все должно быть, как было.

— Мне казалось, что ты придешь позже, — ответила она, выбежав из кухни. — Ты не звонил, и я решила, что у тебя много дел и ты вернешься ночью. А потом я подумала, может быть, я уже надоела тебе и ты утешаешься с другими женщинами.

Она была в коротенькой спортивной юбочке и фартуке, как шоколадница, когда только успела купить? Черные волосы были подвязаны ленточкой, длинные голубые глаза смотрели на него открыто и весело; она обняла его, поднявшись на мыски, покрыла лицо быстрыми поцелуями, пошептала на ухо что-то быстрое и непонятное — это у нее была такая игра — и спросила:

— За что ты на меня сердишься, милый?

— Я сержусь на этот говенный мир, — ответил он. — Я не просто сержусь на него, маленькая, я его ненавижу. Он того заслуживает, ей-богу, не думай, я пока еще не стал брюзгой... В Штатах хотят посадить в тюрьму нескольких немцев... Это самые прекрасные немцы, каких я когда-либо встречал в жизни...

— В чем их обвиняют?

— Их ни в чем нельзя обвинить...

— Тебе это чем-нибудь грозит?

Надо было спросить иначе, подумал Роумэн. Лучше бы она спросила, не могу ли я им помочь. Хотя она спросила как женщина, которая любит; они собственницы куда большие, чем мужчины; счастье в одиночку невозможно, я составная часть ее счастья, значит, вопрос логичен. Другое дело, меня ее вопрос не устраивает, но

это уже мое дело, как всегда, я спешу, всегда спешил; свои мнения формулировал безапелляционно: «замечательный парень», «гнусная баба», «милый старик», а знал этих людей два дня от силы. И потом выяснялось, что «замечательный парень» был гнидой, «гнусная баба» оказывалась верным другом, а «милый старик» состоял на учете в клинике для шизофреников — маньяк и садист. Нет, сказал он себе, ее не в чем обвинять, да и вообще, не торопись с обвинением, подумай еще раз, зачем тебе сказал обо всем этом Штирлиц?

Он поцеловал ее в лоб и ответил:

— Нам это ничем не грозит.

— Мне вообще ничего не грозит, — улыбнулась Криста, — я человек самой свободной профессии, место учителя математики как-нибудь найду, но ты очень властолюбивый, тебе будет трудно жить, если у тебя отберут твое дело. Ты очень любишь свое дело, я вижу. Пойдем есть яблочный пай. Приготовить тебе что-нибудь выпить?

— Обязательно. Только перед яблочным паем угости меня макаронами. Я делаюсь страшно прожорливым, когда пью. Значит, не грозит алкоголизм. Те пьют, не закусывая, на голодный желудок; чем больше пьют, тем меньше думают о еде, а я, наоборот, ем в три горла, волчий аппетит.

— Макароны на ночь? — Криста пожала плечами. — Это же вредно.

— А мы их с тобою выпотеем, — усмехнулся Пол и подумал, что он плохо сказал, но Криста засмеялась, весело засмеялась, а она тонкий человек, чувствует все, как мембрана; ну и что, возразил он себе, когда любишь, стараешься пропускать мимо ушей то, что не укладывается в твою схему, не замечать то, что представляется обидным для любимой; говорят, любовь слепа, — неверно, она обостренно зряча, но при этом автоматически исключает из сознания то, что следует отторгнуть, забыть, не увидеть и не услышать.

— Я думала, мне сегодня будет нельзя, — сказала Криста, — но оказывается, можно, наверное, перепутала дни... Сейчас я сделаю макароны, поджарю сало с луком, натру сыра, очень много сыра, а потом положу на сковородку помидоры, если тебе действительно не страшны лукулловы пиршества... Ешь я, как ты, сразу бы стала бочкой, и ты бы меня немедленно прогнал... Счастливый человек, ешь, сколько хочешь, ужасно завидую... Я сделаю виски, да?

— Нет, я выпью «смирнофф». Хочу водки без льда и апельсинового сока, пару глотков совершенно чистой водки.

— Неужели тебе нравится эта гадость?

— Она всем нравится, только некоторые не признаются... Сколько времени ты будешь готовить макароны?

— Двадцать три с половиной минуты.

— Не торопись. Мне надо написать очень важное письмо, я хочу это сделать, пока не напился. Даю тебе сорок минут, хорошо?

— Да, родной, я не стану торопиться.

— А завтра я освобожусь пораньше и отвезу тебя в Эскориал.

— Ой, как здорово!

— А может быть, сначала заглянем в Прадо.

— Пожалуйста, отвези меня в Прадо! Я там ничего не смогла понять, у них ужасные путеводители...

— Да, там нужно ходить с тем, кто хоть немного знает Испанию. Ладно, решим, куда двинем сначала, вари макароны...

Она спокойно отнеслась к тому, что я упомянул Прадо, подумал он, не дрогнула, призналась, что была там, а я помню себя на допросе, я знаю, как трудно сохранять спокойствие, когда мины начинают рваться рядом, и ты ждешь следующего вопроса с ужасом, и заставляешь себя быть таким, каким они тебя привели в камеру, постоянно следишь за лицом и поэтому не можешь за ним уследить. Неужели ты поверил немцу Штирлицу и не веришь ей? Неужели сюжет Яго так устойчив? Неужели человек столь испорченное существо, что всегда норовит раствориться в плохом, отторгая хорошее?

Он вышел в кабинет, подвинул пишущую машинку, заправил лист бумаги, легко напечатал адрес и первую фразу: «Грегори Спарк, 456, Бивэрли-плэйс, Голливуд, США. Дорогой Грегори...»

Ну, и что же ты должен написать? — спросил он себя. Что бы меня более всего заинтересовало, если бы я был внедрен в дом врага? Меня бы заинтересовали его поступки. Слова — ерунда, сегодня брякнул одно, завтра — другое, человек есть человек, венец непоследовательности. Поступки — единственно, что интересует разведку, это поступки, связи, возможности и мысли, зафиксированные на бумаге.

«Сегодня я испытал шок, — начал медленно, обдумывая каждое слово, выстукивать Роумэн, — когда услыхал по радио информацию об аресте Эйслера и о показаниях этой стервы, Рут Фишер. Она ведь доносит на композитора! Я сначала не очень-то поверил своим ушам, мне показалось, что это не Лондон говорит, а Москва разыгрывает свой очередной пропагандистский водевиль. Я отправился в ЮПИ, посмотрел телексы, убедился, что это не спектакль, и так после этого напился, как разве что напивался после возвращения в Штаты после нацистского плена. Сначала я ничего не мог понять, ты же знаешь, я прагматик, я обязан уяснить причины и следствия события. Ты знаешь и то, что до тех пор, пока я не придумаю комбинацию, которая поможет друзьям, попавшим в беду, я не успокоюсь. Поэтому я заставил себя протрезветь и настроиться на действие, а не на эмоции, к черту их! И мне это удалось. Я прикинул план, который необходимо обсудить с тобой.

Во-первых, я знаю, по крайней мере, трех людей из СД, которые открыто живут в Мадриде, заняты в бизнесе, вполне уважаемые кабальеро. Это Кемп из ИТТ, Штирлиц, оттуда же, и Рошке, который подвизается в сфере кинобизнеса, прокатывает старые европейские картины, после того как костоломы каудильо вырежут все сомнительные места, а сомнительными местами здесь считаются: а) критика в адрес Ватикана; б) показ полуобнаженной женщины (если покажешь голую — посадят в тюрьму на полгода за «хулиганство в общественных местах» и оштрафуют на десять тысяч песет); в) упоминание слов «коммунизм», «Советский Союз» (такого нет, есть «Россия»), «тирания», «нацисты», «коррупция», «клерикализм»; г) о критике Франко я не говорю, за это сразу отправят на каторгу.

Так вот, эти три человека не могут не знать, как у Гитлера делались антикоммунистические спектакли. То есть они знают об этом не так, как мы, а изнутри, с подробностями, помнят поэтап-

ность, что за чем должно следовать и чем это можно закончить — под занавес.

Добром эти люди такого рода информацию не отдадут. Поэтому я срочно займусь тем, что оформлю на них хорошие компрометирующие материалы. Но и этого будет мало, как мне кажется, орехи вполне крепкие, на зуб не возьмешь.

Поэтому первый вопрос: нет ли у тебя или у кого из наших на памяти чего-либо об этих людях?

Во-вторых, навести Эйслера и Брехта. Спроси, чем мы сможем им помочь? Что они сами намерены предпринять? Помнишь ли ты Эдмонда из «Кроникл»? Немедленно свяжи его с ними, потому что он воевал с наци, он — наш парень, в той свистопляске, которая началась, он может оказаться совершенно незаменимым человеком. Он достаточно честен и независим, чтобы сказать слово правды.

В-третьих, прошу тебя немедленно созвониться с Алленом Даллесом. Он мудрый человек, попроси его вмешаться, пока не поздно, потому что нет ничего сложнее, как отмываться от грязи, и не человеку, а — государству. С его связями не очень-то трудно вмешаться, да и потом никто, кроме него, не знает, сколь важным для антинацистской борьбы было творчество Брехта и Эйслера.

В-четвертых. Не предпринимай ничего резкого, что может накренить лодку; когда ты начерпался воды, падает скорость и нарушается устойчивость, а именно это, боюсь, нам будет потребно прежде всего...»

Роумэн посмотрел на часы. Прошло больше получаса; теперь тяни, сказал он себе. Ты обязан не дописать это письмо, оно должно остаться здесь завтра утром. Чтобы все это выглядело естественно, ты должен проспать, сыграть досаду, когда посмотришь на часы; позвонить в посольство, вскочить с кровати, выпить молока, сказать Кристе, которая кинется делать тебе кофе, что вернешься пообедать, опаздываю, очень важное дело, до встречи, и уйти, оставив письмо в каретке, и ждать, что произойдет потом, ох, лучше бы ничего не произошло, ну, держись тогда, Штирлиц, не хотел бы я оказаться на твоем месте, если ничего не произойдет, ох, не хотел бы...

Ровно через сорок пять минут — он смотрел на секундную стрелку — Кристина крикнула с кухни:

— Пол! Макароны имени Италии ждут тебя!

— Иду!

— Сделать кофе? Или чаю?

— Сделай еще один стакан «смирнофф», — ответил он и поднялся из-за стола.

...Назавтра он приехал на конспиративную квартиру Эронимо и устроился возле аппарата, ожидая данных наблюдения за своей же квартирой, за Кемпом и Штирлицем, а также данных прослушивания телефонных разговоров в его же доме.

Господи, только бы ничего не было, только б я убедился, что все это хитрая игра гадов, думал он, я бы тогда даже не стал крошить скулу Штирлицу, я бы просто отправил его — и Эрл Джекобс не от-

кажет мне в этом – в Экваториальную Гвиану, там европейцы не живут больше года, смерть наступает от желтой лихорадки или проказы. Пусть бы он там гнил заживо, нет ничего приятнее, чем наблюдать медленную гибель врага. Расстрел – это избавление, повешение – тоже избавление; если бы Гитлер попал нам в руки, его бы повесили, а это так несправедливо, его бы надо было казнить медленно, годами, надо было бы созвать консилиум садистов и поручить им придумать такую муку, которая бы заставила других гитлеров много думать, прежде чем начинать новый ужас, прежде чем говорить своему народу, что он – самый великий, самый справедливый, самый мужественный, что ему мешают евреи, или большевики, или банкиры, или – времена меняются – зулусы, христианские демократы, безработные, только не думай, мой народ, о том, что тебя обирают твои же единокровцы, что именно они делают все, чтобы ты не стал мыслящей личностью, ограничивают тебя в правах на то, чтобы ты проявил себя там и в том, где ты можешь себя проявить, только не смей думать о том, что дьявол всегда таится внутри нас, это ведь так удобно для гитлеров делать себя вне критики, указуя перстом на виновных в народных невзгодах где угодно, только не в своем доме...

– А что все-таки случилось, Пабло? – спросил Эронимо; (он называл Роумэна не «Пол», а «Пабло», по-испански); сегодня полковник был в нежно-голубом костюме; он менял их ежедневно, его гардероб, казалось, был составлен из всех цветов радуги; глядя на Эронимо, не надо было гадать, какой сегодня день: в среду он надевал синий костюм, в четверг – бежевый, в пятницу – салатный, понедельник был отмечен голубым, вторник – черным, в этот день он делал доклад руководству, – генерал Эспиноза был человеком старой закваски, долго жил в Германии, черный цвет почитал самым достойным для чиновника, мирился лишь с красным или голубым галстуком, да и то потому, что черно-бело-красное определяло цвет нацистского флага, а голубое – символ фаланги, очень патриотично.

– Что? – рассеянно переспросил Роумэн. – Я не слышал тебя, прости...

– Я спрашивал... У тебя какие-то неприятности?

– Пока – нет, – ответил Роумэн. – Ты убежден, что данные нашего наблюдения не будут оформлены в документ, который придется доложить генералу?

– Не думай об этом.

– Я не могу об этом не думать, Эронимо. Я не хочу, чтобы об этом мероприятии знал кто-либо, кроме тебя.

– Не исключено, что об этом узнают другие.

– Кто именно?

– Фернандес.

– Тот, который сражался в «Голубой дивизии»?

– Да.

– Значит, об этом узнают его немецкие друзья?

– Вряд ли. Его сын должен ехать в Нью-Йорк. Он мечтает дать парню ваше университетское образование. Да и потом сейчас не очень-то модно дружить с немцами... Заметил, пресса стала всячес-

ки подчеркивать, что мы были нейтральны во время войны?

— Можешь пообещать Фернандесу помощь... Я окажу содействие его сыну, посмотрю, чтобы мальчику уделили внимание в Нью-Йорке, пусть только держит язык в заднице.

— Хорошо, я с ним переговорю... Но он же не нуждается в деньгах... Его тесть купил фабрику в Севилье...

— «Уделить внимание» вполне гуттаперчевое выражение, Эронимо. Его можно трактовать по-всякому... Можно уделить внимание для того, чтобы бедному парню не плюнули в лицо за то, что его отец воевал на стороне Гитлера... Объясни ему, что в Штатах очень не любят тех, кто был с нацистами... У нас ведь разговор короткий, оружие может носить каждый, право закреплено в Конституции — «для защиты собственного достоинства»... Передай, что я готов с ним увидеться.

— Хорошо. Я это сделаю.

— Объясни, что сегодняшнее наблюдение было нужно не столько для дела, сколько для меня лично... Скажи, что я ревнивый старик и что на услуге, которую ты мне оказываешь, меня можно взять на крючок... И это будет выгодно не столько дедушке, сколько тебе, лично тебе... Ну, и, понятно, ему, Фернандесу...

Эронимо усмехнулся:

— Все-таки американцы неисправимые люди; всем хотите навязать свою логику, всем и во всем. Нельзя в разговоре с испанцем, в котором тем более ты заинтересован, употреблять слово «выгода», Пол. Это не по правилам, не по нашим правилам, понимаешь? Надо говорить о родстве душ, о законе дружбы, о готовности на любую жертву, о том, что тебя не интересует корысть, что ты ненавидишь тех, кто думает о выгоде, это удел арабских мудрецов и еврейских торгашей, ты должен говорить о возвышенном и вечном, тогда только взрыхлится поле для делового сотрудничества, в котором учтены все ставки...

— Ничего, — усмехнулся Роумэн, — когда выписываешь чек без всяких там рассусоливаний, это тоже не так уж плохо. Мы не видим ничего обидного в деловом партнерстве.

— А мы видим. Когда ты выписываешь чек и говоришь, чтобы я обратил деньги в пользу обездоленных, это — по нашим правилам, хоть я на эти деньги сразу же куплю бриллиант своей подруге... Но если ты сунешь мне конверт на расходы, я обязан бросить его тебе в лицо... Мы же Дон Кихоты, не забывай это, самые иррациональные рационалисты...

— Слава богу, ты — исключение.

— Так я не испанец. Меня перепутали в родильном доме, мама лежала в одной палате с женой английского дипломата, ей меня по ошибке подсунули в кровать, у меня же островной менталитет, Пабло, я прагматик с рождения, я начал копить деньги в детстве, как настоящий инглез, — усмехнулся Эронимо, — испанец брезгует этим занятием, для него главное — разговор о возвышенном, мечта о несбыточном, рассуждение о бренности, а не земной суете...

Что ж они ничего не сообщают, подумал Роумэн; мечтают о несбыточном? Хорошее занятие для агентов тайной полиции... Пусть

уж лучше называют себя нацией Санчо Пансо, тот был близок нам по духу, вполне деловой человек, хоть слишком осторожный. Болезнь всех бывших — будь то народ или человек... Крах былого величия Испании родил национальную нерешительность. Слава богу, мы начинали нашу историю на чистом холсте, учли опыт мировой истории... Учли? А почему тогда вызывают на допрос Эйслера? Беспамятство? Или национальная молодость? Отсутствие исторического опыта? Фашизм начинается с неверия... Верно. Но почему про это сказал нацист Штирлиц?.. К такому можно прийти, лишь если честен и бесстрашно смотришь на свое прошлое, а ведь он обязан его бояться. Но он чего-то недоговаривает, постоянно что-то скрывает, и глаза у него совершенно особые... Я слишком хорошо знаю глаза его коллег, в них виден страх или же нездоровый фанатический блеск. Любое массовое движение абсорбирует огромное количество одержимых идиотов, которые не умеют думать сами, поэтому то, во что им удалось поверить, кажется им истиной в последней инстанции... Для таких отрицать прошлое — значит выступать против самих себя. Кому этого хочется? Но Штирлиц ведь выступает против прошлого? Иначе он бы не был так точен в оценках минувшего, они у него разящи.

Роумэн с тоской посмотрел на телефон; молчит, как тыква.

Что ты хочешь себе сказать, подумал он, когда то и дело возвращаешься к этому самому доктору Брунну, у которого так много фамилий? Или ты все еще не готов к тому, чтобы сказать что-либо? Все еще прикидываешь комбинацию? Но ведь ты получил однозначный приказ из Вашингтона: Штирлиц должен быть сломан, унижен и завербован. «После того как вы его перевербуете, — вспомнил Роумэн сухие слова телеграммы, — и проверка подтвердит его компетентность в тех делах, которые ему будут поручены, вы получите дополнительную информацию о том, как и где его использовать». А я и так знаю, где его можно использовать, подумал Роумэн, я это знаю лучше вас, вашингтонских мудрецов, он обязан стать моим осведомителем и освещать здешнюю нацистскую эмиграцию, а потом ту, которая укрылась на юге Америки. Я должен получать от него самую достоверную информацию, потому что он выполнял серьезные поручения как Шелленберга, так и Мюллера. Пусть попробует отказаться, передам на него все материалы в мадридскую полицию, попрошу арестовать и выдать Нюрнбергскому трибуналу за убийство шведки Фрайтаг на пароме. Этого достаточно для того, чтобы его вздернули. Да, но он не дрогнул, когда я врезал о Фрайтаг. Он предложил мне включиться в расследование этого дела: «Отправьте меня в Нюрнберг, я буду отвечать перед судом, я не боюсь ответственности». Этим он выбил козырь у меня из рук.

— Что же они молчат? — спросил Роумэн.

— Значит, говорить нечего, — улыбнулся Эронимо. — Судя по твоему настроению, тебе было бы приятнее, если бы ничего не случилось. Или я ошибаюсь?

— Ошибаешься. Пусть бы случилось то, что должно случиться, но только как можно раньше.

— Это бывает в романах Жюля Верна, дорогой Пабло. Его рома-

ны сначала были начерчены на листах ватмана, а потом перенесены на страницы рукописи. Это игра, а не романы. Жизнь есть ожидание... Настоящая литература, если она зеркало жизни, — тоже ожидание...

— Триппер, случаем, не подцепил? — спросил Роумэн. — Слишком велеречив... Как у венеролога...

— У тебя большой опыт по дурным болезням?

— Я бы не сказал, что очень большой, но какой-то все же есть. Мужчина без триппера вроде неподкованного коня...

Зря я его обидел, подумал Роумэн. Они обижаются там, где нормальный человек просто посмеется... Горцы, обостренное чувство собственного достоинства... Пусть бы тогда пристрелили своего каудильо... Он их не словом обижает, а самим фактом своего над ними владычества... Маленький, хитрый, необразованный болван правит нацией, которая родила Сервантеса, Колумба и Гойю, уму непостижимо. Неужели и у нас такое возможно? Конечно, возможно. Будто наш Трумэн много интеллектуальнее их дедушки? Что напишут пресс-секретари, то и скажет... Манекен... Как мог Рузвельт назвать его своим вице? Неужели законы политики сильнее здравого смысла? Неужели привычное — держать рядом с собою бездарь, которая не опасна, — выше логики? Неужели лидер забывает, что и он бренен? Неужели он всерьез думает о вечности? Ведь не мог же Рузвельт не понимать, что когда-то придет старуха с косой и пригласит на экскурсию в то государство, откуда никто еще не возвращался... Почему он не предложил Уоллесу остаться с ним еще на один срок? Слишком умен и самостоятелен? Пусть до тебя дотягиваются талантом, это же не страшно... Ужас начинается, когда тебе приходится опускаться на корточки, чтобы сравняться со своим окружением, мышцы не выдержат постоянного напряга, ты же не гимнаст, а президент...

Роумэн снова потянулся за сигаретой; Криста никуда не выйдет из дома и никому не позвонит... Она сказала, что попробует сделать паэлью, а это не очень быстро делается, она просто не успеет никуда выйти... Нет, истинный разведчик, даже если он нацист, вполне может обладать умными глазами и разрешать себе независимость в мыслях... Грош бы ему была цена, этому Штирлицу, гляди он на меня оловянными зыркалками фанатика и разглагольствуй о величии немецкой нации, о ее вековых традициях, о ее миссии сохранить в мире память, семью и уклад от суеты машинной экспансии. Он обязан быть умным, ироничным и не бояться критиковать то, чему служил... Почему «служил»? Они продолжают служить и поныне, поэтому такие, как он, нужны нам, поэтому он и обязан быть завербован, потому я и хочу внедрить его в ту святую святых уцелевшего нацизма, которая затаилась и ждет своего часа. Все логично, сказал себе Пол, все было бы до конца верно, не посмотри я его живопись в Бургосе... Человек может скрыть себя в слове, но точнее всего он выражает себя в песне, рисунке или танце. Я никогда не забуду, как вычислил характер старшего брата Эрла — Джона Джекобса, когда весь вечер наблюдал за тем, как он танцевал на нашем выпускном вечере. Как он был поначалу скромен и застенчив в движениях! Как галантно держал девушку за талию — словно хрупкий хрустальный бокал! И

как, напившись, изменился, начал махать руками, наваливаться на Люси, подминать ее, опустив свои тяжелые кисти ей на плечи! Как он отвратительно выворачивал ноги, стараясь быть похожим на Грегори Спарка, но Грегори не скрывал себя, он всегда был самим собою, лазил девушкам под юбки, ругался в аудитории, как шкипер, и это никого не обижало, потому что он никогда не притворялся, — «да, я такой, не нравлюсь — не общайтесь, лицемером быть не хочу». А Джон любил говорить о философских школах, а в глубине был тупым подонком... Грегори, пока не встретил Элизабет, крутил направо и налево, но он никогда и никому не говорил, с кем спал, а Джон один раз с грехом пополам совладал с Люси, а потом смаковал в аудитории подробности, и Грегори правильно сделал, что врезал ему, хорошо врезал, тот запомнил удар с правой — снизу вверх, так что зубы хрустят... Интересно, рассказал он братцу Эрлу об этом эпизоде? Вряд ли, о пережитых унижениях не говорят даже братьям... Но он никогда не забудет того удара Грегори, до конца дней своих не забудет, разве такой удар забудешь? Именно таким ударом и посчитаюсь со Штирлицем, сказал себе Пол, ударом Грегори Спарка, самого хорошего парня изо всех, с кем меня сводила жизнь. Но только ты подождешь, сказал он себе, ты не сделаешь этого сегодня, и завтра тоже не сделаешь. Сначала ты до конца выяснишь, зачем он сказал тебе гадость про Кристу, кому это было выгодно, всегда думай о том, кому идет на пользу поступок, тогда поймешь суть дела; никаких эмоций, к черту эмоции, оставь их несчастным женщинам, лишенным логического дара, живут чувством, прекрасные зверушки; считай, калькулируй, взвешивай, и ты поймешь сокрытое. А вот после того, как ты поймешь, зачем он говорил гадость про голубоглазого веснушчатого человека с черной гривой и ногами, которые растут из лопаток, когда ты примешь решение, как поступить с теми, кто стоит за ним, когда ты возьмешь на себя его связи, и он перестанет быть тебе нужным, вот тогда ты посчитаешься с ним за то, что он вознамерился ударить самое дорогое, что подарила тебе жизнь после стольких лет одиночества, вот тогда ты повторишь резкое движение снизу вверх направо при одномоментном подъеме плеча и развороте правой ступни.

— Слушай, Эронимо, у тебя есть контакты с норвежской службой?

— Нет. То есть теперь нет, раньше-то, при Квислинге, мы хорошо контактировали... Впрочем, если поискать, то что-то, видимо, можно будет наскрести... Что тебя интересует?

— Объективная справка на одного человека...

— Норвежца?

— Да.

— Ты имеешь в виду Кристину? — тихо спросил Эронимо. — Видимо, так, да?

— Так.

— На всякий случай я приготовил те данные, которые она дала нашей иммиграционной службе в аэропорту...

— Ну и что?

— Живет в Осло... Учится в аспирантуре математического факультета университета... Не замужем... Проживает по Стокгольмсгатан, в доме девять... Родственников и знакомых в Испании нет, на-

личных денег продекларировала четыреста двадцать семь долларов... Цель приезда — туризм... Мадрид, Севилья... Возвращение на родину через Мадрид, срок пребывания в стране два месяца...

— Она указала отель, где намерена остановиться?

— Да.

— Какой?

— «Мадрид», на Пласа-д'Испанья.

— Кто-нибудь бронировал ей номер?

— Она сама прислала телеграмму из Осло.

— На испанском?

— Да.

— Много ошибок в тексте?

— У меня создалось впечатление, что телеграмму составлял испанец. Причем очень грамотный, что не часто встречается... Мы ж не в ладах с грамматикой, наша стихия — устное слово...

— В каких справочниках есть этот отель?

— Этого отеля в справочниках нет, Пабло. Я уже проверил...

— Ты слушаешь все телефонные разговоры с заграницей?

— Денег не хватит, слишком дорогое удовольствие...

— Ты навел эту справку по своей инициативе?

— Нет. Я обязан давать отчет о тех, кто вошел в контакт с ведущими дипломатами великих стран...

— Кому?

— Фернандесу.

— Но ты считаешь его управляемым?

Эронимо пожал плечами:

— На этот вопрос довольно сложно дать определенный ответ... Но после того как он вознамерился отправить к вам своего сына, с ним можно будет говорить в скрипичном ключе: парень — его единственное дитя...

— На доктора Брунна у тебя нет ничего нового?

— Есть.

— А почему ты мне ничего об этом не говорил?

— Потому что ты меня не спрашивал... Ты же с ним работаешь сам, мои люди засекли твой к нему интерес, я после этого снял наблюдение...

— Что-нибудь тревожное есть?

— Не знаю, насколько тревожное... Но интересное — есть... Он вошел в контакт с Гонсалесом...

— С каким? У вас столько Гонсалесов, сколько у нас Джонсонов.

— С тем Гонсалесом, который был заместителем начальника разведки у Франко в период гражданской войны...

— Как это ему удалось?

— Они были знакомы в Бургосе... Там доктор Брунн был известен — наиболее близким друзьям — под фамилией Штирлиц...

— Гонсалес по-прежнему в опале?

— Да.

— Отчего Франко его уволил?

— Генералиссимусу не понравилось, что Гонсалес выступил против отправки в Россию «Голубой дивизии».

– А отчего он возражал против этого? Получил слиток золота от ГПУ?

– Нет, слитков не получал... Просто он хорошо знал отношение испанцев к русским... Он читал сообщение агентуры, знал всю правду.

– Франко тоже знал правду, я полагаю.

– Нет. Ему не докладывали о том, что ему не нравилось. Он всегда говорил, что испанцы ненавидят красных. Ему так было спокойно, понимаешь? Он хотел в это верить, и ему нельзя было возражать.

– Тебе не удалось послушать, о чем Гонсалес говорил с Брунном?

– Это асы, Пабло... Дома они болтали о пустяках... А потом генерал пригласил Брунна в «Клуб Йерро», вход только для своих, элита, мои люди не смогли туда войти, мокли под дождем, пока те пировали и обменивались тайнами.

– После этого ты продолжал за ними наблюдать?

– За генералом мы смотрим постоянно. А за Брунном глянули только пару деньков... Ничего серьезного не было...

– А несерьезного?

– Он встретился с Веласкесом...

– Кто это?

– Спроси твоих британских коллег, у них на него может быть хорошее досье.

– Ах, это парень, который работал в Лондоне, а потом у нас? С дипломатическим картоном?

– Да.

– Где они встретились?

– Что, ваши не смотрели в эти дни за Брунном?

– Он ушел от них пару раз.

– Да, он хорошо уходит от наблюдения, вполне профессионально. Нет, к сожалению, ничем не могу тебя обрадовать, Веласкес увез его к себе на финку, под Гвадалахару, туда не пролезешь...

– Все?

– Все. У меня создалось впечатление, что Гонсалес по просьбе Штирлица подбирал какие-то материалы по немцам в Аргентине.

Роумэн посмотрел на часы, потер лицо пятерней, глянул на себя в зеркало: красные полосы не появились; слава богу, успокаиваюсь; Криста никуда не вышла из дома и ни к кому не звонила; следовательно, вчера Штирлиц сделал первый ход своей игры; нет, их игры; ну что ж, играйте, сукины дети, мне это на руку, посмотрю вас в деле; и даже перестал держать на него зло; ничего не поделаешь, он выполняет свою работу, я – свою, поглядим, кто перетянет канат.

– Ну, что? – спросил Роумэн. – Посидим еще полчаса и пойдем обедать?

– До обеда еще три часа.

– Это до испанского, – улыбнулся Роумэн. – А до нашего – час. Думаю, была ложная тревога, Эронимо... Я не мог не обратиться к тебе за помощью, но я не зря спрашивал, можно ли сделать так, чтобы эта наша работа осталась только нашей работой...

И в это как раз время раздался телефонный звонок; поступило первое сообщение наружного наблюдения: из квартиры кабальеро

«Р» («Роумэн») вышла женщина; ей присвоено обозначение «Б» («буэна», «хорошая»), подошла к телефону-автомату, проверившись перед этим, набрала номер... Аппарат в будке один, поэтому слушать разговор, не вызывая подозрений, невозможно...

Через минуту позвонили из пункта записи; подключили аппарат Кемпа; Пол сразу же услышал голос Кристы: «Нельзя ли попросить в вашей библиотеке книги по теории чисел?» — «Куда вы звоните?» — «В библиотеку». — «Вы ошиблись». — «Это номер двенадцать тридцать сорок два?» — «Нет, двенадцать пятьдесят пять сорок два».

...В двенадцать пятьдесят пять Криста встретилась с Кемпом в центральной библиотеке — в очереди на заказ книг. Она что-то сказала ему, несколько фраз, упомянула какое-то имя и адрес Холи-Буде (Роумэн понял, что агенты Эронимо именно так произнесли английское слово «Голливуд»), говорила словно бы сама с собой, полуобернувшись (как в Прадо, понял Роумэн), прямого контакта не было, все действительно очень походило на то, что описывал доктор Брунн, он же Бользен, он же Штирлиц, будь неладен его профессионализм.

Из библиотеки Кемп отправился на площадь Колубма; здесь он запарковал машину и, перейдя авениду Хенералиссимо, вошел в подъезд дома сеньора Серайо; поскольку объект оказался весьма подготовленным, тщательно проверялся, было признано нецелесообразным следовать за ним; однако дальнейшим наблюдением было установлено, что Кемп посетил квартиру, в которой проживает Хосе Гутиерес, гражданин республики Аргентина, аккредитованный в Испании корреспондент буэнос-айресской газеты «Кларин» («брат Хосе является ближайшим помощником генерала Перона, — сразу же пояснил Эронимо,.— курирующим вопросы безопасности»).

«Б», после того как сделала заказ в библиотеке на три книги, вернулась в квартиру кабальеро «Р», не входя более ни с кем в контакт, купив по дороге букет цветов (красный, синий и белый гладиолусы) и коробку шоколадных конфет «Аора».

Я же сказал ей, что больше всего люблю цветы, определяющие флаг Штатов, подумал Роумэн; помнит; после встречи с нацистом необходимо проявлять максимум внимания к мужчине, с которым спишь и о поведении которого обязана докладывать руководителю... А если девочку просто-напросто на чем-то сломали, подумал он. И ей нужна моя помощь? Почему бы не спросить ее: «Маленькая, что случилось? Расскажи, что произошло? Я помогу тебе, только скажи правду. Кто же еще тебе поможет, как не я?» А она спросит, о чем это я говорю, засмеется, попросит, чтобы я ничего не выдумывал, и тогда я могу не сдержаться, взять ее за волосы и отхлестать по щекам. Ты же сам хотел посмотреть, что произойдет после того, как ты оставишь приманку с «Холи-будскими» адресами, вот ты и получил желаемое. Значит, да здравствует незнание? Значит, узнавание правды неугодно тебе? Пусть лучше будет так, как удобнее? В дерьме, но зато в своем же... Правда — если ты познал ее лицом к лицу — кровава. Хирург, который рассекает кожу, чтобы увидеть язву и выре-

зать ее, не боится крови, она как очищение, это необходимо, потому что разумно; все действительное разумно в такой же мере, как и все разумное действительно... Нет, возразил он себе, все-таки человек предпочитает удобное незнание. Его страшит правда, он не готов к ней, ибо она предполагает немедленный ответ действием, а ведь нет ничего спокойнее бездействия.

– Хосе Гутиерес, которого мы определили как «Х», – продолжала между тем докладывать служба наблюдения, – после того как от него ушел Кемп (отныне мы определяем его «К»), который возвратился в ИТТ, выехал в город... Остановился возле бара «Неаполь»... Сделал оттуда два звонка неустановленным людям и отправился в посольство... Доктор Брунн, которому мы дали обозначение «Б», из ИТТ сегодня не выходил, работая в архиве, ни с кем не контактировал, никому не звонил...

– Ну что, – спросил Эронимо, – будем продолжать? Или снимем наблюдение? Дама вернулась домой...

– Дело не в даме, – ответил Роумэн. – Дама перестала меня интересовать. Зато меня стали очень занимать эти два кабальеро... У тебя тут нет ничего выпить?

– Есть тинто.

– Это ты пей свое тинто. Я хочу виски.

– Слишком дорого, – усмехнулся Эронимо. – Мы – бедные люди, Пабло, на нас экономит каждый, кто может... Виски стоят бешеных денег, тинто – гроши, в два раза дешевле вашей противной кока-колы.

– Это она у вас противная, у нас она очень вкусная.

– Значит, хорошую вы производите для себя, а плохую – для испанцев.

– Для европейцев. Мы продаем скопом, – усмехнулся Роумэн, – не разбирая, кому попадет. А можно позвонить в «Ритц» и попросить их принести сюда бутылку?

– Нет, я бы просил тебя этого не делать... Все-таки здесь конспиративная квартира...

Снова зазвонил телефон, служба сообщала, что Хосе Гутиерес выехал из аргентинского посольства и отправился в центр, свернул в район особняков; остановился возле дома маркиза де ля Куэнья; вышел из машины, дверь запирать не стал, возле ворот дежурят двое из гвардиа севиль; охранники отсалютовали Гутиересу, как доброму знакомому, и распахнули ему калитку.

– Снимайте наблюдение, – резко скомандовал Эронимо. – Сейчас же уходите оттуда! Ясно?!

– Пусть смотрят, – возразил Роумэн. – Мне надо, чтобы они смотрели дальше.

Эронимо, однако, поднялся, поправил галстук и сказал:

– Я принимаю твое приглашение на американский обед, Пабло.

– Но я же просил, чтобы они продолжали смотреть...

– Пошли, – сказал Эронимо, – я очень проголодался.

– Да что с тобой в конце концов?!

Эронимо обвел комнату своими томными глазами, задержался на отдушинах в углу, под потолком, и повторил:

— Я не умею говорить о деле, когда голоден, Пабло. Пожалуйста, не сердитесь на меня, — и пошел в прихожую...

...Когда они спустились на улицу, Эронимо вытер платком свой большой рот и сказал:

— Тебе надо бы знать, Пабло, что маркиз де ля Куэнья — член совета директоров «Галереас Пресиадос». Наблюдать за ним — то же, что класть голову в пасть голодного льва. Если хочешь, чтобы меня отправили убирать сад в особняке отставного генерала Гонсалеса — проси меня продолжать за ним наблюдение...

Говорить так у полковника Эронимо Энъяки были все основания, ибо маркиз де ля Куэнья являл собою ту фигуру в мадридском дворе, от которой зависело все или почти все, поскольку именно он осуществлял контакт с женой генералиссимуса Франко по поручению самых богатых семей Испании.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ (сеньора Франко)

После того как отряды фалангистов ворвались в Мадрид и началось месиво, сеньора не могла выйти из дома, потому что генералиссимус считал, что столица полна террористов, которые только и ждут, как бы отомстить ему. Семья поселилась в роскошном замке, охранявшемся сотней отборных гвардейцев, начинавших с Франко еще в Африке; парк был прекрасен и тих; продукты привозили с охранявшихся гасиенд[1], которые принадлежали друзьям диктатора; повара, мажордом, горничные и лакеи безвыездно жили на территории; здесь же постоянно находились шоферы, слесари, водопроводчики, садовники — все, как один, привезенные начальником личной охраны Франко из родного города диктатора; никаких контактов с мятежными жителями столицы, вредное влияние исключено.

Первое время сеньора не ощущала тяготы этого роскошного, удобного, постоянного затворничества, а, наоборот, испытывала блаженную успокоенность, пришедшую, наконец, в семью после двух с половиной лет гражданской войны, когда каждую ночь, особенно в первые месяцы, она долго раздумывала, прежде чем лечь в постель, — раздеваться или нет, придется убегать или же ночь пройдет спокойно; у изголовья всегда лежала маленькая сумочка с тремя бриллиантовыми кольцами, двумя изумрудами и сапфировыми подвесками — вот и все богатство, не считая небольших денег, вложенных в недвижимость, но ведь землю не возьмешь с собою в изгнание, не продашь мерзким ювелирам, чтобы обеспечить жизнь семьи...

Когда пришла долгожданная победа и она поселилась в этом громадном, воистину королевском замке, ощущение умиротворенного счастья было каким-то особым, тихим, что ли, не надо постоянно страшиться возможного бегства, нищеты эмиграции, а то и того хуже, тюрьмы, трибунала, расстрела мужа.

[1] Гасиенда — поместье *(исп.)*.

Первые месяцы она помногу спала; врачи предписали длительные прогулки по парку; весна была упоительной, цветение началось на две недели раньше обычного; летом семья перебралась в загородный замок, но и там ее окружали одни и те же лица; постепенно, далеко не сразу, они стали докучать ей, — женщина есть женщина, жить вне общества, без общения с тем миром, который ранее, когда Франко был обыкновенным командиром дивизии, окружал ее, становилось все труднее.

И однажды она сказала мужу:

— Знаешь, я чувствую, что скоро разучусь говорить.

— А ты беседуй со мною, — ответил он. — Я ведь так люблю тебя слушать.

Однако через неделю в замке была устроена партия; Франко лично утвердил список приглашенных, попросив начальника охраны озаботиться тем, чтобы из Виго загодя привезли тех офицеров, с которыми они дружили домами в начале двадцатых годов.

Вечер прошел прекрасно, великолепно пела Мари-Кармен, она тогда только-только набирала силу, из хорошей семьи, отец был хозяином магазина, финансировал движение, поэтому начальник охраны легко разрешил пригласить ее, хотя ее пианиста в замок не пустил — нашел порочившие его связи, опасно.

Сеньора вышла к гостям в своем самом нарядном платье, царственно обошла приглашенных, найдя для каждого милое слово; Мари-Кармен погладила по щеке, но из-за стола ушла первой, что несколько удивило генералиссимуса. Он, однако, оставался в зале до конца; когда заглянул в ее спальню, сеньора лежала тихо, без движения; решил, что спит, тревожить не стал. Утром Франко поразился ее лицу — оно было бледным, с синяками под прекрасными громадными глазами.

— Ты плохо себя чувствуешь, родная? — спросил он участливо.

— Нет, нет, — сухо ответила она, — все прекрасно.

— Но ты выглядишь усталой.

— Я выгляжу завистливой, — грустно улыбнулась сеньора. — Я себя почувствовала вчера огородным пугалом... Все дамы были прекрасно одеты, а я ведь даже не знала, что сейчас модно, во что одеваются женщины на улицах, что выставляют в витринах лучших магазинов... И потом, ты заметил, какие бриллианты были на Эухении? А какие изумруды висели в ушах этой старухи Маданьес? Как яблоки...

— У них яблоки, — усмехнулся он, — у тебя Испания, слава и власть.

«А долговечна ли она? — именно тогда впервые подумала сеньора. — Ты не монарх, случись что в стране, семья останется нищей».

Но, подумав, она не произнесла ни слова. Лишь по прошествии трех месяцев — выдержке она научилась у мужа — заметила:

— Ты не находишь, что настало время и мне появиться в городе? Все-таки в Европе принято, чтобы жена национального лидера вносила свой вклад в дело мужа. В конце концов, отчего бы мне не патронировать медицину? Или школы?

...К выезду сеньоры охрана генералиссимуса готовилась неделю. Был утвержден маршрут поездки по городу, проверены те люди,

которые должны были встречать ее и отвечать на вопросы, подготовлены тексты ее обращений к врачам в тех клиниках, которые можно было посетить; четыреста агентов охраны заняли свои места на тех улицах, по которым должен был проехать кортеж; гвардиа сивиль, отвечавшая за дороги, была за два дня до этого переведена на казарменное положение, на чердаках многоэтажных домов свои места заняли снайперы.

Сеньора попросила ознакомить ее с планом выезда, спросила, по каким улицам будет пролегать путь, и внесла лишь одну коррективу, попросив устроить проезд кортежа по главной улице Мадрида – Гран-Виа, ставшей к тому времени Хосе-Антонио, в честь вождя фаланги.

В «паккарде» с ней, помимо двух охранников (остальные набились в «линкольны» сопровождения), находились еще две дамы; кандидатуры также были утверждены начальником личной охраны каудильо; одну из предложенных сеньорой, маркизу Батисту, он отверг, потому что был в натянутых отношениях с ее мужем; сеньора выразила неудовольствие, однако шеф безопасности был непреклонен; этого она ему не забыла. Франко не забыл ему другого: прочитав рапорт о выезде сеньоры в город с целью «ознакомления с ситуацией в медицинском обслуживании детей и подростков», он отметил абзац, в котором подчеркивалось, что сеньора «приказала шоферу сбавить скорость, когда кортеж следовал по улице Хосе-Антонио мимо самого роскошного магазина мехов, а также, когда машина проезжала дом французской моды и ювелирный магазин Хесуса де Вальявилла, что было нарушением норм безопасности».

Зная, что отчеты начальника охраны существуют не в безвоздушном пространстве, а, в той или иной степени, становятся известными штабу фаланги, то есть министерству Движения, министерству внутренних дел и шефу управления безопасности страны, Франко отдавал себе отчет, что этот абзац вполне может дать пищу для разговоров, которые в Испании, – стране, остро чувствующей интригу, совершенно нежелательны.

Поэтому, когда сеньора – опять-таки по прошествии месяцев – поинтересовалась, отчего в Мадриде нет Аранхи, который осуществлял охрану Франко, когда они жили в Бургосе, ее слова упали на вполне подготовленную почву; вскоре он был переведен из Барселоны в Мадрид и возглавил подразделение личной гвардии Франко.

Следующий выезд в город организовывал уже лично он, Аранха, верный дружочек; ему можно было совершенно открыто сказать о понятном желании увидеть новые моды, полюбоваться мастерством ювелиров и ощутить ласкающую нежность соболей.

Однако же Франко, выслушав ее просьбу о приобретении бриллиантового гарнитура из Бельгии (выставленного на Гран-Виа), сказал, что сейчас не время просить такие деньги в казне.

– Надо подождать, дорогая, – добавил он, – не все нас поймут. Ты же знаешь, сколько у меня завистников – даже среди тех, кто считается близкими друзьями.

Сеньора знала, что в каких-то вопросах с Франко не было смысла спорить; осторожный и медлительный, он редко ошибался в сво-

их действиях, предпочитая резкости тяжелую, постепенную последовательность.

Однако когда Гитлер начал войну против России, когда неожиданно для всех Англия и Америка поддержали Сталина, когда Франко проводил дни и ночи в совещаниях с военными, экономистами и дипломатами, ибо режим снова закачался, она поняла, что медлить сейчас — непростительно. Всякое может случиться; если не она, мать и жена, подумает о будущем семьи, этого не сделает никто. Да, Франко прекрасный политик, она восхищается им; да, он стратег борьбы, это признали в стране, но он мужчина, он не испытывает постоянного страха за род, за свое потомство; он не знает тех ужасов, которые видит во сне она, один и тот же кошмар, как наваждение, — тащит за руку девочку, их крошку, через лес; ноги сбиты в кровь о камни, где-то слышны пьяные крики мужчин, а маленькая громко плачет и молит: «Мамочка, согрей меня, я замерзаю, мамочка, бога ради согрей!» А вместо глаз у нее кровавые раны, хотя ресницы такие же, как и сейчас, длинные и пушистые, и зубы какие-то желтые, ужасной, скошенной формы, будто спилены.

Идею о том, чтобы собрать жен банкиров и промышленников для того, чтобы побудить их оказать помощь благотворительству, привлечь к патронированию клиник, с тем чтобы пресса сделала об этом большой материал, высказала не она; Аранха через заместителя министра иностранных дел (родились в одном городе, с тех пор и дружны) продвинул эту мысль его шефу Серано Суньеру; именно он, министр, вошел с этим предложением к генералиссимусу: «Такого рода раут позволил бы пригласить жен послов как стран Оси, так и союзных держав, — и те и другие оценили бы такого рода посредничество весьма и весьма высоко».

Именно на этой-то встрече жена графа Оргаса должна была выполнить просьбу мужа (идею подсказал маркиз де ля Куэнья) и передать сеньоре взнос на развитие медицины, желательно с глазу на глаз, — бриллиантовый перстень старинной работы из фамильной коллекции.

Сеньора выполнила поручение мужа весьма деликатно; сеньора Франко поблагодарила семью за поддержку ее начинания, связанного с судьбою тысяч обездоленных; в конечном счете ради них мы и живем; сказала, что будет рада видеть ее у себя на следующей неделе, в четверг, к чаю — надо обсудить план работы на будущее и, обратившись затем к дамам, сообщила, что самая старинная семья Испании открыла благородный почин, вступив в дело помощи медицинскому обслуживанию испанцев. О том, в какой форме было осуществлено это вступление, сеньора не уточнила, каждый вправе думать по-своему.

Ночью сеньора попросила мужа пригласить графа Оргаса на охоту; этой чести удостаивались только те, кому Франко верил беспредельно; человек, принятый в его доме, получал права на все.

Через неделю штаб тайного ордена католических технократов принял к сведению информацию маркиза де ля Куэнья; были разработаны рекомендации на будущее; драгоценности, меха, а то и просто чеки на пятизначные суммы прямо-таки хлынули в руки се-

ньоры. Директор банка, контролировавшегося братством, сообщил, что Аранха открыл счет на свое имя, предъявив к оплате чеки, выписанные на имя «благотворительной» сеньоры; после этого министерство финансов потребовало оплатить стоимость песет долларами «в целях приобретения в Швейцарии необходимой аппаратуры для клиник и больниц». Аранха уложил пачки долларов в плоский саквояж и увез их во дворец Франко.

Рыба взяла наживку, началась охота.

Сначала братство подвело к сеньоре скульптора Мигеля Удино; его поясные портреты славились фотографической точностью и обилием деталей, услаждавших торговый вкус потомков былой аристократии, — Удино тщательно лепил перстни, диадемы, подвески, а также великолепно передавал фактуру платья.

Портрет сеньоры, сделанный им за семь сеансов, восхитил ее: «Вы настоящий волшебник, Мигель! Какая мастерская точность, какое удивительное проникновение в душу женщины!» Посадили позировать сеньориту; он сделал из нее ангелочка с громадными глазами; это понравилось и генералиссимусу, дочь он любил трепетно; затем пришла и его очередь позировать Мигелю. Во время сеансов скульптор много говорил о трагической истории Испании, восхищался полководческим талантом генералиссимуса, легко критиковал существующие недостатки (нет хороших красок, невозможно приобрести надежные резцы, заказы на памятники героям борьбы против коммунистов совершенно нет сил пробить сквозь бюрократию чиновников, которые заражены тайным республиканством и иудаизмом), рассказывал о творческих планах, о своем давнем желании сделать огромные монументы по всей стране, в которых был бы запечатлен подвиг фаланги в ее борьбе против чужеродных идей Кремля.

Мигель говорил так ловко, что Франко не мог не поинтересоваться, отчего же Удино не реализует свою задумку, которая, конечно же, представляется ему весьма благородной и важной? Этого только и добивался скульптор; назвал маркиза де ля Куэнья как возможного руководителя предприятия; человек абсолютного вкуса, поклонник генералиссимуса, истинный патриот нации, богат, следовательно, независим в суждениях — в отличие от тех руководителей департамента искусств, которые своекорыстны, добиваются от скульпторов взяток, иначе заказа не получишь. Кому же, как не этому человеку, возглавить дело по созданию монументальной истории о победе фаланги в гражданской войне против большевизма?!

Как и обычно, Франко не сказал ни «да», ни «нет», словно бы Удино не внес вполне определенного предложения; перевел разговор на пустяки, однако по прошествии двух недель маркиз получил приглашение на прием; Удино представил его сеньоре и сделал так, чтобы в течение пяти минут никто не мешал их разговору, который казался всем присутствующим вполне светским, тогда как маркиз затронул вопросы вполне конкретные, весьма важные для братства, но сделал это таким образом, что даже сеньора далеко не сразу поняла их долгий смысл.

Маркиз говорил о том, что промышленность страны не может понять существо происходящего в стране, поскольку торговля задавлена

чиновниками министерства, поэтому и те, кто производит резцы, столь необходимые для талантливого Удино, и фабриканты обуви, и те, кто выпускает предметы санитарии — ванны, умывальники, клозеты, и владельцы мебельной индустрии не в состоянии удовлетворить нужды рынка. Если бы можно было превратить торговую фирму «Галереас Пресиадос» в некий центр всеиспанской торговли, если бы эти универмаги сделались неким средоточием, вокруг которого сплотилась промышленность, то ситуация в стране претерпела бы быстрые и существенные изменения. Но это невозможно до тех пор, пока делу не придан соответствующий вес, и лишь одно может изменить ситуацию: согласие сеньоры войти в состав членов наблюдательного совета предприятия во имя того, чтобы именно с высоты этого поста иметь возможность еще более эффективно помогать благородному делу медицинского обслуживания несчастных испанцев.

Сеньора обещала подумать над предложением «милого маркиза» и отошла к жене американского посла, уделила ей две минуты (полагалось не более полутора, протокол — жесткая штука), порекомендовала пригласить Мигеля Удино, «он истинно испанский художник, кровоточащее сердце наших традиций, и потом он, как никто другой, умеет чувствовать сердце женщины», затем мило побеседовала с женой посла рейха, фрау фон Шторер, снова погладила по щеке Мари-Кармен, ее песни были теперь самыми популярными в столице, как же иначе, приглашают в замок, благоволит сама сеньора, и пригласила гостей к столу.

Через три дня ей доложили, что Мигель Удино начал поясной портрет жены американского посла, удовлетворенно кивнула и во время обеда сказала генералиссимусу, что ее компания по благотворительности предполагает более тесную связь с теми, кто может оказать реальную помощь делу; конкретных шагов, которые следует предпринять, не обозначила, имен не назвала — кто, как не жена, знает характер мужа?!

Франко, естественно, на такого рода посыл ответил также уклончиво — «конечно же, он вполне понимает ее, его восхищает забота любимой о благе испанцев; все, что может облегчить участь нашего прекрасного и доверчивого народа, должно быть сделано при соблюдении, конечно же, необходимого такта и, увы, необходимой осторожности, чтобы не дать повод недругам и завистникам».

Большего сеньоре и не требовалось. Аранха пригласил маркиза де ля Куэнья с супругой на поездку по городу, чтобы выбрать место для строительства новой клиники, и во время этой-то поездки сеньора дала свое согласие на реализацию идеи с наблюдательным советом предприятия, но при условии, что сообщение об этом не попадет ни в одну газету (будто что-то могло попасть в прессу без штампа франкистской цензуры!). При этом сеньора заметила, что региональные подразделения новой фирмы, когда она превратится в общеиспанское предприятие, должны будут продумать вопрос о привлечении к работе на местах жен командующих военными округами, потому что именно армия, отвечающая за порядок в стране, сможет оказать помощь тем предпринимателям, которые внесут наиболее интересные предложения для подъема национальной экономики,

призванной служить делу возрождения величия испанской нации.

Так постепенно стала вызревать коррумпированная цепь; ежемесячно маркиз привозил сеньоре конверты со взносами на «благотворительность», Аранха менял песеты на доллары, семья Франко, таким образом, превращалась в наиболее богатую семью полуострова.

А в самом центре этой паутины находился маркиз де ля Куэнья, который, став вице-президентом общественного комитета по увековечению подвига армии и фаланги, наладил прямые контакты не только со всеми крупнейшимм предпринимателями страны и банкирами, но и с партнерами за рубежом, как в нацистской Германии, так и Соединенных Штатах, в нейтральной Швейцарии и далекой Аргентине.

Идея братства о двувластии — как видимом, государственном, так и тайном, банковском, — постепенно стала обретать организационные формы, тщательно, понятно, законспирированные, но именно поэтому особо могущественные, ибо в подоплеке этого интереса было не что-нибудь, а золото, гарантия силы.

Именно поэтому аргентинский журналист Гутиерес, брат могущественного помощника Перона, курировавшего безопасность буэнос-айресского генерала, но при этом вовлеченный в цепь тайного братства, и отправился к маркизу, получив информацию Кемпа о том, что американский разведчик Пол Роумэн подкрадывается к тем, кто вошел в дело не словом, но делом — то есть взносом многомиллионных сокровищ третьего рейха в бронированные сейфы испанских и аргентинских банков.

ШТИРЛИЦ (ноябрь сорок шестого)

— Послушайте, Брунн... Не утомляет, что я постоянно называю вас разными именами?

— Я привык.

— Может быть, удобнее, если я стану называть вас Бользен? — спросил Роумэн.

— Это тоже псевдоним... Один черт...

— Хорошо, буду называть вас Штирлиц...

— Убеждены, что это моя настоящая фамилия?

...Роумэн пригласил его погулять в парке Ретиро; они встретились возле Плацолеты Пино, неторопливо пошли к Пасеа де лас Эстатуас; Штирлиц отдал должное тому, как элегантно Роумэн проверился; увидел слежку, улыбнулся, заметил, что «это не мои люди, видимо, испанцы проявляют инициативу, а возможно, ваши, Штирлиц»; выслушал его ответ: «Увы, теперь я лишен возможности ставить слежку», согласно кивнул, полез за своими, как всегда, мятыми сигаретами, спросив при этом:

— Ну, хорошо, а какова ваша настоящая фамилия?

— Что, если бы она оказалась английской?

— Но ведь этого не может быть.

— Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, — вздохнул Штирлиц. — Так Чехов писал, слыхали о таком писателе?

— Конечно, — в тон ему ответил Роумэн. — Он сочинял тексты для античных опер, которые ставила труппа Мохамеда Рабиновича в Нью-Джерси... Буду называть вас «доктор»... Слушайте, ответьте мне: как вы относитесь к Гитлеру?

Штирлиц пожал плечами:

— Если я скажу, что ненавижу, вы мне не поверите, и я не вправе вас в этом разубеждать... Сказать, что люблю — не оригинально, все национал-социалисты обязаны его любить.

— А вы меня разубедите. Объясните, когда вы его возненавидели? Почему? Мне любопытно послушать строй вашего рассуждения.

— Думаете нарисовать мой психологический портрет по тому, как я стану вам лгать?

— Ваш портрет у меня в голове. Мне интересна логика вашего мышления, вы занятно мыслите, не ординарно... Вы только что сказали: «все национал-социалисты обязаны любить Гитлера»... В июне сорок пятого Отто Штрассер дал нам показания, что и он, и его старший брат Грегор ненавидели фюрера...

— Да? А вы почитайте, с каким заявлением в партийной печати рейха выступил Грегор Штрассер, когда Отто сбежал из Германии... Он заклеймил его, как предателя, попавшего в лапы евреев и агентов Коминтерна, заявил, что отказывается от него и прерывает с ним все отношения, потому что он посмел поднять голос против великого фюрера. Но и это не помогло: спустя полгода Гитлер приказал его расстрелять, и его превратили в мишень те эсэсовцы, которые за день перед этим проводили свои собрания под портретами основоположников движения, а ими были Гитлер, Грегор Штрассер и Рем, клялись им в верности и любви, восторгались их гением и слезно умилялись дружбе «братьев»... Нацизм предполагает наличие идола, который освобождает от необходимости думать; клянутся не идее, а ее выразителю. Все персонифицировано. Все связано с именем одного человека. Триедин дух, руководство нацией обязано быть единоличным, потому-то и были убиты Штрассер и Рем. В глубине души Штрассер мог относиться к Гитлеру как угодно, но с тех нор, как у него забрали пропаганду, после того, как Геббельс сделал фюрера живым богом, никто не имел права на мнение; «хайль Гитлер» стало синонимом «доброго утра» и «спокойной ночи». Не скажешь — гильотина... А это больно и очень страшно, оттого что ты слышишь шуршащий звук падающего металла и представляешь, как через мгновение этот наточенный до бритвенности металл разорвет шейные позвонки, хлынет кровь и наступит вечная тьма... Умирать не так страшно, когда падаешь с машиной в пропасть, — хоть как-то можно действовать: вертишь руль, жмешь по тормозам и приноравливаешься, как избежать удара о камень... Страшнее в самолете — сидишь в салоне, ощущение беспомощности, пилоты дурни, вот если б ты сел за штурвал, ты бы вывел самолет из пике... Легче в кровати — у тебя рак, но ты убежден, что это язва и скоро изобретут, — обязаны, не могут не изобрести — новое лекарство, придет доктор, послушает тебя стетоскопом, пропишет волшебные пилюли, и все будет в порядке, дома и стены помогают... А вот каково на плахе...

— У вас слишком хорошее воображение. Не считайте, что все

могут себе представить, как топор отчленяет позвонки. Слишком утонченно, да и потом надо постоянно ощущать эту угрозу, чтобы так страшно видеть ее в яви.

– А что, если я ее постоянно ощущал?

– С какого года вы работали на русских?

– А почему не на англичан? Они тоже дрались против Гитлера...

– Мы их запрашивали.

– А про Канариса запрашивали? Что они вам ответили, любопытно было бы послушать... Или у вас фиксируют все договоренности на сотрудничество? Даже на уровне адмирала?

– Не играйте со мной в кошки-мышки, доктор... Я не буду вас опровергать, если вы докажете мне, что действительно не любили Гитлера... И доведете до конца свою мысль о том, что все наци любили фюрера.

– Я не сказал «любили». Они обязаны были его любить. Отступничество в этом деле каралось смертью. Они должны были поклоняться кумиру, чтобы выжить. Но ведь всякий человек, даже дурень, хранит в себе что-то вечное... Чувство собственного достоинства передается человеку с генами, даже рабу. Если б не это, не было бы Спартака... Следовательно, немец был обязан отторгнуть логику и перестать помнить; на самом-то деле его понудили любить Гитлера, понудили считать его гением. Чтобы окончательно не упасть в своих же глазах, немец убеждал себя, что на самом деле родился мессия, на землю пришло откровение, я служу ему, и я счастлив, что могу выполнять эту почетную задачу, потому что именно фюрер сказал, что я принадлежу к крови и духу избранных. В дни побед не так трудно повернуть себя к такого рода строю размышлений, но когда начинаются поражения, ситуация становится более сложной... Немец хотел бы предать проклятого Гитлера, приведшего страну к краху. Человек врожденно презирает предательство, а особенно с тех пор, как легенда об Иуде сделалась предметом изучения в школах. Правда, при этом человека учат тому, чтобы он донес власти на каждого, кто думает не так, как он, одевается не как все, поет не те песни, читает не тех авторов, – словом, всякого, кто хоть в малости выделяется из общей массы... Почему? Да потому, что управлять личностями много сложнее, чем толпой... Признаться, даже когда немцы узнали правду о Гитлере, в том, что ты поклонялся идиоту, психически больному недоучке? Но ведь это плевок себе в лицо, отказ от прожитых лет, предательство друзей, погибших на полях сражений за дело фюрера... Открыто сказать себе, что тобою правил придурок, – значит расписаться в том, что ты полнейшая бесхребетная мразь... Нет уж, всегда легче во всем винить ч у ж и х... Винить себя? Это удел мудрецов. Много встречали мудрецов в вашей жизни, а?

– Чем вы можете доказать, что испытывали к фюреру ненависть?

– Ничем... Я бы на вашем месте не поверил ни одному моему доводу... Кроме разве что... Нет, пустое... Я бы не поверил. И все тут...

– Тогда объясните, отчего я не испытываю к вам ненависти, как к остальным наци? Согласитесь, у меня есть достаточно оснований

желать смерти всем вам скопом и каждому поодиночке. Отчего же я не питаю к вам холодной, постоянной и мстительной ненависти?

– Черт его знает... Между прочим, я тоже испытываю к вам симпатию...

– Почему?

– Видимо, оттого, что вы умный... Незащищенный какой-то...

– Врожденная немецкая сентиментальность?

– Может быть, – согласился Штирлиц. – Во всяком случае, даю вам слово: я отношусь к вам с симпатией. Так что вносите свое предложение... Вы же пригласили меня не только для того, чтобы наслаждаться историей, гуляя по местам Изабеллы и Филиппа...

Роумэн посмотрел на Штирлица, не поворачивая головы, только скосил свои круглые иссиня-черные глаза; белки были воспаленные, с желтинкой; много пьет, подумал Штирлиц; так пьют, если на сердце муторно; когда все в порядке, человек просто весел, это ж так приятно – эпикурейское расслабление, отрешение от реальностей бренной жизни, воспарение мечтаний; он трезв, как стекло, а ведь утром пил, и ночью, видимо, тоже, причем немало.

– Верно, – откликнулся, наконец, Роумэн. – Я пригласил вас, чтобы внести деловое предложение...

– Я его выслушаю, – сказал Штирлиц. – Я думаю, это будет интересное предложение. Как думаете, за кем сейчас следят? За вами или за мной?

– За вами.

– Почему?

– Потому что я попросил об этом.

– Зачем?

– Хочу знать все ваши контакты.

– Кого вы об этом просили?

– Это мое дело... Вопрос бестактен, вы же понимаете, что я не отвечу...

– Но это не был полковник Фернандес?

Роумэн снова скосил глаз на Штирлица: откуда он мог знать про Фернандеса? Только Эронимо и я знаем о нем и о том, что я обещал оказать его сыну внимание в Нью-Йорке, когда парень отправится туда на учебу... Откуда эта информация? Не мог же Эронимо сказать ему об этом? А почему – ему? Разве невозможен кто-то третий?

– И на этот вопрос я вам не отвечу, доктор.

– Зря.

– Считаете?

– Я не считаю... Это б полбеды – «считаю». Я убежден.

– Почему?

– Потому что следят не за мной.

– За мной?

– Да.

– Как давно?

– С тех пор, как вы стали получать письма...

Роумэн удивился, не уследил за собой, обернулся к Штирлицу:

– Письма? Какие?

– Не знаю. От какого-то красного...

– Я?! От красного?! Да вы с ума сошли! Кто вам об этом сказал?

– На мою бестактность вы отвечаете своей? Как вы мне не ответили, так и я вправе промолчать...

– Можете не отвечать. Я знаю, кто вам сказал... Генерал Гонсалес?

Штирлиц усмехнулся:

– Значит, за мной следят ваши люди?

– Достаточно того, что за вами смотрят. Это все, что я могу сказать.

– Посидим? – предложил Штирлиц. – Перекурим, а?

– С удовольствием. Кстати, вы очень хорошо уходите от слежки.

Штирлиц покачал головой.

– Точнее сказать, меня от нее увозят. У вас какие сигареты? Рыжие? Или негро?

– Вы же прекрасно видели пачку, которую я доставал из кармана.

– Я заметил, что вы пачку из-под «Лаки страйк» набиваете «Дукадос»... Зачем?

– Не знаю... Я много делаю, чего не знаю... Хочется, вот и делаю...

Они сели на ажурную белую лавочку; осеннее небо над Мадридом было высоким, совершенно безоблачным, голубым; оно было таким чистым, что Штирлицу услышался тугой шум моря и медленный размах крон высоких сосен; деталь рождает картину; частность, если она прекрасна, позволяет примыслить окружающий ее мир. Как несбывшаяся мечта жизни, как то, чего всегда был лишен, Штирлиц, когда видел здешнее высокое прекрасное небо, особенно ясно представлял себе пустынный песчаный берег моря и огромный сосновый бор рядом; это можно так грустно написать: отражение несуществующих сосен в том море, которого никогда не видел...

– Погодите, – Роумэн вдруг нахмурился, провел своей ухватистой квадратной пятерней по лбу; сразу же появились следы, словно пощечина, – ваш генерал ничего больше не говорил про эти самые письма?

– Нет... Он сказал, что вы стали получать письма от красного и вами заинтересовались дома.

«Грегори, – вдруг отчетливо понял Роумэн, – это письма Грегори. Дома, видно, давно начали копать на красных, на Эйслера и Брехта, и Грегори попал в сетку. Неужели у нас тоже стали вскрывать письма своих, не верить солдатам, следить за резидентом?! Не может этого быть! Он врет, этот наци, он врет! Но ведь он не врал, когда сказал про Кристу, – устало возразил себе Роумэн, – он оказался прав, она на связи у Кемпа, будь он трижды неладен».

– Можете узнать, о каком красном идет речь?

– Вряд ли. Они здесь очень пугливы... И мне нечем торговать... Если бы мне было чем торговать, тогда можно было выдвигать условие: «ты – мне, я – тебе»... Но ведь у меня нет ничего за душой... Здесь – во всяком случае.

– А где у вас есть за душой нечто?

– Скажем, в Латинской Америке... Надежнее, конечно, в Берлине, но ведь вы не решитесь меня отправить туда...

– Почему? – задумчиво возразил Роумэн. – Очень может быть, что решусь. Вернетесь?

– Я вам здесь нужен?

– Пожалуй, да... Но что вам делать в Берлине? Там стоим мы с нашими союзниками, там нет ваших коллег, они боятся показываться там.

– Зачем я вам нужен, Пол?

– Замечаете, мы не отвечаем друг другу, только спрашиваем.

– Порою вопрос является одновременно ответом.

– Верно... Вы мне нужны потому, что я должен понять механику возможной инфильтрации нацизма в поры другого общества. Как такое возможно? Кого используют? Где? Что выдвигается на первый план?

– На первый план выдвигается оболванивание общества.

– То есть?

– Необходимо заставить всех думать одинаково. Это не простая работа, она по плечу хватким ребятам. Геббельс хоть и был колченогим, но голова у него работала...При этом ситуация в стране обязана быть сложной, отсутствие линии, разброд, каждый тянет в свою сторону, каждый предлагает свой выход из положения. Люди устают от словоизвержений, требуют определенности. Вот и созрела питательная среда для появления фюрера... Он обязан сказать: «будет так, а не иначе, в трудностях повинны те, а не эти, уничтожив их, мы обретем благополучие, повиновение – путь к могуществу и процветанию».

– Это – слишком общо, а потому – грубо, доктор. Я сформулирую предмет моего интереса иначе: допустима ли инфильтрация нацистов в общественную жизнь, скажем, Англии? Или Франции?

– Во Франции им путь заказан, они могут пытаться начать новое предприятие лишь в той стране, где их не знают, где люди не видали нацизм воочию...

– Но это Америка, – сказал Роумэн.

– Какая? – уточнил Штирлиц. – Их две.

Помолчав, Роумэн спросил:

– У вас есть семья, доктор?

– Не знаю.

– Вы предпринимали какие-то шаги, чтобы найти вашу семью?

– Это – мое дело.

– Хорошо, тогда я сформулирую мой интерес: вы готовы войти в мое предприятие по выявлению столпов нацизма? Здесь я узнал кое-какие подходы, но в Мадриде вы оказались в фокусе внимания здешней тайной полиции... Увы, я не могу работать без их помощи... А в Латинской Америке вы – спичка в урне на Пятой авеню...

– Хм, занятно, – Штирлиц посмотрел на пачку сигарет, зажатую в руке Роумэна; тот протянул ее, достал из кармана спички, чиркнул, дал огонек, ловко прикрыв ладонью, чисто солдатский жест; Штирлиц прикурил, сладко затянулся, откинув голову, словно глотал большую пилюлю, и повторил: – Очень занятно...

— Вам занятно мое предложение? Или сама ситуация?

— И то и это. Почему вы решили мне поверить? Отчего вы, мой противник, вносите такое предложение? Должны быть какие-то мотивы, которые подвигнули вас к такого рода решению, нет?

— Как вам сказать... Я получил на вас документы, доктор... Помимо тех, про мисс Фрайтаг, отравленную на пароме... Я получил бумаги, из которых явствует, что вы — таким же ядом, как и в первом эпизоде, — отправили к праотцам некоего мистера Рубенау, когда он ехал из рейха в Швейцарию по указанию группенфюрера Мюллера...

— Неужели он его все-таки убил? — обернулся Штирлиц. — Неужели?!

Роумэн сразу же отметил, как изменилось лицо Штирлица: оно постарело в долю секунды, стали видны мелкие морщины под глазами, сделалась особенно заметной его бледность, прозрачное нездоровье кожи и огромная, невысказанная боль, постоянно жившая в его глазах.

Вот что мне всегда в нем нравилось, понял Роумэн. Я раньше не концентрировал на этом внимание, я не расчленял его на составные части, воспринимая целиком, вкупе, а сейчас я понял его глаза, он словно смертельно раненный человек, который бежит из последних сил, надеясь, что еще один шаг, и он упадет в руки друга; у меня были такие глаза, когда я вернулся домой после немцев и увидел Лайзу. Я помню свои глаза, я их часто рассматривал в зеркале, я учился прятать свою боль от окружающих, сомнут и растопчут, я был обязан казаться сильным, иначе не проживешь, я и сейчас веду такую же игру, боясь признаться себе в том, что теперь мне еще хуже, чем три года назад, — обмануться дважды в главном, в выборе друга, — паскудная ситуация. То, что я сейчас затеваю, не что иное, как способ не рухнуть, удержаться на плаву... Нет, сказал он себе, не надо уж так мазать себя дерьмом, тебе стало очень страшно после того, как ты услыхал сообщение об Эйслерах, одно легло на другое, все-таки правда где-то посредине, между двумя этими ударами, иначе, если бы я узнал только одну правду о Кристе, я бы сломался... Меня, как это ни жутко сказать, спасло сообщение об Эйслерах... Господи, как же увязала весь мир нелогичная, случайная, нерасторжимая паутина; невозможно понять, отчего Штирлиц включил радио в машине именно в ту минуту, когда я вез его на очную ставку к Кристе, ах, да, он боялся прослушки, но почему он наткнулся именно на Лондон? Отчего именно в эту секунду диктор читал об Эйслерах? А я ведь тогда уже знал о Кристе, шел ко дну, пуская пузыри, но шок с Эйслером заставил меня всплыть, и я набрал воздух, поняв, что просто так спиться, стать обывателем, предать то, чему верил, — мерзко и мелко; Эйслер и Брехт ни в чем не виноваты, не имеют отношения к моему горю с Кристой, но ведь вполне может быть, что те, кто режиссирует гнусность против них, походя ставят подножку и мне... «Письма от красного...» Неужели они читают переписку своего со своим? Все-таки члены одного клуба, люди разведки...

— Как и когда это случилось? — спросил Штирлиц, и по тому,

как он смотрел на Роумэна, тот понял, что он спрашивает его об этом-второй раз, раньше он не слышал, у него так бывало, это спасительно – выключение из мира, уход в себя...

– О чем вы?

– О Рубенау.

– Я не знаю. Интересует точная дата?

– Да.

– В апреле сорок пятого. Есть полицейский протокол, отпечатки ваших пальцев, адрес доктора Бользена в Бабельсберге, я покажу вам. Теперь вы поняли, отчего я решил вам поверить? Вы в безвыходном положении. Решите уйти – я передам вас Нюрнбергскому трибуналу... Пока еще вас не ищут... Так, во всяком случае, как Бормана, Мюллера, Эйхмана, Штангля, Менгеле, Барбье или Вальтера Рауфа... Если вы пойдете на то, чтобы обмануть меня, если я все же ошибся в вас – я выдам вас и умою руки...

Это было бы счастьем, подумал Штирлиц. Это лучший выход, если он передаст меня Нюрнбергскому трибуналу, это – свои, это дорога домой... Бедный Роумэн. Он чего-то недоговаривает. Видимо, он вышел на разветвленную нацистскую сеть и испугался... Но все-таки лучше мне помочь ему из дома... Только там я смогу открыто рассказать все, что знаю. Только там я смогу обобщить те данные, которыми располагаю – особенно сейчас, после того, как Гонсалес дал мне информацию и в ИТТ я кое-что наскреб, они же не знают, что золотое яйцо можно найти в мусорной куче, всем этим Кемпам и Джекобсам кажется, что самое важное хранится в их бронированных сейфах. Что, думают они, можно найти в старых газетах, переписке концерна и докладных записках специалистов по международной торговой конъюнктуре на материалы, связанные с производством средств связи и массовых коммуникаций?! Да здравствует некомпетентность врагов! Только б они подольше были темными! Только б они всегда бежали науки, только б они считали единственно правильным свое мнение или то, к которому они успели привыкнуть и отказ от которого кажется им крушением тех идеалов, которым он служили... Мне надо безоговорочно соглашаться с предложением Роумэна, твердо сказал себе Штирлиц. Я не люблю подличать даже в малости, но я обязан обмануть его... Он может сесть на самолет и вернуться домой, и это в порядке вещей... Если же я скажу ему о моем желании сделать то же самое, его реакция может оказаться непредсказуемой... Они хорошие люди, американцы, неповоротливы и громоздки вроде нас, поэтому они мне так нравятся, но их менталитет совершенно особый, среди них надо прожить много-много лет, чтобы понять их, а у меня на это нет сил. Я хочу домой...

– Во-первых, – сказал, наконец Штирлиц (они сейчас говорили медленно, паузы были тяжелыми, слышимыми), – я был бы рад предстать перед трибуналом, потому что лишь там я бы доказал свою невиновность. Тем не менее, во-вторых, я готов принять ваше предложение. Только давайте уговоримся: вы расскажете мне, отчего решили заняться поиском столпов наци, изучением возможностей инфильтрации гитлеризма в демократические общества, а я, в свою очередь, объясню, почему согласился войти в ваше дело.

— Принято... Это по правилам... Едем куда-нибудь... Поедим и выпьем, а заодно до конца откроем друг другу наши препозиции.

— Лучше мы это сделаем позже. Испанцы хорошо слушают в машинах, да и за соседний столик в ресторане они могут посадить своих людей, лучше все это сделать на открытом воздухе...

— Мы поедем в «Клуб Йерро», — усмехнулся Роумэн. — Вы же там были с генералом Гонсалесом... и с Веласкесом были.. Я выяснил, что здешняя секретная служба лишена возможности входа в аристократические клубы, у них нет на это денег, да и потом рожи квадратные, за милю видно.

— Вас дезинформируют, Пол, — ответил Штирлиц. — В этих клубах тоже работает агентура, только об этом не знает ваш друг Эронимо. Там задействованы официанты и метрдотели, там тоже все контролируемо.

— Откуда знаете?

— Я обменивался опытом с секретной службой Франко еще в тридцать седьмом году, когда жил в Бургосе... Гейдрих... Слыхали про его салон «Китти»? Он сделал в Берлине аристократический клуб для своих... Говори, что хочешь... И читал запись самых откровенных бесед через два часа после того, как они заканчивались.

Роумэн сломался, захохотал; он хорошо тренирован, подумал Штирлиц, такое упражнение могут делать только очень хорошие гимнасты; стоя, куда ни шло, но выполнить это сидя, не просто.

Отсмеявшись, Роумэн сказал:

— Доктор, Германия есть Германия. Вы вообще особая страна, но здесь официантов нанимают аристократы, они им платят большие деньги, в два раза больше, чем профессорам в университете. Какой смысл им предавать тех, кто платит?

— Прямой, — ответил Штирлиц. — В особом отделе тайной полиции, который ведет аристократов, им сказали, что посадят их, — на это здесь не надо решения суда, — если они не будут выполнять всего того, что им припишут... Кто ж решится потерять два профессорских жалованья?

Роумэн снова закурил, сокрушенно покачал головой.

— Ну, режим, а?! Ну, проклятые коричнево-голубые бардаки! Ну, блевотные помойки... У вас и логика-то какая-то особая, нормальный человек не сразу ее поймет, такая она извилистая... Как могут жить государства с такой змеевидной логикой, отчего не развалятся?!

— Это мы пройдем в другой раз, — усмехнулся Штирлиц. — А теперь скажите мне, только без ненужных эмоций: женщина, которая живет у вас, огорчила вас фактом своей встречи с Кемпом?

Роумэн сделал две короткие, но очень глубокие затяжки и ответил:

— Даже не знаю, как поступить, доктор... То ли снова врезать вам в лоб, то ли признаться, что она работает против меня...

— Вот вы и начните отсчет с того момента, как ее к вам подвели, Пол... Вам будет легче понять, в чем вы могли провиниться перед теми, кто за вами смотрит...

— Как вы думаете, если Кемпу хорошо уплатить, он выполнит то, о чем его попросят?

— Ничего он не выполнит... И не надо ему платить, он не продажная шлюха... Вы правы, он был резидентом в Лиссабоне, он из касты... Он не перепродается... Таких людей нельзя просить. Они не очень-то и понимают значение этого слова, оно окрашено пастельными тонами детства. Он умеет выполнять приказ. Он, если прикажут, сделает все, что угодно.

— Чьим должен быть приказ? Корпорации ИТТ? Она служит мне и без моего ведома там ничего не происходит...

— Вы действительно так думаете?! Или хитрите?

— У вас есть основания?

— Есть. Не вам служит ИТТ, а вы служите ей.

— Про это я достаточно читал у марксистских пропагандистов, доктор, не надо...

— Я вычислил это в тех документах, которые мне поручили рассортировать в архиве. Могу доказать.

— Докажите.

— Хорошо. Приезжайте завтра в ИТТ, я вам покажу кое-что. Но вы не ответили на мой вопрос...

— Отвечу... У нас есть время... На всякий случай запомните адрес... Это Грегори Спарк, из ОСС, он сейчас живет в Голливуде, «Твенти сэнчури фокс», четыреста двадцать восемь, Бивэрлиплэйс. Это если вы не сможете найти меня, но вам будет очень нужно передать мне что-то горящее. Запомнили?

— Да.

— А что касается побудительных причин, толкнувших меня на авантюру с укрывшимися наци... Какие-то вещи, связанные с практикой моей работы, я не имею права открывать вам. То, во что я вас зову — мое личное предприятие. Я занимаюсь им в свободное от службы время. Вы же радио слушаете?

— Милый мой человек, да ведь вам часы отпущены. Вы уже задействованы как обвиняемый, связанный с красными. И не просто обвиняемый, но тот, который работает в разведке государственного департамента и, следовательно, имеет доступ к совершенно секретным материалам. А кто в них заинтересован? Красные! Все эти Брехты и Эйслеры. Вы понимаете, что живете под гильотиной?

— Америка — не рейх, доктор.

Штирлиц жестко усмехнулся:

— Тогда зачем же интересоваться возможностью инфильтрации тоталитаризма нацистского типа в поры демократического общества?

— Я опубликую те материалы, которые хочу получить с вашей помощью, доктор... А это, видимо, достаточно страшные материалы... Кое-что я уже знаю... О тех наци, которых был вынужден привлечь на нашу службу... Я не имею права об этом говорить, но мне придется сказать об этом, если дело зайдет слишком далеко и они занесут топор над шеями Эйслера и Брехта... Два этих немца учили меня борьбе против Гитлера, они не просто великие художники, они солдаты одного со мною батальона...

— Кому вы скажете об этом?

— Людям.

– Соберете митинг?

– Есть газеты и радио.

– Сколько стоит хорошая газета, Пол? У вас хватит денег, чтобы купить газету? Или уплатить за час времени на Си-Би-Эс? Не будьте вы идеалистом, право.

– А кем прикажете быть? Материалистом, что ли?!

– Назовите это прагматизмом, не стану спорить.

– Фамилия Эйслер вам давно известна? О чем она вам говорит?

– Больше всего мне сказала ваша реакция на упоминание этой фамилии лондонским радио. Я видел, что с вами стало, когда вы прочитали телетайп о заседании Комиссии по антиамериканской деятельности...

Роумэн настойчиво повторил:

– До этого имя Эйслера было вам знакомо?

– Зачем вы задаете вопрос, ответ на который заранее известен?

– Тем не менее я хочу услышать этот заранее известный мне ответ.

– Как хотите... Только я отвечу по-своему... Я отвечу, что реальный фашизм начинается с того момента, когда государство называет врагами самых талантливых.

Роумэн снова скосился на Штирлица, удовлетворенно кивнул:

– Я тоже об этом подумал. А еще я подумал о том, что женщина, которая живет у меня, появилась незадолго перед началом дела Эйслера. И через семь месяцев после того, как я написал Спарку, как люблю Ганса Эйслера и его друга Бертольда Брехта и как благодарен им за то, что они помогали мне перед забросом в нацистский тыл.

– Ганц логиш[1], – усмехнулся Штирлиц. – Этой прекрасной фразой в рейхе комментировали расстрелы тех, кто позволял себе смелость не любить Гитлера... Как долго намерены продолжать ваше личное предприятие?

– До тех пор, пока не закончу.

– Хотите сказать, что ситуация безвыходная?

– Ну так что же тогда?

– Тогда надо искать вторую силу – в системе ваших американских сил, – которой будет выгодна ваша информация. Она должна помочь в своекорыстных целях... Я не знаю – борьба за президентство, схватка конкурентов, сами думайте, вы там живете, не я.

– Слушайте, ответьте, когда вы стали таким?

– Я был таким всегда.

– Нет, я имею в виду другое... Вы говорите как человек, который был в оппозиции к Гитлеру...

– А если я был в оппозиции к Гитлеру?

– Здесь, – Роумэн похлопал себя по внутреннему карману пиджака, – у меня есть такие документы, за которые вы бы отдали полжизни. Поэтому я спрашиваю еще раз: почему вас не повесили?

– Повезло.

– Кто это может подтвердить?

---

[1] Ганц логиш – вполне логично *(нем.)*.

«Это может подтвердить пастор Шлаг, – подумал Штирлиц, – если только он жив. Но, подтвердив это, он неминуемо скажет, что я работал на русских...»

РИКТЕР (сорок шестой)

Первые недели после встречи на улице с полковником Гутиересом (представился порученцем Хуана Перона) были полны томительного ожидания.

В который раз уже Риктер вспоминал разговор с Гутиересом, пытался воспроизвести целые предложения, искал в них какой-то особый, затаенный смысл, некоторые слова перепроверял по словарю – правильно ли понял полковника; как истинный немец он выучил грамматику, знал все правила, но порою оказывался совершенно неготовым к тому, когда собеседник употреблял жаргон простонародья, глотал окончания или произносил фразу с типично испанской быстротой, словно выпаливал очередь из пулемета.

Ему казалось, что разговор сложился достаточно откровенно; Гутиерес слушал его заинтересованно; вопросы ставил вполне конкретные, проявив достаточную компетентность в проблемах взаимосвязанностей науки с минералогией и промышленностью. Не было и того, чего Риктер более всего страшился: если бы Гутиерес с самого начала спросил его ледяным начальственным голосом о прошлом, потребовал написать объяснение, где и как он получил вид на жительство, готов ли предстать перед судом, он, сколько ни готовил себя к стойкому противостоянию, сломался бы и даром отдал все документы по атомному проекту, несмотря на то что они застрахованы и припрятаны в надежном месте. Ужас нацизма состоял также и в том, что человек был совершенно бессилен перед государством, раздавлен им, обезличен и лишен каких бы то ни было прав на защиту. Профессия юриста, если он не служил режиму в качестве следователя, эксперта, судьи или прокурора, была абсолютной фикцией; адвокаты отказывались брать на себя защиту в политических процессах, прекрасно понимая, что чем доказательнее они выступят в суде, тем скорее сами окажутся на скамье подсудимых как «враги нации»; указание любого чиновника НСДАП было для них истиной в последней инстанции. За тринадцать лет гитлеровского владычества немцы привыкли к мысли, что надо жить тихо; попав в маховик нацистской системы, ты обречен на гибель, а уж противоборствовать с высоким начальством и вовсе безнадежно, ибо, во-первых, до него не допустят, а во-вторых, случись чудо и предстань ты перед ясными очами великого фюрера германской нации, язык проглотишь от ужаса, ни одного слова п о п е р е к не сможешь произнести от испепеляюще-восторженного ужаса, и вместо слов критики начнешь возглашать лозунги в честь того самого режима, который, только что был ненавистен тебе, который растоптал тебя и унизил.

Один из Риктеров, он даже не мог толком понять, который, первый, второй или третий, постоянно нашептывал: «На что замахиваешься?! Знай свое место! Продай ты эти проклятые бумаги за двадцать пять тысяч, открой хорошую немецкую пивную, клиентуры

полно, женись, нарожай детей, умирать не страшно, а перед старостью помечтаешь о будущем, времени хватит!» Воистину нигде не существовало такого количества мечтателей, как в условиях инквизиции и государственного тоталитаризма; право на поступок отсутствовало, мысль лимитирована, свободы слова нет, — мечтай себе, строй миры, будь гладиатором, возносись новым Христом, но — молча, про себя.

Однако когда Гутиерес сдержанно, но вполне доброжелательно с ним поздоровался, поблагодарил за письмо, сказал, что оно заинтересовало, атомный проект — штука интересная, от сердца отлегло, хотя язык по-прежнему был шершавый, никак не мог сглотнуть комок в горле, и голос прерывался.

Гутиерес проводил уже не первую встречу с немцами, обращавшимися к Перону с предложениями, подчас совершенно фантастическими. Вначале, еще в сорок пятом, когда стали прибывать первые партии изгнанников, Гутиерес советовался по поводу того или иного письма с Людовиго Фрёйде, который давно посредничал между Берлином и Пероном в финансовых операциях. Однако вскоре он убедился, что делать этого не следует, потому что Фрёйде, прибывший сюда еще в начале тридцатых годов по указанию Гитлера, не хотел, чтобы Перон выслушивал предложении от кого бы то ни было, кроме как от него, «комиссара рейха на юге Американского континента». О профессоре Вампенроде, сильном энергостроителе, бежавшем из рейха потому, что имел звание СС штандартенфюрера и доктора, руководил работами, которые выполняли русские пленные, Фрёйде сказал: «Он — безумец, бойтесь психов, все его проекты — плод больной фантазии, его надо лечить, а не использовать в деле»; об инженере Кливере, который предложил свои услуги в дорожном строительстве, приложив к письму документы о том, что именно он возглавлял все работы на автомагистрали Берлин — Франкфурт-на-Одере, Фрёйде отозвался как о жулике; и тому и другому было отказано не то что в помощи, но даже во встрече с чиновниками администрации, занимавшимися такого же рода проблемами в аргентинских министерствах. Но когда Вампенроде подхватила бразильская фирма, а Кливер подписал контракт с чилийской автостроительной конторой, Гутиерес перестал обращаться за консультацией к Фрёйде; корреспонденцию, полученную секретариатом Перона, поручил читать двум своим секретарям, они же запрашивали информацию на авторов наиболее интересных писем через Мадрид, где на связи с группами немцев работал Хосе, младший брат полковника, — под крышей журналиста, специального корреспондента газеты «Кларин», и через Лиссабон, где бывший дипломат рейха Ауэнродэ, накануне капитуляции, продал людям Гутиереса всю свою сеть за сорок тысяч долларов, оттуда щупальца шли в Швейцарию, Турцию и Швецию; поступила непроверенная информация, что мадридский центр эмиграции имеет связи с американской зоной оккупации Германии, однако известие об этом было довольно глухим, находилось в стадии тщательного исследования; попытки наладить оперативную связь с лондонской разведкой пока что кончились неудачей: несмотря на то что Лондон передавал некоторую информацию

для Перона, особенно когда речь шла об американцах, относившихся к нему весьма подозрительно из-за его обещаний национализировать ведущие американские фирмы, отладить постоянное деловое сотрудничество пока что не удавалось, англичане и есть англичане, годы думают, прежде чем принять решение, до сих пор считают себя пупами земли, полагают, что не они подчинены времени, а оно — им, оттого и проигрывают свои позиции...

Именно эти события и подвигнули Гутиереса на то, чтобы встретиться с Риктером: как-никак немец писал об атомной бомбе, Хиросима и Нагасаки у всех на памяти; дискуссии в ООН — на первых полосах газет, создав штуку, американцы обрели такое могущество, которое никому еще и никогда не снилось; получив такое же оружие здесь, в Аргентине, вполне можно думать о том, чтобы провозгласить эру Перона в испанскоговорящем мире, подчинить себе не только Парагвай, но и все страны вплоть до Мексики, превратив их в бастион против большевизма и американского финансового капитала.

Поскольку он уже встречался с двумя немцами, бежавшими из рейха в мае (один предложил проект химического треста удобрений, другой писал о том, как можно получить патенты на автомобилестроение), поскольку Гутиерес, будучи человеком умным и остро чувствующим собеседника, сразу же составил себе представление о той разнице, которая делила немцев на тех, которые приехали сюда с санкции, работали многие годы в аргентинских условиях, привыкли к здешней — более или менее — демократической манере общения, и на тех, которые бежали из рейха, совершив, видимо, первый за последнее десятилетие несанкционированный начальством поступок — и поэтому казались ему совершенно раздавленными и испуганными; так, впрочем, и было на самом деле — это подтвердила служба наблюдения, пущенная за этими немцами сразу после того, как закончился разговор. Можно было бы, конечно, до конца раздавить этих немцев, взять их идею, не отдав им взамен ничего, все равно бы не пикнули, разъедены страхом, но Гутиерес отдавал себе отчет в том, что именно немцы должны осуществлять свои проекты, особая нация, мало кто может работать так, как они, не грех поучиться у того, кто умеет, в конечном счете работать они будут на Аргентину, а не на себя, подконтрольны во всех своих поступках и лишены каких бы то ни было прав.

Потому-то Гутиерес и говорил с Риктером вполне доброжелательно, слушал его заинтересованно, полагая, что именно такая манера собеседования поможет человеку раскрепоститься и перестать быть запуганным истуканом, лишенным возможности свободно и открыто излагать не столько главную идею, сколько детали, по которым и можно будет впоследствии судить о мере его компетентности.

Риктер понимал, что его судьба не могла решиться так скоро, как он о том мечтал, оттого что был лишен дара государственного мышления. Он не понимал, что это такое, да и не мог понимать, будучи воспитанным в рабском безмыслии рейха, которое рано или поздно привело бы империю Гитлера к катастрофе. Люди были лишены возможности самовыявления, которое в первую очередь и со-

ставляет гарантию могущества страны; когда человек выполнял лишь предписанное «гением фюрера», который и школу-то не закончил толком, когда инженер, рабочий, исследователь не может проявить свой талант без того, чтобы не оглядываться постоянно на чиновника НСДАП, сотрудника СС, офицера гестапо, функционеров «трудового фронта» Лея, каждый из которых имел право запретить то, что ему было просто-напросто непонятно, — тогда государство (а тем более под ударами Красной Армии) распадется не просто на какие-то куски, но на семьи, не связанные между собою ничем, кроме как нацистским запретом на все; тупой запрет — путь к национальной катастрофе, юридически утвержденное право на самостоятельность — дорога к государственному могуществу.

Поскольку государственные дела в условиях гитлеровского рейха решались лишь Гитлером и двумя-тремя самыми близкими ему костоломами, вроде Гиммлера и Геринга, которые, в свою очередь, сами были раздавлены фюрером, лишены права на возражение созданному ими же, бездарями, божеству, вознесшему их, безграмотных авантюристов, к абсолютному всевластию, по-скольку нации лишь оставалось бездумно и слепо выполнять то, что привиделось ефрейтору, — Риктер не мог представить себе то количество вопросов, которые возникли у Гутиереса (воспитан в Лондоне, прекрасно знал юриспруденцию) после беседы об аргентинской атомной бомбе.

Прежде чем докладывать идею Перону, полковник отправил своих секретарей на встречу с профессором Умберто Дейвой, завербованным немецким резидентом Зандштете еще в конце тридцатых годов; тот выслушал посланцев Гутиереса и заметил, что атомная бомба — если вся документация находится в одних руках — может быть создана при условии, что центр, который будет заниматься ее производством, получит достаточное количество электроэнергии, необходимые минералы и, главное, вложения. На вопрос о том, какие минералы и где могут быть закуплены, профессор приготовил исчерпывающую справку, пообещав просчитать финансовые затраты на реализацию проекта в течение недели.

Затем к представителям американских, бразильских и шведских фирм, которые имели в Аргентине свои филиалы, была подведена агентура, которая должна была собрать информацию о том, какие минералы, оборудование, станки и приборы могут быть куплены, но так, чтобы ни у кого никогда и мысли не возникло, что все это приобретается для производства атомной бомбы.

После этого те финансисты, которые поддерживали Перона, прозондировали в филиалах американских, швейцарских и британских банков вопрос о возможном займе «под дорожное строительство в сельских районах Аргентины».

Лишь после этой предварительной работы, на которую ушло около месяца, вопрос был доложен Перону. Будучи человеком парадоксальным и стремительным в решениях, генерал спросил Гутиереса:

— Ну, хорошо, а вдруг американцы узнают о том, что член национал-социалистской рабочей партии Германии, СС штурмбанфю-

рер Риктер начал осуществлять для нас атомный проект? Что будет, если об этом узнают русские? Об этом вы подумали?

– Я полагал, что об этом надо думать позже, – ответил Гутиерес, – после того, как мы примем это предложение, если, конечно, мы его примем.

Перон поднялся из-за стола; спортивного кроя, налитой мышцами, всегда безукоризненно одетый (испанская страсть к красоте неистребима), он легко прошелся по кабинету, ступая по паркету, словно спринтер, казалось, вот-вот побежит; остановился возле книжных стеллажей (особенно любил Унамуно, Муссолини и Джером К. Джерома), покачался с носка на пятку, а потом сказал:

– Одна сила – это диктат. Две силы – уже дипломатия. Вы поняли меня?

– Нет.

– Я люблю вас именно за то, что вы единственный, кто отвечает определенно, никакой потуги на многозначительное всепонимание... Как вы отнесетесь к тому, что мы предложим Москве установить дипломатические отношения?

– Отрицательно.

– Почему?

– Потому что это будет подарок левым.

– Они хотят установления отношений с Москвой?

– Все, как один.

– Ну, и как много их в стране?

– Вы это знаете не хуже, чем я.

– Верно, просто я строю наш разговор таким образом, чтобы вы поняли то, что понял я, а не брали мою идею механически... Многие левые пойдут за мною на выборах, если я провозглашу установление нормальных отношений с Кремлем... Людям нравится, когда лидер прислушивается к массе... Но ведь если здесь появятся красные, это более всего ударит янки, они будут в ярости и предпримут все, чтобы блокировать русских... Их прежде всего станет занимать именно эта проблема, Гутиерес. И наш атомный проект будет надежно защищен схваткой двух гигантов на здешней земле...

– Это изящно, – согласился Гутиерес. – Но я тем не менее против... Авторитет русских слишком велик, чтобы мы недооценивали их угрозу.

– А кто сказал, что мы ее недооцениваем? Да и потом, я просто фантазирую... Мне нравится идея этого самого Риктера, я вижу за ней перспективу могущества, но ведь выход к истинному могуществу более легок, когда тебе противостоят две противоборствующие друг другу силы, чем если давит только одна – я имею в виду янки... Впрочем, я ни на чем не настаиваю, подумайте, Гутиерес, подумайте...

Когда Перон говорил, что он «не настаивает», каждому, кто его знал, было ясно – он уже принял решение. Гутиерес знал его, поэтому спор посчитал нецелесообразным.

Через два дня Перону была организована встреча – с соблюдением всех норм конспирации – с Людовиго Фрёйде.

– Вот что, – сказал Перон бывшему представителю Гитлера, – я редко употребляю повелительный императив, вы это знаете, но в

данном случае разговор пойдет именно в этом ключе: мне нужно, чтобы вы — в течение месяца, больше у меня времени нет — получили заем в размере ста пятидесяти миллионов долларов... Продумайте подо что, это ваша забота. Министерство финансов будет кооперировать с вами эту работу, гарантии банкам и фирмам, которые вы контролируете, будут даны от имени нашего правительства... Думаю, деньги надо просить под дорожное строительство и реконструкцию портов... Если этого мало, пожалуйста — самолетостроение, закладка новых аэропортов...

— Но, видимо, я должен знать, — аккуратно спросил Фрёйде, знакомый Перону с тех пор, как переводил на счета Евы Дуарте деньги НСДАП и СС, — подо что все-таки на самом деле надо просить заем?

— А зачем? — удивился Перон. — Разве вам недостаточно моих слов? И еще: пожалуйста, задействуйте ваших друзей с английскими, французскими, испанскими фамилиями, любыми, какие вам нравятся, но немецкие уши за этим займом не имеют права быть обнаружены никогда и ни при каких обстоятельствах.

— Но я ведь не всемогущ, — еще тише ответил Фрёйде. — Не я один распоряжаюсь теми средствами, которые лежат в здешних банках... Меня обязательно спросят, какой будет процент?

— О том, кто вас будет спрашивать, мы поговорим особо. Меня не устраивает то, что я не имею досье на тех, кто прибыл в Аргентину после девятого мая. А я должен их знать. А что касается процента, то пусть те, кто будет вас спрашивать, сами назовут сумму. Они ее получат.

После этого разговора генерал поручил Гутиересу запросить соответствующие департаменты о том, сколько времени потребуется для того, чтобы наладить надежный мост с районом Барилоче, где следует, по словам Риктера, строить штуку; каковы будут затраты, какие фирмы могут сделать эту работу в кратчайший срок и самым надежным образом, и, наконец, попросил предоставить ему проект широкой дезинформации для того, чтобы никто в мире не узнал о том, что задумано осуществить им, Хуаном Пероном, во имя того, чтобы сделать испаноговорящие народы — как они того и заслуживают — самой могущественной нацией мира, отобрав пальму первенства у янки, а о русских и говорить нечего — им не под силу создать бомбу, страна лежит в руинах, да и уровень техники не тот, азиаты...

И лишь по прошествии долгих шестидесяти трех дней, ушедших на обсуждение его предложения, Риктер был приглашен на встречу с Гутиересом — для делового, вполне предметного разговора.

Как и в первый раз, Риктер поначалу мучительно потел от волнения и временами терял голос (впрочем, после двух недель ожидания прагматичный немецкий ум, не умеющий жить в состоянии бездействия, заставил его заняться бизнесом; Мануэль нашел десяток студентов из хороших семей, которые должны были сдавать выпускные экзамены, платили вполне сносно, мозг отдыхал во время занятий, мучение начиналось вечером, когда он начинал думать о том, отчего же молчат аргентинцы).

Гутиерес был еще более обходителен; молчаливый шофер, при-

везший их в маленький особнячок на одной из тихих улиц, сварил кофе, сервировал стол и вышел в сад, чтобы не мешать беседе; поначалу полковник расспрашивал Риктера об обстоятельствах, при которых ему довелось столкнуться с тайной атомного проекта рейха, внимательно выслушивал ответы, которые казались ему чересчур логичными, отрепетированными заранее, чтобы быть правдой, не перебивал, согласно кивал головою, сокрушался, когда Риктер рассказывал о некомпетентности людей из вермахта и штаба люфтваффе, успокоил, таким образом, собеседника, позволил ему расслабиться, а потом сказал:

— Сейчас как раз то время, когда до закрытия банков осталось сорок минут. Садитесь-ка в машину и езжайте туда, где вы храните документацию. Когда вернетесь, мы продолжим разговор в присутствии третьего человека.

— Но вы же не сказали, — враз осевшим голосом ответил Риктер, — приняты ли мои условия?

— Приняты. Вы будете назначены научным консультантом проекта, тысяча долларов в месяц, бесплатный дом, обслуживание, полеты и поездки за наш счет.

— И все?!

— Вы считаете, что этого мало? Может быть. Вообще-то мы вправе вам ничего не предлагать, а выдать вас американцам, пусть те платят больше, хотя, мне кажется, они ничего не платят в своих тюрьмах нацистским преступникам...

Этого было достаточно. Гутиерес произнес именно те слова, которых так страшился Риктер.

Поднявшись, он жалостливо спросил:

— Но ведь я перестану быть вам нужным, когда передам документацию?..

— Отнюдь. Вы знаете механизм. Таких людей у нас больше нет. Следовательно, мы в вас заинтересованы. Да и потом, мы исповедуем законы благородства, как-никак вы живете в Аргентине, а не где-либо... Здесь могут убить, но не обманывают, это мелко...

В девять вечера, после того как профессор Умберто Дейва кончил исследовать документы, после того как он обсудил с Риктером основные узлы дела, Гутиерес, не произнесший ни единого слова за все время дискуссии, подвинулся к немцу и спросил:

— А кто поможет нам восстановить пробелы, которые столь очевидны? Профессор Дейва правильно сказал: здесь все прекрасно за исключением того, что отсутствует описание метода гидролиза и нет расчетов максимальных температур. Как же вы намерены сделать бомбу в максимально короткий срок, если у нас нет двух важнейших компонентов идеи?

— Я не успел довести до конца свои исследования... Полагаю, можно привлечь экспериментаторов, — ответил Риктер, — которые предложат свои схемы, в конечном счете я не против соавторства.

Гутиерес обернулся к Дейве:

— Но ведь любой ученый поймет, зачем нужна подобного рода

разработка?

– Бесспорно, – ответил профессор.

– Значит, – Гутиерес посмотрел на Риктера, – всем станет известно, что мы намереваемся делать?

– Этих ученых можно изолировать, – сказал Риктер. – В конце концов речь идет о каком-то годе, от силы двух...

– Здесь не рейх, – отрезал Гутиерес. – Нам нравилось многое из того, что происходило у вас на родине, но нам было не по душе то, что подданные переставали быть сеньорами, Риктер, нам нравится быть сеньорами, видите ли...

– Что ж, – быстро сказал Риктер, испугавшись, что сейчас все предприятие рухнет, а потому не просчитав до кóнца то, насколько верно он поступает, – тогда надо попробовать найти некоего Штирлица, он был в курсе всего дела.

Имя Рунге он произносить не мог, это ему было ясно с самого начала, потому что он, Риктер, торговал краденым, тем, что по праву принадлежало физику.

Назвав имя Штирлица, он с ужасом подумал о том, что если штандартенфюрер жив и его найдут, то аргентинцы наверняка узнают всю правду и отберут у него, Риктера, то, что может принадлежать одному ему, и никому другому.

– Кого? – переспросил Гутиерес. – Кого вы назвали?

Риктер тихо ответил:

– Штиглица.

Он произнес фамилию искаженно, очень тихо, с трудом сглотнув комок в горле.

Гутиерес кивнул, поднялся, пригласил Дейву и Риктера в сад, там уже пахло сказочной парижжей – жаренным на углях мясом; первый бокал он поднял за Перона, затем предложил выпить за Аргентину; вино было из подвалов Мендосы, из провинции Кордова, казавшееся очень легким тем, кто не знал его силы; информация о Риктере за эти месяцы была собрана абсолютная, непьющий; значит, либо очень крепок, либо потечет; скорее всего, потечет, весь на нервах, не надо особой наблюдательности, чтобы заметить это; Риктер действительно потек; это стало ясным Гутиересу, когда он жалостливо спросил, что станет с его проектом, неужели два узла, которые остались незавершенными, могут поставить под сомнение всю идею?

– Нет, – ответил Гутиерес, перейдя на прекрасный немецкий, – это не ставит идею под сомнение. Под сомнение ее поставила ваша неискренность...

– Какая?! В чем?!

– В том, как вы пытались скрыть от меня имя того человека, который знает все. Я хочу знать совершенно определенно: «Штирлиц»? Или «Штиглиц»? Имя. Возраст. Приметы. Вот вам перо, пишите...

Именно поэтому еще одна сила, а именно люди генерала Перона оказались заинтересованными в том, чтобы среди сотен тысяч немцев, разбредшихся по миру, и миллионов, затаившихся в рейхе, найти одного, Макса фон Штирлица, «примерно сорока лет, интел-

лигентной внешности, в прошлом – СС штандартенфюрер из политической разведки рейха»...

ШТИРЛИЦ (ноябрь сорок шестого)

В «Клубе Йерро» Роумэн обрушился, потому что почти ничего не ел; тянул один стакан виски за другим, без содовой, безо льда, веселость его стала несколько истеричной, он рассказывал уморительные истории, как заканчивал колледж; в аудиториях не появлялся; дни проводил на бейсбольном поле; «профессора все, как один, болельщики, они ставили мне высшие баллы, сидя на трибунах, но не за знания, а за мои прорывы к воротам противника; у меня голова чугунная, я ничего не боялся – башку вперед и – пошел! Всегда надо верить, что пронесет; если начнешь колебаться, хоть на минуту представишь себе самого же себя со сломанным позвоночником – уходи с поля, ты не игрок, – ты кончен для спорта».

– Вы всегда не едите, когда пьете? – спросил Штирлиц.

– Самое главное вжать голову в плечи, – не отвечая, продолжал Роумэн, – стать мышечным сбитнем и переть быком. Вроде здешних, которых пускают на самые престижные корриды в Памплоне с полей Миуры...

– Съешьте же что-нибудь, – попросил Штирлиц. Вообще-то он никогда ни на чем не настаивал, ничего не предлагал впрямую; он считал это бестактным; значительно целесообразней подвести человека к слову или поступку; государственный тоталитаризм начинается с семьи, где слово старшего непререкаемо, старший не может быть глупым, возраст – гарантия ума и опыта, разве это не одно и то же? Однако сейчас, понимая, что Роумэн на пределе, в любую минуту может сорваться, Штирлиц изменил себе, намазал кукурузную лепешку толстым слоем масла, подвинул ее Роумэну и повторил: – Ну-ка, съешьте, Пол, вам же вести машину.

– Вы слушайте, когда я говорю! И запоминайте. И молите бога, что я вообще сижу с вами за одним столом, старая нацистская скотина.

– Молю, – ответил Штирлиц. – Молю постоянно. Съешьте масло, неужели хотите опьянеть?

– Кто? Я?! Доктор, не меряйте человечество своими мерками! Жирные колбасники пьют двадцать граммов после куска свинины, а потом накачиваются светлым пивом... У вас же у всех задницы, как дзоты!

– Особенно у меня.

Роумэн глянул на худого Штирлица, элегантный костюм болтается, как на вешалке, щеки запали.

– Вы – исключение, – Роумэн улыбнулся. – Только не думайте, что, если вы не пьете, а я сегодня отдыхаю, вам удастся выудить у меня служебные тайны... Вы же все, словно гиены, алчете тайн... Маленьких загрифленных дурацких тайн, тогда как главные тайны человечества навсегда для всех закрыты... Ну-ка, ответьте мне, что такое любовь? Измена? Удача? Счастье? Не сможете... То-то и оно... Это же тайны! И никто, нигде и никогда не сможет познать их со-

кровенную суть... Ну, узнаете вы, что некоему завербованному Фрицу я дал номер Х-64. Мир изменится? Дети перестанут болеть? Любимые не будут предавать нас?

Он выпил еще стакан — медленно, сквозь зубы; передернуло; потер лицо пятерней, сразу же выступили сине-багровые пятна, приблизился к Штирлицу — его сильно раскачивало, казалось, что он изображает пловца, — и шепнул:

— Вы понимаете, что у меня нет выхода? Я перережу вам горло, если вы...

Он недоговорил, упал на стол, смахнув стакан и тарелки; неслышные официанты словно ждали этого, коршунами набросились на битую посуду, все прибрали в долю минуты.

— Кабальеро устал, — сказал Штирлиц. — Помогите мне проводить его в парк, он любит свежий воздух.

Посетителей в ресторане еще не было; гости собираются к четырем часам, поэтому сейчас здесь было пусто; проходя мимо гардеробщицы, Штирлиц купил у нее два маленьких букетика красных гвоздик, здесь это принято; впрочем, обычно гвоздики покупают перед тем, как войти в клуб, некий знак принадлежности к здешнему братству; Роумэна устроил на скамейке, за домом; отсюда открывался прекрасный вид на Каса-де-Кампо, огромный парк, масса зелени, тишина и благость.

Сколько же времени он будет спать, подумал Штирлиц. Бедный парень, ему плохо. Он открытый человек, поэтому так раним... Играет в закрытость и грубость свою наигрывает; по-настоящему грубые люди прячутся под личиной джентльмена... Он несчастен. Какая это страшная и — он прав — непознанная субстанция — недоверие. Я не верю ему, он — мне; люди подобны гальке на пляже, лежат себе рядышком, сверху кажутся единым целым, а на самом деле тотальная разобщенность... Говорят, что лишь магия языка объединяет человеческую общность. Неверно. Я бы сейчас открылся русскому, только б услышать родное слово, но ведь этот русский может оказаться человеком генерала Власова. Он не просто предаст меня, он будет счастлив убить меня, одноязычного соплеменника, потому что я верю иным Словам и служу другой Идее... Мы сами сообщаем предметам вокруг нас то значение, которое хотим сообщить... Икона, которой молились, отличается от той, которая висела в доме и была сокрыта от людских глаз. Мы смотрим на женщину и передаем ей часть своего существа; мечтаем о совершенстве, которое нам угодно, и сообщаем тому, кого любим, свою энергию, разум, чувство... Вот бы посмотреть на Роумэна подольше, подумал Штирлиц, и сообщить ему то, что мне нужно, как было бы прекрасно... Человечество, увы, реализует себя не в днях, но в веках; лишь по прошествии века мы получаем более или менее правильное представление о том, что минуло... А если и получаем, то делаем ли должные выводы? Испанская нация во времена инквизиции теряла по тысяче свободолюбцев в месяц... Инквизиция царствовала здесь три века, с тысяча четыреста семьдесят первого по тысяча восьмисотый. Сожгли тридцать две тысячи умниц, которые думали так, как им велела совесть, а не по приказу священника. Семнадцать тысяч приговорили к смерти, триста тысяч броси-

ли в казематы, понудили уехать миллионы арабов и евреев. Казалось бы, должны были извлечь урок из истории, помнить, что это дурство привело к крушению их империи, страну отбросило во второразрядность, она сделалась задворком Европы, а поди ты, отдали жандармам Гарсиа Лорку, смирились с тем, что коммунисты томятся в лагерях Франко или ушли в эмиграцию... А сколько великих идей изгнанники отдали другим государствам и народам? Сколько пользы принесли Англии протестанты, вынужденные бежать из Франции?! А Растрелли и Фонвизин? Или фламандцы, осевшие в Лондоне, а потом отправившиеся в Америку? А теперь и Америка, которая стала Америкой в результате того, что гонимые свободолюбцы были вынуждены покинуть Европу, начала топтать тех, кто искал в ней спасение от Гитлера... Нет, человечество еще не умеет коллективно мыслить об общем благе. Оно научилось отдавать себя иконе, скульптуре, архитектурным ансамблям, Библии, книгам, но брать то, что ему предлагает Знание, оно еще не в силах... Недоверие? Или честолюбие, вера лишь в самого себя — после веков духовного гнета церкви, когда человек был лишен права на выявление своей сути, особенно если она, его суть, не укладывалась в привычную схему догм? Господи, если бы победила вера Аристотеля в то, что лишь удовольствие является главным мерилом деятельности человека! Если бы человечество подписало всемирный договор на то, чтобы считать удовольствие высшим благом, смыслом жизни! Как много горя нам бы удалось избежать... Но как примирить труд каменотеса, работающего под палящим солнцем, с трудом мыслителя, получающего удовольствие от общения со знанием в прохладе библиотеки? Поди, докажи каменотесу, что он испытывает блаженство, когда поднимает глыбы...

Штирлиц похлопал себя по карманам; сигарет не было.

— А почему вы не посмотрели, что лежит в моем внутреннем кармане? — тихо спросил Роумэн, не меняя пьяной позы; он словно бы растекся по скамейке; голос его, однако, был трезвым, и иссиня-черный глаз смотрел грустно, но, как всегда, тяжело. — Я же сказал, что в кармане хранятся такие документы, за которые вы полжизни отдадите...

— У меня осталась четверть, а не половина, — вздохнул Штирлиц, — жаль расставаться.

Роумэн легко, совсем не пьяно поднялся:

— Пошли?

— Если хотите говорить — говорите здесь. И продолжайте играть пьяного, за нами по-прежнему смотрят.

— Я заметил, спасибо.

— Куда отправимся?

— Не знаю.

— Я бы на вашем месте позвонил подруге, Пол... Если вы убеждены, что она против вас, сделайте все, чтобы она не догадалась о вашем знании.

— Подруга отправилась в Севилью. На двадцать шестом километре, между Гетафе и Аранхуец, в тот же автобус сел Кемп, а его машину вел неизвестный мне — пока что, во всяком случае, — человек. Кемп проехал с ней пятнадцать километров, вылез из автобуса, пе-

ресел в свое «шевроле» и вернулся в Мадрид. Еще есть вопросы?

— Вопросов много...

— Я их предвосхищу, доктор. Я вам скажу еще кое-что... Только сначала я вас спрошу: имя доктора Стиннеса вам говорит о чем-либо?

— Конечно.

— Что вы о нем знаете?

— То, что он был виртшафтсфюрером[1] народной экономики, финансировал Гитлера и был декорирован за это высшими наградами рейха.

— Это все?

— Все.

— Напрягите память, доктор. Вы должны знать о нем еще кое-что.

— Я бы сказал, если знал.

— Имя Геро фон Шульце-Геверниц вам хорошо знакомо?

— Конечно. Это ваш коллега, он работал в Швейцарии с Даллесом, офицер из ОСС.

— Вы чудовищно информированный человек. Мне страшно сидеть рядом с вами, от вас исходит знание, которое наказуемо... Что вам еще известно о моем друге Геро?

— Ничего.

— А то, что он зять Стиннеса, знаете?

— Нет.

— Теперь узнали. Ну, и как вы к этому отнесетесь?

— Без восторга. Теперь мне стала понятна механика переговоров между вашим боссом Даллесом и обергруппенфюрером СС Карлом Вольфом...

— Вашим боссом... Договаривайте до конца: переговоры между нашими любимыми боссами Даллесом и Вольфом... А где состоялся контакт между Вольфом и Даллесом?

— В Лугано, в Итальянской Швейцарии.

— Итальянская Швейцария — верно, Лугано — вздор. Контакт был налажен в Асконе, в девяти километрах от итальянской границы, на вилле Эдмунда Стиннеса, брата Гуго, американо-германского промышленника...

— Об этом я тоже не знал.

— Очень хорошо. Значит, мы четко работали, в нашу задачу входило обеспечение абсолютной секретности этой комбинации... Я отвечал за обеспечение секретности, доктор, я, ваш покорный слуга.

— И об этом я не знал... Вы были в Швейцарии под своей фамилией?

— Это не ваше дело. Это мое дело. Как, кстати, моим делом было свято верить в то, что смысл наших переговоров с Вольфом заключается в том, чтобы, войдя к нему в доверие, захватить Гитлера и Гиммлера, наших заклятых врагов... Но это так, попутно... И о встрече в Страсбурге вы тоже не знали?

— Кого с кем? И когда?

[1] Экономический вождь *(нем.)*.

– В августе сорок четвертого, за две недели перед тем, как был освобожден Париж... Кого с кем? Шефов СС и большого бизнеса рейха, вот кого...

– Нет, и об этом я не знал.

– Тогда вам будет интересно послушать. Или – скучно?

– Нет, любопытно.

– Так вот, там произошла встреча руководителей концернов «Мессершмитт», «Крупп», «Рейнметалл», «Бош», «Фольксваген» и «Геркулес». Охрану встречи обеспечивало особое подразделение СС. Среди гостей был человек военно-морского флота, представлявший интересы гроссадмирала Денница, доктор Штрассер из министерства военной промышленности и доктор фон Ягвитц из министерства экономики. Доклад сделал доктор Шайд, руководитель концерна «Хермансдорф унд Шёнбург«, являвшийся одновременно одним из высших руководителей СС; обергруппенфюрер, как и Карл Вольф, ветеран движения. Именно он и сказал собравшимся то, за что любого другого в рейхе расстреляли бы тогда без суда и следствия. Он сказал, что война проиграна, крах Гитлера ясен каждому, кто имеет голову на плечах, поэтому надо немедленно, не теряя ни дня, устанавливать личные контакты с американским бизнесом, используя для этого фирмы «Цейс», «Лейка» и пароходную компанию «Гамбург – Америка», имевшие свои представительства в Нью-Йорке... Да, да, еще в конце тридцатых годов эти фирмы зарегистрировались в Штатах как американские, наши, родимые... Более того, доктор Шайд назвал швейцарские банки, которые станут наиболее доверенными партнерами тех немецких промышленников, которые получат ссуду от НСДАП и организуют «опорные точки» в мире. Понимаете, что это означает?

– Не до конца.

– Расшифровываю. Два швейцарских банка открывают счета на господ «икс», «игрек» и «зет», то есть на людей Круппа, «Рейнметалла» или «Боша», а может, и еще кого. Эти анонимные господа «иксы» приобретают фирмы и компании по всему миру. Денег на это не жалеют, партия Гитлера вкладывает свое золото не во что-нибудь, а в недвижимость – самое надежное дело. Поскольку фон Ягвитц из министерства экономики начинал свою деятельность в качестве сотрудника рейхсляйтера Боле[1] и курировал национал-социалистов в Аргентине, а лишь в одном Буэнос-Айресе жило шестьдесят членов партии фюрера, вопрос о приобретении аргентинских фирм не составлял никакого труда. Тем более что именно он, фон Ягвитц, поддерживал постоянный контакт с аргентинским военным представителем в Берлине подполковником Хуаном Пероном...

– Вот как...

– Именно... Вот почему меня прежде всего интересует Аргентина... Но об этом позже... Самое главное заключается в том, что один мой друг сумел отправить на это совещание в Страсбурге своего человека... нашего верного товарища... И запись бесед, которую он сделал, ушла в государственный департамент... Об этом отчего-то

[1] Шеф заграничных организаций НСДАП.

вспомнили лишь в конце прошлого года, доктор... Но до сих пор никто не хочет всерьез заняться тем, чтобы выяснить: какие же фирмы в мире стали ныне тайными филиалами НСДАП? Кто из них отчисляет деньги тем руководящим нацистам, которые скрылись? Каким образом строится их работа сегодня? Вы помните, я спрашивал вас, как может быть налажена инфильтрация нацизма в демократическое общество? Теперь вы понимаете, что мой интерес не носит характер абстрактный, дядя бесится с жира, ему скучно, вот он и пустился в рискованное предприятие, желая пощекотать нервы... Я долго ждал, доктор, пока мои друзья дома начнут трясти нацистов, но ведь Круппа освободили от суда... Но ведь Стиннеса освобождают от суда... А ведь именно он отправляет посылки в тюрьму заместителю Гейдриха доктору Бисту, который сделал из Дании концлагерь... Но ведь отказались выдать Будапешту доктора Бехера, который сжег полмиллиона венгерских евреев... Но ведь молчат о нацистских активах в Нью-Йорке, о том, что и у меня на родине могут работать филиалы нацистских фирм, созданных на деньги НСДАП после того, как об этом договорились в Страсбурге... Зато очень громко заговорили о том, о чем говорили все эти Бисты и Бехеры во времена Гитлера — о кознях Эйслеров и Брехтов... А это чревато только одним, доктор... Это чревато новой дракой... Вы немец, вы знаете, что это такое, поэтому я решил поставить на вас... И еще потому, что вы хорошо рисуете... Я вижу в вашей живописи второй смысл... И потому еще, что вас слишком явно подставлял Мюллер в деле с Рубенау и Фрайтаг... Ну и, наконец, потому, что вы не полезли во внутренний карман моего пиджака, когда я растекся пьяным блином на этой скамейке.

Штирлиц снова похлопал себя по карманам; Роумэн достал пачку сигарет, положил на скамейку и подтолкнул их пальцем.

— Спасибо, — сказал Штирлиц. — Только вы ничего не сказали о том, как быть с ИТТ и Кемпом... Они — сильные люди, и у них есть какой-то интерес ко мне, зря они не благодетельствуют. Меня взяли туда по вашей просьбе?

— И по моей тоже... Но, вы правы, Кемп ведет свою партию, он служит мостом между нацистами в Европе и нацистами в Латинской Америке...

— Как я могу исчезнуть отсюда? Почему вы думаете, что я приживусь в Буэнос-Айресе?

— Потому что территория Аргентины во много раз больше здешней. Потому что там вы начнете все сначала. Потому что туда вы приедете без хвоста...

— У вас готова для меня легенда?

— Нет. Ею мы займемся вместе. Вы сделаете все, чтобы подойти к Людовиго Фрёйде... Он живет в Буэнос-Айресе... Именно он был тем человеком, кто получал деньги нацистов и обращал их на приобретение земель, фирм и банков в Аргентине. Именно он стал ныне казначеем НСДАП. Именно он есть ключевая фигура в той работе, которой вам придется там заняться...

— Если меня не шлепнут, чего можно ждать в будущем?

— Чего хотите.

– Это не ответ.

– Я спрашиваю: чего вы хотите?

– Чистого паспорта и свободы передвижения без постоянной слежки.

– Второго не обещаю, первое – гарантирую.

– В качестве кого я поеду в Аргентину?

– Я же сказал, об этом будем думать вместе.

– Как зовут того человека, который отправил в Страсбург вашего друга?

– Не комментируется.

– Но его звали не Грегори Спарк?

Роумэн быстро глянул на Штирлица:

– А если и так, то – что?

– Ничего... Просто вы мне дали голую информацию, а в таком деле важна любая подробность, любое имя, слово, цифра...

– Этим человеком был я, доктор. Ясно? Я держу в руках нити, но все они оборваны... Вам не приходилось заниматься у Шелленберга Латинской Америкой?

– Нет.

– Вы там никогда не жили?

– Нет.

– Но какие-то имена из агентуры или сотрудников СД вам могли попадаться, пока вы работали у Шелленберга?

– Вряд ли... Хотя я не исключаю такой возможности.

– Фамилия Зандштете вам говорит что-либо?

– Что-то слышал.

– Что именно?

– Сейчас не помню.

– А две буквы – ФА?

– Что это? – лениво поинтересовался Штирлиц.

– Это «Феррокарилес алеманес»... Железнодорожно-туристская компания немцев в Аргентине со штабом на улице Флорида, четыреста тридцать девять, Байрес... А партайгеноссе Готфрид Зандштете был одновременно пресс-атташе немецкого посольства, пользовался дипломатическим иммунитетом и поддерживал, по поручению страсбургского эсэсовца фон Ягвитца, постоянные контакты как с людьми Перона, когда тот жил в стране, так и с его помощником Гутиересом, когда Перон уезжал по делам. Он же распространял через ФА всю пропагандистскую литературу Гитлера по всей Латинской Америке. Он же вербовал агентуру среди врачей, спортсменов, актёров, бизнесменов, военных, политиков... В Чили ему помогал Герман Кох, сидевший под крышей немецкого вице-консула в Пунта-Аренас... Когда Гитлер пошатнулся, Кох ушел в бизнес, купил компанию «Штубенраух» в Патагонии, открыл ее филиалы во всех городах на юге страны, приобрел в Аргентине огромное количество земель и построил виллу «Пудето» на пересечении стратегических дорог двести девяносто два и двести девяносто три, а они выходят на автомагистраль номер «три», которая завязывает воедино все порты Южного побережья континента... После войны его люди вложили несколько сот тысяч долларов в приобретение

новых земель на границе с Чили, примерно в районе озера Барилоче. Его люди совсем недавно приобрели сотни тысяч гектаров земель в провинции Сальта... Следы этой сделки тянутся к Арндту фон Болен унд Гальбаху, из семьи Круппа... Центром агентуры НСДАП в Парагвае был «Германский банк Южной Америки», в Асунсьоне; незадолго перед крахом, предупрежденные из Аргентины, они перекачали все свои активы в покупку земель вдоль реки Парана, начиная с города Игуасу... От секретной службы Франко на юге Америки все контакты с наци осуществлял пресс-атташе Хуан-Игнасио Рамос, он сейчас консультант ИТТ в Байресе... Ясно? Не запутались в именах?

— Пока нет.

— Продолжать?

— Валяйте.

— Во рту пересохло, язык шершавый...

Роумэн оглянулся; в парке, принадлежавшем клубу, вход в который охранялся, было по-прежнему пусто; небо сделалось прозрачным, казалось, вот-вот оно лопнет и взору откроется что-то яркое, предметное, словно бы рисованное кистью «паршивого модерниста» Сальвадора Дали; медленно *стечет* на землю красно-черным, тревожным и страшным...

— Ойга ме![1] — крикнул Роумэн. — Есть тут кто?!

Его голос словно бы ждали; сразу же появился официант в черных брюках, накрахмаленном белом пиджаке, в ослепительно-белых фильдеперсовых перчатках, почтительно склонился перед кабальеро, выслушал его просьбу — «виски и много льда»; скользяще отошел; спина его демонстрировала готовность исполнить заказ лучшим образом и в самое кратчайшее время.

Роумэн продолжил:

— Другим помощником Зандштете был профессор немецкого языка в медицинском колледже Бернард Майер. Он работал по армии, поддерживал постоянный контакт с Хосе-Рамоном Даусом, начальником управления спорта генерального штаба, другом Перона. Третьим — Отто Герман Фолькхмаймер, сейчас он в кинобизнесе, у него осталось много картин доктора Геббельса, он их крутит и поныне в маленьких кинотеатрах.

Подошел официант, принес виски со льдом, под мышкой держал складной столик, установил его возле скамейки, поинтересовался, не стоит ли подать соленых орешков, сказал, что он готов выполнить любую просьбу кабальеро, только бы им хорошо отдыхалось, и *отплыл* в дом; спина по-прежнему исполнена готовности, она показалась Штирлицу куда более выразительной, чем лицо.

Выпив, Роумэн продолжил:

— Считают, что именно Фолькхмаймер привлек к сотрудничеству одного из ведущих ученых Аргентины профессора Умберто Дейва; тот в свое время посетил рейх, был в восторге, организовал в университете ячейку НСДАП, работал среди наиболее талантливых физиков и математиков страны...

— Откуда вам пришел этот материал? — спросил Штирлиц.

[1] Ойга ме! — дословно: послушай! *(исп.)*.

– Не комментируется, – отрезал Роумэн. – Я своих секретов не открываю.

– Хорошо, я спрошу иначе: много денег стоила эта информация? Пожалуйста, ответьте, это очень важный вопрос, Пол, он важен для вас, не для меня...

– Естественно, за информацию такого уровня платят...

– Вы получили эти данные после того, как за вами стали смотреть?

– Слушайте, не надо говорить загадками.

– Ваша школа, – усмехнулся Штирлиц. – Вы со мной постоянно разговариваете загадками. Повторяю, не я заинтересован в ответе, а вы.

– Почему?

– Вы мне перечислили все имена? Или что-то осталось?

– Конечно, осталось.

– Например, Тулио Франчини, – сказал Штирлиц, – работавший связником у торгового советника немецкого посольства в Чили Бёттера... Священник Педро Вьяне... Осталось еще имя Вилли Кёна, назначенного Гитлером «запасным комиссаром НСДАП по Латинской Америке» с местом проживанин в Сантьяго, улица Монеда, тысяча пятьдесят четыре; Мазилья, один из директоров немецкой авиакомпании ЛАТИ; испанский контакт Зандштете партайгеноссе Зайдлиц, выступавший под псевдонимом «Хосе-Хуан из Бильбао».

Роумэн потер лицо пятерней, попробовал *сломаться*, но смеха не получилось; глянув на Штирлица своим глазом-маслиной, спросил:

– Так, значит, вы в комбинации против меня?..

– Тогда бы я не открылся вам... Вам продали товар, бывший в употреблении, Пол... В сорок третьем году Палата депутатов Аргентины начала следствие по поводу «Бюро информации» ФА – «Феррокарилес алеманес»... Во время расследования все те имена, о которых вы мне говорили, были так или иначе упомянуты... Явки, которые вы только что называли, были раскрыты. Даже шифр нацистов аргентинцы смогли прочитать... Но самое интересное заключается в том, что, когда было назначено заключительное слушание дела и открылось бы *все*, президента свергли военные и к власти пришли люди бывшего военного атташе Аргентины в рейхе – полковника Перона... Такого рода информацию вам мог продать умный спекулянт, который знает, что эти материалы были опубликованы крошечным тиражом, а потом изъяты из распространения Пероном, или же заведомый дезинформатор, который хочет пустить ваш поиск по отработанным каналам, где любого отправленного вами человека будут ждать люди из военной разведки. А они бросят вашего человека в тюрьму. Либо начнут с ним играть. А когда с человеком, выполняющим поручение разведки, играют, считайте дело конченым, останетесь в дураках.

Роумэн хрустко потянулся:

– Я бы не хотел вас иметь своим врагом, доктор.

– А я бы с радостью записал вас в свои друзья, Пол.

– Но друзья не врут. А вы мне врали, когда говорили, что не занимались Латинской Америкой...

Всей правды Штирлиц открыть не мог, он не имел права говорить о том, как ему помог генерал Альфредо Гонсалес, но он должен был ответить Полу так, чтобы тот не ощутил его закрытости.

Поэтому он сказал:

– Я действительно ею не занимался. Я работал в архиве ИТТ, а нет ничего страшнее неразобранных архивов, Пол. Могу показать вам стенографический отчет Палаты депутатов по делу ФА.

– Как вы думаете, Кемп знал, что там хранится этот документ?

Штирлиц усмехнулся:

– Хранится... Он не хранился, он валялся в ящике, пошел потеками, изъеден мышами... Впрочем, я не исключаю, что он знал об этом документе, но тогда он обязан был верить в то, что вы заведете разговор об этом предмете именно со мной. Поэтому я вас и спрашиваю: кто дал вам эту информацию?

Роумэн не мог ответить Штирлицу; у него просто-напросто язык не поворачивался сказать правду, потому что эта «совершенно секретная информация» пришла ему от Роберта Макайра, из отдела разведки государственного департамента, когда он сообщил туда о своем намерении использовать «доктора Брунна» для работы по выявлению нацистского подполья на юге Латиноамериканского континента.

– Отвезите меня домой, – сказал Роумэн, поднявшись со скамейки. – Буду спать. Очень хочу спать.

...Вернувшись домой, он не лег спать, а, приняв душ, поехал на конспиративную квартиру, где его уже как час ждал Эронимо.

КРИСТИНА КРИСТИАНСЕН

В Севилью она приехала вечером, когда огромные, низкие звезды зажглись в небе, казавшемся плотным, словно металл, – до того оно было черным. Радужные, зыбкие, бело-голубые круги вокруг желтой луны, на которой до странного похоже повторялись очертания океанов и континентов земли, казались таинственными существами, вроде глубинных жителей моря.

На автобусной станции, как и сказал Кемп, она сразу же села в такси, попросила отвезти ее в отель «Мадрид», сняла там двухместный номер (плата такая же, как за одноместный, посетителей нет, осень, сдали бы и за полцены, если поторговаться), позвонила Роумэну, оставила ему свой номер, сказала, что на нижней полке холодильника лежит прекрасное мясо, жаренное в чесночном соусе; очень скучаю, я здесь не выдержу три дня, ну ее к черту, эту Севилью; вышла на улицу, села во второе такси, а не в первое и попросила шофера отвезти ее в старый город. Там все улицы были заполнены гуляющими, светло как днем, множество экипажей, лошади, расфранченные, словно женщины.

Она проверилась, зайдя в первое попавшееся кафе, набрала тот номер, который Кемп продиктовал во время их краткой встречи в автобусе, и пригласила к аппарату сеньора Бласа.

– Где вы? – спросил Блас, не ответив на приветствие; голос его был низким, властным; по-немецки говорил с ужасным акцентом. – Я за вами подъеду. Назовите кафе, откуда звоните.

– Карденас, – сказала Криста. – Кафе называют Карденас.

– Такого в городе нет, – отрезал Блас.

– Сейчас я сбегаю наверх, уточню, вы подождете у аппарата?

– Где находится кафе?

– На очень красивой маленькой улочке.

– Вполне подробный адрес, – усмехнулся Блас. – Хорошо, поглядите, я буду ждать.

Криста выбежала на улицу; кафе, конечно же, называлось «Рио-Фрио»[1], а чуть ниже было крупно выведено «Каса Карденас»[2], ничего не попишешь, Карденас хотел подчеркнуть, что «холодная река» принадлежит именно ему, и никому другому.

Когда женщина вернулась к телефону, место ее было занято; маленький крепыш в черном костюме, облегавшем тело так, словно он был танцовщиком, томно кадрил невидимую собеседницу, обещая ей немыслимый вечер, когда легкие и пьянящие, словно молодое вино, «струи Зоры вознесут ее к небесам». Собеседница, видимо, отказывалась возноситься, танцор сулил еще более интересные вещи, показывая Кристине на пальцах; что, мол, сейчас, еще одна минутка, и все будет в порядке.

Говорил он тем не менее не минутку, а добрых пять.

Когда Кристина перезвонила, Блас заметил:

– Вы, видимо, первый раз в Испании? Оставили б возле трубки сумочку, у нас не воруют... Люди б поняли, что вы вернетесь, а не забыли положить трубку на рычаг – у нас это часто бывает, мы рассеянные...

Он выслушал адрес, подивился тому, что Карденас вынес свое имя на вывеску, стареет, болезнь честолюбия с годами прогрессирует, и пообещал быть в «Рио-Фрио» через полчаса.

– Закажите себе вина, скажите, чтоб принесли «вино де каса», у Карденаса хорошие виноградники на побережье. Вы моя гостья, так что заказывайте все, что хотите.

...Как и положено в Испании, он опоздал на двадцать минут.

– Вы должны меня простить, – хмуро сказал Блас, быстро обняв женщину своими холодными глазами, взгляд его был откровенно оценивающим, бесстыдным, – как и все нации, лишенные настоящей индустрии, мы плохо ориентируемся во времени. Американцы самые точные люди, потому что плавят больше всех чугуна; если человек зазевается у домны, это грозит ему растворением в кипящем металле, очень больно. Даже если он спасется, его прогонят с работы, и он не сможет жить так, как жил раньше – с холодильником и автомашиной. А нам ничего не грозит... Если прогонят с работы – как жил испанец в нищете, так и будет продолжать жить. Зачем же

[1] «Рио-Фрио» – «Холодная река» *(исп.)*.

[2] «Каса Карденас» – «Дом Карденаса» *(исп.)*.

торопиться? Видите, я самоед... Как вино?

— О, оно действительно прекрасно.

— Вы голодны?

— Очень.

— Прекрасно, — сказал Блас. — Меня просили показать вам город, я готов быть вашим гидом. Сейчас я закажу столик в «Лас Пачолас», там дают самую андалусскую еду.

Он пружинисто поднялся и пошел вниз, к телефону.

Все-таки Пол, подумала Криста, совершенно не думает о том, как выглядит; он всегда одинаковый, такой, как на самом деле; все другие мужчины хотят казаться. Считают, что женщины склонны к игре; это неверно; именно мужчины больше всего думают о том, какое впечатление они производят.

...В начале сорок третьего в Осло привезли фильмы о природе Германии; в отличие от художественных картин эти ленты были подкупающе-правдивы, сделаны со вкусом и поэтому собирали довольно большую аудиторию — на фашистские боевики народ не ходил, потому что там все враги были чудовищами, каждый немец — богом, а кто любит голую пропаганду?

Криста особенно запомнила один фильм: оператор установил камеру на большой поляне и снял весенний слет тетеревов; черно-красные красавцы бились друг с другом, распушив хвосты, бились отчаянно, сшибаясь по-лебединому выгнутыми грудками, а тетерки наблюдали за этим турниром любви, прохаживаясь по поляне, словно бы все происходящее их и не касалось вовсе.

Она запомнила этот фильм так хорошо потому еще, что именно в это время немецкий офицер, поселившись в соседнем с ними доме, начал посылать ей цветы. Откуда он доставал цветы в ноябре, в затемненном Осло, где тогда именно ввели комендантский час, она не могла понять, но ей было это приятно, хотя отец как-то брезгливо, недоумевающе заметил:

— Принимать подарки от оккупанта?

А второй офицер — он занимал первый этаж в том же доме: хозяева сбежали в Англию — присылал ей шоколад; каждую субботу приходил его денщик и передавал старенькой фру Есперсен, которая жила в их семье уже двадцать лет, красивую коробку с диковинными конфетами, особенно поразительной была начинка — вино и вишни.

Потом в том же коттедже поселился третий немец; он специализировался на книгах — раз в неделю присылал томик поэзии или же альбом с фотографиями различных регионов Германии.

Он-то и пригласил Кристу в кино, как раз на тот самый фильм о бое тетеревов; она попросила его не провожать ее до дверей.

— Папа против того, чтобы вас провожал офицер оккупационной армии? — спросил немец; его звали Ганс.

— Не в этом дело, — легко солгала Криста, — но вы, конечно, знаете, как к вам относятся в Норвегии?

— К нам относятся хорошо, — ответил Ганс. — Только вздорные одиночки не понимают того, зачем мы сюда пришли. Неужели вас не страшит угроза британской оккупации? Пример Ирландии дол-

жен быть пугающим.

На праздник рождества они заявились к ним в дом втроем: книжник Ганс, Фриц с цветами и «шоколадный Вилли»; были чрезвычайно вежливы, сделали все, чтобы демонстративный уход из гостиной ее отца не был таким шокирующим, но все же вели себя словно те самые тетерева на току, только что хвосты не пушили.

...Блас вернулся, снова оценивающе оглядел Кристу, словно бы раздевал ее, попросил официанта принести еще одну бутылку вина и сказал, что в «Лас Пачолас» столик зарезервирован, сначала выпьем здесь, потом прокатимся на экипаже по старой Севилье, а после отправимся на ужин; кстати, там прекрасные фламенко, значительно лучше мадридских, послушаем песни Андалусии, они здесь совершенно особые.

— О, как прекрасно! Спасибо! — откликнулась Криста.

— Вы в первый раз на пенинсуле? — спросил Блас.

— Да.

— Интересно?

— Конечно.

— Что успели посмотреть в Мадриде?

— Не очень-то много, — ответила Криста, усмехнувшись чему-то. Она ведь не хотела уезжать в Севилью; рядом с Роумэном, в его хирургически чистом доме, а потому, в самом начале, показавшемся ей отстраняюще-холодным, она совершенно неожиданно для себя испытала странное чувство, похожее на незнакомую ей ранее умиротворенность. Будучи человеком сильным, очень самостным, не играющим, он позволил ей ощутить спокойствие рядом с ним, то спокойствие, какого она не знала с той поры, как гестапо забрало отца и маму. Она убеждала себя, что все это выдумка, она на работе, никаких сантиментов, это мешает делу, расслабляет, дает простор для иллюзий, она говорила себе, что все происходящее — актерское «приспособление», просто надо придумать себе эту умиротворенность, чтобы сподручнее было делать то дело, которое ей поручено, но чем дальше, тем явственнее она понимала, что ощущение, родившееся в ней, не есть приспособление для более точного исполнения той роли, которая была для нее написана, но самое истинное чувство, ранее ей незнакомое.

Во время первой встречи с Кемпом она сказала:

— Надо бы поскорее все завершить... Боюсь, мне будет довольно сложно работать в будущем...

— Увлеклись? — спросил он, стоя к ней вполоборота и разглядывая полотно Мурильо. — Хороший мужчина?

— Да не в этом дело, — ответила она раздраженно. — Он очень открытый человек... Верит мне... И в нем нет гадости...

— Поступайте, как знаете, — ответил Кемп. — У нас к нему тоже нет отвращения. Просто следует понять, чем он живет дома. Это не есть нечестность. В конечном счете можете подсказать ему что-то, мягко подействовать на него... Вы никогда не поступите по отношению к нему бесчестно. Наоборот, вполне вероятно, что понадобитесь ему в сложной ситуции... Если он действительно намерен жениться на вас, не отказывайтесь, не надо... А вообще-то поступай-

те так, как вам велит совесть. Я не смею вас неволить, упаси бог.

Точно просчитав мужчину Роумэна, именно Кемп предложил Кристине настоять на поездке в Севилью; это проверка, заметил он, и для вас и для него; ничто так не выявляется, как чувство, — особенно во время короткой разлуки. Поймете, что он вам действительно дорог — очень хорошо, мы расстанемся, начнете строить свою жизнь; ощутите в нем холодность, что ж, продолжим наше дело, вам не будет так трудно, как сейчас, все понимаю.

Говоря так, Кемп, однако, думал совершенно о другом: более всего привязывает мужчину, а особенно такого, как Роумэн, самостоятельность женщины: раз поездка в Севилью задумана — она должна осуществиться. Не для Кристы, а именно для Роумэна и была задумана поездка в Севилью; внезапная увлеченность женщины Роумэном оказалась для него неожиданной; все-таки женщины загадочные существа: увлечься таким человеком? Чудовищный характер, никакого шарма, груб, бестактен, совершенно беспомощен в кровати...

Слушая тогда Кемпа, она вспоминала Ганса, то утро, когда он, лежа в кровати, гладил ее по мокрой щеке и тихо говорил, как рвется его сердце за родителей «белобрысика» (она тогда еще не красилась, волосы были, как копна соломы), успокаивал ее, нежно шептал на ухо какие-то ласковые слова, слушая которые Криста расслаблялась, будущее не казалось ей таким ужасным, каким виделось с тех пор, как случилась трагедия с родителями.

А потом Ганс попросил помочь ему в его борьбе за несчастных стариков, — «ты должна познакомиться с тем, кто по-настоящему виноват в их аресте; это сдвинет дело с мертвой точки; мне будет легче говорить с теми офицерами, от которых зависит их судьба». Она, конечно же, согласилась; он устроил ей встречу с доцентом университета Олафом Ли; гестапо подозревало его в связях с англичанами, надо было подвести к нему своего осведомителя; Ли был человеком осторожным, знакомств чурался; все те, кто его окружал ранее, были преданы ему и разделяли общее для норвежцев чувство глухой ненависти к оккупантам. Криста ему понравилась, тем более он знал ее отца и преклонялся перед талантом профессора; через две недели она сказала Гансу, что не может больше, «он хочет, чтобы я легла с ним в кровать». Ганс тогда долго молчал, потом принес вино и начал пить, наливая и ей одну рюмку за другой; под утро он сказал — в кровати уже, кончив истязать ее: «Я прощу тебе эту жертву... Если это поможет вернуть папу и маму, я прощу тебе все, белобрысик»... Когда она вернулась к нему через два дня от Олафа Ли, он всю ночь выспрашивал ее, как ей было с другим, любил ее исступленно, а потом исчез, не попрощавшись. Той же ночью к ней постучался незнакомый мужчина, говоривший по-норвежски с акцентом, сказал, что нужно срочно собраться и уехать отсюда, потому что Ли схвачен во время радиосеанса с Лондоном и его друзья считают ее виновной в провале, возможна месть, надо поменять квартиру, «мы не бросаем в беде наших друзей, особенно таких нежных и умных девушек, как вы». Он-то, этот Густав Гаузнер, и стал ее руководителем, он-то и устроил ей свидание с мамой, кото-

рую перевели из гестапо в госпиталь; отца обещали отпустить вскорости, после того как она закончит новую работу...

Она никогда не могла забыть, какая брезгливость к себе самой овладела тогда ею; она увидела себя со стороны, словно свое отражение в зеркале, в самые ее хорошие часы, когда она нравилась себе — особенно утром в воскресенье, можно поваляться в кровати, зная, что скоро будет кофе и все соберутся за столом, и папа будет рассказывать поразительные истории про свои числа, а мама сделает прекрасные хрустящие тостики на маргарине, и будет тихо и так надежно, как нигде, только в воскресное утро бывало ей так спокойно за столом с папой и мамочкой.

Она видела не себя даже, а какую-то женщину, невероятно, до ужаса на нее похожую; женщина стояла возле зеркала в легкой пижамке, красно-голубые цветочки по белому, и все в ее лице было прежним — веснушки, вздернутый нос, ямочка на подбородке, но это же не я, думала она тогда, я не могу быть ею, этой гадкой подстилкой.

А почему? — услыхала она тогда чей-то тихий вопрос.

Потому что, ответила она, никто не видел, как я ревела в ванной, когда выходила от этого несчастного Ли, как я просила у бога прощения за то, что свершаю, как я перечитывала Библию, только бы найти оправдание себе, и я находила это оправдание, ибо заповедь гласила, что отца и мать надо возлюбить превыше всего, а если есть любовь, тогда можно пойти на все, только бы спасти тех, кто дал тебе жизнь, а сейчас подвержен муке.

Нет, возразил ей голос, совсем не похожий на ее собственный, это не оправдание. Ты должна была торговаться, как женщина на базаре, ты обязана была сказать: «Как только мамочка и папа придут домой, я выполню все, что я должна для вас выполнить, но я отдам свою честь лишь тогда, когда жизнь тех, кого я люблю, будет спасена».

Она тогда пошла в церковь, провела там целый день, вымаливая себе прощение, уговаривала себя, что прощение отпущено ей, но в самой сокровенной части своей души не верила этому, и то, что она не верила себе самой, было самым ужасным, просто невыносимым. Она вернулась домой и приняла двадцать таблеток снотворного и засыпала, чувствуя какое-то счастливое успокоение, особенно когда написала: «Папочка и мамочка, я мечтаю, чтобы мы там увиделись, но я сделала все, чтобы вы туда пришли как можно позже».

Но первым, кого она увидала, был Гаузнер, склонившийся над нею в больничной палате, — с черными кругами под глазами, заросший щетиной, сильно постаревший. Он тогда погладил ее по щеке, вздохнул и сказал: «Никому из нас не дано уйти от своей судьбы, девочка; смертью, как и жизнью, распоряжаемся не мы, а наш рок, и поступать можно только так, как велит судьба; ее нельзя обмануть».

— Плохо себя чувствуете? — спросил Блас. — Устали с дороги?

— Нет-нет, — ответила Криста. — Просто я думаю, о чем бы вас попросить... Мне очень многое рассказали о Севилье, я должна посмотреть фабрику, где работала Кармен, католическую академию, она вроде бы связана с экспедицией Колумба, арабские улочки, ар-

хитектуру семнадцатого века, особенно в старом городе, библиотеку и еще десяток мест, я даже забыла их названия...

– Напомним, – ответил Блас. – С чего бы хотели начать?

– Мне все равно. Вы же мой гид.

– Я бы начал с того, с чего хотят начать все мужчины, – усмехнулся он и поднял бокал. – За ваш приезд в Севилью.

– Спасибо, – ответила она и сделала маленький глоток тяжелого, черно-красного вина.

– Специального интереса у вас нет?

Криста не поняла, удивилась:

– То есть?

– Ну, какие-нибудь фирмы, занятные люди, университет...

– Нет-нет, меня это совершенно не интересует.

– Как устроились?

– Вполне сносно.

– В отеле?

– Да.

– Как называется?

– «Мадрид».

– Это сарай, а не отель. Лучше вам переселиться в ателье моего друга Витторио. Он сейчас пишет в Малаге, прекрасная мансарда, есть телефон, старый район, там вам будет приятнее.

– Нет-нет, спасибо. Я уже сказала в Мадриде, где поселилась. Туда могут звонить.

– Нет ничего проще оставить портье ваш новый номер, – заметил Блас. – Впрочем, как знаете. Дело гида – предлагать, возможность гостей – отказываться от предложений...

– Когда мы должны быть в «Лас Пачолас»?

– Это зависит от вас.

– Нет, это зависит от начала концерта, который там дают фламенко.

– О, это будет ночью.

– Тогда у меня есть время принять душ?

– Конечно.

– Я могу не переодеваться?

Он посмотрел на нее, ничего не ответил, пожал плечами – они у него были крепкие, налитые, но все равно в них угадывалась женственность, слишком покатые; у Пола они сухие и квадратные, словно рубленные топором, и глаза у него очень холодные, хотя жгуче-черные; они у него теплеют только перед сном, а еще, когда он смотрит на меня ранним утром... А у этого глаза тают, как топленое масло. И ладони, наверное, потные.

– Едем? – спросил Блас. – Или хотите еще вина?

– Лучше потом.

– Как знаете, – ответил Блас, положил на серый мрамор столика купюру, крикнул старику, стоявшему за баром, чтобы сдачу он оставил себе, и, пропустив Кристу перед собой, вышел на улицу.

– А у вас жарко, – сказала она. – Странно, ноябрь – и такая жара.

– Это задул ветер из Африки. Очень опасный ветер.

– Почему?

– В Вене его называют «фён»... Если муж убивает жену в пору, когда дует фён, ему смягчают наказание. Шоферов, совершивших катастрофу, вообще освобождают от наказания. Этот ветер очень действует на психику... Наши женщины сразу же беременеют в пору фёна, он будит желания...

– Хорошо знаете Вену?

– Нет. Просто люблю читать. Вообще-то испанцы предпочитают слушать... У нас все невероятно обожают внимать рассказчикам, а вот я какой-то дурной испанец, обожаю читать, наверное, оттого, что никому не верю, только себе.

Он как-то артистически взмахнул рукой, таксист заметил его жест издали, так же артистически и рисково с в а л и л к тротуару, распахнул дверь и произнес невероятно длинную фразу.

– Садитесь, – сказал Блас, пропуская Кристину первой.

– А что вам сказал шофер? – спросила она.

– Вы очень подозрительны, – заметил Блас, тесно придвинувшись к ней.

– Скорее любопытна.

– Подозрительны, не спорьте, я чувствую женщин, – сказал Блас, и по тому, как он это сказал, Криста сразу же поняла, что он совершенно не чувствует женщин; уметь с ними спать еще совсем не значит чувствовать их. Мужчины наивно полагают, что чем неистовей они любят женщину в постели, чем более они властны с ней, тем сильнее она к ним привязывается, становясь кошкой, дворовой сучонкой или курицей, смиренно семенящей за дурнем с гребешком. Бедные мужчины, они совершенно забывают о любви лебедей или тигров! Что делать, не все они любят читать, то есть прикасаться к первоисточнику знания; большинство, этот Блас прав, предпочитают слушать рассказчиков, а те повторяют то, что им рассказывали старшие друзья, а ведь любой рассказ – это искажение представлений... Никогда еще необходимость в обыкновенной нежности не была столь потребна женщине, как в этот жестокий век. Физиология превалирует, лишь если женщина совершенно лишена интеллекта, тогда ее чувства ближе к животному, чем к человеку. И еще такие женщины лишены фантазии, той спасительной ипостаси человеческого духа, которая только и может гарантировать счастье подле мужчины в два раза старшего, и, наоборот, обречь на мучения рядом с молодым атлетом...

...Она всегда помнила лицо старого англичанина, к которому ее подвел Гаузнер; через него она должна была познакомиться с Грегори Уорком, американским дипломатом, работавшим в Лиссабоне, – немцы дали слово, что отец придет домой сразу же после того, как она подружится с Уорком, тот жил в Португалии один, без семьи, очень тосковал.

Англичанин утащил ее в номер, прервав ужин; раздевал трясущимися руками, сопел, шаркал ногами, в кровати был похож более на борца, чем на любовника, ей было плохо с ним, она всегда помнила Ганса, он научил ее быть женщиной, она совершенно теряла разум, когда он целовал ее левое плечо и тоненькую косточку ключицы.

– Не надо так сильно, – попросила она англичанина, – на меня это не действует, моя эрогенная зона вот тут, – она тронула свое плечо.

Англичанина тогда перекосило от ярости, он ударил ее по щеке, сказал, что она паршивая проститутка, и ушел из отеля. К Грегори Уорку ей пришлось идти самой, она делала все, что могла, но в кровать его уложить не сумела, а ведь от этого зависела жизнь папы, только от этого и ни от чего иного, так сказал Гаузнер, дав ей клятву офицера сделать для отца все после того, как она, в свою очередь, выполнит то, что ей было поручено.

– Хотите курить? – спросил Блас.

– Спасибо. Я курю, только когда пью. Шофер сказал что-то неприличное? Отчего вы не перевели мне его тираду?

– Я думал, вы забыли об этом... Вы как-то странно проваливаетесь в себя... Я думал, вас это больше не интересует... Нет, шофер не сказал ничего неприличного... Просто он из Пасальи, это такой район в горах по направлению к Херес-де-ля-Фронтера, там мужчины очень велеречивы, вместо «пойдемте» они говорят: «не сочли бы вы возможным выделить из своего драгоценного времени хотя бы минуту и, если, конечно же, это никак не обременит вас, пойти вместе со мною, вашим покорнейшим слугой». Вот он и сказал: «Я готов предоставить мою машину в распоряжение сеньора, чтобы он мог удовлетворить все желания очаровательной сеньоры». Проще говоря, «такси свободно».

– Какая прелесть, – улыбнулась Криста, подумав при этом, отчего же она не услыхала в этой длиннющей фразе, произнесенной шофером, единственного испанского слова, которое выучила в совершенстве, – «сеньора».

...В отеле Блас спросил:

– Мне подождать вас в холле? Или можно подняться в номер?

– Нет уж, – ответила она. – Пожалуйста, подождите здесь, я вернусь очень быстро.

Она поднялась к себе, разделась, вошла в крохотную ванну, пустила душ; горячей воды не было; какая ледяная, подумала она, ведь на улице такая жара; наверное, у них еще работают арабские водопроводы; очень странно, ушла культура, поумирали поколения, а творение рук человеческих живо по сию пору.

Криста отчего-то вспомнила, как отец – незадолго перед арестом – говорил:

– Знаешь, чем дальше, тем больше я верю в то, что можно вывести математическую формулу истины. Да, да, это так! Надо оттолкнуться от концепции поиска курса самолетов. Ломаные куски разных направленностей складываются – волею человеческого разума – в абсолют линии... Где-то здесь сокрыт ключ к моей идее... Числа подобны характерам, ты никогда не задумывалась над этим? Попробуй внимательно вглядеться в семерку и единицу. Эти цифры более всего меня занимают. А как интересна шестерка. Я бы очень хотел, чтобы ты занялась теорией чисел, пусть тебя упрекают в

склонности к черной магии и оккультизму, пусть смеются... Я согласен с Бором: всякая настоящая идея обязательно должна страдать сумасшедшинкой...

Замерев под душем, она думала, почему дети так убеждены в своей правоте, отчего они столь напористы в отстаивании своей правды, только-только были маленькие, слово родителей почитали законом, мама и папа все знают, они самые сильные, справедливые и умные, а наступает пора, минует человек какую-то незримую границу (где проходит? между чем и кем?) и делается совершенно убежден в своей правоте, родителей начинает считать старомодными, трусливыми, да и не такими умными, какими они казались прежде... Если бы можно было уберечь поколения от этой — из века в век повторяющейся — трагедии! Как много сердец не было бы разбито, как много жизней не было бы изломано.

О чем я, подумала Криста. Почему *это* навалилось на меня? С каких пор? После того, как Кемп вышел из автобуса? Нет. Раньше. Мне двадцать пять, но я прожила три жизни, а то и больше, я *считаю* людей, а не думаю о них, я не мечтаю о будущем, как другие, а просто программирую возможную ситуацию, учитывая при этом допустимость недопустимого... Пол был *ситуацией*; теперь возникла определенная неожиданность в моих с ним отношениях... Ну и что? Я не имею права на иллюзию. Их у меня вытравили. Если я поддамся бабству, которое есть надежда, могу сломаться, запить, превратиться в уличную шлюху...

«А ты и есть шлюха», — услышала она в себе и не сразу нашла слова, чтобы возразить; первое, что пришло на ум — «необходимость жертвы», — показалось бездоказательным; мало ли кто оказывался в таком же положении, как она, но ведь они не искали выход в кровати с человеком, который носил такую же форму, как и те, которые увозили в тюрьму папу с мамочкой.

«Тебе хотелось этого», — услышала она то, что раньше запрещала себе слышать.

Нет, возразила она себе, мне не хотелось этого, не хотелось, не хотелось, не хотелось!

И потому, как в голове слышалось только одно это испуганное и жалостливое «не хотелось», ей стало ясно, что хотелось, что этот холодноглазый, корректный и участливый Ганс с его цветами был уже давно приятен ей, когда еще он только начал распускать хвост при «шоколаднике» и «цветочнике», только он это делал достойнее, чем они, и умел скрывать *свое* желание.

Криста сорвала с крючка полотенце, резко завернула кран, словно испугавшись, что и он скажет что-то, растерлась докрасна, оделась, вышла в комнату и, сев к столику, заказала Мадрид.

Роумэна дома не было.

Он очень плохо выглядел последние дни, подумала она. У него были совершенно больные глаза. И он много пил. Нет, это не потому, что я стала ему в тягость, я помню, как пил Грегори Уорк, когда не мог переступить любовь к своей жене, как он тяготился нашими встречами, как он хотел быть со мной и не мог себе этого позволить, потому что был не тетеревом, а настоящим мужчиной, для

которого самоотсчет начинался с сердца и разума, а не со слепого животного влечения.

Как-то, сняв ее тонкие руки со своей шеи, он сказал Кристе:

— Соломка, наверное, я рано состарился, но я не могу лечь в постель с женщиной, в которую не влюблен. Говорят, это случается с людьми, которым стукнуло пятьдесят. Странно, мне тридцать четыре, но чувства у меня стариковские. И пожалуйста, не говори, что пятьдесят — расцвет мужчины. Пятьдесят лет — это начало заката, хотя он может быть очень красивым и длительным, как в конце августа...

Почему я так часто вспоминаю Грегори? — спросила себя Криста. Я видела его последний раз три года назад, на набережной Тэжу, неподалеку от Эсторила, и была такая же осень, только там очень влажно, и было так же тихо, как сейчас, в этой конуре, а мне было так же плохо, как сейчас... Нет, сейчас еще хуже, потому что Пол очень похож на Уорка, он такой же открытый и так же застенчив, даже просит отвернуться, когда раздевается... Я вспомнила Грегори потому, сказала она себе, что письмо Пола было адресовано тоже Грегори, какому-то Грегори Спарку, вот отчего я так часто вспоминаю его...

Она не знала и не могла знать, что Грегори Спарк, друг Пола, работал в Лиссабоне под фамилией Уорк, как, впрочем, и Спарк не мог догадываться, что «соломка» была немецким агентом, а уж то, что именно она оказалась той «веснушкой», которая принесла счастье Полу Роумэну — тем более.

Она не знала и не могла знать, что Пол Роумэн не отвечал на ее звонки, ибо находился сейчас на конспиративной квартире, которая поддерживала постоянную связь с Севильей, где за каждым ее шагом наблюдали его люди.

ШТИРЛИЦ (ноябрь сорок шестого)

Генерал Серхио Оцуп встретил его у порога; дверь была отворена; жил он в громадной квартире, в самом центре старого Мадрида, в узком доме начала прошлого века, на третьем этаже; запах здесь был — и это поразило Штирлица — русским: ладан, старые книги и самовар, именно самовар с сосновыми шишками, с особым теплом, которое существовало для него только в России.

— Заходи, заходи, хозяин барин, — сказал Оцуп по-русски, и эти слова его, петербургский говор, смешинка в глазах, некоторая суетливость, как предтеча дружеского застолья, свойственная именно русским, когда те ожидают гостей, поразили Штирлица.

— Простите? — спросил он Оцупа непонимающе; его испанский после года, прожитого в Мадриде, стал совершенно изысканным. — Что вы изволили сказать? Я не понял вас...

— Так и не должны, — весело ответил Оцуп. — Это я по-родному говорю, по-русскому, драпанул оттуда в восемнадцатом. Петечку звал с собою, младшенького, а он Ленина фотографировал, не захо-

тел, служил делу революции. Он и поныне правительственный фотограф в Кремле, а я генерал у Франко... Так-то вот... Разметало братьев, стоим друг против друга, библейский сюжет! Раздевайтесь, милости прошу в дом. Сначала посмотрим коллекцию, потом гости подойдут, перезнакомлю...

Музей начинался в прихожей, увешанной и заставленной хорезмскими тарелками, старинным афганским оружием, керамикой из Бухары, индийскими, резанными из кости слонами, обезьянами и когтистыми орлами.

– Восхитительная экспозиция, – сказал Штирлиц. – Я всегда считал, что Бухара славится бело-голубыми цветами, а у вас, скажите на милость, зелено-синие рисунки...

– Я не настаиваю на том, что это Бухара, – заметил Оцуп, внимательно глянув на Штирлица.

– Джелалабад?

Оцуп даже всплеснул руками:

– Вы коллекционер?

– Я? Нет. Почему вы решили?

– По вашему вопросу. У меня бывали тысячи гостей, но никто никогда не спрашивал о Джелалабаде...

– Хм, для меня Джелалабад тайна за семью печатями... Афганцы считают себя пришельцами, некоторые интеллектуалы вообще говорят, что их племя является потомком эллинов... Я бывал в Джелалабаде... Росписи, которые я видел, а главное, рисунки, которые делали на базаре старцы, совершенно поразили меня своим сходством с фаюмскими портретами... На смену маскам древних египтян, которые приобщали умершего к вечной жизни, превращая его в ипостась Озириса, пришло искусство римских завоевателей, с их вертикальным скульптурным изваянием того, кто ушел, но тем не менее постоянно живет в доме потомков... Но как это перекочевало в Джелалабад? Почему я именно там увидел сдержанные, исполненные томительного зноя, цвета Древнего Египта?

– Потому, видимо, – Штирлиц услыхал у себя за спиной густой, чуть хрипловатый голос, – что миграция культур есть то главное, что подлежит еще расшифрованию.

Оцуп согласно кивнул:

– Познакомьтесь, пожалуйста, господа... Доктор Брунн, доктор Артахов.

– Очень приятно, – сказал Артахов, протягивая Штирлицу большую, чуть не квадратную ладонь. – По-русски меня зовут Петр Потапович.

– Очень приятно, – ответил Штирлиц, с трудом пожимая квадратную жесткую ладонь.

– Пошли в комнаты, Петруша, – снова по-русски сказал Оцуп и сразу же пояснил Штирлицу: – Нас тут мало, русских-то, каждым мигом дорожим, чтоб по-своему переброситься, не обессудьте...

В первой комнате, заставленной огромными шкафами красного дерева, оборудованными под музейную экспозицию, хранились русские складни: крохотные, деревянные, скромные; иконы, убранные серебром.

– А здесь, – Оцуп распахнул дверь во вторую залу, – у меня самое прекрасное, что есть. Милости прошу.

Он включил свет – яркие лучи ламп, направленных на стены, увешанные иконами, стремительно высветили длинные глаза Христа, молчаливый взгляд, обращенный на тебя вопрошающе и требовательно. Лица его были разными, Штирлиц сразу же угадал школы: уж не Феофан ли Грек в подлиннике напротив меня? Откуда он здесь? Почему? Улица старого Мадрида, два русских, один из которых генерал полиции, второй «Петруша», и поразительная живопись Древней Руси.

Вопрос чуть было не сорвался с его языка, но он вовремя спохватился; он не имеет права выказывать свое знание имени Феофана Грека; кто слыхал здесь о нем?! Кто, произнося эти два слова, может ощутить, как разливается сладкое тепло в груди?! Русский, кто же еще! А ты немец, сказал он себе. Ты Макс фон Штирлиц, ты не имеешь права хоть в чем-то открыть свою русскость, кто знает, может быть, именно этого и ждут. Кто? – спросил он себя. Оцуп? Или доктор Артахов?

– Невероятно, – сказал Штирлиц, – я ощущаю торжественность Византии, я слышу их песнопения...

– Никакая это не Византия, – насупившись, возразил доктор Артахов. – Самая настоящая Россия-матушка... Не доводилось у нас бывать?

– Я проехал Советский Союз транссибирским экспрессом. В сорок первом, – ответил Штирлиц. – К сожалению, в Москве пробыл только один день, – все время в посольстве, был май, сами понимаете, какое время...

– Понимаю, – вздохнул Артахов. – Май – дурное слово, происходит от «маяться»... Вместо того чтобы Черчиллю в ножки упасть да помириться, на тебе, Гесса, пророка движения, обозвали безумцем...

– Ах, Петруша, не впадай, бога ради, в трясучку! Немчура все равно этого не поймет, – сказал Оцуп. – Да и я тоже.

Артахов длинно выругался.

– Не будет им прощенья за то, что дали себя сломать...

Странно, подумал Штирлиц, отчего все русские, которых я встречал за границей, совершенно убеждены в том, что никто из окружающих не понимает мата? Неужели потому, что глубинная Россия практически не видала иностранцев, и поэтому сохранила веру в то, что ее язык неведом никому, кроме ее сынов и дочерей? А доктор этот из старых эмигрантов. Действительно трясуч. Надо держать себя, следить за глазами; среди гостей вполне могут оказаться люди с особым зрением, – те умеют фиксировать не то что слово, а и взгляд.

– Ну, а теперь прошу дальше. – Оцуп оборотился к Штирлицу. – Тут есть то, что вас более всего заинтересует.

Генерал распахнул дверь в третью залу, выключив свет во второй, где были иконы; Штирлиц сразу же отметил, что Оцуп давно живет на Западе, приучен к здешнему рацио; русские, тем более ожидая гостей, свет не выключают, гулять так гулять, во всем должна быть праздничность, а у этого в голове уже сидит счетчик, рабо-

тает сам по себе, автоматически фиксирует песеты, которые придется отдать за освещение, — электростанций мало, свет поэтому дорог, генеральского оклада на все не хватит, особенно если держишь такую коллекцию.

Здесь, в помещении, еще большем, чем первые два, были собраны книги, многие тысячи русских, испанских, английских и немецких фолиантов.

— Да откуда же это?! — поразился Штирлиц.

— Плохо по Мадриду ходите, — дребезжаще рассмеявшись, ответил Оцуп, открыто радуясь его изумлению. — Пошарьте в лавчонках на Рибейра-де-Куртидорес, походите по Растро, поспрашивайте знающих людей возле «Каса контрабандистас» — черта купите, не то что книги семнадцатого века. Я, например, за бесценок приобрел фолиант Федорова!

— А кто это? — сыграл незнание Штирлиц, поражаясь тому, как наш первопечатник мог оказаться в столице католической Испании.

— Русский Гутенберг, — ответил Оцуп.

Артахов поморщился, сказал по-русски:

— Да что ты перед ним стелешься?! Почему это наш Федоров ихний Гутенберг, а не наоборот?

Оцуп раздраженно заметил:

— Удила не закусывай, Петечка! Немец раньше начал!

— Откуда знаешь?! Архивы смотрел? Какие? Все врут архивы! Не записали наши в какую ведомость вовремя, вот и отдали немцу то, что было по праву нашим.

Оцуп улыбнулся, пояснив Штирлицу:

— Где собирается больше одного русского, обязательно ждите ссоры, чудо что за нация!

В это время раздался звонок; пошел гость; Оцуп, извинившись, отправился в прихожую.

— Вы кто по профессии? — спросил Артахов.

— Филолог. А вы?

— Изгнанник, — ответил Артахов. — Типично русская, знаете ли, профессия. Я живу тем, что редактирую журнал «Оккультизм», штабквартира-то наша в Асунсьоне, туда Сталин не дотянется, работаем, слава богу, спокойно, здесь ненадолго по делам... Много вашего брата в Парагвае обосновалось, славные люди, чистосердечны, в страдании очистились, проходят сейчас новую закалку — к силе это, верю. А ежели говорить серьезно, то я закончил исторический факультет. Изучал судьбу Родины, всего себя отдавал этому предмету...

— В России? — поинтересовался Штирлиц.

— А где ж еще можно изучать ее историю? Не в Америке ж?! Там одна жидовня, они на нашей истории канкан пляшут! Только о том и мечтают, чтоб снова туда влезть, гешефты свои раскручивать... Да и у вас, немцев, Россию изучали свысока, как словно какой гербарий разглядывали.

— Я читал Олеа... — Штирлиц заставил себя сыграть, будто он забыл фамилию первого иностранного бытописателя России.

— Олеария, — помог ему Артахов, усмехнувшись. — Сукин сын. Ему Ватикан платил за клевету.

— Да? — удивился Штирлиц. — Почему?

Артахов не успел ответить — в зал начали входить гости Оцупа; началась обычная процедура знакомств, которая носит в Испании несколько экзальтированный характер, сопровождаемый обязательным разговором, смысл которого сводится к тому, чтобы найти общих друзей и по этому определить, кто есть собеседник, что представляет и чего от него можно ждать.

Чуть позже пришел генерал Альфредо Гонсалес, рассеянно поклонился Артахову, перебросился несколькими словами с незнакомыми Штирлицу мужчинами, заглянул в четвертую комнату, где был накрыт большой стол, а-ля фуршет, попросил девушку в фартучке дать ему стакан вина, что-то продрог, дождь идет, как сквозь сито сеет; завидев вошедшего маркиза де ля Куэнья, увлек его в зал, где лики Христа испытующе смотрели на каждого, кто входил туда, перемолвился с ним несколькими фразами и лишь потом, взяв Штирлица под руку, поинтересовался:

— Скажите, Максимо, в вашей американской богадельне никак не комментируют предстоящий визит аргентинской промышленно-банковской делегации?

— Нет, — ответил Штирлиц. — Правда, Кемп просил меня посмотреть газеты, нет ли чего интересного, связанного с тамошними большими проектами...

— Ничего не обнаружили?

Штирлиц раздумывал одно лишь мгновение, как ответить: кое-что он обнаружил, сказал аккуратно:

— Я продолжаю смотреть, Альфредо. Вас эта тема интересует?

— Очень.

— Хорошо, я буду особенно внимателен.

— Спасибо. Если через пару дней вам позвонит Оцуп и пригласит на кофе, значит, это я его попросил. Вы замотивируйте свой интерес к его коллекции, это пригодится, Максимо, — и скользяще отошел к гостям.

Штирлиц вернулся к Артахову, стоявшему, набычившись, в одиночестве:

— Вы здесь впервые?

— Я уехал из Европы полтора года назад.

— После краха в Берлине?

— Да.

— До этого жили в рейхе?

— Нет. В Югославии.

— Работали с Власовым?

— Разве с ним можно было работать?! Неуч! Что за горе такое: как на кого Запад хочет поставить, так непременно выискивает дурня!

— Видимо, умных Запад боится, — улыбнулся Штирлиц. — Вырвется из-под контроля, как им будешь управлять?

— Так ведь это значит обречь дело борьбы с большевизмом на гибель! Помочь Руси только умный может!

— А кто на Западе хочет помочь России? Зачем? Ее надобно держать во тьме. Поди, выпусти ее — ого! Опасно, к чему конкурент?!

Вы же Розенберга читали, он не особенно скрывал свое отношение к России: рабочая сила и кормовая база.

— Пропаганда, — возразил Артахов. — Своим он говорил одно, нам другое. Ничто так не дозируется, как пропаганда. Поскобли ее ногтем, и сразу увидишь, какой резон кроется за словом... Хотя в чем-то вы правы. Я много думал, отчего Олеарий, которого вы помянули, да и его коллеги Гваньини с Одерборном распространяли об Иване Грозном такие чудовищные сплетни... Да оттого, что именно Иван Грозный был первым русским государем, который столкнулся с Западной Европой и ударил тех соседей, которых Ватикан, и Лондон с ним вкупе, считал своими. Ведь и ливонцы, и поляки пугали Париж и Берлин тем, что Иван не ограничится явными своими притязаниями, но дальше двинет, к морю... А — не хотели этого. Наоборот, мечтали запереть Московию в старых границах. Жизнь там уж больно дешева, пусть бы вечно туда ездить, к ним, то бишь к нам, диким, — Артахов вдруг усмехнулся. — Знаете, сколько голштинское посольство получало от нашего царя на прокорм своих людей, коих было тридцать четыре души?

— Нет, — ответил Штирлиц; он действительно не знал этого.

— Так вот послушайте... Шестьдесят два каравая хлеба, четверть быка, четыре барана, двенадцать кур, два гуся, зайца, полста яиц, четверть ведра испанского вина, пива и водки — для господ дипломатов; слугам выделялась бочка меда, бочка пива и бочка водки, да поверх этого пуд масла на неделю, соль и три ведра уксусу. По-царски, а?!

— Действительно, — согласился Штирлиц, посмотрев на Альфредо Гонсалеса; обойдя приглашенных, перемолвившись с каждым несколькими словами, тот снова вернулся к маркизу де ля Куэнья; к собравшимся стоял спиной, говорил тихо, так что ни услыхать его было нельзя, ни прочитать слова по губам.

— Однако не могу не согласиться, — продолжал свое Артахов, — рейхсминистр Розенберг в корень вопроса не смотрел, а его, корешок этот самый, можно сыскать лишь в истории. И если к истории отнестись серьезно, то станет ясно, что Россия — определенного рода Феникс, в котором здравый смысл тесно увязан с совершеннейшей мистикой. Действительно, были торжища, Псков и Новгород от Москвы близки, к Ганзе тяготели, русско-немецкое содружество в чистом виде, — так ведь нет! Кому-то было угодно уничтожить эти русские форпосты, а заместо них поставить черт знает в какой дали Архангельск — в угоду англичанам, да и Астрахань — тем же в угоду, потому что как они Персией тогда вертели, так и впредь будут вертеть, помяните мое слово. И была обречена Московия на закрытость; внутреннее торжище; никакого общения с миром...

Штирлиц рассеянно заметил:

— Я слыхал, что генерал Власов и те, кто был с ним, считали ненужным и вредным для России какое бы то ни было общение с миром...

— А — с Германией? Какой он никакой был дурень, а общения с Германией не отвергал! Наоборот, русские и пруссаки — родня по крови...

— Это как? — удивился Штирлиц.

— Так очень просто! — обрадовался Артахов. — Зрите в корень! Русы и П-русы! Корень-то один!

— Я вам столько общих корней найду, — вздохнул Штирлиц, — что не возрадуетесь... Не по крови близки наши пруссаки с русскими, но совершенно по иным субстанциям. И прежде всего потому, что в России и Германии очень долго правила казна, все шло сверху, от императора, живой жизни навязывалась вздорная воля дворцового фантазера, который не понимал дела, верил только тем, кто его окружал, а всякую самостоятельность низов считал покушением на его власть... Это нас роднило, доктор, а не корни...

— Погодите, но ведь то, что вы изволили заметить, смахивает на марксизм...

— Ну и что? Он же существует. Гегеля помните? «Все разумное действительно и все действительное разумно».

Артахов сокрушенно покачал головой:

— Вот уж воистину поражение отбрасывает нацию в объятия всепозволяющего либерализма!

— Если либерализм способствует мысли — я, увы, за либерализм. Несчастным немцам сейчас надо серьезнейшим образом думать о своем будущем, поскольку, как выяснилось, теория, выдвинутая Гитлером вместо Старого завета, абсолютно несостоятельна и кончилась тем, что мы с вами оказались на задворках: вы со своими корнями, а я с идеей богом избранной расы...

— Да, — удивленно протянул Артахов, — у нас в Южной Америке так немцы не говорят...

— А как они там говорят?

— Да уж не так, — повторил Артахов и, в свою очередь, обсмотрел лицо Штирлица совершенно особенным, холодным и отстраняющим взглядом.

Штирлиц кивнул ему, отошел к книжным шкафам, углубился в изучение библиотеки; говорить с Гонсалесом о чем бы то ни было до того, как он кончит свою работу, бесполезно; прирожденный разведчик, он легче всего получал надежную информацию именно на такого рода встречах, где собирались люди одного круга, понимавшие друг друга с полуслова; их объединяла общность интересов; в условиях франкистского государства своей задачей они видели противостояние левым тенденциям, которые ежедневно и ежечасно росли благодаря неуклюжему и трусливому удержанию захваченной фалангистами власти, которое базировалось на убеждении, что если не замечать проблем, которые стали для всех очевидными, то, значит, их и нет: существует лишь то, что обозначено печатным словом, все остальное — химера.

...Штирлиц видел в стеклах книжных шкафов все, что происходило в зале, — кто с кем говорил, что говорил и как слушал; все это закладывалось в таинственные отсеки памяти, чтобы в нужный момент сработала информация, необходимая для моментального принятия того или иного решения.

Он заметил, как один из гостей мазанул его спину взглядом, а потом стремительно поднял глаза и встретился с глазами Штирли-

ца в стекле шкафа; ты стареешь, сказал себе Штирлиц; первый симптом старости — утрата быстроты реакции на слово, жест или взгляд; надо узнать у Гонсалеса, кто этот человек; слишком молод и чересчур красиво одет, вполне может быть осведомителем; на «одежку» в этом обществе мало кто обращает внимания, людей здесь ценят по количеству принадлежащей им земли и связям; проиграв темп — бери качеством, усмешливо подумал Штирлиц; глаз с красавца не спускал, заставив того отвернуться: именно преследующий заинтересован в том, чтобы его не заметил тот, кого он преследует.

Лишь после того, как красавец продолжил беседу с седым стариком, на лацкане пиджака которого торчала маленькая, сделанная из эмалированного металла колодка высшего франкистского ордена, Штирлиц скрипуче открыл дверцу шкафа, заметил, как на него обернулись, удовлетворенно подумал, что добился именно того, чего добивался, и достал с полки французскую книгу в прекрасном сафьяновом переплете.

...В самые трудные моменты жизни Штирлица спасала книга. Всю жизнь он был благодарен отцу за то, как тот научил его читать; мальчиком уже он приучился растворяться в книге, становясь участником действа; он слушал и видел разговоры героев, думал вместе с ними и засыпал счастливым, зная, что завтра ему предстоит встреча с новыми друзьями, которые, как и он, должны отдохнуть: герои книг тоже устают, ибо они не только вбирают в себя мыслящие взгляды миллионов глаз, но и отдают себя этим читающим миллионам, — таинственно устроен мир, познавать его еще и познавать...

...Он пролистал страницы книги и сразу же услышал говор Парижа; боже ты мой, как прекрасен язык Франции, не зря Пушкин ощущал его, как родной, а ведь радостное восприятие чужой красоты доступно лишь самым талантливым, которые наделены не только умом, но и обостренным чувствованием, которое никогда не отталкивает чужое только потому, что оно чужое, пусть даже и прекрасное...

Он пробежал строки книги, посвященной празднествам человечества; нет, сказал он себе, нельзя пробегать; если за тобой смотрят, будет заметна фальшь; ты должен не торопясь прочитать страницу; всякая напряженность — неестественна, а все неестественное — подозрительно.

«Чисто русские празднества, — начал вбирающе читать Штирлиц, — эпохи язычества, были совершаемы в честь Даж-Бога, то есть Солнца, Велеса, покровителя скота, и Перуна, Распорядителя Грома и Молнии. Наиболее красочными были праздники в честь Даж-Бога, которого славяне считали истинным организатором жизни на земле. Славяне считали, что у Даж-Бога есть злейший враг, Бог Тьмы и Холода; борьба между ними постоянна и выражается Зимним и Летним Солнцестоянием; Смерть Даж-Бога в декабре предполагает его Рождение летом, девятого июня. Христианство Рима, добившись многого, если не всего, тем не менее не смогло победить культа языческих празднеств, — так они были прекрасны. Римляне и греки, начиная с семнадцатого ноября по пятое января, славили бога Дионисия в дни, именовавшиеся Брумалии; на смену им шли

Сатурналии, в честь Сатурна, которые кончались двадцать третьего декабря; затем, по первое января, отмечались Воты, а с первого по пятое января начинались Календы. Если в праздник Брумалии по улицам эллинских и римских городов ходили ряженые, то Сатурналии отмечались битвами гладиаторов, закланиями, пиршествами; праздник Воты отмечался вознесением молитв, а январские Календы были порою веселья, ибо чем радостнее празднуешь эти дни, тем удачнее будет весь следующий год; именно тогда и родилась традиция подарков: хозяева домов приветствовали юношей, приходивших к ним с поздравлениями, и выносили им дары; по ночам начинались гадания – все, предсказанное в дни Календ, неминуемо сбудется.

Несмотря на официальное признание Римом христианства, праздники эти продолжались, хотя Брумалии и Сатурналии падали на Пост, установленный церковью. Лишь по прошествии веков Юстиниан отменил торжества Брумалий, Сатурналий и Вот, совместив гульбища Календ с днем Рождества Христова и Днем Богоявления.

Поразительно то, что греко-римские языческо-христианские празднества, попав к славянам после крещения Руси, нашли нечто родственное в здешних языческих празднествах и слились с ними в одно целое. Трудно различить, где кончается русское язычество и начинается греко-римское. Русские Коляды, например, явственно проистекают от римских Календ, хотя адепты русской самости утверждают и поныне, что праздник этот определяется корнями, ибо слово «Коляда» может быть трактуемо, как произошедшее от «коло», то есть «колесо», знак, мистически связанный с фигурой солнца; «колода» означает «зажженный пень», что так же символизирует огненный круг солнца; возможно и другое объяснение, поскольку можно допустить, что Коляда на самом деле есть «коло» и «еда», то есть «круговое угощение». Но если следовать истории, то Коляды пришли в русский язык через болгар, которые переиначили римские «календы» в «каледы», ставшие русскими колядами, которые соответственно и праздновались с двадцать четвертого декабря по шестое января, когда отмечались похороны зимы и рождение солнца. Переряживание молодежи, свойственное Колядам, можно и поныне наблюдать на фресках киевского Софийского собора...»

Господи, подумал Штирлиц, как же мал и един мир! Как мы не знаем себя и норовим поэтому заменить истину представлением, и если истина есть порождение логики, то представление рождено чувством, которое необходимо в искусстве, но чревато в науке, а история – наука, и если ее превращают в свод мифов, то рождаются страшные доктрины господства одних над другими, что немыслимо без крови.

– Эстилиц, – услыхал он тихий голос Гонсалеса, – я хочу познакомить вас с моим другом, пойдемте...

Штирлиц поставил книгу на место, не сразу оторвался от нее, погладив рукою сафьяновый корешок, скрипуче прикрыл дверцу шкафа и пошел следом за Гонсалесом в ту комнату, где был сервирован стол; возле окна стоял невысокий, очень хрупкий мужчина, довольно молодой, не больше тридцати, одетый очень скромно.

– Хосе, – обратился к нему Гонсалес, – я хочу представить вам

моего доброго и давнего друга Максимо Брунна, который умеет писать о корриде как настоящий испанец.

— Очень приятно, — ответил молодой мужчина. — Меня зовут Хосе Гутиерес. Я ваш коллега, представляю аргентинскую прессу в Испании.

Гонсалес улыбнулся, пояснив Штирлицу:

— Кабальеро — брат полковника Гутиереса.

— Я восторгаюсь умом вашего брата, — сказал Штирлиц.

Хосе нахмурился:

— Как вам удалось составить впечатление об уме моего старшего? Он ведь не пишет о корриде и не выступает на митингах...

— Зато на митингах выступает Перон, — ответил Штирлиц. — А я весьма серьезно отношусь к его позиции.

— Ну, это понятно, — откликнулся Гутиерес. — Как-никак именно Аргентина входит в число десяти крупнейших держав мира. От нас, хотят этого или не хотят, многое зависит, и не только в испаноговорящем мире, где мы, пусть не обижается генерал, — он улыбнулся Гонсалесу, — являемся лидерами. И это — надолго. Так, во всяком случае, я считаю.

— Это будет навсегда, — заметил Гонсалес, — если Аргентина не перестанет ощущать свое родство с матерью-Испанией.

Гутиерес кивнул:

— Именно так. Поэтому-то я хочу обратиться к вашему другу, доктору Брунну, с несколько необычной просьбой... Можно?

— Просьба не возбранима, — ответил Штирлиц, — потому что подразумевает возможность отказа.

Гонсалес пояснил аргентинцу:

— Я предупреждал вас, Хосе... Мой немец... никарагуанский друг, невероятный аккуратист... Это распространяется и на то, как он строит свои фразы.

— У меня много немец... никарагуанских друзей, — приняв игру Гонсалеса, откликнулся Гутиерес. — Я предпочитаю немец... никарагуанскую изначальную точность испанс... аргентинскому сладкоречию, не подтвержденному д е л о м... Доктор Брунн, вам никогда не приходилось встречаться с неким Максом фон Штирлицем? И если — да, то что вы можете мне о нем сказать? Я понимаю, просьба неожиданна, но весь наш дальнейший разговор будет зависеть именно от того, что вы ответите...

Штирлиц внимательно посмотрел на Гонсалеса; лицо генерала было сейчас собрано морщинами; непроницаемо; какая-то маска отсутствия; взгляд — холоден, не глаза, а льдышки, понять ничего невозможно.

— Кажется, я где-то встречал интересующего вас господина, — ответил Штирлиц, продолжая неотрывно смотреть на Гонсалеса. — Я затрудняюсь говорить о тех его качествах, которые вас могут заинтересовать, но одно помню: он не из породы болтунов. Так мне, во всяком случае, казалось.

— Кто он по образованию?

— Запамятовал, сеньор Гутиерес... Кажется, он получил и гуманитарное и техническое образование...

– Но он не физик?

– Его, мне сдается, когда-то интересовали расчетные схемы, некие абстрактные построения, которые приложимы к чему угодно – к физике в том числе.

– Я был бы глубоко благодарен, доктор Брунн, если бы вы смогли помочь мне найти сеньора Штирлица (фамилию произнес по-немецки, без обязательного «э» в начале слова). Думаю, и он был бы весьма и весьма заинтересован в знакомстве.

– Хорошо, – ответил Штирлиц. – Я попробую помочь вам, сеньор Гутиерес. Когда бы вы хотели побеседовать с этим господином?

– Желательно в самое ближайшее время – до того, как в Мадрид приедет наша банковско-промышленная делегация с чрезвычайно широкими полномочиями, а это случится в ближайшие часы.

...Возвращаясь домой, Штирлиц позвонил из автомата Роумэну; того по-прежнему не было ни дома, ни в посольстве; странно; они теперь разговаривали по нескольку раз на день, и это не было какой-то необозначенной обязанностью, скорее, человеческой потребностью; вот уж воистину от вражды до симпатии один шаг, хотя классики формулировали это иначе: «от любви до ненависти». Меняется ли смысл от перестановки этих компонентов? Бог его знает, жизнь покажет, кто ж еще...

КРИСТИНА КРИСТИАНСЕН

Блас поаплодировал самой молодой певице ансамбля Пепите и, чуть обернувшись к Кристе, спросил:

– Нравится?

– Очень.

– Честное слово?

– Честное.

– А почему она вам нравится? Необычно? Экзотика? Греет сердце?

– Просто я люблю Мериме.

– Кого?

– Проспера Мериме... Неужели не знаете?

– Все испанцы слыхали о Кармен, прелестная северянка... Но ведь Мериме ничего не понимал в национальном характере. Случилось непознанное чудо – он случайно п о п а л с этим именем... Оно запомнилось, пришлось по вкусу... В искусстве выигрывает тот, кто изобретателен на названия... Меня удивило, что вы связываете побасенку француза с выступлением нашей Пепиты... Он ведь совершенно не понимал цыган, их томления, мятежность их духа, бессребренность...

...В «Лас Пачолас» было душно, народа – не протолкнешься, все шумные, кричат, будто говорить не умеют; жестикулируют, как пьяные, хотя пьют мало, в отличие от трех американцев или канадцев, сидевших прямо возле эстрады, да Бласа, который и сам пил, и внимательно следил за тем, чтобы бокал Кристы был постоянно полон.

— У вас ужасно громкие люди, — заметила Криста.

— Злит?

— Нет... Просто мне это непривычно...

— Обтекаемый ответ, — заметил Блас. — Я спрошу иначе: после посещения Испании вам захочется вернуться сюда еще раз? Или ждете не дождетесь, как бы поскорее отправиться восвояси?

— Хочу вернуться.

— Счастливая северная женщина, — вздохнул Блас. — Как это для вас просто: приехать, уехать... А вот меня никуда не пускают, даже в Португалию.

— Почему?

— Неблагонадежный... Хотя, — он усмехнулся, — я тут вижу, по крайней мере, еще троих неблагонадежных...

— Как понять «неблагонадежный»?

Он резко придвинулся к женщине; в лице его произошел какой-то мгновенный слом:

— Вы что, не знали оккупации?

— Знала... Почему вы рассердились?

— Потому что, как я слыхал, во время оккупации во всех странах Европы неблагонадежными считали тех, кто позволял себе роскошь иметь собственную точку зрения. И это знали все. Или я не прав?

— Правы, — ответила Криста, чуть отодвинувшись от него, потому что чем больше Блас пил, тем теснее прижимался к ней, но делал это не пошло и требовательно, а как-то ищуще, не обидно.

— Вы здесь увидели еще троих неблагонадежных... Кто они?

— То есть как это кто? — он усмехнулся. — Мыслители. Как правило, неблагонадежными становятся самые надежные люди... Знаете, каким я был патриотом Франко? О-ля-ля! — он так сильно замахал пальцами у себя перед носом, что, Кристе показалось, будто она услышала хруст костяшек.

— Отчего вы перестали быть патриотом Франко?

— Я обиделся, — ответил Блас и сделал еще один глоток вина. — Как и все испанцы, я обидчив. Мы взяли у арабов их ранимую обидчивость, но не заимствовали у евреев их трезвую расчетливость. Я ведь был газетчиком, причем, слово кабальеро, вовсе неплохим. Я печатался в «АВС» и выступал по радио, а уж здесь-то, в Андалусии, я вообще был первым человеком, «золотое перо», а не Блас де ля Фуэнтес-и-Гоморра... Это я, — пояснил он, — простите за выражение...

— Из-за чего обиделись? — требовательно спросила Криста. — И — на кого?

— Сейчас об этом как-то смешно и говорить... Годы — лучшие маэстро, они учат мудрости по ускоренной программе... Э? Неплохо я завернул, да? Не сердитесь, я это запишу, я стал записывать некоторые фразы, — пояснил он. — Не полагаюсь на память, потому что самое интересное приходит в мою голову после второй бутылки...

Он вынул из внутреннего кармана своего балетно-обтягивающего пиджака плоскую, словно дощечка, записную книжку с каким-то мудреным вензелем, тисненным по темно-коричневой коже, достал

из нее плоский карандашик; грифель был так остро отточен, что напомнил Кристе зуб белки; быстро записал что-то, заметив:

— Как всякий интеллектуал, я работаю над книгой. Я начал ее до того, как меня ударили по шее. Потом я переработал написанное в прямо противоположном смысле, свергая прежние догмы. Когда же мне пригрозили трибуналом, я перечеркнул два варианта и написал третий, приближенный к первому, восторженному, но с тех пор, как я лишился права печататься в газетах и живу случайными приработками на фирмах, начал кропать новый вариант, приближенный ко второму, в котором я обличал существующее... Все те, кто не смог добиться успеха, обличают, заметили? Или уж те, которые взобрались на вершину, — тем никто не помешает, они на Олимпе. Гюго хотели судить, так он взял да и уехал в Лондон. Толстого отлучили от церкви, но не смогли лишить права молиться в своей усадьбе, комнат графу хватало... Я вас не заговорил?

— О, нет, — ответила Криста, — мне интересно вас слушать...

— Только не считайте, что я умею вещать только на темы людских обид! Вы очень неприступны, а мы, испанцы, можем быть настоящими идальго, лишь когда чувствуем ленивую заинтересованность женщины. Ощути я, что вас интересует не только моя борьба с ублюдками, но я, сам по себе, Блас де ля Фуэнтес-и-Гоморра, то разговор мог бы перейти в иное русло...

— Лучше бы он шел по прежнему руслу, — улыбнулась Криста. — Не сердитесь, пожалуйста...

— Вы замужем?

— У меня есть друг.

— Хотите, я переведу ваш ответ на хороший испанский?

— Хочу.

— По-испански вашу фразу надо сказать: «Подите-ка отсюда к черту!»

— О, нет! Как же я могу прогонять такого заботливого гида?!

Будь я неладна, подумала она, почувствовав, что начинает пьянеть. Зачем мне выслушивать его истории и сидеть здесь после того, как концерт этой самой коротышки Пепиты кончился? Надо возвращаться в отель, звонить Полу, принимать душ и ложиться спать. Но я сломана, я приучена Гаузнером к тому, чтобы впитывать каждое слово любого человека, который вошел со мною в контакт. «Человек — это мироздание, — говорил он. — Ты должна коллекционировать миры, входящие в твою орбиту. Наша планетарная система построена по принципу агрессивного недоверия. Нападает только тот, кто убежден, что его масса — больше. Все остальные — сгорают, приближаясь к иным телам. Собрав в свой гербарий разновидности всех миров, ты сможешь калькулировать вес, направление и тенденцию, ты станешь обладательницей тайн, а лишь это гарантирует жизнь в наш суровый век, когда вот-вот грядет апокалипсис. Верь мне, девочка! Впитывай слова и мысли окружающих! Создавай свою конструкцию видения человека, тогда только победишь. Запомни: выживают те, которые представляют ценность. Высшая ценность — профессия. Но не каждая профессия обладает товарной стоимостью, а лишь та, которую можно обратить на пользу комбинации, будь то

разведка, наука или искусство. Каждого человека обозначает цена. Но определить ее может лишь тот, кто обладает даром коллекционирования, умеет быть промокашкой, пресс-папье, крошеным мелом, ибо впитывание — один из методов властвования, девочка. Я отдал тебе мою идею, я никому ее не отдавал, я сделал это лишь оттого, что виноват перед тобою, и хотя я не могу искупить свою вину полностью, но даже малость угодна року, рассчитывающему наши ходы на шахматном поле жизни»...

— Еще вина? — спросил Блас.

— Вы снисходительны к пьяным женщинам?

— Я их обожаю.

— Странно. Почему?

— Они податливы.

— Я, наоборот, криклива.

— А трезвая?

— О, податлива, как телка! — Криста вздохнула. — Но я поддаюсь только тем, кто мне нравится.

— Перевести вашу фразу на испанский?

Ее стала занимать эта игра; она кивнула:

— Обязательно!

— По-испански это звучит так: «Кабальеро, свидетельствуя свое искреннее почтение, я разрешу себе заметить, нисколько не желая огорчить вас, одного из достойнейших людей пенинсулы, что ваше лицо напоминает мне физиономию скунса, к которым я испытываю чувство, далекое от трепетного восторга». Это не обидно, потому что цветисто. И самое главное — весит. У нас не сердятся, когда отказ облечен в форму весомой цветистости, наоборот, это приглашение к интриге ..

— Сколько мыслей записываете ежедневно в вашу книжечку? — спросила Криста.

— Ежедневно? — Блас усмехнулся. — Мне нужна искра... Мысли рождаются не просто после возлияний, но когда встречаешь людей, которые зажигают... Вы меня зажигаете... А таких встречаешь раз в год... Это — понт... Видите, как меня потянуло на саморазоблачение? Бойтесь, это безотказный прием — саморазоблачение мужчины... Ведь женщина существо жалостливое, а несчастных принято жалеть.

— Бедненький... Ну, а что же с вами потом случилось? Почему запретили выступать в прессе?

— Я же говорил: я позволил себе роскошь обидеться на власть. А этого нельзя делать. Мальчишкой я сражался в войсках генералиссимуса, делал это без особого страха, поверьте. Нет, не потому, что я какой-то герой, отнюдь... Мама погибла в бомбежке, отец, кадровый офицер, пал в первые дни битвы, я остался один. Мы начинаем относиться к себе серьезно в том случае, если знаем себе цену и имеем, что сказать другим. Не все рождаются Моцартами, некоторые ими становятся. Когда битва кончилась, я ушел в журналистику, мотался по стране и видел, что кресты и регалии получают не те, кто сражался на поле брани, а люди с деньгами, вернувшиеся в страну после победы Франко из Англии, Африки и Аргентины. Мы, борцы, оказались обойденными. Мальчишка, я, конечно, мечтал полу-

чить свой крест за заслуги и медаль за храбрость. А — не получил. И сказал в компании, что справедливость невозможна в этой стране: «Один балаган сменяется другим, а оркестр на эстраде пиликает ту же пошлую мелодию, какая звучала испокон веков». А поскольку в Испании победил фашизм, любое слово, отличное от тех, какими предписано обмениваться друг с другом, немедленно делается известным полиции. Нет, меня не арестовали, просто отправили из Мадрида в Севилью... А ничто так не страшно — в условиях авторитарного режима, — как провинция, в которой царит такое бесправие, что и представить невозможно. Причем наше бесправие особое, мы ж много взяли у мавританцев, сколько веков жили с ними бок о бок?! Мне, конечно же, сказали, что еще не все потеряно и я могу исправиться... Знаете, у Франко есть такое выражение: «исправиться». Не слыхали?

Криста покачала головой, сделала еще один глоток вина, закурила.

— О, это свидетельство доброты генералиссимуса, — продолжал Блас. — Человек, прошедший войну, но позволивший себе обидеться, все-таки имеет право на исправление. Как мальчишка, который съел кусок рождественской индейки без разрешения бабушки. Надо быть паинькой, стирать свои носки, не бегать по дому, следить за поведением братьев, и тогда тебя простят, как же иначе, ведь ты исправился. Ну, я и начал исправляться, писать восторженные статьи о том, как местная фаланга делает все, чтобы поднять Андалусию к процветанию, как военный губернатор сеньор дон Рафаэль Родригес-Пелайа не спит и не ест, прямо сохнет, думая о рабочих Севильи и виноделах Хереса, а ведь он и ел, и пил, да еще получал миллионные взятки от денежных тузов... И я знал об этом... Вы понимаете меня? Я знал. Но я зажмурился, заткнул уши ватой и сочинял легенды о праведниках, обманывая самого себя тем, что бесы будут читать мои публикации — а они читали, потому что без их визы ничто не имеет права быть напечатанным, — и станут следовать тому образу, который я создаю, они ж умные люди, убеждал я себя, у них есть дети, о них-то нельзя не думать! Что может быть страшнее, чем месть народа, задавленного тупыми владыками, их же детям?! А ведь идет к этому, вы мне верьте, я знаю свой народ! Я врал себе, понимаете? Я не понимаю, зачем я так отвратительно себе врал... Разъедало честолюбие? Всерьез полагал, что они хоть когда-нибудь смогут забыть то, что я брякнул в Мадриде? В условиях режима, какой царит у нас, оступившийся лишен права на возвращение вверх, в ту касту, членом которой он был... Когда они начали раздавать слонов в очередной раз, награждая крестами и должностями, я, понятно, снова оказался обойденным. Тогда меня понесло в открытую... После этого пригрозили трибуналом... Вот я и начал записывать мысли, — он положил свою ладонь на сердце, там во внутреннем кармане пиджака лежала его плоская книжечка, — для нового фолианта. Я ведь теперь могу не думать о хлебе насущном — я ушел из журналистики... Теперь фирмы платят мне за то, что я обладаю связями и знаю половину Испании... Очень удобно... Я перестал мечтать о кресте и медали за мужество... Все перегорело... А вот Мигель,

— он кивнул на высокого мужчину, говорившего о чем-то с пьяными американцами, что сидели возле темной сцены, — все еще мечтает о признании. Он ненавидел красных, рьяно служил дедушке, а ему все равно не дали бляхи. Вот он и обрушился в лагерь неблагонадежных... Хотя, мне кажется, в глубине души рассчитывает, как и я раньше, что генералиссимус рано или поздно вспомнит его... Мигель воевал рядом с ним, начиная с Бургоса... Он, видимо, мечтает, что Франко пожурит его, пожурит, а потом все же прикажет, чтоб его наградили, приблизили и восславили в газетах. Если же этого не произойдет, то он...

Блас резко прервал себя, полез за сигаретами.

— Почему вы не договорили? — удивилась Криста.

— Потому что слишком разговорился...

— Я не донесу. Да меня и не поймут, окажись я осведомителем.

— На Пуэрта-дель-Соль много хороших переводчиков с английским и немецким языком... Гестапо учило наших полицейских... Пошли в «Альамбру», а? Там интересная программа.

— Знаете, я устала...

— Как хотите, только в «Альамбре» очень интересно... Смотрите, не пришлось бы потом жалеть. Я не стану увлекать вас, я понял, что это безнадежно. Просто мне очень хорошо рядом с вами, вы — добрая...

— Какая я добрая? — вздохнула Криста. — Никакая я не добрая, просто...

— Что? — спросил Блас. — Почему теперь вы не договариваете?

— Расхотелось... Что-то я отрезвела с вами, честное слово...

— В «Альамбре» выпьем. Там продают настоящее шотландское виски. Любите?

— Терпеть не могу, жженым хлебом пахнет...

— Придумаем, что пить. Пошли.

...Кристе казалось, что, когда они выйдут из «Лас Пачолас», будет тихо, пусто, затаенно, прохладно, однако народу было полным-полно; шум, улицы ярко освещены, звучала музыка, и это было правдой, а не тем ощущением музыки, которое не покидает человека после того, как он несколько часов кряду слышал песни фламенко, исполненные терпкой полынной горечи.

— Сколько же сейчас времени? — спросила Криста.

— Половина второго.

— А почему люди не спят? Сегодня праздник?

— Нет, почему... У нас никогда не ложатся спать раньше трех.

Криста усмехнулась:

— Что же испанцы жалуются на нищету? Всегда будете бедными, если ложитесь спать в три утра.

...В темном провале подъезда она услышала жалобное мяуканье, попросила Бласа зажечь спичку, присела на корточки и увидела котенка. Он был черно-рыжим, с огромными зелеными глазами и пищал так жалобно, что она просто не могла оставить его здесь, взяла в руки, прижала к себе, котенок сразу замолчал, и через несколько секунд тоскливый писк сменился громким, умиротворенным мурлыканьем.

– Бедненький, – сказала Криста шепотом, – он же совсем маленький. Можно я возьму его?

– В «Альамбру»? – Блас несколько удивился. – В ночной бар?

– Нельзя?

– Нет, там можно все... Я вас потому туда и веду... Очень хочется взять котенка?

– Нельзя же его здесь оставлять, он погибнет.

– Все равно в «Альамбре» бросите.

– Я его заберу в Мадрид.

– В автобус не пустят.

– Почему?

– Потому что у нас запрещено то, что кажется отклонением от нормы... Запрещать-то всегда легче, чем разрешать.

– Зачем вы нападаете на все, что здесь существует?

– Далеко не на все... А нападаю оттого, что очень люблю свою страну. И мне за нее больно...

– Не преувеличиваете? Смотрите, люди смеются, поют, гуляют. Как на празднике. Я никогда и нигде не видела, чтобы ночные улицы были такими веселыми. А вы всем недовольны. Может, вы действительно слишком обидчивы?

– Конечно, обидчив, – ответил Блас. – Покажите хотя бы одного необидчивого человека...

– Смотрите на меня, – сказала Криста. – Я лишена этого чувства.

– Нет, – он покачал головой. – Я вам не верю.

Криста подышала на голову котенка; он замурлыкал еще громче.

– Вот видишь, цветной, – сказала она ему, – мне не верят...

– А вы и сами себе не верите, – добавил Блас, – я же вижу...

– Не верю так не верю, – легко согласилась Криста, – я не спорю.

– Странная вы какая-то.

– Да? Это хорошо или плохо?

– Странно, – повторил он и крикнул проезжавшему экипажу: – Ойга, пссст![1]

Кучер, разряженный, как матадор, резко остановил лошадь.

– Едем смотреть город, – сказал Блас. – Любите кататься в экипаже?

– Я еще никогда не каталась.

– Загадывайте желание.

– Это как? – удивилась она.

– Очень просто. Если у вас случается что-то первый раз в жизни, надо загадать желание, и оно обязательно сбудется. Когда в нашем доме появлялось первое яблоко, мама всегда просила нас загадывать желания...

– Сбывалось?

– Ни разу.

– А что же тогда этот кабальеро нас учит? – тихо спросила Криста котенка, снова согрев его голову дыханием.

[1] Ойга, пссст! – слушай, стой! *(исп.)*.

— Я не учу, — ответил Блас. — Я делюсь с вами тем, что мне открыла мама...

Криста легко коснулась его руки своей:

— Не сердитесь. Может, лучше вы отвезете нас в отель?

— Нас? — переспросил он. — Мы можем поехать ко мне.

— Нас, — она улыбнулась, кивнув на котенка, устроившегося у нее на груди.

— Нет уж, сначала поедем по ночному городу, а после заставим вас, — он тоже кивнул на котенка, — танцевать прощальный вальс. Об этом завтра будут говорить в городе, такого еще не было в «Альамбре»... Да и «Альамбры» не было, ее только как месяц открыли, с джазом, баром и всем прочим, разве допустимо было такое еще год назад?! Ни за что! Покушение на традицию, разложение нравов, следование нездоровым влияниям... У нас почти дословно повторяли Геббельса, пока побеждал Гитлер... А теперь надо показать американцам, что нам нравятся их влияния... Даже патент на виски купили, надо ж было дать взятку дядям из Нью-Йорка, вот и всучили им деньги за право продавать то, что здесь никто не пьет.

Возница был молчаливый, а может, просто устал, голова то и дело обваливалась на грудь, лошадь шла по знакомому ей маршруту, светлые улицы сменялись темными, набережная Гвадалквивира казалась зловещей, потому что здесь было мало огней, вода не шумела, кое-где торчали камни и угадывались отмели; как не стыдно лгать в туристских проспектах, подумала Криста, «самая многоводная река Испании, течение ее бурно и грохочуще»... Все, повсюду, всем врут. На этом стоит мир, подумала она. Врут в большом и малом, даже когда идут по нужде, спрашивают, где можно помыть руки; как врали, так и будут врать, не только чужим, но и себе, так во веки веков заведено, так и идет, так и будет идти.

— Что загрустили? — спросил Блас.

— Так, — ответила она. — Иногда и это случается. Не обращайте внимания.

— Мне очень передается настроение женщины.

— Это плохо.

— Я знаю.

— Постарайтесь жить отдельно от людей. Замкнитесь в себе, говорите с собой, спорьте, шутите, любите себя, браните, но только в самом себе... Знаете, как это удобно?

— Для этого надо быть сильным.

Криста покачала головой и, погладив котенка, сказала:

— Для этого надо верить в то, что все мы марионетки и правит нами рок, которого нельзя избежать, но от которого можно на какое-то время укрыться...

— Послушайте, — сказал Блас, — я боюсь, мы с вами крепко напьемся в «Альамбре»... Там просто нельзя не напиться... Поэтому скажите-ка мне, пока я не забыл спросить... Кемп просил сделать это сразу, но мне, честно говоря, как-то расхотелось заниматься делом, когда я встретил вас. Это не очень-то сопрягается — вы и дело... Кемп просил узнать, как правильно пишется имя вашего руководителя?

– Густав, – машинально ответила Криста, потом резко обернулась к Бласу и, нервно погладив котенка, спросила: – Вы имеете в виду руководителя моей дипломной работы?

– Будем считать, что так...

– Почему Кемп сам не задал мне этого вопроса?

– Не знаю... Он позвонил мне за час перед вашим приходом... Честно говоря, мне поперек горла стоят его гости... Я думал, что и на этот раз пришлют какую-нибудь старую каргу с внуком, которую надо практиковать в испанском языке, пока ребенок жарится на солнце... Он просил вам сказать, что Роумэн не вернется до утра... У него дело... Какое-то дело, связанное с вами, понимаете? И просил узнать имя вашего руководителя, почему-то именно имя... И еще он просил вас связаться с этим самым Густавом, а потом перезвонить к нему, он ждет...

– Подождет до завтра... Все равно сейчас поздно...

– Он сказал, что это надо сделать сегодня ночью.

– А что же вы молчали?

– Потому что ночь у нас начинается в три часа, а сейчас еще нет и двух, и еще оттого, что вы красивая, а я испанец... Если хотите, заедем ко мне, оттуда позвоните, а потом отправимся в «Альамбру»...

Через двадцать минут был зафиксирован номер телефона в Мюнхене, который заказала Криста, после того как центральная станция дала соединение; человек, сидевший в запертой комнате квартиры Бласа на параллельном аппарате, линию разъединил.

С Кемпом ей тоже не удалось поговорить – линия была прервана таким же образом.

– Не отчаивайтесь, – сказал Блас, – это Испания. Связь работает чудовищно. Я подтвержу, что вы звонили всю ночь...

– Спасибо, Блас.

...Настоящий Блас де ля Фуэнтес-и-Гоморра продолжал тем временем сидеть в темной комнате за городом, куда его вывезли еще днем, за три часа перед прибытием Кристы в Севилью, а тот, кто этим вечером играл его роль, возил женщину в «Альамбру», поил вином, куда была подмешана водка, и вернул ее в отель «Мадрид» уже в пять утра, когда вот-вот должно было начинать светать, был Энрике, человек Роумэна, из семьи республиканцев.

Выходя от нее, Блас попросил портье приготовить утром молока для котенка и, положив перед стариком купюру, попросил сделать так, чтобы сеньориту ни с кем не соединяли по телефону до его возвращения в отель.

За те два часа, что Криста была в «Альамбре», Роумэн успел установить, что телефон, по которому она звонила в Мюнхен, принадлежит Герберту Морсену.

На молнию, отправленную им не в вашингтонский отдел разведки, а друзьям в Мюнхене, пришел ответ, что под именем Герберта Морсена в Мюнхене живет некий Густав Гаузнер, сотрудничаю-

щий в филиале ИТТ как эксперт по вопросам, связанным со Скандинавскими странами.

Бласу было дано указание подсыпать в вино чуть снотворного, чтобы женщина крепко спала и ни с кем не говорила по телефону, а утром забрать ее из отеля в девять, увезти за город, на финку, где растят быков для корриды, чтобы она не могла позвонить ни в Мадрид, ни в Мюнхен, и держать там вплоть до особого сигнала.

...Но она проснулась, потому что мяукал котенок.

Она проснулась в восемь и сразу же заказала разговор с Роумэном.

Но его не было дома. Он там и не мог быть, потому что в это время летел в Мюнхен.

РОУМЭН

Он разыскал Эда Снайдерса в центральных мюнхенских казармах; пока ехали на Терезиенштрассе, в тот дом, где жил Гаузнер, Эд жаловался на то, что Пентагон совершенно по-ублюдочному относится к вопросам разведки, никакого изящества, сидеть приходится у всех на виду, тоже мне, конспирация; солдаты указывают на моих людей пальцами: «а вот наши шпионы»; попробуй, разверни работу в таких условиях; я вспоминаю ту пору, когда мы служили у Донована, как золотой век. Тогда все было ясно, а теперь абсолютнейшая путаница, приходится учтиво раскланиваться с генералами, которые еще год назад орали «хайль Гитлер».

— Полтора, — заметил Роумэн. — Но это тоже не прошлый век. Каких генералов ты имеешь в виду? Медиков, интендантов?

— Ты зарос шерстью, — усмехнулся Снайдерс. — Под знойным испанским небом ты отстал от жизни, Пол. Медики — не моя забота, я работаю с разведчиками. Про Верена[1] ты, надеюсь, слыхал?

— Кто это? — спросил он и снова, явственно и близко, увидел прямо перед собой лицо Кристы.

— Нет, ты действительно не слыхал про Верена?

— Конечно, слыхал, — солгал Роумэн. Он знал цену Снайдерсу — свойский парень, отнюдь не Сократ, в ОСС занимался техническими вопросами, к аналитикам и расчетчикам стратегической информации его не допускали, поэтому относился к ним с особым почтением; Роумэн был для него человеком легенды: в ОСС все знали историю Пола, да и то, что сейчас он возглавлял испанское подразделение, само за себя говорило о его положении в иерархии разведок. Но Роумэн понимал при этом, что Снайдерс ему не союзник; он отдавал себе отчет в том, что тот принял его так дружески потому лишь, что совершеннейшим образом убежден в санкционированности его, Роумэна, неожиданного прилета в Мюнхен, надо поэтому все сделать, пока он не запросил своих нынешних шефов в Пентагоне; впрочем, все равно у меня есть люфт времени, — пока-то во-

[1] Один из псевдонимов Гелена.

енные запросят государственный департамент, пока-то начнут перебрасываться бумагами, я успею решить все, что надо; дело должно быть сделано за сегодняшний день; если не получится, то на всем моем предприятии можно ставить крест, — Гаузнер профессионал, это и есть то исходное, с чего следует начинать просчет задачи.

— Это тот бес, который работал в генеральном штабе, — полувопросительно сказал Роумэн. — По-моему, он занимался русскими?

— Он у нас занимается русскими, — подчеркнул Снайдерс. — К сожалению, мне дали понять, что нас не касается, чем он занимался в прошлом. Важно, чтобы он четко работал на нас в настоящем.

— Ну и как? Надежен?

— Я не могу переступить в себе неверие к немцам, Пол. Не могу, и все тут.

— Ты расист?

— Я антифашист, как и ты. Не обижай меня. Я отвык от твоих шуток, я все принимаю всерьез.

— А я и говорю всерьез.

— Нет, я не спорю, — поправился Снайдерс; ему все время — и в прошлом тоже — приходилось корректировать себя в разговорах с людьми вроде Пола; птицы высокого полета, неприкасаемые, они всегда говорили все, что приходило в голову, пусть даже это шло вразрез с общепринятыми нормами, — таким можно, им платят не за должность, а за голову. — Я не спорю, Пол, среди немцев встречаются порядочные люди.

— Да? — Роумэн усмехнулся. — Что ты говоришь?! Гиммлер, кстати, утверждал, что среди евреев тоже встречаются вполне порядочные, но тем не менее их всех надо сжечь в печах.

— Что ты хочешь этим сказать? Что я похож на Гиммлера?

— Нет. Этим я хотел сказать, что немцы, как и все другие народы, вполне нормальные люди, вроде нас с тобой... Но что среди них рождались Гитлеры и Геринги. Вот что я хотел сказать. И что в ту пору, когда у них в стране была неразбериха, хаос и беспорядок, который пугает толпу, они пообещали создать государство дисциплины. Только для этого нужно было переступить себя и уничтожить славян и евреев. Не сердись, Эд... Победители должны обладать ясной позицией. Тем более ты, который живет в Германии...

— Это верно, — легко согласился Снайдерс, потому что сейчас ему не надо было мучительно продумывать ответ, стараясь понять тайный смысл в словах Роумэна; тот произнес простую фразу, можно согласиться, не рискуя выглядеть в его глазах дураком; как и все недалекие люди, Эд более всего боялся показаться смешным. — Тут ты совершенно прав... Знаешь, я порою испытываю чувство горечи, когда вижу наших солдат на воскресном базаре: они забывают, что представляют не кого-нибудь, но Америку... Такая спекуляция, такая унизительная торговля с немцами, такая жажда накопительства, что просто краснеешь за нашу с тобою страну...

— А что продают?

— Продукты... С питанием пока что плохо, хотя, конечно, не сравнить с тем, что было год назад... У Гитлера совершенно не было запасов продовольствия, в складах — шаром покати... Огромные

запасы орудий, патронов, винтовок, снарядов, минометов и полное отсутствие хлеба, масла и мяса.

— Тебя это удивляет?

— Конечно! Как можно было начинать войну без запасов еды?!

— Так ведь он считал, что его будут кормить русские.

— А если неудача? Он же обязан был думать о возможной неудаче?

— Нет, — Роумэн покачал головой. — Он не знал слова «если». Самовлюбленный маньяк, он считал, что любое его решение обязано быть проведено в жизнь — без всяких «если». Слово «если» почерпнуто из арсенала тех людей, которые верят окружающим. А фашизм эгоцентричен, базируется на всеобщем недоверии и убежденности в собственной правоте.

Сказав так, Роумэн сразу же вспомнил Штирлица; я повторил его, подумал он; странно, его доказательства настолько антинацистские, что просто диву можно даваться. А если не один этот Штирлиц думал так? Почему же рейх не развалился, как карточный домик? Потому он не развалился, что им служили умные, ответил он себе. Криста самая умная женщина, которую я когда-либо встречал, но ведь она служит всем этим Кемпам и Густавам. Почему?! Ну, почему же?! Разве могут ангелы выполнять задания дьявола?!

— Послушай, Эд... Этот бес, к которому мы с тобою едем, очень сильный человек... И — умный...

— Они сильны до тех пор, пока их не стукнешь в лоб тем вопросом, которого они боятся, как огня...

— Какого именно вопроса они боятся?

— Разве в Испании не испугаются, если ты задашь вопрос: «А когда вы отправились в Россию с эшелонами «Голубой дивизии»?»

— Наоборот, — Роумэн усмехнулся. — Увы, наоборот. Тебе ответят, что, «выполняя волю великого генералиссимуса, я отправился на фронт против кровавых большевиков» тогда-то и тогда-то, воевал там-то и там-то и награжден за свой подвиг в войне против русских таким-то и таким-то крестом... Там по-прежнему чтут Гитлера, Эд, и считают его великим гением человечества...

— Не может быть!

— Твоими бы губами виски пить...

— Но почему тогда мы поддерживаем с ними нормальные отношения?

Роумэн повернулся к Снайдерсу и повторил:

— Так почему же мы поддерживаем с фашистом Франко дипломатические отношения, Эд?

— Наверное, плацдарм, — ответил Снайдерс после короткого раздумья. — Важный стратегический плацдарм... Гибралтар и Кадис запирают Средиземное море. Эта свинья Франко нужен нам, чтобы не пустить русских в Атлантику.

— Видимо, — согласился Роумэн, подумав при этом: «А зачем же тогда мы воевали против Гитлера? Он бы надежнее запер русских. Что ж ты не договариваешь, Эд? Почему не скажешь — и это было бы вполне логично, — что не надо было нам громить Гитлера, надо было договориться с нацистами и сообща загнать русских в их бер-

логу. Боже ты мой, ну почему мы все так горазды на оправдание подлости?! Неужели в нас так сильна инерция равнодушия, «пусть все идет, как идет, только б меня не касалось»?!»

— Вот видишь, — как-то успокоенно сказал Снайдерс. — Жизнь — сложная штука. Наверху знают, что делают, им виднее... Обзор — великая штука, Пол. То, что видит орел, на пять порядков больше того, что дано заметить пересмешнику.

— Слушай, пересмешник, — усмехнулся Пол, отгоняя от себя постоянно возникавшее в глазах лицо Кристы, — ты перебил меня... Тот бес очень хваткий, понимаешь? Ты говорил, они все разваливаются, когда их бьешь в лоб вопросом о нацизме... Боюсь, что этот не потечет...

— Еще как потечет! Поверь мне, я тут с ними вожусь с утра и до ночи — пока-то убедишься в том, что он будет работать на нас, пока-то проверишь его в деле...

— Хорошо. Попробуем поступить так, как ты говоришь... Ты сможешь, когда мы заберем этого самого Морсена-Гаузнера, получить на него информацию, пока я буду проводить с ним беседу?

— Попробуем. Я запрошу Верена. Он их знает всех как облупленных...

— Ты веришь ему?

Снайдерс усмехнулся:

— Снова обзовешь расистом, если и отвечу, что не верю ни одному немцу?

— Если скажешь, что не веришь ни одному нацисту, я тебя только похвалю за твердость позиции и верность нашим с тобою идеалам...

— Конечно, не верю, Пол. Как я могу верить их генералу? Но, говорят, сам Даллес вывозил его в Вашингтон...

— Когда он вывозил его в Вашингтон? Наверно, это было связано с работой трибунала в Нюрнберге?

— Тогда еще трибуналом и не пахло... Это было в мае или июне...

— Этого года?

— Прошлого.

Господи, подумал Роумэн, неужели они уже тогда начали подбирать досье против Эйслера и Брехта?! Ведь мы тогда братались с русскими на Одере! И мы отдавали себе отчет в том, что все эти русские коммунисты. А те, кто не был коммунистом, носил немецкую форму в дивизиях Власова, — еще большие гитлеровцы, чем сам Гитлер, что может быть страшнее изменника-наймита, который служит тому, кто убивает твой же народ?!

Снайдерс притормозил возле нужного дома на Терезиенштрассе, выбросил окурок и спросил:

— Ты подождешь? Или пойдем за ним вместе?

— Пойдем вместе.

— Ладно. Я буду перед тобой щелкать каблуками, на них очень действует, если пришел большой начальник.

— Валяй, — согласился Роумэн. — Скажи ему, что я племянник Айка. Или дядя государственного секретаря.

— Про Бирнса он поймет, а с Айком труднее, они ж аккуратис-

ты, все буквочки произносят, — «Ейзенхоувар», по-нашему не сразу разберут... Пошли, племянник...

По деревянной лестнице они поднялись на третий этаж, позвонили в тяжелую дверь; больше всего Роумэн боялся, что гада не будет на месте, а он обязан завтра же вернуться в Мадрид, он не имеет права не вернуться туда, потому что тогда провалится дело, которое он задумал; я разыщу этого мерзавца, сказал он себе, никуда он не уйдет, только нельзя паниковать, и тогда все будет так, как должно быть.

— Кто там? — услыхал он веселый девичий голос.

— Из американского представительства, — сказал Снайдерс.

Звякнула цепочка, дверь отворилась, Роумэн увидел молоденькую девушку и даже зажмурился от того, что лицо ее было таким же веснушчатым, как у Кристы.

— Где мистер Морсен? — спросил Снайдерс.

— Папа! — крикнула девушка. — К тебе! Проходите, пожалуйста.

Снайдерс вопросительно посмотрел на Роумэна — стоит ли проходить? Может, сразу же сажать в джип и везти в казарму; Пол, однако, сразу же пошел по коридору в гостиную, цепко оглядывая стены, увешанные маленькими миниатюрками — виды Скандинавии, Португалии и юга Франции; Марсель и Лион узнал сразу же, часто бывал еще до войны, когда учил там французский, — во время летних каникул.

В большой, весомо обставленной комнате прежде всего в глаза бросался огромный «Бехштейн»; видно было, что это не деталь гарнитура, но тот предмет, который здесь необходим: он был завален нотами, крышка открыта, на подставке стояла большая папка, видимо, разбирали партитуру концерта.

Морсен легко поднялся навстречу Роумэну, сдержанно поклонился и спросил — на чистейшем английском:

— Чем могу служить?

— Это мы решим позже — можете ли вообще служить, — сухо ответил Снайдерс, — а пока собирайтесь.

— Собираться? — несколько удивленно переспросил Морсен. — Я должен понять вас так, что следует взять с собою какие-то вещи?

Девушка подошла к нему, побледнев; она полуобняла его, прижалась к отцу, и Роумэн заметил, как у нее затряслись губы.

Лет семнадцать, подумал он, совсем еще маленькая, но как сразу все почувствовала; зло рождает зло, мир ужасен, боже праведный...

— Это зависит от вас, — заметил Роумэн. — На всякий случай возьмите зубную щетку, мыло и джемпер.

— Я буду готов через минуту, — сказал Морсен и пошел в свой кабинет.

Дочь и Роумэн пошли следом за ним.

— Вы можете сидеть, полковник, — сказал Снайдерс, обращаясь к Роумэну. — Я за ним погляжу. А вы пока отдохните...

Это он начал свою игру, понял Роумэн. Он делает из меня боль-

шого начальника; пусть, ему виднее, в конце концов он тут работает, ему лучше знать, как надо себя вести.

– Я могу позвонить? – спросил Морсен, вернувшись из кабинета с джемпером в руках. – Мне надо предупредить, что я... Что я...

– Нет, звонить никуда не надо, – отрезал Роумэн. – И вам, – он посмотрел на девушку, – не надо никому звонить. Если разговор пойдет так, как я хочу, папа вернется домой через пару часов. Не в ваших интересах, чтобы кто-то еще узнал о нашем визите.

– Я вернусь, маленькая, – сказал Морсен и невыразимо нежным движением погладил девушку по щеке. – Пожалуйста, не волнуйся.

– Папочка, – сказала девушка, и голос ее задрожал, – пожалуйста, папочка, сделай так, чтобы поскорее вернуться... Мне так страшно одной...

– Да, маленькая, я сделаю все, что в моих силах...

Когда спускались по лестнице, Роумэн спросил:

– Где ваша жена?

– Она погибла при бомбежке, – ответил Морсен. – Незадолго перед концом всего этого ужаса.

– Вы живете вдвоем с дочерью?

– Да. Мой сын также погиб, – ответил тот. – На Восточном фронте.

В джипе Роумэн сел рядом с Морсеном, предложил ему сигарету, выслушал любезный отказ (лицо было совершенно недвижимым, словно театральная маска) и спросил:

– Ваша настоящая фамилия...

– Если вы из американских служб, она должна быть известна...

– Она мне известна, Густав, – ответил Роумэн. – Но есть большая разница между тем, что я читаю в документах – и наших, и Верена, – и тем, что я слышу из уст, так сказать, первоисточника... Итак, ваше имя?

– Густав Гаузнер.

Роумэн достал из кармана блокнотик – точная копия того, что была у Бласа (подарил ему во время последней встречи в Мадриде; Бласа спасало то, что мать была американка, жила в Майами, поддерживала сына финансово), – и глянул в свои записи, касавшиеся совершенно другого дела, но сделал это так, что Гаузнер не мог видеть того, что у него написано, а Снайдерс был обязан увидеть эту записную книжечку и соответственно сделать вывод, что у Пола разработан план, иначе зачем же туда заглядывать?

– Ваше звание? – спросил Роумэн.

– Майор.

– В каком году вступили в абвер?

– В абвер не вступали, это не партия, – сухо ответил Гаузнер. – Я был приглашен туда адмиралом Канарисом в тридцать пятом.

– Вас использовали только на скандинавском направлении?

– В основном – да.

– Ваша штатская профессия?

– Преподаватель Берлинского университета.

– Специальность?

– Филолог.

– Это я знаю. Меня интересует конкретика. У кого учились? Где проходили практику?

– Моя специальность норвежский и шведский языки. Заканчивал семинар профессора Баренбойма. Работал переводчиком в торговой миссии Германии в Осло. Затем был корреспондентом «Франкфуртер цайтунг« в Стокгольме.

– До Гитлера?

– Да.

– Кому подчинялись в абвере?

– Майору Гаазе. Затем полковнику Пикенброку.

– Меня интересуют живые, а не покойники.

– Гаазе жив.

– Разве он жив? – Роумэн обратился к Снайдерсу. – У вас есть на него материалы?

– Сейчас проверим, – ответил тот. – Рихард Гаазе? Или Вернер?

– Не надо считать меня ребенком, – ответил Гаузнер. – Я в ваших руках, поэтому спрашивайте, а не играйте во всезнание. Гаазе зовут Ганс, он живет в Гамбурге, работает в прессе.

– Это крыша? – спросил Роумэн. – Его откомандировал туда ваш Верен?

– На такого рода вопросы я стану отвечать только в присутствии генерала. Я готов рассказывать о себе, но о работе – вы должны меня понять – я вправе говорить только с санкции генерала.

– Вы будете отвечать на те вопросы, которые я вам ставлю, – отрезал Роумэн. – И не вам диктовать, что я могу спрашивать, а что нет.

– Вы меня неверно поняли, полковник, – ответил Гаузнер. – Я отнюдь не диктую вам. Я говорю о себе. Не о вас, а о себе. Вы можете спрашивать о чем угодно, но я буду отвечать лишь на то, что не входит в противоречие с моим пониманием офицерской чести.

– Чтите кодекс офицерской чести? – спросил Роумэн.

– Как и вы.

– Кодекс нашей офицерской чести не позволял убивать детей, сжигать в камерах евреев и вешать на площадях людей за то лишь, что они придерживались иных идейных убеждений, – врезал Снайдерс. – Так что не надо о чести, Гаузнер. Мы про вашу честь знаем не понаслышке...

– Не смешивайте СС с армией, – сказал Гаузнер.

– А какая разница? – Роумэн пожал плечами. – Такая же преступная организация, читайте материалы Нюрнбергского трибунала.

– Не премину прочесть еще раз, – сказал Гаузнер. – Хотя я не очень-то подвержен ревизии собственной точки зрения на историю.

Они въехали на территорию казармы, караульные взяли под козырек, вопросительно глянув при этом на Гаузнера.

– Этот со мной, – ответил Снайдерс, кивнув на Гаузнера. – Полковник хочет с ним поговорить.

Караульные козырнули еще раз, подняв шлагбаум, и только в этот миг лицо Гаузнера дрогнуло, перестав быть лепной маской.

– Теперь я готов к разговору, – сказал он. – Я допускал возможность похищения противником, поэтому был столь сдержан. Надеюсь, вы понимаете меня.

Противником, повторил Роумэн; он выразился однозначно, а Снайдерс не спросил его, «каким именно».

В маленьком кабинетике Снайдерса горела яркая лампа, от чего обстановка казалась лазаретной, словно в ординаторской, откуда хирурги идут в операционную.

Роумэн устроился в кресле, что стояло в простенке между окнами, выходившими на плац, и спросил:

– Скажите, пожалуйста, кто и когда дал вам санкцию на командирование Кристиансен в Испанию?

– Кого? – Лицо Гаузнера дрогнуло, вопрос был неожиданным. – Как вы сказали?

– Я оперирую именем Кристины Кристиансен, а хочу знать об этой женщине все. Кто санкционировал ее командирование в Мадрид на связь с Кемпом? Кто утверждал ее задание? Сколько времени ушло на подготовку? Какими вы пользовались источниками, ориентируя ее на работу с интересующим вас объектом?

Глядя на ожившее лицо Гаузнера, на его острые скулы, Роумэн вдруг испугался того, что Снайдерс сейчас брякнет его имя, а ведь он, именно этот Гаузнер, называл его имя Кристине, рассказывал о нем что-то такое, что получил в конверте, запечатанном сургучом, с грифом «совершенно секретно»; а что, если там была и моя фотография, подумал он. Что, если он уже догадался, что я и есть тот самый Пол Роумэн, к которому его агент так ловко подошла в Мадриде, разломав бампер своего арендованного «шевроле» о задок моей машины?

Роумэн поднялся, кивнул Снайдерсу:

– На одну минуту, пожалуйста, – и вышел из комнаты.

Снайдерс оглядел сейф, стол, все ли заперто, нет ли каких папок, вышел следом за Роумэном, не прикрыв дверь, посмотрел на него вопросительно, тот прижал палец к губам, взял его под руку и шепнул:

– Оставь нас двоих. И не вздумай произнести мое имя. Меня зовут Чарли, понял? Чарли Спарк, запомнил?

– Хорошо, – так же шепотом ответил Снайдерс. – Ты долго будешь с ним говорить?

– Как пойдет.

– Я буду к вам заглядывать, – сказал Снайдерс. – Я тебе подыграю.

– Как?

– Я знаю как, поверь.

– Хорошо, только не брякни мое имя, понял?

– Понял.

Роумэн вернулся в комнату, тщательно прикрыл дверь и только после этого посмотрел на Гаузнера, подумав, что он сделал ошибку, прервав разговор, ибо немец получил ту паузу на раздумье, которая была ему, видимо, крайне необходима...

– Итак, – сказал Роумэн, – я слушаю вас...

– Я продумал ваш вопрос... Простите, я не имею чести знать, кто вы и как вас зовут?

– Меня зовут Чарльз Рихард Спарк, я полковник американской разведки... Итак...

– Все-таки на этот ваш развернутый вопрос, мистер Спарк, я бы хотел ответить в присутствии Верена...

– Вас следует понимать так, что именно он санкционировал эту комбинацию?

– Я сказал то, что счел возможнм сказать, мистер Спарк... Кстати, у вас нет в родстве мистера Грегори Спарка?

– Кого? – спросил Роумэн, чувствуя, как в груди сразу же захолодело. – Какого Грегори?

– Этот человек работал в Португалии под другой фамилией. Он интересовал абвер, поэтому я и спросил вас о нем.

– У меня нет в родстве никаких Грегори, – ответил Роумэн. – Я попрошу вас подробно рассказать о Кристиансен. Вы имеете право это сделать, никак не нарушая нормы офицерского кодекса...

– Да, пожалуй, – согласился Гаузнер. – Все относящееся к поре войны вы вправе знать досконально...

– А к нынешней поре? Я не имею права знать этого?

– Вы меня неверно поняли, мистер Спарк. Вы обязаны знать все и о сегодняшнем дне, но я готов помогать вам в этом деле лишь в присутствии генерала.

– Принято, – кивнул Роумэн. – Я слушаю.

– Фрейлейн Кристина Кристиансен на самом деле Кристина Эрнансен. Ее привлекли к сотрудничеству в сорок третьем, после ареста отца, профессора Эрика Эрнансена и матери, достойнейшей фру Гретты... Ее привлек Гаазе, затем ее работой руководил я... Она хороший человек, мистер Спарк. Мне было ее очень жаль. Я делал все, что мог, только бы помочь ей вызволить родителей из гестапо...

– К кому именно вы ее подводили?

– Нас интересовали группы террористов, которые блокировали порты... Они взрывали суда...

– Термин «террористы» к ним вряд ли приложим. Это были диверсанты, вас так надо понимать?

– В общем-то да, вы правы. Сейчас бы я назвал их именно так, но в те годы к ним относились, как к террористам... Они взрывали суда, на которых находились не только солдаты, выполнявшие свой долг, но и мирные жители...

– Понимаю, – Роумэн снова кивнул. – Я понимаю вас... Она, эта Эрнансен, работала по принуждению?

– Нет, нет... Гаазе влюбил ее в себя, он значительно моложе нас с вами, ну, а потом началась профессиональная деятельность фрейлейн Кристины... Я бы не сказал, что она работала по принуждению... Конечно, она норвежка, ей был горек выпавший на долю их страны удел оккупированной державы, но она делала все, чтобы спасти отца... Поначалу она не очень-то понимала свою работу... Так мне, во всяком случае, кажется...

– Она знала, что ей придется спать с теми, кого ей называли, во имя спасения отца?

– Да, это был главный рычаг...

– Понятно, – сказал Роумэн и снова закурил; пальцы его были ледяными и чуть дрожали; дрожь была мелкой, судорожной, практически неконтролируемой. – Понятно, господин Гаузнер. А теперь я нарисую вам маленькую сценку. Я, возможно, буду говорить коряво и несвязно, но вы потом поймете, отчего я говорю так. Мы с вами работаем в сфере жестокой профессии... Ничего не поделаешь, все надо называть своими именами... Итак, представьте, что если вы сейчас не ответите мне, не изложите в письменном виде правду о мадридской комбинации, то сегодня вечером, когда в вашем подъезде все уснут, мой человек отправится к вашей дочери и скажет, что ее отец арестован, ему грозит смерть за то, что он делал во время войны, и что из создавшейся ситуации есть только один выход. Он уложит девушку в кровать, а наутро назовет ей того человека, к которому ей надо будет подойти, стать его любовницей, а затем докладывать ему, то бишь моему парню, все то, что его будет интересовать.

По мере того как Роумэн забивал свои фразы, лицо Гаузнера становилось все более и более бледным, заострился нос, как-то изнутри, совершенно неожиданно, появились черные тени под глазами, резко увеличились уши, – такие бывают у раковых больных в последние недели перед смертью...

– Вы не сможете так поступить, – едва разлепив посиневшие губы, прошептал Гаузнер. – Это... это... невозможно, мистер Спарк...

– Почему?

– Потому что... это злоде...

– Что, что?! Кончайте слова, Гаузнер, коли начали! Злодейство? Вы это слово хотели сказать? Но почему же? Это не злодейство. Вы ведь не считали себя злодеем, когда работали с Эрнансен? Вы честно выполняли свой долг перед рейхом, вы иначе не могли, вы были обязаны сделать то, что вам поручали, я вполне понимаю ваше положение.

– Нет, не пони... не понимаете... Невыполнение приказа гро... грозило мне смертью... А вам это ни... ничем не грозит...

– То есть как это «ничем»? Погонят с работы! И правильно поступят, если погонят! А что мне тогда делать? Я ведь даже не профессор норвежской филологии. Просто-напросто полковник и ничего не умею, кроме как заниматься разведкой... И вы знаете, что в нашей с вами профессии значит фактор времени... А я его теряю с вами, Гаузнер. Так что отвечайте на все мои вопросы и возвращайтесь к своей милой дочери.

В дверь заглянул Снайдерс, строго посмотрел на Гаузнера, поинтересовался:

– Я пока не нужен, полковник?

– Нет, нет, спасибо, – ответил Роумэн. – Я вызову вас, когда понадобитесь.

Две фразы были достаточны для Гаузнера, чтобы стремительно просчитать ситуацию; он же американец, опомнись, сказал он себе; он никогда не сделает того, что бы на его месте сделал человек гестапо (он даже не успел успокоительно подумать, что он-то ведь не

был человеком гестапо), он берет тебя на пушку, это пустая угроза, не более того...

— Я жду, — сказал Роумэн, дождавшись, когда Снайдерс закрыл дверь. — Я хочу освободить вас, Гаузнер.

— Нет, мистер Спарк. Не взыщите. Можете делать все, что угодно с моей дочкой, если вы решитесь на такое злодейство, но я отвечу вам только в присутствии генерала.

Он что-то придумал, понял Роумэн. Я дал ему время, пока отвечал Снайдерсу. Он был готов все открыть, но передумал за те секунды, пока меня спрашивал Эд. Что же ты придумал, собака, подумал Роумэн. Почему ты так перевернулся за эти секунды?!

— Хорошо, — сказал Роумэн и тяжело поднялся с кресла. — Сейчас мы поедем с вами к вашему Верену. Отдайте документы, пожалуйста. Я вас задерживаю.

— Пожалуйста, — ответил Гаузнер, снова начав бледнеть. Он протянул паспорт и продуктовую карточку. — Больше у меня ничего нет.

— Этого достаточно, — ответил Роумэн. — Едем.

В коридор он вышел первым, крикнул Снайдерса, тот выглянул из соседней комнаты. Роумэн сказал, что он едет с Гаузнером к Верену, спросил, есть ли в машине карта Мюнхена, спустился во двор, сел за руль, разложил план города, цепко схватил глазами дорогу, которая вела к Швейцарии, попросил Гаузнера вытянуть руки и схватил их тонкими стальными наручниками.

Через несколько минут — они ехали в абсолютном молчании — Гаузнер заметил:

— Вы едете не той дорогой, мистер Спарк.

— Я еду той дорогой, которая мне нужна.

— Вы хотите куда-то заехать?

— Да.

— Я могу помочь вам найти правильный путь. Вы плутаете. Тут есть хорошая дорога, совершенно прямая... Куда вы должны заехать?

— Я знаю, куда мне надо попасть, Гаузнер, я знаю.

Плохо, подумал он, если меня остановят наши патрули и начнут спрашивать, почему я везу человека в наручниках; они потребуют разрешение на взятие его под стражу. А Снайдерс мне не нужен. Сейчас мне уже никто не нужен. Любой американец мне сейчас только помешает; я и он, ее руководитель, и никого больше.

Роумэн проскочил патруль; ребята помахали ему руками, он весело осклабился и нажал на акселератор еще резче.

— Куда мы едем? — спросил Гаузнер, когда они свернули на проселочную дорогу. — Вы не ошиблись дорогой?

Роумэн не ответил: он молил бога, чтобы машина не уперлась в забор какого-нибудь коттеджа; у них такие аккуратные заборчики, просто чудо что за порядок, а мне нужно хоть немножечко беспорядка, мне нужно еще метров семьсот, всего семьсот, чтобы вокруг не было домов и чтобы мою машину никто не видел с дороги, и чтобы его крик, если он станет орать, никто не услышал, больше мне ничего не надо, ибо единственно, что он мог надумать, пока Снайдерс открывал дверь, так это то, что я не стану поступать, как он,

как поступали все они, черные, зеленые и штатские, и в общем-то он верно подумал, только он не знает, как меня пытали у них током, как меня предала Лайза, как я стал инвалидом, пока не встретил Кристу и не поверил в то, что она послана мне богом, за все мои прегрешения послана, за мое добро и зло, за то, что я такой, каков есть, и ни за что другое...

Гравиевая дорожка кончилась возле канала; раньше здесь ловили рыбу, понял Роумэн, а в том сгоревшем домишке пили пиво или прятались от дождя; слава богу, я попал в то место, которое мне нужно...

— Ну, вот и приехали, — сказал Роумэн, судорожно вдохнув воздух. — Вы бледнеете, когда волнуетесь? А вот я теряю дыхание... Сейчас я вам что-то скажу, Гаузнер... После этого вы поймете, что поступлю с вашей дочкой именно так, как вы поступали с Кристиной... Я был у вас в плену... Понимаете? И меня пытали током... Чтобы сделать импотентом... Я не буду рассказывать подробности, как это делалось, вы их знаете...

— Я их не знаю... Я работал в абвере, мы не пытали, мистер Спарк...

— Моя фамилия Роумэн. Пол Роумэн, вот в чем все дело...

Он не отрывал глаз от Гаузнера, и он правильно делал, потому что заметил в глазах немца высверк ужаса и понял все, что ему надо было понять.

— Кристина очень хорошо сделала свою работу. Гаузнер... Так хорошо, что я прилетел к вам за правдой. За всей правдой: с именами, телефонами, паролями, понимаете? Если вы мне не ответите на те вопросы, которые я поставил в казарме, пеняйте на себя: я поступлю с вашей девочкой так, как вы поступали с Кристиной..

— Но я... но я не по... не посту... не поступал с ней так.

— Все, Гаузнер. Я должен успеть на самолет. Выходите из машины. Время кончилось. В случившемся виноваты вы. Выходите, я пристрелю вас. Меня будут судить, черт с ним, пусть. Если я не узнаю всю правду, меня это не очень-то огорчит... Но после того как я вас пристрелю, я приеду к вашей дочери и сделаю то, что обещал. Клянусь, я поступлю именно так.

Роумэн вылез из машины, достал из заднего кармана брюк «вальтер», распахнул дверцу и оказался с Гаузнером лицом к лицу. Черные тени под глазами, исчезнувшие былю, снова сделались будто бы рисованными, и губы плясали, и были сухие, как у алкоголика...

...Через два часа Роумэн вылетел в Мадрид, узнав все, что хотел, но, главное, поняв, отчего Криста работала на них; бедная девочка, она верила, что выполнит последнее задание и ей назовут имя убийцы ее отца.

...Через три часа Мерк позвонил Гаузнеру и попросил его заехать «на чашку чая, у меня гость из Стокгольма, мечтает с вами встретиться и вспомнить былое»!

Однако никакого гостя у него не было, Мерк сидел в своем кабинете один; сказал, что «в казармах у Гелена есть свои люди; о происшедшем все известно; спасти может только полное признание»; выслушав коллегу, спросил:

– Вы понимаете, что произошло?

– Да.

– Ну, и что вы намерены сделать?

– Я готов выполнить то, что вы мне поручите, Мерк.

– Господин Мерк! Господин! Это сегодня утром я был «коллегой»! А сейчас я стал «господином»! И останусь им для вас навсегда!

– Говорите тише, – попросил Гаузнер. – У меня могут порваться сосуды, и тогда я не сделаю того, что мне предстоит сделать.

– А что вам предстоит сделать?!

– Не знаю. Но я не считаю положение безвыходным...

– Вы отдали ему подлинное имя генерала?

– Нет.

– А испанские связи?

– Да. Если бы он понял, что я ему лгу, он наверняка выполнил бы свое зловещее обещание...

– Да плевать...

– Господин Мерк, – перебил его Гаузнер, – пожалуйста, выбирайте выражения... Речь шла о судьбе ребенка...

Он кончен, понял Мерк; он растерт подошвой об асфальт, только таким его и можно сейчас воспринимать.

– Простите меня, – сказал Мерк. – Я так оглушен случившимся, что перестал собою владеть... Спасибо, что вы пришли, Гаузнер... Я должен обсудить ситуацию и принять решение, а вы сейчас поезжайте отдыхать, на вас нет лица.

И тут Гаузнер заплакал; лицо его тряслось, слезы катились по щекам, словно капли весеннего дождя по немытым с зимы стеклам веранды на маленькой дачке в лесу.

«Почему я подумал о даче? – удивился Мерк, провожая визитера в прихожую; понял, лишь когда закрыл за ним дверь: – Его лицо покрылось седой щетиной, это неопрятно, хотя типично для тех минут, когда переживаешь стресс; неопрятность в лице напомнила мне дачу; весной стекла в потеках, серые, похоже на небритость...»

Усмехнувшись, Мерк начал одеваться; по-прежнему моросил дождь; он натянул свитер: очень боялся простуды, а до Пуллаха путь неблизкий, неровен час – сляжет, а сейчас это невозможно, полная боевая готовность, противник узнал то, чего не имеет права знать...

КЕМП

Он посмотрел на часы: до ланча осталось сорок минут (теперь, после года работы в ИТТ у Джекобса, он никогда не говорил «обед», только «ланч», удобнее и емче; ланч предполагает и знакомство, и обмен мнениями, и легкую выпивку, все завязано в одном слове; «давайте пообедаем» – многословно, ближе к обжираловке, в то время как ланч и есть ланч; все ясно с самого начала).

Вечер будет занят: встреча вполне перспективна, речь идет о

вербовке графа Бах цу Элльсберга; подготовительную работу провел доктор Райн, этот надежен, не страдает иллюзиями, если сказал «да», значит, убежден в успехе; отчего не звонит Блас? Хотя я позволил ему все, наверное, уложил девку в постель: красавец, молод, не то что Роумэн; беседу с Штирлицем придется перенести на завтра, потому как сегодня на тринадцать тридцать назначен ланч в «Лукулусе» — лучший ресторан Мадрида, всего десять столиков, цен нет, все, как у «Максима» в Париже; собираются самые уважаемые люди города, тысяча песет больше, тысяча меньше, кого это волнует, когда совершаются миллионные сделки?! В деле оправданы любые траты; только тупые скопидомы боятся выбросить тысячу там, где пахнет миллионами, и, как правило, проигрывают, ибо всякое начало связано со щедрыми тратами, прибыли потом идут, диалектика, не поспоришь.

Из Буэнос-Айреса прилетели тузы, их опекает Гутиерес-младший; на приемы к сеньоре Франко получает личные приглашения, силен, связи поразительны.

Кемпа несколько удивило то, что они, эти банковские тузы из Аргентины, прибыли вместе с промышленниками; как правило, такого рода смешанные группы прилетают тогда лишь, когда речь идет о подписании какого-то особо крупного индустриального, железнодорожного или военного проекта, а такого в Аргентине пока что не предвиделось; во всяком случае Штирлиц, когда Кемп поручил ему составить справку по заинтересовавшей его коллизии, ничего серьезного не нашел, хотя проанализировал всю прессу республики, даже ту, левую, которая была запрещена к ввозу в Испанию и доставлялась в ИТТ с дипломатической почтой, не подлежавшей, естественно, досмотру таможенных властей Франко.

Кемп, понятно, не мог и предполагать, что Штирлиц заинтересовался пустячной статьей в «Кларине», где речь шла о предполагаемом строительстве каскада электростанций в районе Барилоче, что на границе с Чили; совершенно пустынный, необжитой район, почему именно там? Отчего «Кла́рин», начавший, как было объявлено, цикл репортажей об этом проекте, напечатал только один, а потом замолчал? Зная суть работы секретного подразделения Геринга, занимавшегося созданием атомной бомбы для рейха, Штирлиц помнил, что первым и основным вопросом проекта была привязка лабораторий и опытных заводов по производству гелия к электростанциям, с соблюдением норм чрезвычайной секретности.

Штирлиц заложил информацию в память, но не запустил ее в исследование, поскольку приучил себя к тому, что анализировать следует факты, а не домыслы.

Он, конечно, не знал и не мог знать, отчего Кемп поставил перед ним задачу просчитать то новое, что намечалось в промышленно-дорожном строительстве Аргентины, как и Кемп, в свою очередь, мог только предполагать, зачем группа тузов из Буэнос-Айреса прилетела в Мадрид — по личному указанию Перона. Лишь один человек в этой группе, профессор Дейва, выступавший в качестве научного эксперта, был посвящен в истинную цель поездки в Европу. Именно он, Дейва, должен был, вскользь, ненавязчиво, прощупать возможность при-

обретения в разных фирмах (желательно в английских и шведских, но через испанские концерны) тех стратегических материалов, станков и аппаратуры, которые нужны Риктеру для создания штуки; работы в Барилоче начались уже, были окружены абсолютной тайной, и сводки по результатам каждого дня докладывались непосредственно президенту. Он, профессор Дейва, должен был ставить свои вопросы таким образом, чтобы его собеседники ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не могли понять, чем же по-настоящему интересуются аргентинцы. Более того, Гутиерес разработал точный план дезинформации, выполнение которого должно было дать возможность испанцам и тем, кто с ними связан, прийти к выводу, что Перон задумал гигантский план портового и городского строительства («нация прежде всего, я думаю не о каких-то мифических «классах», изобретенных Марксом, но обо всех трудящихся»), что достаточно хорошо прозвучит в прессе после выборов.

Ни Штирлиц и ни Кемп не могли также предположить, что Дейве было вменено и еще одно деликатное поручение (впрочем, не ему одному), связанное с выяснением судьбы тех лиц, которые были завязаны в атомный проект нацистов; фамилия Штирлица стояла не на последнем месте.

...Порою Кемп ненавидел себя за избыточную, как он сам определял, «немецкость». Он ничего не мог поделать с собою, когда мозг его, словно бы отдельно от него самого и от его глубинной сути, автоматически просчитывал ту реальную, чисто житейскую экономию, которую дают все эти деловые ланчи и коктейль-парти. Суммы эти не просто намертво отпечатывались в его мозгу (порою совершенно помимо его воли), но и слагались в некую концепцию бюджета; както само по себе получалось так, что оклад содержания, который платила фирма, почти целиком переходил на его счет в «Банк де Мадрид»; питался он именно во время этих практически ежедневных приемов; Эрл Джекобс выделил ему довольно значительную сумму на представительские расходы и бензин (так называемые транспортные затраты), фирма также финансировала его телефонные разговоры и, после того как он подготовил четыре выгоднейших контракта, взяла на себя половину квартирной платы, поскольку Джекобс решил, что его холостяцкая квартира вполне может быть оборудована для встреч с нужными людьми, когда беседа в ресторане нежелательна по целому ряду соображений, а прежде всего потому, что секретная полиция — особенно после того, как Франко санкционировал широкие связи с Америкой, — хочет знать все и всех, влезает в прерогативы министерства экономики, отрабатывает свой хлеб почем зря, а ведь рапорты агентуры могут быть неквалифицированными или тенденциозными, и тогда даже сам Эрл Джекобс с его связями не гарантирован, что удастся вовремя «погасить» ненужную свару.

Иногда Кемп доставал свою чековую книжку и любовно просматривал ежемесячно увеличивавшуюся сумму своего счета, — ведь после войны начал с нуля, а через одиннадцать месяцев сможет купить старый дом на берегу, возле Малаги, который присмотрел во время одной из командировок в Андалусию. Опять-таки независимо от себя самого, как-то совершенно автоматически, его мозг, подчинен-

ный расчетливому педантизму, легко и точно просчитал, что потребуется еще три года работы в корпорации, чтобы превратить развалюху во вполне пристойный пансионат, который он назовет «Кондор»; восемь номеров, большой холл-ресторан, бассейн во дворе; Герман Гискес, подполковник абвера, один из наиболее доверенных сотрудников Гелена, сказал во время их последней встречи, что через пару лет в гамбургских газетах вполне можно будет напечатать рекламу о «немецком уголке на берегу Средиземного моря»; именно сейчас в Германии делают деньги, потаенные деньги, значит, люди захотят отдохнуть недельку-другую вдали от чужих глаз, пригласив на солнышко хорошую подругу.

Гискесу он верил: впервые они встретились на конспиративной квартире Гелена в Мюнхене, в сентябре сорок четвертого; генерал тогда пригласил его (не Кемпа еще) подполковника Рихарда Виккерса, и подполковника Германа Гискеса.

Гелен был сумрачен, долго сидел у приемника «Блаупункт», настраивая его на волну той немецкой радиостанции, которая передавала тирольские песни (очень голосисты, надежно забивают разговоры; прослушивание их беседы коллегой Мюллером, таким образом, практически невозможно, если допустить, что гестапо — по заданию Кальтенбруннера — все-таки оборудовало его конспиративную квартиру аппаратурой), потом пригласил офицеров к маленькому столику, сервированному печеньем, трофейным толстым шоколадом и жидким кофе.

— Я собрал вас, — сказал он, — не по причине какого-то приятного известия, а совсем наоборот.... Я хочу поговорить с вами вполне откровенно о том, что нас ждет. А ждет нас оккупация. Да, да, именно так. Война проиграна, крах неминуем. И я хочу рассказать о том, как каждому из вас надлежит себя вести после того, как вы будете арестованы...

Гелен нахмурился, лоб собрало резкими морщинами, было видно, как он устал и издерган: щеки запали, глаза окружены темными тенями.

— Да, да, — раздражаясь, повторил он, — именно так, после того, как вы будете арестованы... Единственно, кто, возможно, избежит ареста, — он поднял глаза на Кемпа, — будете вы, потому что я пробил для вас назначение в Лиссабон; получаете фамилию «Кемп», начинаете службу в нашем атташате. Но большую часть времени тратьте на то, чтобы уже сейчас, не медля, искать контакты с ИТТ, — я верю моему другу доктору Вестрику. Не думайте о текущих делах; ваша главная задача — подготовить точку, которая в будущем позволит организовать надежную крышу для всех тех, в ком будем заинтересованы мы, солдаты той Германии, которая возродится из пепла.

...Второй раз Кемп встретился с Германом Гискесом в Лиссабоне, когда тот прилетел в португальскую столицу вместе с Густавом Гаузнером в декабре сорок четвертого, накануне рождества; они отправились на Байро-Алто — в район местной Флит-стрит, в маленький ресторанчик «Нова примавера»; говорили мало, пили много, настроение у всех было подавленное; дали обет помогать друг другу

чем могут и как могут, грядущему ужасу можно противоположить лишь одно: единство боевых соратников. Кемп перевел пословицы, выведенные синей глазурью по белым изразцам, вмонтированным в стену: «Хорошо делает тот, кто делает», «Фальшивый друг — самый худший враг«. Именно тогда Гискес и пошутил: «Самая большая помощь, которую мы сможем оказать нашей несчастной родине, заключается, видимо, в том, чтобы каждый из нас смог разбогатеть, как Крез. Только бы потом не сесть сиднем на это богатство, а поделить его между борцами... Страшненькая идея определяет конец режима: «богатейте, и вы поможете нации!» Где наша былая немецкая духовность, боже ты мой?!»

...В «Лукулусе» было весело, аргентинцы устроили великолепный обед, мясо таяло во рту, нигде в мире нет такой говядины, как у них, хозяин ресторана не обиделся, когда они привезли повара из своего посольства, тот готовил ростбифы и вырезки, наблюдая за тем, чтобы не было пережара, это самый страшный грех, поскольку пропорция прижаристости — сверху и крови — внутри есть первооснова гастрономии Байреса; малейшее нарушение чревато позором, незачем тогда было печатать в меню названия блюд, славившихся в Аргентине.

Вино подавали из подвалов Мендосы — специально привезли с собою пятнадцать ящиков; конечно, испанская «Рьоха» прекрасна, но уж коли в «Лукулусе» сегодня принимают на аргентинский лад, то пусть главное, определяющее стол, то есть мясо и вино, будет аргентинским.

Маркиз де ля Куэнья был в ударе, рассказывал анекдоты, хозяева и гости хохотали до слез; изначально чинный порядок сменился дружеской раскованностью: люди менялись местами, разговор сделался общим, шумным; разбились по интересам, вопросы и ответы пробрасывались легко, между делом, — если слушать со стороны, могло показаться, что люди беседуют о сущих безделицах, да и выпито немало, однако же коли проанализировать суть этого застолья, то компетентные экономисты смогли бы составить жесткую схему, построенную на мягких, словно прикосновение кошачьих лапок, намеках, возгласах удивления, полуфраз, а то и просто междометий. Как большое красочное панно складывается из невзрачных мозаик, так и здесь главный смысл был надежно упрятан в шелуху совершенно необязательных слов; лишь будучи собранными на машинописные страницы, они обретали законченный логический смысл.

Правда, Кемп, внимательно слушавший все и всех (это у них было заранее обговорено с Джекобсом), не мог скрыть удивления, когда профессор Дейва, подсевший к нему с бокалом вина, заговорил на прекрасном немецком; спрашивал о судьбе гумбольдтовской библиотеки («боже, как упоенно я работал у вас в Берлине, какая прекрасная систематизация знаний!»), интересовался тем, что стало с бесследно исчезнувшей Дрезденской галереей, ведь это русская зона оккупации, чего ждать от вандалов; потом сказал, что его немецкие друзья в Байресе беспокоятся о профессоре Грюннерсе; не име-

ет ли «милый Кемп» какой-либо информации об этом выдающемся математике; я был бы бесконечно признателен, попробуй вы разыскать его, все-таки Испания – это Европа, вам ближе до Германии, не то, что нам, живем на другой стороне земли, ходим вверх ногами, Новый год отмечаем в тот день, когда наступает лето, все не как у людей. Кстати, о профессоре Грюннерсе может знать некий полковник Штиглиц, мне называли его имя в нашем университете, вдруг вы слыхали что-то и о нем, чем черт не шутит?!

Не дождавшись ответа Кемпа, словно бы это и не очень-то его интересовало, профессор Дейва переключился на беседу с маркизом де ля Куэнья, обрушил на него поток информации по поводу того, как интенсивно бразильцы начали освоение пограничных с Аргентиной районов неподалеку от водопада Игуасу, используя технику, полученную ими из Швеции через посредничество испанцев; «мы ревнуем, в конце концов Бразилия – дитя Португалии, а мы подданные испанской культуры, разве может любимая мать выказывать равнодушие родным детям?!»

Маркиз де ля Куэнья посмеялся:

– Главная разница между нами и португальцами заключается в том, что те пускают быков на корриду, забинтовав им рога мягкими тряпками, а мы алчем противоборства с шилом. Да и вообще, детская ревность часто бывает беспочвенной, в подоплеке ее чувства, а не факты. Насколько мне известно, мы не очень-то активно торгуем с Бразилией. Вполне, впрочем, возможно, что кто-то из наших влез туда, минуя моих бюрократов, дело есть дело, искусственные препоны мешают обмену капитала, спасибо за ваше сообщение, я не премину поспрошать наших бездельников...

Когда Дейва собрался подняться с кресла и перейти поближе к Джекобсу, Кемп протянул ему свою визитную карточку:

– Мне было крайне приятно познакомиться с вами. Я не премину расспросить моих друзей о том, что вас интересует.

Дейва достал свою карточку, дописал на ней еще два телефона, заметив:

– Буду рад видеть вас в Байресе. Здесь я остановился в «Ритце», терпеть не могу роскоши, но, увы, положение обязывает: мои боссы невероятные моты, они не могут, видите ли, жить в однокомнатных номерах...

Как и всегда, Кемп уезжал с приемов раньше Джекобса (это было тоже обговорено заранее), чтобы к возвращению того обобщить вопросы, возникшие во время ланча. Он подошел к своей машине (на такие мероприятия брал престижный автомобиль фирмы, старый «остин» с затемненными стеклами), отпер дверь, хотел было сесть за руль, но услыхал свою фамилию; его окликнули из машины, что стояла совсем рядом с «остином»; голос показался знакомым, ничего тревожного; обернулся: за рулем неприметного «штеера» сидел Густав Гаузнер...

– Вот так, да? – задумчиво переспросил Кемп, выслушав стародавнего знакомца, и ощутил давно забытое желание затянуться креп-

кой сигаретой. – Ладно, садитесь ко мне, отъедем отсюда, там и решим, как поступать.

– Да нет же, – раздраженно сказал Гаузнер. – Как надо поступать, я знаю, у меня инструкции. Другой вопрос – успеем ли?

– Успеем, – ответил Кемп и усмехнулся. – Особенно если есть инструкции. Кстати, вы что, тащили их через границу?

– Как и туловище, – в тон ему усмехнулся Гаузнер. – Инструкции здесь, – он мягко прикоснулся указательным пальцем правой руки ко лбу. – Все по пунктам, заучено вплоть до запятых.

Кемп припарковал машину на улице генерала Мола, положил в рот жевательную резинку и сказал:

– Про женщину понял. Про связь, которую надо передать вам, тоже. Про отель и машину тем более. Но я не могу взять в толк, почему мне надо немедленно улетать отсюда в Буэнос-Айрес? Это будет выглядеть бегством.

– Позвоните Киршнеру. У него дополнительные указания. Вы знаете Киршнера?

...Киршнер, один из тех, кто был внедрен Геленом в Испанию на глубинное вживание, пока не имел оперативных заданий, избегал всяческих контактов с немцами и использовался «организацией» в самых крайних случаях. Сейчас был именно такой случай. Сегодня утром из Гамбурга позвонила «тетя Гертруда» (агент Мерка) и, поприветствовав «милого Хайнца», попросила его передать Герберту (Кемпу) – если тот вдруг позвонит ему, – чтобы он «позаботился об уборке дома» после того, как «разъедутся родственники с юга».

Безобидная фраза, которую Киршнер передал Кемпу, когда тот позвонил ему, расшифровывалась следующим образом: «После того как человек, вышедший к вам на связь, выполнит возложенную на него задачу, ликвидируйте его с помощью абсолютно надежных людей, сами после этого передислоцируйтесь в Аргентину, на заранее обусловленную явку».

Кемп медленно, словно бы завороженно положил трубку и не сразу решился выйти к Гаузнеру из подвального помещения, откуда звонил (что за дурацкая манера устанавливать телефоны возле сортиров?!). Он до ужаса явственно видел лицо Гаузнера, когда они сидели в Лиссабоне всего каких-то два года тому назад и говорили о том, что единственной панацеей от тотального исчезновения немцев с карты мира является лишь одно: абсолютное, сердечное, искреннее дружество; хватит нам позволять всякого рода недоумкам, вроде ефрейтора, пользоваться врожденным немецким качеством порядка, безусловным исполнением любого, самого дурацкого приказа вышестоящего.

С неведомым ему ранее ужасом Кемп вдруг понял, что он ни на минуту не усомнился в том, что выполнит приказ «организации» и организует убийство Гаузнера («уборка дома») после того, как тот сделает свою работу. Поскольку Гаузнер приехал сюда, значит, он автоматически перешел в его, Кемпа, подчинение и, следовательно, изложит в подробностях, что ему предстоит сделать; ох, лучше бы мне не знать этого, подумал Кемп; будь все трижды неладно; не жизнь, а какое-то глумление над тем, что есть в человеке божеско-

го....Хотя есть ли? Все выжгло, век жестокий, не на милосердие рассчитан.

– Ну что ж, – сказал он, поднявшись в кафе и медленно опустившись за мраморный столик рядом с Гаузнером. – Все сходится. Рассказывайте дело, я получил необходимые указания, помощь обеспечу.

– Как со временем? – снова поинтересовался Гаузнер. – Поверьте моему чутью, со временем дело обстоит крайне напряженно. Мне надо срочно увидеть ту женщину, которую я вам передал на связь...

– Кристину?

Гаузнер машинально оглянулся, кивнул, устало продолжил:

– Я должен встретиться с нею немедленно. Человек, которого вы мне передадите, обязан увезти ее из города и надежным образом постеречь, пока я не проведу беседу с Роумэном.

– На предмет?

– Его вербовки.

– Это нереально.

– «Организация» считает это трудной задачей, но тем не менее вполне реальной. Это мнение генерала, а он не ошибается. Вы убеждены в точности той информации, которую вам передавали?

– Мне передают довольно много информации, – грустно усмехнулся Кемп. – Какую именно вы имеете в виду?

– Об отношении Роумэна к моему агенту... к Кристине?

– Информация абсолютна, – Кемп хотел было добавить, что слушал запись их разговоров, начиная с самого раннего утра и до того момента, когда ночью они начинали заниматься любовью, но отчего-то не стал этого делать; за несколько минут я уже свыкся с мыслью, по-прежнему с ужасом подумал он, что говорю с покойником, понимая, что перед гибелью Гаузнера может случиться такое, что вынудит его заговорить. Здешние парни на Пуэрта-дель-Соль заставят даже труп шевелить серыми, холодными губами.

Он представил себе этот ужас: желтоватое лицо мертвого человека; прозрачные, словно обтянутые папиросной бумагой, глазные яблоки, заострившийся хрящеватый нос (отчего у всех покойников нос делается хрящеватым, словно все усопшие – евреи; ах, если бы) и оттопыренные, с синевой уши.

– Информация вполне надежна, дорогой Гаузнер...

– Я – Морсен. Пожалуйста, забудьте то имя.

– Хорошо. Что вы намерены делать после вербовочной беседы?

– Либо я ломаю его и он дает согласие на работу по заданиям «организации» и тогда мы снабжаем его такой информацией, которая будет способствовать его карьерному росту и переводу в Вашингтон, либо устраняю его.

– Второе ясно. Какую информацию вы можете ему пообещать?

Гаузнер закурил и, откинувшись на спинку кресла, ответил:

– Я отдаю ему вас.

– Вы с ума сошли.

– Я – нет. Мерк – может быть.

– Вы сошли с ума, – повторил Кемп. – Я же держу все нити!

— В Буэнос-Айресе вы явитесь по известному вам адресу, — монотонно, как-то даже торжествующе продолжал Гаузнер, — и передадите там все связи, пароли, доверенности на счета. Там же вам вручат новые документы; место вашей будущей работы — Парагвай с выходом на северные районы Аргентины. Меня уполномочили вам передать именно это...

— Это все?

Гаузнер достал из кармана маленькую английскую книгу. Кемп успел заметить надпись на корешке — О. Генри:

— Здесь паспорт, деньги и шифры, телефонная связь запрещена категорически, только переписка.

Кемп посмотрел на часы; надо успеть снять мои деньги в «Банк де Мадрид», подумал он, не оставлять же их здесь? Какая все-таки глупость, черт возьми! Где-то что-то с кем-то случилось, а ударяет меня... Впрочем, нет; я улетаю в Аргентину, а Гаузнера укладывают в гроб, не надо мне гневить бога, со мной не так уж плохо.

Между тем Гаузнер продолжал тягуче говорить заученное:

— «Организация» полагает, что в ближайшие часы Роумэн начнет проявлять активность, если уже не начал. «Организация» предполагает, что одним из объектов его активности может стать некий доктор Брунн, он же Штирлиц. Вас просили, перед тем как вы, не заезжая домой, отправитесь на аэродром, обратиться к вашим друзьям за содействием в постановке наблюдения за Брунном, а также Роумэном. Вас также просили локализовать тех знакомых Роумэна в местной секретной службе, с которыми он поддерживает должностные отношения; назвали имя полковника Эронимо; мне поручено передать: уже предприняты шаги, чтобы вам оказал полное содействие полковник Фернандес. Меня также просили передать: задача заключается в том, чтобы не дать доктору Брунну исчезнуть, поскольку «организация» предполагает, что после шагов, предпринятых ею, Роумэн сделает все, чтобы содействовать доктору Брунну в отъезде из Испании. Факт возможного содействия должен быть соответствующим образом зафиксирован...

— Но этого я уже не успею сделать, — заметил Кемп. — Кому передать документы, если кто-то из моих людей сможет содействовать выполнению этого указания?

— Мне, — ответил Гаузнер. — Как только Брунн поедет на вокзал или аэродром, я должен получить сведения о том, кто и как помогал ему в этом. Они должны быть у меня во время разговора с Роумэном.

Они должны быть при тебе, когда тебя убьют, сказал себе Кемп. Бедный Гаузнер. А я еще более бедный, потому что меня сделали христопродавцем. Меня не распинали, не мучили в катакомбах, не угрожали лишить жизни родных, мне просто передали слова генерала, и я начал заученно действовать, то есть лгать, заказывать кофе, заинтересованно слушать и спокойно смотреть в глаза коллеги, которого убьют люди из группы Бернда — «Пепе».

Ну, хорошо, спросил он себя, а что, если я сейчас все открою Гаузнеру? Возьму и скажу ему: «Друг, ты обречен. Тот, кто отправил тебя сюда, отдает тебя на закланье. Ему нужно — в какой-то слож-

ной комбинации, не известной ни тебе, ни мне, — чтобы ты имел при себе документы о связи Штирлица с Роумэном. Когда твое тело, мертвое, податливое и тяжелое, станут переворачивать — после того как обмеряют его и сделают фотографии — залезать в карманы, снимать часы и туфли (каблуки — прекрасные контейнеры для тайной корреспонденции), при тебе должны быть именно эти документы. Не зря мне поручали внимательное наблюдение за Роумэном, не зря я получил указание «организации» вступить в контакт с доктором Брунном перед тем, как Роумэн начнет с ним свои игры, не зря мне поручили провести эту операцию так, чтобы Брунн ощутил постоянную заботу о нем и наше тайное могущество, которое ничего не просит взамен за свое добро, и я провел ту операцию, но я был маленькой пешкой в большой игре, задуманной комбинаторами; теперь-то ясно, что они не зря приказали мне организовать знакомство девки бедного Гаузнера с этим американцем, неспроста именно я должен был привести Штирлица к Эрлу Джекобсу, все это неспроста, и мне не дано понять последующие ходы комбинации, и тебе, несчастный, доверчивый Гаузнер, не дано понять, во имя чего ты должен умереть». Ну и что? — спросил себя Кемп. Что произойдет, если я скажу ему это? Он же не поверит мне. Или передаст по какой-нибудь запасной линии — они могли дать ему запасную цепь — сигнал тревоги: «Кемп сошел с ума». Или — что еще хуже: «Кемп продался врагу и клевещет на братство нашей «организации».

— Хорошо, — сказал Кемп, ощутив тяжелую усталость, даже плечи опали, — я сделаю все, что могу. Едем на телеграф, оттуда легче связаться с кем надо, телефоны ресторанов на подслушке, здешние оппозиционеры ресторанные, они затевают дворцовые перевороты в ресторанах, понятно? Хотите выпить перед дорогой?

— Я пью после окончания работы, — ответил тот. — Большое спасибо.

После окончания работы ты будешь лежать на асфальте, подумал Кемп. Или на паркете. Лучше бы на ковре, не так больно падать. Но ведь когда пуля разорвала тебя, ты не чувствуешь боли от падения, сказал он себе, ты воспринимаешь падение, как благо, как прикосновение к земле, которая дает силы; кто-то из древних норовил прикоснуться ногой к земле, когда его душил враг, ибо верил, что она даст ему новую силу, и, кажется, дала, но ведь это бывает в легендах, в жизни все грубее и жестче, пахнет жженой шерстью, булькает алая кровь в уголках рта и горло наполняется горькой блевотиной, потому что пробита печень, большая, шлепающая, как у коровы, и такая же бурая.

Он поднялся рывком, потому что понял: еще мгновение, и он все вывалит Гаузнеру, он просто не сможет перебороть в себе это желание; кто-то рассказывал ему, кажется, Клаус Барбье, что предатель — накануне того момента, когда он идет в камеру работать против своего близкого друга, — испытывает к нему такую же рвущую сердце нежность, как мать к своему ребенку. Но это продолжается несколько мгновений; главное — перебороть в себе криз, потом будет не так страшно; больно — да, но не страшно, и если боль все-таки можно перенести, то страх постоянен, а потому непереносим.

ПОЗИЦИЯ

Июнь сорок шестого года в Нью-Йорке был чрезвычайно влажным и до того душным, что ощущение липкого зноя не оставляло горожан и ночью, когда с океана налетал ветер; ливни, — словно бы кто поливал из брандсбойта, — были тем не менее короткими, прохлады не приносили.

...Посол Советского Союза Громыко поднялся из-за стола, отошел к окну; Нью-Йорк спал уже, улицы были пустынны, в дымчатом серо-размытом небе угадывался близкий рассвет; вспомнил Пушкина — «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса», однако то ли магия Петровой столицы, то ли постоянная тоска по дому — уже третий год он представлял за океаном Родину, самый молодой «чрезвычайный полномочный», нет еще тридцати восьми, — но пронзительная по своей безысходной грусти пушкинская строка не л о ж и л а с ь на Нью-Йорк; воистину нам дым отечества и сладок и приятен...

Громыко глянул на светящийся циферблат: половина третьего: через семь часов выступление в Комиссии ООН по контролю над атомной энергией; утром получены предложения Кремля: от того, как он замотивирует необходимость принятия русской позиции — всего три пункта, несколько фраз, — зависит будущее человечества; именно так, ибо речь пойдет о том, что тяжко тревожит мир.

Посол отдавал себе отчет в том, что оппозиция советскому предложению будет серьезной; рассчитывать на логику (не чувства даже), увы, не приходилось, ибо строй рассуждений военно-промышленного комплекса совершенно особый, к общечеловеческому неприложимый. Он поэтому работал весь день над текстом своего выступления, чтобы абсолютно точно и, главное, доходчиво донести смысл предложений Кремля не только до членов ООН, но до западного радиослушателя и читателя, подвергавшихся ежечасно и ежеминутно талантливой и жесткой обработке средствами массовой информации: трудятся д о к и, мастера своего дела, в высочайшем профессионализме не откажешь.

— Господин посол, — спросил его как-то один из старейшин американской журналистики Уолтер Липпман, — неужели вы продолжаете верить в возможность достижения согласия в мире несмотря на то, что сейчас происходит в нашей стране?

— Верно.

Липпман улыбнулся:

— Это указание Кремля?

Громыко ответил не сразу, словно бы размышляя вслух:

— Это с одной стороны. А с другой — моя прилежность истории... Если к этой науке относиться вдумчиво и не страшиться черпать в прошлом уроки для будущего, тогда нельзя не быть оптимистом.

...Он вернулся к столу, пробежал глазами текст и вдруг явственно увидел лица своих братьев Феди, Алеши и Дмитрия, младшенькие; в детстве еще пристрастились к истории: неподалеку от их родной деревни, возле Железник (Старые и Новые Громыки разделяла прекрасная и тихая река Бесядь) высились курганы; детское воображение рисовало картины прошлого: виделись шведские легионы, что шли по

Белоруссии к Полтаве; измученные колонны Наполеона. Когда братья подросли, начали зачитываться книгами Соловьева, мечтали о раскопках; не суждено — Федю и Алешу убили нацисты, сложили свои головы на поле брани; Дмитрий изранен, в чем душа живет; дядья по матери, Федор и Матвей Бекаревичи, погибли во время войны; Аркадий, единственный брат жены, убит в бою под Москвой...

«Нельзя не быть оптимистом», — вспомнил он свой ответ Липпману; горестно подумал, не выдает ли желаемое за действительное? Нет, как бы ни было трудно правде, она возьмет свое; чем больше людей поймут нашу позицию, тем больше надежды на то, что в будущем не повторится страшное военное прошлое; здесь его знают по фильмам Голливуда, живут представлениями, причем не только молодежь, но, что тревожило, и политики.

Громыко никогда не мог забыть, как его — он тогда прилетел в Вашингтон — пригласил в гости Джон Фостер Даллес, автор «жесткого» курса. Особняк его был небольшим, скромным; гостиная одновременно служила библиотекой, множество шкафов с книгами, очень похожие на декорации из бродвейских пьес про добрых старых адвокатов, черпающих знания в старинных фолиантах тисненой кожи с золоченым обрезом, — мысль обязана быть красивой.

Даллес протянул гостю обязательное виски, хотя знал, что советский посол никогда ничего не пьет; открыл створку шкафа, провел пальцем по корешкам:

— Ленин и Сталин, избранные сочинения, — достав том, он пролистал страницы, испещренные карандашными пометками и подчеркиваниями. — Сейчас меня особенно занимает вопрос диктатуры пролетариата, стараюсь понять ее истинный смысл.

Посол цепко проглядел пометки Даллеса; даже беглый просмотр свидетельствовал, что хозяин дома выстраивает концепцию тотального неприятия всего того, на чем состоялся Советский Союз, — вне времени, места и конкретных обстоятельств, без малейшего желания хоть как-то понять ближайшего союзника Америки, каким была Россия в Ялте весной сорок пятого.

Элеонора Рузвельт, вернувшись осенью сорок пятого года из Лондона, куда ее сопровождал Даллес, встретив посла на приеме, посетовала, что Даллес совершенно одержимо не верит русским: «Откуда такая подозрительность?» Вдова президента, которую Трумэн продолжал прилюдно называть «первой леди», подчеркивая этим свой респект к Рузвельту, улыбнулась тогда: «Отчего-то именно на Острове Даллес становится все более подверженным приступам недоверия ко всем предложениям, которые исходят из Москвы, видимо, на него очень сильно влияет Черчилль».

Громыко помнил, как поразила его информация, пришедшая в посольство из Тегерана: Сталин, не добившись — сколько ни пытался, — получить точного ответа от Черчилля, когда же начнется вторжение союзников в Европу, поднялся с кресла и, сдерживая гнев (только глаза как-то странно пожелтели), обратился к Ворошилову и Молотову:

— У нас слишком много дел дома, чтобы здесь тратить время. Едем! Ничего путного, как я вижу, не получается...

Дело спас протокол: «Маршал неверно меня понял, — заметил

Черчилль, – точная дата в конце концов может быть названа – май сорок четвертого...»

В информации, пришедшей послу Советского Союза в Вашингтоне из Москвы, подчеркивалось, что Черчилль отступил из-за того, что Рузвельт явно был против его политики несколько снисходительного «сдерживания» русских... Рузвельта нет, а Черчилль здравствует, в сопровождении Трумэна приехал в Фултон, произнес речь против красных, звал к единению сильного Запада в его противостоянии «мировому коммунизму».

...Однажды Трумэн – в ту пору вице-президент – пригласил посла в Белый дом, на «киновечер». Показывали хронику: сражение на Тихом океане, борьба американской пехоты против японцев; потом пошли кадры советских документалистов: битва в Белоруссии и на Украине; Трумэн, сев рядом с послом, то и дело повторял:

– Это поразительно, совершенно поразительно! Какой героизм народа! Какая мощь вашей армии! Я совершенно потрясен, я не нахожу слов, чтобы выразить свое восхищение...

Посол не знал еще этих кинокадров, только что пришли с Родины; смотрел поэтому на экран жадно, мечтая увидеть кого-либо из друзей или родных среди пропыленных, израненных солдат, рвавшихся на Запад. Трумэн, однако, говорил без остановки, в степенях все более превосходных, каждую фразу кончал вопросом: «Не так ли?», «Не правда ли?»; надо было отвечать, отрываясь от экрана, отвечать точно; трудно было заставить себя забыть слова этого же человека, сказанные им в начале войны: смысл их был циничен и продиктован традициями дремучего изоляционизма – чем больше немцев и русских погибнет в этой битве, тем лучше для Америки; помогать надо то одним, то другим, в зависимости от обстоятельств.

После того как показ фильмов кончился, Трумэн пригласил на коктейль; продолжал много и одухотворенно говорить о подвиге русских, об их взносе в общую победу над коричневым чудовищем, о том, как он высоко ценит героизм Советов.

...Посол внес последнюю правку в абзац завтрашнего (нет, какое там, сегодняшнего уже) выступления, прочитал его на слух, вроде бы получилось:

– Обстоятельства сложились так, что одно из величайших открытий человечества вначале нашло свое материальное претворение в определенном виде оружия – в атомной бомбе. Однако хотя до настоящего времени такое использование атомной энергии является единственным практически известным путем ее применения, человечество стоит на пороге широкого применения атомной энергии в мирных целях на благо народов... Существуют два возможных пути для использования этого открытия: один – использование в целях производства средств массового истребления, второй – использование его во благо человечества. Парадоксальность положения состоит в том, что первый путь более изучен и освоен. Второй – практически неизвестен. Однако это обстоятельство не только не умаляет значения задач, стоящих перед атомной Комиссией ООН, но, напротив, подчеркивает еще в большей степени значимость этих задач в деле укрепления мира между народами...

Громыко вспомнил лицо Оппенгеймера; большой ученый, один из «отцов» атомной бомбы, во время последней встречи с ним совершенно однозначно высказался в поддержку предложения о безусловном запрещении производства оружия массового уничтожения, хотя не знал тогда, да и не мог знать, что уже ежедневно в Штатах производилась новая атомная бомба... Против кого будет обращено это оружие?

Вспомнил Альберта Эйнштейна; маленький, согбенный, он во время одной из встреч тихо, как-то даже горестно заметил: «Знай я, что у Гитлера не будет атомной бомбы, ни за что не стал бы поддерживать здешний ядерный проект, ни в коем случае не стал бы...»

Посол никогда не мог забыть, сколько холода и затаенного торжества было на лице Трумэна в Потсдаме, когда он сказал Сталину про успешное испытание штуки; именно тогда посол вспомнил, как в Ялте, всего полгода назад, Сталин пригласил Молотова, и его, посла в США, — протокол, он и есть протокол, — навестить Рузвельта, почувствовавшего недомогание; в тот день заседание Большой Тройки было из-за этого отменено; президент лежал в кабинете, отведенном ему на втором этаже Ливадийского дворца; визиту «дяди Джо» обрадовался, заранее подготовившись к тому, чтобы принять гостей. Впервые посол понял, какая это трудная для президента работа — быть, как все, чтобы никто не заметил недуга, доставлявшего ему ежечасное страдание. Во время предвыборных выступлений надо было загодя поднимать коляску Рузвельта на трибуну так, чтобы этого не видели американцы, ибо лидер обязан быть атлетически здоров, красив и улыбчив; каждая нация живет своим стереотипом руководителя; генетический код истории, иначе не скажешь, хоть и небесспорно; впрочем, что есть абсолютного в этом мире ?

Серое, изборожденное сильными морщинами лицо Рузвельта, на которое падали лучи крымского солнца, как-то странно контрастировало с его глазами, которые то светились открытым дружеством, делая облик президента привычным, знакомым по тысячам фотографий, то замирали, становясь жухлыми, лишенными жизни; посол вспомнил страшное по своей точности выражение: «фар авей лук» — «взгляд отрешенный»...

Спускаясь вниз — визит был недолгим, всего двадцать минут, — Сталин остановился на площадке между вторым и первым этажами, достал трубку, неторопливо раскурил ее и, не оборачиваясь к спутникам, а словно бы обращаясь к себе самому, тихо заметил:

— Экая несправедливость, а? Хороший человек, мудрый политик, и вот... Неужели каждому выдающемуся государственному деятелю не должно хватать времени на то, чтобы завершить задуманное?

...Просматривая каждое утро ведущие американские газеты и журналы, отмечая для себя постоянное изменение тона редакционных статей и комментариев, пытаясь понять, чем вызван столь резкий поворот в отношении к советскому союзнику, зачем столь тенденциозно и нечестно нагнетается настроение тотального недоверия к русским, посол все чаще вспоминал тот день, когда Молотов прилетел в Штаты, — еще по просьбе Рузвельта, считавшего необходи-

мым присутствие народного комиссара по иностранным делам на акте торжественного провозглашения Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско весною сорок пятого.

Во время остановки в Вашингтоне Трумэн, успевший за эти несколько недель отодвинуть от Белого дома самого доверенного человека покойного президента Гарри Гопкинса (социалист, левый, симпатизирует русским), пригласил Молотова на встречу.

Именно тогда посол и поразился той перемене, которая произошла в Трумэне за какие-то несколько недель: в разговоре с Молотовым он был предельно жёсток, подчеркнуто сух, раздражен, любое предложение, выносившееся народным комиссаром, отвергал, практически не дискутируя.

Посол отдал должное такту и выдержке Молотова: тот, словно бы не замечая нескрываемого недоброжелательства нового президента, продолжал поднимать вопросы, которые должны были найти свое решение на учредительном заседании Организации Объединенных Наций, — речь ведь шла о послевоенной ситуации в мире, о том, как загодя достичь соглашений по всем спорным вопросам, чтобы человечество, наконец, получило гарантии безопасности; прошло сорок пять лет двадцатого века, всего сорок пять, а сколько из них были отданы молоху войны?!

Трумэн нетерпеливо шаркал ногами, рассеянно смотрел в окна. Именно тогда посол подумал: «Отчего наркома называют «господин «нет»? По справедливости «мистером «нет» следует называть Трумэна».

Молотов тем не менее снова и снова возвращался к проблемам, которые были в фокусе общественного внимания: репарации с Германии, трибунал в Нюрнберге, судьба фашистской диктатуры Франко в Испании, ситуация в Польше, Греции, Югославии, — Черчилль по-прежнему неистовствовал, требовал вмешательства во внутренние дела этих стран, стараясь навязать Большой Тройке свою точку зрения, весьма далекую от той, общей, которая была выработана в Ялте, при Рузвельте еще. Посол удивлялся совершенно неведомой ему ранее сдержанности наркома; он, наблюдавший его неоднократно, привыкший к его тактичной, но неизменно сухой и твердой манере, сейчас не узнавал Молотова — так легко он вел дискуссию, принимал предложения президента, которые давали возможность если даже и не соглашения, то хотя бы мало-мальски приемлемого для престижа страны компромисса... Однако достичь ничего практически не удалось; более того, в нарушение общепринятых норм приличия Трумэн поднялся первым, прервав, таким образом, беседу, — протокол работает сам по себе, не нуждается в словах: раз хозяин поднялся, считай: тебе пора уходить, беседа кончена.

Посол понял то, чего не мог до конца понять во время встречи Молотова и его, Громыко, с Трумэном, несколько позже, когда решался вопрос о том, где быть штаб-квартире Организации Объединенных Наций — в Европе или Америке.

Представители европейских стран обсуждали с ним этот вопрос неоднократно; все, как один, были за то, чтобы именно Европа сделалась центром нового мирового сообщества наций, объединенных идеями гуманизма, добра и тишины, — человечество устало от

взрывов бомб и ухающих залпов гаубиц; впрочем, мнения в Сан-Франциско были совершенно различными, кое-кто предлагал создать штаб-квартиру в Африке – «континент будущего», кто-то называл одну из стран Латинской Америки – на испанском языке говорят не только в Мадриде, Мексике и Буэнос-Айресе, но и далекие Филиппины тоже изъясняются по-испански, чем не довод?! Однако все понимали, что дело решит позиция Кремля, ибо престиж страны, внесшей такой невероятный по своему значению вклад в торжество победы человечества над гитлеризмом, был фактором, определяющим многие решения в мире, – не только конкретно это.

Громыко получил телеграмму из Кремля ночью, накануне голосования, исход которого был в общем-то предрешенным, ибо в кулуарах все были убеждены, что Россия проголосует за то, чтобы Организация Объединенных Наций подняла свой стяг в одной из европейских столиц.

Сталин, однако, круто повернул, поручив советской делегации поддержать американское предложение, – то есть согласиться с пожеланиями Белого дома, чтобы новое мировое сообщество обосновалось в Соединенных Штатах.

Разъясняя позицию Москвы – в определенной мере неожиданную, – Кремль в своем указании Громыко сосредоточил главное внимание на том, что традиционный американский изоляционизм – доктрина Монро не в этом веке родилась! – является течением сугубо реакционным, опасным для нынешней мировой тенденции; надо предпринять все возможное, чтобы молодой колосс не замкнулся в себе самом, надо приложить все силы к тому, чтобы американцы не ощущали своей оторванности от проблем Европы, Азии и Африки, надо сделать так, чтобы идея «о т д е л ь н о с т и» Соединенных Штатов, столь угодная традиционалистам-консерваторам, изжила самое себя: век научно-технической революции сделает землю маленькой и о б щ е й, причем чем дальше, тем скорее: если можно понять или даже предсказать скорости существующих двигателей, то мысль ученых непредсказуема, а путь от идеи до ее практической реализации стал стремительным, не поддающимся расчетам самых смелых футурологов.

Вот почему Молотов был так мягок в той трудной беседе с Трумэном, – надо сделать все, чтобы в Америке не возобладал дух изоляционистов, это ведь столь традиционно для них; эгоцентризм, замкнутость в самих себя, забвение простой истины, что помимо Америки на земном шаре есть и другие континенты, другие традиции, иные культуры...

И снова, в который уже раз, посол вспомнил холодные глаза Трумэна, когда тот неотрывно смотрел на Сталина в Потсдаме во время обсуждения вопроса о репарациях, которые должна была уплатить Германия. Речь шла о возмещении, пожалуй, не более пяти процентов того ущерба, который был нанесен гитлеровцами Советскому Союзу, но как же н е п о д в и ж е н был Трумэн, как надменно-холоден был он, когда советские представители мотивировали справедливость такого рода требования: полторы тысячи километров – от Бреста до Москвы – были зоной выжженной земли: скорбно высились тихие

обугленные руины Смоленска, Севастополя, Сталинграда, Новороссийска, Киева, Минска.

...Отказ справедливому требованию русских облекался в форму изящную, в чем-то даже сострадательную, но чем изящнее и скорбней был отказ Трумэна и Эттли, приехавшего в Потсдам вместо Черчилля, проигравшего выборы, тем сумрачнее становился Сталин, заметивший как-то своим коллегам:

— Видимо, нам предстоит пройти между Сциллой государственного унижения и Харибдой экономической блокады, которой нас намерены взять за горло. Если в двадцатом выстояли, то полагаю, сейчас выстоим, хотя думать есть о чем, тем более, мне сдается, президент Трумэн решил попугать нас атомной бомбой. Хотя пугать нас — недальновидно; ощеримся, стоит ли дразнить русских?

Громыко походил по своему небольшому кабинету, снова остановился возле окна, прижался лбом к стеклу — оно было прохладным, все остальные вещи словно бы впитали в себя липкую тяжесть дневного, изнуряющего зноя.

Увидел лицо мамы, «профессора» — так ее звали в деревне, «тетя Оля — профессор», — и стар и мал шли за советом, оттого что сама книгу любила и детям эту страсть сумела передать; услышал ее тихий голос — до последнего часа живет в человеке голос матери, словно «веков связующая нить»: «Сынок, если люди друг к дружке станут тянуться с открытым сердцем, а не со злом за пазухой, если сумеют не только вперед смотреть, но и назад оглядываться, коли смогут не одних себя слушать, но и другим внимать, — беды не будет, а коли не так — горе придет, человек ныне сильный стал, на воздух поднялся и под воду заглянул, на мысль управы нету, одно лишь добро людей связует...»

...Посол повернулся к столу и, закончив правку, дописал:

«В самой основе теперешнего положения, характеризующегося отсутствием какого бы то ни было ограничения в части производства и применения атомного оружия, заложены причины, способные лишь усилить подозрения одних стран в отношении других и вызвать политическую неустойчивость... Открытие методов использования атомной энергии не может оставаться в течение более или менее продолжительного времени достоянием только одной страны... Оно неизбежно станет достижением ряда стран... В развитие этих общих положений я, по поручению моего правительства, вношу на рассмотрение комиссии конкретные предложения: а) не применять ни при каких обстоятельствах атомного оружия; б) запретить производство и хранение оружия, основанного на использовании атомной энергии; в) уничтожить в трехмесячный срок весь запас готовой и незаконченной продукции атомного оружия...»

Посол включил лампу; осторожный рассвет занимался над тяжело и тревожно спящим Нью-Йорком; вспомнил, как в Сан-Франциско, где он после отъезда Молотова был главой делегации, из американской столицы в день победы позвонила его жена Лидия: «В посольство идут и идут люди, очередь выстроилась, тысячи ждут на улице, все сияющие, «виктория»! Поздравляют нас, такой праздник, такое счастье». Вспомнил одухотворенное лицо великого дирижера

Леопольда Стоковского, тот позвонил первым, голос срывался от счастливого волнения, потом — Юджин Орманди, музыка — внепротокольна, талант — объединяющ; подивился, в общем, бесцветной речи Трумэна, произнесенной в день торжества человечества, как же контрастировала она с ликованием американцев, какой талантливый народ, как много у нас общего и как жестоко и слепо стараются поссорить его с нами, во имя чего?!

«Главное — определить позицию в глазах человечества; умеющий слушать — услышит, — подумал посол, поднявшись. — Надо отдохнуть перед выступлением; тяжелая усталость мешает делу, особенно такому, которое предстоит сегодня утром. Наука истории хранит факты; слухи и сплетни отличимы сугубо и приводятся петитом в комментариях к текстам первоисточников. Шелуху забудут, останется правда нашей позиции; пусть обвиняют в чем угодно, но убеждать американцев в том, что мы хотим войны, не просто недальновидно или, по Талейрану, «глупо», ибо глупость в политике страшнее преступления; нет, обвинять русских в том, что они мечтают об агрессии, когда в стране недостает двадцати миллионов кормильцев, а Белоруссия, Украина и половина Европейской России ютится в землянках, — или безнравственно, или некомпетентно».

РОУМЭН

В самолете он купил плоскую бутылку виски, ровно двести тридцать граммов, открыл металлическую пробку и сделал большой булькающий глоток; тепла не почувствовал; закашлялся так, будто началась простуда. Он отхлебнул еще и еще, прополоскал рот, и только после того, как стало греть десны, ощущение леденящего холода оставило его, сменившись медленно проникающим теплом.

Надо уснуть, сказал себе Роумэн, в Мадриде будет не до сна. Сейчас я усну, только сначала составлю план; сон приходит легко, если ты сделал дело, иначе промучаешься, не сомкнув глаз; а ты и так не сомкнешь глаз, подумал он, даже если закроешь их, потому что ты ничего не можешь сделать с Кристой, она постоянно перед тобой, и ты придумываешь себе эти чертовы планы для того, чтобы отвлечься от того, что тебя гложет, но ты никогда, никогда, никогда — господи, какое страшное слово, как яма, нет, страшнее, будто воронка, — не сможешь спрятаться от того, что ты узнал, будь проклята наша тяга к узнаванию правды, будь неладно это неизбывное желание докопаться до сути! Зачем это? Если то, что было раньше, всего секунду назад, до того, как ты увидел, услышал или понял, перечеркнуло прошлое, к чему мучительное выискивание объяснений? Разве можно объяснить предательство? Ведь предательство — это смерть того, кого ты считал другом, кого любил, кому верил. Нет, возразил он себе, это твоя смерть, это в тебе умер тот, кому ты отдавал сердце и душу, это твое горе и отчаянье, а тот, кто тебя предал, живет, как жил... Какие корявые слова рождаются во мне, подумал Роумэн. Они вроде камней. Пол всегда помнил два камня странной формы, в бело-желтых иголках; их вырезали у Салли, сенбернара, который жил у родителей на ферме. Громадноглазая, женственная, с прекрасным скорбным лицом, Салли вдруг

перестала подниматься с газона, когда приходили гости, только чуть ударяла хвостом по земле. Роумэну тогда казалось, что ей просто не хочется двигаться: она у тебя разленилась, сказал он матери, ты ее слишком балуешь. Мама ответила, что Салли перестала есть и у нее горячий нос, а он ответил, что все это ерунда, просто, видимо, ты дала ей слишком много еды накануне, наверняка очень вкусной, после гостей остаются прекрасные лакомства, жаренный в оливковом масле картофель, косточки, хлебцы с хрустящей корочкой; мама тогда сказала, что я бессердечный, но я на нее не обиделся, я давно перестал обижаться на нее: совершенно вздорный характер, постоянный перепад настроений, но ведь это мама; родителей не выбирают и не судят. И только когда Салли отправили в больницу, потому что она стала скулить и уже не открывала своих круглых, в опушке черных ресниц, глаз, а хирурга не оказалось на месте, потому что было воскресенье и он отправился к себе на ранчо, — Роумэн убедился, что собака действительно больна.

Он поехал за хирургом, нашел его, привез в клинику, но Салли к тому времени умерла; мама рассказала, что бедненькая переставала скулить, только когда она подкладывала ей под голову свою ладонь и шептала на ухо тихие, ласковые слова.

Хирург сделал вскрытие и показал Роумэну два игольчатых бело-желтых камня.

— Если бы вы приехали на день раньше, — сказал он, — ваша собака была бы жива. Можете не верить людям, но верьте собакам, они никогда не симулируют болезнь. Если она плакала, значит, она плакала всерьез, потому что не могла терпеть боль.

...Роумэн допил виски, закурил и спросил себя: что же теперь делать? Жизнь кончается только тогда, когда она кончается. Всякий удар рано или поздно забывается, делается некоей душевной мозолью, а она подобна костной, — в том месте, где единожды был перелом, второй раз не будет. Но ведь что хорошо для кости, то трагично для души! Мы часто путаем понятия — когда говорят «выдержка», не есть ли это на самом деле жестокость или, того хуже, черствость, равнодушие, безразличие? Он по-прежнему видел глаза Кристы прямо перед собой, большие, очень голубые; иногда, впрочем, они у нее становились совершенно прозрачными; когда же они у нее менялись? И — отчего?

Первый раз он заметил, что глаза ее сделались льдистыми, когда они сидели вечером на кухне за большим дубовым столом (дуб убивает микробы, никаких скатертей, а тем более лака, очень гигиенично, отец приучил его к этому); они тогда говорили о Франции, о том, что Париж особенный город, в нем живет музыка, она рождается в каждом человеке, даже в том, который лишен слуха, и постоянно слышится аккордеон и гитара, мелодия пронзительная, в ней звучит неизбывная грусть, предтеча сладкого, как в детстве, очищения слезами.

— Именно там впервые в жизни, взрослым уже, я заплакал, — сказал ей Роумэн. — Я тогда закончил «Манон Леско». Я жил в дешевеньком отеле на Клиши, была осень, шел мелкий дождь, стены домов были в потеках, на улицах ни души, а я стоял возле окна и плакал, как маленький...

— Жалеешь шлюх? — спросила тогда Криста; она спросила это, как-то брезгливо поджав губы; именно тогда ее глаза и показались Роумэну прозрачными и холодными, как льдинки.

— Какая же Манон шлюха? — удивился он. — Несчастная жертва обстоятельств.

— Мужчины, а особенно аббаты, идеализируют женщин, — ответила тогда Криста. — Самая обыкновенная похотливая сучонка...

— Не слишком ли ты жестока к несчастной француженке?

— Нет. Совсем я не жестока, — ответила Криста, поднялась и отошла к плите, хотя на конфорках ничего не стояло, ни сковородки с поджаренными тостиками, ни кофейника, а она все равно отошла к плите, с отчетливой ясностью вспомнил Роумэн.

Бедненькая, подумал он, запретив себе слышать те слова, которые, ворочаясь, словно те бело-желтые игольчатые камни, рождались в нем, тяжело прилаживаясь друг к другу. Бедненькая, бедненькая, бедненькая, повторял он, только бы не услышать то, что он не хотел слышать, потому что знал, какую рвущую боль причинят ему любые другие слова, кроме этого, бесконечно повторенного — «бедненькая». Погоди, сказал он себе. Вспомни, когда у нее изменились глаза во второй раз? Очень важно, чтобы ты вспомнил, приказал он себе, понимая, что он хочет заглушить то, что жило в нем постоянно, не давало ему покоя ни минуты, даже когда он слушал Гаузнера, который быстро и четко, как-то лязгающе, отвечал на его вопросы.

Роумэн купил у стюарда еще одну бутылку, подумав при этом, что пить больше не надо бы, машина стоит на аэродроме Барраxас, он ее бросил, толком не запарковав на стоянке, только бы успеть на самолет, и хотя у него дипломатический номер, полиция не останавливает дипломатов, но так было до того, как он наступил ногой на муравейник, сейчас все может измениться, и это будет по правилам, не надо удивляться, если это произойдет, поиск правды всегда связан с житейскими неудобствами, ты сам шел на это, видимо, впрочем, не до конца понимая тогда, какие это может вызвать последствия.

А еще раз у нее изменились глаза в наш первый день, вспомнил он, когда я сказал, что не шутил со швейцарским дипломатом Ауссемом, заявив, что намерен на ней жениться. Вот когда у нее стали совершенно прозрачные глаза, словно в них застыла весенняя дождевая вода; такая была у них на ферме, в бочке, что стояла под водосточной трубой, между спальней родителей и большой верандой, на которой летом пили чай и ужинали. Роумэн часто смотрел на отражение облаков в этой бочке, они казались еще более красивыми в той прозрачной воде, какими-то нереальными, неизбывно чистыми, окрашенными в совершенно особые цвета, нет таких в палитре живописцев, потому что краски — дело рук человеческих, а облака — творенья иного порядка.

«Зачем тебе это? — спросила его Криста, когда они вернулись домой, и в ночи уже угадывалось зарождение рассвета. — Зачем тебе женитьба?»

«А я один в кровати очень мерзну, — ответил он. — Буду экономить на электричестве, да и потом эти самые матерчатые грелки с пропущенными сквозь них электродами часто ломаются».

«Меня по-разному называли, – сказала она тогда, – но грелкой пока еще ни разу».

«Привыкай, – сказал он, ощутив, как похолодели пальцы после ее слов «меня называли», – человек легко привыкает к неизбежному».

«Это верно, – ответила она, – ох, как это верно».

И тогда, за мгновенье перед тем, как она выключила настольную лампу, он заметил, какие у нее сделались глаза, но не смог рассмотреть их внимательно, потому что она зажмурилась, свернулась калачиком, обняла его и спросила: «Ну как, тепло?»

Она очень сильный человек, сказал себе Роумэн, и я не вправе ее судить. Я могу запретить ей возвращаться, могу вышвырнуть ее из дома, когда она приедет из Севильи, даже могу ударить, но я не вправе ее судить, ибо все, что с нею было, являлось следствием войны, а не она ее придумала, ее навязали ей, ничто так не ужасно своей неотвратимостью, как надвижение войны или фашизма, когда люди все понимают, но ничего не могут поделать, чтобы предотвратить это страшное грядущее, это как сон, когда ты лежишь на рельсах, видишь, как на тебя катится паровоз, слышишь его обжигающее приближение, понимаешь, что надо только чуть подвинуться, и это страшилище пронесется рядом, но тебя охватывает какой-то паралич безволия, и ты только жмуришься, собираешься в комочек, стараешься сделаться крошечным, чтобы оказаться между колесами, но не делаешь самого, казалось бы, простого, одного-единственного движения, которое только и может принести спасение...

Ей сказали, что она может спасти своего отца только так, повторил он, что никаких других путей для его спасения не существует. Она оказалась во власти обстоятельств, которые распоряжались не ее честью, но жизнью родителей, как можно было противостоять им, этим безжалостным обстоятельствам? И сейчас, отправляя ее ко мне, ей было сказано, что лишь это поможет ей выяснить, кто же на самом деле убил папу. Я понимаю ее, я ее понимаю, сказал он, но тут же услышал в себе вопрос: «А сможешь ли ты исключить из своей мужской памяти те видения, которые преследуют тебя с той минуты, как ты узнал все?» Если ты любишь ее, сказал он себе, ты обязан забыть, а ты ее любишь и поэтому сможешь сделать так, как единственно только и можно. Ты же не наивный мальчик, ты мужчина, который знает жизнь не понаслышке, а лицом к лицу, наедине, без ужимок и припудриваний.

Вот именно поэтому я и не смогу никогда забыть этого, понял он. Как бы ни старался. И чем больше я буду стараться забыть это, тем ужаснее станет моя жизнь. И ее. Погоди, оборвал он себя, не торопись. Сначала ты должен увидеть ее живую, в веснушках, с ртом-треугольничком, черноволосую, с длинными голубыми глазами, вздернутым носом и с прекрасным выпуклым, умным лбом.

Что ж, услышал он в себе, это хорошая сделка, нет ничего надежнее сделки, в подоплеке которой ожидание; вся жизнь людская – затянувшееся ожидание, и чем более мы торопим события, тем скорее приближаемся к концу, не задерживаясь на маленьких станциях «Радостей», потому что вечно устремлены в ожидание «Главного», а главное ли на самом деле то, чего мы там так истово ждем, лишая се-

бя счастья растворения во время прогулки по лесу или застолья с домашними у единственно надежного в мире семейного огонька?!

Ладно, хватит об этом, приказал он себе. Если ты хочешь сделать то, что задумал, думай о деле, и если ты заставишь себя сделать это, тогда ты обязан решить, куда надо поехать в первую очередь? К Эронимо? Или к Брунну? Хм, все-таки, что значит привычка, я думаю о нем Брунн, хотя знаю, что он Штирлиц и что он завязан в ту комбинацию, которую крутили против меня люди Верена. Неужели они выполняли задание Вашингтона? Неужели все началось там, а все эти Кемпы и Гаузнеры были маленькими исполнителями большой задумки? Не может быть, чтобы Верен рискнул играть против меня. Как-никак я — победитель, я представляю государственный департамент, разведку, черта, дьявола, Белый дом, Трумэна, кого угодно, только не самого себя, что я — сам по себе — для них?! Соринка, мелюзга, таких, как я, — тысячи. Ан нет, оказалось, что таких мало, потому что моими друзьями были... Нет, почему «были»?! Мои друзья Брехт и Эйслер, вот что насторожило кого-то, а потом возник Грегори Спарк и наша корреспонденция. Ну и тайна переписки! Ну и сучья демократия! Ну и поправка к Конституции! Ну, гады, которых я не вижу по отдельности, но зато так страшно чувствую всех вместе! И эту массу, у которой нет лица, заинтересовал не только я, но и Брунн, который, как они считают, был связан с русскими. Ну, интриганы, ну Жюли Верны проклятые! Им бы книжки писать для юношества! Так ведь нет, плетут свое, изобретают сети, пугаются их, тратят деньги, чтобы убедиться в своей правоте, не хотят стукнуть себя ладонью по лбу и сказать себе, что все это мура собачья, бред, навязанный гитлерами, которые научили мир тотальному неверию и кровавой прелести потаенной междоусобицы!

Да, сначала Штирлиц, решил он, и тут же возразил себе: значительно правильнее поехать к Кемпу, посадить его в машину, сказав, что предстоит работа, и сломать его, потому что я теперь знаю от Гаузнера, на чем его можно сломать об колено. А уж потом — Штирлиц. И только после всего этого Криста...

Стоп, сказал он себе, не смей о ней. Ты стал четко мыслить, ты долго собирался, ты был вроде старого спортсмена, который рискнул выйти на баскетбольную площадку после многих лет перерыва, ты был размазней только что, каким-то телячьим желе, а не человеком, поэтому вычеркни сейчас из себя самого же себя, устремись в дело, будь связным между эпизодами и персонажами, противоположи интриге безликих свою интригу! Ты не выстоишь, если не примешь условия их игры, они не поймут тебя, если ты станешь признаваться в своей сердечной боли и думать о резонах. Они сориентированы на те конструкции, которые изобрели сами, вот ты и изволь телепаться среди этих конструкций! Только ты — сам, следовательно, ты имеешь фору в маневренности, а их — легион, и они повязаны тысячами незримых нитей, движения их замедленны и мысли определенно-однозначны, потому-то они и обречены на проигрыш, если только ты не допустишь ошибки. Все зависит от тебя, понял? Только от тебя, и ни от кого другого...

Роумэн посмотрел в иллюминатор; самолет самый быстрый вид транспорта, подумал он, а отсюда, сверху, кажется самым тихоходным. Когда едешь в поезде, дома и деревья за окном проносятся с пульсирующей скоростью, вагон раскачивает, колеса бьют чечетку, абсолютное ощущение стремительности. Даже когда пришпоришь коня, ты явственно слышишь свист ветра в ушах, и земля перед глазами дыбится, а здесь, в воздухе, когда на всю мощность ревут четыре мотора, все равно реки и леса проплывают под крылом так медленно, что кажется, выйди из самолета, получив дар держаться на воздухе, как на воде, и легко обгонишь этот тихоход.

...Душевная мозоль, подумал Роумэн. Это тоже душевная мозоль, свидетельствующая о феномене человеческого привыкания к неожиданному. Двадцать лет назад полет был сенсацией, а сейчас небо обжито; сколько мыслей рождается в фюзеляжах этих четырехмоторных крохотуль, где заперты дети земли! Сколько людских судеб зависит от того, долетит ли самолет до того пункта, где его ждут, или, наоборот, желают ему катастрофы?!

Между прочим, сказал он себе, уж если кому и желают не долететь до Мадрида, так это тебе. Гаузнер должен молить бога, чтобы я разбился, съел яд, умер от разрыва сердца или чумы; интересно, как звучит такая молитва? Хотя такое не имеет права считаться молитвой; только просьба о добре ближним достойна повторения, а если кому желают погибели, это всегда возвращается бумерангом; рано или поздно, но обязательно возвращается. Но, между прочим, мне сейчас надо быть избыточно осторожным, подумал он и спросил Кристу, которая стояла перед глазами: «Правда, веснушка?»

...Машина стояла на том же месте; сильно запылилась за эти сорок часов, покрылась красноватым налетом; верно писал Хемингуэй: здесь красная земля, именно красная и пыль такая же — не безликая, серая, мучнистая, как повсюду в мире, но именно красная.

Он обошел автомобиль, попробовал ногой колеса, нет ли люфта, это ведь так просто делается, стоит только ослабить гайки, и ты летишь в кювет, ветровое стекло делается сахарно-белым, глазные яблоки рвет остро-снежным крошевом, — все, попробуйте продолжать вашу работу, мистер Роумэн...

Он сел за руль, включил зажигание, резко развернулся, притормозил возле телефона-автомата, не проверяясь, набрал номер помощника, спросил, как дела на юге, и сказал, что гостя надо срочно отправлять обратно; «гостем» была обозначена Криста; вернулся в машину и поехал в город.

У въезда в Мадрид съехал на обочину, вошел в маленькое кафе и спросил мальчишку, стоявшего за стойкой:

— Где здесь телефон, чико?[1]

— Си, сеньор, — ответил мальчик, протирая стойку мокрой тряпкой с таким старанием, что можно было подумать, будто он полирует драгоценное дерево.

— Я спрашиваю, где телефон? — повторил Роумэн, подивившись в который уже раз, как трудно и медленно думают здесь люди, раз-

говаривая с иностранцем, — во всем ищут второй смысл, настороженны, чересчур внимательны.

— Сейчас я позову дедушку, — ответил мальчик и вышел в маленькую дверь, что вела на кухню; у испанцев такие двери чрезвычайно таинственны, подумал Роумэн, словно за скрипучей дверью не такая же комната, как эта, а тайное судилище инквизиции, заполненное судьями в глухих капюшонах с прорезями для огненных глаз.

Пришел старик в берете, поздоровался и спросил, что хочет кабальеро.

— Мне нужен телефон, — теряя терпение, сказал Роумэн. — У вас есть телефон?

— Ах, кабальеро, мы только-только открыли кафе, не все сразу, надо скопить денег...

— А в баре напротив?

— Я считаю невозможным посещать конкурентов, кабальеро, — ответил старик. — Это может быть неверно понято. Вы же знаете, как подозрительны люди...

Роумэн ответил, что догадывается, попрощался и быстро вышел; слежки не было, не должно быть, подумал он, я летел не прямым рейсом, меня ждут через три часа. Если ждут. Если я думаю правильно, а не расплющен подозрительностью.

Он проехал еще пять блоков, остановился возле отеля с громким названием «Эксельсиор», хотя на вывеске была всего одна звездочка, — это значит, что в комнатах нет даже умывальника, не говоря о туалете; гости стоят в холодном коридоре, наступая друг другу на пятки, ожидая своей очереди в сортир; нет ничего унизительнее страдать в коридоре возле сортира, особенно когда кишки бурчат, а перед тобою ждут еще три человека. Назвали б отель попроще, подумал он, и сразу же возразил себе: тогда здесь вообще никто не остановится; хозяин бьет на престиж — на этом ловятся испанцы; если ты остановился в «Эксельсиоре», значит, ты серьезный человек; во всяких там «Гренадах», «Парижах» и «Толедо» живут мелкие жулики и аферисты, ни один кабальеро не остановится в отеле с таким прозаическим названием.

Он положил монету перед портье и показал глазами на телефонный аппарат.

— Кабальеро! — воскликнул портье, словно речь шла о жизни и смерти, и подвинул аппарат Роумэну.

Набрав номер ИТТ, он попросил соединить его с архивом:

— Мне сказали, что сеньору Анхелу проведен телефон, не сочтите за труд узнать его добавочный.

— У сеньора Анхела нет телефона, — ответила девушка и дала отбой.

Вот стерва, подумал Роумэн. Я же знаю, что ему поставили аппарат, теперь мне понятно, зачем они поставили ему телефон, они хотят контролировать все переговоры Брунна, вот отчего этому самому Анхелу дали персональный номер. Впрочем, на месте этой

[1] Чико — маленький *(исп.)*.

красотки, которая получает за свою адскую работу гроши, я бы тоже немилосердно прерывал все разговоры; люди надежно трудятся только в том случае, если дорожат своим окладом, все остальное — химера, никто же не продает ботинки или хлеб за полцены?!

— Сеньорита, — сказал Роумэн, набрав номер ИТТ еще раз, — это говорит лечащий врач сеньора Анхела... У него очень плохой анализ, я должен непременно вызвать его на осмотр... Иначе он может умереть... Неужели вы хотите, чтобы старый человек погиб по вашей вине?

— Он совершенно не старый, — ответила девушка. — А что с ним? Скажите мне, я ему передам.

Вот так высчитывают девушек, которые спят с седым живчиком, — чулочки, трусики, кофточка, больше не надо; Роумэн объяснил сеньорите, что она вряд ли сможет запомнить медицинскую терминологию, просто ей не передали по смене, что два дня назад — специально по просьбе врачей — был поставлен телефон для сеньора Анхела и было бы в высшей мере любезно, найди возможность красивая сеньорита помочь врачевателю.

— Ждите, — сказала она, — я попробую.

Что я несу, подумал Роумэн. Я еще не отошел от виски в самолете и поэтому нес не просто ахинею, а непростительную глупость. Девица сейчас же расскажет о моем разговоре этому живчику. Ну и пусть, сказал себе Роумэн. Просто, видимо, я чувствую, именно чувствую, что все решится в считанные часы, поэтому тороплюсь; если все получится так, как я хочу, меня уже не будет волновать, что подумает обо всем сеньор Анхел и как он доложит об этом странном звонке своему куратору на Пуэрта-дель-Соль. Все решат часы, а потом будь что будет, нельзя планировать слишком далеко вперед, такое никогда не сбывается, и не потому, что ты плохо планируешь, просто помимо тебя планирует еще два миллиарда людей на земле, пересечения замыслов так неожиданны, несут в себе столько непредвиденного, что самая точная схема может разлететься вдрызг из-за того, что у какого-нибудь неведомого тебе месье Жюля или фрау Анны заболит живот и он или она не позвонят мистеру Рипкину, который должен был принять решение по делу сеньора Альвареса, связанного с сэром Летсби, от которого-то и зависело решение одного из звеньев твоей схемы.

— Алло, я соединяю вас, доктор. Добавочный сеньора Анхела три двенадцать.

— Благодарю вас, я записываю, три двенадцать, — повторил Роумэн, подвинул к себе пачку сигарет, дивясь тому, что его палец машинально рисовал три цифры: постоянная игра в ложь даже с самим собой, врожденная пакость человечества...

— Анхел де Пальма, — услыхал он несколько взволнованный голос мышиного жеребчика. Эронимо сказал, что красавец освещал монархистов, рьяно выступавших против фаланги, за возвращение короля; иногда его прикомандировывали к иностранцам из англоговорящего мира, чтобы присмотреться к визитерам, не тащат ли те связи от республиканской эмиграции.

— Бога ради простите, сеньор де Пальма, — сказал Роумэн. — Сеньорита отказывалась соединить меня с архивом, убеждала, что у вас

по-прежнему нет телефона, и мне поэтому пришлось пойти на хитрость, ибо я высчитал по ее голосу, как она к вам относится... В нерабочее, понятно, время...

И — не рыпайся, подумал Роумэн; вы мавританцы, над чем у нас смеются, то у вас кончается ножом, который всадит тебе в спину брат этой самой обесчещенной телефонистки.

«А почему же ты не всадил нож в живот Гаузнера?» — услыхал он насмешливый голос, сморщился, как от зубной боли, и вытащил сигарету заледеневшими пальцами.

— Что вам угодно? — кашлянув, спросил Анхел.

— Мне нужен доктор Брунн, если вас не затруднит.

— Кто его просит?

И Роумэн ответил:

— Коллега.

Через несколько секунд Штирлиц взял трубку, и Роумэн испытал странную радость, услыхав его бесстрастный, чуть суховатый голос.

— Зайдите к Кемпу, — сказал Пол, не назвавшись, — и пригласите его спуститься вниз. Скажите, что я привез ему очень важную информацию и что я хо...

— Он уехал два часа назад, — перебил его Штирлиц, заново удивившись той бледности, которая была на лице Кемпа, когда они встретились в лифте. Кемп сказал, что сегодня попозже вечером за Штирлицем заедет его, Кемпа, друг, надо бы вместе поужинать, есть чем обменяться, говорил нервно, покусывая свои красивые чувственные губы.

— Куда он уехал? — спросил Роумэн.

— Не знаю... В последние недели он как-то забывает мне докладываться, совсем отбился от рук.

— Исправим, — пообещал Роумэн. — Позвоните ему домой. Вы знаете его номер?

— Это не проблема. Узнаю.

— Скажите, что вы сами подъедете к нему. Я буду возле вас, на углу, через двадцать минут, спускайтесь.

Сев в машину, Штирлиц сказал:

— Дома его нет. Экий вы встрепанный... Что-нибудь произошло?

— Произошло, — ответил Роумэн задумчиво. — Ладно, едем дальше, там разберемся... Произошло много интересного, Штирлиц... Сколько уплатите, если я скажу, что мне известно, кто убил Вальтера Рубенау?

— От кого пришла информация?

— От Мюллера.

Штирлиц достал сигареты, закурил, покачал головой:

— Комбинируете? Или — правда?

— Я только что из Мюнхена. Я говорю правду. Хотя и комбинирую. На ваше счастье в архиве Гиммлера сохранилась запись телефонного разговора Мюллера с неустановленным абонентом. Группенфюрер сказал этому неустановленному абоненту: «Срочно сработайте человека, фотографию которого вам покажут. Это некий Рубенау. Не спутайте его. Тем препаратом, который вам сейчас передаст

профессор из Мюнхена, можно работнуть дивизию. Это – то же самое, что готовили Шелленбергу для Штрассера и чем вы работали на пароме. Невыполнение задания исключается. Речь идет о компрометации того же красного, как и в первом эпизоде». Мог быть такой разговор?

– Я бы очень хотел, чтобы этот разговор сохранился.

– Он сохранился.

– Вы его привезли?

– Нет... Зато я привез другое... Я привез значительно более ценное, чем эта запись... Я привез из Мюнхена очень важный вопрос, Штирлиц... Он звучит так: «Что же выходит, доктор? Получается, что вы – красный?»

Штирлиц глубоко затянулся, внимательно посмотрел на измученное лицо Роумэна, покачал головою, тихо, словно блаженствуя, рассмеялся и ответил:

– Красный. Не коричневый же. Разве у вас глаз нет?

ШТИРЛИЦ

Роумэн аккуратно припарковал машину возле своего дома и долго не отрывался от руля, задумчиво глядел на Штирлица:

– Зайдем ко мне, – сказал, наконец, он, – я приму душ и переоденусь. А потом сядем и спокойно поглядим в глаза друг другу.

– Глядеть будем молча? – спросил Штирлиц. – Если молча – я согласен.

– Красные так же подозрительны, как коричневые? – усмехнулся Роумэн.

– Красным, которые работали против коричневых в их доме, надо было постоянно думать о своей голове, пригодится для дела, поэтому они действительно весьма осмотрительны и зря не искушают судьбу.

– Ладно, там решим, как глядеть – молча или обмениваясь впечатлениями...

– Позвоните Эрлу Джекобсу, кстати говоря. Ему донесут, что я самовольно бросил работу, у нас в ИТТ такое не принято.

– Вам туда больше возвращаться не надо, – сказал Роумэн.

– Это как?

– Так. Вы в прицеле. За вами идет охота. Мне и кабанов-то жаль, а уж людей – подавно.

Они поднялись на четвертый этаж; возле двери в свою квартиру Роумэн опустился на колени, тщательно осмотрел замок, достал из плоского чемоданчика конверт с «пылью», снял с ручки двери «пальцы», только после этого осторожно повернул ключ и вошел в сумрак прихожей, сразу же ощутив сухой, горьковатый запах «кельнской туалетной воды», которую Криста заливала в ванну.

Сколько надо дней, подумал Роумэн, чтобы новый запах сделался в твоем доме постоянным? Она прожила у меня девять дней... Сколько же это будет часов? Чуть больше двухсот... Двести шестнадцать, если быть точным, самая считающая нация, это у нас получается автоматически, щелк-щелк, и готов ответ, платите в кассу. Ин-

тересно, а сколько минут прожила у меня Криста? Двести шестнадцать на шестьдесят. Интересно, смогу в уме?

— Сейчас, — сказал Роумэн, — садитесь и наливайте себе виски, доктор.

Он замер, начал считать, вышло двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят минут. Достав ручку, он пересчитал на уголке салфетки; сошлось.

А если разбить минуты на секунды, подумал он, тогда Криста прожила у меня вообще уйму времени. Я ведь ни разу не спросил ее, что такое «теория чисел», которой она занимается. А занимается ли? — подумал он. Может быть, ей сочинили эту самую теорию для легенды? Гаузнер человек университетский, знает, как работать с интеллигентами вроде меня; к тому же получил хорошую информацию из Вашингтона — даже о том, что я не успевал в колледже по точным дисциплинам. Ладно, сказал он себе, с этим мы тоже разберемся. Когда «веснушка» вернется, и я скажу ей, что знаю все, абсолютно все. И, несмотря на это, очень ее люблю. Так люблю, что не могу без нее. И пусть она выбросит из своей головенки прошлое. Меня не касается прошлое. Люди должны уговориться о том, что прошлое — если только они не геринги и борманы с кальтенбруннерами — принадлежит им, только им, и никому другому. Нельзя казнить человека за то, как он жил прежде, до того, как ты встретился с ним, это инквизиция. Если ты любишь человека, который за двенадцать тысяч минут оставил в твоем доме прекрасный запах горькой «кельнской воды», и тот хирургический порядок, который поддерживала Мария, сделался не мертвенным, как прежде, а живым, нежным, и всюду угадывается присутствие женщины, и оно не раздражает тебя, привыкшего к одиночеству, а, наоборот, заставляет сердце сжиматься щемящей нежностью, неведомой тебе раньше, а может быть, забытой так прочно, будто и не было ее никогда, тогда к черту ее прошлое!

— Я сейчас, — повторил Роумэн, отворив дверь в ванную. — Устраивайтесь, я мигом.

Штирлиц кивнул, отвечать не стал, не надо мне здесь говорить, подумал он, потому что я ощущаю эндшпиль. Странно, очень русское слово, а изначалие — немецкое. Ну и что? А «почтамт»? Это же немецкий «пост амт», «почтовое управление». Поди, спроси дома: «Где здесь у вас почтовое управление», вытаращат глаза: «Вам почтамт нужен? Так и говорите по-русски! Причем здесь «почтовое управление», у нас таких и нет в городе». Штирлиц усмехнулся, подумав, что благодаря немцам одним управлением — будь неладна тьма этих самых управлений — меньше; почтамт, и все тут! «Аптека», «порт», «метро», «гастроном», «радио», «керосин», «кино», «стадион», «аэроплан», «материал», «автомобиль» — сколько же чужих слов стали привычно русскими из-за того, что чужеродное, инокультурное иго не дало нам совершить тот же научно-технический рывок, какой совершила — благодаря трагическому подвигу русских, принявших на себя удар кочевников, — Западная Европа!

Штирлиц плеснул виски в высокий стакан, сделал маленький глоток, вспомнил заимку Тимохи под Владивостоком, Сашеньку, ее широко поставленные глаза, нежные и прекрасные, — как у телен-

ка, право, и такие же круглые. Тимоха тогда налил ему своей самогонки, и она тоже пахла дымом, как виски, только настаивал ее старый охотник на корне женьшеня, и она была из-за этого зеленоватой, как глаза уссурийского тигра в рассветной серой хляби, когда он мягко ступает по тропе, припорошенной первым крупчатым снегом, а кругом стоит затаенная тайга, и, несмотря на то, что леса там редкие, много сухостоя, само ощущение того, что простирается она на многие тысячи километров — через Забайкалье и Урал — к Москве, делало эту таежную затаенность совершенно особенной, исполненной вечного величия.

— Вот бы прокочевать всю нашу землю отсель и до стен первопрестольной, — сказал Тимоха, когда они возвращались на его зимовье после удачной охоты на медведя и несли в мешках окорока и натопленное нутряное сало, панацею ото всех болезней, — сколько б дива навидались, Максимыч, а?

Слушая Тимоху, Штирлиц (тогда-то еще не Штирлиц, слава богу, Исаев, хоть и не Владимиров уже) впервые подумал об ужасной устремленности времени: действительно, можно остановить течение реки, построить опорную стенку, чтобы не дать съехать оползню, можно задержать движение стотысячной армии, но нельзя остановить время. Как прекрасно сказал Тимоха: прокочевать, чтоб насмотреться див дивных... А ведь жестокий смысл машинной цивилизации был заключен именно в том, чтобы лишить человека врожденной страсти к путешествиям, которое ученые обозначили «кочевым периодом» развития общинного строя. После того как образовался город, который немыслим без рукастых ремесленников, поэтической страсти к перемене мест наступил конец, — поди, удержи клиентуру, если то и дело покидаешь мастерскую в поисках див дивных, что сокрыты за долами и лесами, где лежит таинственная страна твоей мечты... Вот и получилось так, что родилось новое качество народов: на смену поэтике пришла деловая хватка, сузился людской кругозор, впечатления сделались ограниченными стенами твоего ремесла, воцарилось равнодушие, без которого просто-напросто немыслимо изо дня в день, всю жизнь повторять один и тот же труд, веря, что золото, которое накопишь к концу пути позволит вновь услышать в себе зов предков, без опасения за дело, начатое тобою с таким трудом, и, поудобнее устроив в мягкой постели свое старое, измученное тело, предаться мечтаниям о дерзких путешествиях через моря и горы, поросшие синими лесами, которые шумят, словно океан, и так же безбрежны.

...Роумэн вышел из ванной, переодевшись в джинсы и куртку, сказал, что, видимо, вечер будет хлопотным, предстоит поездить по ряду адресов, глядишь, и за город сгоняем, спросил, нравится ли виски, и предложил чашку крепкого кофе.

— Спасибо, — ответил Штирлиц, покашливая. — С удовольствием выпью. Я мало спал сегодня.

— Вызвали Кла... женщину? — оборвав себя на имени «Клаудиа», спросил Роумэн.

— Нет. Пока еще не вызывал женщину, — по-прежнему глухо, опасаясь записи, ответил Штирлиц. — Набираюсь сил. Не хочу опозориться.

— Если вы любите женщину и она знает, что вы ее любите, — можете быть хоть импотентом, все равно не опозоритесь. Если же у вас нет к ней чувства, а лишь одно желание — берегитесь позора.

Ну-ну, подумал Штирлиц, пусть так. Каждый успокаивает себя как ему удобно. Бедный Пол... Он еще ни разу не сломался от смеха; раньше хохотал чаще, и это не была игра, он действительно радовался тому, что казалось смешным, даже если это кажущееся ему и не было на самом деле таким уж смешным, чтобы ломаться пополам. Он рано постарел. Так, как сейчас сказал он, говорят мужчины, которым под шестьдесят, а то и больше, когда близость с женщиной невозможна, если нет чувства. Это только в молодости флирт легок и случаен. Чем ближе к старости, тем отчаянней понимаешь тот страшный смысл, который заложен в слове «последний», «последняя», «последнее».

— Так нигде и не веселились? — спросил Роумэн.

— Считаете нужным, чтобы я здесь ответил правду?

Роумэн почесал кончик носа:

— Черт его знает... Пожалуй, нет... Здесь кто-то был без меня. Мою отметину в замке нарушили.

— Так, может быть, попьем кофе в другом месте?

— Но ведь я хотел посмотреть вам в глаза. А это следует делать в том месте, где нет посторонних.

— Ну что ж, ладно, — согласился Штирлиц, и в это время раздался телефонный звонок.

— Да, — ответил Роумэн, прямо-таки сорвав трубку телефона с рычага. Из Севильи звонил Блас; Роумэн понял, что звонок междугородный, поэтому не уследил за движением — оно выдало его нервозность. — Очень хорошо... Спасибо... Когда прибывает в Мадрид? — он посмотрел на часы. — Ага... Очень хорошо... Вы, надеюсь, сказали, что я встречу? Молодец... Спасибо.

Положив трубку, он еще раз посмотрел на часы и сказал:

— У нас тьма времени. Через пять часов мы должны подъехать на автовокзал.

— Я не помешаю?

— Наоборот. У меня к вам просьба... Вы расскажете Кр... Черт, — прервал он себя, — все-таки вы правы, смотреть друг другу в глаза значительно лучше в другом месте.

— Вот видите, — вздохнул Штирлиц. — Возраст наделяет нас проклятием здравого смысла... Это не всегда хорошо, но в нашем с вами случае это действительно необходимо...

Роумэн достал из кармана плоский блокнотик с вензелем, протянул его Штирлицу, показал глазами на открытую страницу, там были записаны имена и адреса семи людей: сеть Густава Гаузнера в Испании.

— Никого из них не знаете? — спросил он одними губами.

Штирлиц посмотрел запись дважды; фамилия Кроста показалась ему знакомой; у СС штандартенфюрера профессора Танка был адъютант с такой же фамилией, работал на Шелленберга; отец голландец, мать немка. Других не знал, не видал и ничего о них не слышал.

— Нет, — шепнул Штирлиц. — Кроме первого...

— Ладно. Едем. Устроимся в «Бокаччио», там пока еще мало посетителей.

— Или в «Палермо», — подыграл ему Штирлиц, называя адрес тех баров, куда — они легко поняли друг друга — ехать и не собирались, но оставляли ложный след; если их слушают — а их наверняка слушают, — пусть рыскают.

Они вышли в прихожую, Роумэн открыл дверь, но в это время снова зазвонил телефон; какое-то мгновение Пол раздумывал, стоит ли возвращаться, вопросительно посмотрел на Штирлица, тот развел руками, не любил возвращаться, отчего-то самые неприятные новости сообщают, когда выходишь из дома, какая-то непознанная закономерность, ушел бы — и бог с ним, отдалил бы на какое-то время тягостную необходимость размышления о том, как надо поступать и что можно сделать.

— Все-таки подойду, — сказал Роумэн, и Штирлиц понял, что они сейчас думали совершенно одинаково...

Звонили из посольства; посланник Гэйт просил срочно приехать, это очень важно, Пол, я жду вас.

То, что Роумэна пригласил карьерный дипломат Гэйт, не было случайностью, но являло собою одно из звеньев в том плане, который был продуман Робертом Макайром, с подачи директора ФБР Гувера и Маккарти.

Вообще-то Гэйт сторонился людей из с л у ж б, не верил им и чуточку опасался. Каждый человек рождается четыре раза — помимо самого факта рождения. Однако же, если день своего появления на свет каждый празднует, оттого что знает его, то другие дни рождения, которые порою определяют веху качественно новой жизни человека, не празднует никто, ибо даже не записывает на календаре ту минуту, когда встречает женщину, которая затем становится его женою; появление первого ребенка отмечают как факт рождения на свет божий нового человека, не отдавая себе порою отчета в том, что именно этот день и определил совершенно новые качества человека, ставшего отцом; не отмечают и тот день, когда был сделан выбор профессии, а ведь именно это придает личности н а п р а в л е н н о с т ь, а что, как не направленность такого рода, проявляющая себя во времени и пространстве, определяет то, что оставит после себя та или иная индивидуальность? Редко кто помнит и тот день, когда человек был поставлен перед выбором между бескомпромиссным следованием правде и тем постоянным лавированием среди рифов жизни, которое; увы, столь распространено в том мире, где слово «приспособленчество» сделалось совершенно необходимым, но разве дошли бы до нас труды Галилея и полотна Веласкеса, не научись они горестной науке приспособления к обстоятельствам, их окружавшим?! Но, с другой стороны, трудно представить, как бы пошло развитие цивилизации, не отвергни практику приспособления Джордано Бруно или Ян Гус, предпочтя ее мученической смерти. Другое дело: отчего истории было угодно, чтобы Галилей, отрекшись, п р и с п о с о б и л с я, сохранил свои идеи для человечества, а Бруно погиб, оставшись верен себе?

...Уже будучи чиновником консульского отдела, Гэйт женился на дочери посла, что еще больше укрепило его позиции в мире дипломатии, наложив, однако, дополнительные обязательства: он стал еще более замкнут и весьма осмотрителен в выборе знакомств — только свой клуб, лишь те, кто, так же как и он, допущен; всякий мезальянс случайного, пусть и веселого приятельства, чреват неудобствами в карьере.

Рождение близнецов накрепко привязало его к семье, он души не чаял в своих мальчиках и не мог понять тех своих коллег, которые норовили вырваться из дома в загородный ресторан и провести там ночь в шальном застолье. Счастливый семьянин живет иными представлениями о веселье и даже говорит на другом языке — в сравнении с большинством тех, кто обделен радостями домашнего очага, а сколько таких на земле!

Но он не мог забыть — и это была единственная червоточина, которая постоянно доставляла ему душевную боль, — того дня, когда пришлось беседовать с министром иностранных дел маленькой африканской страны, и тот убеждал его, что премьер куплен нацистами, вот-вот произойдет путч, вырежут всех тех, кто готов на борьбу против тирании; если вы поедете во дворец и скажете, что планы заговорщиков известны вам, — продолжал министр, — это повлияет на тирана; единственно, с чем он считается, так это с твердостью позиции; рейх далеко, а ваши войска рядом; поступите так, как я прошу, это спасет мой народ! Я не говорю о себе, меня и мою семью убьют сегодня же, потому что тиран знает, что я поехал к вам, не испросив на то санкции; я — фикция, мальчик на побегушках, но за возможный альянс с Гитлером судить будут меня, потому что договор будет подписан моим именем, даже если меня не будет уже в живых; каково будет моим родным, если кто-нибудь из них спасется; сделайте же хоть что-нибудь!

Гэйт слушал министра и с тоскливым ужасом думал о том, что он ничего не сможет сделать, во-первых, потому, что он не посол, а всего лишь советник; посол в Касабланке и неизвестно, когда вернется; во-вторых, оттого, что здесь еще нет шифросвязи, посольство только-только приехало в эту варварскую глухомань, а запрашивать инструкции по телефону — даже если удастся получить Вашингтон в течение ближайших пяти-шести часов — открытым текстом, упоминая фамилии, называя даты, — совершеннейший абсурд, посчитают психически больным; и, наконец, в-третьих, представитель ОСС в посольстве был настолько ему неприятен, так сепарировал свою работу от того, что делали три других дипломата, аккредитованные здесь, так мерцающе играл глазами, давая понять, что ему известно то, что не дано знать мышам из департамента, что о совместной акции не могло быть и речи; всякий совет с ним означал подставу; выстрелит в бок, под лопатку, при первом же удобном случае, обвинив в некомпетентности или, того хуже, в трусости; да и вообще ему легче, он может только советовать, а решение так или иначе пришлось бы принимать ему, Гэйту, с него и спрос.

Слушая министра, он тогда поймал себя на страшной мысли: если его убьют, никто и никогда не узнает об этом разговоре; пусть со-

бытия развиваются так, как им суждено развиваться; я в безвыходном положении, и это именно тот случай, когда надо думать только о собственном престиже; лишь в этом случае я смогу достойно представлять страну.

Ночью случилось то, о чем предупреждал министр: его самого застрелили, семью вырезали; провозгласили союз с рейхом; но на исходе следующего дня сработал механизм ОСС — тиран погиб в «автомобильной катастрофе», а к власти пришел тот полковник, с которым резидент ездил на рыбалку и стрелял антилоп на равнинах.

Это был тот самый четвертый день рождения, который и определил до конца субстанцию Джозефа Гэйта...

И если он теперь не мог уже точно сказать, какого числа произошел тот страшный разговор, то в анналах ОСС ему могли бы напомнить не только день, но час и минуту, — разведка ничего не забывает, иначе бы она перестала быть разведкой.

Именно поэтому на него-то и пал выбор ФБР и Макайра; пусть он, Гэйт, ознакомит Роумэна с той телеграммой, которая была составлена таким образом, чтобы впоследствии ее можно было приобщить к делу, если таковое состоится.

— Думаю, что я управлюсь довольно быстро, доктор, — сказал Роумэн, вылезая из машины. — Подождите меня у «Дона Пио», ладно?

— Хорошо, — ответил Штирлиц.

— Деньги у вас есть?

Штирлиц усмехнулся:

— Хотите попросить в долг? Сколько надо?

— Заказывайте себе, что хотите, я оплачу.

— Тогда я закажу сотню порций каспийской икры, — пообещал Штирлиц. — Семь долларов за штуку.

— Не надо. Лучше я отдам вам деньгами, они вам, судя по всему, пригодятся в недалеком будущем, — сказал Роумэн и вошел в посольство.

...Гэйт посмотрел на него обеспокоенно, спросил, все ли в порядке, не требуется ли какая помощь, и не замечал ли Пол чего-либо тревожного.

— А что случилось, Джозеф? — весело удивился Роумэн. — Мой сейф вскрыли лазутчики? Или Гесс назвал мое имя в качестве свидетеля его защиты?

— Пока нет, — ответил Гэйт, протягивая ему папку с совершенно секретной телеграммой. — Почитайте. Вы поймете, отчего я так обеспокоен.

Роумэн достал из кармана брюк мятую пачку «Лаки страйк», закурил, не спросив разрешения, хотя знал, что Гэйт не выносил табачного дыма, и углубился в чтение. Он просмотрел текст цепко, по лицу его трудно было понять, что он чувствовал, оно сейчас замерло, только губы жили, но Гэйт так и не мог ответить на вопрос: презрительно усмехается Пол или же всерьез ярится.

Роумэн и сам не понимал, что он почувствовал, прочитав текст первый раз...

«Сегодня, в 10.45 по Гринвичу, — говорилось в телеграмме, — представитель «организации» м-р Ваксенмайр посетил в Мюнхене майора Уитлоу в его служебном помещении и ознакомил последнего с информацией, представляющей оперативный интерес. Суть ее сводится к тому, что некий Морсен, в течение длительного времени выдававший себя за участника антинацистского движения, обманным путем пробрался на работу в подразделение «организации», которая оказывает весьма активное содействие специальным службам США, занятым выявлением и изоляцией бывших гестаповцев, работников военной контрразведки, военно-полевых и «имперских народных судов», сотрудников VI управления РСХА, связанных с террористической деятельностью, а также партийных функционеров, запятнавших себя санкциями на преступные действия против представителей церкви, евреев, членов оппозиции, жителей оккупированных стран, летчиков ВВС США и Англии и политических работников Красной Армии.

В результате тщательной проверки, которой подвергаются все те, кто предлагает свои услуги «организации», которая ведет благородную работу против преступников, объединенных между собою общностью агрессивных замыслов и недозволенных методов политической борьбы, было выяснено следующее:

Морсен на самом деле является Густавом Гаузнером, членом НСДАП с 1939 года, майором военной разведки, отмечен двумя Железными крестами I и II степени за участие в разгроме антинацистского подполья Норвегии, в которое входили представители церкви, монархисты и члены коммунистической партии, а также за внедрение агентуры во французское движение Сопротивления, которое осуществлялось им совместно с нацистским преступником Клаусом Барбье, скрывающимся ныне от справедливого возмездия (в прошлом начальник гестапо в Лионе).

Поскольку Морсен в последние дни битвы за Норвегию находился в северных районах, которые были захвачены русскими, и появился в Германии только после разгрома третьего рейха, можно предположить его контакт с секретной службой большевиков. Пять месяцев его жизни являются «темными» и пока что не поддаются проверке, хотя работа в этом направлении не прекращается ни на день.

Во время его службы в «организации» обращало на себя внимание то, что Морсен чаще всего нацеливал предлагаемые им операции против тех лиц, которые наиболее активно разыскиваются русской разведкой в Испании, Португалии, Колумбии, Чили и Аргентине. (Список фамилий был вручен м-ром Ваксенмайром майору Уитлоу для передачи в Вашингтон.)

Среди такого рода лиц следует отметить некоего доктора Брунна, он же Бользен, он же Штирлиц, который

давно приковывал к себе интерес «организации», но был принят в тщательную разработку лишь после того, как Морсен, он же Гаузнер, привлек к своей операции по установлению контакта с Брунном-Бользеном-Штирлицем некую Кристиансен (подлинная фамилия устанавливается) и самовольно, без санкции на то «организации», поручил ей войти в окружение сотрудника посольства США Пола Роумэна, так как последний, согласно информации Морсена, полученной им из неустановленных источников и явно носящей секретный характер, «работал» по Брунну-Бользену-Штирлицу. Предполагают, что Пол Роумэн вообще представляет особый интерес для Морсена.

«Организация» располагает достоверной информацией о том, что хотя Брунн-Бользен-Штирлиц и являлся сотрудником бывшего СС бригаденфюрера Вальтера Шелленберга, но на самом деле выполнял наиболее деликатные поручения Бормана, а также бесчеловечные приказания начальника IV отдела РСХА (гестапо) Мюллера по ликвидации участников антигитлеровского Сопротивления. К числу уничтоженных им людей могут быть отнесены Д. Фрайтаг и В. Рубенау (подобные справки были вручены м-ром Ваксенмайром майору Уитлоу для передачи в Вашингтон). «Организация» предполагает, что Брунн-Бользен-Штирлиц был тесно связан с секретной службой русских и, вполне вероятно, располагает какой-то информацией (возможно, компрометирующего характера) на Морсена-Гаузнера. Поэтому необходимо срочно установить нынешнее местопребывание Брунна-Штирлица и добиться от местной полиции его немедленного задержания. «Организация» получила неопровержимые документы о непосредственном участии Морсена в физической расправе над героями норвежского Сопротивления профессором Эриком Эрнансеном и доцентом Олафом Ли, что дает законную возможность арестовать преступника и передать его в руки высокого суда в Нюрнберге.

Вчера состоялся неожиданный контакт Морсена с неизвестным, который выдал себя за представителя американских специальных служб (однако ни один американский разведчик не получал задания на контакт с Морсеном). После этого Морсен, он же Густав Гаузнер, скрылся.

«Организация» склонна предполагать (эта версия сейчас прорабатывается специалистами уголовного и международного права, о результатах будет доложено майору Уитлоу), что означенный нацистский преступник, предположительно перевербованный русской секретной службой, будет искать укрытие в Испании, Португалии или же Латинской Америке, скорее всего, в Аргентине или Чили, где в настоящее время легально проживает Зандштете, калье Лаваже (дом неизвестен), Буэнос-Айрес, Аргентина.

Обращает на себя внимание тот факт, что по наведен-

ным в Пентагоне предварительным справкам Зандштете поддерживает связь с теми аргентинскими учеными и актерами, которые довольно часто совершают деловые поездки в США, особенно в Нью-Йорк, Техас, Лос-Анджелес и Голливуд.

Можно предположить, что скрывшийся преступник станет искать в Испании встречи с Брунном-Больценом-Штирлицем – либо для того, чтобы его уничтожить, либо, наоборот, чтобы работать вместе с ним.

В связи с вышеизложенным соответствующим службам посольства США в Испании предлагается оказать максимальное содействие Полу Роумэну в тех шагах, которые он решит предпринять (захват Морсена-Гаузнера будет оправдан), обеспечив меры по его безопасности.

Считаю возможным ознакомить с этой телеграммой тех лиц, которые должны быть сориентированы на то, чтобы оказать м-ру Роумэну всестороннюю помощь.

Роберт Макайр».

– Ну и как? – спросил Гэйт. – Вас не могли найти... Где вас черти носили?

– Гаузнера ловил, – усмехнулся Роумэн. – Спасибо за заботу, Джозеф. Как всегда, они там наверху чрезмерно паникуют...

– Это телеграмма повторная, первую они прислали вам. Вы им сейчас ответите?

– Конечно.

– Может быть, вам они прислали что-то еще, какую-то дополнительную информацию, я ведь лишен возможности читать все ваши секреты...

– Вы ответьте им на это, – сказал Роумэн и вернул Гэйту папку, посмотрев еще раз на тот адрес в Аргентине, который был указан. – Сообщите, что вы проработали меры безопасности. Напишите, что проводим совещание, о результатах которого не преминете сообщить.

– Да, но мы не проводили совещания, потому что ждали вас...

– Кто вам, кстати, сказал, что я вернулся домой?

– Эрл Джекобс. Я ведь всех обзванивал...

– Эрл вам сказал, что я вернулся? – уточнил Роумэн.

– Да, только что. А в чем дело?

– Нет, все в порядке, просто интересуюсь. И лучше б вы по-прежнему считали, что не нашли меня. А когда я вернусь, мы составим совместную телеграмму, Джозеф. Я просто не могу отменить встречу, она была назначена несколько дней назад...

– Но она не имеет отношения к этому делу? – Гэйт кивнул на папку.

И Роумэн понял, что он не имеет права ответить на этот вопрос Гэйта утвердительно.

...Он поднялся к себе в резидентуру; в отличие от просторных кабинетов посольских чиновников здесь были прямо-таки конурки без окон; душно и темно.

Роумэн открыл сейф и написал на бланке шифрограммы с пометкой «молния»:

«Прошу немедленно сообщить, известны ли отделу разведки следующие имена: Хайнц Достер, Адольф Зайдель и Фридрих Кальбах, он же Эухенио Парреда. Они скрылись от суда, проживают в Мадриде и являются глубоко законспирированными руководителями региональной сети нацистов в Испании. Считал бы целесообразным сразу по получении моей телеграммы запросить об этом некую «организацию» генерала Верена. Оперативная необходимость понуждает меня — следуя также и вашему указанию, содержащемуся в телеграмме, врученной мне Гэйтом, — предпринять немедленные шаги для выявления нацистских преступников, как это и было предписано в предыдущих директивах. Ваш ответ, а также информацию из Мюнхена жду сегодня же, завтра может быть поздно, поскольку завтра эти три нациста исчезнут, будучи предупрежденными Гаузнером, Кемпом или его связными. Версию «исчезновения» Гаузнера считаю нужным подвергнуть тщательной проверке. Роумэн».

Он знал, каким будет ответ. Он был убежден, что отделу разведки эти имена неизвестны; шифровка от них придет сразу же — с уведомлением, что «организация запрошена». А вот «организация» Верена потянет, ей ничего не остается делать, она должна дать какое-то время Гаузнеру, или я вообще ничего не понимаю; они ответят не раньше завтрашнего вечера, подтвердят, что упомянутые мною люди действительно являются теми, кого они сами давно ищут. Но они ни в коем случае не признаются в том, что Хайнц Достер, Адольф Зайдель и Фридрих Кальбах, он же Эухенио Парреда, прибыли в Мадрид по их бумагам, с их заданием, на их деньги, выполняя приказ их Верена. А по поводу проверки обстоятельств «исчезновения» Гаузнера пусть чешется Макайр, этот пассаж для него, пригодится в будущем.

Он позвонил по внутреннему телефону своему помощнику Джонсону, тому самому крепышу, который начинал, вместе со своей командой, операцию по доктору Брунну (и Бласа сработал он, и Кристу вел, да мало ли чего он делал), и попросил его срочно подняться (слава богу, жил при посольстве, под рукой). Когда Джонсон пришел, Пол сказал ему, чтобы тот — с двумя своими людьми — через два часа был в ресторане «Эль Бодегон» и провел скрытое фотографирование трех людей, которых он определит по тому, что возле каждого будет лежать пачка сигарет «Честерфилд» без фильтра и два коробка спичек, один из которых будет открыт. После того как объекты будут сфотографированы, необходимо весьма осторожно проследить их маршрут домой (или же в отель) и составить об этом сообщение, которое следует срочно передать в отдел разведки департамента, «вне зависимости от того, встретимся мы с вами сегодня или нет. Задача ясна?»

Джонсон редко отвечал, все больше молча кивал круглой головой, яростно работая челюстями, — порою Роумэну казалось, что он жует не одну, а добрый десяток резинок.

А уже после этого, без пометки «молния», он составил вторую телеграмму:

«Упомянутых в предыдущем сообщении нацистских преступников мне удалось выявить благодаря тому, что в вашей телеграмме 472-41 от седьмого августа сорок шестого года была названа фамилия доктора Брунна, который, как вы сообщали, мог быть сотрудником политической разведки Бользеном или – что явствовало из последующей телеграммы – СС штандартенфюрером Штирлицем.

Работа, проведенная с означенным выше объектом, позволила получить данные, необходимые для того, чтобы затем выйти на «узел Гаузнера». Не может не вызывать удивления то, что некий Кемп, о котором я неоднократно сообщал в отдел, но до сих пор не получал о нем никакой информации, хотя просил запросить о нем «организацию», был странным образом осведомлен о ряде моих планов, утвержденных Отделом разведки. Это позволило ему войти в контакт с Брунном, опередив меня. Целью такого рода мероприятия было доказать Брунну, что немцы знают о нем и именно они проявляют о нем заботу, что было подтверждено устройством Брунна на работу в ИТТ к Эрлу Джекобсу именно Кемпом, хотя именно я должен был сделать это, как и было рекомендовано отделом. Видимо, отдел должен самым серьезным образом исследовать вопрос о возможной утечке информации, весьма выгодной для «организации» Верена. Не могу представить, что кто-то из наших передает в Мюнхен совершенно секретные сведения, связанные с работой по выявлению нацистских преступников, но то, что информация уходит – не представляет теперь для меня никакого сомнения, особенно после того, как я вышел на Гаузнера и был вынужден вылететь в Мюнхен без вашей санкции, опасаясь, что моя телеграмма с подробным описанием обстоятельств спугнет того (или тех), кто связан с неким Вереном и действует во вред интересам Соединенных Штатов.

Подробное сообщение о тех сенсационных сведениях, которые мне удалось получить у Гаузнера, я составлю после того, как будет завершена сегодняшняя операция. Просил бы высказать ваше мнение о возможности привлечения к работе по выявлению нацистских преступников и всей их сети – не только в Испании, но и во всем мире – здешних республиканцев, которых отличает традиционная ненависть к гитлеризму. Должен заметить, что многие из них тяготеют к коммунистической идеологии. Является ли допустимым сотрудничество с ними в операциях против нацистов? Просил бы зафиксировать всех, через кого будет проходить эта телеграмма, пока ее не положат на стол Макайру, чтобы можно было начать расследование, связанное с выявлением немецкой агентуры в Отделе разведки. Роумэн».

Ну, что, Макайр, усмехнулся Роумэн, трудно тебе будет отвечать на эту телеграмму, а? Ведь она придет к тебе по лестнице, ее краткое содержание будет записано в реестр поступившей информации, о ней наверняка доложат большому начальству, потому что речь идет о возможном предательстве кого-то из работников Отдела разведки. Может быть, ты сможешь доказать, что тебе подсовывали липу по поводу ситуации в Латинской Америке и тамошней немецкой агентуры, которую ты зачем-то отправлял мне? Кто именно гнал тебе эту липу? Подвергалась ли она проверке? Кто перепроверял? По чьему

поручению? А если не проверяли, то отчего существует абсолютное доверие к источнику информации? Так назови его, назови!

«Молния» уже пришла к тебе, Макайр, занимайся ею. Эта придет позже, тогда, когда Криста расскажет мне все то, что должна рассказать, Джонсон вытопчет этих трех нацистов, а Штирлиц поможет провести очную ставку между Гаузнером, мною и Кристой. Гаузнер не может не объявиться здесь, и я понимаю, зачем они его сюда прислали... «Скрылся от ареста»... Расскажите вашей кузине... Он будет искать встречи со мной, чтобы поставить все точки над «i», однако Эронимо сделает так, что найду его я. И когда все это произойдет, я отправлю подробный отчет о том, что мною было сделано: вы можете заниматься, чем вы хотите, а я продолжаю свою борьбу с нацистами, и я стану продолжать ее, пока последний из них не сдохнет в помойной яме. Вы можете делать то, что вам представляется нужным, а я все эти месяцы делал то, без чего нельзя жить на этой земле, потому что многое можно простить, но вот только гитлеризм прощать нельзя. И я правильно поступал, что гнул свое, и действовал по своему плану, не отправляя его вам на утверждение. Я поступал правильно, потому что я выяснил здешнюю нацистскую сеть, а потом я сделаю это же и в Латинской Америке, и я знаю, как я это сделаю, я раскручу цепь этого Верена.

...Спустившись вниз, Роумэн зашел в маленькую застекленную комнату дежурного, еще раз уточнил по транспортному справочнику точное время (если в Испании можно говорить о таковом) прибытия автобуса из Севильи, экспресс «Сур-Норте», и начал листать толстую тетрадь (похожа на ту, в которой отец записывал удои его племенных коров), где были зарегистрированы адреса и телефоны дипломатов, сотрудников военного атташата, представителей прессы и руководителей ведущих фирм, аккредитованных при министерстве экономики.

Он медленно вел пальцем по именам, заставляя себя видеть лица корреспондентов ЮПИ, Ассошиэйтэд Пресс, «Лук», «Кольерс», «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост»; он верил в физиогностику, ему всегда казалось, что человек с открытым, красивым лицом не может сделать подлость, это удел тонкогубых, щербатых уродцев; физический изъян у мужчины подобен душевной травме женщины, после которой та пускается во все тяжкие; человек с неприятной внешностью обуреваем такими же желаниями, как и тот, кого природа наградила сильным телом и располагающим лицом; однако если симпатичный (внешне) человек живет без комплексов, то уродец уже в детстве начинает понимать, что добиться своего он может лишь хитростью и обманом, змейством, одним словом. (Если, конечно же, речь не идет о недюжинном характере, одаренном талантом или просто ярко выраженной способностью, – в математике ли, музыке, поэзии, финансах.)

Роумэн сразу же понял, что к Липшицу он звонить не станет; слишком молод, не воевал, из бедной семьи, лишен поэтому врожденной тяги к независимости мышления и поступка, постоянная оглядка на тех, от кого зависело, да и поныне зависит его будущее; Эдмонд Скулбрайт из АП был маленьким, лысым, с оттопыренными ушами и дурным запахом – от него постоянно воняло потом и затхлым бельем, хранившимся в сыром помещении; к тому же он расист;

почему-то все расисты воняют затхлостью и еще у них мерцающие глаза, как у климактерических женщин; Ник из «Вашингтон пост» нравился Роумэну, славный человек, воевал, приятен собою, но его газета слишком близка к администрации, ему будет не просто напечатать в завтрашнем номере своей газеты то, что необходимо опубликовать после того, как будет закончен разговор с Кристой, — она главный свидетель Пола, она и Штирлиц; она — важнее, ее показания будут (не имеют права не быть) сокрушительными: «организация», которую возглавляет генерал Гитлера, начала развертывание своей агентурной цепи в мире, работает против американцев, используя провокацию как метод деятельности; она расскажет о Гаузнере, о гибели ее отца и о том, что стало с Олафом Ли; она скажет все про то задание, которое сейчас ей поручил Гаузнер, а уж потом все это дело, да и не только это, прокомментирует он, Роумэн; отступать некуда; все равно ему придется уйти с государственной службы, потому что он не намерен бросать Кристу, он любит ее, и она будет с ним. Всегда. До конца дней его.

А она этого хочет? Роумэн услышал в себе этот вопрос, но даже не стал отвечать на него; он показался ему надоедливым, как осенняя муха, и таким же обреченным; он сейчас чувствовал себя собранным, литым и устремленным; я женюсь на ней здесь, в Мадриде, решил он, Криста получит мою фамилию, и ее не посмеют не впустить в Штаты; Грегори Спарк найдет мне место в Голливуде, не умру с голода, да и потом у нас пока нет детей, только те страшатся материальных трудностей, кто отвечает за жизнь, данную маленьким существам, которые не могут постоять за себя. Отобьемся, сказал он себе, обязан отбиться. Когда все молчат, должен найтись кто-то один, который скажет правду. И эта правда не имеет права быть приблизительной — тогда ее легко ошельмовать и подвергнуть осмеянию. Нет, сказать надо так и то, что заставит подумать тех, которые норовят посадить на скамью позора Брехта и Эйслера, а для этого работают рука об руку с веренами и гаузнерами, который отчего-то сразу же после того, как я его вычислил, нашел и сломал, оказался не просто нацистским преступником, но «русским агентом», причем его люди «часто посещали Голливуд», — вон куда завернул мой старый друг Макайр. Он считает себя тонким и умным, но он совсем не такой умный, каким тщится быть, он просто дурак, потому что мыслит, словно катит по рельсе, — прямо-прямо, ух, как прямешенько, а в мире нет ничего абсолютно прямого, все разнонаправленно.

...Роумэн остановился на Александре Вутвуде из Чикаго (именно он поддерживал связь с Эрлом Джекобсом по просьбе директора ФБР Гувера); вальяжен, сед и добродушен, в отличие от Липшица и Скулбрайта, говорил, что думал, а Роумэн таким верил; молчуны казались ему людьми, которые что-то постоянно скрывают в себе, боясь проговориться после пары добрых стаканов виски, а если человек вынужден что-то скрывать, он никогда не решится на отчаянный поступок, побоится, гири тайны не позволят ему шагнуть в пустоту.

Роумэн снял трубку телефона, чтобы позвонить Вутвуду, но сразу же опустил ее на рычаг; телефонные разговоры посольства фик-

сируются, позвоню из «Дона Пио»; но каков Эрл Джекобс, а?! Ну, ИТТ, ну, телефонно-телеграфная корпорация! Только отчего он решился так подставить себя? Почему он пошел на то, чтобы открыться? Как он узнал, что я дома?

— Очень просто узнал, — ответил Штирлиц. — Смешно ему не узнать, если у него работает Кемп, а он сам то и дело летает в Мюнхен. Другое дело, тут вы правы, почему он открылся? Знаете, я почувствовал эндшпиль, когда мы только встретились. Вы мне ничего не говорили и, видимо, имеете на это веские основания, но я чувствую надвижение конца партии, Пол. В этом смысле я вроде барометра, редко ошибаюсь.

— Вы тоже открываете мне далеко не все.

— И правильно делаю. А уж сейчас я просто не имею права открывать вам то, что был готов открыть. Бывают такие моменты в жизни, когда человеку, решившемуся на какой-то отчаянный поступок — а вы на него решились, — лучше не знать всей правды, это может помешать.

— Кто вы по национальности?

— Точнее было бы спросить: кто вы по убеждениям?

— Этим вопросом вы дали мне исчерпывающий ответ, доктор.

— Вас это огорчает?

— Скорее удивляет.

— Это хорошая штука — удивление, Пол. Кстати, после пятидесяти люди редко удивляются, живут своими представлениями, все под них уминают... Удивление — это дар подъема. После полувека, — под гору, а до, — все вверх и вверх...

— Вам действительно сорок шесть?

— Да.

— Ровесник века?

Штирлиц усмехнулся:

— Со всеми вытекающими отсюда последствиями...

— По гороскопу вы кто?

— Весы. Восьмое октября девятисотого года.

— Восьмое октября? Хм, сейчас я скажу, что вы делали в тот день... Вы, если мне не изменяет память, вышли из своего пансионата в десять, купили газеты, прочитали их, оставили на скамейке в «Ретиро», пометок не делали, никто эти газеты потом не взял, ветер унес их на газон; потом отправились в Прадо, большую часть времени провели в зале Эль Греко, затем... погодите-ка, погодите...

— Вы хорошо за мной смотрели... Вообще-то я чувствую слежку, а здесь — нет... Ваши люди наблюдали? Или испанцы?

— Так должен человек знать всю правду? — усмехнулся Роумэн. — Или все-таки пусть кое-чего не знает, особенно в час эндшпиля, а?

— Ну-ну...

— Нет, но и должен вспомнить, доктор... После Эль Греко вы пили кофе где-то на улице...

— Верно.

— А потом отправились в кино.

— На Гран-Виа.

— Какой фильм смотрели?

— «Грохочущие двадцатые»... С Джеймсом Кегни и Хэмфри Богартом в главных ролях.

— А после вернулись к себе.

— И сел читать Монтеня.

— Я, между прочим, внимательно просматривал те места, которые вы отчеркивали... В тот день, мне сдается, вы штудировали главу об уединении...

— Штудировал? — переспросил Штирлиц. — Нет, штудировал я в Берлине... Здесь я учил Монтеня наизусть...

Роумэн глянул на часы; надо еще раз позвонить Эронимо. Перед встречей с Кристой я должен увидеть его, проговорить позиции, хотя ставить на него рисково; он обязан мне тем, что вложил свои сбережения в «Даймондз», он теперь может жить на проценты с вложений, а не на свой оклад содержания, это сделало его более независимым, все верно, но в какой мере он готов на поступок?

— Почитайте, а? — сказал Роумэн. — То, что я глянул на часы, не имеет отношения к нашему разговору. Просто мне еще кое-что надо успеть сделать... Вы правы, эндшпиль приближается неумолимо...

— Добродетель довольствуется собой, — улыбнулся Штирлиц, вспоминая Монтеня, — она не нуждается ни в правилах, ни в воздействии со стороны. Среди тысячи наших привычных поступков мы не найдем ни одного, который бы мы совершали непосредственно ради себя. Посмотри: вот человек, который карабкается вверх по обломкам стены, разъяренный и вне себя, будучи мишенью для выстрелов из аркебуз; а вот другой, весь в рубцах, изможденный, бледный от голода, решивший скорее подохнуть, но только не отворить городские ворота первому. Считаешь ли ты, что они здесь ради себя? Они здесь ради того, кого никогда не видели, кто нисколько не утруждает себя мыслями об их подвигах, утопая в это время в праздности и наслаждениях. А вот еще один: харкающий, с гноящимися глазами, неумытый и нечесаный, он покидает далеко за полночь свой кабинет; думаешь ли ты, что он роется в книгах, чтобы стать добродетельнее, счастливей и мудрее? Ничуть не бывало. Он готов замучить себя до смерти, лишь бы поведать потомству, каким размером писал свои стихи Плавт... Кто бы не согласился с превеликой охотой отдать свое здоровье, покой или самую жизнь в обмен на известность и славу — самые бесполезные, ненужные и фальшивые изо всех монет, находящихся у нас в обращении? Мы пожили достаточно для других; проживем же для себя хотя бы остаток жизни. Сосредоточим на себе и на своем собственном благе все наши помыслы и намерения! Ведь не личное дело — отступать, не теряя присутствия духа; всякое отступление достаточно хлопотливо само по себе, чтобы прибавлять к этому еще и другие заботы. Когда господь дает нам возможность приготовиться к нашему переселению, используем ее с толком; уложим пожитки; простимся заблаговременно с окружающими; отделаемся от стеснительных уз, которые связывают нас с внешним и отдаляют от самих себя... Наступил час, когда нам следует расстаться с обществом, так как нам больше нечего предложить ему. И кто не может ссужать, тот не должен и брать взаймы.

– Верно, – кивнул Роумэн. – Я вообще-то очень хорошо помню те строки, которые вы подчеркнули накануне нашей встречи, десятого или одиннадцатого... О пытках.

– Изобретение пыток – опасное изобретение, – сразу же откликнулся Штирлиц, – и мне сдается, что это скорее испытание терпения, чем испытание истины. Утаивает правду и тот, кто в состоянии их вынести, и тот, кто не в состоянии сделать это. Я думаю, что это изобретение в основе своей покоится на сознании нашей совести, ибо виновному кажется, что совесть помогает пытке, понуждая его признать свою вину, невинному же она придает силы перенести пытку...

– Память у вас с детства такая? – поинтересовался Роумэн.

– Нет. Я все забывал, когда был мальчишкой.

– Видите... А я все помнил... Зато теперь стал забывать... Закажите-ка еще чего выпить.

– Вам – виски?

– Естественно, не «виши», – ответил Роумэн, поднявшись. – А почему вы не пьете?

– Сегодняшней ночью один из нас должен быть по-настоящему трезвым.

Роумэн усмехнулся:

– Это тоже Монтень?

– Нет, это я, – в тон ему ответил Штирлиц.

– Это вы, – задумчиво повторил Роумэн и снова посмотрел на часы. – Я могу обратиться к вам с просьбой?

– Конечно. Это, впрочем, не означает, что я ее безоговорочно выполню.

– Я дам вам три телефона, доктор. По первому вы пригласите к аппарату сеньора Хайнца Достера. По второму – Адольфа Зайделя, а по третьему – сеньора Эухенио Парреду.

– Пригласил. Дальше?

– Вам эти имена неизвестны?

– Нет.

– А Фридрих Кальбах?

– Не слышал даже.

– Хорошо... Скажете каждому из них следующее: «Я жду вас на чашку кофе, пришел контракт, надо обсудить условия, при которых мы его подпишем. Только возьмите мои сигареты, здесь продают только «Дукадос». Такую просьбу выполните?

– Выполню. Время и место встречи сеньоры Достер, Зайдель и Парреда знают?

– Да. Они сразу же придут туда, куда должны прийти.

– Эти люди относятся к числу ваших врагов?

– Да. Я когда-нибудь покажу вам их фотографии. Думаю, вы вспомните эти лица; коридоры РСХА были не такими уж темными, чтобы не заметить тех, кто шел тебе навстречу.

– Вполне светлые коридоры, – ответил Штирлиц. – Черта заметишь, не то что лицо того, кто идет тебе навстречу.

– Телефон внизу, доктор. Не станете возражать, если я буду присутствовать при ваших разговорах?

– А если бы возразил?

Роумэн потушил сигарету в пепельнице и поднялся со стула.

...Все три человека были на месте; вопросов не задавали, ответили, как по-писаному, видимо, словами отзыва; звонку не удивились, значит, Гаузнер не врал...

– А теперь, – сказал Роумэн, когда Штирлиц положил трубку, – не сердитесь на меня и отойдите в сторонку, я должен сделать мой звонок.

– Я подожду наверху?

– Нет, подождите здесь. Только в сторонке. Я буду секретничать, не взыщите...

...Вутвуд выслушал Роумэна, сказал, что он перенесет разговор, заказанный с Чикаго на ночь, если действительно Пол обещает ему сногсшибательную сенсацию, и пообещал приехать на автостанцию, куда прибывает рейс из Севильи.

...Эронимо по-прежнему не отвечал: ни на работе, ни на конспиративной квартире, где они обычно встречались, его не было; Роумэн позвонил домой полковнику, встреча с ним была совершенно необходима; служанка ответила, что «сеньор коронель уехал в командировку».

– Когда? – удивился Роумэн, – мы же виделись накануне моего вылета, он ничего не говорил ни о какой командировке, странно.

– Сейчас я позову сеньору, одну минуту, пожалуйста.

Сеньора сказала, что Эронимо срочно вылетел куда-то сегодня утром; о, ведь он никогда не говорит, куда он поехал, это вопрос службы, я не вправе интересоваться; нет, нет, он ничего никому не просил передавать, очень сожалею, а кто звонит, простите?

Роумэн задумчиво положил трубку; вот оно, понял он. Теперь я еще ближе к финалу. Его скоропалительный отъезд, если он действительно уехал, не случаен. Его, видимо, вывели из дела, я теперь лишен связи с его ведомством, помощи ждать не от кого... Значит, сегодня что-то произойдет. Что?

– Что? – переспросил Штирлиц и вздохнул. – Поскольку я не знаю всего, что знаете вы, буду строить логическую схему, совершенно голую, а вы корректируйте, соотнося с той информацией, которой владеете...

– Знаете, я тоже умею мыслить логически, так что не стоит меня этому учить. Я задам вопрос еще более однозначно: как бы поступили люди Гиммлера, если бы некто, из стана их противников, узнал то, чего он не имел права знать?

– А как бы в этом случае поступили вы?

– Я бы думал, как надо поступить, чтобы информация, ушедшая к противнику, стала дезинформацией. Я бы думал, как можно ее перевернуть, обратить против моих врагов.

– Времени хватает?

– Нет.

– Это немаловажный фактор... Скажите мне... В какой мере и с

каких пор дело вашего друга Эйслера может быть каким-то образом связано с тем, что вас сейчас занимает?

– Попали в десятку.

– А если так, в чем уязвимость вашей позиции?

– В ее неуязвимости, как ни странно.

– Верно... Итак, люди Гиммлера могли бы пойти по двум путям: либо они должны устроить такую провокацию, которая сделает вас их послушным орудием – перевербовка и все такое прочее, либо вас должны устранить. Немедленно. Сегодня же...

– Первое исключено, – отрезал Роумэн. – Им не на чем меня прижать.

– Тогда поезжайте в посольство и ударяйте оттуда по вашим врагам залпами информации. Вам ведь есть что сказать?

– Захотят ли меня услышать, доктор? Как бы этот залп не обернулся против меня с еще большей неотвратимостью, чем возможный выстрел Гауз...

– Я не обиделся, – сказал Штирлиц, заметив, как Роумэн прервал себя. – Это ваше дело, а не мое, вы вправе распоряжаться именами людей, никому другому их не открывая.

– Я довольно долго смотрел в ваши глаза, доктор... И я пришел к выводу, что вы не откажетесь сказать нашему журналисту Вутвуду про Рубенау, и про Фрайтаг, и про Кемпа, и про ту женщину, которую увидели с ним в Прадо... И даже про то, как я пришел к вам и дал вам настоящие никарагуанские документы...

– Вам выгодно упрятать меня в тюрьму?

– Нет. Вы скажете то, что посчитаете нужным сказать, после того как послушаете мои вопросы, обращенные к Кристе... Да, мы ее скоро встретим... Я люблю ее... Вот в чем штука... Ее зовут Криста Кристиансен... Точнее, Кристина... Вы скажете то, что сочтете нужным сказать, только после того, как Вутвуд – это наш корреспондент, он придет к автобусу, – запишет показания Кристы... И мои... По нашим законам всегда требуется два свидетеля. Я – не в счет, если бы для дела хватало моих и ее показаний, я бы не стал вас просить...

– Хотите ударить по тем национал-социалистам, которые ушли от возмездия? Я так вас должен понимать?

– Так.

– Объясните, какое отношение к этому имеет ваш друг Эйслер?

– Непосредственное...

– Есть доказательства?

– Достаточно веские, хоть и косвенные...

– Ваша женщина... Криста... Ей есть что сказать?

– Да.

– Она вам призналась в чем-то?

– Она любит меня.

– Она вам открылась?

– Нет.

– Хорошо, давайте я послушаю то, что она станет говорить вашему Вутвуду...

...Он не смог этого сделать.

Его поразило лицо Роумэна, когда из автобуса «Сур-Норте» вышли все пассажиры, а женщины, которую он ждал, не оказалось. Его лицо сделалось белым, словно обсыпали мелом; когда он провел пальцами по лицу, словно снимая с себя маску, на лбу и щеках остались бурые полосы, будто кожу прижгли каленым железом.

Он взбросился в автобус, словно атлет; движения его были стремительны и пружинисты; шофер, испугавшись чего-то, сказал, что красивую голубоглазую сеньориту с черно-рыжим котенком в руках встретили на двадцать седьмом километре два сеньора: судя по описанию, один из них, понял Роумэн, был Густавом Гаузнером; вторым был не Кемп, а кто-то другой, приметы не сходились — не цвет волос и форма рта, это можно спрятать гримом, а рост: был очень высоким.

— Сеньорита сразу же согласилась выйти из автобуса? — спросил Роумэн. — Она ничего не сказала вам или своим соседям по креслу? Не сопротивлялась?

— Нет, нет, иначе бы я почуял дурное, кабальеро... Она сразу же вышла с седым, и они сели в его машину...

— Какая машина?

Штирлиц подсказал:

— «Шевроле»? На дверцах было что-то написано?

— Нет, нет, это была другая марка, — ответил шофер. — Я думаю, это был «остин», во всяком случае, что-то очень старомодное...

...Вот почему они отправили из Мадрида Эронимо, понял Роумэн, когда они гнали в аэропорт Барахас; они верно рассчитали, что я именно его попрошу перекрыть вокзалы и аэропорт; кто сейчас скажет мне, улетела ли черноволосая девушка с лицом, усыпанным веснушками, с красивым треугольным ртом и выпуклым лбом с двумя поперечными морщинками?!

Конечно же, в аэропорту ее не было.

Ах, Криста, Криста, где же ты, человек мой нежный?! Как мне разыскать тебя в этом страшном и затаенном людском океане?

...В три часа утра Роумэн остановил машину возле посольства, поднялся к себе, принял четыре таблетки аспирина, сунул голову под холодную воду, тщательно растер волосы полотенцем и только потом достал из сейфа чистый паспорт гражданина США, приклеил одну из многих фотографий Штирлица, которые хранил у себя, написал фамилию Брюлл, имя Макс, год рождения 1900, дата рождения — 8 октября. После этого жахнул парагвайскую визу — вполне надежна, в консульстве республики работают свои люди; пересчитал двадцать купюр стодолларового достоинства, сунул их в паспорт и спустился вниз.

— Берите такси и гоните в аэропорт, — сказал он. — Сейчас мы покатаем по городу, чтобы оторваться от тех, кто нас пасет, а потом возьмете такси. Самолет уходит через три часа, успеете. Паспорт надежен, виза — тоже. Связь, если меня сегодня не укокошат, будем осуществлять через вашу подругу Клаудию, помните ее адрес?

— Да.

— У нее есть деньги на полет в Штаты?

— Думаю — да.

– Она согласится сгонять в Голливуд и встретиться с моим другом?

– Если я попрошу ее об этом...

– Можете оказать эту любезность?

– Да... Грегори Спарк, как запасная связь, остается?

– Да.

Роумэн протянул ему свой плоский блокнотик с буро-коричневым вензелем:

– Пишите... Только не очень нажимайте... Вам предстоит написать еще одну записку. Мне. Полу Роумэну... Точнее, это расписка за две тысячи долларов, полученные вами на мероприятие по поимке Гаузнера, он же Морсен... И чтобы вы не думали, будто я играю в темную, посмотрите вот это, – и Роумэн протянул Штирлицу телеграмму, которая была передана ему Гэйтом всего пять часов тому назад. – Вы поймете, отчего вам нельзя оставаться здесь ни минуты... Если вы решите воспользоваться ситуацией и исчезнуть... Можно, конечно... Только это будет очень бесчестно... Не только по отношению ко мне... По отношению к людям, доктор... Я назову ряд имен и дам адреса, которые помогут вам ориентироваться в том деле, которым я пытался заниматься последние полгода...

Рейс, на котором Штирлиц вылетел за океан, а также номер паспорта и имя, в него вписанные, Гелен узнал через двадцать девять минут после того, как самолет испанской авиакомпании взмыл в небо...

...Когда Роумэн вошел в квартиру, первое, что оглушило его, смяло и повергло в ужас, был все тот же тонкий, едва заметный запах Кристы, ее «кельнская вода», но сейчас он казался ему таким пронзительно-беззащитным, таким маленьким и жалким, что сердце его сжало и перевернуло так, что он ахнул и привалился к зеркалу. Он закрыл глаза, положил руку на грудь, сказал себе, что ничего еще не кончено, я найду девочку, я буду последним негодяем, если не найду ее, зачем я все это затеял, боже ты мой, жил бы иллюзией счастья, как все, так нет, начал искать правду, а коли начал, так и получай за это...

Не смей, сказал он себе, это бесчестно думать, ты лишен права так думать, потому что знаешь, что такое фашизм, совсем не так, как остальные. Соберись, попросил он себя, стань сгустком воли, ты не имеешь права ни на что другое...

Роумэн вздохнул, открыл глаза и первое, что увидел, был пистолет в руке Гаузнера; немец стоял в конце коридора и почесывал нос.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФИРМА ЭГСИ»

Уважаемые читатели!

Наше издательство, обладающее эксклюзивными правами на продолжение издания собрания сочинений **Юлиана Семенова**, с удовлетворением сообщает Вам, что в 1996 году будут выпущены очередные пять томов, в которых планируется опубликовать следующие произведения:

— **Аукцион**
— **Без единого выстрела**
— **Бомба для председателя**
— **Горение**
— **Иди и не бойся**
— **Испанский вариант**
— **Ощупью в полдень**
— **При исполнении служебных обязанностей**
— **Провокация**
— **Псевдоним**
— **Схватка**
— **Тайная война** и ряд других.

Для оптовых покупателей
телефон/факс: (095) 452-8816 и (095) 446-1469

В Москве реализация книг нашего издательства осуществляется в следующих магазинах:

– магазин №2 Южного Агентства Печати,
Б Факельный пер., 3, метро «Таганская», телефон ***911-2107***

– ООО «Восход»
Ярцевская ул., 34, метро «Молодежная», телефон ***149-1125***

– ТОО «Тотем»
Минская ул , 14, метро «Филевский парк», телефон ***146-9550***

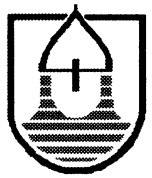
– ТОО «Аскольд»
Физкультурный пр., 11/25, кор. 6, метро «Багратионовская», телефон ***148-9480***

Иногородним покупателям книги высылаются наложенным платежем. Читателям, приславшим открытки с заказами на следующие тома, предоставляется скидка.

Заказы присылать по адресу:
121353, г. Москва, п/о 353, «Фирма ЭГСИ»

С уважением к таланту и личности автора

Коммерческий банк



Русич

г. Москва тел. 452-88-16

Семенов Ю.
Собрание сочинений: т. 11. Роман – М.;
ООО «Фирма ЭГСИ», 1995г. – 448 стр.

В одиннадцатый том собрания сочинений Ю. Семенова вошла первая книга трилогии «Экспансия».

ББК 84.3Р7

Литературно-художественное издание

Юлиан Семенович Семенов

Собрание сочинений. Том одиннадцатый

Редактор Д.О. Грошев
Художники М.Н. Шестопал, В.С. Помочилин, В.М. Беляков
Технический редактор Г.В. Жигалова
Корректор Г.Н. Грошева

ЛР № 064288 от 14.11.95 г.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 23.11.95, Формат 84x108 $^{1}/_{32}$,
Бумага типографская № 2, Гарнитура Литературная, Печать офсетная.
Усл. печ. листов 23,52. Усл. кр. отт. 24,15. Уч.-изд. листов 33,13.
Тираж 26000, Заказ № 1264
117454, г. Москва, пр-т Вернадского, 62 "а" ООО «Фирма ЭГСИ».

Полиграфическая фирма **«Красный пролетарий»**
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.

irtschaftsmini

1687/43

dieses Geschäftszeichen und den weiteren Schreiben anzugeben

Eilt!

Geheim!

Reichsminister für Rüstung
riegsproduktion - Rüstungsamt -
von Herrn Kapitän z.S. v. Henrici
- oVIA -

...матографа
помнят роли, сыгранные ими:
"Подруги" Зои Федоровой и
"Двое" Виктории вошли в анна-
лы искусства навсегда — как до-
кументы эпохи.

— Мама была у меня в гостях
несколько раз,— рассказала Вик-
тория. — Однако, когда я пригла-
сила ее в восьмидесятом, вскоре
после того как здесь выпустили
мою книгу "Дочь адмирала" —
отец умер в звании адмирала
флота США, — маме отказывали
в выдаче паспорта. Я обратилась
за помощью к тому сенатору, за
которого голосовала. — Брэдли.
После совещания в его штабе
мне ответили: "Если бы мама
просилась в эмиграцию, сюда, к
вам, для воссоединения семьи,
мы бы могли оказать какую-то
помощь. В ином случае брежнев-
ская администрация нам от-
кажет: "Давать или не давать
выездной паспорт для поездки
в гости — наше внутреннее
дело..."

...жизни, двенадцать
...земпляров; ныне тираж
...од жизни - это и мало
...ысячи писем, поступ...
...могают нам вы...
...ы наше...
1. В ...
...ажни...
...едоум...
2. ...
...дел...
...ское С...
3. ...
...вы!
4. ...
...упники,
...е место
5. ...
...и сможет ...ть все наши эко...
...истративной Системы!"
6. ...Продолжать борьбу
...ции и взяточничества.
7. Выступать против той с е к...
...ну и его банде создать камеры ...
...нки, Катыни, а его ученикам - п...
...
...так, "Совершенно Секретно" - эт...
...а этом мы стояли и будем стоять.

...ривет свтвия от Библейского Общест...
...ктеров, художников, режиссеров, ...

...ивенчества:
...в квартиру, накор...

...и пьяница, приходящий
...юги, так и вполне прис-

...ния пропагандистской ше-
...Поэтому следует отве-
...перед самим собою, ...
...ективно.
...арант. Оно обязано ...
...амовыявление,- это

...розить рост заработной
...ляции (при том,
...ны на рынке - рыноч-
...ому, сколько труда
...елем в продукт) буд...
...сы,- ... могут
...ктом.
...положения?
...ос трудно ответить,
..., которые облегча...

...нивающей") стра-

...schaftsminister

...7/43

...s Geschäftszeichen und den
...eren Schreiben anzugeben

...ernsprecher: Ortsdienst Nr. 16 43 51
Ferndienst Nr. 16 41 21

Eilt!

Geheim!

...ister für Rüstung
... Rüstungsamt -
... v. Henrici